

# РОМАНОВЫ

ДИНАСТИЯ В РОМАНАХ



АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

## Annotation

Во второй том исторической серии включены романы, повествующие о бурных событиях середины XVII века. Раскол церкви, народные восстания, воссоединение Украины с Россией, война с Польшей — вот основные вехи правления царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим. О них рассказывается в произведениях дореволюционных писателей А. Зарина, Вс. Соловьева и в романе К. Г. Шильдкрета, незаслуженно забытого писателя советского периода.

---

- [А. Сахаров \(редактор\)](#)
  - 
  - [КАСИМОВСКАЯ НЕВЕСТА](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)
      - [IV](#)
      - [V](#)
      - [VI](#)
      - [VII](#)
      - [VIII](#)
      - [IX](#)
      - [X](#)
      - [XI](#)
      - [XII](#)
      - [XIII](#)
      - [XIV](#)
      - [XV](#)
      - [XVI](#)
      - [XVII](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
      - [I](#)
      - [II](#)
      - [III](#)

- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)

- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)

- [ГОРАЗДО ТИХИЙ ГОСУДАРЬ](#)

- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)

- [ГЛАВА I](#)
- [ГЛАВА II](#)
- [ГЛАВА III](#)
- [ГЛАВА IV](#)
- [ГЛАВА V](#)

- [ГЛАВА VI](#)
- [ГЛАВА VII](#)
- [ГЛАВА VIII](#)
- [ГЛАВА IX](#)
- [ГЛАВА X](#)
- [ГЛАВА XI](#)
- [ГЛАВА XII](#)
- [ГЛАВА XIII](#)
- [ГЛАВА XIV](#)
- [ГЛАВА XV](#)
- [ГЛАВА XVI](#)
- [ГЛАВА XVII](#)
- [ГЛАВА XVIII](#)
- [ГЛАВА XIX](#)
- [ГЛАВА XX](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [ГЛАВА I](#)
  - [ГЛАВА II](#)
  - [ГЛАВА III](#)
  - [ГЛАВА IV](#)
  - [ГЛАВА V](#)
  - [ГЛАВА VI](#)
  - [ГЛАВА VII](#)
  - [ГЛАВА VIII](#)
  - [ГЛАВА IX](#)
  - [ГЛАВА X](#)
  - [ГЛАВА XI](#)
  - [ГЛАВА XII](#)
  - [ГЛАВА XIII](#)
  - [ГЛАВА XIV](#)
  - [ГЛАВА XV](#)
  - [ГЛАВА XVI](#)
  - [ГЛАВА XVII](#)
  - [ГЛАВА XVIII](#)
  - [ГЛАВА XIX](#)
  - [ГЛАВА XX](#)

- НА ИЗЛОМЕ. КАРТИНЫ ИЗ ВРЕМЕНИ ЦАРСТВОВАНИЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАИЛОВИЧА (1653-1673)
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОХОДЫ
    - I У ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
    - II ПРИ ЦАРЕ
    - III ВОРЫ
    - IV ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЙСКА
    - V ДВА БРАТА
    - VI ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЯТОЙ ГЛАВЫ
    - VII СКАРЕДНОЕ ДЕЛО
    - VIII ОТЪЕЗД
    - IX СИЛА СОЛОМУ ЛОМИТ
    - X ГРЕШНИКИ
    - XI ОКО ЗА ОКО
    - XII В ПОХОДЕ
    - XIII ПОД СМОЛЕНСКОМ
    - XIV В НЕПРЕСТАННОМ БОЮ
    - XV ПОБЕДЫ
    - XVI ЛЮБОВЬ
    - XVII ЮРОДИВЫЙ
    - XVIII БОЖЬЯ КАРА
    - XIX МОР
    - XX ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА
    - XXI ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД
    - XXII УДАР
    - XXIII НЕМНОГО ИСТОРИИ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА
    - I ВОРЫ
    - II ДВА БРАТА
    - III СОКОЛИНАЯ ОХОТА
    - IV КОЛДОВСТВО
    - V СПАСЕННЫЕ
    - VI ПРИСУХА
    - VII СМУТА
    - VIII У МОРОЗОВОЙ
    - IX НОЧЬ СВИДАНИЙ
    - X ПОБЕГ

- [XI ОПОЗОРЕННЫЕ](#)
  - [XII В КОЛОМНЕ И ГОРОДЕ](#)
  - [XIII ПЕРЕД ГРОЗОЮ](#)
  - [XIV ГРОЗА](#)
  - [XV ПРОДОЛЖЕНИЕ](#)
  - [XVI КРУТАЯ РАСПРАВА](#)
  - [XVII БЕЗУМИЕ](#)
  - [XVIII СИЛА И ПРАВДА](#)
  - [XIX СУД И РАСПРАВА](#)
  - [XX СКОРБНЫЕ ДУХОМ](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОНЦЫ И НАЧАЛА](#)
  - [I ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ](#)
  - [II ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА](#)
  - [III ЦАРСКИЕ СМОТРИНЫ](#)
  - [IV ПОВОРОТ НА НОВОЕ](#)
  - [V СВАДЬБА](#)
  - [VI СВЫШЕ СИЛ](#)
  - [VII ГРОЗА](#)
  - [VIII ВО СЛАВУ ГОСПОДА!](#)
  - [IX НЕБЕСНАЯ КАРА](#)
  - [X ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА](#)
  - [XI ИССТУПЛЕННЫЕ](#)
  - [XII ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ](#)
  - [XIII В ПОХОД](#)
  - [XIV НЕЖДАНАЯ ВСТРЕЧА](#)
  - [XV ОДНА ИЗ ИСТОРИЙ XVII ВЕКА](#)
  - [XVI НЕ СУДИЛ БОГ](#)
  - [XVII ДВА БРАТА](#)
  - [XVIII НОВОЕ ЛОМИТ СТАРОЕ](#)
  - [КОММЕНТАРИИ](#)
- [ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)

- [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
  - [52](#)
  - [53](#)
  - [54](#)
  - [55](#)
  - [56](#)
  - [57](#)
  - [58](#)
  - [59](#)
  - [60](#)
  - [61](#)
  - [62](#)
  - [63](#)
  - [64](#)
  - [65](#)
  - [66](#)
  - [67](#)
  - [68](#)
  - [69](#)
  - [70](#)
  - [71](#)
  - [72](#)
  - [73](#)
  - [74](#)
  - [75](#)
  - [76](#)
-



**А. Сахаров (редактор)**  
**Алексей Михайлович**  
***(Романовы. Династия в романах — 4)***

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — второй царь из дома Романовых; родился 19 марта 1629 г., царствовал с 14 июля 1645 по 28 января 1676 года. До пятилетнего возраста молодой царевич Алексей оставался на попечении у царских «мам». С пяти лет под надзором Б. И. Морозова он стал учиться грамоте по букварю, затем приступил к чтению часовника, псалтыря и деяний Св. Апостолов, в семь лет начал обучаться письму, а в девять — церковному пению. С течением времени у ребенка одиннадцати — двенадцати лет составила маленькая библиотека; из книг, ему принадлежавших, упоминаются, между прочим «Лексикон» и «Грамматика», изданные в Литве, а также «Космография». В числе предметов «детской потехи» будущего царя встречаются конь и детские латы «немецкого дела», музыкальные инструменты, немецкие карты и «печатные листы» (картинки). Таким образом, наряду с прежними образовательными средствами заметны и нововведения, которые сделаны были не без прямого влияния Б.И. Морозова. Последний, как известно, одел в первый раз молодого царя с братом и другими детьми в немецкое платье. На четырнадцатом году царевича торжественно «объявили» народу, а шестнадцати лет он, лишившись отца и матери, вступил на престол московский. Со вступлением на престол царь Алексей стал лицом к лицу с целым рядом тревожных вопросов, волновавших древнерусскую жизнь XVII века. Слишком мало подготовленный к разрешению такого рода вопросов, он первоначально подчинился влиянию бывшего своего дядьки Б. И. Морозова, но вскоре и сам стал принимать личное участие в делах. В этой деятельности окончательно сложились основные черты его характера.

Самодержавный русский царь, судя по его собственным письмам, отзывам иностранцев (Мейерберга, Коллинза, Рейтенфельса, Лизека) и отношениям его к окружающим, обладал замечательно мягким, добродушным характером, был, по словам г. Котошихина, «гораздо тихим». Духовная атмосфера, среди которой жил царь Алексей, его воспитание, характер и чтение церковных книг развили в нем религиозность. По понедельникам, средам и пятницам царь во все посты ничего не пил и не ел и вообще был ревностным исполнителем церковных обрядов. К почитанию внешнего обряда присоединялось и внутреннее религиозное чувство, которое развивало у царя Алексея христианское смирение. «А мне, грешному, — пишет он, здешняя честь, аки прах». Царское добродушие и смирение иногда, однако, сменялись кратковременными вспышками гнева. Однажды царь, которому пускал кровь немецкий «дохтур», велел боярам испробовать то же средство. Р. Стрешнев не согласился. Царь Алексей собственноручно «смирил» старика, но затем не знал, какими подарками его задобрить. Вообще царь умел отзываться на чужое горе и радость; замечательны в этом отношении его письма к А. Ордын-Нащокину и князю Н. Одоевскому. Мало темных сторон можно отметить в характере царя Алексея. Он обладал скорее созерцательной, пассивной, а не практической, активной натурой. Он стоял на перекрестке между двумя направлениями, старорусским и западническим, примирял их в своем мировоззрении, но не предавался ни тому, ни другому со страстной энергией Петра. Царь был не только умным, но и образованным человеком своего века. Он много читал, писал письма, составил «Уложение сокольничья пути», пробовал писать свои воспоминания о польской войне, упражнялся в версификации. Он был человеком порядка по преимуществу; «делу время и потехе час» (то есть всему свое время), — писал он; или «без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепитя».

Этот чин, однако, нужно было утвердить при вступлении шестнадцатилетнего царя на престол. Молодой

царь подчинился влиянию Б.Морозова. Задумав жениться, он в 1647 г. выбрал себе в жены дочь Рафа Всеволодского, но отказался от своего выбора благодаря интригам, в которые, вероятно, замешан был сам Морозов. В 1648 г. 16 января, царь заключил брак с Марьей Ильинишной Милославской; вскоре затем Морозов женился на сестре ее Анне. Таким образом Б.И. Морозов и тесть его И.Д. Милославский приобрели первенствующее значение при дворе. К этому времени, однако, уже ясно обнаружились результаты плохого внутреннего управления Б.И. Морозова. Царским указом и боярским приговором 7 февраля 1646 г. установлена была новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену соли — главного предмета потребления — приблизительно в полтора раза и вызвала сильное недовольство со стороны населения. К этому присоединились злоупотребления Д.И. Милославского и молва о пристрастии царя и правителя к иностранным обычаям. Все эти причины вызвали бунт народный в Москве и беспорядки в других городах; 25 мая 1648 г. народ стал требовать у царя выдачи Б.Морозова, затем разграбил его дом и убил окольничего Плещеева и думного дьяка Чистого. Царь поспешил тайно отправить любимого им Б.И. Морозова в Кириллов монастырь, а народу выдал окольничего Траханиотова. Новая пошлина на соль отменена была в том же году. После того как народное волнение стихло, Морозов возвратился ко двору, пользовался царским расположением, но не имел первенствующего значения в управлении. Царь Алексей возмужал и уже более не нуждался в опеке; сам он писал Никону в 1651 г., что «слово его стало во дворце добре страшно». Слова эти, однако, на деле не вполне оправдались. Мягкая, общительная натура царя нуждалась в советчике и друге. Таким «собинным», особенно любимым, другом стал Никон. Будучи в то время митрополитом в Новгороде, где со свойственной ему энергией он в марте 1650 г. усмирлял мятежников, Никон овладел доверием царским, посвящен

был в патриархи 25 июля 1652 г. и стал оказывать прямое влияние на дела государственные. Из числа последних особенное внимание правительства привлекали внешние сношения.

Еще в конце 1647 г. казачий сотник Зиновий Богдан Хмельницкий бежал из Украины в Запорожье, а оттуда в Крым. Возвратившись с татарским войском и избранный в гетманы казацкою радой, он поднял всю Украину, поразил польские войска при Желтых Водах, Корсуне, Пилаве, осаждал Замостье и под Зборовом заключил выгодный мир; потерпев неудачу под Берестечком, он согласился под Белою Церковью на мир гораздо менее выгодный, чем Зборовский. Мир этот возбудил народное неудовольствие; гетман принужден был нарушить все условия и в стесненных обстоятельствах обратился с просьбою о помощи к «царю восточному». На соборе, созванном по этому поводу в Москве 1 октября 1653 г., решено было принять казаков в подданство и объявлена война Польше. 18 мая 1654 г. сам царь выступил в поход, съездив помолиться к Троице и в Саввин монастырь. Войско направилось к Смоленску. После сдачи Смоленска 23 сентября царь возвратился в Вязьму. Весной 1655 г. предпринят был новый поход. 30 июля царь совершил торжественный въезд в Вильну, затем взяты были Ковно и Гродно. В ноябре царь возвратился в Москву. В это время успехи Карла X, короля шведского, завладевшего Познанью, Варшавою и Краковом, изменили ход военных действий. В Москве стали опасаться усиления Швеции на счет Польши. 15 июля 1656 года царь двинулся в поход к Ливонии и, по взятии Динабурга и Кокенгаузена, осадил Ригу. Осада снята была из-за слуха, что Карл X идет в Ливонию. Дерпт занят был московскими войсками. Царь отступил в Полоцк и здесь дождался перемирия, заключенного 24 октября 1656 г. Окончательный мир заключен в Кардисе в 1661 г.; по этому миру царь уступил все завоеванные им места. Невыгодные условия Кардисского мира вызваны были смутами в Малороссии и новой войной с Польшей. По смерти Богдана Хмельницкого, в июле 1657 г.,

Иван Выговский провозгласил себя гетманом, изменил Москве, но вскоре изгнан был самими казаками, которые избрали на его место Юрия, сына Богдана Хмельницкого. Юрий присягнул Москве, но вскоре постригся в монахи и заменен, на правой стороне Днепра, Тетерей. Пользуясь смутами в Малороссии, Польша отказалась признавать Алексея Михайловича наследником польского престола и не уступала Москве ее завоеваний. Отсюда возникла вторая польская война. В июне 1660 г. князь Хованский потерпел поражение у Полонки, в сентябре — Шереметев под Чудновом. Дела приняли еще более опасный оборот благодаря продолжавшимся в Малороссии смутам. Тетеря присягнул королю, который явился на левой стороне Днепра, но после неудачной осады Глухова, в начале 1664 г., и успешных действий его противников — Брюховецкого, избранного гетманом на левой стороне Днепра, и князя Ромодановского, ушел за Десну. А. Ордын-Нащокин советовал царю отказаться от Малороссии и обратиться на Швецию. Алексей Михайлович отклонил это предложение; он не терял надежды. Благоприятному исходу борьбы способствовали внутренние беспорядки в Польше и переход гетмана Дорошенко, преемника Тетери, в подданство турецкому султану. 13 января 1667 г. заключен был мир в деревне Андрусове. Царь Алексей, по этому миру, приобрел Смоленск, Северскую землю, левую сторону Днепра и, кроме того, Киев на два года.

Во время войн 1654-1658 гг. царь часто отсутствовал в Москве, находился, следовательно, вдали от Никона и присутствием своим не сдерживал властолюбия патриарха. Возвратившись из походов, он стал тяготиться его влиянием. Враги Никона воспользовались охлаждением к нему царя и непочтительно стали относиться к патриарху. Горделивая душа архипастыря не могла снести обиды; 10 июля 1658 г. он отказался от своего сана и уехал в Воскресенский монастырь. Государь, однако, не скоро решился покончить с этим делом. Лишь в 1666 г. на духовном соборе, под председательством Александрийского и Антиохийского

патриархов, Никон был лишен архиерейского сана и заточен в Белозерский Ферапонтов монастырь. В тот же период войн (1654-1667 гг.) царь Алексей лично побывал в Витебске, Полоцке, Могилеве, Ковно, Гродно, особенно в Вильне и здесь ознакомился с новым образом жизни; по возвращении в Москву он сделал перемены в придворной обстановке. Внутри дворца появились обои (золотые кожи) и мебель на немецкий и польский образец. Снаружи резьба не производилась лишь на поверхности дерева по русскому обычаю, а стала фигурной, во вкусе рококо.

Едва успела стихнуть война с Польшей, как правительство должно было обратить внимание на новые внутренние беспорядки, на Соловецкое возмущение и бунт Разина. С падением Никона не уничтожено было главное его нововведение: исправление церковных книг. Многие священники и монастыри не согласились принять эти новшества. Особенно упорное сопротивление оказал Соловецкий монастырь; осажденный с 1668 г., он взят был воеводой Мещериновым 22 января 1676 г.; мятежники были перевешаны. В то же время на юге поднял бунт донской казак Степан Разин. Ограбив караван гостя Шорина в 1667 г., Разин двинулся на Яик, взял Яицкий городок, грабил персидские суда, но в Астрахани принес повинную. В мае 1670 г. он снова отправился на Волгу, взял Царицын, Черный Яр, Астрахань, Саратов, Самару и поднял черемис, чуваш, мордву, татар, но под Симбирском разбит был князем Ю. Барятинским, бежал на Дон и, выданный атаманом Корнилом Яковлевым, казнен в Москве 6 июня 1671 г. Вскоре после казни Разина началась война с Турцией из-за Малороссии. Брюховецкий изменил Москве, но и сам был убит приверженцами Дорошенко. Последний стал гетманом обеих сторон Днепра, хотя управление левой стороной поручил наказному гетману Многогрешному. Многогрешный избран был в гетманы на раде в Глухове (в марте 1668 г.), снова перешел на сторону Москвы, но был свергнут старшинами и сослан в Сибирь. На его место в июне 1672 г. избран Иван Самойлович. Между тем турецкий султан

Магомет IV, которому поддался Дорошенко, не хотел отказаться и от левобережной Украины. Началась война, в которой прославился польский король Ян Собесский, бывший коронным гетманом. Война окончилась двадцатилетним миром лишь в 1681 г.

Из внутренних распоряжений при царе Алексее замечательны: запрещение (в 1648 г.) беломестцам (монастырям и лицам, находившимся на государственной, военной или гражданской службе) владеть черными, тяглыми землями и промышленными, торговыми заведениями (лавками и проч.) на посаде; окончательное прикрепление тяглых классов, крестьян и посадских людей к месту жительства; переход воспрещен был в 1648 г. не только крестьянам-хозяевам, но и детям их, братьям и племянникам. Основаны новые центральные учреждения, каковы приказы: Тайных дел (не позже 1658 г.), Хлебный (не позже 1663 г.), Рейтарский (с 1651г.), Счетных дел (упоминается с 1657 г.), занятый проверкой прихода, расхода и остатков денежных сумм, Малороссийский (упоминается с 1649 г.), Литовский (1656— 1667), Монастырский (1648-1677). В финансовом отношении сделано также несколько преобразований: в 1646 и последующих годах совершена перепись тяглых дворов с их совершеннолетним и несовершеннолетним населением мужского пола, сделана неудачная вышеуказанная попытка введения новой соляной пошлины; указом от 30 апреля 1654 г. запрещено было взимать мелкие таможенные пошлины (мыт, проезжие пошлины и годовщину) или отдавать их на откуп, и велено было зачислить в рублевые пошлины, взимаемые в таможнях; в начале 1656 г. (не позже 3 марта) ввиду недостатка денежных средств выпущены медные деньги. Вскоре (с 1658 г.) медный рубль стал цениться в 10, 12, а в шестидесятых годах даже в 20 и 25 раз дешевле серебряного; наступившая вследствие этого страшная дороговизна вызвала народный мятеж 25 июля 1662 г. Мятеж усмирен обещанием царя наказать виновных и высылкою стрелецкого войска против мятежников. Указом от 19 июня 1667 г. велено было приступить к постройке кораблей в селе

Дединове на Оке; впрочем, выстроенный тогда же корабль сгорел в Астрахани. В области законодательства: составлено и издано Уложение (печаталось в первый раз 7-20 мая 1649 г.) и пополняющие его в некоторых отношениях: Новоторговый устав 1667 г, Новоуказные статьи о разбойных и убийственных делах 1669 г., Новоуказные статьи о поместьях 1676 г. При царе Алексее продолжалось колонизационное движение в Сибирь. Прославились в этом отношении А. Булыгин, О. Степанов, Е. Хабаров и другие. Основаны Нерчинск (1658г.), Иркутск ( 1659 г.), Селенгинск ( 1666 г.).

В последние годы правления царя Алексея при дворе особенно возвысился А.С. Матвеев. Через два года по смерти М.И. Милославской (4 марта 1669 г.) царь женился на его родственнице, Наталье Кирилловне Нарышкиной. 22 янв. 1671 г. Матвеев, поклонник западноевропейских обычаев, давал театральные представления, на которые ходил не только сам царь, но и царица, царевичи и царевны (например 2 ноября 1672 г. в селе Преображенском). 1 сентября 1674 г. царь «объявил» сына своего Федора народу как наследника престола, а под 30 января 1676 г. умер, 47 лет от роду.

Царь Алексей от М.И. Милославской имел детей: Дмитрия (1648 окт. — 1651 окт.), Евдокию (1650 фев. — 1712 март), Марфу (1652 авг. — 1707 июль), Алексея (1654 февр. — 1670 янв.), Анну (1655 янв. — 1659 май), Софью (1657 сент. — 1704 июль), Екатерину (1658 нояб. — 1718 май), Марию (1660 янв. — 1723 март), Федора (1661 май — 1682 апр.), Феодосию (1662 май — 1713 дек.), Симеона (1665 апр. — 1669 июнь), Ивана (1666 авг. — 1696 янв.), Евдокию (1669 фев. — 1669 фев.). От Н.К. Нарышкиной царь имел детей: Петра (30 мая 1672 — 28 янв. 1725), Наталью (1673 авг. — 1716 июнь), Федора (1674 сент. — 1678 нояб.).

Важнейшие сочинения по истории царствования царя Алексея: С. Соловьев, «История России», т.Х, XI и XII; В. Берх, «Царствование царя Алексея Михайловича» (Спб., 1831г.); И. Забелин, «Царь Алексей Михайлович» (в «Опытах изучения русских древ. и истор.», т. I, стр. 203-281; то же в



«Отечественных Записках», т. 110, стр. 325-378); М. Хмыров, «Царь Алексей Михайлович и его время» (в «Древней и Новой России», т. III, 1875г.); С. Платонов, «Царь Алексей Михайлович» (в «Историческом Вестнике», 1886г., май, стр. 265-275).

*Энциклопедический словарь. Изд. Брокгауза и Ефрона, т. IА , СПб, 1890.*

**КАСИМОВСКАЯ НЕВЕСТА**  
***(РОМАН-ХРОНИКА XVII ВЕКА В ТРЕХ***  
***ЧАСТЯХ)***

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

После долгого осеннего ненастья наконец стала зима 1646 года. Два дня и две ночи в безветренном воздухе падал снег, и выпало его довольно, потом прихватило и сковало морозцем. Потом выглянуло солнце и все загорелось, заблестело. Глаза слепило от яркого света. Мороз не прибывал, но и не уменьшался. Путь установился сразу.

По дороге из Москвы в пригородное село Покровское с раннего утра шло и ехало много всякого люду — молодой царь Алексей Михайлович считал встречу зимы одною из любимых потех своих. Еще за три дня было объявлено по Москве, что в селе Покровском будет львиное зрелище и медвежья травля и что никому, не токмо что боярам и всяким дворцовым людям, но и всем вообще жителям Москвы невозбранно присутствовать на этих царских потехах.

Такое известие Москва приняла с большой радостью: уж очень по нраву всем была медвежья травля, а про львиное зрелище и говорить нечего: лев — зверь редкий, многими совсем не виданный. Привезли его недавно царю в подарок из Кизылбаша, из Персии. Поместили в яме у стены Китайгородской. По целым часам толпы стояли у ямы, видеть ничего не видели, но зато рыкание львиное слышали и оставались этим довольны. А вот теперь и самого этого заморского лютого зверя видеть можно: ну и хлынула вся досужая Москва в село Покровское.

Колымаги за колымагами, сани за санями так и катятся по первопутью. Бояре, весь чин дворцовый, дворяне московские, служилые люди, из купцов тоже немало — всякий разрядился в праздничное платье, изукрасил своих коников, понавешал ковров на широкие сани: тоже нужно и себя показать, в грязь лицом не ударить.

Большие были приготовления к празднику в Покровском. Сначала, как весть прошла о царской потехе, отцы и мужья сразу объявили, что бабам да девкам ехать не следует. Но бабы и девки были на это других взглядов. Они так пристали, так улещали, так

упрашивали своих владык домашних, что те наконец, в большинстве случаев, должны были сдаться.

И вот по дороге в Покровское спешат не одни добрые молодцы и старцы, а и дебелие матери семейств и румяные, свежие, как морозное зимнее утро, московские красавицы. Само собою, лица их прикрыты фатой блестящей, сами они закутаны в шубки меховые, и стороннему человеку не увидеть, не разглядеть, сколько красоты и молодости, сколько разжиревшей или высохшей старости заключается в этих огромных грузных колымагах.

Но все же кое-кому поданы весточки, кое-кто с замиранием сердца и с светлою молодою грезой, бросив все дела и заботы, спешит в Покровское, хорошо зная, на какую закутанную, облик человеческий потерявшую фигуру следует глядеть глаз не отрывая, из-за какой фаты непроницаемой будут взглядывать с любовью и ласкою молодые глазки. И никакая строгость нравов и обычаев, никакая зоркость родительского присмотра не помешают кое-кому втихомолку и перешепнуться, и улучшить счастливое мгновение для быстрого, крепкого и сладкого пожатия нежной ручки. Только после этого пожатия не придется спрятать за пазуху маленькой записочки — нежная белая ручка писать не умеет, да и не нуждается ни в каком писанье. Шустрая девчонка из прислужниц, а то так и сама хитрая старая мамка, падкая до подарочков, лучше всяких записочек передадут кому следует и слово нежное, и название одного из благолепных храмов московских, где можно встретиться...

Время близится к полудню; ноябрьский день короток — спешить надо. И спешат, перегоняя друг друга, колымаги и сани.

Вдруг по всему широкому пути смятение: колымаги и сани сворачивают в сторону и останавливаются. Несколько вершников на лихих конях мчатся что есть духу и кричат зычным голосом: «Царь едет!» И точно, из-за поворота дороги, вся в ярких лентах и бубенчиках, вылетает тройка чудных коней.

В расшитых, изукрашенных коврами и причудливой резьбой санях широких, прикрытых богатой медвежьей полстью, видны две мужские фигуры, закутанные в собольи шубы и в высоких шапках. Хорошо знакомы в Москве два лица эти, — одно уже не первой молодости, благообразное и разумное, да и не без некоторого лукавства во взгляде. Другое лицо красоты поразительной, с ясными

небесного цвета глазами, с ласковой улыбкой и милыми, совсем еще детскими, ямочками на румяных щеках.

Тройка мчится, обдавая всех направо и налево снежной пылью. Все ломают шапки и низко кланяются.

Красавец юноша отвечает на поклоны. Его товарищ с важной, величественной осанкой тоже раскланивается.

Промчалась тройка, и за нею трогаются все остановившиеся колымаги и сани, и идет между москвичами всякого рода и звания, пола и возраста оживленный говор.

— Ишь, красотой какую наделил Господь царя нашего батюшку, Алексея Михайловича!... что девица красная, наш голубчик!...

— А боярин-то Борис Иванович Морозов, — замечают другие, — важность-то какая, сам, словно царь, раскланивается! Поди, чай, думает, коли бы один-то ехал, так и ему стали бы все кланяться... как же!...

— Ну да что тут, думай не думай, а тепло ему под царскою полстью. Люб ли он кому, нет ли, ему и горя мало. Что хочет, то и делает, всем заправляет. Государь молодой его как отца родного почитает. Да и отец-то, блаженной памяти государь Михаил Федорович, на смертном одре сыну наказывал: почитай-де и во всем слушайся Морозова-боярина, он тринадцать-де лет при тебе неотлучно, воспитал тебя, и такого-де слуги и советника тебе не сыскать. Счастье боярину, счастье великое, что и говорить, другому такого и во сне не привидится!...

Не красны царские палаты в селе Покровском, но любил, бывало, покойный царь Михаил Федорович наезжать сюда и тешиться разными забавами.

Перед палатами двор большой устроен, а на нем отгорожено место для звериной травли. Кругом того места скамьи для зрителей поставлены. Теперь эти скамьи просто ломаются, так много из Москвы наехало.

Бояре с боярынями и боярышнями места заняли, а те люди, что помельче чином, за их спинами теснятся, снег приминают в ожидании потехи.

Для государя с приближенными его на крыльце выставлены скамьи, покрытые ярким сукном и парчою.

К загороженному для травли месту ведет крытый, из досок сколоченный переходец: по этому-то переходцу зверей выведут. Оттуда уже раздается дикий звериный рев, заставляющий вздрагивать женщин и подзадоривающий любопытство мужчин.

Ворота заперты. Никого больше во двор не пускают, да и некуда, и без того давка страшная.

Вот на крыльцо наконец вышел молодой царь с боярином Морозовым и толпой царедворцев.

Он ласково поклонился всем собравшимся и, весело разговаривая с окружающими, присел на свою скамью царскую.

Тучный седовласый боярин, земно кланяясь царю, объявил, что все готово для начала потехи.

— Ладно, так пускай начинают! — расслышала присмиревшая толпа звонкий, почти еще детский голос.

Где— то в сенях, за дощатым переходом, послышался оглушительный рев, и через мгновение перед изумленными зрителями в загороженном, но со всех сторон открытом для взоров месте показался лев.

Женщины не стерпели и ахнули, многие так и совсем завизжали и стали прятаться за отцовские и мужнины шубы.

«А ну как прыгнет через загородку, да на нас!» — думала каждая из них.

То же, наверное, думали и многие мужчины, но старались, конечно, казаться спокойными.

Лев, однако, и не помышлял перепрыгивать через перегородку: он стоял очень смирно на месте, дрожа своим крепким, огромным телом и медленно встряхивая гривой. Перед ним в спокойной и непринужденной позе, с длинной плетью в руке поместился его «хозяин», привезший его из Кизылбаша. Это был бойкий детина атлетического телосложения с длинной черной бородою. Он называл себя Ильюшкой Микотиным, но никто не мог наверное сказать, кто он и откуда. Знали только, что привез он зверя невиданного царю в подарок — и царь так обрадовался, что наградил Микотина сукном на однорядку да на кафтан и деньгами пожаловал ему три рубля с полтиною. А затем он был оставлен при льве и давались ему «корм и помещенье».

— Может, и разбойник какой и душегубец, — говорили про Микотина, — да поневоле придется держать его, один он умеет со львом управляться. Лев-то, слышь, ему как малый ребенок покорствуется...

Вот и теперь, поглядел он несколько мгновений прямо в глаза льву, дернул своей плеткой, лев тихонько зарычал и лег перед ним, положив прямо на снег свою громадную, мохнатую голову.

Микотин крикнул какое-то непонятнее слово и тихо пошел, мерно шагая вокруг всей изгороди. Лев послушно пополз за ним. Зрители дивились немало.

— Этакого-то зверя страшного и приручил, гляди как! Премудрость!

Недолго, однако, тянулась львиная потеха. Морозу было около пяти градусов, и льва жалели. Его перевезли в Покровское в теплой клетке только для того, чтобы он показался царю и зрителям.

Главная потеха была впереди — медвежья травля.

Когда льва увели за загородку, вышло несколько человек охотников. Их выход был встречен громким одобрением со стороны зрителей. Эти охотники по всей Москве славились. Им уж не впервой приходилось выказывать чудеса ловкости, силы и смелости на медвежьей травле. Все они были одеты в короткие кафтаны, высокие сапоги и низкие меховые шапки с ушами. Вооружение их состояло из рогатины или ножа. Они подошли ближе к царскому крыльцу, поклонились царю и ждали, кому из них он назначит бороться со зверем.

Алексей Михайлович приподнялся с места и весело кивнул им головою.

— Все налицо, — сказал царь, — и ты, старина, здесь, Богдан Озорной!

Старик охотник, к которому обратился царь, еще раз поклонился в пояс и подтолкнул двух молодцов.

— А вот, батюшка государь, — проговорил он густым басом, — привел сынков двух своих, Никифора да Якова, прикажи и им потешить твою царскую милость.

Два рослых, здоровых парня, переминаясь с ноги на ногу, неловко стояли и поглядывали исподлобья, то и дело кланяясь.

— Не раз приводилось мне потешить государя батюшку, царя Михаила Федоровича, — продолжал Богдан Озорной, — и милость я его государскую к себе не раз видел, а ноне, вишь ты, старость одолевать стала, да и рука вот десная, как в позапрошлом лете помял ее мохнатый, что-то неладно ходит. Так, может, парни замест меня теперь потешат твои царские очи.

— Ладно! — сказал Алексей Михайлович. — Который из них старше-то? Пусть он и начинает, а мы посмотрим...

Охотники один за другим исчезли в крытом переходе. На арене остался только Никифор Озорной.

Он огляделся — кругом стена, стена крепкая, которую не сломаешь, через которую не перепрыгнешь в случае опасности. Но он не думал об опасности, он спокойно ожидал противника и отошел на ту сторону круга, которая была как раз против дворец крытого перехода.

Прошло несколько мгновений, зрители затаили дыхание.

На крыльце царском старые и молодые бояре сидели величаво, неподвижно.

Царь Алексей Михайлович нетерпеливо, сам не замечая того, слегка притопывал ногою и не мигая смотрел прямо на арену.

Вот близко, совсем близко раздался глухой рев, дверцы распахнулись, и громадный медведь показался оттуда. Медленно качая головою и изумленно оглядываясь по сторонам, он, очевидно, сразу не мог понять, где он и что это делается вокруг него. Но вот его маленькие, злобно горящие глаза остановились на человеке, бывшем перед ним на таком близком расстоянии. Медведь дрогнул, грозно зарычал, поднялся на задние лапы и прямо пошел на человека.

Как будто электрическая искра пробежала между зрителями. Опять раздались женские взвизгиванья, но уже никто не обращал на них внимания: все глядели, раскрыв рты и затаив дыхание, на арену.

Никифор Озорной быстро перекрестился, выставил вперед рогатину, отставил ногу и, напрягшись всеми мускулами, ждал противника. Медведь был уже совсем перед ним: неловкое движение, дрогнет рука, не хватит силы — и все пропало: зверь кинется на человека и начнет ломать его... Но Никифор не дрогнул, только глаза его странно, лихорадочно горели. В нем самом проснулся зверь,



проснулись злость и отвага. Ловким движением он направил рогатину и сразу всадил ее в грудь медведя, между двумя передними лапами.

Радостный гул пронесся по двору.

Царь невольно привстал со своего места и перекрестился.

Медведь ревел отчаянно и напирал на охотника. Но тот стоял неподвижно, не дрогнув ни одним могучим членом, крепко держал рогатину у ноги своей тупым концом, а острый все глубже и глубже входил в грудь зверя. Кругом белый снег уже начинал обгагряться кровью, от которой шел легкий пар в морозном воздухе.

Медведь еще продолжал стоять. Его рев раздавался все громче и громче, но теперь в этом реве слышались совсем новые звуки. Еще миг, еще одно неуловимое движение со стороны Никифора — и громадный зверь повалился всей своей тушей. Зрители закричали, заволновались. Теперь уже победа человека решена, самое важное сделано. Бой почти окончен, медведь погиб.

И действительно, медведь погиб, и торжествующий Никифор Озорной, забрызганный алой, горячей кровью, с побледневшим, но счастливым лицом стоял перед скамьею царской, и молодой царь говорил ему «спасибо».

Победителя охотника повели угощать вином и брагой; его ожидала царская награда: портище хорошего сукна на кафтан ценою в два рубля.

А на дворе и на крыльце царском все опять сидели и стояли неподвижно. Потеха еще не кончилась.

## II

Когда вытащили мертвого зверя и замели следы его крови, смешавшейся со снегом, дверца, на которую нетерпеливо смотрели зрители, снова распахнулась. На арену вышел новый охотник — старик небольшого роста, но плотный и, очевидно, необыкновенно сильный. Он был одет, как и его товарищи, в короткий кафтан; из-под меховой шапки выбивались пряди седых волос, небольшая седая борода торчала клином; но в выражении его благообразного лица сразу замечалось что-то странное.

Выйдя из дверцы, он остановился и потом обошел всю арену, одной рукой опираясь на свою рогатину, а другою ощупывая стену.

— Слепой, Слепой! — пробежало между зрителями.

Действительно, охотник этот был Слепой — таково было его прозвище, а прозвище такое дали ему потому, что он был слеп на оба глаза. И между тем Слепой был одним из лучших царских охотников. Не раз, на удивление всей Москве, он бился с медведем и побеждал его. Его кости, однако, испытали тяжесть лап медвежьих, но все же вот дожил он до старости и невредим остался.

Появление слепого на арене было, конечно, самым интересным зрелищем. На борьбу зрячего охотника с медведем смотрели с любопытством, но не видели в этой борьбе ничего особенного: так к ней привыкли, — да и сами охотники шли на медведя как бы шутя и, побеждая его, не считали это особенным подвигом. А помнет медведь — не беда, мало ли что бывает; совсем убьет, разорвет в клочья — ну что делать, Божья воля, должно, худой охотник, коли не сумел справиться со зверем. Но со слепым выходило совсем другое дело — слепой человек не видит врага своего, ужасного врага, победить которого можно только верно и метко рассчитанным ударом.

Слепой так же, как и его предшественник, обойдя арену, остановился на противоположном конце. Он снял свою шапку — обнаруживая при этом огромный красный рубец на лысом лбу, — подпрятал длинные меховые уши шапки да и опять надел ее на голову. Он не мог закрывать своих ушей — ему нужно было чутко слушать: уши были его глазами.

Слепой стоял и ждал. И все заметили, что он держит рогатину вовсе не так, как держал ее Никифор, а между тем все хорошо знали, каким образом охотник должен встречать медведя.

Что же это такое? Неужели старик так и даст себя на растерзанье зверю? Зверь уж близок, вот у самой дверцы слышен рев его, вот он показался — медведь огромный, больше первого, — вот он увидел противника, по обычаю поднялся на задние лапы и идет на него.

Зрители замерли, даже не слышно женских визгов, даже закутанные фатою боярыни и боярышни не прячутся, а смотрят во все глаза: слишком уж страшно, слишком любопытно.

Медведь подходит к слепому охотнику — и вдруг, в одно мгновение ока, охотник делает прыжок и оказывается совсем в другой стороне арены. Зрители ахнули в один голос, даже медведь остановился в изумлении, неуклюже поворотился и опять пошел на

Слепого. Но и тут Слепой готов был его встретить. Он уже держал рогатину по всем правилам, прямо перед собою. Он стоял неподвижно, немного склонив голову на правую сторону, очевидно, всем существом своим прислушиваясь. Вот уже почти над самым ухом его раздается свирепое рычание. Крепкой рукой упирает он перед собой рогатину и попадает ею в медведя. Медведь завопил. Но что это такое? Должно быть, старик все же не рассчитал удара: одной лапой медведь ударил его по плечу и вцепился в него своими крепкими когтями. Старик даже слабо вскрикнул, пошатнулся под натиском медвежьей лапы и присел на землю.

На крыльце царском произошло движение.

Алексей Михайлович вскочил со своего места и закричал громким голосом:

— Эй! Скорее кто-нибудь на помощь к Слепому; ведь зверь разорвет его!

Но Слепой не потерял присутствия духа. Он был уже под медведем; тот, разъяренный страшной болью от рогатины, которую чувствовал в груди, наваливался на него всем своим грузным туловищем. Вдруг Слепой, как-то весь согнувшись кольцом, извернулся и высвободился из-под медведя. Быстрым движением выхватил он нож и по самую рукоятку всунул его в горло зверю. Медведь завопил, кровь так и хлынула у него из раны, он повалился и задергал могучими лапами. Слепой охотник, с разодранным рукавом кафтана и окровавленной шеей, стоял спокойно, высоко подняв голову; незрячие, но открытые глаза его блестели на солнце.

Неудержимые, безумные крики поднялись со всех сторон и долго не смолкали.

Царь велел подвести к себе Слепого, велел осмотреть его рану и поскорей перевязать; расспрашивал, где помял медведь, очень ли больно.

— Пустое, батюшка государь, пустое, — повторял Слепой. — Уж ты не взыщи на мне, старом, что чуть было перед тобою не осрамился я ныне. Вестимо дело, это мне не впервой — я его, где он, и с какой стороны, и как ко мне подходит, не то что ушами, а даже и носом чую, а все же иной раз промахнешься. Ну да и силы уж не те ноне стали. Прежде, бывало, как сунешь в него, это, рогатину, так сразу и чувствуешь, что она прошла, куда ей следует...

— Да что ты там толкуешь, — перебил его царь, — «силы нет», ныне показал ты нам, какая в тебе сила. Коли бы не видел своими глазами, что ты такое сделал, так и не поверил бы людям. Спасибо, старина, — за такую твою службу мы велим наградить тебя, — а только вот что я скажу тебе: довольно, не выходи ты больше на травлю — неровен час, а я не хочу, чтобы тебя зверь на моих глазах растерзал.

И царь, ласково и печально улыбаясь Слепому, будто тот мог видеть эту улыбку, положил ему на плечо свою женственно нежную и белую, но уже крепкую руку.

Старик почувствовал царское прикосновение и дрогнувшим голосом проговорил:

— Царь-государь, на добром твоём слове тебе великое спасибо, но уж дозвожь ты мне, пока силы хватает, ходить на медведя. Почитай, что издетства охотничал, ещё как глаза видели свет Божий, а как наказал меня Господь слепотою, покрыл тьмою крошечною очей мои, и то не оставил я своего дела. И ныне, как ни есть, а привелось мне потешить тебя, царя-батюшку, так уж и до конца живота своего мне ходить надобно на медведя... може, мне так написано и умереть под медведем, а я только одно ведаю, что коли мне запрет будет от тебя, так я с одной тоски помру.

— Ну как знаешь, старик, как знаешь! — проговорил Алексей Михайлович и, махнув рукою, чтоб увели Слепого, сел на своё место, и окружающие заметили, как словно туманом каким заволокло светлое и радостное лицо юноши.

Несколько минут просидел он неподвижно. На арену выходили новые охотники, и должны были появиться сразу три медведя. Но эти охотники и эти медведи были уже не чета прежним. Эти медведи были ручные, и выводились они не для травли, не на смерть, а токмо на потеху христианскому люду. Охотники встречали их не рогатиной, а словам смешливым да прибаутками. По приказу этих охотников медведи представляли: и как карлы ходят престарелые, и как хромою ногу таскает, и как жена милого мужа приголубливает, и как малые ребята горох воруют и ползают, где сухо — на брюхе, а где мокро — на коленях, — и много разного другого.

Эти медведи водку пили из стаканчиков и потом лапой утирались и кланялись православному люду, и люд православный заливался неудержимым хохотом.

Царь Алексей Михайлович особенно любил таких ученых медведей, но теперь он на них и не смотрит. Сидит он опустив голову, и с недоумением, отводя глаза от потехи, поглядывают на него окружающие, и пристальнее всех поглядывает боярин Морозов.

«Что такое случилось с государем? Все был весел и радостен и так любопытно глядел на травлю — известно как любит он эти забавы. Что это, Слепой, что ли, так огорчил его? У государя сердце больно мягкое, доброта в нем великая...»

Но хоть и помял медведь Слепого, да немного, и сам Слепой, смыв кровь с плеча да обвязав его мокрой тряпкой, теперь как ни в чем не бывало пирует среди товарищей.

«Что бы такое это быть могло? — думает боярин Морозов. — И уже не впервой я то замечаю: все весел, весел — и вдруг как туча черная найдет на него, глядит совсем иначе. Не дай бог, уж не болесть ли какая с ним, не испортил ли кто государя?»

— Что это ты, государь, золотой мой, — шепчет Морозов своему питомцу, — али, не дай Бог, нездоровится тебе?

— Нет, я здоров, чего это ты, Иваныч?! — отвечает царь и улыбается.

Но не весела и не радостна его улыбка, как-то даже побледнели его румяные щеки.

— Скучно, Иваныч, — прибавляет царь и зевает и потягивается. — Все одно и то же... эти медвежьи штуки! Пусть кто хочет остается, а мы поедем-ка в Москву лучше!

Он встает со своей парчовой скамьи и уходит с крыльца в хоромы.

Морозов, переглянувшись кое с кем из окружающих, следует за государем.

### III

Во всю дорогу, до самой Москвы, не мог развеселиться Алексей Михайлович. На все расспросы Морозова он отвечал, что чувствует себя совершенно здоровым и что просто ему скучно стало.

— Да вот плохо ночью спал, — наконец объяснил он. — Так, может, оттого и скучно: что-то в сон клонит.

Он прислонился к высокой ковровой спинке саней и закрыл глаза.

Морозов решился оставить его в покое, хоть и признавал, что сон — только отговорка, что царю вовсе не спать хочется, а этими словами он желает просто-напросто отвязаться от его, Морозова, расспросов. Так оно и было: не дремал, сидя с закрытыми глазами, царь молодой.

«Что такое со мною? — думал он. — Да ничего, ничего, просто скучно. И откуда скука такая берется? Прежде ее не бывало».

Он совсем переставал думать и только прислушивался к скрипу снега под полозьями саней. Он только вдыхал в себя чистый морозный воздух, открывал глаза, мгновенно взглядывал на озаренную заходящим солнцем снежную поляну и опять закрывал их и следил, как перед закрытыми глазами мелькают отражения солнечного света, как ходят золотые кружки и потом отливают то голубизною, то зеленью, потом темнеют, наконец исчезают

Что— то тихое, тихое и тоскливое наплывает на сердце, что-то звенит будто в ушах, какие-то слова неясные, не то песня, не то музыка —и опять ничего, и опять все в тумане

Потом вдруг мелькнут живо и ясно, хоть и на мгновенье, образы покойного отца, покойной матери — и расплывутся. Дрогнет сердце при воспоминании о недавней утрате, но новый неясный образ, новое ощущение — жуткое, непонятное, встрепет в груди. Мелькнет как будто радость, какой никогда не бывало, ожидание чего-то необычайного и счастливого, что близко, вот-вот будет... Но ничего этого нету... и снова тоска, снова скука.

Что, уж и впрямь не болезнь ли это лихая? Не испортил ли кто? Не вынул ли лиходей какой царского следу? Не подкинул ли какую траву негодную на пути царском? Нет! Здоров, полон силы и свежести семнадцатилетний царь Алексей Михайлович. Никто не испортил его. Нет у него лютых врагов, нет в нем лихих болезней. То не болезни, а юность, и силы, и здоровье сказываются, и просят новой жизни, нового счастья, и поют, и шепчут сердцу, что есть какая-то страна заколдованная и что пришло время заглянуть в страну эту. Вышел из детства царь Алексей Михайлович, жить просится, хоть и сам того не ведает.

Да, прошли детские годы и как прошли-то быстро, и сколько милого, сколько светлого прошло с ними! Какие перемены! Давно ли все это было? Давно ли никакой заботы, никакого горя, никакой темной мысли не знал счастливый мальчик?

Судьба все дала ему для счастливого детства: и отца доброго, и мать нежную, и по сердцу разумного воспитателя, и к ученью большие способности, и к забавам немалую охоту. Не нарадовались, не нагляделись на свое дитяtko царь Михаил Федорович с царицею Евдокиєю Лукьяновной. Глядя на него, разумного, да доброго, да пригожего, — грезили они, что вырастят его, найдут ему невесту по мыслям, будут радоваться на его счастье, нянчить внучат будут, а потом, в тихой старости, отойдут в лучший мир, устроив все житейские дела свои и успокоившись духом.

Но судьба решила иначе. До срока, до времени скончался царь Михаил Федорович, а через несколько месяцев последовала за ним и царица Евдокия Лукьяновна. Государство Русское присягнуло шестнадцатилетнему юноше. Алексей Михайлович, едва справясь со своим горем, едва осушив слезы на гробе добрых родителей, увидел себя главою великого царства.

Долго все было перед ним как бы в тумане, долго ничего сообразить он не мог, но сообразить нужно было, и он очнулся от своего горя, от своего изумления, понял свое новое положение — и все ближние люди увидели в нем необычайную перемену. Вчерашний ребенок явился разумным юношей и сразу выказал свои блестящие способности и доказал всем, что учился он не даром и что разумные были у него наставники. Первый из них, боярин Борис Иванович Морозов, продолжал иметь на него сильное влияние, продолжал быть самым близким к нему человеком. Даже после смерти царя и царицы эта связь еще более окрепла. Борис Иванович управлял теперь всеми делами, был первым лицом в государстве. Перед ним все должны были склоняться, сознавая, что силу его поколебать невозможно. Но сам Борис Иванович хорошо видел, что не может он назвать себя самовластным господином. Как ни молод, как ни робок еще его воспитанник, а все же не даст себя в обиду, не позволит вести дела по произволу. В каждом важном деле отчета требует, в каждое важное дело своим юным умом вникает, всем интересуется: «добрый государь будет, добрый и разумный!»

И Борис Иванович держит ухо востро, каждый шаг свой обдумывает, чтоб так или иначе не повредить себе, чтоб поддержать свою связь с государем, чтоб увеличить свое на него влияние.

«Сегодня все в моих руках, — рассуждает про себя хитрый боярин, — но надо подумать и о завтрашнем дне».

И сильно он об этом думает. Думает он и теперь, то и дело посматривая на Алексея Михайловича и раскидывая в уме своем, что бы значило его странное состояние, которое уж не в первый раз он в нем замечает. Сегодня особенно это в глаза бросается. Медлить невозможно, нужно узнать, в чем дело и как помочь этому делу! Нужно переговорить с разумным человеком, ибо ум хорошо, а два — лучше. Разумный человек есть — думный дьяк Назар Чистой, бывший купец ярославский, но теперь видную роль играющий в делах государственных и во дворце царском.

Молодой царь любит Чистого, хоть если бы заглянул он в душу его лукавую, то разлюбил бы. Но душа — невидимка, а на лице думного дьяка такое ясное веселье, такая радушная доброта написаны. Так умеет он разумной и веселой речью развлечь государя, заинтересовать его. Так забавно рассказывает он ему всякие любопытные истории.

Чистой теперь едет с двумя боярами за санями государя. Вот они въехали в Москву, проехали по людным, народом кишачим улицам, в Кремль въехали и остановились перед царскими палатами.

Царь Алексей Михайлович открыл глаза, равнодушно взглянул на свое царское жилище и, поддерживаемый Морозовым, вышел из саней. У крыльца и в сенях его дожидались царедворцы. Ожидали они его милостивого и ласкового слова, его рассказа о медвежьей потехе, которую всегда так любил он.

Но на этот раз царь молчал и только заметил, что проголодался и что не худо было бы поторопить с ужином.

— А пока я пройду к сестрам, — сказал он боярину Морозову.

## IV

В последнее время он довольно редко посещал женские хоромы: слишком много было дела. Он продолжал еще и науками заниматься и интересовался всеми делами государственными, заседал с боярами. К тому же его и не тянуло особенно на женскую половину дворца. Связь с ней рушилась со времени смерти матери, да, может быть, в царе



говорило и молодое самолюбие: хотелось показать, что он уже человек взрослый, что ему и не след, и неохота проводить время с бабами.

Но теперь ему захотелось в терем, и шел он по дворцовым коридорчикам и разнообразным палатам, то поднимаясь на несколько ступенек, то спускаясь вниз, шел он, и представлялось ему, как, бывало, спешил он по этой дороге к матери, как она встречала его лаской и поцелуями, как всегда у нее готовы были для него всякие сласти и угощения. Невольные слезинки показались в глазах его.

Вот он и в тереме. В тепло натопленной горнице, с украшенной хитро расписанными изразцами печью и лежанкой, сидят его сестры за работою. Вокруг них больше дюжины молодых девушек, а на лежанке старая сказочница, уже много лет проживающая в царском тереме и забавляющая его обитательниц своими рассказами. Она сидит, поджав старые ноги, на теплой лежанке и тянет что-то дребезжащим голосом. Царевны и их подруги внимательно слушают.

Алексей Михайлович остановился у порога.

Сотни раз слушал он эту сказку и наизусть ее знает; точно так же знают ее и теперешние слушательницы. Но им интересно следить за рассказом, за мастерскими переменами интонаций старческого голоса.

О, как все это знакомо молодому царю, вся эта горница, каждая в ней вещица!

Вот спокойное, затейливое креслице, которое лет десять назад государь Михаил Федорович подарил своей супруге. Теперь сидит на нем царевна Татьяна.

Она первая увидела брата и встала ему навстречу.

Между молодыми девушками произошло движение; некоторые из них прикрыли свое лицо фатою, а другие так и остались, они еще не успели примириться с мыслью, что Алеша царь, они все еще называли его промеж себя Алешей и перед ним не чинились.

— Что так рано, братец? — сказала царевна Татьяна, здороваясь и целуясь с царем. — Мы думали, ты сегодня и не вернешься из Покровского... Ну что, хороша была потеха?

— Хороша, — ответил царь, — а все-таки скучно — все одно и то же.

— Да оно точно, — заметила другая царевна, Ирина, — для тебя, может, и скучно, ты этих потех довольно навидался, а вот мы так в кои-то веки увидим, нам все и внове, все забавно.

— А коли забавно, — сказал Алексей, — так отчего же вы, сестрицы, не поехали, я вам в этом не препятствую и ничего тут не вижу зазорного.

— Нет, государь-батюшка, не говори ты так царевнам, — медленно и с достоинством заметила старая боярыня, входя в горницу, — негоже царевнам часто показываться перед народом. А вот коли будет твоя милость, так прикажи в Покровском, как затеется опять травля, у крылечка такое место загороженное, укромное сделать, чтоб можно было в нем от всяких взоров людских укрыться, тогда и сестрицы твои посмотрят на забаву. Уж ты не взыщи на моих словах, государь. Великий тебе разум дал Господь, а все же годочков тебе еще мало, многого ты еще не ведаешь, так нечего сестриц смущать. Нам, старухам, про то надлежит ведать, что для них зазорно и что не зазорно.

Боярыня сжала губы, укоризненно покачала головою и плавною походкой опять вышла из горницы.

Алексей усмехнулся ей вслед и махнул рукою. Молодые боярышни лукаво перемигнулись.

— Ну, рассказывай, братец, все по ряду, как и что было? — стали приставать к нему сестры.

Он начал рассказывать, но на этот раз как-то неохотно. Его мысли были далеко, а где — он и сам не ведал.

Начинались сумерки. В теремной горнице водворился тихий полусвет; мешались последние отблески дня, врывавшегося в маленькие слюдяные оконца, да красноватый огонь нескольких лампад в углу у дорогого киота. И вдруг начинало казаться Алексею, что эта знакомая горница стала изменяться. Все принимало новые причудливые очертания — и прежде всего эти знакомые девичьи лица.

Глядит Алексей на одну из боярышень; он давно ее знает, он никогда не обращал на нее особенного внимания, а теперь глядит, не отрывается от нее жадным взглядом, и замирают на устах его слова, и не слышит он, как сестры понуждают его рассказывать.

Боярышня сидит на низкой скамеечке, прислонясь к теплым изразцам печи. На ней сарафан алого цвета, легкая дымка фаты обвивает ее плечи. Склонилась голова ее на руки, тяжелая коса свесилась и лежит на ковре, перевитая лентами. Глаза глядят

задумчиво неведомо куда, а на полных губах мелькает неопределенная улыбка.

«Да ведь это Сонюшка! — думает Алексей Михайлович. — Что ж это я так смотрю на нее? что в ней особенного? Толстая Сонюшка, она ведь у меня леденцы воровала!... Бывало, матушка пошлет ее ко мне с леденцами, она принести принесет на блюдце, а у самой губы и все лицо сладкие и карман так и оттопырится. Бывало, матушка опустит руку ей в карман и вытащит оттуда леденцы, потом и журить ее станет... Да, это Сонюшка, но ведь я никогда ее не видал такою, она теперь совсем особенная; какие у нее хорошенькие глазки, какая коса густая да длинная!...»

И глядит Алексей Михайлович на девушку, и жутко и сладко ему становится, и сам он не понимает, что все это такое.

Вот ему хочется поближе подсесть к ней, взять ее за руки полные, поцеловать ее румяные губы.

Он приподнялся тихонько с места, подошел к Сонюшке и опустился на скамью перед нею.

— Что это ты задумалась? али тебе нездоровится? Ты зачем же прислонилась к печке, от жару только голова разболится, — проговорил он обрывающимся голосом и положил руку на плечо девушки.

Рука его вдруг похолодела и дрогнула. Сонюшка взглянула на него, смутилась, яркая краска разлилась по лицу ее. Она быстро встала на ноги и прошептала;

— Я здорова, государь; что это тебе показалось?

Но он уже очнулся. Ему почему-то стало стыдно. Он был недоволен собою.

— Пора ужинать, чай, бояре заждались меня, — сказал он и смущенный, с опущенными глазами, будто провинившийся, вышел из горницы.

## V

Между тем уже давно стемнело. Вокруг дворца было тихо, впрочем, и всегда, за исключением разве каких-нибудь особенных случаев, здесь соблюдалась, по возможности, тишина. Лошади и экипажи не должны были подъезжать к крыльцу, а останавливались на

довольно значительном расстоянии, и все люди, имевшие доступ во дворец, приближались к нему пешком и сняв шапки. Бояре, окольные, думные и ближние люди имели право входить в «верх», т.е. в жилые хоромы государя. Здесь они обыкновенно дожидались в «передней». Эта «передняя» была заветною мечтою очень многих родовитых и заслуженных людей, которые нередко били челом государю, униженно моля его за их и родительские службишки наградить их — дозволить быть в «передней».

Люди же не столь близкие к особе государя — стольники, стряпчие, дворяне, стрелецкие начальники и дьяки — не смели и помыслить о «верхе» и «передней». Они собирались на «постельном крыльце», где постоянно была изрядная толкотня и редкий день обходился без какой-нибудь крупной ссоры, разбирать которую приходилось часто самому государю.

Теперь, однако, благодаря вечернему часу «постельное крыльцо» было почти пусто; на нем виднелись только три-четыре фигуры, мерно расхаживающие в полумраке. Это были старые дворяне, имевшие обычай толкаться у дворца до тех пор, пока их не попросят удалиться. Они хорошо знали, что никакой выгоды не получают от этого снования взад и вперед по крыльцу «постельному», но каждый все же держал в мыслях: а вдруг, не ровен час, его заметят да и пожалуют, а не то, все же придется новость какую-нибудь интересную услышать, которую можно будет потом разнести по городу со всевозможными прикрасами. И они ждут час за часом, почтительно пропуская мимо себя счастливых, отправляющихся в «верх», переговариваются с дворцового прислугой, следят за сменяющимся караулом, всюду во дворце расставленным, голодают и дрожат от холода...

Зимняя ночь уже совсем наступила. Мраком окуталось причудливое дворцовое здание со своими роскошными парадными палатами. Полоса яркого света блеснула с лестницы, ведущей в государевы покои. Туда, туда бы пробраться, хоть глазком одним взглянуть, что там творится! Но лестница заперта медною золоченою решеткой.

Небольшие, уютные хоромы царя освещены восковыми свечами, вставленными в стенные подсвечники. Хоромы эти блестят новизною — они наряжены недавно покойным царем Михаилом Федоровичем<sup>[1]</sup>, которому так и не привелось пожить в них. Стены и потолки обшиты

красным тесом и изукрашены тонкой столярной резьбой, а некоторые обвешаны яркими сукнами, атласами и парчою. Пол устлан мягкими восточными коврами, а в сенях и коридорчиках расписан красками в шахматах и под мрамор. Маленькие, по большей еще части слюдяные, окошки красиво расписаны, но теперь их не видно, так как время зимнее, морозное, и с наступлением вечера закрыты они изнутри втулками теплыми, стегаными. По углам хором жарко натопленные печи изразцовые: синие и зеленые, некоторые из них четырехугольные, другие круглые. Все они снизу доверху по изразцам расписаны травами, цветами, людьми, животными и разным узорочьем. На стенах развешаны листы фряжские (гравюры) и парсуны (портреты царские). У стен расставлены, одна возле другой, лавки, покрытые шелковыми стегаными матрасиками. Кое-где видны между лавок немецкие и польские столы с кривыми резными ножками на львиных лапах: все они хитро разрисованы по золоту и серебру.

Обширнее всех покоев Передняя да находящаяся рядом с нею Комната, то есть по-нынешнему кабинет царя. В Передней, в углу, большое, обтянутое парчою кресло на возвышении — это царское место. В Комнате, в переднем углу под образами, тоже большое кресло, но не на возвышении; перед креслом стол письменный большого размера, покрытый тонким алым сукном с золотою бахромою. На столе часы заморской работы, изображающие рыцаря в полном вооружении, серебряная чернильница с песочницею и трубкою, где перья мочить. Вокруг чернильницы разложены перья лебяжьи, серебряный свисток с финифтью, заменяющий колокольчик, перочинный ножик, карандаши в серебряной оправе, зубочистка и ухвертка. Далее — клеельница с клеем: это вещь очень необходимая, так как бумага в то время резалась на столбцы, которые по написании подклеивались один под другой. Потом, тут же на столе, «книга уложенная», то есть «Уложение». Книга эта довольно истрепана от частого употребления покойным государем и уже хорошо знакома молодому царю Алексею Михайловичу. Возле письменного стола другой маленький стол с шахматной доской и костяным шахматным ящиком. По стенам Комнаты, где нет лавок, поставцы с полками и выдвижными ящиками; тут хранятся бумаги, письма и любимые вещи царя, его нарядные платья, драгоценные изделия золотые, иноземная монета. Кроме того, в Комнате большая книгохранилище со

многими книгами, главным образом духовного содержания, да несколько длинных висячих полок с золотою и серебряною посудою иноземной работы. Посуда эта — по большей части дары иностранных государей и послов. И каких, каких фигур тут нету! Вот немка золоченая серебряная: держит она в руках сосудец с крышкою; другая немка с лоханкою в руках; третья с ведром; кубок золотой, в виде крылатого змея, расписан весь финифтью, а глава змеиная — изумруд большой, в глазах яхонт, а во рту держит змей голову человеческую. Вот медведь, вот слон, кораблик на колесах; и не перечесть всех фигур затейливых. Любит Алексей Михайлович, оставшись один в Комнате и утомившись от занятий, разглядывать эти фигуры. Снимает он их осторожно с полок, вертит во все стороны, любит хитрою работою, а заслышит шаги чьи, тотчас же поставит фигуры на полку и зардеется румянцем — боится, скажут: «Царь еще малолеток, игрушками, гляди, занимается!» Да уж хитры больно и заняты игрушки-то эти!

В этой же царской Комнате накрыт теперь небольшой стол для ужина. Царь очень часто даже и обедает здесь с двумя-тремя из людей самых близких. В Передней давно его дожидаются Борис Иванович Морозов, Назар Чистой да князь Прозоровский.

Показался наконец Алексей Михайлович, все в том же смущенном и возбужденном состоянии духа, в каком вышел из сестриных хором.

— Не взыщите, задержал вас, — сказал он, обращаясь к присутствующим, — чай, проголодались, да и самому есть хочется; пойдемте!

Морозов подал знак дежурному стольнику, чтобы подавали ужин, и все вошли в Комнату. Алексей Михайлович, еще не подходя к столу, приблизился к иконам и, опустившись на колени, набожно крестясь и кладя земные поклоны, громко произнес молитву, слова которой за ним повторили и Морозов с товарищами. Потом чинно приблизился к столу, перекрестил свой прибор и сел на лавку.

Несмотря на почти еще детские годы, Алексей Михайлович уже выказывал многие черты характера и привычки, которые впоследствии развились в нем и всегда его отличали. Так, он уже и теперь удивлял приближенных необыкновенным своим благочестием и неизменной аккуратностью. Никакие забавы, никакое утомление не могли отвлечь его от молитвы, и только в самых крайних случаях отступал он от раз заведенного и утвержденного покойными родителями порядка своей

повседневной жизни. Никогда не позволял он себе излишества в пище и питье, строго соблюдал все посты, да и во дни скоромные кушал очень умеренно и самые простые яства. И теперь стольник поставил перед ним кусок ржаного хлеба с солью, тарелку с солеными грибами и огурцом и маленькую жареную рыбу. Но прежде чем царь прикоснулся ко всему этому, подошел кравчий и отведал всего по кусочку. Без этой церемонии, по издавна заведенному обычаю, царь не мог приступить к еде. Необходимо было очевидное доказательство, что в кушанье не подмешано никакой отравы или зелья.

Вслед за кушаньями государя стали вносить множество блюд. Тут были всевозможные пироги, заливные, разные тельные<sup>[2]</sup>, а потом и похлебки. Государь равнодушно взглядывал на каждое из этих кушаний и приказывал ставить их то перед боярином Морозовым, то перед Назаром Чистым, то перед князем Прозоровским. Большинство же блюд уносилось нетронутыми и поступало в распоряжение дворцовой челяди. Ужин продолжался в глубочайшем молчании; но вот государь насытился и подал знак стоявшему за ним чашнику.

— Государь великий, чего твоей милости угодно? — проговорил чашник.

— А дай-ка мне кваску да меду сладкого, — сказал Алексей Михайлович.

Чашник засуетился, налил из двух кубков, с квасом и медом, немного в ковш, сам попробовал, а кубки поставил перед государем. Собеседники же царские прихлебывали в это время старое заморское вино и то и дело повторяли: «За здоровье твое, государь!»

Мало— помалу Алексей Михайлович разговорился.

— Что это, никак, у нас нынче тихо на крыльце постельном? — с улыбкой заметил он. — Видно, никого нету, а то уж наверно ссору бы затеяли.

— Да некому нынче и быть, — ответил Морозов. — День не такой да и поздно.

— А что же вчерашний-то шум? — перебил его Алексей Михайлович, обращаясь к Прозоровскому. — Что такое вышло? Расскажи на милость. Я еще утром хотел спросить тебя, да за сборами в Покровское запамятовал.

Прозоровский поставил на стол свой кубок, вытер усы и бороду и заговорил:

— А дело все то же, что и всегда: схватился князь Евфим Мышецкий с Федором Нащокиным и Иваном Бужениновым...<sup>[3]</sup> и бьет он теперь челом тебе, государь, и самое-то его челобитье со мною.

— Ну покажи, прочитай зараз уж, а мы послушаем, — сказал Алексей Михайлович и слегка зевнул, закрывая рот своею белой рукою.

Князь Прозоровский вынул из кармана сверток бумаги и начал читать:

— «Бьет челом холоп твой Еуфимка Мышецкий на Федора Васильева сына Нащокина и на Ивана Иванова сына Буженинова, что они нас, холопей твоих, и родителей наших бесчестили; Федор Нащокин называл нас, холопей твоих, всех боярскими и конюховыми детьми на Постельном Крыльце, передо всеми, а Иван Буженинов на Постельном же Крыльце называл меня, холопа твоего, дьяком, а детишек моих подьячими и ворами и подписчиками, будто мы подписывали воровские грамоты»...

— Довольно! — перебил государь. — Известное дело, дальше то же самое, только на лады разные. Уж и как мне все эти ссоры да челобитные надоели! Грызутся люди...

— А вот что, государь, — заметил Морозов, — раз навсегда всех этих молодцов, и старых, и малых, проучить нужно. Привычны они, что как подерутся или погрызутся, так сейчас и к государю, а царь их слова дерзкие и срамные слушай да мири их. Приказать бы, государь, князю Семену Васильевичу (он указал на Прозоровского) да еще кому ведаешь сделать обыск по этому самому делу, а потом повести его по суду: пускай князь Мышецкий ищет судом свое бесчестие.

Царь задумался.

— Ладно ли так? — нерешительно сказал он. — Больно обидится; ведь тут он что пишет? «Родительское бесчестие», говорит, так в делах таких, сам ты, Иваныч, не раз мне сказывал, суда не бывало.

— Точно, обидится, — сказал Назар Чистой, — только на это что же смотреть. Это боярин Борис Иваныч верно молвил, надо бы отучить идти к государю со всякой дрянью... пусть себе обидится князь Мышецкий, невелика важность, зато другой вперед будет обдумчивее.



— Быть по-вашему! — решил Алексей Михайлович и начал вставать из-за стола.

## VI

Простясь с Прозоровским, Алексей Михайлович прошел в Крестовую, или моленную, сопровождаемый своими неизменными спутниками Морозовым и Чистым. Очередной священник давно уж поджидал государя в Крестовой и, только что взошел он, начал привычным, монотонным голосом читать вечерние молитвы.

Алексей Михайлович, пройдя на свое постоянное место, сейчас же стал класть земные поклоны и долго потом стоял на коленях на небольшой поклонной колодочке, то есть низенькой скамейке, обитой узорчатым восточным бархатом и обшитой позументом. Никогда никакое утомление или разнообразие дневных впечатлений не мешали ему проводить, перед отходом ко сну, около часу в Крестовой. Он неустанно и благоговейно слушал молитвы и чтение Златоуста — сборника учительных слов, расположенных по дням года.

Он почти всегда умел в этот тихий вечерний час отдаляться от всех земных помыслов и находить неизъяснимое блаженство в горячей молитве. Но теперь что-то мешало ему молиться, как мешало и весь день заниматься обычным делом. Как утром любимая забава вдруг показалась ему скучною, так и теперь он не мог вникнуть в смысл слов, произносимых священником. Он слышал только его однообразный, несколько гнусливый голос, и этот голос как будто начинал даже раздражать его. Его взоры рассеянно бродили по сторонам, и вместо общего впечатления тихой, благотворно действующей на сердце красоты моленной, слабо освещаемой лампадами, он замечал каждый отдельный предмет, и в то же время все эти священные предметы казались теперь ему чем-то чужим, незнакомым и не имеющим никакого значения.

Вот прямо перед ним богатый иконостас в несколько ярусов, занимающий всю стену. Из-за золота и тонкой резьбы в полусвете выделяются лики Спасителя, Богородицы, Крестителя и Угодников. Но они уже не глядят на него как прежде, не глядят прямо в глаза ему с кроткой и благословляющей улыбкой. Они бледны и туманны. Тусклы и бесцветны драгоценные камни, их украшающие; странно и

некрасиво как-то висят на них длинные, широкие ленты и пелены, шитые золотом, низанные жемчугом, украшенные драгоценностями — мелкими серебряными и золотыми иконами. Причудливые, дикие формы принимают привесы, то есть крестики, серьги, перстни и золотые монеты, украшающие киоты на боковых стенах.

Устали и дрожат колени молодого царя, и поднимается он с бархатной скамейки, и переминается с ноги на ногу — и все силы напрягает, чтобы вслушаться в слова молитвы. Но слова эти по-прежнему, одно за другим, мерно звучат и исчезают. Царь на лету ловит некоторые из них, машинально повторяет — и забывает тотчас же. Его рука привычным движением творит крестное знамение, а взоры опять бродят и останавливаются на богатых золотых ковчежцах, расставленных в углах у самого иконостаса и по всем стенам Крестовой. В этих ковчежцах хранятся смирна, ливан, меры Гроба Господня, свечи воску ярого, выкрашенные зеленою краскою и перевитые сусальным золотом. Свечи эти были зажжены от огня небесного в Иерусалиме, в день Пасхи и погашены вскоре, чтобы хранить их как святыню. Тут же части мощей, зуб святого Антипия, часть камня, павшего с неба, камень от Голгофы, от столпа, у коего Христос мучим был, от того места, где Он молился и говорил: «Отче наш!» — от Гроба Господня, песок реки Иорданской, часть от дуба Мамврийского, финики с того места, где был Моисеев жезл, — и многое множество святынь, присланных в разные времена патриархами или поднесенных царю русскими богомольцами. Рядом с ковчежцами поставлены пузырьки со святою водою и чудотворными монастырскими медами, восковые сосудцы с водою реки Иордана.

Бывало, Алексей Михайлович и в неурочные часы дня пробирается тихо в Крестовую и с великим благоговением оглядывает все эти святыни, жарко молится и прикладывается к ним устами, а в мыслях один за другим проходят святыне образы, сказания Ветхого и Нового Завета. Вспоминаются ему чудные рассказы богомольцев, мечтает он, как поедет ко Святым местам, как сам зажжет свечу от огня небесного. Но теперь все эти ковчежцы ничего не говорят его сердцу, а между тем бьется и трепещет сердце. И опять то смутное и неведомое чувство, которое весь день его преследует, опять растет оно в нем.

— Помилуй мя Господи, Господи помилуй! — шепчет Алексей Михайлович, содрогаясь. — Что это со мною, бес меня искушает... и где же, когда, в каком месте!...

Дрожь пробегает по телу государя; со страхом оглядывается он, словно думает увидеть за собою беса-искусителя. Но все тихо и мирно в Крестовой. По-прежнему льют свой теплый, неугасимый свет лампы. Набожно кладут земные поклоны Морозов и Чистой в уголку, у входной двери. И так же мерно звучат непонятные ему теперь слова священника. Легкий дымок душистого ладана ходит по Крестовой и пробирается сероватыми струйками по верхам лампадок, к самому иконостасу, и еще больше туманит святые лики.

Вот опять нет ничего — исчезают все предметы, откуда-то издалека словно звон доносится. Что-то белое встает из тумана, какой-то образ... И он яснее, и перед юношей нежный, розовый облик: длинные ресницы глаз опущенных, толстая коса девичья, соскользнувшая с плеч и упавшая на пол... Полные, круглые плечи в дымчатых складках фаты прозрачной — это... Сонюшка?... Нет, не она, что-то далекое, незнакомое и в то же время близкое, дорогое в этом образе — и трепещет сердце, и по жилам пробегает то жар, то холод...

«Государь!» — раздается над самым ухом Алексея Михайловича.

Он очнулся: пред ним Морозов зорко и пытливо глядит на него.

Вечерние молитвы кончены, Слово Златоуста прочитано. Священник закрывает книгу — тихо щелкают серебряные застёжки.

Алексей Михайлович, с пылающей головой, с холодными, дрожащими руками, идет приложиться к иконам и не смеет поднять очей на святые лики. Боится он прочесть в них гнев и укоризну.

## VII

По выходе царя из Крестовой Назар Чистой дернул Морозова за рукав и шепнул ему:

— Совсем ныне не в себе, и причина тому мне, думаю, ведома. Попомни, боярин, что я говорил тебе наперед. Пора ему невесту — отрок пришел в возраст; не худое это дело. Заведи-ка с ним речь, боярин, и голову руби мне, если сам он тебе не то же скажет. Ну а мне и ко дворишку пора, дел много накопилось и час поздний... Прости,

государь, — обратился он к Алексею Михайловичу, медленно и задумчиво шедшему перед ними по коридорчикам и переходам дворцовым, слабо освещенным восковыми свечами, усыпанным по полу мелким, просеянным красным песком.

Коридорчики и переходы эти были почти пустынные, только то там, то здесь в уголках виднелись неподвижные фигуры стражников с тускло блестящим при огне оружием.

Алексей Михайлович на мгновение остановился, отдал рассеянный поклон Чистому и взглянул на Морозова.

— А ты не уходи, Борис Иванович, — сказал он ему.

— Зачем уходить, — ответил Морозов с улыбкою, — я тебя, батюшка, коли хочешь, раздену сам, как прежде.

Морозов уже не был дядькой Алексея Михайловича; но молодой царь по привычке часто заставлял его присутствовать при своем отходе ко сну, сажал его у кровати и беседовал с ним, пока не засыпал.

Войдя в опочивальню и заметив дожидавшегося там спальника, царь сказал ему, что он может удалиться, что нынче никого не нужно, кроме Бориса Ивановича.

Спальник низко и молча поклонился государю, с невольною завистью взглянул на Морозова и тихо вышел из опочивальни.

Борис Иванович, привычным взглядом окинув знакомую комнату и убедясь, что все в порядке, подошел к огромной царской кровати, бросавшейся в глаза яркой позолотой точеных столбов своих. Он отдернул тяжелые, затканые золотом шелковые занавеси балдахина и высоко взбил подушки.

Алексей Михайлович в это время с усталым и рассеянным видом сидел на низеньком мягком табурете и машинально расстегивал одну за другою пуговицы кафтана. Он поднял глаза на Морозова, замешкавшегося у кровати, и увидел, что тот стоит и качает головою.

— Что ты, Борис Иваныч, али неладное нашел?

— Да так оно и есть, что неладное, — ответил Морозов, разглядывая шитый шелком ворот царской ночной сорочки. — Видно, опять тебе придется меня взять в дядьки. Что за люди! словно глаз нету, ворот-то вон разорвался.

Алексей Михайлович невольно улыбнулся. Ему вспомнилось многое, вспомнились детские годы, и показалось ему, что он и теперь

совсем маленький ребенок. Вот добрый дядька его Борис Иванович ворчит, как это всегда с ним бывало...

— Ну полно, боярин, невелика беда, дай другую. Да, ключи-то у Князя Никиты, а его теперь не догонишь...

— Зачем мне князя Никиту, ключи со мною! — проговорил Морозов и пошел к большому кипарисовому сундуку, стоявшему в углу опочивальни.

В этом сундуке хранилось белье царское, и он составлял вещь неприкосновенную, ключи от него должны были храниться у самого доверенного лица, которое, в случае чего, и было в ответе. А ответ не раз случался немалый. Царское белье! — это то же, что еда и питье: мало ли каким способом посредством белья можно нагнуть лихо на человека! Сорочку заговорить можно, зельем осыпать, через нее всякую болезнь, всякую беду пустить на государя.

Морозов до сих пор не отдавал никому ключей от белья царского и сам выдавал спальникам все, что нужно.

Сорочка вынута. Царь перекрестился, приложился к образу у кровати и начал раздеваться с помощью Морозова. Он с видимым удовольствием погрузился в мягкую перину, вытянулся во всю длину ее, до самого подбородка укрылся стеганым шелковым одеялом и несколько минут лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Мечтательная полуулыбка замерла на розовом красивом лице его. Морозов сложил бережно и аккуратно царское платье.

— Что же, государь, — сказал он, — али уж и заснул?

Алексей Михайлович открыл глаза. Вдруг быстрым движением сбросил с себя одеяло и сел на кровати.

— Нет, я не сплю, Иваныч, и спать не хочу. Все какие-то думы непонятные в голове... Иной раз наяву словно сны снятся. Знаешь, мне сейчас на ум взбрело, хоть глупое оно, а все же на правду похоже. Глянь-ка ты на стол у кровати, что там такое на крышке?

Морозов с недоумением взглянул на стол, хорошо ему знакомый, и ничего на нем не увидел. Это был стол большой и роскошный, весь расписанный по темному дереву травами, с медным, серебряным и перламутровым вставным узором. На середине крышки был круг с орлом двуглавым, а по сторонам две фигуры.

— Ничего на столе нету, что это ты, государь?

— Знамо, на столе ничего нету, — улыбаясь ответил Алексей Михайлович, — да какие такие две фигуры возле орла написаны?

— А это птицы сирины, — сказал Морозов.

— Ну вот об этом-то я тебя и спрашиваю. Намедни Пафнутыч-странник был у меня тут в опочивальне, увидел стол этот и рассказал мне о птицах сиринах. Говорит он, было то в царствие Маврикиево, весь народ вдруг увидел, как в реке Ниле явились два животные человекообразные: до полтела муж и жена, а от полтела птицы — то и были сладкопесивые сирины. И воспели они сладко, и кто слышал их, тот пленялся мыслию и, забыв все, шел за ними и умирал. Вот что рассказал мне Пафнутыч. Правда то, нет ли — сдается вот мне, что иной раз и я сам будто слышу такой глас сирина.

Алексей Михайлович оживлялся все больше, а Морозов его внимательно слушал.

— Нынче ехали мы из Покровского, спрашивал ты меня, Иваныч, что со мною? не болесть ли какая во мне?... Здоров я, а пожалуй, есть и болесть во мне. Иной раз дивное со мной деется; говорю — сирина слышу! Вот и теперь, сейчас будто пение такое сладкое, а где оно — не ведаю... Что это, Иваныч? не опоили ли чем уж?

Морозов покачал головою.

— Ничем тебя не опоили, государь, — сказал он, — мы всегда с тобою, при тебе верные люди, чтобы блюсти твое здоровье. Успокойся, все это пройдет, мало ли что бывает с человеком, а не спится тебе, потолкуем, благо у меня есть о чем и речь держать.

Легкая, лукавая улыбка скользнула по лицу Морозова.

— Ну что? Говори, я слушаю, — медленно произнес Алексей Михайлович, снова опускаясь на подушки. Его оживление пропало.

Морозов придвинул тяжелое кресло к самой кровати, покойно уселся в него, погладил себе бороду и начал:

— Царь-государь Алексей Михайлович, питомец ты мой дорогой! Скоро время идет, и не видишь, не чуешь, как оно проходит; только иной раз, как очнешься да вспомнешь старое — и сколько, сколько прошло его! Давно ли был ты дитя малое, давно ли у меня на коленях еще сиживал, и я тебя величал не государем батюшкой, а Алешей, царевичем своим. Прошло то время — словно в сказке какой; не по дням, а по часам возрос ты, возмужал — и волею Господнею ныне ты царь великой земли русской. И по милости Господа и по нашим

грешным молитвам долгие, долгие годы будешь ты царить и править землей Русской. А и к тебе придет старость, и придет час смертный. И каждый-то из нас — и старец, и юноша — должен помышлять об этом, а ты сугубо помышлять должен, ибо смерть государей может великим быть бедствием для целого народа. Покойный родитель твой, — Морозов перекрестился, — отходя ко Господу, немало печаловался, что оставляет тебя в столь юном возрасте. Разумеешь ли, к чему я речь клоню?

Но Алексей Михайлович еще не разумел. Он только начинал все внимательнее и внимательнее слушать.

— А речь, — продолжал Морозов, — я клоню к тому, что пора тебе, государь, жениться. Раньше женишься, раньше сынок у тебя будет, наследник желанный. Успеешь сам ты его вырастить да внучат дождешься. Так ли говорю? По нраву ли речь моя?

Морозов совсем уже теперь улыбался и зорко глядел на юношу. Густая краска залила щеки Алексея Михайловича, он опять сбросил с себя одеяло и приподнялся.

Жениться! До сих пор он и не думал об этом, но теперь это слово показалось ему вдруг таким странным, таким волшебным. Он почувствовал необыкновенное смущение и в то же время радость.

— Жениться! — прошептал он. — Да на ком же, Иваныч?

— На ком? — повторил Морозов. — Я невесту еще не припас тебе, государь. Да за невестой дело не стало: вся земля русская тебе поклонится. По исконному обычаю повели собрать красных девиц со всех мест Русской земли да и выбирай себе любую.

— Да ведь я... я... ведь, пожалуй, бояре смеяться будут, скажут, что я еще не вырос! — робко и смущенно прошептал царь.

— Бояре уже давно толкуют, что тебе пора жениться.

— Ты это правду молвишь? — оживленно спросил Алексей Михайлович и, не дождавшись его ответа, прибавил: — Так как же им скажу? Мне как-то неладно да и стыдно сказать, что хочу жениться.

— Чего стыдиться! Святое дело, Божье дело, и не твоя это забота. Коли есть на то твой приказ, государь, так все и будет как следует. Завтра же оповещу бояр о твоём изволении, и отправим мы людей надежных по всем городам земли русской — звать на Москву лучших девиц честных родом, для твоего, для царского выбора. Изволишь ли, государь?

— Да! — прошептал Алексей Михайлович, еще больше краснея и не глядя на Морозова.

Долго не мог заснуть в эту ночь молодой царь под наплывом неясных и сладких грез. Заснул, и во сне ему привиделась чудная птица сирий, и пела та птица сладкогласные песни, и звала его, и манила...

## VIII

Недалеко от города Касимова, в большом селе Сытове, на третий день Рождества был торг.

С самого утра широкая улица, еще накануне вся занесенная снегом, но теперь почерневшая, представляла непривычное в селе движение. По обеим сторонам ее были настроены шалаши, где продавались всякие товары, главное: калачи, мясо и пироги, а также холсты, полотна, сукна, зимние полушубки и обувь.

Вокруг этих шалашей толпился люд всякий — крестьяне и крестьянки в праздничных нарядах. На особо устроенном месте были выведены десятка с три лошадей, коров и другой домашней скотины. Здесь женщин уже не было видно: толкались и торговались одни мужчины. Торг часто заканчивался не только крупной бранью, но и сильнейшей потасовкой. В течение одного утра более десятка мужиков были выволочены отсюда по домам все в крови, с вырванными ключьями бород; двое из них уже и померли. Если сделка кончалась мирно, то продавец и покупатель направлялись к стоящему тут же кружечному двору и принимались за хмельное.

Но не одни местные обыватели и соседние крестьяне толкались на торгу в селе Сытове. Среди толпы можно было заметить и стрельцов, и подьячих касимовских, и приказчиков некоторых соседних вотчин. Эти приказчики были на торгу почетными гостями. Встречные им низко кланялись; за ними всегда были целые толпы народа, всячески выражавшего свое почтение.

Торг шел удачно на этот раз: много всякого товара, худого и хорошего, с обманом и без обмана перешло в руки крестьянские. По закоулкам и задворкам, с большой улицы, то и дело направлялись то мужик, то баба с довольными лицами и с покупками в руках.



Зимний морозный денек начинал потухать. На деревенской почерневшей колокольне сытовской церкви ударили к вечерне. Улица опустела и затихла. Даже на конном базаре вели себя сдержаннее; целые толпы направлялись к церкви. Только на дворе кружечном по-прежнему гул стоял. И никакие окрики и затрешины, направо и налево щедро расточаемые руками местной власти, не могли остепенить расхोлившихся бражников.

Кружечный двор села Сытова с виду ничем не отличался от других изб, только был просторнее, да вокруг него со всех сторон возвышался старый, местами сильно покосившийся и расшатанный забор.

Из длинных закопченных и затоптанных сеней дверь вела в довольно большое помещение с широкой, жарко натопленной теперь печкой и маленьким слюдяным оконцем.

Вокруг всего покоя были расставлены столы и лавки, и здесь-то происходило главное пированье. Духота и грязь были невыносимые, но веселый люд не замечал, по-видимому, этого, и никому в голову не приходило, что обстановка эта безобразна. Все пили, кричали, хохотали, обнимались и ругались: все блаженствовали.

За маленькой дверцей, выглядывавшей в темном углу, из-за печки, был другой покойчик, поменьше первого и несколько чище. Это было помещение для гостей почетных, и в настоящее время тут находился Яков Осина — приказчик большой соседней вотчины, принадлежавшей князю Сонцеву. С ним пировало несколько стрельцов и людей неведомого звания. На широком белом столе был выставлен целый жбан браги. Объемистые кружки быстро наполнялись, почти все пирующие были давно уже навеселе.

Сам Яков Осина, человек средних лет и крепкого сложения, был трезвее других. Он оживленно говорил, и присутствовавшие его внимательно слушали.

— Ну что он мне может сделать? — говорил Осина. — Если бы он был в силе у воеводы, ну тогда, вестимо, опаска нужна, с воеводой нашим шутить не приходится! А то ведь этот самый Раф Всеволодский давно уж хуже горькой редьки надоел воеводе: с поклонами не ездит, никаких даров

пристойных не возит, воевода за него не заступится, это уж верно говорю вам. Ровно и невесть что задумали, не впервой ведь, сколько

раз с рук сходило!

— Да что ж, мы ведь ничего! Оно точно, дело не трудное, — разом заметило несколько голосов.

— Так чего ж вы мнетесь? — крикнул Осина.

— А то, что было бы зачем затевать дело, — проговорил высокий стрелецкий пятидесятник. — Зря тоже собираться нечего. Знаем мы Рафа-то, какие у него достатки, усадьбишка плохонькая, да и все именьишко выеденного яйца не стоит.

— Ну нет, этого ты не говори! — перебил его Осина. — Раф старик хитрый, он это только так сиротой прикидывается перед воеводой, а сам тоже немало всякого добра накопил, я это доподлинно знаю. Порыться у него в сундучишках, так и то, и другое найдется: на всех хватит.

— Коли делить как следует, оно, пожалуй, и хватит, — сказал юркий безобразный маленький старик, отставной подьячий Прохор Бесчастный, единственное занятие которого теперь состояло в том, что он переезжал с торгов на торги, из города в город и высматривал себе какую ни на есть наживу. — Оно, пожалуй, и хватит, коли делить как следует, — повторил он. — Да знаем мы тебя, Яков Иванович, ты вот нас задабриваешь всякими посулами, дело-то мы сделаем, а потом и потянешь себе, так много ли на нас-то всех останется?

Осина из— под насупленных бровей кинул на него злобный взгляд.

— Ты бы уж молчал, старая ворона, — проговорил он. — Кабы не язык твой аршинный да кляузный, так тебе бы совсем и не место с нами, ну что ты за помощник? Какая в тебе сила? что ты можешь сделать? А вот что я вам скажу, братцы, — обратился он к собранию, — наперед говорю вам, и мое слово верно: что бы там у Рафа или у крестьян его вы нынче ни нашли, все ваше, себе не возьму ни полушки! Я не из-за корысти, я дело начистоту веду, мне не добро его нужно!

— А чего тебе нужно? — прошамкал отставной подьячий. — Али девка какая у Рафа приглянулась?

— Ну да уж это мое дело! — сказал Осина.

Несколько мгновений продолжалось молчание, только кружки наполнялись и осушались. Очевидно, хоть и значительно охмелевшие,

но все же еще не потерявшие сознания собеседники обдумывали предложение Осины.

В этом предложении не было ровно ничего необыкновенного и неожиданного: он подбивал стрельцов и всякий сброд, целый день толпившийся за ним на торгу, довершить нынешний день нападением на усадьбу и поместье соседнего дворянина Рафа Всеволодского. Такие набеги в то время случались часто; по всем городам воеводы были завалены жалобами и челобитными; на всем пространстве русского государства производился разбой в самых ужасающих размерах. Все разбойничали — и помещики со своей челядью, и приказчики боярских, княжеских имений с крестьянами, и ратные люди — стрельцы.

Наедет какой-нибудь приказчик, вроде Осины, на торг, да и не то что в селе, а даже и в городе, за ним крестьяне и всякие люди вооруженные, и начнут они колотить до полусмерти, а то и до смерти посадских людишек; шалаши поломают, товар в грязь втопчут; ограбят дочиста; людей перебьют и разгонят; жен и дочерей их опозорят; всякие животы убьют или возьмут с собою и уедут. Пойдет жалоба воеводе, дело ясное, доказанное, свидетелей сколько угодно; но в большинстве случаев ни к чему не приводит жалоба. Зачастую воевода и сам погреет руки на этом деле, получит из него свою долю немалую и не выдаст разбойников. А уж на воеводу кому пойдет жаловаться бедный захудалый мирской человек? Так и терпят русские города, посады и селения, терпят разор конечный, всякую обиду; дрожит русский люд за добро свое, годами, трудом и потом накопленное, дрожит за честь свою семейную, за жен и дочерей своих, дрожит за жизнь свою... Далеко ушли времена татарского ига, неожиданных и беспощадных набегов степных хищников. Прошли и другие недавние времена, времена смуты и самозванщины; тишина видимая водворилась в государстве, но ненамного лучше стало русскому люду. Терпит он беды несносные, нестерпимые; но велико его терпенье — и, все терпя, все вынося, обливаясь потом и кровью, ждет он своего избавителя...

Набег на усадьбу небогатого касимовского дворянина не страшен сотрапезникам Якова Осины, все дело для них в том, стоит ли тревожиться. Но Осина говорит, что у Рафа Всеволодского есть и

добро припрятанное, а Осина хитер, он все знает, все сумеет пронюхать, где что творится по соседству.

— Да что ж, отчего не идти? Пойдем! — сказал, наконец, один из стрельцов, почесывая себе голову.

— Да уж ладно, ладно! — подхватил другой.

Яркая краска залила лицо Осины, глаза его сверкнули. Он глубоко вздохнул всею грудью.

— Ну вот, давно бы так-то! — веселым голосом крикнул он. — А я опять-таки свое слово повторяю: ничего не трону из добычи. И потом все ко мне на двор, угощу на славу.

— Смотри, помни! — погрозил ему пальцем Бесчастный.

Осина внимательно оглядел товарищей. Двое-трое из них были уже совсем пьяны, других тоже, очевидно, хмель разбирал.

«Упьются, ничего не выйдет! — подумал он и решил больше не давать им вина. — Да ничего, еще будет время, поднять их нужно, на морозе вытрезвятся».

И он заговорил, что нужно сейчас, не мешкая, все решить, приготовиться, чтобы не упустить времени. А бражничать пока надо оставить — как в карманах добро будет, так и хмель выйдет веселее.

С его мнением согласились и тут же порешили собраться в конце села и там уж дожидаться его, Осины, который и поведет их.

— Сколько же вас всех будет? — спросил приказчик.

— Да человек с тридцать наберется.

— Ладно, с таким войском не токмо к Рафу, а и к касимовскому воеводе идти! — потирая себе руки и даже облизываясь от предвкушения добычи, шамкал беззубым ртом отставной подьячий.

— Ах ты атаман, атаман! — презрительно покачал на него головою Осина и стал до ночи прощаться с товарищами.

Скоро все они, покачиваясь и переругиваясь между собою, выбрались в сени, а оттуда через двор и на широкую сельскую улицу.

Совсем уже стемнело; на небе высыпали звезды и загорелись и заискрились в морозном воздухе. На краю горизонта, за бесконечными снежными полями, готов был показаться месяц.

«Ночь будет светлая, мигом доберемся до Рафа, — подумал Осина, проводив товарищей и остановившись среди улицы. — Ну, Рафушка, друг старый, пришел, видно, и мой день, все тебе нынче вспомнится, вспомнится и твоя оплеуха, что до сих пор словно еще

горит на лице. А!... я холоп, я пес недостойный, а ты дворянин. Я приказчик, а ты помещик...»

— А!... Сударь Рафушка, поплачешь ты нынче над своей доченькой, век не забудешь Якова Осину! — почти громко выговорил княжий приказчик и медленно пошел по темной пустевшей улице.

## IX

Месяц поднялся из-за леса и серебром залил снежные поля. Легкий мороз стоял в воздухе. Гул села Сытова замирал в отдалении. По малонаезженной, извивавшейся между снежными сугробами дороге весело скользили легкие санки. Бойкая лошадка, нарядно разукрашенная разноцветными суконными покроями, с привешенными к их концам бубенчиками, бежала без помощи кнута.

Бубенчики звенели в тихом прозрачном воздухе; громкий молодой голос выводил разудалую песню. В саночках сидели два молодых человека: Андрей Рафович Всеволодский да товарищ его и друг закадычный, Дмитрий Исаевич Суханов.

Оба они недавно и из детских-то лет вышли; первый пух покрывает их здоровые, румяные лица. На душе у них привольно и весело, и эта ясная, морозная ночь только еще больше поддает удали.

Они тоже весь день провели на торгу в Сытове и теперь возвращаются домой. Суханов гостит на праздниках у Всеволодского, да и сам он здешний: вотчина его неподалеку, всего верстах в двадцати каких-нибудь.

Отправляясь в это утро с другом Андрюшей на торг, Суханов был не в духе — ему не хотелось ехать; и он уступил только настоятельной просьбе молодого Всеволодского. Весь день он равнодушно относился к окружавшей его толкотне и веселью, отказался попить с молодыми знакомцами-соседями, зазывавшими его в свою компанию. Видно, веселье его было не здесь, а в другом месте. Только когда ему удалось под вечер отыскать Всеволодского и уговорить его немедленно ехать домой, он совсем преобразился. Тоски и скуки как не бывало: поет он себе, заливаясь, будто всю душу молодецкую хочет вылить в этой песне.

Андрей тоже весел.

— Да полно ты, чего орешь, перестань! — говорит он, толкая под бок приятеля.

— А что, разве худо? — отвечает Суханов, прерывая песню на высокой, словно жемчуг рассыпавшейся в воздухе ноте. — Нет, брат, это славная песня. Как услышу ее али запою, ажно за душу хватает!

— Песня-то хороша, только, видишь ли, хотел я что сказать тебе, Митюша: заприметил ли ты у обедни девушку в алом червленом шугае<sup>[4]</sup>, что стояла недалеко от нас по левую руку?

— Как же, брат, заметил — ты на нее всю обедню молился.

— Хороша? А, скажи, хороша? Видал ты когда-нибудь такую красавицу?

— Видал и получше. Недалеко ходить, твоя сестра Фима не в пример лучше ее будет, — проговорил Суханов и неизвестно почему изо всей силы хлестнул лошадку.

Лошадка брыкнула, взметнула целый ком снега прямо в лицо молодым людям и помчалась по белой дороге, только полозья санок заскрипели.

— Нет, что сестра! — медленно рассуждал Андрей. — Да я про сестру и не говорю. Мне до сестриной красоты что за дело, а уж эта девушка — Господи! век ее не забуду. Вот я и хотел поговорить с тобою. Думаешь, где я весь день пробыл? Не по улице шатался, а все как есть доподлинно узнал: кто она, откуда, и теперь, что там ни говори родитель, хоть бранись, хоть нет, а частенько я буду навещать в Касимов. Слышь ты, касимовская она дворянка, сиротка. То есть мать-то есть у ней, а отец года три как помер, и на торг она приезжала с сестрой замужней да с зятем... я и свел знакомство. Машей зовут ее... Барашева Маша... Они тут все у сытовского батюшки, отца Николая, остановились, ну и я пошел туда же. Попадья кулебякой потчевала. Вот и разговорились и завели знакомство. Ах, Митя, Митя, голубчик, что за день нынче для меня праздничный да радостный, с этого вот дня ровно жить начал!

Дмитрий взглянул в лицо товарища, освещенное луною, и улыбнулся.

— Али и впрямь так полюбилась эта Маша? — проговорил он. — Ишь, глаза у тебя такие чудные, будто ты совсем другой на меня смотришь.

— Уж так-то полюбила, так-то полюбила — и сказать тебе не могу! — отвечал приятель. — Одно знаю, как бы там ни случилось, а быть ей моей женой. Будешь ты скоро пировать на моей свадьбе!

— Ну да что ж, дай тебе Бог! — вымолвил Дмитрий и опять хлестнул лошадку.

Он, очевидно, хотел сказать еще что-то, но остановился. Его веселье снова как будто замерло, снова будто повеяло на него тоской и грустью.

Всеволодский пристально взглянул ему в лицо и улыбнулся.

— Эх, Митя, — сказал он, — а ведь ладно было бы в один день да две свадьбы: ты с Фимой, а я с Машей. То-то бы!

— Твоими устами да мед пить, — прошептал Суханов. — Во сне вот мне все снится такое счастье, а наяву ему я и не верю. Не любит меня Фима, чуется сердце мое, не любит, а силком не возьму за себя.

И голос оборвался, и замолчал он, низко опустив голову.

— Пустое, Митя, пустое! — ободрительно крикнул Андрей и хлопнул его по плечу. — Бог тебя знает, ты уж такой уродился, только смущаешь себя, выдумываешь себе беды. И с чего это взял ты, что Фима тебя не любит? Да она, я так полагаю, сама еще понять ничего не может: любит ли, не любит ли, — совсем еще ребенок малый.

— Ребенок!... Ей, поди, уж полгода шестнадцать лет минуло.

— А вот увидим, — опять весело крикнул Андрей, — увидим, и помяни мое слово: не успеет снег растаять, быть нашим двум свадьбам.

Суханов не отвечал, но счастье и уверенность приятеля подействовали на него ободрительно, да и молодость, полная здоровых сил, заговорила. Темные мысли, темные предчувствия сменились снова надеждой. Предвкушение счастья заставило горячо биться его сердце. Он глянул кругом себя — и белые поля, переливающиеся голубым и серебряным отблеском, и яркая луна, и бесчисленные, едва заметные в ее свете звезды, вся ширь и тишина зимней ночи — все это будто спешило ему навстречу, ласкалось к его сердцу и сулило ему что-то неразгаданное, волшебное и блаженное.

Снова звуки запросились из груди его, и он, вдохнув в себя свежий морозный воздух, запел веселую, счастливую песню. Дорога поворотила направо, промелькнул лесочек, деревья которого стояли будто хрустальные, все покрытые инеем. Вот поблизости звонким лаем

залились собаки. Молодые люди въехали в усадьбу Рафа Всеволодского.

## X

Не обширны владения Рафа Родионовича Всеволодского, не много деревень и всяких полевых и лесных угодий наследовал он от своих предков, не в роскошных палатах, не среди многочисленных холопов и челядинцев живет он, а в укромном домике, бревенчатые стены которого от старости уже начинают клониться на сторону. Всего у него одна деревенька, тут же за лесом, недалеко от усадьбы. Во дворе и десятка прислуги не наберется. Живет он в своем уголку тихо, неслышно; но все же имя его известно всем и каждому на сотни верст в округности, и иного богача боярина так не знают и не почитают, как знают и почитают Рафа Родионовича Всеволодского.

Давно уже, поболее четверти века будет, безвыездно поселился он в своей касимовской вотчине. Зазнали его соседи молодым воином, отслужившим ратную службу, знатно порубившим ляхов и всяких воров, наводнявших Русь в смутное ее время, а теперь Раф Родионович уже почти старцем сделался; серебром подернулись его русые кудри, согнулся крепкий стан его. Только все по-прежнему зорко и ясно глядят очи Рафа Родионовича, да из-под усов нависших мелькает прежняя благодушная улыбка.

В первый же год по своем переселении Всеволодский женился на дочери одного из ближних соседей и в неизменном согласии живет со своею женою Настасьей Филипповной. Было у них детей шестеро, да старшие волею Божьею померли еще в малолетстве; остался только сын Андрей и младшая дочка Евфимия.

Хороший хозяин Раф Родионович: окольные дворяне-помещики не могут надивиться его мудрости. Что до него было и что при нем стало! У других всякие невзгоды да беды — хлеб дурно уродится, сено от дождей погниет, к зиме недостатки, бедствие, а у Рафа Родионовича все амбары полны: зерно к зерну, трава вовремя скошена, сено сухое, душистое, пчелы роятся видимо-невидимо, мед его в Касимове торговцы с руками отнимают — лучше, говорят, этого меду и найти невозможно.



Зависть разбирает соседей при виде такой удачи, только знают они, что грешно завидовать Рафу Родионовичу — все ему дается по трудам его великим, и к тому же над ним видимое благословение Божие за жизнь его правую и богобоязненную, за сердце его доброе, к чужой беде отзывчивое. Да, рук не покладая трудится разумный хозяин. В летнюю пору уж не ищи его в усадьбе: до зари проснется, сам осмотрит каждую скотину, раздаст приказания работникам, и в поле. Все свое владение осмотрит хозяйским глазом; у него чуть ли не каждый колос наперечет. И привольно ему дышится под знойным солнцем, среди колыхающейся желтеющей ржи, или на пасеке, в душистой гуще леса. Здесь он у себя дома, и чудится ему порою, что весь этот мир Божий, каждый кустик, каждая былинка его знают и встречают немим приветом. И уж особливо на пасеке ему раздолье; пчелы — его любимое, сердечное дело. В ведренные дни и обедать не возвращается домой Раф Родионович. Истомится в поле на работах, доберется к своим ульям и пошлет старика пасечника в усадьбу сказать жене, чтобы обедать ему прислала, да и сама с детками пожаловала откусать медку свежего.

А то случалось и так, что он, придя на пасеку, заставал уже там и Настасью Филипповну, и деток, и обед готовый. Сюда же сходились зачастую и соседи ближние и дальние, которым было дело до Рафа Родионовича. Хозяин всегда встречал их радушно, просил разделить с ним трапезу: а уже потом, мол, и о деле поговорим — разговор-то выйдет лучше, чем на тощий желудок. Сидит себе Раф Родионович, кушает с удовольствием и поглядывает на соседа: он и без слов видит, какое такое у него дело.

А дела бывают разные. Один пришел в нужде великой: прошлогодний неурожай погубил совсем, ни хлеба, ни зерна — изворотиться нечем. Раф Родионович поможет, иной раз последним поделится.

Другому не нужно ни хлеба, ни леса — у него спор великий с соседом вышел, разобидели друг друга, разругались на чем свет стоит, и такова взаимная обида, что вот-вот поножовщина у них выйдет. Как тут быть? Одно остается — идти на суд к Рафу Родионовичу. Он человек правый, рассудит по-божески. И идут два врага к небогатому дворянину Всеволодскому, идут помимо воеводы и облеченных властью судей, кланяются ему в ноги, рассказывают свои обиды.

В таких случаях Раф Родионович совсем преображался. Добродушное лицо его делалось важным и строгим; он выслушивал спокойно ту и другую сторону и потом несколько мгновений сидел молча, опустив голову. Но вот он поднимается, глаза его снова сияют, на устах опять светлая улыбка. Он берет врагов за руки.

— Вот то-то, люди вы! — говорит он. — Ну из-за чего муки себе всякие выдумываете? Неразумным малолеткам, тем пристало дразниться да на кулачки идти из-за всякой малости, а вы, смотрите, седина ведь в волосах, а что задумали! Жили годы дружно и мирно и вдруг врагу-дьяволу подчинились! А он-то и радуется! Вестимо дело, исконный супостат всякому миру и тишине... Одумайтесь, Бога вспомните... «несите тяготы друг друга» — великое это слово, и николи не след забывать его...

И долго говорит Раф Родионович, говорит так тихо и спокойно и в то же время с такой любовью и грустью, что мало-помалу сердца противников смиряются, и уже не мечут они злобных взоров, не слышно прежнего раздражения в их голосе. Взгляд на дело Рафа Родионовича сообщается и им, и они покорно повторяют ему: «Что же, мы ничего... вестимо... до сей поры промеж нас ничего такого не было... рассуди, Раф Родионович, как рассудишь, так оно и будет!...»

Он рассудит их дела, найдет, кто прав, кто виноват. Если один сосед у другого присвоил незаконно землю или угодые какое — скажет он, что бесприменно возвратить нужно, — и присвоивший клянется возвратить. Враги мирятся, лобызаются искренно и, кланяясь в пояс судье своему, возвращаются домой успокоенные и довольные.

Случается также, что Раф Родионович вмешивается в дела еще более трудные, в такие дела, которых человеку и судить-то почти невозможно: жена на мужа ему жалуется, а то и сам он видит чью-либо жестокость и не в силах стерпеть этого. В таких случаях он отправляется и без зова к соседу и очень часто успевает добрым да разумным словом, спокойным взглядом на дело вернуть нарушенный мир в семействе, утишить гнев жестокого мужа.

И с каждым годом растет добрая слава старика Всеволодского, и нет такой дворянской семьи в соседстве, где его имя не произносилось бы с уважением.

Но, уважая и прославляя Рафа Родионовича, не забывали добрые соседи и его Настасью Филипповну. «Вот так семейка благодатная! —

говорят. — Святые люди — дай Бог им всякого счастья... Вот так бы привелось и всем век прожить друг с другом, как живут Раф Родионович да Настасья Филипповна...»

И действительно, в двадцать пять лет семейной жизни мало было темных дней у Всеволодских. Кругом поглядишь, и невесть что творится: иные мужья жен побоями в гроб вгоняют, пьянствуют и бесчинствуют, а то и жены мужей добрых да смирных едят поедом. У Всеволодских не то — ни криков, ни брани, ни драки. Вечно ласка да любовь. И в этом заслуга больше со стороны Настасьи Филипповны. Раф Родионович хоть человек и справедливый, добрый христианин, но и у него подчас нрав крутенок. Он знает себя хозяином в своем доме, слово его закон; противоречий не любит. Попадись ему жена другая — он бы, пожалуй, за неразумность и побил исправно — человек в гневе сам себя не помнит. Только до гнева Настасья Филипповна его никогда не доводила — сразу, с первого же дня замужества сумела она понять его, отлично знала, по одной ей ведомым приметам, в какой день и час можно и поперечить мужу, а в какой следует беспрекословно творить его волю.

## XI

И в детях были счастливы Всеволодские — на радость и на утешение им выросли Андрей и Фима.

Недаром вздыхал по Фиме молодой Суханов — молва о красоте дочки Рафа Родионовича разносилась далеко; старики говорили, что и не запомнят такой красавицы. Ей только что шестнадцать лет исполнилось, но она была уже совсем развившаяся, стройная и высокая девушка. Каждому было любо глядеть на лицо ее белое да румяное, вечно озаренное беззаботной улыбкой, каждому как-то светлее на душе становилось от взгляда ее глаз, глубоких и нежных, окаймленных длинными, темными ресницами. Но еще краше, еще милее делалась Фима, когда звонкий, детский смех оживлял все существо ее. А смеялась она часто, потому что вся жизнь ее была полна радости и веселья. Несмотря на стыдливый румянец, порою вспыхивающий уже на щеках ее, несмотря на густую светло-русую косу по колена да на высокую грудь девичью — Фима во многом была еще совсем ребенком. Для нее еще не начался тот период жизни, когда

весь мир представляется совсем не таким, каков он в действительности, а то беспричинно грустным, то беспричинно блаженным.

Фима просыпалась каждое утро с ощущением свежести, силы и неопределенного, но доброго и широкого чувства, которое сейчас же выражалось в ее смехе, в ее ласках, расточаемых ею всем, начиная с ее отца, матери, старой няни Пафнутьевны и кончая последней дворовой собакой. Если время было летнее и погожее, Фима бежала в поле, в лес, за васильками, за грибами и ягодами. Ее ноги не знали устали, она не могла успокоиться, пока не обегает всех отцовских владений. На каждом шагу новый предмет для ее наблюдений и радости: то новое птичье гнездышко, о поспевшие ягоды, которые вчера еще были совсем зелеными, то невиданная, диковинная букашка. Бродит себе Фима, оглашая лес звонкой песнью, а то вдруг остановится, долго глядит вокруг себя — и даже всплеснет руками: так все чудно, так благодатно устроено Господом Богом.

Подруг у Фимы не было, но было два добрых товарища: брат Андрей да Митя Суханов. Росли они вместе, вместе и забавлялись. Летом еще мальчишки от нее как-то отбивались — у них были свои потехи: рыбная ловля, всякая охота лесная; но зато зимою Фима почти не расставалась с ними. Митя делал для нее салазки, катал ее с горы ледяной, а по вечерам забирались они к Пафнутьевне на теплую лежанку, и старуха сказывала им сказки. Это было самое блаженное время для Фимы — ждет не дождется она вечера. В тепле и полусвете, среди тишины невозмутимой, пестрые, причудливые картины вырастают и уносят Фиму в заколдованный мир свой. Кончены сказки, она уже в мягкой постели, но мир этот продолжает жить вокруг и часто преследует ее в ночных грезах...

Проходили годы, вырастала Фима; но все еще медлило оставлять ее детство, хоть порою она и начинала чувствовать что-то новое, какие-то неясные вопросы. А между тем соседи стали почитать ее невестой, и красота ее даже вышла причиной большой обиды, нанесенной Рафу Родионовичу.

Как ни велика была добрая слава старика Всеволодского, как ни много было у него друзей и почитателей, а все же и враги отыскились. К числу таких врагов принадлежали, между прочим, касимовский воевода Обручев да почти все дьяки и подьячие. Все это начальство

привыкло всячески обижать небогатых помещиков, обирать их по возможности; привыкло видеть, что эти помещики беспрекословно подчиняются такому обиранию, да еще и кланяются в пояс. Ну а у Рафа голова была непреклонная, да и обирать его оказывалось трудным: за свое добро он стоял сколько сил хватало. Вот и начались у него вечные неприятности с касимовским воеводой и дьяками: готовы они все были сжить его со света, да не к чему придаться — жалоб на него никаких не поступало, в каждом деле он вел себя осмотрительно и разумно. Но нигде, ни в Касимове, ни в иных местах, не было у Рафа Родионовича такого кровного врага, как приказчик князя Сонцева Яков Осина.

Обширные вотчины князя находились недалеко от усадьбы Всеволодского.

Осина, сумевший обойти и воеводу, и всех влиятельных людей Касимова, пользовался немалым почетом: все позабыли о его худородстве. Да и сам Раф Родионович в первое время, то есть года два тому назад, принимал его у себя как равного и даже любил с ним беседовать. Он видел в нем человека умного и ловкого, понимавшего толк в хозяйстве, умевшего подчас и развеселить любопытными рассказами из своей полной приключений жизни. Даже дружба было завязалась между Всеволодским и Осиной. Но с год тому будет времени, как настал конец этой дружбе, и превратилась она во вражду лютую.

Случилось это по тому поводу, что Осина, давно уж зорко присматривавшийся к быстро выраставшей и хорошевшей Фиме, вдруг попросил у Всеволодского руки его дочери.

Раф Родионович ушам своим не поверил и молча сидел перед Осиной, во все глаза глядя на него и не находя слов для ответа. Осина был человек лет за сорок, с некрасивым и неприятным красным лицом. Фима была красавица, и ей в то время еще и шестнадцати лет не исполнилось.

Но дело не в разнице лет, не в жениховом безобразии — с лица не воду пить, а сорок лет, что еще за старость для мужчины! Дело в том, что Фима дочь хоть и небогатого, но столбового дворянина, а Осина — холоп княжеский, только сумевший завладеть доверием своего господина и возведенный им на всеильную должность приказчика.

Долго не мог опомниться Раф Родионович; наконец вся кровь ударила ему в голову...

Они в это время сидели за столом после трапезы и были одни — одинешеньки в горнице.

Отшвырнул от себя скамью Раф Родионович и во весь рост поднялся перед Осиною.

— Что ты сказал? повтори! — произнес он упавшим голосом.

Осина вздрогнул, изумленно и опасливо взглянул на лицо Всеволодского, но выговорил твердым голосом:

— Что ж я сказал? Али ты не расслышал, государь Раф Родионович? Надоела мне холостая жизнь моя, завести добрую хозяйку хочется, так вот и прошу тебя, отдай мне свою доченьку, Евфимию Рафовну... Я ее покоить и лелеять буду — она мне пришлась по мыслям...

— Холоп! — закричал Всеволодский так, что дрогнули бревенчатые стены. — Я тебя в дом к себе принимал, я с тобой из одного ковша пил. Я беседу с тобой вел как с человеком, а ты вот что задумал! Да как тебя нелегкая надоумила сказать такое слово? Кто ты — и кто я... и кто дочь моя?

Осина тоже поднялся.

Красное лицо его сделалось совсем багровым, рот перекосялся.

— Кто ты и кто я? — прошипел он. — Ты почти нищий, вон домишко-то твой еле держится, по углам дырья: кулак пройти может, а я... у меня сундуки от добра ломаются. Передо мною-то вон касимовский воевода шапку ломает, дружком меня своим величает, так я очень помню — кто ты и кто я! Да и ты не кичись своим дворянством. Пожалел я твою девку, вижу: бедная, скоро совсем мерзнуть будет в твоей дрянной лачуге...

Он хотел говорить еще, но ему не удалось этого. Раф Родионович, опрокинув тяжелый дубовый стол, схватил Осину одной рукой за шиворот, а другою, развернувшись, изо всей силы ударил его по щеке.

— Вот, собака! — крикнул он и так толкнул оторопевшего Осину, что тот ударился о притолоку.

Едва успев захватить свою шапку, приказчик выскочил из горницы.

— Помнишь ты это, помнишь! — шептал он, стуча зубами и опрометью бросаясь к ожидавшей его тележке.

Сразу отплатить Всеволодскому он не мог, ему нужно было хорошенько обдумать мщение. Наконец он его обдумал.

## XII

Сдав лошадь встретившему их у ворот молодцу, Андрей Всеволодский и Суханов, весело разговаривая, пошли в домик. Пройдя темные сени, они отворили тяжелую скрипучую дверь и очутились в просторном покое; здесь их уже дожидался ужин, и все семейство было в сборе. Молодые люди набожно помолились перед иконами и стали здороваться.

— Эх вы, шатуны! — сдерживая улыбку и будто бы сердясь, молвил Раф Родионович, подвигаясь на лавке и давая возле себя место прибывшим. — Сказали, засветло беспрременно домой будете, а сами на ночь глядя вернулись... Ты, Андрей, не бери пример с Мити — на того нет ни суда, ни расправы, я ему чужой, а отца с матерью Господь прибрал до времени...

— Я, Раф Родионович, всегда твоего слова послушаюсь, — перебил Суханов, — ты мне заместо отца родного, так уж если бранишь Андрея, брани и меня — мы вместе.

— Ну ладно, ладно, — сказал Всеволодский, опуская свою деревянную ложку в миску с жирной похлебкой, — есть вот хочу, бранить-то мне вас некогда.

Андрей начал было рассказывать про торг, но отец перебил его:

— Да ты поешь сперва, потом Богу помолись, поблагодари Его за питье и яство, а затем уж и выкладывай свои рассказы.

Андрей замолчал и принялся ужинать, но ни он, ни его приятель на этот раз не выказывали большого аппетита.

— Видно, в Сытове дня на три наелись, — заметила Настасья Филипповна.

Они ничего не ответили, так оба были заняты своими мыслями.

Андрей не мог позабыть новую знакомку; ему казалось, что он все еще видит ее, слышит ее голос.

А Дмитрий Суханов, то вспыхивая, то бледнея, поглядывал на Фиму он замечал, что и ей хочется подойти к ним поближе, поболтать, посмеяться и что она сдерживается только во время ужина, боясь разгневаться отца.

Но вот незатейливый ужин покончен, все встали из-за стола, помолились. Андрей выложил свои гостинцы сестре: мешочек со сладостями да яркую ленту в косу. Фима благодарит его, смеется, покраснелась...

— А я и впрямь думала: уж не напали ли воры на вас или звери в лесу! — говорит она своим певучим голосом, обращаясь к Дмитрию. — Легко ли, чуть свет выехали — и до ночи. Право, весь день тоска такая, на дворе вон гора ледяная, а покатать-то и некому...

Суханов чуть не плачет от слов этих. Весь день мог провести с нею, с горы катать ее! И зачем это послушался Андрея, как тень шатался в Сытове.

Между тем Раф Родионович расспрашивает сына, кого он видел на торгу и что там было. Андрей начинает заминаться, потому что весь день только и видел, что Машу Барашеву, а остальных почти и не заметил!

«Нужно выручить друга!»

Суханов отходит от Фимы и подсаживается к хозяину. Теперь уж не Андрей, а он отвечает на расспросы Рафа Родионовича, и Андрей благодарит его взглядом.

— Ты говоришь, больше десятка до смерти избиты? — со вздохом переспрашивает старик Всеволодский, выслушав рассказ Дмитрия.

— Да, пожалуй, и больше счесть можно, особенно к вечеру.

— Ну да, ну да! — тихо повторяет Раф Родионович. — Все то же пьянство, совсем ныне спился народ, а кто сам не спился, того добрые люди спаивают; за чарку хмельного на разбой, на душегубство идти готовы! Вон намерен сосед приезжал, сказывал: опять по нашим местам шалить стали — целые деревни разоряют, и никто не заступится. Воеводы наши... ну да уж что тут и говорить, авось Господь наконец и пошлет избавление нам, умудрит царя-батюшку, все зло наше лютое сделает ему ведомым...

Старик Всеволодский совсем расстроил себя мрачными мыслями и, простясь с домочадцами, ушел в свою опочивальню. Настасья Филипповна вышла тоже зачем-то по хозяйству. Андрей взглянул на сестру, потом на Суханова и потрянул головою.

— Пойти-ка на конюшню, посмотреть: задан ли корм Бурке, — проговорил он.



Дмитрий слышал его шаги в сенях, слышал потом, как хлопнула наружная дверь. Он остался вдвоем с Фимой, он глядел на нее не отрываясь, точно видел ее в первый раз, и тоскливо становилось у него на сердце. Она не глядит на него, видно — все равно ей, здесь он или нет. Крепко, всей грудью вздохнул Дмитрий и опустил голову.

— Что это ты, Митрий Исаич? чего вздыхаешь? — тихо проговорила Фима.

— А чего же радоваться? — вдруг с волнением начал он, подходя к ней. — Гляжу вот я на тебя, ты ли это? бывало, вспомни сама, говорила: ждешь меня не дождешься, — а теперь и глазком на меня взглянуть не хочешь, теперь я тебе не Митя, а Митрий Исаич...

Он проговорил это с такою тоскою, что у самой Фимы защемило сердце, ей вдруг стало жалко Дмитрия, хотя она и не понимала ни его тоски, ни своей к нему жалости.

— Прости, коли я чем огорчила тебя, — сказала она, тоже приподнимаясь, — только уж и не знаю, чем это я тебя огорчила, а что Митрием Исаичем назвала, так ведь вишь ты какой вырос, вон и усы у тебя, и борода..., Да ну ладно, ну Митя...

И она улыбалась ему, ее глаза ласкали его долгим и нежным взглядом, но она не могла прочесть в лице его прежнего веселья. Грустным и бледным стоял он перед ней, стоял таким жалким.

— Да что это ты, право?! — испуганно сказала она, кладя ему на плечо свою руку. — Али там, на торгу, тебя испортили? Ну, Митя, поздно, спать пора — чай, Пафнутьевна ждет меня. Спи спокойно, а утром, смотри, проснись не таким, какой нынче, такого я и видеть не хочу. Завтра с гор кататься... слышишь, Митя, непременно!...

Он хотел сказать что-то, но не мог. Ему казалось, что никогда еще она не была так хороша, как в этот вечер, и никогда еще так не любил он ее.

— Спокойной ночи, Митя! — повторила она, быстрым движением нагнула к себе его голову, крепко поцеловала его и скрылась.

Несколько мгновений он стоял не шевелясь, с блаженным лицом и затуманившимися глазами. Что-то мучительное и в то же время отрадное стало подниматься в груди его, дышать становилось тяжело от этого нежданного и неизведанного блаженства. Дмитрий бессильно опустился на скамью и вдруг зарыдал неудержимо и не сознавая, что он громко рыдает.

По счастью, Раф Родионович крепко спал в соседней горенке и ничего не слышал.

— Полоумный! Что ты? — над самым ухом Суханова раздался голос Андрея.

— Ах, кабы знал да ведал ты — радостно у меня на сердце, Андрюша!...

Внучек мамки Пафнутьевны, приставленный ходить за Андреем Рафычем, принес перины, подушки, одеяла и устроил на скамьях под образами две постели молодым людям. Отдельной горницы для сына не было в доме Всеволодского.

Андрею и Дмитрию хотелось бы подольше побеседовать, но они боялись разбудить Рафа Родионовича, который и так что-то кряхтеть стал за тонкой стеною, потому они тотчас же разделись, улеглись на перины и замолчали.

Тихий свет лампы у киота едва освещал просторную горницу с дубовым столом посредине, с большой изразцовой печью в углу, с единственным и теперь совсем заледенелым оконцем. За печью трещал сверчок, и эти монотонные звуки мало-помалу навели дремоту на Андрея. Розовые его грезы оборвались, и он заснул крепко и сладко.

Но Суханов заснуть не мог и весь в волнении и трепете то и дело метался под своим стеганым теплым одеялом.

Никогда не мог он помыслить, что так окончится для него сегодняшний день. Еще недавно, возвращаясь из Сытова, он был полон грусти и сомнений... и вдруг!...

Долго, долго дожидался он этого счастья, дожидался его целые годы, потому что не со вчерашнего дня полюбил он Фиму. Он знал ее совсем маленькой девочкой.

Раф Родионович и отец Дмитрия по соседству были большими, старыми приятелями: они еще в детстве бегали вместе. Потом пришлось им рука об руку воевать с врагами отечества. Время их ратной службы оставило в них на всю жизнь много горьких и отрадных воспоминаний. Это было тяжелое и великое время.

Всеволодский и Суханов принадлежали к числу тех нескольких сотен воинов, которые под начальством воеводы князя Роци-Долгорукова защищали Свято-Троицкую Лавру от Сапеги.

Во время долгих месяцев знаменитой осады оба они выказали себя истинными героями.

Измученными и зачастую голодными выходили они на вылазки; как львы рубились, не раз были ранены, но все же сохранил их Господь, а они своими руками немало ляхов уложили на вечный сон под стенами Святого Сергия.

Там, в Святой обители, Исай Суханов нашел себе и жену.

Раз во время вылазки он был ранен в голову. Добрые товарищи подняли его совсем бесчувственного и снесли в монастырскую палату, битком набитую ранеными и больными. Больше суток был он в беспамятстве, а когда очнулся — увидел над собою красивую молодую девушку. Она перевязывала его больную голову. Его мучила жажда. «Пить!» — прошептал он.

Девушка сейчас же принесла ему кружку с водою, напоила его и, в то время как он пил, все повторяла: «Очнулся! ну, слава Богу, теперь жив будешь, отец Михей сказывал, коли очнется, так все пустое, голова как раз заживет».

И такая радость звучала в ее голосе, так ласково она глядела! Ничего не сказал ей тогда Суханов, но с этой минуты все стало ему казаться иным, чем прежде. Пока лежал, минуты считал, когда войдет она к, раненым, а войдет, оторваться он от нее не может. Рана скоро зажила, и опять он стал ходить на вылазки, только теперь явилась у него новая забота и радость — его Катерина.

Она была одною из приближенных царевны Ксении<sup>[5]</sup>. Полюбился ей храбрый воин Суханов. Частенько сама недоедала, а ему приносила что случалось.

Любовь да ласки еще больше одушевляли воина. Шел он в лютую битву с врагами, а сам думал: «Дождается меня Катерина, трепещет за меня страхом ее сердце!...»

И удвоилась сила рук его, и любовь счастливая невредимым выносила его из битвы.

Но были тяжкие дни и недели. От тесноты да всяких лишений началась зараза в монастыре, и много мужчин, женщин и детей помирать стало. Заболела и Катерина. Сердце Суханова разрывалось на части. Хотелось быть при ней, а нельзя этого. Стоит он на своем посту у стены каменной или идет на вылазку, а сам все думает: «Что-то теперь с Катериною. Может, уж нет ее! Может, не увижу!...»

Но Катерина выдержала страшную болезнь и в живых осталась.

Прошли тяжелые дни осады. Войска Сапеги удалились. В последней схватке Суханов снова был ранен и остался в монастыре на попечении своей милой.

Она его выходила, и потом, когда смуты земли русской улеглись, когда поляки и воры были выгнаны со святой Руси, когда на престол царей русских, голосом всего народа, был избран молодой Михаил Федорович, — Суханов сложил с себя бранные доспехи, обвенчался у Св. Сергия с Катериной и вернулся на родину, в касимовскую свою вотчину.

К тому же времени возвратился и Всеволодский, тоже женился, и опять зажили друзья-соседи мирно и тихо, вспоминая бывшее за кружкою хмельной браги.

Но недолгим было семейное счастье Суханова. Года через четыре после свадьбы, родив сына Дмитрия, Катерина умерла.

Суханов второй раз не женился; всю любовь свою и все свои надежды вложил он в своего сына, никуда не отпускал его от себя, кроме как к соседу и другу Всеволодскому: там и Дмитрий, да и сам Суханов часто гостевали. И так шли долгие годы. Когда начала подрастать Фима, то невольно мысли старых товарищей останавливались на возможности породниться в будущем.

Года три тому назад Суханов, неосторожно поевши чего-то вредного, схватил лютую болезнь и помер.

Дмитрий на двадцатом году остался круглым сиротою и распорядителем отцовского наследия.

С этого времени он сделался окончательно своим в доме Всеволодского.

Всем добрым, молодым сердцем любил он и товарища своего Андрея, и Рафа Родионовича, и Настасью Филипповну, но больше их всех и больше всего на свете любил он Фиму. На его глазах быстро вырастала и расцветала красавица. Но не одна красота ее производила на него такое неотразимое впечатление. Она могла быть и не красавицей, а он все же любил бы ее, потому что, как ему казалось, никого на свете не было добрее и милее Фимы. С каждым днем любил он ее больше и больше. Она обращалась с ним как с братом; но в последнее время, превратившись во взрослую девушку и уже всецело завладев Дмитрием, она вдруг сделалась с ним какою-то странною. Он заметил, что она вдруг стала от него как будто отдаляться и говорила с

ним и глядела на него совсем иначе, чем прежде. Иногда она забудется и снова превращается в прежнего веселого, ласкового и доверчивого ребенка. Пройдет час, другой — ее не узнаешь, будто мысль какая-то мелькнет у ней, и она отходит от Дмитрия, глаза ее потухают. Он смотрит, смотрит и чувствует, что вот он стал совсем чужой для нее, что она его не видит, не замечает, о нем не думает.

Он не смел с ней говорить о своем чувстве, а когда раз попробовал намекнуть ей об этом, она посмотрела на него недоумевающим, но строгим взглядом и вышла из горницы. У Дмитрия и руки опустились; недели с три не показывался он к Всеволодским, так что наконец Раф Родионович к нему заехал и привез его с собою.

Но теперь все это кончено, все эти сомнения! Фима его поцеловала, никогда он не забудет этого поцелуя, хоть он и не первый. Ведь она прежде — и в детстве, и даже не так давно еще, тому года полтора-два каких-нибудь, — не раз целовала его, но то было совсем другое, то были детские, сестринские поцелуи. Этот же поцелуй — он огнем ожег его, он наполнил его невыносимым блаженством, от которого теперь кружится голова его, от которого не может он заснуть и не заснет во всю эту долгую зимнюю ночь.

Он глядит на бледно мерцающий огонек лампадки и то начинает молиться и благодарить Бога за свое благополучие, то предается счастливым мечтаниям: «Так хорошо жить на свете! Нечего бояться теперь. Нужно переговорить с Рафом Родионовичем и Настасьей Филипповной, а потом честным пирком да за свадебку».

«Только нет, прежде всего нужно приготовить дорогой Фиме теплое гнездышко. Старый домик в Сухановке подновить надо, все устроить...»

И размышляет Дмитрий о том, что нужно сделать, и задумывает ехать в Касимов приторговать там мастеров и начать перестройки да поправки.

Не много казны отец ему оставил, но все же у него есть кое-что про запас. Теперь самое время тряхнуть мошною. Фима останется довольна.

Так скучно, мертво, невыносимо было в его укромном домике со смерти отца — и как там все скоро изменится! Жизнь с Фимой, длинные зимние вечера в теплой горенке, длинные летние дни, озаренные солнечным светом, в душистой зелени старого заросшего

сада, где столько груш и яблок, где летом всегда так уютно, где в ветвях поют, заливаются птицы...

Но что это?

Дмитрий оторвался от своих мечтаний и вернулся к действительности.

Странные звуки поразили его ухо. Что это? как будто кони где-то заржали... звуки голосов... что ж это значит? Нужно встать... недалеко и полночь... Уж не пожар ли случился? Нужно встать...

Он приподнялся на постели, прислушивается. Да, голоса... ближе... как будто под самыми окнами. Вот кто-то стучится в двери!...

Дмитрий вскочил и стал будить Андрея.

Тот долго не мог ничего понять спросонья. Но стук в двери повторяется. Уж Раф Родионович проснулся и кричит: «Кто там? Что за шум такой?»

Вдруг наружная дверь дома подалась под чьим-то сильным напором и распахнулась.

Дмитрий и Андрей стали быстро одеваться.

Раф Родионович выглянул в сени и попятился.

— Разбойники! — крикнул он.

Но голос его замер.

В полумраке горницы, освещенной только лампадкой, Дмитрий едва различил, что кто-то навалился на Рафа Родионовича.

Схватив со стены первое попавшееся оружие, Суханов бросился вперед, за ним Андрей.

Перед ними несколько неизвестных людей. Рафу Родионовичу зажали рот платком, вяжут руки. И вот с той стороны, где Настасья Филипповна и Фима, явственно доносятся отчаянные крики и вопли.

— Спасай отца! Не робей! — крикнул громким голосом Дмитрий Андрею и, направо и налево махая тяжелым топором и заставляя пятиться перед собою вломившихся разбойников, пробился из горницы и кинулся на женскую половину.

### XIII

Дверь в комнату Настасьи Филипповны и Фимы была распахнута настежь. Дмитрий вбежал в нее и сразу не мог ничего разглядеть в полутьме. Он слышал только отчаянные вопли, среди которых узнавал

голос Фимы. Он видел в двух шагах от себя темную массу борющихся, но еще шаг — и он понял, в чем дело. Какой-то рослый человек, одной рукой обхватив Фиму, крепко держал ее, а другою отбивался от Настасьи Филипповны и Пафнутьевны.

Они старались загородить ему выход из горницы, старались вырвать у него Фиму.

Но он, очевидно, был очень силен, и долгая борьба с ним для них оказывалась невозможной. Они могли только кричать и звать к себе на помощь.

Вдруг разбойник, слышав шаги вбежавшего Дмитрия, обернулся в его сторону, и Дмитрий разглядел знакомое лицо — лицо Осины. Он знал историю сватовства его, и теперь все ему стало ясно. Ужас и злоба охватили его, рука с топором поднялась на мгновение, и он раскроил бы голову княжескому приказчику, но тот заметил его движение и отбежал, не выпуская, однако, Фиму, которая, в длинной белой сорочке, с распущенными волосами, уже не кричала, а только истерично рыдала и слабо билась в крепких руках приказчика.

«Убить! убить злодея! положить его тут на месте!» — мелькнуло в голове Дмитрия.

Но он содрогнулся перед этой мыслью об убийстве.

Собрав все свои силы, он кинулся на Осину и в одно мгновение вырвал из рук его Фиму.

Как ни крепок и силен был приказчик, но он не ожидал нападения. Он был уже утомлен борьбою. Он на мгновение опустил руки, собираясь ловчее сбить с ног нежданного противника, но в то же самое время Дмитрий ударил его кулаком в грудь, налег на него всем телом и повалил на пол.

— Давайте ширинки<sup>[6]</sup>, скорее! Скрутим ему руки! — закричал он.

Фима сидела на полу, дрожа всем телом и заливаясь слезами. Но Настасья Филипповна и Пафнутьевна еще не совсем обезумели от ужаса.

Они кинулись за ширинками и через несколько мгновений подбежали с ними к Дмитрию.

Как ни выбивался, как ни кричал приказчик, а скоро Дмитрий, с помощью женщин, скрутил ему руки и ноги, сунул в рот кусок полотна. Он не мог пошевеливаться, он был теперь безвреден.

«Но ведь вот, может быть, сейчас вбегут другие, и сколько их, разбойников, кто их там знает? да и что делается на другой половине дома? что с Андреем, Рафом Родионовичем? Нужно поднять крестьян, нужно позвать кого-нибудь на помощь!»

Все эти мысли зараз, одна перегоняя другую, мелькнули в голове Дмитрия. Что ж ему делать? бежать, узнавать, помогать там... а здесь оставить Фиму — разве это возможно?

Однако нужно на что-нибудь решиться. Он только выйдет в сени и сейчас вернется. Он направился к двери, но Настасья Филипповна и Пафнутьевна удержали его за полы кафтана.

— Митенька, голубчик, не оставляй нас, ради Христа! всех нас разбойники прирежут! — вопили они...

И он остался.

А там — то что же? Там, очевидно, было неладно! Слышно было, как кричат, ругаются, хлопают дверью... Что-то тяжело падает на пол, так что даже трясутся стены.

Старая Пафнутьевна пришла в себя и заикаясь, дрожащим от страха голосом проговорила:

— Пойду-ка я взгляну, а то на двор выбегу, людей кликну. А встретят, убьют, ну туда мне, старой, и дорога!

Она, спотыкаясь и шатаясь, вышла в сени. Прошло несколько тревожных минут.

Фима все сидела на полу, очевидно не понимая, что кругом нее творится.

Настасья Филипповна, стуча зубами и захлебываясь от рыданий, стояла над нею, безумно глядя на дверь.

Она крепко прижала Фиму к себе, охватила ее руками. Ее материнские руки так и сжались, как железные, — трудно будет вырвать из них Фиму

Осина бьется в углу горницы. Он напрягает все силы, чтобы разорвать свои путы, — но это невозможно. Толстое полотно крепко всего его стянуло, да и сам он привязан к тяжелой кровати. Трещит эта кровать от его усилий, трещат его кости, но ничего не может сделать он и только слабеет от борьбы напрасной.

Дмитрий стоит у двери с топором наготове. Будь что будет, хоть кровь пролить придется, а первого, кто попробует ворваться в горницу, он уложит на месте.



Но вот в сенях слышны шаги Пафнутьевны.

— Ахти нам! — кричит она. — Разбойников много. Наши с ними на дворе дерутся. Что-то будет?!

— Голубчик Митенька, — прошептала Настасья Филипповна. — Если всем нам смерть пришла, так уж, значит, такова воля Божия! А спаси ты хоть Фиму, выведи ты ее отсюда, укрой хоть на деревне, хоть где хочешь...

Дмитрий вздрогнул.

Как это до сих пор не пришла ему такая мысль в голову?! Сколько времени даром потерял! Конечно, из дому бежать нужно! Но на дворе дерутся, на дворе много разбойников, а он один.

Настасья Филипповна будто угадала, о чем он думал.

— Тут из сеней калиточка на задворки, может, там нет никого, — шепнула она. — Держи дверь-то! Я Фимушку сейчас одену

И она, с помощью Пафнутьевны, стала кое-как снаряжать Фиму, которая сама ничего не понимала и машинально подчинялась всему, что с ней делали.

Вот на ногах ее теплые сапожки, вот она сама закутана в меховую шубку.

— Веди ее, Митя, — говорит Настасья Филипповна, — а с нами пусть будет что Господу угодно!

Она бросается к дочери и порывисто крестит ее.

— Дитяtko мое ненаглядное, свижусь ли с тобою?

Фима очнулась от этих последних слов матери.

— А ты, матушка? — крикнула она. — А ты, мамка? Без вас я не пойду отсюда!

И старая мамка, и Настасья Филипповна не одеты; а минута идет за минутой...

Кое— как похватали они одежду, первое, что попало под руку.

— Господи помилуй, авось и удастся!

Они уже в сенях. Дмитрий запер дверь в опочивальню.

— Кто тут еще? — раздался над ними громкий голос.

Чья— то тяжелая рука схватила за плечо Настасью Филипповну. Но Дмитрий уж рядом. Он замахнулся топором, неведомый человек крикнул и повалился.

Отперта спасительная дверка. В душные сени клубами врывается морозный воздух; из-за тесового навеса глянул свет луны. Они на

свободе. А за ними в сених уже раздаются крики.

Дмитрий схватил на руки Фиму, шепнул Настасье Филипповне и мамке: «Не отставайте, ради Бога!» — и побежал, спотыкаясь о снежные сугробы, увязая в хрустевшем снегу и снова выкарабкиваясь со своей дорогой ношей.

Следом за ним, забывши усталость, спешили Всеволодская и мамка.

Тут направо, еще несколько шагов, — и начинаются крестьянские избы. Но большой шум и крики слышны из деревни; не на одну усадьбу Рафа Родионовича напали разбойники. Видно, их много. Забрались они в крестьянские избы.

Но что это такое?

У частокола привязана лошадь с санями.

Вот оно — спасенье!

Дмитрий едва не крикнул от радости.

В один миг был он около санок, бережно положил в них Фиму, махнул рукою двум женщинам и отвязал лошадь.

Настасья Филипповна и Пафнутьевна кое-как дотащились до саней и почти без чувств упали в них.

Дмитрий хлестнул вожжами, выхватил кол из загородки и, нещадно колотя им по бокам лошади, пустился через снежные поля к своей усадьбе.

«Теперь не догонят! — радостно думал он. — Теперь она спасена! Приеду — всех подниму на ноги, и пускай приходят разбойники, пусть хоть сотня их, со всеми управлюсь!»

И он продолжал колотить несчастную лошадь, не замечая, что она и так летит как стрела и пар от нее идет во все стороны.

## XIV

Долго пришлось Суханову кричать и стучаться в ворота своей усадьбы; все в ней было темно и тихо, только собаки подняли оглушительный лай. Наконец в щели одной из ставень мелькнул свет, тяжелые засовы двери звякнули. Дворовые, узнав голос своего господина, заспанные и полураздетые, кинулись ему навстречу.

Сдав Фиму с матерью и мамкой на руки старой ключнице, Дмитрий сейчас же кликнул старика Прова, своего дядьку, и рассказал

ему, в чем дело.

— Что же ты теперь, батюшка Митрий Исаич, делать задумал? — спросил Пров.

— Да что делать? Вестимо, медлить ни минуты нельзя; беги ты, Пров, скорей на деревню мужиков собирать, и чтоб шли с дубьем да топорами, а я дворовых вооружу всем, что есть в доме, и скорей к Рафу Родионычу на конях и бегом...

— Так-то оно так,-медленно проговорил, почесывая свою седую голову, Пров. — Само собою, Рафа Родивоныча нельзя в такой напасти оставить, только мужики-то наши... не знаю уж, как и сговорюсь с ними... Бегу, батюшка, бегу! — быстро прибавил он, заметив нетерпеливое движение Суханова.

Захватив тулуп и шапку, он кинулся на деревню так быстро, как только позволяли ему старые ноги.

Ключница и две сенные девушки хлопотали около приезжих, сильно прозябших и находившихся в состоянии, близком к помешательству.

Настасья Филипповна, обнявши Фиму и не отпуская ее от себя, навзрыд плакала, говорила бессвязные речи, а то вдруг начинала поминать мужа и сына и хотела бежать к ним из дому, так что ее приходилось удерживать силою. Фима сидела на лавке в полном оцепенении, дрожа всем телом, не плача и не говоря ни слова. Пафнутьевна стояла на одном месте, как-то странно разводила руками и все твердила:

— Ахти, батюшки! Ох, ох! Царица небесная!

Но вдруг она пришла в себя, очнулась и засуетилась вместе с сухановской ключницей.

— Матушки! — крикнула она, всплеснув руками и опускаясь на пол перед Настасьей Филипповной. — Что же это такое? Ведь зима, мороз на дворе, а она-то, голубушка моя, в одной сорочке под шубкою, а на ножках лапотки ночные, совсем ведь застудится!... Прости меня, окаянную, Настасья Филипповна!... Фиму снарядила, а тебя-то я так выпустила. Голубушки мои, девушки, тащите вино скорей растирать боярыню!

И, говоря это, Пафнутьевна не замечала, что сама она дрожит всем телом, что сама она проехала по морозу в каком-то старом одеяле и с босыми ногами.

Девушки засуетились: было принесено и вино для растирания, и горячая вода с яблочным и малиновым настоем.

Между тем Дмитрий уже собрал всех своих дворовых, раздал им старое отцовское оружие. Из конюшни вывели шестерку лошадей и закладывали их в несколько саней. Дмитрий, с польской пищалью в руках и турецким кинжалом за поясом, был уже на крыльце, поджидая Прова.

— Ну что, чего ты так долго? — закричал он, заметив подбегавшего дядьку.

— Ох, силушки моей нету! — отвечал старик, едва переводя дух. — И бегал-то по-пустому — не идут, и только. Пущай, говорят, Митрий Исаич назавтра хоть всех нас до единого в воротах повесит, а мы не тронемся.

— Что же это, Господи! — отчаянно воскликнул Суханов. — Там, может, Рафа Родионыча с Андреем убили давно, а они, поганые, хуже зверя всякого!

— Батюшка, — Митрий Исаич! — тихо и печально произнес Пров. — Что же им и делать-то? Знамо — каждому своя рубашка к телу ближе. Поди тут, толкуй с ними! Бают: пойдем мы, это, на разбойников, а те нас побьют до смерти да назавтра же дворы наши в разор разорят.

— Как же теперь быть, Пров? — отчаянно повторял Дмитрий. — Ведь вот нас всего семь человек, а других нужно при доме оставить, — не ровен час — сюда те дьяволы нагрянут... а туда их ведь видимо-невидимо понаехало...

— Авось Господь милостив, — своим спокойным голосом проговорил Пров. — Чего заранее-то раздумывать. Едем, что-ли, батюшка Митрий Исаич, вот только оружие какое ни на есть прихватчу — и едем.

Спокойный вид и голос Прова действовали не только на Суханова, но и на дворовых. Все знали, что Пров — старый воин, не раз рубившийся с врагами, выдержавший Троицкую осаду вместе с покойным Сухановым и побивший собственноручно десятки ляхов. И тот, кто трусил теперь идти на неведомых разбойников, видя бодрость Прова, вдруг успокоился.

Минут через пять все уселись в пошевни<sup>[7]</sup> и выехали из усадьбы. На дворе осталась запряженная колымага — в ней некому было ехать,

да и вряд ли бы она успела за пошевнями по глубокому снегу.

Несколько человек оставшихся дворовых поспешно ее отпрягали, чтобы вернуться поскорее в дом и, по наказу господина, наглухо в нем запершись, приготовить огнестрельное оружие и ждать возможного нападения.

Недалеко была усадьба Рафа Родионовича, всего верст пятнадцать; но пока Суханов спасал Настасью Филипповну и Фиму, пока вооружал дворню, пока то да се, прошло немало времени. Подъехав к деревне Всеволодского, он, по совету Прова, велел остановиться. Все стали прислушиваться. В деревне крики слышны; но там ли еще разбойники, узнать надо.

— Послать бы кого, — сказал Пров, — вот хоть бы Ваньку — он мигом сбегает, а то как зря-то мы въедем...

Но Суханов не дал ему договорить.

— Есть когда тут мешкать! — закричал он. — Трогай!

Пошевни помчались к деревне. Разбойников не видно. Никто не дрался, но в некоторых избах был зажжен огонь, слышались голоса, бабьи вопли, мужская брань и крики. Когда двое пошевней выехало на деревенскую улицу, все бывшие на ней кинулись в избы, полагая, что это опять наезжают разбойники. Суханов, с замирающим сердцем и вдруг охватившей его тоскою, завернул в усадьбу. Навстречу им какая-то фигура.

— Кто это, стой, держи! — почти бессознательно крикнул он.

Двое из его спутников, приостановив задние пошевни, выскочили, накинулись на этого неведомого человека и поймали его. Дмитрий обернулся.

— Батюшка, Митрий Исаич! — расслышал он знакомый голос пойманного. — Это я, Федул, Федул Рафа Родивоныча! По тебя бегу!

— Что такое? что, что Раф Родионыч? Стой! — кричал Суханов.

Его пошевни остановились. Федул подбежал к ним.

— Страсти Господни! — испуганным, дрожащим голосом, размахивая руками, забормотал он. — Разбойники всех нас разогнали. Ох! убили Рафа Родивоныча, всех убили... по тебя бегу, защити, милостивец!...

Суханов боялся верить ушам своим.

— Убили! всех! — дико повторил он и помчался к усадьбе.

Ворота стояли настежь; во дворе и доме все тихо; двери выломаны; темень крошечная. Кое-как высекли огонь, зажгли лучину. В дом вошли: покои настужены, все вверх дном. Ни одной вещи на месте нет: дорогие иконы из киота вытащены, сундуки сломаны и выпростаны — полный грабеж и разорение.

Суханов бросился в опочивальню Рафа Родионовича и в первую минуту ничего сообразить не мог. Но вот в опочивальню внесли зажженную лучину. На полу, крепко скрученный толстыми веревками, Раф Родионович. И не убили его, слава Богу, жив он, только лицо страшное, искаженное болью и отчаянием.

— Развяжите, Христа ради, из сил выбился, ничего не могу поделать! — хрипло повторяет он, и дрожат его сухие, запекшиеся губы.

Радостный крик вырвался из груди Суханова. В одно мгновение кинжалом он разрезал верёвки и высвободил из них Всеволодского. Тот приподнялся было — да и опять сел на пол со стоном. Весь он избит в борьбе неравной; руки, ноги затекли — не действуют.

— Митюша! ты это, голубчик?! Спасибо тебе — выручил! А жена, дети?!...

И голос его оборвался. Он в ужасе ждал: а вдруг Суханов скажет, что жену и сына его убили, а дочь обесчестили — увезли...

Но Суханов говорит, что Настасья Филипповна и Фима у него, в безопасности...

— Слава тебе, Господи!

Руки старика приподнимаются для крестного знамения и опускаются бессильно.

— А Андрей? — спросил он.

В эту минуту Пров уже вводил Андрея в опочивальню, поддерживая его под руки.

Когда шайка Осины, ворвавшись к Рафу Родионовичу, повалила его и стала вязать, он ничего не видел, что делается вокруг него. Он не видел, как Андрей отчаянно боролся, как его осилили и поволокли в сени.

Управясь со стариком и его сыном, одна часть забравшихся в дом разбойников занялась грабежом, другая бросилась на женскую половину; но там не нашли никого, кроме связанного Осины. Женская прислуга сразу разбежалась и попряталась где кто мог. Холопы же,

после схватки с разбойниками во дворе, тоже убежали, и один только из них, избитый почти до смерти, на крыльце остался...

В то время как развязывали Осину, дом был уже дочиста разграблен, и разбойники спешили убраться восвояси. Осина, грузно поднимавшийся на ноги, несколько минут не мог прийти в себя: платок, заткнутый ему в рот Сухановым, едва не задушил его. Вдруг кто-то из шайки крикнул:

— Ну, живей, удирать пора! — сундуки очищены.

— Где она, где? — заорал Осина.

— Ты кого же это?

— Где бабы Рафовы? Где дочка и этот Суханов проклятый, что связал меня? Неужто вы их выпустили?

Некоторые из шайки переглянулись между собою, другие хохотать стали.

— Так это бабы тебя связали? Ловко! связать этакое кабана! И прыток же тот молодчик — видно, это он так оглушил нашего Степку в сенях. Ну, братцы, ждать нечего, а то молодчик-то нагонит с собою народу... Отзвонили, да и с колокольни!...

Стали поспешно выбираться из дому, таща за собою награбленное.

Осина выбежал в сени, наткнулся на связанного Андрея и перескочил через него.

— Старик-то где? Старика мне подайте! — кричал он своим.

Кто— то из разбойников ответил ему:

— А глянь-ка там, в опочивальне, дрался он шибко, скрутили мы его, да никак и... того... невзначай и прихлопнули.

Осина распахнул дверь опочивальни и в темноте наткнулся на грузное тело Рафа Родионовича. Старик был в забытии. Осина прислушался, толкнул его ногою.

«Все тихо, должно, и впрямь прикончили! — подумал он. — Эй, скверно: Фиму-то из рук вырвали, над Рафкой и надругаться не привелось как следует... и как еще эту кашу расхлебать придется. Ну да вывернусь!...»

Он еще раз толкнул ногою Рафа Родионовича, плюнул и пошел за своими...

Как ни сильно, как ни богатырски сложены были Раф Родионович и его Андрюша, но оба они находились в ужасном положении, оба

были совершенно избиты. Их закутали в тулупы, снятые с сухановских дворовых, и уложили в пошевни. Дорогою они оба изредка стонали. Суханов молчал, озлобленно, почти бессмысленно глядел перед собою и ничего не видел. Все перед ним было как в тумане. Все, что случилось, казалось ему безобразным сном, и он ждал, что вот проснется и ничего этого не будет. «А вдруг и у меня разбойники в доме, вдруг Фиму уже украли!» — приходила ему страшная мысль, и он гнал что есть духу лошадей, и ему казалось, что они идут шагом.

Вот наконец и усадьба.

Слава Богу, все тихо, ничего подозрительного не слышно и не видно.

## XV

Прошло с неделю времени. Беда, разразившаяся над семьей Всеволодских, по счастью, не имела всех тех последствий, каких можно было ожидать. Никто не умер, и все стали видимо поправляться в своем здоровье. Раф Родионович мог уже ходить и даже владел одной рукою, другая же все не слушалась — видно, больно ее зашибли. Андрей тоже совсем поправился, только на лице была большая ссадина да плечо ломило. У Настасьи Филипповны от передраги осталось всего-навсего какое-то странное кивание головою, так что каждому, кто глядел на нее, непременно казалось, что она его к себе призывает и вот-вот сейчас скажет что-нибудь особенно значительное. Одна только Фима как была, так и осталась: дня два поломило ей руки и ноги после непривычного напряжения мускулов во время борьбы с Осиной, да Пафнутьевна натерла ее святым маслом — и все как рукой сняло. Но все же грустно как-то было на душе у Фимы.

Всеволодские, конечно, остались у Суханова до своего полного выздоровления и до решения вопроса, что теперь делать им. Да и невозможно было думать теперь вернуться к себе домой, так как и дома почти не было, одни только стены да сломанные столы и лавки остались. Всего именишка, трудом немалым накопленного долгими годами, как не бывало. Все разорили, растащили разбойники: Правда, уцелело самое важное, уцелела кадушечка с серебряными деньгами, припрятанная Рафом Родионовичем на погребке, под половицей. В ней теперь было все спасение. Найди ее разбойники, что было бы делать?!



Вотчина у Всеволодского маленькая, крестьян всякими поборами да разбоями совсем разорили, — с них возьмешь немного. А денежки в кадушечке копились еще отцом Рафа Родионовича, да и сам он каждый год в нее что мог складывал. И сладко было ему думать, что хватит у него и Фиме на приданое, и Андрею про день черный. Как пришел в себя Раф Родионович, как отдохнул у Суханова, так и вспомнилось ему про кадушечку: «А что, если и ее отрыли разбойники?!»

Призвал он Суханова, рассказал ему все; тот немедленно же поехал в разоренный дом вместе со своим верным Провом. И не успел еще Раф Родионович досыта намучиться ожиданием, как в полной сохранности была привезена заветная кадушка. Возблагодарил старик Создателя, но все же успокоиться ему не было никакой возможности. Вся душа его кипела гневом и обидой, приходили минуты даже полного отчаяния и ропота. Дом, хозяйство разорили, — с этим можно справиться; но нельзя справиться с людскою неправдою, с тем страхом, в котором жить приходится русскому человеку; а пуще всего нельзя справиться с неслыханной, позорной обидой, нанесенной зверем Осиной.

«Что это такое?! — думал Раф Родионович в бессонные ночи. — Что теперь делать? Холоп негодный пришел с шайкою, разорил, избил, дочь чуть не опозорил, а сам жив остался и торжествует. Ведь его убить мало! Ну что же — встречусь, убью его — и меня же засудят. Жаловаться на него? Кому? Воеводе — ничего путного не выйдет, от всего отопрется приказчик, дело не впервой. А потом, выждав время, опять нападет, дочь украдет... Господи, да ведь этак жить невозможно!...»

Даже слезы муки и бессилия прошибали старика; все его сердце горело от кровной обиды. И наконец, после долгого думания и раздумывания, решил он, что если касимовский воевода сразу не возьмет его сторону и не велит схватить мошенника, он, Раф Родионович, на Москву поедет, обратится к князю Сонцеву, а то так до самого царя дойдет — и не успокоится, пока не смоет с себя нанесенную обиду, пока холоп не примет должного наказания за свои злодеяния.

Это решение Рафа Родионовича скоро стало всем известно, и все его одобрили; только Андрей клялся, что суд судом, а и без суда он найдет Осину и своими руками с ним расправится.

— Эх, Митюха, Митюха, — говорил он Суханову. — Не в обиду тебе будь сказано, а неладно ты это сделал, что оставил тогда проклятого в живых!

И Суханов теперь внутренне был согласен с приятелем. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что, пока Осина жив и на свободе, каждое мгновение нужно опасаться и за жизнь Рафа Родионовича, и за честь Фимы. Он успокаивал себя только тем, что теперь уже ни на шаг не отойдет от Фимы, что, пока жив, сумеет защитить ее.

Раф Родионович и Андрей быстро поправились. Дня через три-четыре положено было всем ехать в Касимов, где должно было начаться дело Всеволодского против Осины. Фима, наскучивши сидеть взаперти, попросила Суханова прокатить ее немного, чтобы подышать воздухом. Настасья Филипповна воспротивилась было этому.

— Ишь, что вы, что вы! — закричала она, замахав руками и тряся головою. — Это чтобы ее украли злодеи! да ни за что не выпущу... и думать не могли ты, Фима!...

— Да Бог же с тобою, Настасья Филипповна, — сказал Дмитрий; — Ведь я с ней поеду недалеко, тут только, по полю. Копчик мой — лошадь добрая, стрелою летит, никакие разбойники не догонят, да и не ночь теперь, а день ясный.

Раф Родионович тоже взял сторону дочери. Суханов заложил Копчика в самодельные маленькие сани и выехал вдвоем с Фимой. День был морозный и ясный: солнце искрилось на снегу, в воздухе тишь стояла. Крепкая лошадка быстро бежала, разбрасывая кругом себя комья снега. Фима, просидевшая несколько дней в душных хоромах, жадно впивала в себя воздух, и в первую минуту даже голова у нее закружилась.

Долго ехали молодые люди не говоря ни слова, только Дмитрий не отрываясь глядел на Фиму. Тревога всех этих последних дней, неожиданные события поглощали все его мысли. Конечно, он постоянно думал о Фиме, но не думал о своей любви к ней. Теперь же, в первый раз после того вечера, когда она его поцеловала, он снова почувствовал, как страстно ее любит. Он глядел на нее и хотя видел одни только ее глаза, так как лицо все было закутано, но и по глазам этим, взглядывавшим на него нежно и ласково, чувствовал, всем сердцем чувствовал, что счастье близко, что все ужасные события

последних дней не только не уничтожили этого счастья, а напротив, приблизили его. Только как она печальна.

— Ты все грустишь, Фима, — тихо сказал он, — развеселись; мало ли какое горе бывает, да оно проходит. Нечего гневить Бога, все авось уладится, Раф Родионыч с Андреем совсем поправились. Вот поедем в Касимов, злодея словим, а там и заживем все благополучно. А того, что разграбили, чего жалеть-то! дело наживное, все вернется.

— Я не горюю, Митя, — отвечала Фима. — А все у меня как-то странно на сердце. Да и сам понимаешь, страху-то, страху сколько! Мне вот каждую ночь этот зверь снится... Ведь не будь тебя — что было бы теперь со мною! Митенька, голубчик ты мой, как мне и благодарить тебя, я не знаю!...

Она невольным движением прижалась к нему и положила ему на плечо свою голову. Сердце его забилося шибко, краска алая по лицу разлилась.

— Не за что благодарить тебе меня, — прошептал он обрывающимся голосом. — Не бежать же мне было, видя вас в опасности. Да и что бы со мною поделалось, кабы я не осилил проклятого да не связал бы его! Подумать страшно. Кабы захватил он тебя, так я, хоть и грех великий, — кажись, на себя руки наложил бы...

— Ах, что ты говоришь, полно! — перебила Фима.

Но он ее не слушал, он продолжал обрывавшимся голосом:

— Фима, и всей-то жизни моей, пока ты живешь да счастлива, а случись с тобою что-нибудь неладное, так и мне пропадать. Нельзя мне жить без тебя, уж так ты любя мне, уж так любя... да что... разве словами сказать это!...

— И ты мне всегда мил был, как брат родной, голубчик! — тихим, но твердым голосом проговорила Фима и еще сильнее к нему прижалась. — А уж теперь, теперь, Митя...

Ее голос оборвался, и вдруг она заплакала.

— Так ты меня любишь? Фима, голубка, ты хочешь быть моею женою?

Она отшатнулась, ее слезы высохли, и несколько мгновений она молчала.

— Женою?! — наконец шепнула она. — Да я твоей холопкой готова быть за то, что ты для меня сделал!

— Ах, оставь ты это, — отчаянно крикнул Дмитрий, — а то и впрямь меня не любишь. И если ты говоришь так, если ты согласна быть моею только потому, что я отнял тебя у злодеев, да и не я один отнимал-то, Настасья Филипповна с Пафнутьевной больше моего потрудились, — так мне тебя не надо — Бог с тобою!

— Что ты, Митенька, милый мой, что за речи нескладные?! — испуганно перебила его Фима. — Я люблю тебя пуще отца с матерью, я всю жизнь буду тебя лелеять и тебя слушаться, я...

Но она не договорила. Копчик летел как стрела, не сдерживаемый ничьей рукою. Дмитрий, обезумевший от счастья, охватил Фиму обеими руками, будто боясь, что ее у него вырвут. У самого лица ее, перед ее глазами было его лицо, совсем новое, преображенное.

Она тихо вскрикнула и с неведомым ей доселе, сладким и как будто грустным чувством охватила его шею и, сдернув с лица своего фату, прижалась к его губам крепким и долгим поцелуем.

## XVI

Касимовский воевода Никита Петрович Обручев был сущим наказанием для города и всей окружности. Прежде он воеводствовал долгое время в Сибири и там еще приучился к самоуправству. Теперь, переведенный в Касимов, он нисколько не изменил своего образа действий и считал себя полным и единственным хозяином всего, что его окружало.

Некоторые из его благоприятелей, слыша про какую-нибудь чересчур уж значительную его проделку, не раз замечали ему, что он плохо кончит: «В Сибири на воеводстве хоть вниз головою ходи, хоть весь город перевешай, все с рук сойдет. Кто там разузнавать будет! Ну а Касимов не Сибирь, и Москва не за горами; дойдет до царя, донесут, так не вывернешься...»

Но воевода только ухмылялся на такие речи и продолжал жить в свое полное удовольствие. Несколько лет прошло, чудеса рассказывали про деяния воеводы, а беды с ним никакой не случилось, и он окончательно уверовал в свою силу и в свое право. Подвалы воеводские битком были набиты всяким добром и припасами. Денег у Обручева куры не клевали, и с каждым годом все прибывало его благосостояние, — легко оно доставалось.

Всякий торговый или промышленный человек, не только живший в городе, но и по делам в него заглядывавший, должен был идти к воеводе с большим приносом. В месяц раза по три, а то и по четыре, рассылал воевода своих подьячих к городским обывателям и требовал, чтобы они в такой-то день и час являлись к нему и несли дары свои. А кто не придет или принесет мало, того сейчас же схватят и в тюрьму посадят, а потом и выкуп с него потребуют. Не даст он выкупа, так в тюрьме просидит хоть до скончания века.

Люди воеводские ежедневно в гостинный двор забирались и брали там товары без платы. Наконец завел воевода близко от своего дома корчму и начал спаивать весь люд касимовский, грабя при этом каждого. Разврат в воеводском доме был такой, что о нем умолчать лучше.

И не один Никита Петрович страх нагонял на касимовцев, с ним в этом спорила и жена его. Вряд ли была в Касимове хоть одна женщина, которая бы из-за нее не убивалась, не плакала и ее не проклинала. Пойдет воеводиша в баню, а городские женщины должны идти ей челом бить, да не с пустыми руками. Лежит она на полке, парят ее вениками горячими, а горожанки одна за другою подходят к ней, низко кланяются и кажут ей свои приношения. Понравится приношение — отберут и отпустят подобру-поздорову; не понравится, так разденут несчастную женщину и заперют чуть не до полусмерти.

У такого — то воеводы приходилось искать суда и правды в своей обиде Рафу Родионовичу. Дня через два после объяснения Суханова с Фимой, о котором до сей поры никто не ведал, так как сватовство нужно было начать по исконным обрядам и обычаям, а это было невозможно, пока жених с невестой жили в одном доме, перебрались Всеволодские вместе с Сухановым в Касимов и остановились у старого знакомого своего, соборного попа отца Николы.

Раф Родионович тотчас же отправился к воеводе. Он хорошо знал, что ничего путного для него не выйдет из предстоявшего объяснения; но ведь нужно же было дело начать порядком, да и авось хоть раз-то удастся пугнуть Обручева Москвою, ведь дело незаурядное.

Битых три часа заставил воевода ожидать себя в грязной заплеванной прихожей. Конечно, никаким делом он не был занят; но ему приятно было помолиться перед Всеволодским, которого он очень недолюбливал и называл не иначе как козлом, разумея, что от него, как

от козла, ни шерсти, ни молока. Наконец, когда уже терпение Рафа Родионовича стало совсем истощаться, полупьяный подьячий объявил ему, что он может идти в хоромы к воеводе.

Обручев, в расстегнутом кафтане и стоптанных сафьянных сапогах, валялся на лавке, покрытой пуховиками и подушками. Со вчерашнего перепоя у него голова болела. Его старое, обрюзгшее лицо с маленькими подслеповатыми глазами и редкой седой бородою было теперь совсем багрового цвета и видимо припухло.

— С чем пожаловал? — презрительно проговорил он, даже не взглянув на вошедшего.

Раф Родионович остановился, и, вдруг вся его фигура преобразилась. Он выпрямился во весь рост свой, голова гордо назад откинулась.

— Да ты хоть бы по-человечески слово сказал, Никита Петрович, хоть бы на лавку меня посадил, как подобает. Я те не холоп и не подьячий, а дворянин столбовой, исконный.

— Хорош дворянин! — переваливаясь с боку на бок, усмехнулся Обручев. — Я твоего дворянства что-то до сих пор не видел, и нечего мне говорить тут с тобою... Садись на лавку, коли устал, да ответствуй: зачем пожаловал? Чай, ябеда? Только на ябеды все вы и горазды...

— Не ябеда, а жалоба, и великая жалоба, — упавшим голосом произнес Всеволодский, садясь на лавку. — И коли ты мне в моем деле не поможешь, так я...

— Да не расписывай,-перебил его воевода. — Что там у тебя такое?

— Ведомо ли тебе, что князя Сонцева приказчик, Яков Осина, набрав шайку разбойников, напал на мою усадьбу, вконец разграбил домишко мой и крестьян моих? Искалечил он меня и сына моего, дочь мою увезти собирался, и только по милости Божьей она спаслась, а мы живы остались. Ведомо ли тебе, говорю я, такая несносная обида, мне от холопа княжеского учиненная?!

Лицо Всеволодского было бледно, губы тряслись, язык едва поворачивался.

— Неведома! — сказал воевода и пристально взглянул на Рафа Родионовича. — Да и сдается мне, — продолжал он, — что ты это со злобы на Якова Осину поклеп возводишь.

— Что я... поклеп? — прошептал Всеволодский и замолчал. Говорить он больше не был в силах.

— Да, поклеп; я хорошо знаю Осину, человек он, каких лучше и не надо, не чета вам, касимовским дворянам; и на разбой не пойдет он. Да и какая невидаль? Много ли там у тебя пожитков?! так и есть — одни пустые ябеды!

Но Всеволодский уже сладил с собою. Он встал и, грозно остановившись перед воеводой, заговорил:

— Ну так я скажу тебе мое последнее слово... что я не поклеп возвожу, а что все то истинная правда — свидетелей у меня много. И ежели ты, аки воевода, не вступишься в дело мое и того душегубца Осину не захватишь и не накажешь примерным образом, да не мешкая долго, то я и до царя дорогу найду!...

Воевода поднялся с лавки и остановился перед Рафом Родионовичем, заложив руки за спину и злобно усмехаясь.

— Так это ты что же? Стращать меня вздумал... Али ты о двух головах?! Прежде бы размыслить следовало... Слушай, ты, дворянин столбовой, что я скажу тебе: Осину ради твоего удовольствиями в потакание твоей злобе и ябедам я не трону, а за речи твои дерзкие да нахальные да за ябедничество — на Москву отпишу, и не ты сам туда поедешь, а силком тебя потащут к допросу. А теперь иди подобру-поздорову... проваливай... мне с тобой говорить нечего.

Затряслись руки и ноги Рафа Родионовича, шагнул он вперед, и если бы не вспомнил про жену и детей своих, плохо бы пришлось воеводе.

— Пиши, пиши, воевода, — прошептал Раф Родионович, — только поглядим еще, что к царю раньше дорогу найдет — твоя ли неправда Иродова али правда моя... Больно уж зазнаешься ты, смотри, на мне оступишься!...

Что— то страшное, что-то необычайно могучее послышалось воеводе в словах старика Всеволодского. Жутко вдруг стало ему от взгляда этого оскорбленного человека, и он ни слова не сказал ему.

Раф Родионович большими шагами и ничего не видя перед собою вышел от воеводы. И, выходя, не заметил он, как у воеводского дома остановилась большая кибитка, запряженная усталыми конями, как из кибитки вылезли двое пожилых людей в богатых собольих шубах, не заметил, какое волнение в доме произвело их прибытие.

## XVII

Мрачный и страшный вернулся Раф Родионович в домик отца Николы. Настасья Филипповна как увидела его, так и руками всплеснула, — лица на нем не было. И замерла у нее на губах весть радостная, которою хотела она его встретить. Дело в том, что Суханов с Фимой, как ни крепились, не могли дольше выдержать и признались во всем Настасье Филипповне. Сватовство сватовством, все будет в свое время, как по обычаю следует, а к чему же молчать и таиться, когда от родителей отказа быть не может. То бессознательное чувство, которое заставляло молчать Дмитрия у себя в доме, теперь исчезло. Теперь все другое, они в Касимове, у отца Николы, и Дмитрий, наоборот, торопился закрепить свое счастье родительским согласием — тогда уж, конечно, никак не уйдет от него Фима.

Этой — то весточкой спешила порадовать Рафа Родионовича Настасья Филипповна. Она хорошо знала, что он давно уже ждет сватовства Дмитрия, давно рассчитывает на него для Фимы. Но как тут с ним говорить станешь, когда она его таким во всю жизнь не видывала.

Она все же попробовала говорить.

— А я давно уже тебя поджидаю, — начала она, — дельце есть такое, Родионыч...

Он дико взглянул на нее и крикнул:

— Молчи, отвяжись от меня и не трожь меня нынче!... Все отвяжитесь!...

Он ушел и заперся в каморке отца Николы. Настасья Филипповна, охая и трясая головою, стала шептаться с Сухановым и Фимой. Они ее успокаивали и порешили на том, что, видно, Раф Родионович не поладил с воеводой, а завтра он сам им все расскажет, и сообща решат они, что им теперь делать. А вот придет от вечерни отец Никола, так он поговорит с Рафом Родионовичем и успокоит его.

Но вечерня отошла, а отец Никола не возвращается, попадья не знает, что и подумать. Андрея тоже нет, он с утра исчез куда-то. Но Суханов знал, где он, — конечно, в доме родственников новой своей знакомки Маши, которая так ему понравилась.

Проходят часы. Суханов ушел из дому к одному приятелю, которого прочил себе в сваты. Андрея все еще нету, а Раф Родионович



запершись сидит. Вот и вечер. Настасья Филипповна прикорнула в уголке, да и задремала. Попадья к соседке пошла поболтать о том о сем да посудачить, куда это поп нынче девался. Фима сидит одна в темной горнице. Сидит тихо, не шелохнется, прислушивается к однообразному чиканью сверчка за печкой. Странно у нее на сердце. Ей кажется, будто много, много времени прошло с тех пор, как она в последний раз раздевалась и укладывалась в постель в родном доме. Ей кажется, что она тогда была совсем другая, что тогда была молода, а теперь вот совсем постарела.

Да, много, много прошло с тех пор времени, и все изменилось, а главное — изменился Митя. Прежде он был просто Митя, привычный человек, товарищ детства, а теперь он уже совсем другое, теперь он жених, будущий муж, будущий властелин ее...

Она его любит, она всю жизнь будет служить ему. Да, она его любит, он добрый, милый, лучше его не сыскать на всем свете. Он спас жизнь и ей, и ее матери, он благодетель всего ее семейства. Как же ей не любить его?! И особенно в эти последние дни, и особенно с той минуты, как он сказал ей, что ее любит! Да, она чувствует в себе новое, что-то тихое да хорошее такое, сладкое...

Так вот оно что значит — суженый! Вот она — любовь — какая бывает на свете! А она думала, что все же это что-то иное, что-то совсем волшебное... Или, пожалуй, не любит она как следует Митю? Нет, как можно! любит, любит его всем сердцем! Вот и теперь, его нет — ей скучно, ждет она его не дождется, слушает, не скрипнет ли дверью. Войдет он, она к нему навстречу бросится и прильнет к груди его — и тепло, и уютно, и спокойно ей на широкой и крепкой груди этой.

Вошла девушка служанка, лампадки у образов затеплила, для боярышни свечку зажгла восковую и вышла.

И опять все тихо, только в уголке всхрапывает крепко заснувшая Настасья Филипповна.

«Где же это Митя», — думается Фиме, и начинает она тревожиться.

В это время в сенях раздаются шаги, дверь растворяется. Но это не Митя, а отец Никола, и за ним еще кто-то.

Увидев незнакомого человека, Фима хотела было тотчас же закрыть себе лицо и выйти из комнаты, но отец Никола поспешно взял

ее за руку и, обернувшись к следовавшему за ним человеку, сказал:

— А вот как раз и она, Рафа-то Родионыча дочка, — неведомый человек быстро окинул ее взглядом и поклонился. Фима вся переконфузилась, зарделась, отвернулась и, высвободив свою руку из руки отца Николы, быстро скрылась за дверь.

— Ну что, боярин, как тебе показалась девица моя хваленая? — сказал священник.

— Красавица, что и говорить! — отвечал гость. — Многих девиц я ноне навидался, а такой, признаться, повстречать еще не привелось; да вряд ли у нас и на Москве такие водятся. Спасибо тебе, отче...

— Чем богаты, тем и рады, — весело улыбаясь и кланяясь, проговорил священник. — Неисповедимы пути Господни — может, и нашей Фимочке выпадет счастье... Да где же отец-то, Раф Родионыч, — пойти поискать его.

Священник направился к своей каморке и, увидя, что она заперта, крикнул:

— Раф Родионыч, ты, что ли, тут? Отомкнись!

Задвижка щелкнула, Всеволодский впустил хозяина, а за священником прошел и незнакомец. И заперлись они втроем и долго о чем-то толковали.

Митя тем временем вернулся. Настасья Филипповна проснулась. Фима шепотом рассказала, что пришел какой-то человек неведомый и застал ее с лицом открытым, а отец Никола не дал ей и скрыться вовремя — совсем осрамил ее.

— Где же этот человек? — вдруг бледнея и упавшим голосом спросил Митя.

— Да он там, с батюшкой, долго что-то толкуют, — ответила Фима.

Дмитрий прислонился к стене, у него подкосились ноги.

«Неужто это он? Во все дома, сказывают, заглядывает!» — подумалось ему.

В эту минуту дверь каморки отворилась, и в горницу вошел неведомый гость в сопровождении священника и Всеволодского. Дмитрий так и впился в Рафа Родионовича, и еще более сжалось его сердце.

Старик уже не был сумрачен и грозен, как утром. Теперь вся его фигура выражала торжественность, лицо было радостное.

Гость молча отвесил поклон всем присутствующим, принял благословение от священника и вышел.

Все молчали, все ждали чего-то. Раф Родионович вернулся из сеней, куда он проводил гостя, и громким, сильным голосом вымолвил:

— Филипповна, подь-ка сюда! Митя, голубчик! Фима! Бог не без милости! Получит злодей Осина должное наказание, найду я себе защитников... На Москву едем, до царя дойду! Гость-то, что вышел, — боярин Пушкин, по наказу великого государя ездит... Государь наш батюшка жениться надумал — невест со всей земли русской сзывает. Вот и на Фиму указал отец Никола, да и боярину ты приглянулась, дочка... На Москву едем... слава те, Господи!...

Настасья Филипповна как разинула рот, так и осталась. Фима вся похолодела, застучало ее сердце, голова закружилась, едва на месте она устояла.

— Раф Родионыч, что же это такое? Бога побойся! — отчаянным голосом закричал Дмитрий.

— Что такое? Что это ты, Митя? — изумленно спросил Всеволодский.

— Да ведь мы с утра тебе сказать собираемся; ведь я завтра сватов к тебе прислать должен... Настасья Филипповна почитай что уж и благословила меня с Фимой, да и сам ты, Раф Родионыч, неужто скажешь теперь, что не хотел породниться со мною?! — задыхаясь от волнения, отчаянным, обрывающимся голосом говорил Дмитрий.

— Что же это, Раф Родионыч?! — продолжал он. — Я Фиму всей душой моей люблю, с детства люблю, так за что же ты ее будешь отымать у меня? Господи, что же это такое?!

Всеволодский сел на лавку, опустил голову и долго не мог сказать ни слова.

— Так вот оно что! Чего же ты раньше-то не сказал мне?

— Да ведь ты же, Родионыч, сам на весь день заперся. Разве к тебе можно было приступить? — вымолвила, приходя в себя, Настасья Филипповна.

— Ну, а теперь делать нечего! — продолжал старик. — Теперь уж я все порешил с боярином, через два-три дня выезжать надо. Как тут быть? Никаким образом я не могу отказаться — невеста что про нас подумают... да и Фима опозорена будет. Правды-то никто не скажет, а

наплетут сраму всякого... Нет, теперь нельзя, сам ты должен понимать это, Митя; только ты не бойся, голубчик: неужто весь свет так клином и сошелся на Фиме! Слышь ты — со всей земли девки на Москву собраны будут, так, чай, много краше Фимы сыщется...

— Не сыщется, не сыщется! — пробормотал Суханов, ломая руки.

Но Раф Родионович его не слушал. Он был погружен в свои мысли и высказывал их громко. Ему не приходило в голову, что Фима будет избрана государем. Того быть не может. Другое, совсем другое поглощало все чувства Рафа Родионовича. Эта поездка в Москву, эта возможность свидеться с людьми сильными и с самим царем сулила ему благое окончание его дела. А после утрешнего свидания с воеводой, после всего, чего он натерпелся, он мог думать только о своей обиде.

— На Москву, к царю! — твердил он. — Пиши, воевода, пиши, Ирод, недолго тебе кровь пить человечью!...

Дмитрий как безумный выбежал из горницы. Фима вскрикнула и скрылась за ним следом. Она догнала его в сенях, за рукав его схватила.

— Митя, куда ты, постой, Митя! — сквозь рыдания прошептала она.

Дмитрий остановился.

— Отняли! — простонал он.

Фима крепко обняла его и не выпускала.

— Успокойся, — говорила она, — ничего того не будет. Государь на меня и не взглянет. Ох, как страшно! Только ты не бойся, Митя, все это не так... это неправда... это не то!...

Она сама не знала, что говорит. Ее тоска давила — она не могла видеть мучений Дмитрия. Какой-то ужас ее охватывал...

Но что — то странное вдруг произошло с Сухановым. Его безумное отчаяние исчезло. Он прижал в темноте голову Фимы к груди своей и проговорил тихим, почти спокойным голосом:

— Сердце не обманет, чую беду великую... Люблю я тебя, Фима, пуще жизни — ты это знаешь; но я не стану тебе поперек дороги!

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Приказом из Москвы велено было торопиться. Посланцы царские, Пушкин с князем Тенишевым, оповестив окрестных дворян, сделали смотр находившимся в наличности касимовским девицам и составили им список. Не обошлось при этом, конечно, без большого шума и всякой тревоги. Весь город волновался, каждая мать желала видеть свою дочь царскою невестой и все усилия употребляла для того, чтобы вывести ее на смотр бояр московских в самом лучшем виде. За целый год в Касимове не изводилось столько румян, белил и сурьмы, сколько извелось в последние три-четыре дня.

Но присланные царем бояре московские, несмотря на все хитрости матерей, очень умели отличать хороший товар от худого и немало забраковали невзрачных девушек. Матери их и отцы с досады и обиды просто содом подняли, так и налезали на бояр.

В доме воеводы, где происходил смотр, с утра до вечера стон стоял от бабьих криков и воплей.

Пушкин с Тенишевым потеряли наконец терпение и стали запирались в отведенных им воеводой горницах, никого к себе не допуская. Но волнение не прекращалось. Обиженные матери забракованных дочек не могли спокойно вынести нанесенного им оскорбления. Видя, что ничего не поделаешь, что московские бояре неумолимы, они стали накидываться на своих счастливых соперниц. И если бы Пушкину с Тенишевым заблагорассудилось поверить хоть сотой доле из того, что рассказывали в приемном покое воеводы, то пришлось бы им разорвать составленные списки и не пускать в Москву ни одной из выбранных уже и записанных девушек. Злоба женская хитра на выдумки — чего только не наболтали...

В одной из невест-красавиц, по клятвенным уверениям обиженных соседок, семь бесов сидело; другая по ночам петухом кричала; третья, от роду которой было всего пятнадцать лет, уже умудрилась родить тройню; четвертая сама по себе бы еще ничего, да

мать у нее такая, что ей и показаться пред царские очи никак невозможно...

Но бояре московские были люди благоразумные, хорошо знавшие цену озлобленному языку человеческому, а наипаче бабьему. Коли красива да стройна была девушка — тотчас же и вносили ее в список, об остальном не заботясь. Есть ли у нее болезнь какая, али там другие провинности за нею водятся — все то узнают доподлинно дворцовые бабки да немчин дохтур...

Не удалось даже самому воеводе Обручеву поколебать Пушкина. Узнав о том, что дочь Всеволодского тоже включена в список, воевода начал наговаривать на Рафа Родионовича, убеждал Пушкина, что не только дочь его на Москву везти нечего, но что и самого-то старика Всеволодского следует в кандалы заковать за его дела непотребные.

Пушкин долго молчал, слушал себе речи Обручева и только искоса на него поглядывал. Фима Всеволодская поразила его своею красотой, и он особенно радовался, что доставит в Москву такую невесту. Кроме того, Раф Родионович в разговоре с ним у отца Николы откровенно поведал ему о своем горестном положении, рассказал все свои обиды.

Пушкин сразу убедился в правоте почтенного старика. К тому же он давно уже слышал о проделках касимовского воеводы, а грабежи да разбои и всякое своеволие различных приказчиков были тоже не новостью.

Конечно, в другие времена, при других обстоятельствах этот самый Пушкин не стал бы держать руку неизвестного и бедного касимовского дворянина, но ведь если Фима поразила его своей необычайной красотой, она точно так же может поразить ею и там, во дворце, самого царя молодого. В таком случае Всеволодский из бедного, обиженного человека превратится в силу. Пушкин, как опытный царедворец, сразу обдумал все это и решил, что старика заранее обласкать нужно, нужно сразу сделаться его благодетелем. А воеводы касимовского московскому боярину бояться нечего — и воевода хорошо это понимает и потому-то так низко кланяется царскому посланцу, не знает, чем угостить его, как задобрить.

— Что же ты, боярин, на мои речи ничего не отвечаешь? — говорит Обручев, перебрав все клеветы, какие только можно было возвести на Всеволодского.

— А что же мне отвечать тебе, воевода? — наконец прерывает молчание Пушкин. — Я не властен судить Всеволодского... Ты на него жалуешься — он на твои обиды плачется! Ну вот, как приедем мы на Москву, я это ваше дело и доложу государю. Вот тебе и весь сказ мой.

И Пушкин лукаво усмехается, поглядывая на Обручева.

Воевода, позабыв свою тучность, как выюн завертелся на месте от слов этих. Он почувствовал, что если Пушкин говорит с ним таким образом, значит, нужно держать ухо востро. Беда может прийти с той стороны, откуда и ждать-то ее было нельзя никоим образом.

Пушкин ушел заниматься своими делами, а воевода велел доверенному подьячему позвать к себе в укромный покойчик приказчика Осину, который еще со вчерашнего дня тайно находился у него в доме.

Осина вошел хмурый и красный больше прежнего, поклонился воеводе в пояс и молча стал перед ним, поглядывая на него исподлобья.

— Что же это ты, разбойник, сделал со мною, аспид ты этакой! — вдруг крикнул Обручев, с кулаками подступая к Осине.

Тот вздрогнул и попятился.

— Что такое, государь воевода? И невдомек мне, за что ты меня так?!

— Невдомек! а! невдомек, хамово отродье?... — продолжал воевода с пеною у рта.

Самые ужасные ругательства посыпались с языка его, и он долго не мог ничего выговорить, кроме этих ругательств. Осина молча слушал и ждал, что будет дальше.

Наконец воевода остановился. Он сообразил, что его крики и брань могут очень легко услышать московские приезжие, а главное, что не для одной только брани призвал он Осину.

— Ты тут разбойничаешь, — заговорил он более спокойным голосом, — а мне погибать из-за тебя!...

Но первое изумление и смущение Осины уже прошли. Он не боялся грозного воеводы — они были слишком тесно связаны общими интересами.

— Не тебе бы, Никита Петрович, разбоями укорять меня, — перебил он Обручева. — Посчитаем-ка, на чью долю с моих разбоев больше приходится — на мою али на твою... Кажись, до сей поры я

был перед тобой в исправности, так нечего тебе на меня лаяться. А коли неладно что вышло, так ты толком поведай — дело-то, может, и поправим вместе.

— Много ты тут поправишь! — закричал было опять Обручев, но тотчас же понизил голос. — Рафка-то, может, скоро в силе будет — вот тебе, выкуси!... Слышь ты, московским боярам его девка больно приглянулась, царю напоказ везут... Чуешь ли, чем это пахнет?!

Осина вздрогнул.

— А! вот оно что! — прорычал он, да так страшно, что теперь уже Обручев от него попятился.

— Дрянь дело, — проговорил он, наконец, обрывающимся голосом. — Попадет Фима в Москву, одним глазком ее царь увидит, так на других и смотреть не станет. Краше ее не сыщется девки во всем свете!

— Не видал я этой Фимки Всеволодского, — перебил его воевода. — А коли и впрямь такова она, то вот что скажу тебе: ежели Рафке да этакое привалит счастье, так ты пропал, как пес пропал, — это уж само собою: да из-за тебя, окаянного, ведь и мне пропадать придется! Ну и не хочу я этого! Долго я держал твою руку, покрывал тебя — будет! Выпутывайся сам как знаешь, а на меня не надейся... Провалиться тебе со всеми твоими приносами!...

— Что же, ты это меня, никак, выдавать надумал? — злобно усмехнувшись, проговорил Осина. — Выдать выдашь, а сам беды не минуешь... Рафку-то мы с тобой ведь не со вчерашнего дня знаем; подумай-ка, забудет он, что ли, твои все обиды?!. Пиши-ка ты лучше грамотку князю Сонцеву, давнишний тебе он приятель. А я с той грамоткой на Москву поеду. Не ведаю еще, как оно будет, одно только ведаю: не дам я Рафке праздновать... такое придумаю! В руках он будет держать свое счастье, а я его у него из рук вырву. Или пропаду пропадом, или и тебе сослужу службу великую!...

Осина замолчал. Грудь его тяжело дышала, глаза мрачно блестели под сдвинувшимися бровями.

Воевода задумался. Он хорошо и давно знал Осину, знал, что на ловкость и хитрость его смело положиться можно, что он не задумается ни перед каким средством. К тому же в последних словах его слышалась такая злоба и такая решимость... Да и риску ведь не было никакого для воеводы. И правду молвил этот Осина проклятый



— выдать его Всеволодскому, пожалуй, хуже будет, да и наверно хуже. Приказчик неведь что наговорит на него, воеводу, совсем его запутает — солонее Рафа ему придется...

— Ну, коли так, ин ладно, — сказал Обручев. — Пожди там, грамоту князю изготовлю. Только смотри ты, Яков, помни: головою я мог тебя выдать врагу твоему лютому, да не выдал, помни ты это!...

— Ладно уж, я-то не забуду, — проговорил мрачно Осина и, простясь с воеводой, от него вышел.

К вечеру он уже выехал из Касимова. Злоба бушевала в нем. Ему представлялось прелестное лицо Фимы. Представлялись те вечера, когда он, бывало, сидел за трапезой в тихой усадьбе Всеволодских и когда милая девушка, еще почти совсем ребенок, врывалась в горницу с веселым, беззаботным смехом. Дикая страсть поднималась в Осине от этих воспоминаний, кровь бросалась в голову, сердце усиленно билось. Но вот ему припомнилось другое...

— Я хамово отродье! — шептал он. — Я холоп! Да, Раф Родионыч, видно, прав ты был, как взашей гнал меня из твоего домишка! Где же тебе было родниться с Осиной!... Ишь куда метишь... Ну да еще посмотрим... Раз по глупости моей ушел ты из рук моих, а уж коли другой раз уйдешь — так меня удавить мало будет, аки пса негодного... Нет, такое я теперь придумаю, что люди и не поверят, коли услышат...

## II

В домике отца Николы, где до сих пор все было тихо и чинно, где раздавался только вечно спокойный голос хозяина да воркотня его попадьи, теперь шла самая тревожная жизнь: немолчный говор и движение.

Назавтра Всеволодские должны были тронуться в путь и уже оканчивали последние приготовления. Впрочем, сборы были недолги, Настасья Филипповна не могла снарядить для дочки-красавицы богатых нарядов — и средств на это не было, да и нужных товаров где взять в такое короткое время. Единственная ее надежда была на сестру двоюродную, проживавшую в Москве и имевшую большой достаток. Не раз перетолковала Настасья Филипповна об этом деле с Пафнутьевной, и они успокоились на том, что богатая тетка, да еще

вдобавок и крестная мать Фимы, не оставит в таких неожиданных и важных обстоятельствах невесту-красавицу.

Но хотя и не было особенной поклажи, хотя нечего было укладывать и устраивать, все же Настасья Филипповна и Пафнутьевна с раннего утра и до вечера суетились. И им обоим казалось, что они что-то делают, какое-то важное и необходимое дело.

Настасья Филипповна совсем даже преобразилась. В последние годы она стала несколько тяжела на подъем, любила целыми часами сидеть на месте за какой-нибудь работой. Раф Родионович частенько в минуты хорошего расположения духа подсмеивался над нею и добродушно называл ее «квашнею». А уж после их семейного несчастья и совсем она впала в апатию. Теперь же вдруг встрепенулась, не могла усидеть на месте. Будто сила какая-то невидимая двигала ее взад и вперед по маленьким покойчикам поповского домика.

И ей необходимо было это движение, эта суета, эти хлопоты о чем-то несуществующем, но как будто важном.

В этой лихорадочной деятельности она отвлекалась от своих мыслей, которые вдруг теперь нахлынули на нее. Да так нахлынули, что в голове у нее все окончательно спуталось, и никак не могла она разобраться. И чудно ей, и страшно, и тревожно. Все стали замечать, что она даже руками иной раз водит вокруг трясущейся головы своей, будто отгоняя от себя наплывающие, непосильные ей мысли. А в работе-то, в беготне они и уходят.

Но вот вечер, спать пора. Все легли уж, и сама она раздевается и ложится — бегать-то и нельзя. И тут, как ни махай руками, мысли совсем одолевают. Ног под собой не слышит Настасья Филипповна от усталости, заснуть бы поскорее, да не спится: мысли, и опять мысли, конца нет им...

«Боже мой милостивый, — думается Настасье Филипповне, — Фима-то, Фима! Вот оно как вышло — на Москву едем. А там что-то Господь даст?... с чем вернемся, да и вернемся ли?... Ведь вон что боярин-то говорил!... Сказывает: краше Фимы не видал девки. Ну как она да приглянется царю-батюшке, ну как он ее выберет в царицы... Фиму-то мою, Фиму! Царица она — что же это такое?!...»

И Настасья Филипповна даже уж лежать не может, приподнимается и опять машет перед собой руками.

Но руки опускаются, приходят новые мысли.

«Как бы изо всего этого вместо добра и счастья великого горя опять не вышло?! Не лучше ли было бы вернуться в усадьбишку, устроиться там снова мало-помалу, выдать Фиму за Суханова и любоваться на их житье-бытье счастливое да тихое... И впрямь, так было бы не в пример лучше... Бедный Митя! Лица на нем совсем нету, уж так горюет, убивается. Да как и не убиваться! Знает он Фиму сызмальства, крепко любит, еще с покойным отцом его у нас это дело было загадано... обещана она ему, а тут вдруг такое! Как-то неладно оно, как будто и перед Митей на душе беспокойно, совестно...»

Только нет, ведь все это пустое, одна отсрочка. Съездят они в Москву да и вернутся, тогда и поженят Митю с Фимой.

«Ну что же, что Фима красива уродилась? На Москве не такие есть боярышни — да знатные, да богатые; с ними нам, бедным, не тягаться. Там Фиму, наверно, и до царских-то очей не допустят, ототрут ее сильные люди. Государь-то, говорят, не всех ведь девиц видит, какие съезжаются. Бояре немногих ему напоказ выставляют. Эх, одна только лишняя тревога да сумятица да траты лишние, и в такое-то тяжкое время. Да ведь уж ничего не поделаешь — Государев приказ, хоть с голоду потом помирай, а ехать нужно...»

И на этом совсем почти успокаивается Настасья Филипповна, так что даже дремать начинает. Только ненадолго: словно бес какой издевается над нею и ее поддразнивает. Опять закипает ее сердце, кровь стучит в голову.

«Да нет же, нет же! Во всем свете не сыщется краше Фимы! Увидит ее царь — и не захочет себе другую. Фима — царица... Боже милостивый! А Митя?!. Бог с ним. Кто же тому виною? Видно, такова судьба его. Ну погорюет да утешится. Сыщет себе другую невесту, а мы ему пособим всячески, как в люди выйдем... Господи, Боже мой, счастье-то какое!»

Настасья Филипповна совсем запутывается. Сидит она на постели с широко раскрытыми глазами и улыбается. Мысли переходят в грезы, в картины, которые ярко-ярко среди темноты ночной носятся перед нею. И не замечает она, как громко говорит сама с собою, не замечает, что будит этим разговором Рафа Родионовича, сон которого теперь так чуток.

Раф Родионович тоже все раздумывает, тоже грезит, но иные его мысли и грезы. Он не верит, что счастье к ним привалило великое, он и не думает совсем о том, что царский выбор падет на дочь его. Это пустое, этого не будет. Мало, что ли, на Москве невест для государя — чай, давно уж приготовили, а что с городов-то собирают, так это отвод один...

Он радуется и волнуется, готовясь к поездке в Москву, потому что увидит там людей сильных, у которых искать будет правды. Он так или иначе дойдет до государя, он выскажет ему все, что давно в нем наikipело и наружу просится. Он скажет царю великому и милостивому о том горе-злосчастье, о тех бедах лютых, что по Русской земле бродят и губят людей неповинных, жить не дают им, дышать мешают.

Не ведает про то горе, про те беды государь великий, а узнает про них — и ужаснется он, и обольется его сердце кровью за народ свой, и поможет он ему.

Вот о чем думается, о чем мечтается Рафу Родионовичу — и ждет он не дождется своего выезда из Касимова.

И не спится ему в долгие зимние ночи.

Да и кому теперь спится-то? — разве одной только Фиме. Она не тревожится, она не грезит. Она уже совсем успела успокоиться. Поездка в Москву ее занимает как новость. А что царь ее смотреть будет, что царь ее выберет, что она будет царицей — это, как и отцу ее, не приходит ей в голову. Да и наконец, не тем и занята она, ей лишь бы успокоить Митю, который все тоскует. Он не отходит от нее, день целый молчалив, тяжело так вздыхает, так странно, так жалостливо на нее смотрит. Она призывает на помощь всю свою былую детскую веселость, заигрывает с ним, теребит его, добивается от него смеху. Вот наконец засмеялся он — и она спокойна.

Ее уверенность в том, что их разлука невозможна, что все это так и что скоро всего этого не будет, а заживут они по-прежнему, передается и ему мало-помалу. Пожатие ее руки, ее откровенная, милая улыбка, ее ласковые слова пробуждают в нем надежду.

Решено, что он едет с ними. Он уже был у себя в усадьбе; распорядился всем, что нужно, и в путь приготовился. Будь он один — тоска бы его заела. А тут Фима, а нет Фимы, так Андрей, с которым ведут они бесконечные разговоры.

Оба приятеля в одинаковом положении. Маша Барашева тоже внесена в список, и Андрей трепещет за свою участь.

И вот они толкуют и спорят, каждый боится, каждый доказывает, что выбор царя непременно выпадет на долю его милой, что царь не может плениться другою. Но в конце концов они друг друга успокаивают. Доказательства Дмитрия действуют на Андрея, доказательства Андрея действуют на Дмитрия.

Еще есть одно существо в домике отца Николы, которое живет тоже совсем новой и полной жизнью — это старая мамка Пафнутьевна. Она суется вместе с Настасьей Филипповной. Среди суеты она то и дело подбегает к Фиме, без нужды поправляет на ней убор, как-то совсем особенно блестящими и странными глазами глядит на нее, едва заметно улыбаясь, качает своей старой головою и при этом лукаво поджимает губы. А ночью тоже не спится старухе; но не от грез и мыслей, а просто от радости.

Она ни в чем не сомневается, ничто ее не тревожит, во всем она уверена, все она знает, все уже совершилось — счастье выпало, на долю ее ненаглядной Фимы. Фима будет царица, иначе и быть не может. И это нисколько не поражает Пафнутьевну. Недаром ведь она такую красавицу вынянчила. Как приедут они на Москву, обрядят Фиму, повезут к государю, а он, батюшка, выйдет в золотой одежде, аки солнышко небесное, глянет направо, глянет налево — увидит Фиму, подойдет к ней, возьмет за ручку белую и скажет громким голосом таково слово: «Вот она, моя невеста, вот моя красавица!» А те, другие, все гриб съели!...

Пафнутьевна ворочается на своей холодной постели, не замечая ни холода, ни сырости, и хитро подмигивает сама себе в темноте ночной. Все сморщенное лицо ее складывается в улыбку торжества и радости.

### III

Морозным зимним вечером по стихавшим улицам Китай-города мчались широкие сани, запряженные тройкой бойких коней. В санях сидела закутанная фигура, виднелись только широкий соболий воротник да высочайшая шапка. Кучер покрикивал, посвистывал, ловко огибая большие ухабы, и ради своего удовольствия хлестал

длинным кнутом запоздавших пешеходов. Сани промчались по Варварке, миновали стену Китайгородскую и направились к Яузским воротам. Не доезжая ворот, они завернули в узенький переулок и остановились у одного из бесчисленных и однообразных деревянных домиков. Впрочем, домик этот был несколько пообширнее других и около него даже виднелись новые пристройки.

Закутанный человек вышел из саней и стал стучаться в наглухо запертые ворота. Оглушительный собачий лай поднялся по переулку.

Но долго еще никто не выходил встречать гостя. Наконец калитка заскрипела, со двора высунулась взъерошенная голова сторожа.

— Чего те, кто стучится?

Но на улице было довольно светло от полного лунного блеска — сторож вдруг замолчал и торопливо начал отпирать ворота. Сани въехали во двор. Гость стал всходить по ступенькам высокого крыльца. Теперь он откинул воротник шубы, и из-за меха выглянуло красивое лицо с густой черной бородой — лицо Бориса Ивановича Морозова.

Он целый день провел во дворце с царем молодым, а к вечеру отговорился головною болью и ушел в свои заново отделанные палаты, помещавшиеся в Кремле, почти у самого дворца.

Но не стал отдыхать Борис Иваныч, а, забыв про свою больную голову, велел заложить сани и покатил к Яузским воротам, в домишко Ильи Даниловича Милославского.

Илья Данилович не большой боярин, не знатен он ни богатством, ни чинами. Тот же Морозов и вывел-то его в люди. Не раз еще перед покойным царем Михаилом Федоровичем за него говорил. Доставил ему небольшой чин придворный, довел его не только до крыльца Постельного, но в последнее время даже и до Передней. А Илья Данилович за все это всячески старался быть полезным своему благодетелю.

Находясь при дворе, он не терял даром времени. Стараясь быть незамеченным, держась скромно и даже раболепно перед большими сановниками, льстя и услуживая каждому, он чутко слушал все, что делалось, и исправно доносил о слышанном и виденном благодетелю Борису Ивановичу.

У могучего боярина Морозова немало было врагов во дворце, немало людей ему завидовало, желало так или иначе насолить ему, желало хоть немного, тем или другим способом, ослабить его влияние.

И эти люди часто удивлялись, как это Борис Иванович всех их насквозь видит, каждый их шаг враждебный своевременно и ловко упреждает. Они колдуном его называли промеж собою, а колдовство почти всегда исходило от Ильи Даниловича.

Ради колдовства этого в первые же дни воцарения Алексея Михайловича Милославский и в Передней очутился. А теперь еще явились и другие обстоятельства, много обещавшие впереди скромному и внимательному Милославскому...

Илья Данилович вышел в сени встречать своего высокого гостя.

Это был человек лет под пятьдесят, с поседевшими уже волосами и бородою, небольшого роста и тщедушный; правильное, красивое, но не совсем приятное лицо его выражало теперь необыкновенное почтение и радость. Низко кланяясь Морозову, он сам снял с него шубу и осторожно передал ее холопу.

— Милости просим, боярин, — продолжая кланяться, говорил он. — Вот сюда, в светелку, тут почище. Не взыщи уж — домишко у меня убогонький, достатки наши махонькие — сам ведаешь...

— Да ты не причитывай, Данилыч, — улыбаясь проговорил Морозов. — Не впервые ведь я у тебя... и на домишко клепать нечего — изрядные палаты себе устроил. Вот старые были неказисты, это точно, а эти ничего... совсем, кажись, в исправности.

Морозов, все продолжая улыбаться, оглядел покойчик, в который ввел его хозяин.

Это была маленькая комнатка, какие обыкновенно строили себе русские люди того времени, находя, что в тесноте — не в обиде, лишь бы тепло было да все необходимое под рукою, а главное, в избытке. Печка в углу изразцовая, узорчатая. Тот же мастер, что во дворце ставил печи, и Милославскому за услугу какую-то изразцы эти по дешевой цене продал. Стены бревенчатые, на потолке резьба незатейливая, образа в углу в довольно богатых ризах. По стенам дубовые лавки, покрытые коврами хорошими.

И ковры эти Морозов знает: во дворце они были прежде, и уж Господь ведает, как миновали они царские кладовые и попали к Милославскому.

Печь жарко натоплена. В покойчике пахнет свежим деревом. Лампадка у образов мягкий полусвет разливает, а тут хозяин зажег и свечку в тяжелом медном шандале, так и совсем стало светло и уютно.

— С чем пожаловал, боярин? — сказал Илья Данилович, усадив Морозова под образами, на мягких подушках. — Приказать что изволишь? Так слово лишь молви, сам ведаешь: коли в силах моих будет — исполню. Я, боярин, о твоих благодеяниях не забываю...

— А я вот поговорить с тобой хотел, Данилыч, — отвечал Морозов. — Только слушай-ка, нет ли тут ушей лишних за дверями? Дело-то, вишь, не такое...

Милославский и рукой махнул.

— Говори, боярин, не сумлевайся, никто не подслушает, у меня на этот счет строго.

— Ладно, так, значит, и потолкуем, — медленно и как-то задумчиво проговорил Морозов, на стол опираясь. — Невесты все на Москву съехались, Данилыч, — начал он, — со всех концов съехались. Самые что ни на есть красивые девки, и счетом их около полутораста; да более полусотни московских записано. И твои дочери на счету у нас: Марья Ильинишна да Анна Ильинишна.

Милославский привстал и поклонился; глаза его так и горели, так и бегали. Он жадно ловил слова боярина.

— Ну и вот что, Данилыч: царь торопит — жениться, вишь, ему больно захотелось. И пойдут у нас теперь дела несказанные. Все из-за своих дочек перегрызутся.

— Да чего же грызться, — перебил Милославский, — тут уж судьба да глаз царский, какую царь выберет.

— Не то, Данилыч, слушай: где же это государю из двухсот выбирать, времена уж не те. Вон царь Иван Васильевич, да и после него, точно из нескольких сот сами выбирали. Девочек-то на царский двор ровно стадо баранов гоняли. И чего только при этом не бывало!... Ну... царь намедни и говорит нам с патриархом: «Выбирать мне из стольких не можно. Поглядите на них вы, бояре мои ближние, да и выберите несколько самых прекрасных, а уж на тех и я погляжу и скажу вам, какая мне больше по сердцу». Так вот какоко будет, Данилыч. Это нынче в обед-то сказал государь, и все те слова его слышали. Ну и каждый из наших-то со своею дочкой будет соваться — и погрызутся. Да и царю молодому, пожалуй, подсунут какого уroda, прости господи. Красоты-то немного в наших боярских дочках. Иных и сам видел, а про иных молва идет...



Милославский не мог усидеть на месте. Он приподнялся с лавки и так и ел глазами Морозова.

— Да и опять так надо сказать, — решил он вставить свое слово, — какой-то еще роденькой наградит Господь царя-батюшку?! Об этом ведь тоже нужно подумать.

— И об этом уже думано, — хитро улыбнулся Морозов. — Я надумал вот что: человек я прямой со своими, хитрить мне перед тобою нечего. У тебя две дочки-красавицы, сам ты человек хороший, друг мне истинный, а я для тебя не первый год что могу, то и делаю.

Милославский ничего не сказал на это, только руку приложил к сердцу. Он все понял, а сила боярина Морозова давне была ему знакома.

— Так-то, Данилыч, — совсем тихим голосом опять сказал Борис Иваныч. — Вот среди этих-то невест, что царь будет смотреть, должны быть и твои дочки. Это я уж устрою. Устрою также, что царь заранее будет знать про старшую твою, Марью Ильинишну, что краше ее нет на Москве красавицы. С помощью Божьей и будет она нашей царицей. А за младшей твоей, Анной Ильинишной, уж дозволю ты мне заслать сватов, не побрезгуй мной, вдовым да старым.

Милославский совсем растерялся. Мысль достигнуть величайшего счастья посредством дочерей-красавиц не раз приходила ему в голову с тех пор, как их внесли в список.

Но он не был ни богат, ни знатен, и, хотя умел обделывать свои делишки, но все же хорошо сознавал, что ему нечего затевать борьбу с именитыми боярами, к царю близкими, из которых каждый употребит все усилия, чтобы породниться с государем. А тут вдруг Морозов, сам Морозов берется за это дело и не для него берется, а для себя самого.

И счастье-то какое, что у Ильи Даниловича две дочки, а не одна! Одна была бы, не сидел бы у него Морозов. Экое счастье привалило!

Он наконец пришел в себя.

Он сделал шаг вперед и повалился прямо в ноги Борису Ивановичу.

— Благодетель ты мой! — заговорил он обрывавшимся голосом. — Был я тебе слуга верный, а уж теперь... ну да что уж тут... и слов-то нету...

Морозов весело улыбался.

— Да встань ты, Данилыч, поцелуемся. И дай-ка ты мне взглянуть на твоих дочек, ведь я их всего раза два мельком видел.

— Сейчас, сейчас, боярин, — повторял Милославский со слезами на глазах, троекратно лобызаясь с Борисом Ивановичем.

— Откушать бы чарку да закусить, время-то позднее, вот дочки и вынесут... повремени малость...

Он быстрыми шагами вышел из покойчика. А Морозов поднялся с лавки и стоял, статный да красивый, с веселым лицом и блестящими глазами.

«И сколько теперь голов умных думают да раздумывают, — мелькало в его мыслях, — ждут не дождутся моей гибели. Новую родню царскую, мне враждебную, измышляют. Да что же я за дурень буду — так и сложить руки! Они думали — я буду тянуть, отговаривать царя жениться, побоюсь новой родни царевой. Да неженатый-то царь мне страшнее. Больно разумен, из детских лет выходит, а следить за ним шаг за шагом, минута за минутой, тяжело становится мне. Нужно царя женатого, да на моей своячине. Нужно и царю, и мне такую родню, что меня бы одного слушалась, чтобы я был тут первым человеком. Илья вон в ногах валяется, а не породнись он со мною — того и жди за все мои благодеяния головою меня врагам выдаст. И уж захвалю же я Алеше Марью Ильинишну, во сне она ему каждую ночь будет сниться. Как выбирать придется, на других и не взглянет, за это уж ручаюсь...»

Веселые это были мысли. Борис Иваныч все стоял и улыбался, поджидая хозяина с дочерьми.

Вот дверь скрипнула, и на пороге показалась сперва одна женская фигура, потом другая, а за ними Илья Данилович.

Молодые девушки несли в руках подносы с винами и закусками. Остановясь перед Борисом Ивановичем и не смея поднять на него глаз, они отвесили ему по плавному поклону и стояли не шевелясь, как статуи, только подносы едва заметно дрожали в руках их.

Борис Иванович оглядел их зорким взглядом, и на душе у него стало еще радостнее. Обе девушки были погодки. Младшей только шестнадцать лет исполнилось. Обе были красавицы — высокие да стройные, с нежными, милыми чертами, с белыми да румяными, горящими краскою юности и стыдливости лицами. Глаз опущенных не было видно, но длинные черные ресницы говорили о том, каковы глаза эти.

Трудно было сказать, которая из них лучше, но, впрочем, теперь первенство оставалось за старшей, за Марьей Ильинишной. Ее здоровая милая красота уже окончательно развилась и созрела, ее формы были пышнее.

Младшая еще смотрела полуребенком. Она еще только обещала в близком будущем сравняться с сестрою.

— Вот мои дочери, боярин, — проговорил Милославский, суется и как-то захлебываясь от радости. — Не взыщи на них: еще совсем никого не видали, да уж и ведены строго, из теремка ни шагу...

— Помилуй, Илья Данилович, — отвечал Морозов, почтительно кланяясь девушкам — Я таких красавиц, почитай, отродясь не видывал. А что скромны они, так это и тебе, и им честь великая. Одно жалею, не хотят твои боярышни взглянуть на меня, не хотят, чтобы я полюбовался их очами...

Девушки еще больше вспыхнули. Марья Ильинишна так и не подняла на боярина глаз своих; но младшая не утерпела — взглянула. Перед Борисом Ивановичем на мгновение блеснули два больших черных глаза.

«Ты будешь женой моей», — решил про себя Морозов.

И ему вдруг сделалось так легко, так привольно на душе, как будто десяток — другой лет спал с плеч его. Как будто он снова превратился в того беззаботного, счастливого юношу, каким в первый раз увидел когда-то свою покойную жену, о ранней смерти которой теперь давно уж перестал сокрушаться.

## IV

С самого выезда из Касимова для Фимы началась новая и волшебная жизнь. Сразу она забыла все пережитое в последнее время. Она не помнила прошлого, не думала о будущем, для нее существовало только настоящее.

И это настоящее было так необычайно, так весело, так занимательно — путешествие, далекая дорога!

Фима ничего не видала, кроме своей усадьбы да Касимова, а тут что ни шаг, то разнообразие. Да и само-то путешествие как весело! Едут они не одни: несколько десятков кибиток потянулось из Касимова — все с выбранными невестами, их родными и прислугою. Впрочем,

избранных невест немного. Пришлось-таки московским боярам под конец забраковать иных уже внесенных в список, оставив только самых красивых девушек из старых семей дворянских.

Большинство путешественников были уже давно знакомы между собою, а при первой же остановке так и остальные перезнакомились. Сначала все было мирно, дружелюбно; матушки пристально разглядывали чужих дочек и похваливали их. Но долго не могли они так выдержать, заклокотала зависть и на следующий же день все уже были между собою в ссоре, все ненавидели друг друга. Во время остановок шла бесконечная перепалка, доходившая иногда до такой крупной брани, что более благоразумные отцы и мужья должны были вмешиваться и успокаивать разъяренных женщин.

Только семья Всеволодских вела себя скромно. Настасья Филипповна и по характеру своему не была способна заводить ссоры, да и зависти в ней неоткуда было взяться.

Она видела и чувствовала, что ее Фима не в пример краше и лучше других девушек. Видели это, конечно, и все новые ее знакомки — и этого было достаточно, чтоб над бедною Фимой разразилась вся буря их злобы и зависти.

Под конец даже многие позабыли свои раздоры, помирились снова, чтобы заодно нападать на Всеволодских. Всячески стали пилить Настасью Филипповну, всячески поднимать ее на смех.

На все она отмалчивалась и оставалась невозмутимой. Разве уж очень надоедят, так промолвит кому-нибудь из своих с беззлобной усмешкой:

— Ну чего они лаются? Только время попусту тратят. Ведь от лаю того Фима моя хуже не станет, а ихние дочки краше не сделаются.

И уйдет тихонько в свою кибитку.

Но несмотря на всю сдержанность и безответность Настасьи Филипповны, не унимаются злые женщины. Сидит она в кибитке и слышит:

— Хороша ты, трясушка старая, только и знаешь, что головой зря мотать! Ну чего ты дочкой своей кичишься, скажи лучше — рубашонка-то есть ли на ней? В чем ты ее на Москву привезешь? Время зимнее — замерзнет она совсем у тебя. Ты бы уж лучше нам поклонилась да Христа ради попросила старого платья с наших дочек.

Заслышав такие речи ехидные, не выдержит и Настасья Филипповна. Так больно и обидно на душе у нее сделается, даже всплакнет она иной раз, только чтобы Фима не видела.

А тут еще Пафнутьевна начинает ее тревожить. Пафнутьевна страх боится, чтобы как-нибудь злые бабы не сглазили ее Фиму, не нагнали бы на нее с зависти какого лиха. Об этом она то и дело нашептывает Настасье Филипповне. На ночлегах с уголька спрыскивает Фиму, глаз с нее не спускает, следит за каждым ее шагом, а как идет она — замечает за нею снег своим подолом, чтобы лиходейки следа ее не вынули.

Фима смеется над своей старой мамкой, Фима не верит, чтобы кто-либо мог сглазить ее да испортить. Она же знает одно, что ей весело и радостно жадно глядеть по сторонам, всматриваться в новые предметы вокруг себя.

Проезжают они снежными равнинами, что как море пустынное раскинулись во все стороны и с небом зимним сливаются. Проезжают лесами густыми да страшными, деревнями и селами, городами. Города как Касимов — не хуже, не лучше его; те же улицы ухабистые, те же черные закоптелые строения, приставленные одно к другому.

«Боже ты мой, Господи, — думается Фиме, — едем, едем, и все-то новое, и люди новые, сколько их! Что звезд на небе...»

И начинает она раздумывать об этих незнаемых людях... вот прошла сейчас девушка — кто она, откуда? как живет? есть ли жених у нее и так ли она его любит, как Фима Митю? Много всяких вопросов, и в молодом воображении мигом складываются ответы на все вопросы. Время проходит незаметно.

Короток день зимний — вот уж и солнце давно закатилось — темнеет. Большинство путешественников, закутавшись в шубы, дремлют.

Но Фиме не до сна. Она еще пуще, чем днем, начинает тужить в это время. Жуткое чувство подступает ей к сердцу; страшна эта темь, ее окружающая, страшна эта тишина снежная — а впереди лес еще страшнее.

Скоро они у его опушки; Фима глядит и видит: уж в самую кибитку заглядывают белые заледеневшие ветки. А там, за этими ветками, в таинственной непроглядной чаще, там, быть может, зверь лютый, люди недобрые...

И это не пустое, не сказка — это правда. Вот начинают храпеть и шарахаются кони; неподалеку в темноте лесной треск раздается. Там что-то будто идет, что-то ломает сучья...

— Что это, что это?! — кричит Фима и будит Настасью Филипповну, Пафнутьевну и Рафа Родионовича.

— Надо быть, ведмедь, — спокойным голосом говорит ямщик, оборачиваясь на своем облучке к седокам, и хлещет лошадей что есть силы.

Вот к их кибитке подъезжает другая, сухановская.

Митя и Андрюша тоже кричат: «Ведмедь!»

Лошади фыркают все больше и больше, сучья в лесу трещат ближе, ближе. В поезде смятение, все начинают кричать благим матом. Фима закрывает глаза, зажимает уши и ничего не видит, ничего не слышит. А все же, с зажмуренными глазами и с заткнутыми ушами, ей видится и слышится что-то необычайно страшное.

«Что это? Едем мы или стали?-думает она. — А что, если я открою глаза и у самого лица моего большая медвежья морда?!»

Она вздрагивает всем телом, ужас леденит ее. Но и самый этот ужас приятен.

Медведь, видно, сам напугался, ушел в лес обратно. Поезд мчится дальше, лес тянется без конца. Огромные деревья, неподвижные, в холодном ночном воздухе, начинают шевелиться, начинают будто переходить с места на место, сталкиваясь друг с другом белыми оледеневшими вершинами. Будто валяются они, со всех сторон обступая дорогу и опять расступаясь.

Вот звенит что-то вдали. Как стрела летит этот звон и близко, словно в самой кибитке, теперь раздается.

Откуда он? Что он? Кто его знает...

Вот какие-то красные, огненные точки светятся в чаще. Глаз ли волчий или огонечки? А там, там между двух огромных мохнатых сосен, куда внезапной полосой прибилась свет луны, — там что же такое? Кто это оттуда смотрит? Кто-то громадный с крючковатым носом, с нависшими надо лбом рогами. Это он, лесовик, о котором такое страшное рассказывала, бывало, Пафнутьевна в длинные зимние вечера у горячей печки.

Ох, страшно, ох, сладко!...

Но и лес, и качающиеся деревья, и лесовик — все исчезает. Вспоминается Фиме многое — позабытое, далекое. Дни детства, минуты... обрывки пережитого, перегоняя друг друга, мелькают теперь перед нею так ярко, ярко...

А то — голубое небо, желтая высокая рожь с налившимися спелыми колосьями. Васильки... пахнет душистым зноем. Кузнечики немолчно стрекочут. А там, за полем, речка тихо струится, вода в ней свежая да прозрачная — все песчаное дно видно, малых рыб вереницы, длинноногий паук чуть трогает воду. Комар жужжит у самого уха... Нога осторожно, боязливо скользит с берега... Ух!... Вода прохладная разом охватывает разгоряченное тело и расступается во все стороны, только брызги летят и трепещут на солнце всеми цветами... Глубоко дышит грудь... Чудная прохлада заменяет зной невыносимый... А сверху голубое небо. Солнце прямо в глаза светит...

И опять ничего этого нету... Тихая знакомая горенка, натопленная печка... Сладкая дремота... Однообразный голос Пафнутьевны... Все тише и тише... И совсем засыпает Фима.

## V

Суханову и Андрею Всеволодскому эта дорога казалась невыносимой и бесконечной. Те, кого они хотели постоянно видеть, с кем хотелось им говорить, — те были от них близко и в то же время далеко. На глазах у зорких и злоязычных кумушек молодым людям нечего было и думать о прежней свободе, и они хорошо это понимали.

Андрей не смел даже и подходить к своей Маше Барашевой — он только издали глядел на ее закутанную фигуру. Дмитрий хотел было раз на постоялом дворе заговорить с Фимой, но Настасья Филипповна и Пафнутьевна так его отделали, что он тотчас же ушел в свою кибитку, даже ничего не поевши. Теперь, без ободряющего влияния Фимы, он снова предался своим грустным мыслям.

И если бы знал он, как у Фимы хорошо на душе, как ее радует эта поездка, как ее все занимает, то, пожалуй, совсем пришел бы в отчаяние.

Но настал конец и этому пути. В Москву въехали. Всеволодские отправились прямо к двоюродной сестре Настасьи Филипповны,

жившей у Арбатских ворот, а Суханов с Провом принялись искать себе помещение. Пров не раз бывал в Москве еще с отцом Дмитрия, и у него было здесь даже довольно знакомых.

Один из этих знакомых держал тут же, неподалеку от Арбатских ворот, что-то вроде заезжего двора, отдавая внаем жилье с харчами. К нему-то Пров и повел Суханова.

Мрачный и угрюмый шел Дмитрий за своим путеводителем. Все окружающее казалось ему таким печальным и противным. Когда-то он думал о Москве, хотелось ему попасть в нее. Он представлял ее себе самым удивительным, чудесным городом. А это что же такое? — грязные, узкие улицы, почерневшие деревянные дома со слюдяными окнами, народу тьма-тьмушая — и все-то толкаются, бранятся, дерутся! Пьяных, что на торгу в Сытове, — не оберешься... Одно только украшает эту однообразную, неприглядную картину — церкви. Чуть ли не на каждом шагу золоченые их маковки так и горят на зимнем солнце. Но даже и церкви эти хороши только сверху, только и красуются они что маковками золочеными, а снизу и церкви загрязнены и закопчены, и на них плещет мутная волна неугомонной, грубой жизни.

Слышит Дмитрий — к вечерне заблаговестили где-то далеко, и звон колокольный подхватывается со всех сторон и гудит в перезвонах отовсюду. Но эти торжественные, призывающие к молитве звуки заглушаются тысячеголосым воем толпы.

Русские люди, заслышав благовест, снимают шапки, крестятся машинально, а потом сейчас же продолжают свою брань, свою драку. Многие уж совсем передрались, кого-то избили, волокут. Вмешались стрельцы, наблюдающие за порядком. Народ разбегается во все стороны, боясь попасть в такое дело, которое, очевидно, должно разбираться в разбойном приказе.

Мимо Суханова проходят несколько закутанных женских фигур со спущенными, бесконечно длинными рукавами шугаев и направляются в ближнюю церковь. Любопытные молодые глаза из-под фаты зорко поглядывают на красивого юношу, но он не обращает на них никакого внимания и идет дальше по следам Прова, боясь потерять его среди уличной давки.

Вот едет избушка диковинная на колесах, запряженная шестеркою изукрашенных коней. Из оконца ее выглядывает важное лицо и



высочайшая меховая шапка. Народ почтительно дает дорогу избушке. Многие снимают шапки — видно, большой боярин!

А это что такое? Что за скоморох такой через улицу по рыхлому снегу словно цапля перебирается? Человек в невиданной широкополой шляпе с пером, в какой-то кургузой бархатной, отороченной мехом одежде, поверх которой на плечи накинута епанечка. На ногах сапоги высокие с раструбами и шпорами, при бедре не то меч, не то сабля.

— Митрий Исаич, глянь-ка! — шепчет Пров, указывая пальцем на странного человека. — Глянь-ка — то немец. Тьфу ты, пропасть! Господи, мерзость-то какая! Совсем куций, а рожа... ну как есть вот у нас в Касимове в соборе черт намалеван... Нос горбом, усы закорючкой, щеки голы, а под губою вместо бороды тоненькая мочалка какая-то мотается...

Суханов смотрят на немца, но даже и немец не кажется ему теперь занимательным.

— Куда это ты меня ведешь, Пров? Ходим, ходим, а все толку нету.

— А вот тут сейчас, только за угол свернуть в переулок, тут и будет домишко Петра Онуфриева.

— Да, может, твой Онуфриев давно уже и помер. Ведь ты когда в последний раз на Москве-то был? Лет десять тому.

— Уж и помер! — обиженно проворчал Пров. — Зачем же это живого человека хоронить... Он не больно еще стар, а какой рубака-то был бравый. Мы с ним вместе ляхов да воров разных колотили. Теперь таких людей с огнем ищи — не отыщешь... Так-то... а ты, вишь, «помер!» Зачем ему помирать... Жив, надо быть...

Завернули они в переулок. Пров оглянулся и вдруг радостно заговорил Суханову.

— Ну вот он и дом-от, только малую пристроечку Онуфриев сделал, разжился, видно, деньгою. Ты, Митрий Исаич, постой тут, обожди маленько, а я мигом к хозяину сбегаяю и все узнаю. Коли есть у него место свободное, — а как не быть, — я тебя и кликну.

Своим предположением о том, что, может быть, Онуфриев и умер, Суханов сильно смутил Прова.

«А что, коли и впрямь помер, введу это я Митрия Исаича, а над нами в доме-то только надсмеются».

— Да уж ты обожди лучше, батюшка, — повторил он, — я мигом!

Не дожидаясь ответа своего господина, он полез в маленькую калитку. На дворе ни души, только собаки залаяли.

Пров подошел к крыльцу, попробовал дверь — отперта. Он вошел в темные сени и наткнулся на какого-то выходившего из дому человека. Что это был за человек — в полутьме он не разглядел.

— Батюшка, здешний, что ли, будешь? — с сердечным замиранием спросил Пров.

— Тебе чего? — раздался над его ухом грубый и как будто где-то прежде слышанный им голос.

— Да хозяин, Петр Онуфриев, в избе, что ли?

— В избе, постучись — так отворит, — отвечал тот же грубый и знакомый голос.

И неизвестный человек поспешно вышел из сеней на крыльцо.

Пров стал стучать кольцом в двери, ведущие внутрь дома.

Скоро на стук вышел хозяин, и Пров наконец вздохнул свободнее.

Петр Онуфриев оказался жив и здоров, только поседел немного да сморщился.

Узнав старого товарища, он радостно расцеловался с Провом. Тут же, по-приятельски, выбранился с ним крепким словцом и повел его в домик.

— Какими судьбами, старина? — говорил хозяин. — А я так и полагал, что косточки твои давно прахом рассыпались.

Пров поспешно рассказал, в чем дело, и спросил, есть ли у него помещение для молодого господина.

— Как не быть — есть. А и не было бы, так для сынка покойного Исая Митрича всех постояльцев взащей выгнал бы. Очень ведь помню я милости к нам покойника, царствие ему небесное!... Да вот пойдем, я тебе покажу покойчик — тут ему удобно будет. Ну и всего постояльцев-то у меня ноне — один. Три дня как приехал, откуда, не упомню. Человек смирный, немолодой уж и, кажись, с деньгою. Шуму досель никакого не заводил, да дома-то редко бывает. Может, ты его и повстречал — он только что вышел.

Но не успел Пров ему ответить, как невдалеке от дома послышался крик.

— Что такое? — начал прислушиваться хозяин. — Драка, что ли, а то уж не пожар ли?! Ахти, как бы беды не нажить... Тут у нас пожары-

то не в редкость, а загорится где, так глазом не успеешь моргнуть — вся улица и займется. Побежим, Пров, посмотрим, что такое!...

Хозяин поспешно взял в углу с лавки кафтан, натянул его на себя, и через минуту старики были на дворе.

Дыму и огня нигде не было видно, а перед домом Онуфриева собралась густая толпа народа, и крики не умолкали. Пров озибался во все стороны, ища Суханова, но нигде его не заметил. Он протолкался вперед между столпившимся и неведомо на что глядевшим народом, да так и всплеснул руками.

Посреди улицы на снегу лежал плотный человек, на которого навалился другой. Лежавший отбивался руками и ногами и кричал благим матом. Удары противника так на него и сыпались.

— Ахти, никак, это мой Митрий Исаич! — крикнул Пров. — Кого же он так лупит? Что за притча такая?

Он пригляделся, все протискиваясь вперед, и узнал в лежавшем человеке Осину.

— Да ведь то мой постоялец! — изумленно проговорил Петр Онуфриев.

В это время с другой стороны толпа раздалась, и к дравшимся подбежало несколько человек стрельцов.

— Ратуйте, добрые люди, ратуйте, люди государевы! — кричал Осина.

Стрельцы мигом бросились на Суханова, скрутили ему руки и оттащили от противника.

— Разбой, душегубство! — продолжал кричать Осина. — Шел я спокойно, наскочил на меня неведомый человек, вот раскровянил всего...

Но Осина вдруг замолчал и стал зорко оглядываться во все стороны. На лице его мелькнуло что-то неуловимое, как будто даже радость.

Два стрельца, державшие его за руку, бросили его и кинулись к Суханову. Тот в первую минуту, как его схватили, очевидно, не мог прийти в себя, но потом его охватило бешенство. Он начал всеми силами вырывать свои руки у стрельцов. Наконец вырвался и, очевидно себя не помня, схватил одного стрельца за горло. Тут-то к нему бросились и остальные.

— Среди бела дня разбойничать да еще царских слуг бить! Вязать его! тащи в губную избу! — кричали стрельцы.

Суханов продолжал отбиваться. Но борьба с несколькими сильными стрельцами была невозможна.

Ему через минуту скрутили руки за спину, связали и потащили.

— А того, другого-то, что же? и его тащите!

Но другого нигде не было. Осина, воспользовавшись смятением и тем, что всеобщее внимание было обращено на Суханова, выскользнул незаметно, из толпы и исчез.

Пров задыхался от отчаяния. Вопя сам не зная что, побежал он за стрельцами.

— Остановитесь, постойте, слуги царские! — кричал он им. — Это господин мой, дворянин касимовский, Суханов... отпустите его, он невзначай задел вас — разгорячился больно с тем разбойником, вором и душегубцем. Думал, чай, что его бьет, так вы того разбойника и хватайте... Он разбойник всем ведомый!...

Стрельцы, однако, его не слушали.

— Не мешайся, старина, — сказал ему один из них, — а то так ступай и ты за нами, в губную.

— Коли на то пошло, так берите и меня, — чуть не плача и все продолжая бежать, проговорил Пров.

Между тем Суханов уже очнулся. Он понял свое положение.

— Пров, — сказал он, — беги ты скорей к Рафу Родионычу да скажи ему все как было. Скажи ему, что вор и разбойник Осина на Москве... А уж со мною пусть будет что будет. Как я того стрельца схватил — сам не ведаю, а что на разбойника, на злодея нашего накинуся, то иначе не стерпел, как его встретил...

— Бегу, батюшка Митрий Исаич, бегу к Рафу Родивонычу! — сказал Пров. — А ты не унывай...

И старик, радуясь, что его не задерживают стрельцы, быстро, насколько это позволяли ему старые ноги и волнение, направился к Арбатским воротам.

Теперь он понимал, что чуть не погубил своего господина, напрашиваясь вместе с ним в губную избу.

Засудили бы их обоих, и никто бы даже не догадался, куда это запропал в Москве белокаменной касимовский дворянин Суханов.

Всеволодские только что успели оглядеться с дороги.

Двоюродная сестра Настасьи Филипповны, Матрена Ивановна Куприянова, в доме которой они остановились, была очень рада гостям своим, особенно когда узнала о причине их поездки в Москву.

Это была добродушная, толстая старуха, давно уже овдовевшая и жившая в одиночестве. Дом у старухи был — чаша полная. Покойный муж оставил ей хорошие достатки.

Куприянова подняла на ноги всю свою прислугу, отвела гостям лучшие покои в доме и, так как давно уже пообедала, приказала готовить обильный ужин. Важно переваливаясь с боку на бок, плавно и не спеша ходила она по своему дому, отдавала приказания тихим, как будто уставшим голосом и затем возвращалась к гостям.

— Ну, мать моя Настасья Филипповна, — говорила она, грузно опускаясь на лавку, — одолжила, родная; не чаяла я такой радости. А уж доченька твоя, доченька!... Вот ведь тебя Господь порадовал какой красавицей!... Пойди ко мне, Фимочка, дай-ка еще разочек погляжу на тебя...

Фима подходила, опуская глаза. Матрена Ивановна брала ее за руки своими пухлыми, заплывшими жиром руками и начинала ее оглядывать.

— Краса-авица!! — тянула она, — истинно царская невеста. Смолоду и мы с тобой, Настасьюшка, были не уродами, а уж такой красы, признаться, в нас не было. Да где же это Раф Родионыч, куда это он девался?

А Раф Родионович вошел в это время в комнату. Испуг и волнение изображались на лице его.

— Настасья, — сказал он упавшим голосом, — слышь, дело какое: прибежал Пров сухановский. Митя-то в беду попал.

— Господи, что же такое? — вскрикнули в один голос Настасья Филипповна и Фима.

Раф Родионович рассказал им, в чем дело. Фима не могла удержаться от слез и поскорее вышла из покоя, чтобы скрыть свое волнение от тетки.

Настасья Филипповна, трясая, по обычаю, головою и испуганно глядя на мужа, шептала:

— Что же теперь будет, Родионыч, с Митей? Чем пособить-то горю? Нельзя же малого в беде оставить, из-за нас ведь на нашего врага накинуся...

— Вестимо, нельзя оставить, — медленно и задумчиво проговорил Всеволодский. — Да постой, дай сообразить, что тут делать. Вон Андрей, как услышал от Прова, так тотчас же в эту избу губную бежать задумал к Мите, только я приказал ему обождать. Помочь-то не поможет, а сам того и жди попадетсЯ. Думаю так: пойду я немедля к боярину Пушкину, все ему поведаю, упрошу довести это дело до царя. Авось он поможет — на него одного надежда.

— Это ты хорошо придумал, Раф Родионыч, — неизменно тихим и медленным голосом проговорила Куприянова. — Коли сильный какой человек не вступится в такое дело, так этот ваш Митя (не знаю, кто такой) дешево не отделается. У нас на Москве порядки строгие, да и подьячие — народ нонче ух какой озорной стал: попался человек в беду, они с него семь шкур сдерут. Так-то, родной мой, так-то!

Она не успела договорить, как на пороге показалась Фима, вся заплаканная, дрожащая, очевидно, забывшая всю свою сдержанность. За Фимою шла Пафнутьевна, старавшаяся удержать ее.

— Что с тобой, Фимочка, что, красавица? — протянула Куприянова, с изумлением поглядывая на девушку.

— Батюшка, — подбегая к отцу и захлебываясь слезами, заговорила Фима, — послушай; какие страсти Пафнутьевна мне насажала! Поспеши к царю, проси за Митрия Исаича, не то, может, к вечеру его и в живых-то не будет.

Голос ее оборвался, и она, рыдая, упала на грудь Рафа Родионовича.

— Ох! светики мои, уж и не рада, что обмолвилась. — прошамкала Пафнутьевна.

— Да что ты там наболтала, старая! — крикнул Всеволодский. — Как к вечеру жив не будет? Пустые это твои речи.

— Сама знаю, не след говорить было, — шептала старуха. — Только речи мои не пустые, государь ты мой, Раф Родионыч. Вестимо, пропал теперь Митрий Исаич, чай, уж давно пытаются его, сердечного, на дыбу поднимают, рвут его тело белое клещами железными раскаленными...

При последних словах старухи Фима пронзительно взвизгнула и зарыдала еще пуще прежнего.

Настасья Филипповна тоже громко плакала. А глядя на них, вдруг, и неожиданно для самой себя, взвыла толстая Куприянова.

Одна Пафнутьевна оставалась, по-видимому, спокойной. Она, кажется, совсем позабыла и горе своей Фимочки, и все обстоятельства, вошла совершенно в роль и наслаждалась впечатлением, которое производили ее причитания.

— А палачи-то, мужики рыжие, краснобородые; — почти пела она каким-то особенным тоном. — А в руках-то у них топорики острые, а руки-то у них в алой крови человеческой, а и сидит там судия неправедный и как возговорит зычным голосом: «Ведите вы, палачи, раба Божия Митрия на казнь лютую, скрутите вы веревочку крепкую...»

— Да замолчишь ли ты, глупая баба! — воскликнул, наконец приходя в себя, Раф Родионович. — Жена, чего ты смотришь, совсем набаловали мы с тобой старуху. Что о нас Матрена Ивановна подумает?!

Но Матрена Ивановна ничего не думала. Она стояла перед Пафнутьевной, пристально следя за каждым страшным словом, вырывавшимся из ее старого, беззубого рта, и с наслаждением подвывала в такт ее причитаниям.

— Батюшка, к тебе посланец от боярина Пушкина, — вбегая, крикнул встревоженный Андрей.

Раф Родионович поспешно вышел и через минуту вернулся совсем успокоенный.

— Ну вот и слава Богу, перестаньте выть-то. Боярин прислал оповестить меня, чтобы завтра пораньше утром был я у него — идет, вишь, он со мною во дворец. Сам-де царь великий желает меня видеть... Так, Господь даст, Митино дело и удастся поправить. А что дура эта старая надумала, тому вы не верьте. Ничего с Митей не сделают, зря пытаться не станут, не те времена ныне.

Однако успокоить женщин было трудно. Пафнутьевна совершенно достигла своей цели. Весь вечер прошел в слезах, самых мрачных предположениях и страшных рассказах. Пафнутьевна вспомнила все ужасы, каких наслышалась еще в молодости, передавала истории времен царя Ивана и уверяла, что все это недавно

было и что все это она от самых верных людей слышала. Матрена Ивановна тоже в долгу не осталась и, возбужденная примером Пафнутьевны, к которой почувствовала большое влечение, отрыла из своей памяти такие страсти, что сама наконец перепугалась больше слушательниц.

Вот и вечер. Все разбрелись по кроватям. Наболтавшаяся и еще с утра уставшая Пафнутьевна спит крепким сном. Настасья Филипповна тоже заснула.

Фиме не до сна. Она жарко молится за бедного Митю и горько плачет.

— Что-то с ним теперь, голубчиком? Отец говорит, что нужно успокоиться, что попытать-де его не станут — Господь ведает. А ночь-то долгая-долгая, а завтрашний день что скажет? Вот, так радовалась этой поездке в Москву, всему радовалась. А горе уж началось. Сердце бьется так тоскливо, видно, дурное предвещает. Ох! что-то будет? И зачем все это? Жить бы в тишине да покое, в прежнем счастье...

Страшно, страшно становится Фиме, и льются ее слезы, и горячо, то с отчаянием, то с надеждой, она молится. Не слышит она, как среди тишины ночной в доме вдруг какая-то возня начинается.

То Матрена Ивановна кличет к себе своих сенных девушек. Таких она ужасов наговорила и наслушалась, что теперь никак уснуть не может, чудится ей все что-то.

Затешила она несколько лампадок перед образами, велит девушкам сидеть вокруг ее кровати и тихонько чесать ей пятки и спину, авось это тихое щекотание сон нагонит...

## VII

Молодой царь очень жаловал Пушкина, как разумного и приятного собеседника, умевшего вовремя и посмеяться, вовремя подать и совет добрый. К тому же Пушкин был весьма ловкий царедворец. Он, как и большинство бояр именитых, всей душой ненавидел Морозова, но, зная его силу и непоколебимую любовь к нему царя, всеми мерами старался с ним ладить, успевая убеждать его в своем расположении. И в конце концов достигал этим многого. Морозов ни одним словом не вооружал против него царя, не становился до сих пор ему поперек дороги.



Алексей Михайлович, узнав о возвращении Пушкина в Москву, тотчас пожелал его видеть и в неурочное время принял его в комнате.

Морозова не было, чем Пушкин был очень доволен. Он передал смущенному государю все более занимательные подробности своего путешествия. Восхвалял красоту девушек, собравшихся в Москву, но пуще всех расхваливал касимовскую дворянку Ефимью Всеволодскую.

— Не знатна она, государь, не богата, да зато уж и красоты невиданной, и нрава кроткого. Дочь благочестивых родителей, воспитали ее в страхе Божьем, — говорил он.

Рассказал он и о Рафе Родионовиче, и о вынесенных им обидах.

— Господи! Неужто это правда, что столь великие несправедливости на Руси чинятся?! А я про то ничего не ведаю! — печальным и смущенным голосом проговорил молодой царь. — Завтра же приведи ко мне этого почтенного человека, я желаю его видеть. Да скажи ему от моего имени, чтобы он говорил со мною не смущаясь. И родитель мой всегда любил правду слушать, и я, видит Бог, только и желаю одной правды... Не забудь же, завтра пораньше будь у меня со Всеволодским.

Пушкин откланялся и на следующий день рано утром вез Рафа Родионовича во дворец кремлевский.

По обычаю, оставив свои сани далеко от жилища царского, Пушкин проводил Рафа Родионовича на Постельное крыльцо и сказал ему:

— Пожди здесь немного, я пойду доложу государю.

Старик Всеволодский будто прирос к месту, стоял неподвижно, с изумлением и робостью осматриваясь. Постельное крыльцо в этот день было битком набито народом. Все люди важные — один вид чего стоит! Кафтаны и шубы богатые, шапки меховые высокие, поступь гордая. И глядят все на Рафа Родионовича с презрением, как бы спрашивая:

— Как этот сюда забрался? Что за птица ощипанная?

И Раф Родионович действительно чувствовал себя ощипанной птицей. Стыдно ему за одежонку плохонькую, и не знает, куда ему руки девать. Не знает, кому кланяться тут. Кончил он тем, что стал раскланиваться на все четыре стороны. А поклонов его или совсем не замечали, или отвечали на них едва заметным кивком. Один только

какой-то пожилой человек, из неважных, да, видно, очень любопытных, подошел к нему и стал расспрашивать.

Раф Родионович, низко кланяясь своему собеседнику, на каждый вопрос отвечал подробно, с полнейшим добродушием.

Только вдруг на Постельном крыльце произошло волнение. Все засуетились. Горделивые фигуры мгновенно как-то съежились, высокие шапки стали низко кланяться. Мимо Всеволодского, по тому же направлению, куда исчез и Пушкин, прошел, ни на кого не глядя и слегка отвечая на поклоны, красивый чернобородый боярин. Вслед за ним поднялся по всему крыльцу Постельному шепот, среди которого Всеволодский слышал только одно слово: «Морозов!»

Раф Родионович даже в глуши своей касимовской уже много слышался об этом важном боярине, первом советнике государевом, и теперь почувствовал необыкновенное, досель им еще не испытанное смущение.

Долго, днем и ночью, мечтал он о возможности пробраться во дворец царский, увидеть лицом к лицу государя, его близких и разумных советников и раскрыть перед ними свою душу. Нежданно-негаданно мечта эта осуществилась... так что же это страх берет, ноги трясутся, язык немеет?!

«Вот ведь какие тут люди, то не воевода касимовский. Как к ним приступить... Да и царь... издали-то мы смелы... Господи, что-то будет?! Ну, как я только совсем погублю и себя, и семью свою...»

Но рассуждать было некогда. Пушкин вернулся и, подойдя к Всеволодскому, сказал ему:

— Иди за мною.

Раф Родионович пошел, спотыкаясь на каждом шагу, боясь задеть кого-нибудь и со страха задевая чуть не всякого встречного. В глазах у него мутилось. Он не видел, не замечал окружающего, не знал, как он идет и по чему идет — пол ли под ним или что-то зыбкое, что вот-вот сейчас раздвинется, ускользнет из-под ног и умчит его в пропасть бездонную.

— Смелее, Раф Родионыч! Государь великий на тебя смотрит, — шепнул Пушкин.

Раф Родионович очнулся. Взглянул перед собою и увидел прекрасное молодое лицо, озаренное добродушной, почти детской улыбкой. Страх и смущение вдруг пропали. Новое умильное чувство

поднялось к сердцу и, едва удерживая слезы; старик упал на колени перед государем.

— Встань, почтенный человек, — проговорил Алексей Михайлович. — Я пожелал тебя видеть и прошу, поведай мне, ничего не скрывая, все свои обиды.

Но Всеволодский говорить не мог и долго был не в силах подняться, так что Пушкин должен был помочь ему.

«Что же это такое? — мелькнуло в его голове и сердце. — Молчу, онемел; теперь-то молчу, да разве это возможно?! Господь услышал молитву мою, а я молчу!...»

И он заговорил.

Он стоял перед царем, забыв о своем страхе и робости, о своем ненарядном платье. Глаза его горели прежним огнем. Благообразное и честное лицо сделалось величественным.

— Великий государь, — сказал он, — прости меня, коли слово молвлю я неразумное... Стар я, не обучен наукам. В глуши весь век прожил. Смолоду рубился с врагами, а теперь и на то стал негоден. Но все же поведаю тебе истину. Ищу у тебя, царь православный, суда во многих тяжких обидах. И устами моими будут тебе плакаться многие сотни и тысячи твоих верных подданных, несправедливо обижаемых без твоего ведома...

Его голос креп с каждым словом, он видел перед собою кроткие глаза молодого царя, устремленные на него с благосклонным выражением. Он говорил, как еще ни разу не случалось ему говорить в жизни, говорил обо всем темное и несправедливом, чему был свидетелем, о возмутительных злоупотреблениях воеводы, дьяков и подьячих, о горе и нуждах народа православного. Говорил с такою страстью с таким красноречием, что молодой царь внимательно и в волнении его слушал, то вспыхивая, то бледнея.

Внимательно слушал его и другой человек, бывший рядом с царем, но которого до сих пор совсем и не заметил Всеволодский, — слушал боярин Морозов. Только трудно было разобрать на лице боярина его мысли.

— Борис Иваныч, слышал ли ты все это? Вот что на Руси творится, вот каких воевод мы ставим! — наконец вскричал Алексей Михайлович, когда Всеволодский остановился, едва переводя дыхание.

— И столько беззакония в одном городе, от одного человека! — продолжал он. — По другим местам, может, то же самое делается, а мы ничего не знаем. Как нам быть теперь? Из-за одного злодея льются потоки слезные! Целые семьи, сотни семей терпят муку... Нет, не будет пощады от меня этому воеводе! За все он мне ответит...

— Государь, — тихим голосом проговорил Морозов. — Тебя взволновали речи этого человека. Оно понятно; но ведь нужно действовать осмотрительно... не всякому слуху верь. Может, все это и правда, и в таком случае, конечно, виновному воеводе должно быть строгое наказание. Но может быть, что человек этот, своих обид ради да по вражде своей к тому воеводе многое и не так передал. Нужно и воеводе выслушать. Доносов-то у нас много, рады жаловаться, благо царь милостиво слушает...

Побледнел и вздрогнул Раф Родионович; гневно глянул он на могучего боярина.

— Во всю мою жизнь я ложью не осквернил языка моего, — проговорил он, — а перед лицом великого государя могу ли лукавить?!

— Да ведь я ни в чем и не виню тебя, — спокойно ответил Морозов, — я не чиню тебе никакой обиды. Ты дело свое сделал и коли правду сказал — так будь спокоен.

Алексей Михайлович сидел задумчиво. Он не слышал слов Морозова. Очнувшись, он взглянул на Рафа Родионовича и по-прежнему ласково и печально ему улыбнулся. Он видел волнение этого почтенного старика, видел его сердечную тоску, понял ее и инстинктивно постарался его бодрить и успокоить своей милой и детской улыбкой.

— Спасибо тебе, — сказал он ему. — Я тебе верю, будь спокоен. Мы разберем твоё дело и не дадим тебя в обиду. Когда нужно будет, я позову тебя. Приказчика этого, Осину, прикажу бесприменно словить, а сосед твой, Суханов, будет выпущен на свободу: о нем не тревожься... мне довольно, если ты за него ручаешься...

Благоговейно опустил Раф Родионович снова на колени перед царем и горячо поцеловал милостиво протянутую ему царскую руку. Он выходил теперь от государя спокойный и бодрый. Давнишняя тяжесть спала с его плеч — он сделал своё дело.

— Напрасно ты, не спросясь, о всяком неведомом человеке докладываешь, — шепнул Морозов Пушкину, — что он тебе, сродни,

что ли? Расстроить да взволновать государя легко, а польза от того какая? Напрасно, совсем напрасно ты это сделал...

Пушкин не отвечал и не оправдывался: в присутствии государя, который вот-вот на них взглянет, то было невозможно. Да и чего тут было оправдываться. Пушкин только соображал все о возможности удачи или неудачи той смелой игры, которую затеял.

## VIII

То же самое, что происходило в Касимове по случаю выбора царских невест, то началось теперь в Москве, только в гораздо больших размерах. Все страсти расходились, интриги кипели. Двести девушек в сборе, из них нужно отобрать шесть самых красивых и представить их государю. Прежде всего возникает вопрос: кого из бояр царь назначит. Для такого дела, от кого будет зависеть признать такую-то девицу красивейшей или объявить ее негодной для царского выбора. Значит, нужно понравиться не государю, а судьям. Да и не понравиться: на красоту тут, наверно, будут обращать меньше всего внимания. Выберут своих же дочек, а не дочек, так родственниц, а то так дочерей своих благоприятелей. Дело не впервой, дело известное.

Кто же эти судьи?

На вопрос этот ответ был ясен.

Конечно, самые близкие к государю люди и прежде всех боярин Борис Иванович Морозов.

Морозов опять распорядится всем по-своему. От него только, от него одного будет зависеть выбор невест. Другие судьи замолчат перед ним, спорить не станут. Да он и не допустит рядом с собою спорщиков, он будет судить вместе со своими товарищами, единомышленниками.

И никогда еще не было такой ненависти к Морозову, как в эти дни ожидания, и никогда еще так не заискивали перед ним царедворцы.

Вот имена судей стали известны; избраны: Борис Иванович Морозов, брат его Глеб Иванович, боярин Романов, Пушкин и князь Прозоровский.

И повалили к судьям отцы и родственники невест выбираемых. Все клянутся в дружбе великой, высчитывают прежние услуги, в ногах валяются, просят не обидеть дочку или племянницу, сулят за услуги

горы золотые. Некоторые так даже и заранее, тут же из кармана тащат посильное приношение. Бояре приношениями не брезгают, обещают сделать все, что только могут, но вместе с этим у каждого на языке: «Мы-то за вас будем — уж не сумлевайтесь, а вот Бориса Ивановича — того хорошенько просите, как бы он вашего дела не испортил, а мы что, мы всей душой постараемся».

Уходят от бояр отцы и родственники с некоторой надеждой, только к Борису Морозову никто из них идти не осмеливается: его не упросишь, с ним не сторгуешься, лучше уж и не заикаться, а улуча минуту, до выбора невест, на Постельном крыльце или в Передней, да поклониться ему пониже.

Однако и не без бурных сцен обходится канун выборов; не все гости выходят от бояр-судей с миром и надеждою. Вот сидит у Пушкина окольничий князь Троекуров и упрашивает его беспрерывно выбрать напоказ царю его дочку, княжну Ирину.

Пушкин давно уже не любит Троекурова, давно уж у него с ним нелады завелись. И он теперь, по своему характеру непокладистому и задорному, вовсе не желает обнадеживать князя, напротив, рад он случаю насолить Троекурову и подразнить его.

— Неладное ты дело выдумал, князь, — говорит Пушкин. — Ну как это я могу обещать тебе выбрать твою дочку? Первое: не я один выбирать буду; коли я и выберу, а другие-то скажут: она, мол, некрасива, у нее-де одно плечо ниже другого, да и с лица не совсем чиста — на носу рябинки — ну что тогда?!

При этих словах Троекуров забывает все. Он помнит только свою старую вражду и зависть к Пушкину, чувствует только обиду. И обида тем сильнее, что у дочери действительно одно плечо ниже другого и на носу рябинки.

— Что же ты мою дочь хаешь?! — вдруг вскакивает он с места и чуть ли не с кулаками лезет на Пушкина. — Ты обижать меня вздумал, такой-сякой!... Видно, передо мною уж кто ни есть, а за свою дочку немало рублевиков отсыпал; так ведь и. я к тебе пришел не с пустыми руками...

Пушкин начал было сердиться, но тотчас же и перестал, смех его разбирает. Отстранил он от себя сильною рукой тщедушного Троекурова.

— Держи язык за зубами, — проговорил он, — не то я эти речи твои доведу до государя, как ты вздумал искушать меня рублевыми-то, чтобы я плохой товар подсунул государю.

— Плохой товар! ах ты!

Троекуров засучил рукава и с кулаками бросился на Пушкина. Пушкин тоже принял его в кулаки и, скоро с ним справившись, вытолкнул его взащей из своего дома.

Троекуров остановился на улице и долго стоял неподвижно, в бессильной злобе. Что ему делать? Искать с Пушкина бесчестие нечего и думать. Он такого наскажет, что пропадешь совсем. С мечтами о свойстве царском тоже, видно, придется проститься. Еле-еле, всеми правдами и неправдами дочь попала в список двухсот девушек; теперь же ничего не поделаешь. И бросился Троекуров к себе домой, вымещать злобу на жене да на дочери-невесте...

## IX

Боярские смотры невест происходили утром в одной из более обширных палат дворцовых. В назначенный час прибыли все двести молодых девушек в закрытых колымагах, заранее разосланных за ними. Закутанные фигуру одна за другой выходили из колымаг и скрывались в сенях. Несколько назначенных для этого случая боярынь провожали их в палату. Там они становились одна возле другой длинными рядами. Чудное зрелище представляла палата. Верхняя меховая одежда снята с девушек... Фата уж не скрывает их лица. Длинными вереницами стоят они в своих высоких меховых шапочках, в дорогих парчовых платьях с длинными сборчатыми рукавами; на шее у них жемчужные ожерелья; на ногах разноцветные сафьяновые сапожки с высокими каблуками. Все они молоды, все красивы. А которая из них и похуже — так сразу разобрать невозможно: лица и шеи набелены, щеки нарумянены, брови и глаза подрисованы. Много забот было положено, чтобы выставить невест в самом лучшем виде.

И стоят эти девицы-красавицы в своих дорогих тяжелых уборах, скрывающих под широкими складками их молодые формы, стоят не шелохнутся, будто неживые. На редких лицах видно оживление. Большинство из них просто смущены, испуганы немного; но смущение и испуг скоро переходят в безучастное равнодушие. Многие,

очевидно, даже не совсем хорошо понимают значение сегодняшнего дня. Глаза их опущены и только изредка вскидывают они ими, поглядывая на соседок.

Они все еще слишком молоды для страстей, для зависти, честолюбия. Они еще дети. Но детство их какое-то скучное, однообразное.

Конечно, между ними есть и исключения. Некоторые приехали издалека, некоторые знакомы с более широкой, привольной жизнью. В иных уже говорит и сжимается сердце тоскою и страхом, надеждой и сладкой мечтою.

Но ничего этого не прочтешь на их лицах. Им строго наказано пристойно держать себя, то есть казаться как можно деревянное, как можно мертвенное. Им внушено, что если они хоть чем-нибудь проявят свою внутреннюю жизнь, то будут беды великие и им, и их родичам. И вот они стоят недвижимыми изваяниями. Среди этих девушек и Фима. Ее старая тетка, Куприянова, употребила все старания для того, чтобы племянница не ударила лицом в грязь: она постаралась навешать на нее все дорогие украшения, какие только были у нее. Украшений этих много. Наряд Фимы безвкусен, но никакое безвкусие, никакое излишество ненужных побрякушек не могут затмить красоту ее.

Чудно хороша Фима. Стоит она опустив голову. Глаза ее закрыты, на лице застыло выражение не то тихой тоски, не то усталости. На сердце у нее тяжело и смутно, будто сон какой-то. Вопрос неясный и мучительный стоит перед нею.

Что такое творится с ней в последнее время? Ко да, наконец, все это кончится?

Вот вчера отец от царя вернулся, гордый такой. Радостно объявил, что теперь конец всем невзгодам, объявил, что теперь Митя будет выпущен немедленно. А между тем про Митю ни слуху ни духу. Просила она Андрея узнать о нем, но Андрей совсем обезумел от страха, что у него отнимут невесту. Всю ночь проплакал, как малый ребенок; а поехали они во дворец, так он побежал тоже к Кремлю. Ждет, верно, теперь где-нибудь, чтобы не пропустить ни минутки, чтобы скорее узнать — освобождена ли его Маша.

Маша здесь, в нескольких шагах от Фимы. Они улыгнулись друг другу и снова замерли.



Но что это такое? Вдруг искра какая-то пробежала между всеми собранными девушками. Немые, неподвижные шеренги дрогнули, даже в нескольких местах раздался невольный и тотчас же подавленный крик испуга.

— Бояре идут! — послышался робкий шепот.

Некоторые девушки от страха едва на ногах стояли. Им Бог знает что начинало чудиться. Они точно ожидали какой-то неведомой и ужасной пытки.

Бояре, и впереди всех Борис Иванович Морозов, стали медленно проходить мимо девушек, внимательно их разглядывая. Под этими пристальными взглядами еще ниже опускались ресницы. Испуганно жались девушки одна к другой; но бояре не обращали никакого внимания на их смущение.

Борис Иванович искал глазами сестер Милославских. Вот он перед ними.

Величественно и невозмутимо стоят обе красавицы. Только около губ младшей вьется едва заметная улыбка. Морозов заговорил с ними. Они отвечают ему мерным, спокойным голосом, грациозно кланяются.

— Бояре, — обратился Морозов к окружающим. — Бояре, гляньте-ка, вот так воистину красавицы, эти Ильи Данилыча Милославского дочки!

Бояре быстро переглянулись между собою. Теперь они поняли, в чем дело. Но возражать Морозову во всяком случае не приходилось, да и тем более, что Милославские были действительно красивее всех, стоявших в переднем ряду.

Пушкин взглянул на них, вспыхнул и закусил губу.

«Хороши, хороши, — подумал он, — и Илья Милославский верным ему холопом будет... Ловко придумал Бориска! Только еще посмотрим, чья возьмет. Моя-то все же краше этих писанных скромниц!...»

Он отошел от бояр, отыскал глазами Фиму и затем, вернувшись, стал шептать судьям.

— А ну-ка взгляните, вы, бояре, на эту, — что скажете?

Бояре взглянули, куда им указывал Пушкин — да так и остались с разинутыми ртами. Взглянул и Морозов, — и у него невольно дрогнуло сердце.

«Вот так красавица! Откуда? Кто такая? В жизнь такой красы не видывал! Лучше, лучше, всех лучше!» — мелькнуло в голове его.

Под неожиданным обаянием красоты Фимы он бросил свои разговоры с Милославскими и подошел к ней.

Она все продолжала стоять с опущенными глазами.

— Как зовут тебя? Чьих ты родом, красавица? — раздался над нею громкий голос.

Она вздрогнула, подняла глаза. Статный чернобородый боярин перед нею. Лицо важное, бледное, глаза черные, острые. Будто кольнуло ей что в сердце. Страшным отчего-то показался ей красивый боярин.

— Зовут меня Ефимьей, я дочь Рафа Родионыча Всеволодского, касимовского дворянина, — едва слышно проговорила Фима, как приказали ей родные, и низко поклонилась.

Все бояре-судьи были уже около нее. Все глядели на нее изумленными глазами, все шептали:

«Красавица! Воистину красавица!»

Но Фима не обращала на них никакого внимания.

Перед нею был один только страшный чернобородый боярин, и Фиме хотелось только одного: чтобы он отошел от нее подальше и чтобы никогда уж больше ей не видеть его.

Наконец судьи, вдоволь налюбовавшись Фимой, начали подходить к другим девушкам, а затем, окончив осмотр, вышли из палаты.

— Как же мы решим, бояре? — обратился Морозов к своим товарищам.

— Да что же тут решать, — ответили они ему, — дело ясное. Все в добрые жены годятся, да не царю только. А царских невест немного...

— Милославские две, — перебил Морозов, — краше их на всей Москве девиц нету... о них давно уж молва идет, да и царевнам они ведомы...

— Ну да, Милославские — это точно, спору нету, — заговорили бояре, перебивая друг друга. — Хилкова княжна взяла тоже и ростом и дородством... зубы ровно жемчуг, а коса-то? заметили? ниже колен, право слово... хороша девка, больно хороша!...

— Опять и княжна Пронская, грех охаять, на что же лучше. У ней вон и мать и бабка были какие! На весь город славились... их уж род

такой... беспрерывно надо ее показать государю...

— Алферьева тоже вот...

— Ну а Всеволодская-то! Хотя и не из наших московских боярышень, а краше всех будет...

— Это точно... не в пример краше!

— Уж и как такая красавица уродилась!!

— Будто она и краше всех? А Милославские? — вымолвил Морозов.

— Так как царь взглянет, это нам неизвестно, а на наши глаза — она точно краше всех, и неужто спорить об этом станешь, боярин? Мы ведь это не в обиду Милославским... их краса при них останется...

Морозов, однако, не спорил. Он понимал, что скрыть от царя такую красавицу невозможно.

«Чай, уж заранее Пушкин доложил о ней. Недаром этого старика-отца приволок с его ябедами. Эх, Пушкин! ногу подставить, видно, хочешь, только вряд ли, брат, удастся... Не все красавицы царицами делаются...»

— Так на том, значит, и порешим? — громко обратился он к боярам. — Сегодня же государь, может, девиц и увидит...

Морозов простился с боярами, поручив своему брату, Глебу Ивановичу, доложить царю об окончании возложенного на них поручения. А сам отправился к царскому духовнику, Благовещенскому протопопу Стефану Вонифатьевичу.

«Хитри себе, Пушкин, — продолжал думать он дорогой, — подставляй красавиц. Мы с протопопом тоже не задремлем — Алешу из рук не выпустим».

## Х

Нигде найти не мог себе покою в эти последние дни Царь Алексей Михайлович. Сначала, согласившись на предложение Морозова относительно избрания невесты и разослав своих придворных для призыва на Москву девушек, он вдруг оживился. И ни Морозов, ни другие уж не замечали в нем больше того странного состояния, которое так поразило их в день поездки на медвежью травлю и львиное зрелище. Алексей Михайлович снова повеселел, мечтательное, рассеянное выражение лица его исчезло. Он опять стал

интересоваться всем, чем интересовался прежде, «сидел» с боярами, вникал в дела, ходил на медвежью охоту; а во время служб церковных и вечером в Крестовой усердно молился.

Но вот девушки-невесты в Москве. Вот бояре выбирают для него самых лучших, самых прекрасных. Морозов расхваливает красоту дочерей Ильи Милославского. Пушкин толкует о неслыханной красавице касимовской.

И опять спокойствие покидает молодого царя. Опять он в волнении, рассеян, в мечтах забывается. Он знает, что сегодня бояре уже высмотрели для него шесть красавиц. Теперь и сам он может взглянуть на них. Сегодня, завтра, когда только он захочет, перед ним явятся эти красавицы, и он должен будет из них выбрать себе жену — царицу.

Страшно и как-то волшебнo-сладко становится на душе Алексея Михайловича. Он и торопит этот час заветный, и в то же время страшится этого часа.

К обеду собираются привычные собеседники, в том числе и Морозов да духовник царский, Стефан Вонифатьевич. Бояре объявляют царю, что выбор сделан. Спрашивают, когда он невест смотреть будет. Но он только краснеет и не говорит им ни слова — заминает эти речи. А в то же время ему страстно хочется, чтобы кто-нибудь поговорил об этих красавицах.

И сам он не знает, что с ним делается, не может усидеть он на месте.

Обед идет обычным чередом, с обычными церемониями. Бояре видят смущение государя, понимают его и не продолжают разговора о невестах. Начинается всегдашняя беседа; но Алексей Михайлович рассеян, не слышит, что говорят бояре; даже есть забывает, не до еды ему теперь.

Обед кончен. Бояре с низкими поклонами выходят. Остаются только Морозов да духовник.

Борис Иванович улучил первую удобную минуту, подошел к своему воспитаннику и, ласково ему улыбнувшись, сказал:

— Так как же, государь, когда смотреть невест будешь? Коли начато дело, так нужно его и кончить. Да и невесты-красавицы совсем измучаются... Чай, у каждой из них теперь душа не на месте, в один день истают как свечи.

— Завтра, — опутив глаза, проговорил Алексей Михайлович.

— Вот это ладно. А теперь я порасскажу тебе, государь, о том, что было утром. Выбрали мы по общему решению шесть красавиц. Краше их, я чаю, и во всем свете не сыщется. Ну одно слово — для тебя выбирали! сам увидишь. А только мне все теперь мысли разные в голову приходят. Красота красотой, да ведь не одна красота для жены доброй, а тем паче для царицы нужна. Полюбится тебе одна из этих красавиц, обвенчаешься ты с нею, а вдруг она нравом окажется дурна, сердцем зла?!. Что тогда делать? Красота-то приглядится скоро, да и пройдет вместе с молодостью, а сердце останется... Грустно мне, государь, грустно твоему старому дядьке помыслить о том, что вдруг, не дай Бог, из нашего выбора выйдет тебе несчастье. Будем мы перед тобою в ответе. Зачем, скажешь, вы мне, бояре мой ближние, жену злую указали. Так вот об этом-то я весь день и думаю...

Алексей Михайлович внимательно слушал, положив голову на руки и глядя большими светлыми глазами на своего друга и дядьку. Спокойное, величавое лицо Морозова было грустно, но острые глаза так и впивались в государя. Он продолжал прежним мерным голосом:

— Все выбранные нами девушки воистину красавицы, которая из них краше — сказать мудрено. Одному одна покажется, другому другая; но всякий про любую из них скажет: «Вот царица!» Так, стало быть, по красоте они равны. Но которая из них нравом лучше, сердцем добрее, которая больше будет лелеять и беречь тебя, которая достойна великого счастья, что выпадает ей на долю?... Темное дело — узнать сердце девичье, а особливо при наших обычаях. Девицу в тереме хоронят от всякого взгляда. Никто ее не видит, не слышит, сам о ней судить не может. Но все же, стоит захотеть только — и кой-что узнаешь про каждую девушку. И вот я, о тебе помышляючи, вызнал ноне все, что мог, о выбранных нами невестах. Княжна Пронская хороша бесспорно, да мамушки и нянюшки бают, горда больно, в отца уродилась. Про Хилкову княжну мне поведала тетка ее родная, старуха добрая и разумная: всем, говорит, хороша моя племянница, да слезы у нее больно дешевы, от всякого пустого дела в три ручья заливается. Ни разу, говорит, ее улыбки я не видала. И всего-то у нее вдосталь, родители у нее добрые, горя никакого нету, а плачет и плачет. Смутился я, как услышал эти речи. Оно, конечно, плакать — бабье

дело, только уж коли слишком часто плакать, так хуже этого ничего, кажись, и быть не может.

— Да, это правда, — проговорил Алексей Михайлович. — Я не люблю пласивых. Вон как сестрица Аннушка, что тут хорошего. Ну а про других что скажешь, Борис Иваныч?

— Алферьеву тоже мы выбрали — красивая, статная, здоровая. А признаться, я уж хотел было спорить с боярами, чтобы вместо нее поискать другую. Ничего про нее дурного не знаю — узнать-то мне неоткуда — а смущает она меня. Заговорил я с нею и так, и эдак, — ну и поистине скажу тебе, государь, сдается мне, Господь ее разумом обидел: невпопад все как-то отвечает. И нельзя сказать, что она в смущении, нет, глядит так смело... Зато есть две другие, я уж говорил тебе про них, сестры Милославские. Как они красивы, сам увидишь, а про нрав их я могу сказать тебе, знаю хорошо, как дома-то ведены они, девушки добрые, скромные, разумные, а особливо старшая. Вторая молода еще, ее распознать труднее, почти ребенок. Да вот пускай про них тебе и отец Стефан скажет. Он у них в доме бывает — духовник их тоже.

Протопоп все молча стоял в углу и делал вид, что внимательно разглядывает какую-то духовную книгу. Теперь своей тихой походкой подошел он к государю.

Это был еще не старый человек, довольно внушительной наружности, хотя и с заметно красноватым носом, обличавшим его, хорошо всем известную, слабость к русским медам и дорогим иноземным напиткам. Отец Стефан пользовался еще у покойного царя Михаила Федоровича большим почтением. Молодой же царь, при своем всегдашнем религиозном настроении, чрезвычайно уважал его и часто слушался его советов.

— Это боярин про дочерей Милославского тебе рассказывает, государь, так и я могу тоже засвидетельствовать: всем изрядные девицы. Господь щедро одарил их и красотой телесного, а паче того красотой духовною. И коли время тебе, государь, пришло избрать жену, то лучше сих двух девиц не сыщешь ты во всем обширном государстве русском. Боярин Борис Иваныч, печалась о твоём благе, указывает тебе на сих двух достолюбезных чад. Из оных же старшая, Мария, пришла уже в возраст и, аки отец ее духовный, ведая все

помышления и изгибы нелицемерного и невинного сердца ее, аз глаголю ти: останови, государь, на сей девице твой выбор!

Протопоп остановился и обменялся с Морозовым многозначительным взглядом: «Видишь, мол, Борис Иванович, как я свое обещание исполняю, смотри не забудь же этого!»

Царь сидел задумчиво и уже не слышал дальнейшей речи протопопа. А протопоп продолжал говорить долго и все в том же тоне, от церковного языка переходя к разговорному и наоборот, уснащая речь свою текстами Священного Писания, которые, как он хорошо знал, всегда сильно действовали на благочестивого юношу.

Алексей Михайлович думал:

«Конечно, они правы и добра мне желают. Конечно, им лучше знать, какая невеста-девушка будет хорошей женой и царицей, но к чему же тогда я из шести выбирать должен — лучше бы мне других и не видеть. Вот они так хвалят старшую дочь Милославского, а вдруг мне больше понравится какая-нибудь другая. Ах, как это все трудно, как все это страшно!... Да что же это? а та красавица касимовская, про которую говорил Пушкин, они ведь про нее ни слова».

— Борис Иванович,-живо обратился он к Морозову, — ты позабыл еще одну из тех, которые вами выбраны, — Всеволодскую. Как она тебе показалась? Пушкин мне много говорил про красоту ее и про нрав ее кроткий.

Морозов с досадою пожал плечами, и по лицу его скользнуло злобнее выражение.

— Что она красива, в том спору нету; но не знаю я, откуда и как мог Пушкин узнать ее. Нам про нее ровно ничего не известно, и сдается мне, что не годится она в царицы. Выросла в глуши деревенской, отец ее, сам, государь, знаешь — человек темный, бедный. Тоже опасно ведь взять девушку невесть откуда! Нет, государь, ни я, ни отец протопоп никогда мы тебе не посоветуем увлечься красотой сей девицы, Боже сохрани и избави!

— Чего же ты так встревожился, Борис Иванович, — перебил его царь, — ведь я еще никого из них не видал; может, она мне и не понравится. Да и после того, как вы с отцом протопопом так расхваливаете и так хорошо знаете дочь Милославского, мне кажется, я только на нее смотреть буду — других и не увижу.

Проговорив это, Алексей Михайлович встал со своего места, улыбнулся, щеки его вспыхнули, и он ласково взял Морозова за руку.

— Ох, Иваныч, жутко мне! Коли завтра да прямо выйду я к ним и должен буду сейчас же выбирать — не знаю, что со мною и будет. Нет, пускай невесты сегодня же вечером соберутся у сестер в тереме; я их там тихонько увижу. Распорядись об этом, пожалуйста... Помню я, батюшка рассказывал, что и он так-то невесту себе высматривал... вот и я хочу тоже увидеть их всех да разглядеть порядком, да так, чтоб они меня не видали, а приметят, так за кого ни есть сочли, хоть за гусяра, что ли...

Решение Алексея Михайловича очень не понравилось Морозову. Ему гораздо приятнее было не дать жениху возможности разглядеть девушек. Чем более бы смутился он, тем вернее было бы торжество Морозова. Царь наверное тогда прямо бы подошел к Милославской, о которой ему заранее так натолковано. Но отказать государю в исполнении его желания невозможно.

Вдруг новая мысль пришла в голову Морозову: ничего, пожалуй, даже еще и лучше, если он увидит их сегодня. Он передаст, конечно, свое впечатление ему, Морозову, и если даже приглянется не Марья Милославская, то все же до завтрашнего утра еще будет время его настроить, уговорить, и нечего уж будет опасаться внезапного и неприятного выбора — этот выбор будет заранее решен и обдуман.

— Ладно, государь, — сказал Морозов. — И в прежние годы, еще и до родителя твоего, цари не раз так же невидимкою невест высматривали. Это обычай старый. Желание твое будет исполнено. Тотчас же сделаю распоряжение и доложу царевнам, А ты, государь, займись пока чем-нибудь, а то побеседуй с отцом протопопом, время-то еще раннее.

Морозов ушел. Протопоп начал царю поучение о жизни семейной по «Домострою», о качествах доброй жены, об обязанностях мужа.

Но царь в этот раз довольно рассеянно его слушал. Ему опять послышалась из какого-то волшебного далека сладкозвучная песнь птицы сирина, и опять манила его эта песнь, волнуя кровь, поднимая в сердце неясные ожидания. Он с нетерпением ждал рокового часа, в который должна решиться судьба его.



Постельные хоромы дворца, в которых жили царевны, со времени смерти царицы сделались еще недоступнее для привычных дворцовых посетителей. Сюда имели право свободного входа только боярыни, да и то в редкие дни, назначенные для их приезда. Сам Борис Иванович Морозов не решался нарушать принятого обычая и никогда сюда не заглядывал.

Здесь распоряжались старые верховые боярыни и мамы, сновал с делом и без дела всякий женский дворцовый чин: казначеи, учительницы, кормилицы, комнатные бабы и мастерицы. Здесь был свой собственный, совершенно замкнутый мирок, живший своей жизнью, заполнявший время всевозможными мелкими интригами, сплетнями, устраивавший и свои радости, и свое горе, драмы и комедии.

Если кругозор и интересы тех людей, которые вращались на другой, мужской половине дворца, должны были показаться заезжему образованному человеку того времени необыкновенно узкими, если именитые бояре поражали, в большинстве случаев, грубостью своих нравов, бессмысленною животною жизнью, то женский мир дворца представлял собою явление совершенно уж безотрадное. В плохой школе приходилось воспитываться царевнам, мало путного могли внушать им их лицемерные наставницы. О действительной, живой жизни они не имели ровно никакого понятия, ничего не знали, кроме своего терема, теремных печалей и радостей.

Последняя великая печаль — смерть матери царицы — отошла, рассеялась. Удовольствий было немного, да и эти немногие удовольствия давным-давно наскучили — все эти потешные немцы с цимбалами, скоморохи, домрачеи, карлы и карлицы, нищие, дураки и дуры. Так и немудрено, что весть о предстоящей женитьбе брата живо затронула царевен и всех теремных обитательниц. С утра и до вечера шли у них теперь разговоры об этом великом событии. Когда же Морозов объявил, что царевны должны принять избранных для государевых смотрин девушек и что царь тихомолком будет смотреть их, — в тереме все заволновалось. Царевны пришли в великое восхищение и, быстро нарядившись, как подобало для такого редкого случая, приготовились к приему гостей, из которых они до сих пор знали уже четырех: Пронскую, Хилкову да сестер Милославских.

Пришел ранний зимний вечер. Теремные покои рассветились многими свечами. Все постоянные обитательницы терема уже собрались и, в волнении перешептываясь друг с другом, ожидали. Вот привезли, наконец, и невест. Они идут, робко озираясь во все стороны, представляться царевнам.

Больше всех робеет и смущается Фима. Она еще с утра не может прийти в себя. Страшный нынче день выдался. И так уж все беды в последнее время нахлынули, а с утра сегодняшнего совсем, видно, пришла гибель, совсем сглазил ее своими лукавыми глазами чернобородый боярин. Как узнала она, что ее выбрали вместе с пятью другими — не взвидела свету, тяжело и горько стало у ней на душе, слезы невольные из глаз брызнули. Со всех сторон на нее глядят завистливо. Есть чему завидовать! Домой, домой скорее, думалось ей, когда окончился смотр боярский; но не тут-то было: пришлось выдержать новую пытку. Те, счастливые, избранные, по домам разъехались. Пришлют им подарки царские и отпустят их на все четыре стороны. Они свободны. У кого есть жених — то-то счастье, то-то радость! А избранных во дворце задержали. Отвели их в отдельный покойчик, принесли им яства, сласти разные, угощали их. А потом явились бабки дворцовые, за бабками немец-дохтур.

Не взвидели света красавицы — со стыда чуть не померли...

Наконец, натерпевшись всякой муки, приехала Фима домой. Отец, мать, тетка, Пафнутьевна ее окружили.

— Ну что, как? — начались расспросы.

Залилась она горькими слезами, кинулась на шею к Настасье Филипповне. Едва могла выговорить:

— Беда моя лютая... выбрали... царю будут показывать!...

Перекрестился молча Раф Родионович, сел на лавку, опустил голову. И трудно было разобрать его думы. А женщины голосить стали не от горя, а с великой своей радости.

Настасья Филипповна, в материнской гордости сама себя не помня, совсем стала как угорелая. Пафнутьевна торжественно оглядывала Фиму и шептала:

— Что же, я ведь говорила, так и быть оно должно — разве краше Фимочки есть кто на свете?...

— А Митя-то, Митя!! где он? — заливаясь слезами, повторяла Фима.

Ей сказали, что Митя, видно, уж теперь выпущен на свободу; а коли еще не выпущен, то к вечеру бесприменно его выпустят. Но при этом прибавили, что ей о нем, собираясь предстать перед царские очи, нечего думать, чтобы она ни себя, ни родных своих не срамила.

Как подстреленная птичка, пораженная этими словами, притихла Фима. Она вдруг поняла, что с сегодняшнего дня совсем рушится связь ее с прежней жизнью.

«Только как это? нет, что же такого, что выбрали — ведь нас шестеро. Другие лучше меня, больше царю понравятся!» — успокаивала она себя и никак не могла успокоить.

Какой — то внутренний, неведомо откуда звучащий голос говорил ей, что все кончено и пропало, что вконец испортили ее лукавые глаза черного боярина.

«Да где же Андрюша? Хоть бы с ним словом перемолвиться. Упросить его добыть Митю. Они бы тогда, может, и решили, как им быть теперь. Только нет Андрюши — с утра он домой не возвращался. Ей горе — ему радость.

Не выбрана его Маша... Он там теперь — с нею, забыл и думать о сестренке, о друге своем Мите!»

Как в тумане каком пробыла несколько часов Фима, есть ничего не могла, ни о чем не думала. А тут вот опять из дворца посланный с колымагаю. В колымаге боярыня верховая, во дворец зовут к царевнам.

Вот и приехала Фима.

Тошно на душе у нее. Диким ей все кажется — весь этот блеск, никогда не виданный, вся эта роскошь в тереме царевен. Словно в бреду ей все это чудится.

Помнится, несколько лет тому назад больна очень была она, в жару лежала, так чудилось ей все такое дивное. Вот теперь то же самое. И не разберешь — явь ли то или сон — пестро все так, перепутано... Огни горят... и конца этим огням нету. В глаза так и кидаются: хитрая резьба, парча, ковры яркие. Со всех сторон вырастают чудные лица, карлики, уродцы. Вот прямо на нее смотрит черная морда. И не разберешь, что это: зверь ли заморский или человек. Нос расплуснутый, лба совсем почти нету, на голове тюрбан огромный. Рот до самых ушей, губы толстые, красные, а изо рта глядят зубы белые — злобно так скалятся...

Вот кричит что-то диким голосом птица какая-то серо-красно-зеленая, на золотом кольце качается. И говорит та птица человеческим голосом...

Все чуднее и чуднее Фиме — уж не сознает, где она. Ей кажется, будто она летит в пространстве, и на нее со всех сторон надвигаются всякие дива.

И опять она будто падает и опять различает: жарко натопленные, изукрашенные покойчики, те же молодые и старые, прекрасные и уродливые лица. Те же чертенята и карлы, та же говорящая человеческим голосом птица... Красивые, нарядные девушки ее окружают, улыбаются ей, заговаривают с нею. Но она не знает, как и отвечать им, говорит бессознательно. Ее усаживают на мягкую скамью парчовую, угощают сладостями. Вдруг раздаются тихие музыкальные звуки. Несколько мужских фигур показываются у порога. То музыканты. Тихие звуки разрастаются, переходят в громкую плясовую пьесу.

Но эта веселая музыка не радует, а только поднимает новую боль в сердце Фимы. Ее душат слезы...

И вдруг она совсем очнулась, туман рассеялся. Теперь она уж может отчетливо различать все, что ее окружает. Она видит себя среди молодых красавиц. Рядом с нею одна из царевен. В ногах у них, посреди комнаты, на мягком ковре сидят две уродливые карлицы и арапка. Музыканты продолжают играть у порога. Фима взглянула на них и внезапно вздрогнула. Прямо на нее, прямо в глаза ей, устремлены глаза одного из музыкантов. И что же это с ней такое? Отчего не может она оторваться от глаз этих? Отчего лицо этого музыканта не уходит от нее? Он молод, очень молод, и никогда еще в жизнь свою не видала она такого красавца. Странная улыбка на лице его, на щеках нежных то вспыхивающий, то потухающий румянец. Все глядит он на нее, не отрываясь.

Фима опустила глаза, но так и тянет ее взглянуть снова. Что-то совсем необычайное заметила она в лице этом. Оно ей кажется чуднее, непонятнее всего, что вокруг нее творится. Где же прежде видала она лицо это? Оно ей так знакомо. Только нет, нигде она его не видала. Как может он так смотреть на нее? Зачем он так смотрит? Ей досадно, ей обидно, и в то же время ей опять хочется взглянуть на него. И она боится, что он уж на нее не смотрит...

Отчего же все это? Что с нею? Она вся дрожит, она чувствует, что вот-вот зарыдает.

Но в эту самую минуту снова прежний туман ее охватывает, и она перестает различать предметы. Прежний сон, пестрый, причудливый, снова начинается под звуки то замирающей, то с новою силой раздающейся музыки. Только в этом новом сне, среди чудес и разнородных причудливых образов, теперь рядом с нею непонятное лицо волшебного музыканта, его тихие глаза, умильно и ласково смотрящие ей прямо в душу.

## XII

Фима была права, когда думала про Андрея, что он теперь забыл и о ней, и о Суханове. Действительно, он не мог в этот день ни о ком и ни о чем думать, кроме своего собственного благополучия. Маша Барашева не приглянулась боярам; то, что казалось Андрею невозможным, невероятным — между тем случилось. Андрей воображал, что как только увидят бояре Машу, так на других красавиц и смотреть не захотят. Он был в этом совершенно уверен и, несчастный, отчаявшийся, ожидал у ворот кремлевских того времени, когда невесты поедут из дворца, когда ему придется окончательно убедиться в своем горе.

Самые дикие, самые ужасные мысли мелькали в голове его. То он внезапно решался идти во дворец и силою вырвать оттуда Машу. Он мысленно уже выходил на бой со всеми боярами, которые ее выбрали. Потом его решимость пропадала, им овладевало отчаяние, и он помышлял даже о проруби, которую заметил, переходя Москву-реку.

Проходит два мучительных часа ожидания, и вот наконец колымаги начинают выезжать из Кремля. Андрей бросается чуть не под колеса, пристально всматривается — в одной из закутанных женских фигур узнает Машу. Может, он ошибся — только нет, ему ль не узнать ее, как бы она ни была закутана!

Как сумасшедший побежал он за колымагами на Покровку, где остановилась Маша с матерью, замужней сестрою и зятем.

Добежал он, едва переводя дыхание, едва вырвавшись из рук встречного стрельца, который было принял его за убежавшего вора.

У Барашевых, к великому своему изумлению и ужасу, он застал всех в смущении и печали.

«Машу вернули назад, не выбрали, царь ее не увидит — экое несчастье!» — повторялось на всякие лады домашними.

Андрей только с недоумением смотрел на родных Маши, которые вместо того, чтобы радоваться и веселиться, так повесили головы. Он начал обо всем расспрашивать, изумлялся слепоте бояр... «Видно, затмение нашло на них! Ну как же могли они предпочесть Маше кого бы то ни было!» Он не мог усидеть на месте от восторга и нетерпения увидеть свою красавицу.

Но красавица не выходила в горницу — она переодевалась. И Андрею приходилось беседовать с мужем Машиной сестры, которого он недолюбливал.

Да и вообще-то вся эта семья не приходилась ему по сердцу. Он всегда удивлялся, каким образом такая золотая девушка, как его Маша, могла иметь подобных родственников.

Еще в Касимове Андрей немало дурного наслышался о семье этой. Да вот хотя бы замужество старшей сестры Маши... Дело было на виду у всех и о нем в свое время много говорили в Касимове.

Дворянин Артемьев, человек зажиточный и уже не первой молодости, овдовел и задумал вторично жениться, тем более что от первой жены детей у него не было. Знал он, что у Барашева две дочери, из которых одна красива, а другая уродлива да вдобавок еще и с изрядной хромотою. Было это года четыре тому назад. Старшей Барашёвой, Софье, тогда восемнадцать лет исполнилось, а младшая была всего по пятнадцатому году, но вышла она из себя такая рослая да полная, что все семнадцать лет можно ей дать было.

Старик Барашев охотно принял сватовство Артемьева; сказал, что его дочь Софья красивее другой уродилась. Назначили, по обычаю, смотрины, а на смотринах и вывел он перед Артемьевым не Софью, а Машу. Жениху невеста сильно приглянулась. Ударили по рукам, потолковали как следует о приданом и обо всем прочем, составили запись, назначили день венчанья.

В церкви было довольно темно, невесту, окутанную фатою, ввели под руки две женщины-родственницы. Простодушный Артемьев не всматривался в лицо невесты — он ее и так хорошо разглядел во время смотрин. К тому же человек он был набожный, понимал важность

тайнства и усердно молился. Обвенчались благополучно, и только по возвращении домой, когда новобрачная сняла перед мужем фату, он увидел совсем незнакомое ему, некрасивое лицо.

Можно себе представить его ужас и бешенство. Он накинулся на старика Барашева, но тот спокойно отвечал ему, что ведь он сватался за его старшую дочь, Софью, и что Софья теперь с ним обвенчана и будет ему верной и послушной женою.

Затеял было Артемьев дело, но и воевода касимовский, и духовное начальство тянули сторону Барашева, Артемьев подумал-подумал — да вдруг и присмирел. Человек он был, как уже сказано, далеко не молодой, нрава мягкого, обиды долго не помнил. Надумал он, что с некрасивой женой оно, пожалуй, и лучше, спокойнее, да и к хозяйству она, как старшая, приучена больше — а ведь для хозяйства-то он, главным образом, и женился.

Взял он к себе некрасивую жену и зажил с нею мирно, только, конечно, для порядку изредка колотил и попрекал ее. Но она, несмотря на свою хромоту, была очень крепкого сложения, побои выносила легко и на попреки не обижалась. Поосмотревшись и изучив бурливый, но в то же время совершенно слабый характер мужа, Софья сама стала давать ему сдачи. Барашев скоро умер. Вдова его вместе с Машей переселилась к зятю, который уже не засматривался больше на красавицу Машу. Он оказался теперь совсем в руках жены и тещи, и они, как говорится, вили из него веревки.

Истории, подобные артемьевской, случались в то время очень часто и никого не удивляли. Всем казалось совершенно понятным и естественным, что родители употребляли все возможное для того, чтобы сначала выдать замуж старшую дочь, тем более, если она некрасива. Кому же приятно оставаться с залежавшимся или плохим товаром на руках. Впросак попадались обыкновенно люди, придерживающиеся стародавних, исконных понятий и обычаев, требовавших, чтобы жених не знал своей невесты, чтобы девушка до самого брака жила затворницей, не попадалась на глаза мужчинам. Только, конечно, большинство подобных историй не так благополучно оканчивалось, как артемьевская. Обманутые мужья судились и иногда выигрывали дело. Им разрешалось развестись с женою, выданной им обманом. Если же не находили они удовлетворения по суду, что случалось гораздо чаще, то справлялись собственной силою, силою

своих друзей и холопов — побоищем и разорением мстили отцу невесты.

Самую же плачевную роль, конечно, приходилось играть некрасивой жене.

Муж хорошо понимал, что она не виновата, что она не могла идти против родительской воли, да часто и не знала правды; но пожалеть несчастную жертву никому не приходило в голову. Муж, видя, что законными путями ему нельзя отделаться от жены, решался как можно скорее известить ее. И изводил побоями и всякими терзаниями, и считал себя при этом в своем праве...

Выдав старшую дочь обманом и взяв зятя в руки, старуха Барашева уже давно думала о том, как бы ей повыгоднее и получше пристроить младшую, красивую Машу. Она очень высоко ценила красоту ее, которая, конечно, еще больше обращала на себя внимание от постоянного сравнения с безобразием старшей сестры.

— Машу нужно хорошенько пристроить, — и про себя думала, и приятельницам своим поговаривала старуха. — Ей не такой жених под пару, как Артемьев... Ну, а где ты тут у нас в Касимове жениха настоящего достанешь?! Коли человек богатый да родовитый, так живет в своем поместье, не то в Москве, а здесь только подьячие!

Поэтому старуха и обрадовалась впечатлению, произведенному Машею на Андрея Всеволодского. Она тотчас же доподлинно о нем узнала — и решила, что он жених подходящий. Не из богатых — это точно, да только люди поговаривают, что у отца все же немалая денюга накоплена. Рода старого, дворянского, парень молодой, видный. Сам собою не Бог весть что, да на безрыбье и рак рыба. Кого еще ждать-то, ведь годы проходят — Маше уже восемнадцать лет исполнилось. Только как бы не проглядеть его, не упустить...

И Барашева всячески обласкала Андрея. Теперь скрывать невесту было нечего, напротив, надо было всячески забрать в руки, чтобы не отступился. Поэтому молодым людям была разрешена некоторая свобода. Они могли видаться и говорить друг с другом, конечно, при свидетелях. Но в таких случаях никакой глаз не усмотрит, Андрей успел уже перешепнуться с Машей, успел сорвать поцелуй с ее губ румяных.

А тут вдруг бояре московские... клич царский по невестам, поездка на Москву. Старуха Барашева была баба хитрая,



рассудительная. Сначала не очень-то верила в такое необычайное счастье и попридерживала Андрея.

«Конечно, — думалось ей, — в Москве, может быть, коли даже и не царь — это-то вряд ли — так другие хорошие женихи найдутся. Ну так там будет видно. А и то: вон у Всеволодских девка-то какая, Афимья, кто ее знает — может, ей судьба выйдет, так Андрюшка наш в ту пору важным женихом сделается. Ничего, пускай себе приходит, места не отсидит».

Однако, хотя и благоразумно в первое время рассуждала Барашева, все же она невольно питала надежду: а вдруг и выпадет счастье на долю Маше, будет она царицей, не хуже других ведь!

И надежда эта была такого рода, что раз пришла она, так уж и не уходила; а напротив, по мере приближения к роковому дню избрания увеличивалась все больше и больше.

Приехав в Москву, Барашева тотчас же принялась совершать походы по всем церквам. Служила молебны всем московским угодникам, горячо молилась перед мощами, прося у Бога и чудотворцев счастья для своей Маши.

И кончилось все это тем, что вдруг, накануне смотра боярского, она окончательно позабыла свою прежнюю рассудительность, уверовала всем сердцем в то, что Маша будет избрана невестой. Она только никому, ни зятю, ни дочерям не поверяла своих мыслей. Она сама про себя знала: не могут же даром пройти все молебны, все свечи, поставленные ею перед мощами и чудотворными иконами! Она отпускала во дворец дочь свою и внутри себя торжествовала.

А тут вот дочь вернулась ни с чем: не только что царь не избрал ее, но даже и бояре забраковали. Совсем взбеленилась старуха, чуть не отреклась от святых угодников, которые, несмотря на все свечи и молебны, так жестоко поступили с нею.

Но все же, в то время как прибежал запыхавшийся Андрей Всеволодский, она уже справилась с собою и неподвижно сидела в углу, хмурая и неприветная.

«Кого же выберут? Кто эта счастливица-красавица? Наверно хуже моей дочки — такую не найдешь другую... Да ну их совсем!... Авось хоть подарки царь пришлет хорошие. А то легко ль сказать: из Касимова сюда притащились, дела все бросили, исхарчились совсем.

Ну а Машутке все же таки жениха надо хорошего. Как там ни на есть: царская невеста! — дурную бы ведь не поволокли в Москву...»

— А сестрица твоя, батюшка Андрей Рафыч, тоже домой ни с чем вернулась? У Машуты-то я спросить забыла, — обратилась старуха к Всеволодскому.

— Кажись, нет, — ответил он. — Марья Дмитриевна из последних была, я во все колымаги заглядывал, сестры не видал.

«Неужто Всеволодским такое счастье? — со злобой и завистью подумала Барашева. — Так чтобы хоть Андрюшка-то не отстал, хоть за него уцепиться...»

— Что же мудреного, — сдерживая свои чувства, ласковым голосом заговорила она. — Сестрица твоя ведь, уж известно — писаная красавица, не чета моей дочурке. Может, царицей будет, тогда и ты в гору пойдешь, так смотри, не забывай нас, бедных, попомни, голубчик, нашу ласку. Так-то, сударь ты мой, Андрей Рафыч! А мы тебя от всего сердца полюбили, как родного... Право слово, иной раз гляжу я на тебя и таково тягостно мне станет — сыночка-то мне не послал Господь... вот такого бы, как ты... то-то сердце бы мое радовалось...

Она встала, вышла из горницы и кликнула Машу. Та, уже переодетая в свое обыкновенное платье, вошла, поклонилась Андрею и молча села в уголочек.

Андрей замер от счастья при входе возлюбленной; только попристальнее взглянувши на нее, неожиданно смутился. В ее лице он не прочел никакой радости, напротив: красивое, румяное лицо Маши показалось ему очень побледневшим, веки глаз покраснели.

Она, очевидно, плакала.

«Боже! о чем ей теперь плакать?»

Он подсел к ней.

— Что это ты пригорюнилась, Марья Митревна?

Маша взглянула на него, и на глазах ее помимо воли блеснули слезы. Совсем упало сердце у Андрея.

— Маша, что же это? Неужто обманула меня, неужто не любишь? — тихо шептал он.

— Нет, я ничего, что же? — ответила она. — А срамно больно... Чем же я хуже других?...

Ее голос прервался, и из красивых глаз брызнули слезы, которых она уже не могла сдерживать.

— Осрамили совсем... забраковали, словно уroda какого!...

Артемьев, бывший в горнице, вышел. Андрей остался один с Машей. Он быстро кинулся к ней, схватил ее за руки.

— Маша, голубка моя, не терзай мне сердце! Или впрямь не любишь, так скажи; лучше убей разом... Сам Бог пожалел нас, не знаю, как и благодарить Его. Отвел он глаза боярам, не разглядели они тебя. Разглядели бы, так не выпустили бы. Коли была у меня надежда, так единственно на то, что бояре своих сродственников выбирать станут, так оно и сделалось. А уж кабы на глаза царю ты попалась, так не миновать нам гибели, он бы на других и смотреть не захотел.

Но при этих словах Андрея Маша заплакала еще горше прежнего.

— Бояре своих сродственников... — захлебываясь слезами шептала она, — а ведь вот же сестру твою выбрали, за красоту выбрали!

Она зарыдала и убежала из горницы.

Андрей остался один; долго сидел он повесив голову. Счастья, которое он еще за полчаса до этого испытывал, теперь как не бывало.

Вошла старуха Барашева, вошла Софья Артемьева; они говорили ему что-то. Он отвечал им, сам не сознавая того, что говорит.

Как полоумный вышел он от них и побрел по улицам московским, ничего и никого вокруг себя не видя. Маша не отказала ему. Она плачет только от обиды, что не оценили, не признали красоту ее, о которой сам же он ей прожужжал все уши. Она ничем не виновата, но счастья все же нету! Тоска в сердце Андрея, тошно ему глядеть на свет Божий.

### **XIII**

Алексей Михайлович в волнении ходил скорыми шагами по своей опочивальне. В большом покойном кресле, у царской кровати, сидел Морозов и зорко следил за всеми движениями своего воспитанника. Он хорошо видел его волнение и думал, что понимает состояние его духа.

Молодой царь был еще в одежде музыканта, в которой он пробрался к сестрам, чтобы, оставаясь неузнанным, хорошенько

разглядеть красавиц, из которых на следующее утро он должен был выбрать себе невесту.

Борис Иванович, сопровождавший царя и в покои царевен, имел при этом, конечно, цель уловить впечатление, произведенное на него какою-либо из приведенных девушек. Однако хитрый боярин остался очень недоволен: как ни следил он, ничего не выследил. Царь, как нарочно, постоянно становился таким образом в дверях царевниного покоя, у которого играли музыканты, что Морозов никак не мог разглядеть лица его; он заметил только его волнение, которое и теперь продолжается. Конечно, эти девушки, из которых каждая могла сделаться его подругой, должны были особенно поразить его. Ведь до сих пор он был совсем ребенком, до сих пор он ни на одну женщину не глядел с такими мыслями. «Но которая из них ему больше понравилась? И успела ли которая-нибудь ему больше понравиться, сделал ли он выбор? Ведь все хороши... А та-то, та... касимовская... ух, как хороша она... проклятый Пушкин, знал, как подставить ногу!...»

«Ну да не вытерпит царь — все скажет, что теперь на душе у него, ему ли от меня таиться!...»

Морозов все пристальнее и внимательнее вглядывался в юношу, а тот, как будто совсем забывшись, бессознательно и порывисто ходил из угла в угол по своей опочивальне. На лице его было необычное и странное выражение, в котором мелькали то восторг какой-то, то грусть непонятная.

— Что же, государь, время позднее, — наконец сказал Морозов. — Чай, и отдохнуть пора. А на завтра пораньше подняться да, Богу помолившись, принарядиться, молодцом выйти к невестам-красавицам...

Царь вздрогнул, услышав голос Морозова, и остановился. Его мысли, грезы, очевидно, были далеко, он только что пришел в себя.

— Да, пора, — проговорил он и начал раздеваться с помощью подошедшего к нему Морозова.

— А что же ты ничего не скажешь мне, государь? Али недоволен невестами, недоволен нашим выбором, али мы тебе не угодили?

Царь опустил глаза и не знал, что отвечать на слова эти. Он не мог, не хотел высказывать того, что было теперь у него на душе. Ему хотелось одного: поскорее остаться наедине со своими мыслями,

грезами и теми новыми чувствами, которые теперь наполняли его сердце. Может, в первый раз в жизни присутствие Морозова казалось ему надоедливym, несносным.

— Зачем ты так говоришь, Иваныч? — шепнул он. — Я никогда сроду не видывал таких красавиц, каких вы мне выбрали!...

— Но какая же, какая из них тебе больше по нраву?

Царь молчал.

— Ну что же, — продолжал Морозов, — али передо мной, старым дядькой, скрываться хочешь? Али уж, видно, прошло то золотое времечко, когда перед отходом ко сну все свои думки мне сказывал? Поведай, что у тебя на душе, поведай, золотой государь мой! У всех у нас, верных слуг твоих, сердце дрожит; не заснем мы спокойно, пока не сведаем о твоём выборе...

Он с доброй и ласковой улыбкой заглядывал в глаза царя и вдруг, словно не в силах будучи удержаться, опустился перед ним на колени и своими сильными, твердыми руками обвил стан его.

— Дитятко мое ненаглядное, — говорил он, — соколик ты мой! Да взгляни же ласково на старого дядьку!... Скоро уж не осмелюсь я так обнять тебя, не осмелюсь так говорить с тобой... А теперь, в последний хоть разок-то, позволь назвать тебя дитяткой... Солнышко мое красное, обними меня, как бывало, скажи, что по-прежнему любишь твоего Иваныча, открой мне свою душу. Заполонила, что ль, тебя краса девичья? Не стыдись, признайся... в том нет худого, а вот было бы ходу, если бы ни одна не пришлась тебе по нраву... Кто ж такая? О ком мне нынче помолиться, кого почитать мне, верному твоему холопу, прикажешь?...

Ласки Морозова, его задушевный, дрожавший от волнения голос, мягкий блеск его глаз, словно даже затуманившихся слезами, подействовали на Алексея Михайловича. Он склонился к боярину и крепко поцеловал его.

— Что это ты говоришь такое, Иваныч? Я люблю тебя по-прежнему и никогда не изменюсь к тебе. Разве я забыл, что мне наказывал покойный батюшка?... Ты мне теперь вместо него, я тебя как отца почитаю... Только, право, нечего сказать тебе, сам я как в тумане, таково смутно на сердце... и словно устал я... уж и не знаю, что такое!... Оставь меня, Иваныч, дай заснуть, сам ведь сказывал — утром раньше встать...

Но боярин не мог так оставить своего воспитанника. Для него теперь решался вопрос жизни и смерти. Ему во что бы то ни стало нужно теперь все выведать и подготовить царя к завтрашнему выбору. Видя, что обиняками ничего нельзя добиться, он решился говорить прямо.

— Ну, что же ты скажешь, государь, про Марью Ильинишну Милославскую, какова девица? Или мы с отцом Стефаном неправду тебе сказывали, не хороша, что ли, она?

— Правду сказывали, — прошептал Алексей Михайлович, — совсем красавица, глядит так умильно, скромно... И самому мне, как взглянул я на нее, ведомо стало, что, должно быть, она девица добрая и кроткая.

Морозов так весь и впился в лицо царя.

— Да уж поистине лучше этой девицы и найти невозможно! — воскликнул он. — Значит, угадало мое сердце, значит, она тебе по нраву пришлась. Ах, если бы так, мне нечего было бы и тревожиться за тебя. Я бы знал, что ты сделал достойный выбор, что тебя ждет в доме твоём царском истинное счастье. Отгадал я, что ли? Скажи, золотой мой, скажи батюшка!...

Но Алексей Михайлович ничего не мог сказать ему, да вряд ли он и слышал слова его. Милославская вышла из его памяти, не о ней он думал.

«Зачем он меня мучает? — мелькало в голове его. — Не понять ему меня... Ох, ушел бы поскорее!...»

Он был уже раздет и вдруг склонился на подушки, прикрылся одеялом и махнул рукой боярину.

— Завтра, Борис Иваныч, оставь меня, спать хочется!...

Делать было нечего, Морозов подавил свою досаду и все же несколько успокоился. Он вышел из опочивальни и позвал спальника. Возвращаясь к себе, он думал:

«Авось так, авось все будет по-нашему, видно, он все же хорошо заметил Милославскую, коли так говорит о ней! А коли прямо не сказал, что выберет ее, так это от смущения. Молод больно, скромен, сам как девица-затворница, краснеет от каждого слова... стыдно ему признаться. О Господи! Да чего мне тревожиться. Не может быть иначе. Разве мы с попом мало его вразумляли, разве он когда был нам непослушен».

Между тем царь молодой и не думал спать. Лежал он с открытыми глазами, и блаженная улыбка мелькала на губах его.

«Сказать! — думалось ему. — Да разве могу я сказать? Не скажу я никому в мире... И что они пристали ко мне с Милославской! Зачем, зачем мне ее? Не надо!... Красива она, добра, скромна, доброй женой будет... они ее знают хорошо, и, конечно, она такая. Но та, разве... она не добра... разве не может доброй женой быть?... И разве на всем свете найдется другая краше ее, добрее, скромнее?! Боже мой, что это со мною?!»

Он закрыл глаза и снова во всех мельчайших подробностях предстало перед ним все, что было в сестрином тереме.

Вошел он туда нарочно вместе с музыкантами, чтобы его не узнали. Ему было неловко, стыдно; ему казалось, что все глядят на него и внутренне посмеиваются, хотя все окружавшие, по наказу Морозова, старались не обращать на него ни малейшего внимания.

Он подошел к низенькой двери ярко освещенного покоя, взглянул — разом бросились в глаза десятки молодых лиц женских. Лица все знакомые, но среди них шесть новых, никогда доселе еще им не виданных.

— Смотри, рядом с царевной Татьяной, в алом атласе, то Марья Ильинишна Милославская, — шепнул ему Морозов.

Он взглянул и увидел красавицу-девушку с роскошными формами, с нежным, прекрасным лицом и большими кроткими глазами.

«Хороша, — подумал он, — лучше всех сестер, лучше сестриных боярышень — хороша!»

Но не забилося в нем сердце при виде этой красавицы. Он спешил глазами дальше... Что это? В самом дальнем углу покоя еще одна незнакомая женская фигура. Ее голова опущена, виден только убор, низанный жемчугом. Но вдруг, словно перед бедой какой или радостью неожиданной-негаданной, забилося сердце Алексея Михайловича.

«Да подыми же, подыми голову!» — мысленно повторял он в непонятном страхе и непонятном блаженстве.

И она подняла голову, и встретились глаза их.

Ничего и никого с этого мгновения не видел он. Глядел — не мог наглядеться. И теперь он все понял.

Вот она, вот кого так долго, во все эти тревожные дни и ночи, с такой истомой и тоскою ждал он... вот та, что грезилась ему днем и ночью... вот кто являлся ему всюду и смущал и томил его. Она... она мешала ему жить, как жил он прежде. Без нее тосковал он среди забав своих любимых. Без нее тошно было глядеть ему на свет Божий. Она, ее ожидание, ее чудный образ мешал ему молиться!... Да, это она, он узнал ее!...

И он все глядел — все милее, все роднее она ему становилась. Ему хотелось плакать, хотелось смеяться. Еще миг — и он выбежал бы из среды музыкантов прямо к ней и бросился бы перед ней на колени и, плача и смеясь, целовал бы ее руки и ноги.

Но он удержался, он стоял неподвижно и только смотрел на нее. А потом, вернувшись в свою опочивальню, как святыню, как клад заветный, держал при себе все это новое, все это волшебное, что на него нахлынуло; он не сказал, не проговорился ни о чем своему пестуну. И теперь еще бессознательно повторял, стараясь рукою удержать биение своего сердца, которое так и стучало, так и стучало в сладкой истоме, то и дело повторял: «сказать! никогда никому не скажу!»

Но вдруг, среди самых счастливых и волшебных мечтаний, он приподнялся с подушки, на лице его мгновенно выразился ужас.

«А если она не полюбит меня?! Если я не буду никогда мил ей?! Что же тогда — смерть? Но нет, этого быть не может. Как же ей не полюбить меня, когда я так люблю ее, когда так чудно хороша она!...»

Он успокоился снова. Он вспомнил снова взгляд ее. Он не ошибся, она взглянула на него с той же любовью, с той же негой и лаской, с какими и он смотрел на нее. Она его заметила, он был уверен в этом.

Завтра, завтра он ее опять увидит... и потом... Боже! нет, ни за что никому не отдаст он ее!

## XIV

Бывало, весною, после долгих дней завернувшего ненастья, вдруг расступятся во все стороны гонимые ветром тучи, ярко загорится солнце, высушит землю, и тепло и свет ворвутся в тихую, уединенную горенку Фимы. И вместе с этим солнцем ворвется в душу Фимы



нежданная радость, восторг непонятный. И спешит она из домика на крыльцо, а оттуда в рощу. Бежит, как зверек резвый, вся сияя беззаветным счастьем. Не видит она, что далеко уж отбежала от дома; не видит, что кругом нее древесная чаща. И вдруг остановится она, очнется, глядит с изумлением и трепетом. Давно ли была она здесь, с трудом пробираясь по сухой прошлогодней траве и черным слежавшимся листьям, между белыми яркими пятнами тающего снега. Далеко тогда было видно кругом. Из-за черных голых деревьев видна была отсюда крыша усадьбы, а с другой стороны сельские избы. А теперь вот ничего уж не видно! заслонили и крышу родного дома, и сельские избы — нежные, бледные, зеленые ветки. Под ногами уж не шуршат сухие листья, а сочная трава поднимается, и горят на солнце белые подснежники, желтые «крестики». Иные деревья еще без листьев, но уже налились их темные ветки, уж прорываются бледные почки. А над головой, вверху, хлопотливо перелетая с места, на место, голоса веселые птицы.

Фима стоит как очарованная, и не смеет шелохнуться, боясь помять бархатистую травку, первый цветок нежный. Солнце так и горит, так и искрится, и почти что видно, почти слышно, как от лучей его растут и распускаются почки.

Вот с темно-коричневых назревших веток тополей понесло теплым смолистым запахом. Фима всей грудью жадно впитывает в себя этот запах, и он туманит ей голову и сердце. Что такое творится с нею — она не знает, но бесконечно ее счастье, и жизнь вся кажется такой волшебной, радостной.

И долго— долго стоит она в блаженном забытии, боится только одного —чтобы кто-нибудь не помешал ей, не вывел бы ее из этой сладкой дремоты...

Бывало, в конце лета, когда уже желтеет и клонится под тяжестью крупных зерен рожь высокая, а между стеблями ее выглядывают тысячи васильков, Фима в знойный полдень после долгого речного купанья бродит по узкой меже. Собирает она васильки и мак, устанет и ляжет, склонив к земле и примяв высокие колосья. Вокруг нее тихо, только шуршат ржаные усики, и со всех сторон стрекочут кузнечики. Высоко в темно-голубом небе плывут одно за другим облака. Прозрачный душистый зной пышет в лицо, и ей чудится, что каждый колос, каждая былинка, вся земля под нею знойно дышит. Мало-

помалу что-то начинает ее убаюкивать, разбредутся мысли, и опять забытье блаженное на нее находит, и опять непонятная радость с тихой будто тоской, и опять она боится очнуться...

Бывало, темною зимнею ночью, среди сна спокойного, вдруг мелькнет какая-то неясная, бесформенная греза и принесет с собою это обаяние весны и лета, и шепчет что-то мучительно сладкое, несказанное. Проснется Фима, вся полна тревоги и блаженства, но нет ничего, напрасно зовет она снова мимолетную, мгновенную грезу — она не возвращается — и долго тоскует по ней Фима... Старая касимовская роща, желтая шумящая нива, ветхий полог ее девической постели, все это теперь так далеко... Кругом неведомые места, незнакомые люди, зима морозная, а ей чудится... весна, дни все ей чудятся ясные, песни... Весь зной летнего солнца, все грезы, все былое и сладкое. Вдруг нежданно вернулось — и принесло с собою столько блаженства, столько сладкой грусти и трепета, что никак не может очнуться Фима.

Давно покинула она терем царевен, домой вернулась, а все то же забытье, все тот же туман, та же волшебная сказка ее окружают. Безучастно и спокойно встречает она родных, едва слышит, что вокруг нее говорится, бессознательно отвечает на задаваемые ей вопросы. А расспрашивают ее со всех сторон, волнуются...

Тетка Куприянова таинственным и многозначительным шепотом объявляет, что она не раз слыхала, как в таких же случаях, когда царь выбирает невесту, он невидимкою высматривает привозимых во дворец девушек. Наверно и теперь царь видел Фиму, хоть и говорит она, что его не было в тереме.

Настасья Филипповна все крестится и шепчет молитву. Ей чего-то страшно и чувствует она всем сердцем, что готово совершиться для них великое событие. Раф Родионович молча ходит по горнице. Трудно решить, что у него в мыслях и в сердце, только вид его такой важный, торжественный. Одна Пафнутьевна спокойна и радостна; опять она хитро ухмыляется в свой старый дрожащий кулак и сама себе бормочет:

— Да чего уж тут, дело видимое — быть Фимочке царицей, давно я про то ведаю!...

— Да что же мы ей про Митю-то не скажем?! — вдруг, выходя из своего раздумья, проговорил Раф Родионович. — Фима, слышь ты,

выпустили ведь Митю-то; забегал сюда он с час тому будет времени, хотел все тебя дожидаться, да вот они его отослали... Оно точно, время позднее, а завтра спозаранку здесь он быть обещался...

— Митя! — проговорила Фима — и замолчала.

И все на нее изумленно взглянули, такое равнодушие слышалось в ее голосе.

Она не думала о Мите. Она не понимала даже, что это говорят о друге ее детства, о ее женихе, которому она обещалась еще недавно отдать всю жизнь свою. Как в чадую прошла она в опочивальню, разделась. Станный, внезапный сон, как после какой-нибудь особенной усталости, охватил ее.

И она заснула. На время расступились и отошли от нее все грезы, все волшебство дивной сказки, что въявь совершалась теперь над нею...

## XV

В большой изукрашенной палате государевой собралось немало бояр сановитых, которые получили приглашение присутствовать при долженствовавшем совершиться важном событии. Большинство бояр этих были очень не в духе. Их мечты и планы не осуществились. Не удалось им побороть Морозова, не выбраны их дочери и сродницы. Шепчутся бояре друг с другом, зорко озираясь во все стороны, чтобы не быть подслушанными. Бранят они всячески Бориса Ивановича и шлют ему такие пожелания, что если бы хоть малая доля из них могла сбыться, то пропал бы царский пестун и советник лютою и позорною смертью.

Но пока безвредна злоба боярская для Бориса Ивановича, только на сердце у него все же, как будто кошки скребут. Спозаранку он во дворце, не отходит от государя. И духовника притащил с собою. Твердят они оба Алексею Михайловичу все ту же сказку про жену добрую, про важность царского выбора, про красоту телесную и душевную Марьи Ильинишны Милославской.

А царь все отмалчивается; он их не слушает, он весь погружен в себя, никак не может справиться со своим волнением.

Страшный день, страшный час пришел. Прямо с постели почти бегом спешит он в Крестовую, бросается на колени перед иконостасом

и жарко молится, со слезами и рыданиями. Давно он так не молился, всю душу свою детскую выливает он в эту молитву. А о чем молится, чего просит у Бога, за что благодарит Его, про то и сам не знает, только горяча и долга его молитва.

И, ободренный ею, он поднимается с лицом просветленным и ясным, вытирает свои слезы и спрашивает: все ли съехались, тут ли невесты?...

Невесты давно уже в палате царской, едва на ногах держатся от страха и ожидания. Бессонную ночь провели они, тоже молились немало и теперь стоят будто к смерти приговоренные, ожидая выхода государя.

Одна только Фима, как истукан какой, ничего не страшится, ничего не боится. После сна глубокого очнулась она освеженная. Мысли ее прояснились, туман расплылся, и горько-горько она заплакала.

— Боже мой! — обливаясь слезами, шептала она. — Что же мне теперь делать? Видно, враг лютый; видно, сам дьявол обошел меня. Царь выбирать нас будет, может, меня выберет... а я что же это?... ведь жених у меня, Митя, а мне его и не жалко, хоть пропадай он... Со мною, во мне навеки остаюсь те глаза, что вчера на меня глядели. Чьи они? Не сам ли то дьявол, принявший лик ангела? Ну что коли и взаправду царь выберет?! Боже! да не могу я, не могу!... я убьюсь, я что ни на есть поделаю с собою...

И в отчаянии она ломала руки, рыдала как безумная. Ее обступили со всех сторон: мать, Пафнутьевна, тетка.

— Фима, что ты, родная?! Опомнись, голубка, пора ведь и одеваться, скоро во дворец ехать!...

Но она еще пуще заливалась слезами.

— Не могу, не могу, не стану одеваться, не поеду, хоть убейте на месте!...

Напрасно старались они ее уговорить, успокоить. Напрасно, сами в отчаянии, твердили ей, что нельзя сегодня так плакать, что глаза от слез покраснеют, лицо опухнет... Ничего не помогало.

Больше часу металась и рыдала Фима. Наконец, совсем измученную, кой-как успели нарядить ее и со страхом и трепетом во дворец отпустили.

И вот она опять с избранными царскими невестами, окруженная боярами, среди роскоши царской. Ее порыв прошел. Снова туман прежний наплывает на нее, но в тумане этом нет уже прежнего блаженства, только тоска лютая сосет ее сердце.

Все пропало, вся жизнь ее кончена, не взглянут на нее те глаза милые, которые взяли и унесли с собою ее душу. Она стоит безучастная ко всему и ко всем. Не глядит на подруг-красавиц, не замечает их волнения, не замечает со всех сторон обращенных на нее взоров.

А между тем все собравшиеся в палате глядят на нее и дивятся красоте ее неслыханной. Напрасно домашние боялись, что глаза покраснеют и лицо опухнет!

Ну что же, вот и видно, что глаза заплаканы, видно, что неладное что-то творится на душе у девушки, а все-таки и с заплаканными глазами, с помертвевшим лицом она еще прекраснее, и нет сил от нее оторваться.

— Государь идет! Государь идет! — проносится вдруг по палате.

Невесты вздрагивают, как листочки осенние, а Фима и не слышит ничего. Машинально поднимает она глаза к дверям. И видит: выходят бояре важные, а между ними, в парчовой златотканой одежде, в дорогой, сверкающей камнями шапке сам государь, видно. Но лица его разглядеть она не может: он отвернулся. За ним вчерашний страшный боярин с черной бородой.

Тоска сильнее на душе у Фимы, и к тоске этой теперь примешивается злоба. Не может она видеть чернобородого боярина!

Это он, колдун проклятый, со вчерашнего утра так заморозил ее, он ее сглазил. Опускает она глаза свои в землю и никого уж не видит.

А мысли, одна за другою, вихрем мчатся в голове ее.

«Да нет, — думает она, — не ко мне подойдет царь, не меня выберет; меня, может, и не заметит совсем... Ну а коли подойдет ко мне, коли выберет?! Брошусь я ему в ноги и скажу ему: не бери меня, царь-батюшка, не буду любить тебя. Убью себя, коли силой возьмешь. После речей таких неужто не отойдет он?... а там, после, пусть будет что будет, заодно ведь уж пропадать-то...»

Алексей Михайлович остановился посреди палаты, ответил на всеобщий поклон.

— Вот она, вот Марья Ильинишна, — шепнул ему на ухо Морозов, подавая на серебряном блюде кольцо и ширинку.

Молодой царь дрожащей рукой взял кольцо, взял ширинку и несколько мгновений стоял не трогаясь с места. Вдруг он поднял глаза, щеки его вспыхнули стыдливым румянцем, и он быстро сделал несколько шагов по направлению к девушкам-невестам.

У Морозова так забилося сердце, что он даже за бок схватился. Как коршун, следит он за каждым движением своего воспитанника...

Что же это? что же царь не глядит на Милославскую, не глядит и на сестру ее, он глядит, не отрываясь, на другую...

Побледнел, похолодел весь Морозов — сразу все понял он. Закипело злобой и болью его сердце.

«Увести его! увести нельзя... но ведь нельзя же допускать... Ведь это гибель!» — мелькнуло в голове его.

Всесильный боярин опустил руки и стоял немой и пораженный.

А царь между тем остановился перед Фимой. Она была все так же неподвижна, все так же глядела в землю. Прошло несколько мгновений. Царь хотел говорить — не мог, только смотрел на красавицу, только любовался ею. Наконец он пересилил свое волнение. Его губы шевельнулись, и, подавая Фиме кольцо и ширинку, он шепнул ей:

— Тебя я выбираю, будь моею женою, будь царицей!...

Притихнувшая палата мгновенно будто вся дрогнула, все задвигались.

Фима отшатнулась, взглянула на царя, узнала его... Все лицо ее преобразилось. С выражением бесконечного счастья кинулась она было вперед, но у нее подкашивались ноги, и, если бы царь не поддержал ее, она наверно бы упала. Царь взял ее за руку. Все находившиеся в палате бросились поздравлять их. Но оба они ничего не видели, ничего не слышали. Они чувствовали только милое прикосновение и, пораженные своим неожиданным, великим счастьем, глядели друг на друга.

Нетвердою поступью подошел Морозов к жениху и невесте, поклонился им низким поклоном, поздравил с радостью.

Вздрыгнула Фима и чуть не вскрикнула, когда взглянула на бледное, помертвевшее лицо его. Страшным, страшным казался ей этот колдун чернобородый.

И, действительно, он был страшен. Он чувствовал на себе глаза врагов и завистников, чувствовал все их злорадство. Ненависть и злоба душили его.

«Так не бывать же этому! — вдруг мысленно решил он. — Не бывать этому... Невеста царская не будет царицей!...»

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Зимняя вьюга стучалась и жалобно выла в маленькие окна, изнутри плотно прикрытые шелковыми стегаными подушками. В углу небольшого покоя, у богатого киота, теплилась лампада. Посреди стоял тяжелый дубовый резной стол; за столом, почти у самой стены, обитой алым сукном и увешанной всяким оружием, виднелась широкая лавка, покрытая пушистым персидским ковром. На столе горела толстая восковая свеча в серебряном шандале немецкой работы. Тут же, рядом со свечой, стоял вычурный жбан с романеей и золоченая стопка. На лавке, примяв парчовые подушки, полулежал Борис Иванович Морозов. Слабый двойной свет свечи и лампы озарял его бледное лицо, еще более выделяя его мрачную красоту, которая произвела такое страшное впечатление на Фиму. Густые брови сдвинуты, на высоком лбу две-три редкие морщины, глаза закрыты. Но не спит боярин. Он время от времени медленно протягивает руку к столу, наливает стопку вина и залпом ее выпивает.

Все тихо в новом богатом доме вдовца боярина — только и слышатся заунывные взвизги вьюги.

«Хотя бы забыться!» — думается Морозову. Но даже и крепкая заморская романея в этот долгий, мучительный вечер не приносит обычного забвения. Темно и страшно на душе у боярина. Хмурый вернулся он из дворца к себе, строго-настроено приказал холопам никого не впускать, и весь вечер думает свои мучительные, черные думы. Одурачили его, вконец одурачили! И так все это вышло неожиданно-негаданно, словно бес подшутил — совсем глаза отвел ему. Касимовская бедная дворяночка посмеялась над ним, все его заветные планы разрушила, всю его силу в ничто обратила... Она царем выбрана, завтра царевной ее объявят; новые люди войдут в силу, а с ними вместе и их благодетель Пушкин... «Предатель Пушкин!» — почти вслух произнес боярин, и еще крепче сдвинулись его брови, и еще сумрачнее стало лицо его. — «Предатель, змея подколотная! И где это были глаза мои? Кто отнял у меня разум? Зачем я допустил его к



государю, ведь видно было... а я, я на одного себя понадеялся, стыдно было испугаться этого червя негодного, а раздавить его вовремя не пришло в голову... И вот теперь он уж и не червь — с ним ладят все Стрешневы... поднялись враги старые!...» Совсем было извел всех врагов этих Борис Иванович, а в конце концов они все же его и подсидели! Что теперь делать? За что уцепиться? И ведь не на кого плакаться, не на кого вину свалить — сам во всем виноват, сам себе вырыл яму, погибель приготовил... Дело-то ясно — все это, конечно, они заранее подстроили у него под носом, а он и не догадался... Царь весь день как в тумане, совсем заморозила его красота невесты, дело сделано...

— Да нет же, нет! — уже совсем громко крикнул Морозов, вскакивая с лавки и снова опоражнивая стопку. — Невеста не жена еще, царевна не царица! Ведь не сейчас же свадьба, времени-то остается довольно, а нужный и надежный человек найдется.

И словно как в сказке, словно по щучьему велению, нужный и надежный человек уже был тут. Этот человек не первый день под разными личинами бродил вокруг Кремля, сходил с дворцового челядью, высматривал да выслушивал и доподлинно узнал все, что ему знать хотелось... Тихий, робкий стук раздался у запертой двери.

— Кто тут? — крикнул Морозов. — Ведь я сказал не впускать никого, чего там еще?...

Стук повторился. Боярин, весь дрожа от гнева, отпер дверь и увидел своего старого ключника.

— Чего тебе? Чего лезешь? Шутить, что ли, со мною задумал, собака?!

Он уже готов был ударить верного и испытанного раба своего, и раб уже спокойно ждал удара.

— Бей, боярин, — проговорил ключник, — только воля твоя, я тут ничего не мог поделаться!... Вот какой-то человек неведомый лезет, не дает покоя, говорит, что ты сам приказывал прийти ему, что его дожидаться... Коли лжет он, мы его в минуту скрутим... видно, он о двух головах...

Морозов остановился.

— Это еще что такое? Никому ничего я не приказывал. Какой еще человек? Веди его — что за притча?!

Через минуту на пороге слабо освещенной комнаты показалась рослая, плотная фигура. Морозов взглянул — человек ему неведомый, только все же что-то как будто знакомое есть в этом толстом красном лице. Какое-то далекое и неясное воспоминание промелькнуло перед боярином.

— Кто ты? Чего тебе от меня надо? — спросил он.

Неизвестный человек быстро затворил за собою двери и упал Морозову в ноги.

— Не гневись, великий боярин, выслушай... Кто я, тебе и знать нечего, не во мне дело. А коли вспомнишь давнишнее времечко, годы свои молодые, Настю из слободы стрелецкой, так и меня вспомнишь...

Боярин отступил, пристально взгляделся в человека, все еще стоявшего перед ним на коленях.

— Яшка! так это ты?! — проговорил он, и что-то дрогнуло в его голосе.

Он действительно вспомнил свои молодые годы, вспомнил Настю из слободы стрелецкой, Настю — красавицу и скромницу, сиротку, жившую у одного стрельца-пятидесятника. Вспомнил он, как за несколько рублевиков да за шубу с плеча боярского выкрал ему эту Настасью холоп Яшка, и как он же потом ее и спровадил неведомо куда, когда молодому боярину прискучила красота ее, ее неосушимые слезы. Опять мрачно насупились густые брови боярина — неприятное то было воспоминание.

— Чего же тебе нужно, холоп? — сказал он. — Служил ты мне, я платил тебе за твою службу — ну и все тут. А ты теперь, после стольких-то лет лезешь ко мне, ложью слуг моих одурачиваешь. Вон! не то, гляди, шкурой поплатишься за свою дерзость неслыханную! Я до озорства не охотник...

Но холоп Яшка не смутился от грозных речей боярина. Он продолжал стоять неподвижно на коленях.

— Новую службу могу сослужить тебе, боярин, — твердым и решительным голосом проговорил он, — и немалая та, видно, служба, коли я всякой неправдой дошел до тебя — выслушай только...

Морозов на мгновение остановился. Холоп поднялся на ноги и, прямо глядя в глаза всесильному боярину, выговорил:

— Ноне государь Алексей Михайлович выбрал себе в невесты девицу Ефимью Всеволодскую. Она из Касимова — и я из Касимова.

Давно знаю отца ее, он враг мне лютей... и даже теперь вот, по его наговорам, великий государь приказал отыскать меня. Казни я жду себе — так вели же схватить меня, боярин, бить батогами нещадно и казнить лютою смертью.

Но Морозов стоял неподвижно, он сразу все сообразил.

Нужный человек, о котором он думал несколько минут тому назад, нашелся. Сама судьба посылает ему этого помощника, этого врага старика Всеволодского, холопа Яшку, смелость которого ему давно и хорошо известна. Яшка хитер, ловок, не остановится ни перед каким преступлением... Яшку разыскивают по приказу государя, а он вот сам пришел к нему, ближнему государеву боярину. Именно такого-то человека ему теперь и надобно. Только ему и можно поручить великое и тайное дело. Яшка отвечает своею головою... для себя будет работать...

И все эти мысли ясно прочел Яков Осина в черных глазах боярина.

— Говори дальше, я слушаю, — шепнул Морозов, присаживаясь на лавку.

— А и весь сказ мой таков будет, — почтительно, тихим и уверенным голосом начал Осина. — Не добро великому государю сочетаться браком с сей дочерью Рафа Всеволодского, ибо один обман тут и гибель царская. Девица сия сыздетства испорчена.

— Как испорчена? — вскрикнул Морозов. — Неужто правда?

Осина усмехнулся и покачал головою.

— Эх, боярин, вестимо испорчена, да вишь ты, про порчу-то ту я один только знаю, и коли ты прикроешь меня от врагов моих, мы с тобою надумаем, как это дело устроить...

Морозов подошел к двери, запер ее на ключ, сам налил и подал стопку с романею Якову Осине.

И началась у них оживленная беседа, и длилась та беседа до глухой полночи. А расстались они, хорошо сговорившись друг с другом... Просветлело мрачное лицо боярина, да и приказчик Осина, выбравшись из его дома, имел вид человека, держащего в руках верную и богатую добычу.

Тем же самым темным зимним вечером одиноко сидел Дмитрий Суханов в грязной горенке заезжего двора. Сильно изменился он за последнее время, будто постарел годов на десять. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами крути темные; сидит он словно в забытии, и тоска неотвязная сосет ему сердце.

«За что все это? Жизнь была такая тихая, светлая — и вдруг, будто буря налетела, все разметала, все перевернула и ничего-то, как есть ничего прежнего не осталось... Ведь последние деньки только и оставалось повидаться с Фимой, — отчаянно думает он, — хоть всласть наглядеться на нее перед вечной разлукой. Но даже и тут опять незадача!... Схватили его, бесталанного, потащили в избу губную да и засадили на несколько дней вместе с ворами всякими и разбойниками. Что это за дни такие были! Кругом грязь, смрад, мерзость всякая; богохульные и непотребные речи раздаются; голод, холод... По несколько раз на день таскают, задают вопросы разные, к делу не идущие, вынуждают ответы несообразные, пугают пыткой, казнью. Люди то, али звери, али совсем малоумные, которых на цепь да за железную решетку посадить надо? Таким ли безбожным жестокосердием судей неразумных правда явной становится, дела худые да грех смертный наружу выступают?!»

И не знал бедный Дмитрий — долго ли такая пытка продлится, когда придет избавление. До него никого не допускали. Не знал он, что Пров целые дни около избы торчит, как верная собака. Не знал он, что за него просит царя Раф Родионович.

Наконец пришло избавление по указу царскому. Выпущен Суханов. Пров с радостными слезами кидается к нему навстречу; но Дмитрий почти не замечает своего преданного дядьку, он торопится скорее к Всеволодским. Ведь чуть с ума не сошел, думая о Фиме и обо всем, что там творится. Жадно расспрашивает он Прова, но тот ничего путного сказать не может. Не думал он о Фиме, когда бегал к Рафу Родионовичу, думал только об избавлении своего господина. Наконец Дмитрий и у Всеволодских. Фимы нет, она во дворце, их судьба решается.

— Господи! да когда же, когда она вернется? Дождусь ли ее? — отчаянно спрашивает он Настасью Филипповну.

Но та на него поглядывает как-то робко и смущенно.

— Вот что, Митенька, ты бы теперь, голубчик, к себе отправился, время-то уж позднее. Негоже как-то, того и жди — невесть что говорить про нас будут. Теперь ух как опасно. Знамо дело, ничего дурного нету, а коли, не ровен час, обнесут каким злым словом Фимочку, так ведь и ей, и нам всем сушая погибель... Так уж ты, Митенька, потерпи до завтра... не в обиду я это говорю тебе, а что делать-то, родной мой, понимаю я, как тебе горько оно... да нечего тут... не мы тому виною, так уж, знать, сам Господь... судьба такая. Ну, да ведь и то сказать надо, неведомо еще, что завтра-то случится: может Фима и ни с чем от царя вернуться, тогда на твоей улице праздник, а нынче-то не взыщи на нас, сам понимаешь!...

И жалко — то Настасье Филипповне Митю, и неловко как-то ей перед ним, и досадно ей, что он нежданно-негаданно поперек дороги им встал.

— Ну чего торчит, право? — шепчет, сидя в уголку, Пафнутьевна.

— Право, прости Господи, его еще день-другой там продержали бы, а то, как назло, в такое время выпустили, тошно глядеть на него, да и Фиму, того и жди, смутит он...

Раф Родионович молчит, лицо у него хмурое, не в духе он, глаз не может поднять на Митю, будто виноват перед ним.

«Да виноват ли? — думается ему. — Приезжай Пушкин неделей позже, была бы решена как следует свадьба, ну, дело другое, а то, как тут отказать было?! Погубить и себя, и семью. Ведь не через меня про Фиму узнали, отец Никола проболтался. Ну а в указе государевом прямо сказано, что кто будет девку утаивать да откажет на Москву везти, „того бить батоги нещадно“. Да опять вот и теперь, ведь из двадцати десятков красавиц в числе шести она выбрана. Может, в самую минуту эту, там, во дворце, государь ее видит, может... Только нет, Господи, и к чему эти мысли опять в голову приходят... не надо их... не о том я помышлять должен... Фима моя, Фима, дочка любимая!... А кабы и свершилось оно... было ли бы еще ей счастье? Может, горе одно, может, ее жалеючи, об одном и надо молить Бога, чтоб того не совершилось, чтоб вернулась она к нам, в тишину нашу и бедность... хорошо бы зажила она с Митей, а мы бы, старые, на них радовались... И отчего это так тяжело на сердце, словно перед бедою? Уж и впрямь не беда ли... Создатель, не оставь нас!... А все же Мите

нельзя быть до решения. Завистников много, оклеветают... Ох, что-то будет?!»

Раф Родионович присоединился к Настасье Филипповне и уговаривал Митю дожидаться следующего утра, а теперь идти домой с Богом да хорошенько выспаться, а пуще всего не унывать духом.

Грустно вздохнул Дмитрий, с невольным упреком взглянул он на старых друзей своих, которых всегда так почитал и которые теперь его покинули в такое тяжкое время. Уныло вышел он из дома Куприяновой и поплелся к себе. Что-то странное и непонятное происходило в душе его, и если бы кто спросил у него, чего он ждет, осталась ли в нем надежда или он знает, что судьба навеки разлучила его с Фимой — он не мог бы ничего на это ответить. Он как-то даже и не думал о том, что будет завтра. Он просто тоскливо ждал, и безумно хотелось ему увидеть Фиму.

После бессонной мучительной ночи отправился он опять к Всеволодским. Отправился рано, с намерением у ворот дожидаться, взглянуть, как повезут Фиму во дворец. И он дождался, увидел, как сошла она с крыльца, как ее посадили в колымагу. Он едва не бросился вслед за нею, едва не закричал от тоски и боли. Он вошел в дом Куприяновой и сразу почувствовал, что всем, еще более чем вчера, неловко в его присутствии, что он здесь совсем лишний. А между тем у него сил не хватало уйти. По счастью, Андрей был дома, и хотя, занятый своим собственным горем, он не мог теперь думать о чужом горе, но все же немного разогнал его мысли, рассказывая о своей бедо-кручине. Однако Дмитрий, внимательно его слушая, все же не понимал его, ему странно казалось, что есть на свете чья-нибудь тоска, кроме его тоски, чье-нибудь горе, кроме его горя.

Между тем время шло... Вдруг Дмитрию показалось, что как-то особенно забежали в доме, на крыльцо все кинулись. Кинулся и он вслед за другими, но что это было такое — он сообразить не мог... Поднялись вопли, но не вопли горя, а всеобщей радости. Раф Родионович обнимался с женой, с Куприяновой, даже с Пафнутьевной.

Как сквозь сон расслышал Дмитрий: «Царь выбрал Фиму, она не вернется больше, она во дворце осталась, она уже царица!...» Он стоял, прислонясь к стене и опустив руки; лицо его было бессмысленно, в голове не было ни одной мысли, сердце как будто перестало биться. Очнувшись немного, он увидел, что перед ним Раф

Родионович с Настасьей Филипповной. Оба они торжественно и степенно ему поклонились в пояс.

— Дмитрий Исаич, — начал старик Всеволодский дрожащим голосом, — великое счастье выпало нам на долю, государь ныне избрал себе в супруги дочь нашу Ефимью. Такова воля Господня. Смирись и ты перед Его волею... Не взыщи на нас, без вины виноваты мы. Любили мы тебя сызмальства, как сына родного — сам знаешь, не того ожидали. А теперь, коли точно ты добрый человек, забудь бывшее, словно никогда его и не было, а мы тебе, как и всегда, одного добра желаем. А коли что можем для тебя, видит Бог, скажи только слово — все готовы сделать...

— Да уж не взыщи, Митенька, — сквозь слезы проговорила и Настасья Филипповна. — Невесту ты себе найдешь по сердцу; молод ты, Митя, а тут, что уж...

Она не договорила. Дмитрий взглянул на них, и они оба, эти добрые люди, показались ему кровными врагами, показались отвратительными. Но он не сказал им ни слова, он только махнул рукою и кинулся вон из дому. За ним побежал Андрей, и хорошо сделал.

В первую минуту, в припадке почти безумия, Дмитрий, может быть, Бог знает чего наделал бы с собою. Андрей крепко держал его за руку, привел в заезжий двор и начал его уговаривать. Но чем он мог его успокоить?!

— Оставь меня, Андрей, — проговорил наконец Суханов. — Оставь, никого теперь не могу видеть!

— Да как тебя такого оставить? Ведь ты на себя руки наложишь, ведь точно порченный, на тебе лица нету...

— Оставь, ничего я с собою не сделаю, только уйди, только не мучь меня, не могу тебя видеть. Потом... завтра... оставь меня... — пробормотал Дмитрий.

Андрей вышел, но остался тут же, в соседней горенке, боясь, чтобы друг его не погубил свою душу.

Дмитрий сидел неподвижно; ему казалось, что он уже умер и что кругом его ничего нету — одно пустое пространство, один мрак непроглядный. Но вдруг из этого мрака ярко выделялась какая-нибудь минута прошлого, их общей жизни с Фимой.

Вот вспомнилась ему она еще ребенком... он едет к ним в усадьбу... знойный день... пылит и гроыхает по дороге его таратайка... Поле уж позади осталось, он въезжает в рощу, и ему навстречу, мелькая меж зелеными кустами, спешит Фима. Коса ее расплелась, на голове веноч из васильков, загорелые щеки пылают от зноя. Она весело смеется.

— Подсади меня, Митя, умаялась больно, всю рощу обегала. Глянь-ка!...

Она показывает ему кузовок, верхом полный темно-красными душистыми ягодами лесной малины. Он подсаживает ее в таратайку, хлещет своего гнедка и лихо подкатывает к усадьбе. А Фима все смеется. И у него на душе становится ясно и весело от этого ее звонкого, беззаботного смеха...

Потом... потом недавно, после нападения Осины, в его доме, эти тихие, блаженные дни, эта поездка с Фимой, их любовь, счастье, что как сон мгновенный мелькнуло и пропало...

Как ужаленный вскакивает Дмитрий и начинает рыдать и метаться.

«Да чего же я, ведь я знал, ведь я знал все заранее, еще перед отъездом в Москву. И разве я тогда не сказал ей, что не отойду от нее, что буду охранять ее от всякой беды, от тайного лиха?! Так чего же я?! Моя жизнь — она кончена, да... я умер навеки; но ведь она-то еще жива, и я должен сдержать свою великую клятву!...»

Что— то могучее, отрадное вырастает для него из этой мысли. Но это только миг один —и опять тоска, опять отчаяние. И вместе с этой тоской, вместе с отчаянием, полное бессилие...

Вошел Пров.

— Батюшка, Митрий Исаич, опомнись, Христа ради, не гневи ты Господа Бога, с кем горе не случается, да и кто того горя не забывает! Придут еще наши красные деньки, поживем еще, порадуемся... Так-то, государь мой батюшка, Митрий Исаич... Тряхни-ка головкой — ведь и горя-то всего с полгоря...

Ничего нового, ничего особенно успокаивающего не заключали в себе слова Прова, но он сумел их сказать с такой лаской, что Дмитрий бросился к нему и, как малый ребенок, тихо и долго плакал на груди его.



— А я с весточкой, — сказал Пров, когда заметил, что волнение юноши несколько стихает. Он инстинктивно понимал, что всего лучше теперь навести на новый предмет мысли Дмитрия.

— Как бы ты думал, Митрий Исаич, кого я ноне подкараулил?... Ну-ка скажи, отгадай! Кого бы? Да того самого злодея Осину! Вот-те Христос, его самого видел!...

— Что ты? Где? — внезапно встрепенувшись, спросил Суханов.

— Да недалече от Кремля. Сначала я было думал, обознался, да потом гляжу, нет — он! не кто иной, как он! Пошел я за ним следом и знаю теперь, где и в каком доме он прячется. Полагаю так, опять недоброе затевает, и нам нужно его выследить; нынче поздно было, а завтра чуть свет отправлюсь-ка я к тому дому и разузнаю, все разузнаю.

— Да, да, конечно, сходи, — проговорил Дмитрий уже несколько оживленным голосом, — нельзя же ведь так оставлять разбойника, пока он не в надежном месте, от него того и жди новых напастей...

На том и порешили.

### III

В слободе Стрелецкой, на самом выезде, притаился маленький домик. Домик этот принадлежал Михаилу Иванову, крестьянину боярина Никиты Ивановича Романова. Каким образом Михаил Иванов первоначально разжился, никому не было известно. Поговаривали, что он клад нашел где-то либо грабил кого-то на большой дороге, а доподлинно ничего не знали. Одно только и было очевидно — это что у «Мишки» дела идут самым лучшим образом. Обзавелся он и домиком, и огородом; держит работницу, старуху немую, которая на все расспросы только знает, что мычит да дико поводит своими косыми глазами. Стрельцы и их жены частенько заглядывают к Мишке. У него, вишь, всегда можно выгодно купить какую-нибудь вещь хорошую, с его помощью можно устроить какую угодно сделку, на все руки Мишка.

Но продажа случайных, а вернее того, краденых вещей далеко не единственное его занятие; у него совсем другой промысел, промысел тайный и выгодный: Мишка — знахарь, да и какой еще! — всех знахарок в Москве за пояс заткнул. Они со злости и досады лопнуть

готовы, как только про него вспомнят. Мужик молодой, ражий, а у старых баб хлеб отбивать вздумал!

Но Мишка ровно никакого внимания не обращает на вражду знахарок. С каждым годом растет и растет его известность, а с нею вместе и его достояние; видимо-невидимо всякого люду, начиная с важных бояр и боярынь и кончая их холопами, с ним знакомство ведут. И к себе на дом его зазывают, и к нему тайным образом под вечерок наведываются.

Все он может, все умеет, всякое ведовство, всякая ворожба ему знаемы. Приключится ли с ребенком родимчик, али во рту жаба, он только побормочет что-то, обольет ребенка водицей, настоя травного даст ему выпить, не успеют оглянуться — всякая хворость проходит. Обижен ли кто, напраслину ли несет человек безвинный — только посоветуется с ним, заплатит ему щедро, он поворожит и — смотришь — дело-то разъяснилось: обиженный человек свою правду доказал перед добрыми людьми, от бесчестья избавлен. Случится ли где покража, и в таком деле, как ни бейся, а тоже без Мишки обойтись невозможно. Он и вора укажет, и научит, где отыскать вещь украденную; а то и так бывает, что по слову его, как по щучьему велению, пропащее добро само собою вдруг опять у хозяина окажется... Да и разве только это! — много и других чудес разных творит знахарь Мишка.

Вот темным вечерком, вся закутанная, боязливо озираясь и прячась от людского глаза, пробирается к нему в домик молодица. Дрожащей рукою стучит она в калитку. Выходит к ней баба немая, сказать ничего не может, а только рычит, словно зверь лютый. Совсем уходит душа в пятки у молодицы, но она подавляет свой ужас, едва слышным голосом спрашивает: «дома ли хозяин?» Старуха грубым движением схватывает прибывшую за плечи и вталкивает ее в маленький дворик, а уж оттуда в темные сени. Старая немая баба исчезает. Молодица ни жива ни мертва стоит в сенях, в темноте кромешной. Вдруг дверь перед нею отворяется, и приветливый голос Михайлы Иванова говорит ей:— Милости просим!

Она входит в светелку и переводит дух. Светелка довольно чисто прибрана, никаких в ней нет ужасов, да и сам знахарь-то молодец молодцом: рослый, румяный да чернобородый, глаза такие зоркие, речи умильные, ласковые, так прямо в душу и просятся.

— Чем твоему горю пособить могу? — вкрадчиво спрашивает он прибывшую.

Но та долго молчит, слов не находит, только робко поглядывает на красавца-знахаря. Он усаживает ее на лавку и спокойно ждет. Наконец молодница мало-помалу оправляется. Взволнованным голосом, часто прерываемым рыданиями, начинает она рассказ свой. Рассказ этот такого рода.

У молодницы, вот уже несколько лет, муж да деточки малые; с мужем жила она любовно, по заповеди Божьей, и ничего дурного у них в семье не случилось — одно слово: тишь да гладь да Божья благодать — соседям на зависть и удивление. Только вдруг, около зимнего Николы, и нагрянула беда неведомо откуда. Стал муж чаще и чаще отбиваться от дома, совсем не тот, что прежде, сделался. Не ласкает больше ни жены, ни ребят малых, ровно чужой в доме, серчать начал, да зря все, без всякой причины. Что ни день, то бьет он ее, горемычную, бьет чем попало и ругательски ругается. И так-то идет у них — что ни день, то хуже. Совсем нет житья ей, слезы все выплакала. Думала, думала — откуда ей такое горе пришло, а вот старая тетка, спасибо ей, и надоумила: «Видно, говорит, у Парамона Петровича зазноба какая завелась, лиходейка тебе, змея подколодная сказалась!»... В таком горе лютом, в такой обиде несносной и пришла она к нему, знахарю, — он, говорят, все может, авось и в ее деле помощь ей окажет.

При словах этих вынимает молодница свои дары. Зорко посматривает Мишка на добро принесенное, взвешивает его цену. Подумав хорошенько, так начинает он ответ держать молоднице:

— Твоему делу, красавица, пособить я могу, дело нетрудное!...

У нее дух замирает от ожидания и надежды. Колдун подходит к печурке, вынимает оттуда что-то завернутое в тряпицу и подает молодой жене...

— Вот тебе соль, — говорит он, — соль та не простая. Возьми-ка ты ее и храни крепко-накрепко, а придет ночь, станешь ты спать ложиться, возьми в ту пору эту соль, потри себя ею, только как будешь тереть-то, так приговаривай: «Как не могу я без своего живота быть, так и он (мужнино ты имя назови) не моги без меня жить, питьем меня не запивай, едой не заедай, гульбой не загуливай и сном не засыпай; не моги часу часовать, минуты миновать и на ветху, и на молодую, аминь».

Повтори ты слова эти три раза и так делай три ночи кряду, а потом ту соль и всыпь мужу в похлебку. Как поест он, так опять к тебе и вернется, всякую зазнобу свою забудет.

Молодица начинает твердить слова волшебные и, вытвердив их наизусть, с глубокими поклонами и причитаниями уходит от Мишки. Спешит она, полная веры, к себе домой и все твердит: «Как не могу я без своего живота быть...»

Три ночи докрасна натирается она заговоренной солью... Все дни сама не своя ходит, то краснея, то бледнея, как преступница. С сердечным замиранием всыпает соль в похлебку, а когда муж ест — так она не смеет и взглянуть на него, перекреститься хочет, да вовремя одумается, знает: дело-то нечистое, колдовское — крест святой весь заговор уничтожит...

Ну а потом что-нибудь да случится: либо муж за ум возьмется, перестанет жену бить напрасно, перестанет гулять да пьянствовать, либо вконец забудет ее.

Но что бы ни случилось, хоть в гроб уложи муж жену неповинную, а славе Мишки-знахаря ущербу все же не будет. Ведь в таком деле нужно быть очень осторожным, может, одно слово не так сказала, вот и потеряла ворожба свою силу, колдун тут, знамо дело, ни при чем, не его вина.

Приходили к Мишке-знахарю и со двора государева разные люди, просили его помощи: как царский гнев обратить на милость, как получить расположение людей нужных и сильных... Мишка ни от чего не отказывался, все по плечу ему было, и жил он весело, в свое полное удовольствие. Не одна молодница, придя к нему за советами, в конце концов пленялась его красотой румяною, его речами хитрыми да умильными, и потом уж не за советами, а за весельем к нему возвращалась. Много могла бы порассказать Мишкина старуха, кабы язык ее слушался. У Мишки было немало приятелей, старых товарищей, которые являлись откуда-то издалека и по большей части хоронились от света денного да от глаза людского. Он тех приятелей, тоже не даром, конечно, в домике своем укрывал, из бед выручал всяких. Одно слово, колдун был и на эти дела опасные...

Яков Осина, выйдя от боярина Морозова темною ночью, не обращал никакого внимания на метель и вьюгу и скорым шагом, порою чуть не по колена уходя в снежные сугробы, спешил по московским улицам и переулкам. Перебрался он через Москву-реку, очутился в слободе Стрелецкой и наконец благополучно добрался до домика Михаила Иванова. Три раза ударил он в ворота и свистнул. Сам хозяин отворил ему и ввел в светлицу.

— Ишь ты, полуночник, — ворчал Мишка, — а я уж думал, совсем не вернешься, думал тебя сцапали... Где шатался?

Осина скинул свой овчинный тулуп, пообчистился от снега, подошел к Мишке и весело хлопнул его по плечу тяжелой рукой.

— Не ворчи ты, красная рожа, — ухмыляясь сказал он, — еще, може, и не родился тот человек, который меня сцапает! Дело я ноне сделал, вот что! Не шатался, не слонялся, а у нашего Морозова по сю пору в боярских его хоромах за хозяйской романеей просидел, вот оно что! Ну, брат, раскрывай карман, и на твою долю немало рублевиков выпадет. Понагреемся, а я и животы свои спасу, да и сердце облегчу немало... Дело ух какое! Золотое дело!

Мишка повозился у печки, высек огня, поставил на стол зажженную лучину и сел на лавке вместе с Яковым.

— Да уж коли с Морозовым поладил, дело настоящее; от этого обмана не будет, я его не впервые знаю, он нашим братом не гнушается, и коли верно служить ему, так не обидит. Говори-ка, Осинушка, что у вас такое? На какого зверя охота будет? Кажись, намедни ты болтал что-то, да я не вслушался.

Осина начал передавать колдуну подробности своего дела, часть которого, впрочем, была тому уже известна. Мишка внимательно слушал и наконец проговорил:

— А без меня тебе тут никак обойтись невозможно!

— Я и сам про то знаю. Так и боярину докладывал, что мы с тобою сообща орудовать будем.

— Что же, это, пожалуй, можно, — опять, подумавши, проговорил Мишка. — Только надо нам будет одну тут бабенку проведать, без нее и мы с тобой, старые волки, ровнехонько ничего не поделаем. Ты, может, думаешь, что я, как в лесных скитах таился, так и взаправду колдовствам разным и чертовщине, прости Господи, выучился?! Невелика, брат, моя чертовщина! Только баб да дураков тою

чертовщиной морочить можно; мы же с тобой не таковские, самого черта заткнем за пояс; так что нам в этой чертовщине. А испортить девку, в гроб вогнать, это и без ведовства можно, дело немудреное...

— Стой, что ты? — вдруг перебил Осина. — Али ты не расслышал? Зачем в гроб вгонять, не того мне надо! Я тебе, брат Мишка, как на духу всю душу выложил, говорю, не жизнь мне, пока не сорву обиду с того Рафа, а девку нужно только пустить за порченную, а потом она и мне пригодится. Эх! Да ты и не видал еще такой девки!

Мишка сидел да усмехался.

— Прыток больно, Яшка, как посмотрю; видно, седина в бороду, а бес в ребро! Ну да ладно, и без порчи обойдемся, только бабу все же нам нужно. Есть у меня такая на примете, вдовица честная, Манкой Харитоновой прозывается, второй год ее знаю... Не наша, не из крестьянства, подымай выше! Муж-то ейный из дворянских детей был, а сама она до сей поры во дворце служит, в постельницах там была у покойной царицы, немало добра всякого из дворца вынесла; баба, говорю я, шустрая, себя не забывает... а ноне ей дела особенного пока не положено, только живет она все же в Кисловке и кормы царские получает. Не больно молода, да из себя красивая, одно слово, бес баба. Хитрости в ней этой, и не сочтешь. Ну вот, как ни ловка, как ни шустра, а все же баба, и полюбился ей хоть бы наш брат... И частенько она ко мне заглядывает, по одному моему слову на всякое дело пойдет, к тому же и до денег жадна больно.

— А коли выдаст? — опасливо спросил Яков Осина.

— Да что же, на ветер я лаять стану? Шкуры мне своей не жаль, что ли? Уж коли я говорю что, значит, знаю... Завалимся-ка, брат, спать теперь, а завтра пораньше в Кисловку, сам увидишь, какая баба, она нас вокруг пальца обведет. Да нет, что тут толковать! Без нее никак в этом деле обойтись невозможно. Она все ходы во дворце знает, всякие тамошние порядки да свычай...

— Ну, коли так, ин ладно! — проговорил Осина. — Только бы поскорее все это, мешкать-то часу нельзя, день пропустим, все пропало, и Морозов наш пропал, и мы пропали. А уж мне тогда что же? Только руки на себя наложить останется...

Мишка затушил лучину, оба они, раздевшись, завалились на полати.

Возле Никитского девичьего монастыря, между улицами Никитской и Смоленской, которая впоследствии названа Воздвиженской, помещалась царицына слобода Кисловка. Еще с XV века здесь обыкновенно жили служители и служительницы великих княгинь московских, а потом и цариц — люди младшего царицына женского и мужского чина, то есть: постельницы, мастерицы, мастеровые люди, дети боярские и так далее. Кисловка занимала большую улицу и пять переулков; строения здесь, как и почти во всей тогдашней Москве, были очень скучены и представлялись однообразным темным рядом высоких изб с маленькими оконцами. Дворов было больше сотни и каждый занимал пространство от 4-6 сажень. Владелец двора в случае отставки — выбытия из чина свозил обыкновенно свои хоромы, а то продавал их тому, кто заступал его место. Случалось и так, что двор отдавался жильцам за плату по три алтына и две деньги с сажени. Своим внутренним устройством Кисловка разнилась от других Московских слобод. В ней не было ни старосты, ни сотского, ни десятских; она управлялась приказом царицыной мастерской палаты, откуда в нее назначался особый управитель-приказчик из детей боярских. Такому приказчику выдавалась «Наказная память», то есть инструкция, в которой говорилось, что он ставится над детьми боярскими и всяких чинов людьми, проживающими в Кисловке своими дворами. Ему поручалось наблюдать, чтобы слободские жители «вином и табаком не торговали, корчем не заводили, никакого воровства ни чинили, приезжих и пришлых всяких чинов людей, не сродичей, к себе во дворы никого не принимали и из дворов своих на улицу всякого помету не метали, а винопродавцев, и питухов, и корчемников, и воровских людей приводили бы в Приказ царицыной мастерской палаты к дворецкому и дьякам. А буде их оплошкою и нерадением что объявится, и учинится великому государю ведомо мимо их, и им, приказчикам, за то быти в опале и в жестоком наказанье безо всякой пощады».

Для того чтобы приказчики могли в точности исполнять такие указы и охранять слободу от всяких воровских людей, Кисловка в конце четырех своих переулков была заставлена решетками, а пятая улица с переулком наглухо загорожена бревнами. В середине решетки,

для проезда, была устроена широкая брусная калитка; днем она отворялась, а на ночь задвигалась железными замками. У каждой решетки была поставлена сторожевая изба, в которой жил решеточный сторож, рачительно наблюдавший за порядком в своем участке. Решетки Кисловской слободы по своему местоположению носили следующие названия: Воздвиженская, Никитская, Ивановская — название четвертой не дошло до нас.

Такое устройство царицыной слободы делало ее образцовой относительно порядка, и она в этом отношении не имела ничего общего с остальными частями города. Но если в ней и царствовало постоянное спокойствие, если на улице не слышно было ни криков, ни драки, не валялись пьяные, если случаи воровства и разбоя были редки, то жители Кисловки все же находили возможность зачастую отравлять спокойствие этого заветного уголка всякими тайными недобрыми делами. Иногда бывало и так, что они, даже безо всякой вины со своей стороны, подвергались различным невзгодам. Редкий год проходил без того, чтобы в Кисловке не производилось какого-нибудь строжайшего следствия, не исполнялась казнь над кем-нибудь из ее жителей, а преимущественно жителями.

Двор русских царей того времени пуще всего на свете боялся одного призрака и в то же время всюду искал его. Призрак этот был — порча, отравы, ворожба всякого рода, направляемая якобы на кого-либо из членов царского семейства и их приближенных. Мы уже видели, с какими предосторожностями царь принимал пищу и питье и одевался; те же самые предосторожности принимались и в отношении царицы, царевичей и царевен. Кажется, трудно было бы при всем этом допустить возможность какой-нибудь беды; но, с одной стороны, у страха глаза велики и беду искали и видели там, где ее вовсе не было, с другой стороны, призрак порчи давал возможность всяким недобросовестным и злым людям пользоваться им для своих собственных целей. Призрак порчи делался орудием мести, самым легким и безопасным орудием.

Придет какая-нибудь верховая боярыня, а то и прислужница из низшего разряда и доносит царице, что у них «на Верху неладно, такая-то, мол, злоумышляет против царского здоровья — след вынимает, зелье разное при себе держит».



Царица пугается, в свою очередь спешит доложить царю о такой опасности.

И вот начинается сыскное дело. Призывается царицын дьяк, и поручается ему хорошенько расспросить злоумышленницу. Схватывают несчастную женщину. Она теряется от страха, наговаривает на своих товарок, и вся Кисловка приводится в движение — во всех дворах обыски. Открывается целый ряд невероятных для нашего времени отношений, поступков и понятий, выходят на сцену разные знахарки, колдуньи и колдуны вроде Мишки Иванова. Доподлинно делается известно, что такая-то Степанида или Катерина носит с собою в Верх мышьяк, что мышьяк тот получила она от знахарки Окулины; со знахаркою познакомила-де ее тетка Пелагея — и так далее...

Потом мышьяк оказывается вовсе не мышьяком, а просто солью, невинным приворотным зельем, необходимым для возвращения любви мужа или возлюбленного. А между тем десятки оговоренных и причастных к делу подвергаются пытке. Пытка страшная: снимут с обвиненного или обвиненной рубашку, руки подле кисти скрутят позади веревкою, ноги свяжут ремнями, подымут на дыбу, палач станет в ноги на ремни — и оттягивает. Ручки из суставов вон выйдут, а палач начинает бить кнутом, да так, что через час мясо со спины ключьями валится. И много всяких пыток, одна другой страшнее...

Присмирееет Кисловка после такого дела, все друг от дружки сторонятся, сестра сестре, брат брату не доверяют. А смотришь, прошло немного времени, и опять кто-нибудь носит в кармане соль заговоренную, со знахарями да знахарками водится, вынимает след царский. И идет сыскное дело одно вслед другому, и стоит над всем, разрастаясь все больше и больше, чудовищный призрак колдовства и порчи, против которого бессильны все наказания мастерской палаты, все решетки с железными запорами...

В эту— то самую, тщательно охраняемую и злополучную Кисловку ранним утром направлялся Яков Осина со своим приятелем Мишкой. У Никитской решетки остановил их сторож и спросил, к кому и по какому делу идут они. Назвали они себя купцами и сказали, что идут к Манке Харитоновой, несут ей для продажи меху на шапку, что она вчера у них сторговала. Сторож пропустил, и пошли приятели дальше.

Манка встретила их очень радушно, и, взглянув на нее, Осина сразу убедился, что она именно такая баба, какую им нужно. В какие-нибудь десять минут она успела показаться ему и скромницей, и глупенькой, и в конце концов, узнав, в чем дело; вдруг развернулась во всем своем блеске. Ее нечего было уговаривать и доказывать выгодность предприятия — она хорошо знала, что Морозов в долгу не останется, что дело прибыльное, и поэтому тотчас же взялась за него.

— И в самое вы время подошли, — сказала она, — еще с вечера нас оповестили, что будут собирать из бывших царицыных постельниц опять в Верх для службы новой царевне. В полдень я в Кремле буду и уж как ни на есть, а доберусь до царевны — я не я, коли не сумею обойти ее. На меня-то положитесь, да и сами не плошайте.

Затем она обратилась к Мишке.

— А тебе, чай, нечего расписывать, как до меня в терем добраться; коли что нужно — всегда сговоримся, теперь же вам засиживаться нечего, отваливайте подобру-поздорову. Опаска-то не мешает, чтобы нас не очень-то люди вместе видали...

Осина вышел первым от своей новой знакомой. Он не хотел мешать товарищу, у которого с Манкой могли быть и другого рода объяснения. Он нахлобучил на самые глаза себе шапку, ушел весь в овчинный воротник своего тулупа и самодовольно думал:

«А ну— ка сыщи теперь Осину! Пускай они себе, голубчики, по всей Москве рыщут, а мы вот как, среди бела дня по московским улицам похаживаем...

Нет, только не унывать, только смелее, и все в руках моих будет. Они чаяли — приказ отдан, так Осина, как заяц, сам им в руки дастся! Как же! Больно скоро — обождите малое время... Отслужу я тебе, Раф Родионович, отслужу, родимый!., да и Фиму-то, голубку, может, еще целовать да миловать придется... «Царевна»! — шутка ли!... то-то лафа будет!...»

## VI

Постоянно однообразная и скучная жизнь царского терема оживилась. В этот терем вступила новая жилица, которая, несмотря на свою молодость, должна была в скором времени сделаться его главной хозяйкою.

После того как молодой царь подошел к Фиме Всеволодской и вручил ей кольцо и ширинку, после того, как затихло первое движение, вызванное этим событием, Алексей Михайлович сам взял за руки свою взволнованную и дрожавшую невесту и провел ее в терем к сестрам. Царский выбор очень изумил как царевен, так и всех теремных обитательниц. Они ожидали совсем другого.

Откуда и каким образом — неизвестно, но в последние три дня имя Марьи Ильинишны Милославской было у всех на устах. Никто не сомневался в том, что именно ей предназначено быть царицей, и накануне, когда невесты были привезены в терем для тайных смотрин, царевны все свое внимание сосредоточили на Марье Милославской, как на будущей своей сестре и государыне. Они почти весь вечер ее окружали, наперерыв старались выказать ей свое внимание, для того чтобы заранее задобрить ее в свою пользу. Поэтому-то они даже и не разглядели, как должно, красоту Фимы. Теперь же вдруг не Милославская, а Всеволодская царем избрана! Ее ожидает уже заранее приготовленное для новой царевны помещение... Царственный жених, весь преображенный, сияющий новым счастьем, подводит невесту к сестрам, просит их любить ее да жаловать.

Царевны постарались скрыть свое изумление и сначала большими церемонными поклонами, затем поцелуями и объятиями приветствовали Фиму. Они наперерыв друг перед дружкой спешили выразить ей свою любовь, расхваливали ее красоту, даже взяли маленький грех на душу: все в один голос объявили брату, что именно и ожидали этого, что краше и милее такой невесты ему и найти было невозможно. Еще вчера-де, как были у них невесты в сборе, она всех своею красой затмила. Разок на нее взглянешь — так на других и глядеть не захочется...

Царь краснел, улыбался и радовался. Фима, в чадуга счастья, не находила слов, чтобы достойно отвечать царевнам, и только плакала. Но все хорошо видели и понимали, что иначе и быть не может, что бедная девушка, вдруг так возвеличенная, должна плакать.

Обласкав и успокоив ее насколько было возможно, царевны объявили ей, что она должна теперь сесть в особое, для нее приготовленное кресло и принять поздравления от всего женского теремного чина.

Фима повиновалась, но она еще совсем не сознавала той необычайной перемены, которая произошла в ее положении, она все еще была потрясена счастьем своего нового чувства, внезапно ее всю охватившего и наполнившего ее блаженным трепетом. Она еще чувствовала милое прикосновение, стремилась к юноше-красавцу, который взглянул на нее среди волшебного сна и одним взглядом навеки взял ее сердце.

Двери царицыной палаты, где теперь находилась Фима с царевнами, растворились — и одна за другой, по старшинству и значению своему, начали представляться новой царевне женщины ее будущего придворного штата. Прежде всех явились верховые боярыни и первую из них — важная, степенная мама царя, Ирина Никитична Годунова. Она вошла гордой поступью, со строгим и в то же время равнодушным взглядом, остановилась перед Фимой, поклонилась ей с достоинством, поцеловала у нее руку и стала пристально ее оглядывать. Первое, приличное случаю, приветствие произнесла она мерным, спокойным голосом. Она сознавала, что ее твердо установившееся положение никто не может пошатнуть, что, напротив, перед нею должна заискивать будущая царица. Кто же, как не она, будет вводить ее в трудное и обширное царское хозяйство.

«Еще наклоняешься передо мною, матушка!» — самодовольно подумала боярыня.

Окончив свое первое приветствие, Годунова нашла нужным сказать несколько слов и от себя царской невесте, для того чтобы ободрить и приласкать ее.

— Государыня царевна, — сказала она, горделиво закинув свою старую, красивую голову, — великое счастье послал Господь на твою долю, царь наш батюшка на тебе остановил свой выбор; да поможет тебе Господь быть ему доброю и достойною женою, а для всех нас справедливою и милосердною царицей. Не взыщи на мне, старой бабе, коли скажу тебе какое слово не по сердцу, говорю-то я без лести, как Бог на душу положил. Немало годов живу я милостями государевыми, и покойная царица Евдокия Лукьяновна, царствие ей небесное, завсегда меня жаловала... И царя нашего батюшку приняла я на свое попечение новорожденным младенцем, выходила и выхолила его на славу, так и ты мне за это скажи спасибо — так-то, государыня царевна!... Служить тебе буду верою и правдою; молода ты и

неопытна, годков тебе еще немного, да наделил тебя Господь красотою великою, наделил он тебя всеми благами, и ждем мы от тебя многих милостей, а уж мы-то все, опять говорю, твои слуги по гроб верные!...

Боярыня снова плавно и торжественно поклонилась и почтительно поцеловала руку Фимы.

Фима почувствовала, что должна что-нибудь ответить ей, почувствовала она также, что сильно робеет перед этой властной и горделивой женщиной. Поднялась она со своего кресла и поклонилась в свою очередь боярыне Годуновой. Да вдруг, безо всякого чина, заплакала и обняла ее — этими слезами, этим поцелуем робким и вместе с тем доверчивым как бы признавая свою слабость и прося защиты и помощи. Такое невольное движение девической души произвело благоприятное впечатление на старуху. Первое недружелюбное чувство, почти всегда возникающее в сердце гордого человека при виде чрезмерного счастья, выпадающего на чью-либо долю, исчезло и заменилось добрым чувством. Боярыня, даже несколько растроганная и умиленная, в свою очередь крепко поцеловала Фиму, ободрительно кивнула ей головою, а потом отошла и остановилась в сторонке.

Вслед за нею подошла ее соперница по влиянию в тереме — Ульяна Степановна Собакина, потом мама царевны Ирины — княгиня Хованская, царевны Анны — княгиня Троекурова, царевны Татьяны — княгиня Пронская. Все они, тоже с большим знанием дела, приветствовали Фиму; но их речи были другого рода. В них не заметно было той прямоты и независимости, с какими говорила Годунова. Эти важные боярыни сразу начали лестию, из-под которой для привычного глаза сквозили — зависть, неопределенный страх за будущее и многие недобрые чувства. После боярынь-мам представлялись остальные дворцовые и верховые боярыни, имевшие каждая по своей должности большое влияние в царицыном домашнем быту: кравчая — правая рука царицы во всех домашних делах ее обихода; боярыня казначея — заведывавшая царицыной казной; светличная — управлявшая рукоделиями женского дворцового чина; боярыня постельница — ведавшая весь постельный обиход царицын; боярыня судья — разбиравшая все споры и ссоры между теремными жильцами; наконец, боярыня приказная — ведавшая хамовный двор, на котором изготовлялась всякая белая казна, то есть полотна, скатерти и так

далее. Все это были жены важных людей, приближенных к государю и отличавшихся родовитостью. Фима, в том состоянии, в каком она находилась, конечно, не могла наблюдать и вглядываться в эти новые лица, к которым сразу чувствовала страх безотчетный. Но если бы она могла заглянуть в их душу, то пришла бы в ужас и захотелось бы ей бежать подальше от этого роскошного, волшебного терема. Прекрасная, смущенная и ни в чем неповинная Фима была уже смертельным, кровным врагом почти всех этих женщин. Почти все они радовались бы ее несчастьем как светлому празднику. Всем она стала поперек дороги, у всех отняла возможность породниться с царской семьей посредством дочерей, племянниц и других сродниц...

За боярынями длинной вереницей стали проходить в палату менее знатные женщины — вторая степень царицыных чинов: младшие казначеи, ларешница, учительницы и мастерицы и, наконец, боярышни-девицы или сенные боярышни, жившие в тереме для разных услуг. Боярышни эти уже принадлежали к третьей степени царицына чина. Они зачастую обедали вместе с царевнами, были подругами их, играли с ними, беседовали. Все это были по большей части родственницы верховых боярын.

У Фимы голова кружилась от этой вереницы, проходившей перед нею, почти земно ей кланявшейся и целовавшей ее руку. Ей хотелось бы всех обласкать, всех уверить в том, что она будет любить их, и у всех, в свою очередь, попросить для себя любви и участия. Видя перед собою чье-нибудь доброе и милое лицо, она уж готова была высказать все, что чувствовала; но вдруг ее решимость пропадала, ее ощущения изменялись; все старые и молодые, добрые и неприятные лица становились ей совсем чужими, далекими, не имеющими с ней ничего общего. Ей казалось, что вот теперь они тут, а что через минуту они будут далеко, и она их никогда больше не увидит. Ей становилось как-то холодно, тяжело, жутко, и она вся съеживалась на своем огромном, роскошном кресле, расписанном травами и птицами. Как загнанный, запуганный зверек, поглядывала она вокруг себя усталыми, почти бессмысленными глазами, и на прелестном молодом лице ее разливалось выражение тоски и страдания...

Царевны и боярыни торжественно проводили Фиму в предназначенные для нее покои. Заметив, что она едва на ногах держится от усталости, боярыня Годунова тотчас же сказала об этом царевнам:

— Оставим-ка ее, голубушку, поспать с часок времени, а то притомилась больно, да и как быть иначе?!

— Поспи, поспи, голубка, — сказала царевна Татьяна, обнимая Фиму и подводя ее к пышной кровати. — Как время будет, мы придем, тебя разбудим. Да что это ты такая печальная будто? Может, о родных вспомнила, так и их нынче же увидишь, уж за ними послано.

Фима ничего даже ответить не могла на все эти слова ласковые, и как только все вышли, она кинулась на кровать и крепко заснула.

Долго и глубоко спала она, так глубоко, что царевны, приходившие звать ее обедать, не решились потревожить ее сна и положено было дать ей хорошенько отдохнуть и выспаться.

«После сна и покушает с охотой, да и веселее будет!» — так порешила боярыня Годунова, и все согласились с ее мнением.

Фима проспала вплоть до вечерень. Открыла глаза, с изумлением поглядела вокруг себя и села на своей новой богатой кровати. Сразу она все вспомнила, прежний туман, прежнее забытие исчезли, мысли прояснились. Все эти два последних дня представились ей сном, подробности которого она, однако же, отлично помнила. И понимала она теперь, что этот мучительный и в то же время блаженный сон — явь настоящая, что прежняя жизнь навсегда окончена и теперь наступила новая. Горячо забилось сердце Фимы при мысли о молодом царе, который один был виновником всего этого сна волшебного, этой яви чудной и таинственной.

«Ох, как любить она его будет, как она уж его любит, как бесконечно он ей дорог!»

И в этом новом прекрасном чувстве она не думала о блеске своего положения, обо всем том величии, которое ее окружало и о котором до сих пор она не имела никакого понятия. Но вдруг что-то тоскливое опять закралось ей в сердце.

«Митя! — прошептали ее губы. — Бедный Митя!»

Она заплакала.

«Я счастлива... а он?... Чем заслужил он это... Не я ли тому причиной?!. Что-то он теперь? Чай уж знает... Ох, тошно, тошно... и

зачем это, зачем все так вышло, зачем сказала я ему тогда, что люблю его... ведь я не любила... я ничего не понимала... вот я и теперь его люблю... люблю наравне с Андрюшей... да это не то... совсем не то!»

Ей страстно захотелось увидеть его, приласкать, успокоить, попросить у него прощения в вине невольной; объяснить ему все, что с нею случилось.

«Он добрый, добрее его нет на свете... Он поймет все... простит...»

Но она тут же вспомнила, что теперь ей нечего и думать о свидании с ним, что теперь уж навсегда все должно быть с ним порвано. И опять слезы полились из глаз ее.

«Видно, нет на свете полного счастья, всегда и везде-то, даже и в счастье — горе!»

Ей вспомнились все ее детские годы и потом последнее время. Вспомнился Касимов, жизнь в глухой усадьбе, ее детские радости, детские забавы. Ведь всегда и во всем был участником Митя, и ничего этого никогда-то уж не будет!

Но вот милый, прекрасный образ вновь мелькнул перед нею, и высохли слезы, и вернулась на лицо улыбка. Радостным и лучезарным взглядом окинула, она горницу, уже потемневшую в вечерних сумерках; увидела она в углу большой киот с образами, бросилась к этому киоту, упала на колени и начала горячо молиться. Полились новые, успокаивающие, благодатные слезы. Она благодарила Бога за великое счастье, ей ниспосланное, просила Его простить вину ее перед женихом прежним, просила спасти его и послать на его долю радость и счастье. Молитва ее ободрила, и она поднялась обновленная и измененная. В ней уже не было прежней робости, прежнего смущения. В этой спокойной, озаренной каким-то внутренним светом девушке трудно было узнать Фиму...

Дверь ее опочивальни тихо отворилась, и к ней вошла боярыня, за которой сенные девушки несли новый наряд для царевны. Она встретила их грациозным поклоном, исполненным достоинства, и неспешно стала одеваться.

Потом, выйдя к царевнам, где уже дожидалась ее трапеза, она всех изумила переменой, происшедшей с нею. Она нашла в себе умение сказать всем и каждой ласковое и милое слово, держала себя с полным достоинством, как будто всю жизнь провела в царском тереме. Никто



не научил ее этому, научило одно — вдруг явившееся сознание своего положения; научила внезапно родившаяся и наполнившая все существо ее любовь к молодому царю, достойной невестой которого она должна была всем казаться. Боярыня Годунова внимательно в нее всматривалась и одобрительно кивала на каждое ее слово.

«Вот она какая! — думала боярыня. — Сразу-то я ее не разглядела, подумала: так себе, деревенщина, ан нет, знатная будет царица!... и откуда все это берется?! О Господи, неисповедимы пути Твои!...»

Фиме доложили, что ее отец и мать прибыли в терем и ждут свидания с нею.

— Где они, где? — вся вспыхнув, крикнула она и побежала сама не зная куда, так что едва могли догнать ее и указать дорогу.

Раф Родионович и Настасья Филипповна, одетые в самые дорогие свои наряды, взволнованные и даже испуганные, робко озирались вокруг себя, поджидая свидания с дочерью. Увидев ее, они кинулись было к ней с радостными объятиями; но тут же руки у них опустились, и они остались неподвижными. Они не знали, как им быть, они боялись сказать или сделать что-нибудь неладное, боялись осрамить себя, а еще пуще того дочь свою.

Войдя в комнату, Фима тотчас же сделала знак шедшим за нею, чтобы ее оставили одну с родителями, заперла за собою дверь и, обливаясь слезами, упала на колени перед отцом с матерью. Она обнимала их ноги, целовала руки и долго не могла произнести ни слова.

— Фима, Фимочка, голубка! — шептали старики, тоже захлебываясь радостными слезами, поднимая ее, целуя, обнимая. Долго в богатом, уютном покое царского терема раздавались только тихие рыдания, и долго никто из этих людей, всю жизнь проживших вместе и расставшихся только несколько часов тому назад, не мог сказать ни слова — они будто свиделись после многолетней разлуки, будто не узнавали друг друга.

Первым очнулся Раф Родионович и почувствовал, что к его радости великой примешивается какое-то странное, неловкое ощущение. Вдруг ему как-то стало тяжело. Он глядел на Фиму, и ему казалось, что Фимы, его Фимы, его дорогой, балованной дочки уже нету, что он никогда ее не увидит. Эта нарядная, сиявшая жемчугом и

изумрудами красавица была не она, это была царица, невеста великого государя, которая должна через несколько дней сделаться царицей.

Царицей! Что-то недостижимо далекое и высокое звучало ему в этом слове, и никак не мог он соединить понятие о великой государыне с Фимой. И это мучило его, и он вдруг стал совсем не тем, каким всегда привыкли видеть его домашние.

Фима глядела на него, не понимала, что такое с ним творится, отчего он стал таким, каким она его ни разу в жизни не видала. Он вдруг, будто спохватившись, отошел от нее, весь выпрямился, опустил руки и потом с смирением и благоговением наклонил голову.

— Дочь моя, — сказал он, — государыня царица...

Он почему-то вообразил, что должен говорить с ней, как с царицей, но никак не мог этого и опять подошел к ней, и опять ее обнял и шептал, крестя ее, благословляя ее и целуя: — Богу молись, Фима! Богу молись, будь достойна такого счастья... Эх... да совсем я одурел... слов не найду, не знаю, что творится со мною, боюсь, как бы не рехнуться... в голове туман... Фима, голубка моя!...

Он махнул рукою. Красивое старое лицо его как-то совсем по-детски сморщилось, и он громко заплакал. А Настасья Филипповна сидела тут же, на парчовой скамейке, трясла головою, не отрываясь глядя на свою Фиму, и не плакала только потому, что уж не могла плакать — для такой минуты слез не хватало. Она совсем почти обезумела, она весь день не могла сообразиться с тем, что это такое случилось; говорила разумно, а между тем внутри ее, в голове ее и сердце было как-то не совсем ладно... будто порвалось что-то, потерялось и никак не могло сыскаться... Она говорила:

«Дочь наша Фима — царица, будет царицей», — а в то же время никак не понимала, что это значит. И вот теперь только, когда Раф Родионович встал перед дочерью, поклонился ей и сказал: «Государыня царица!» — она вдруг так-таки все и поняла. «Государыня царица!» — это двойственное понятие о дочке и о царице, которое испытывал Раф Родионович, нахлынуло и на нее и совсем ее подавило. Ее материнское сердце отчего-то сильно, сильно и мучительно забилося, ноги подкосились, голова тряслась пуще и пуще, будто подвешенная на проволоке, а глаза бессмысленно глядели на Фиму. Ей вспоминалось, будто сейчас оно было, то далекое время,

когда долгожданная, у Бога вымоленная дочка милым и беззащитным ребенком лежала на груди ее. Она видела ее крохотный розовый ротик, жадно искавший материнской груди, чувствовала снова прилив той несказанной нежности, которая влекла ее к этому хрупкому созданию... Потом виделась ей Фима уже подростковой девочкой... как вслушивалась она в ее бойкий лепет, как бессознательно радовалась каждому новому понятию, возникавшему в ее голове, дивилась, откуда все это берется: «Давно ли была крошкой, на четвереньках ползала, а теперь — на поди — с матерью уж и спорить начинает!» Потом... опять Фима... рослая, стройная красавица, гордость материнского сердца... мечты о судьбе ее, о Митином хозяйстве, про которое она украдкой все доподлинно разузнавала, мечты о внучатах... А то опять — эта ночь страшная... Борьба с Осиной, ужас леденящий... Фима, эта самая Фима, дитя милое и жалкое, плоть от плоти ее, кость от костей ее — Фима царица!... Она ли то, или ее и взаправду больше нету, и все это одно только сонное видение?! Страх и робость в сердце Настасьи Филипповны, и чего-то ей жалко, жалко до страдания, а чего — она и сама не ведает...

## VIII

Фима первая подавила свое волнение. Она должна была воспользоваться этим свиданием с отцом и матерью, чтобы решить главный вопрос, смущавший ее и отравлявший ее счастье.

— Успокойся, батюшка, — сказала она, — вот, того и жди, войдут и нам помешают, а много еще сказать нужно. Я и сама-то еще не могу очнуться. Буду непрестанно молить Бога, чтобы Он вразумил меня, глупую; умолю государя, что бы он не разлучал меня с вами, чтобы дозволил нам часто видеться. Коли бы знали вы, как добр он — царь-то, словно ангел Божий, с небес сошедший... чего я трепетала... чего боялась... помните... то стало моим счастьем. До гроба об одном помышлять буду — как бы ублажить моего государя... Ах, разум мутится!... Все прежнее кончено... и не жаль мне как-то этого прежнего... одно сосет сердце — Митя...

Настасья Филипповна при этом имени очнулась и замахала руками.

— Шш!... шш!... Фимочка! — испуганно шепнула она. — Что ты! Разве можно теперь думать о нем, говорить о нем?! Все это кончено... совсем забыть надо, будто никогда его и не бывало, не ровен час — услышат... Ох, страсти какие!... и так уж этим напугала меня совсем тетка.

У Рафа Родионовича мелькнула мысль, что их могут подслушать, и он многозначительно посмотрел на дверь. Фима заговорила тише.

— Да, нужно так, чтобы его как будто совсем и не бывало... — повторила она слова матери. — Сама я это знаю, только ведь как же быть-то... ведь жаль его... и он чем виноват?... Он скажет — обманула я его... как быть-то теперь?!

— Ничего этого не посмеет он сказать, — проговорил Раф Родионович. — Что же он, против Бога да против царя пойдет? С царем тягаться будет? От нас зла никакого не видал, а теперь ты ему и добро еще великое по времени можешь сделать... так о чем тут... Успокойся, родная...

— Не то, не то, батюшка, — с тоскою перебила Фима, — это со стороны так можно сказать, а перед Богом-то... в сердце-то своем, совсем ведь другое. Я не могу его видеть... не должна, и прошу я вас: скажите вы ему, что Фима, мол, просит тебя простить ее, не питать к ней в душе злобу, не считать ее обманщицей... Как на духу, как перед Богом самым говорю, сама себя обманула... ровно брат родной был мне Митя, сами знаете, с детства привыкла к нему, а уж после того как он спас нас, что же могла я ему ответить?! Думала, любви другой и не бывает на свете и обещалась ему на всю жизнь... а как увидела царя, так и поняла все... Его, его одного люблю и буду любить вечно!... и никогда, и никого другого не любила... скажите вы это Мите... пусть, если может, забудет меня, а я и теперь его за брата почитаю...

Едва договорила она слова эти, как в двери стали стучаться. Вошла боярыня постельница и объявила, что из Кисловки прибыли женщины, и царевна должна избрать для себя младшую прислугу. Сказав это, она обратилась к старикам Всеволодским и поклонилась им большим поклоном.

— А тебя, государь Раф Радивоныч, и тебя, государыня Настасья Филипповна, царь к себе приказал звать, вот тут и стольник его дожидается, он проведет вас.

Всеволодские наскоро простились с дочерью и поспешили отправиться вслед за стольником. А Фима сказала боярыне:

— Пусть войдут, только как же я выбирать буду? Никого из них не знаю... мне все равно, уж ты сама выбери, за что же я буду безо всякой вины отказывать? Может, откажу такой, которая бы мне верно служила.

— Никак этого нельзя, — с поклоном ответила боярыня, — так уж заведено испокон веку. Да ты не смущайся, государыня: какая баба али девка приглянется, ту и укажи мне... как это можно обижаться, разве они смеют!

Фима замолчала.

Десятка с три молодых и пожилых женщин вошли к ней, земно ей кланяясь. Она ответила на поклон их и думала:

«Ну зачем все это?»

И опять тоска беспричинная схватила ее за сердце, ей тяжело стало, захотелось прежней жизни, свободной и понятной, а тут для нее уже начиналось все непонятное и тревожное. Первый незначительный шаг на новом пути уже сильно смутил ее. Впрочем, боярыня постельница постаралась вывести ее из затруднения. По мере того как женщины, одна за другой, подходили и то робко, то бойко, смотря по характеру каждой, объявляли, каким делом они занимаются, боярыня быстро говорила:

«Вот эта тебе пригодится, царевна...» или «ну, без этой и обойтись возможно...»

Выбранные отходили по одну сторону с довольными лицами. Забракované снова земно кланялись и выходили из палаты. Между прочими подошла к Фиме и Манка Харитоновна. Стройная и красивая, скромно и хорошо одетая, безо всякой робости и без излишней бойкости, она сразу приглянулась Фиме.

— А, это ты, Манка! — кивнула ей головою боярыня. — Эту я знаю давно, — обратилась она к Фиме, — при покойной царице годов восемь она была... Ни в чем дурном не замечена, дело свое разумеет...

— Ну и ладно, — шепнула Фима, — она мне нравится...

Манка, услышав слова эти, очень ловко представилась необыкновенно растроганной: слезы брызнули из больших черных глаз ее и, будто не в силах удержаться, она упала на колени перед Фимой и стала целовать ее платье.

— Государыня-царевна, — говорила она, — солнышко ты наше небесное, распрекрасное!... Господи милостивый! Уж и где же, где такая красота уродилась?! В жизнь такого ангела Божьего не видала!... Да прикажи только, матушка, на смерть пойду за тебя, дозвожь только постельку тебе оправлять, так я пушинки подбирать буду, как на облаке небесном заснешь ты, лебедушка белокрылая!...

Она, все не вставая с колен, подняла глаза свои на Фиму и глядела на нее с обожанием. Ее певучий, нежный голос, мягкий свет глаз ее обманули царскую невесту; с добрым чувством протянула она ей руку, которую Манка поцеловала как святыню.

— Коли она тебе по нраву, царевна, — сказала боярыня, — так я и назначу ее в твою опочивальню — прикажешь?

— Хорошо, — ответила Фима.

Манка рассыпалась в благодарностях и всяких льстивых причитаниях; но даже и этим причитаниям она сумела придать тон искренности. А потом, выйдя из палаты и самодовольно переговариваясь с товарками, она думала:

«Ведь говорила Мишке, что лицом в грязь не ударю! Не впервой, только пусть раскошеливается Борис Иваныч, птичка-то из моих рук не вылетит, и не таких заманивала, а эта что? проста больно, податлива... а уж красота-то! Господи, да с этакой красотой только и быть царицей!... Да не будет, Манка того не хочет!...»

## IX

Прошло три дня. Фима начала свыкаться с царским теремом и со своим новым положением. Царя в эти дни она не видела ни разу. Согласно неизменному обычаю он не должен был видаться с невестой до тех пор, пока она не будет торжественно наречена царевной и обручена с ним. Обручение это должно было совершиться через два дня.

Царь всей душой рвался в терем, но все же не осмеливался навестить Фиму. Дни казались ему томительно долгими, и ни в чем не мог он найти развлечения. Да и все как-то вокруг него изменились; он не узнавал прежних, близких людей своих, чувствовал, что почему-то они не те. Особенно поражала его перемена, происшедшая в Морозове.

Между воспитателем и воспитанником, несмотря на все усилия боярина скрывать свои мысли и чувства, легло теперь многое.

Алексей Михайлович не раз пристально вглядывался в Бориса Ивановича и с изумлением замечал, что тот как будто даже избегает его взглядов. Наконец это стало его мучить, он всегда так горячо любил Морозова и особенно теперь, в дни своего счастья, ему тяжело было видеть отдаление воспитателя, ему, напротив, хотелось бы, чтоб и тот радовался его радостью.

Он решился прямо заговорить с ним.

— Иваныч, — сказал он, кладя свою руку на плечо Морозова и ласково заглядывая ему в глаза, — чем я огорчил тебя? Или в том виноват, что не тебя послушался, а послушался своего сердца?... Ах, Иваныч, да как же тут... разбери сам... должен я был избрать жену себе по сердцу — ну и избрал ту, что краше для меня солнца небесного... Неужто ж мне было уйти от нее, отвернуться, да мне смерть без нее, вот что!...

Морозов отвечал на это мерным и спокойным голосом:

— Коли ты так ее любишь, государь, — ну и ладно! Да будет над вами благословение Божие... и не то мне горько, что избрал ты Ефимию Рафовну, не след тебе так думать, выкинь ты это из мыслей, а то мне горько, что ты скрывался перед дядькой своим верным, не захотел поведать своих мыслей, открыть сердца, как бывало... счел меня недостойным...

Алексей Михайлович не дал договорить ему, бросился к нему на шею и только повторял:

— Не кори меня, Иваныч; видит Бог, люблю тебя по-прежнему!...

Морозов постарался казаться довольным этим объяснением и только больше с этой минуты наблюдал за собою, скрывая свои ощущения.

По вечерам царь спешил к сестрам; он знал, что там нет Фимы, что ее поспешно удаляют при его приближении; но он знал также, что с сестрами можно поговорить о ней, узнать, что она в этот день делала, что сказала, что велела передать ему. И он расспрашивал сестер о каждой мелочи, заставлял их по несколько раз повторять одно и то же и возвращался к себе все более и более очарованный своей невидимкой-невестой.

А по его уходе царевны приходили в покои Фимы, и там опять начинались те же разговоры. Царевны уже сдружились с Фимой. В их скучной, однообразной жизни она являлась новым развлечением. Им интересно было порасспросить ее о том о другом, о ее прежней жизни, о том, чего она навидалась, что вынесла в последнее время. Ничего-то они не знали, ни о чем не имели понятия. При жизни матери все чрезвычайно бережно обращались с ними, потому что царица строго оберегала дочерей от всякого лишнего слова, а со смерти царицы прошло еще немного времени и хоть в тереме стало свободнее, но все же еще некогда было многого наслушаться. Особенно поразил и заинтересовал царевен откровенный рассказ Фимы о нападении на усадьбу, о бегстве от разбойников. Царевны слушали этот рассказ, как самую интересную сказку, — старые сказки уже все давно надоели, а эта была новая.

Царевны были молоды, им еще и в голову не приходило завидовать Фиме, завидовать ее будущему первостепенному положению в тереме. Напротив, они радовались, что у них будет новая молодая хозяйка, которая наверно разрешит многое такое, чего теперь не позволяют старые, суровые боярыни. И они привязались к Фиме, как будто давно уже знали ее; они с детскою радостью принялись за многотрудное дело — снаряжение приданого царской невесте.

Но, кроме царевен да отчасти боярыни Годуновой, у Фимы не оказалось друзей в тереме. Напротив, все боярыни с каждым часом вооружались против нее все больше и больше. Никак они не могли примириться с мыслью, что дочь бедного касимовского дворянина будет их царицей. Многое бы дали они, чтобы эта свадьба расстроилась, чтобы в новой царевне оказался какой-нибудь изъян. Да отчего бы и не быть этому? Многие еще помнили судьбу невесты царя Михаила Федоровича, Марьи Хлоповой. Эта Марья Хлопова, как и теперь Фима, была из незнатного рода, и ее избрание пришлось очень не по вкусу тогдашним сильным боярам. Они опасались новой родни царской, тем более, что некоторые из Хлоповых отличались нравственными достоинствами и сразу полюбились молодому государю.

Царская невеста была уже наречена царевной и жила в тереме. Случилось так, что ее родной дядя крупно поговорил с одним из самых сильных бояр, Михайлой Салтыковым, а через несколько дней после



того «царевна» вдруг заболела. Болезнь ее была странная: «рвало и ломало нутрь и опухль была»...

Государь поручил наблюдать за лечением своей возлюбленной невесты тому же кравчему Михаиле Салтыкову. Лечил сначала дохтур Валентин Бильс, затем показывали ее лекарю Балсырю, — они объявили болезнь девушки незначительной и уверяли, что от болезни «порухи чадородию быть не может».

Салтыков отстранил дохтура и лекаря и рассказывал царю, будто они признали болезнь его невесты неизлечимой и жизнь ее ненадежной. Вместе с тем он успел вооружить против царевны и ее родных мать государя, великую старицу Марфу Ивановну, имевшую очень сильное влияние на сына.

Как ни боролись Хлоповы с боярской интригой, но осилить ее не могли. Назначен был собор, который и решил, что «невеста к государевой радости непрочна, а потому ее следует сослать с Верху».

И сослали несчастную Марью Хлопову, хоть она и совершенно оправилась от своей болезни, отправили ее в Тобольск, разлучив при этом с отцом и матерью.

Долго молодой царь Михаил Федорович не мог забыть своей милой невесты; но с матерью, строгой и властной старухой, да с боярами лукавыми он не в силах был бороться и наконец покорился своей участи — выбрал себе такую, царицу, которая была по мыслям всем окружающим...

«Эх, кабы и с этой болезнью какая лихая случилась! — думали обиженные боярыни. — Может, и ее бы сослали с Верху, а царь выбрал бы другую, кого-нибудь из наших»...

А тут вдруг, будто в ответ этим злобным желаниям, прошел по терему глухой слух, к которому жадно стали прислушиваться боярыни. Одна из постельниц царевны, Манка Харитонова, будто бы рассказывала сенным девушкам, что с царевною нынешнею ночью случилось что-то неладное. Спала она тихо и спокойно, и вдруг ее стало метать по постели, поднимало ее вверх на аршин, а то и более, а у рта пена! И будто бы видела все это своими глазами Харитонова. Боярыни тотчас же стали допрашивать Манку; но та ото всех своих слов отперлась и, как ни искали, кто пустил по терему слух недобрый про новую царевну, а разыскать ничего не могли.

В другое время, конечно, так не оставили бы. Пустили бы в ход пытку, так и те, кто ни слова не говорил, наплели бы на себя, со страху да муки, всякие небылицы. Но теперь боярыни для самих себя разыскивали и в сущности потушили это дело, не донесли о нем кому следовало. Одному они печалились, что царевны не на их стороне и ни малейшему дурному слову не хотят верить про братнину невесту. Будь это иначе — они ловко бы и скоро повернули дело.

«А теперь как быть? И ума не приложишь...»

— Да что тут думать-то? — порешила наконец княгиня Пронская, более всех ненавидевшая Фиму из-за своей дочки. — Правда ли то, либо нет, а боярину Морозову нужно про все доложить немедленно. Он царский дядька, он первый человек... коли что; так он и в ответе будет... на нас поклеп взведет, что мы-де утаили...

Собеседницы княгини в один голос согласились с нею. Они знали, что Морозов подставлял Милославских, и неожиданный царский выбор — ему острый нож в сердце.

В тот же день князь Пронский побывал у Морозова и передал ему, со слов жены, о том, что в тереме носят недобрые слухи, будто бы царская невеста испорчена.

Морозов выслушал внимательно, задумался и потом проговорил спокойным голосом:

— А не всякому слуху верь, князь, да и княгине своей закажи тоже... Мало ли что бабий язык наболтает!... Ведь царевну дохтур немец осматривал и нашел в полном здоровье. Это теремные бабы с досады да с зависти надумали, я так полагаю. Так скажи-ка ты княгине, чтобы она о тех речах пустяшных лучше помалкивала, о себе бы подумала; с таким делом шутить не след; избави Бог, царь узнает... сыск пойдет, так многим тогда плохо придется... Ишь, ведь, право, что надумали!...

Пронский с изумлением глядел на Бориса Ивановича. Совсем он его спутал этими словами.

«Ох, хитер же ты, Бориска! — подумал он. — Кажись, черта, и того проведешь, а уж нам-то, грешным, где тебя раскусить...»

Так вот и остались пока ни с чем теремные завистницы.

Между тем слух все же был пущен; он шепотом повторялся во всех углах терема. И если бы Фима была внимательнее, она бы

заметила странные и подозрительные обращаемые на нее взгляды; но ни она, ни царевны в своих хлопотах и радости ничего не заметили.

## X

Было послеобеденное время, в которое обыкновенно тишина находила на терем. Плотно покушав, и царевны, и все теремные жительницы позволяли себе соснуть часок.

Фима, по примеру других, прошла в свою опочивальню и уже готова была прилечь на кровать, не для того чтобы заснуть, а чтобы среди тишины да покоя подумать о своем счастье, подумать о том, кто так близок от нее и кого между тем она все еще не может видеть. Вдруг двери опочивальни тихонько отворились и пропустили существо очень странного вида. Фигура сухощавая и длинная, на голове большая кика, вся ушитая бисером и медными погремушками; черный суконный, так называемый вдовий, опашень; телогрея лазоревая на зайцах, сапоги красные, золотом шитые, на каблуках высоких. Лицо, сухое, с большими огненными глазами, само по себе ничуть не смешное, а даже скорее печальное, но в то же время самым потешным образом размалеванное белилами, румянами и сурьюю. Брови кольцом выведены, щеки белые, а нос, лоб и подбородок красные. Странная эта женщина притворила за собою дверь, сделала дикий прыжок к Фиме, тряхнула кикою, отчего зазвенели все привешенные к ней бубенчики, и неестественно засмеялась.

Фима уже знала ее — не раз видала. Это была дурка-шутиха царевны Ирины, по имени Катерина.

— Чего тебе? — изумленно спросила Фима. — Царевна зачем-нибудь прислала?

Шутиха перестала смеяться, и вдруг лицо ее, даже несмотря на размалевку, сделалось очень серьезным:

— Царевна спит, все спят, — заговорила она. — А ты не спишь, вот я и пришла. Не гони, все равно не уснешь, а я тебе забавное скажу что-нибудь... Нет — вру, ничего не скажу забавного, скажу другое... Ты думаешь, ты кто? Небось скажешь: царевна — невеста царская! — небось скажешь? Ан и совершь. Ты самая что ни на есть несчастная и бедная девка — и мне тебя жалко!...

Фима села на кровать и с изумлением и даже страхом посматривала на шутиху, а та продолжала, подсаживаясь на пол у ног ее, подперши обеими руками свою голову и глядя на нее черными выразительными глазами:

— Я дурка-шутиха, потешная баба, я день-деньской языком болтаю, а все же подчас вижу то, чего никто не видит... Эх-ма, сорок шестов собачьих хвостов да сорок кадушек соленых лягушек!... Нешто не видала я, как тебя, горемычную, сюда притащили? Каждую думку я на лице твоём читала; я потом видела, как на царя воззрилась, а он на тебя. Ты небось тогда думала, что это гусяр молодой, а я уж знала, как оно все будет. Говорили: Марья Милославская, а я знала, что не она, а ты; а вот теперь и опять сбилась. Теперь уж они говорят: ты, а не Марья Милославская, а мне сдаётся: не ты, а она...

Фима вздрогнула; ей сделалось совсем страшно, она уж хотела выбежать и позвать кого-нибудь, чтобы увели эту сумасшедшую, которая так глядит на нее и говорит ей такие непонятные речи. Шутиха заметила ее движение и придержала ее.

— А, испугалась?! Ну так не бойся, царевна, я не так говорить буду.

Она действительно изменилась — ее голос сделался нежным, глаза кротко смотрели.

— Да, не так говорить стану, жалко мне тебя — вот что! Немало я на свете навидалась горя и чую, что стоит теперь и над тобою горе. Бедная пташечка, улететь бы тебе в родное гнездышко да и остаться там навеки, а прилетела ты, вольная, лесная пташечка, в золотую клетку, — боюсь, как бы не заела тебя злая кошка... Видела ты его... видела? он стоял тогда за ним, за царем, белый такой, с черной бородой — он и есть та самая злая кошка!... Боярином Морозовым прозывается! — шепнула она совсем уже на ухо Фиме.

— Да не томи меня, не мучь! — со слезами сказала девушка. — Что ты пугаешь меня?! Что терзаешь мне душу?! Заметила я Морозова — ох как заметила! Как в первый раз глянула на него, так сердце во мне и замерло... Страшен он мне очень, а теперь вот и ты говоришь... что же это такое?!!

Шутиха вскочила, подошла к двери, тихо отворила ее, прислушалась и затем вернулась на свое место, к ногам Фимы.

— Ну вот и чую я — недоброе против тебя замышляется. Морозов хитер, да и не один Морозов, многие обижены, что тебя царь выбрал. Им нужно известить тебя — понимаешь? Так вот я и пришла сказать тебе это — будь осторожна, не верь никому... Ох! не верь никому! Каждый кусок ешь, каждый глоток пей с опаскою — всяко бывает.

У Фимы сердце заныло, тоска и ужас охватывали ее все больше и больше. В словах этой страшной женщины, в лице ее было что-то, что говорило теперь Фиме о серьезности, о справедливости этих слов ее. Не пугать она пришла, не злую шутку шутить, а, видно, взаправду уберечь хочет. Но что же делать? Фима почувствовала себя совсем одинокой, окруженной чужими, страшными людьми, и ни одной-то близкой души нет возле! Она горько заплакала.

— Да ты не плачь, царевна, — сказала шутиха, — а подумаем-ка лучше, как помочь горю. Я-то за всем следить буду и коли что — тотчас же доложу тебе... А пуще всего берегись постельницы своей — Манки... Ох! скверная баба! Я ее уж и допреж того, при покойной еще царице, заметила. Она тебе враг лютей, не допускай ее до себя, прогони прочь скорее.

— Она? неужто? не ошиблась ли ты?! Она, кажется, такая добрая, так мне угождает.

— Не верь ей, голубушка. Дьявол, прости Господи, испокон веков ласковые личины принимает да сладкие речи придумывает, когда хочет погубить человека. А вот что скажи ты мне, — чай, была у тебя мамка, что дома-то, у родителей, ходила за тобой. Жива ли та мамка твоя? На Москве ли она?

— На Москве, — ответила Фима.

— Так вот и попроси ты через царевен государя, чтобы тебе дали твою мамку. Скажи, что соскучилась по старухе, что она привыкла угождать тебе — царь не откажет. И близкий человек у тебя будет, да и легче тогда уберечься.

— Ах! спасибо тебе, Катеринушка!

Фима вся так и встрепенулась при мысли о Пафнутьевне.

— Спасибо тебе за слово твое разумное! Немедля же буду просить царевен, чтобы доложили государю... С Пафнутьевой мне не так страшно будет!

— Так как же это ты, голубушка, меня гнать хотела от себя, а вот мы и додумались! — ласково проговорила шутиха и поднялась, чтобы

уходить, но Фима ее остановила.

— Побудь со мною, — сказала она, — я полюбила тебя, поговорим-ка. Скажи мне, Катеринушка, многого я тут не понимаю — чудес много в тереме. Да вот хоть бы ты сама, зачем ты такая? Зачем тебя все шутихой-дуркой называют? Зачем ты кривляешься, на кике бубенчики носишь, слова разные потешные приговариваешь?

Шутиха горько вздохнула и покачала головой, отчего опять на все лады залились ее бубенчики.

— Да уж как и сказать тебе, царевна, — не знаю. Годов восемь тому жила я счастливо, припеваючи. Муж был, детки были; только и пришла беда неожиданная: болезнь лихая забралась к нам в Суздаль, мор пошел. В одну неделю и муж, и детки померли. Обезумела я совсем, весь день и ночь в голос голосила, головой об стену билась. Ну а потом слезы вдруг и пропали, да и жалость будто пропала, тошно только было глядеть на свет Божий. Зло вдруг стало разбирать меня, зло на всех. Бывало, день-деньской сижу на одном месте и все думаю, думаю, перебираю в памяти всю-то жизнь мою, а я-то многого навидалась, всякой неправды людской, всякой дурости. Опротивели мне люди, а зло так и кипит во мне, — и хохочу я сама с собою... Помню, день праздничный выдался, на базар я вышла, вижу, мужики дерутся, муж жену бьет, вор бежит с покражею, подьячие народ пугают воеводою, последнюю шкуру сдирают, народ в кабак валит. Так и покатила я со смеху! Что уж им всем говорила — не помню, откуда слова явились, присказки... И пошла я с того дня слыть шутихой. Проведал про меня воевода, на Москву отписал. А в ту пору царевна Ирина, еще дитей она почти была, у матушки своей царицы новую дурку запросила — вот и привезли меня. И не первый год, а четыре года живу я в царском тереме. Многому уже и здесь научилась, многого навидалась, о чем прежде и не грезилось. И все пуще разбирает меня хохот. Не раз ночью проснусь в каморке своей, сяду на лавку, да и хохочу себе. Ну да не все же смех, не все шутовство одно, тяжело бывает — тогда плачу. Вот и о тебе поплакала, да и притащилась сюда. Спасибо, что шутиху не выгнала...

Боязно и внимательно слушала Фима эти странные речи, и долго они беседовали, и много нового и удивительного порассказала царской невесте Катерина. Говорила она ей про царевен и про царицу покойную. Говорила о том, что не больно-то радостна жизнь царевен.

— Глупые люди завидуют, — говорила она, — а того не размыслят — чему завидуют? Весь-то век в терему, не ведают света Божьего... родилась царевной и умрет царевной. Не будет у нее семьи, не будет ни мужа, ни деточек. От царского рода — откуда ей мужа добудешь? Вот хоть бы и моя царевна, Ирина — давно уже невеста, да и жених даже был, был да и сплыл, и поминай его, как звали.

— Ах, Катеринушка! расскажи мне об этом, пожалуйста, слышала ведь я что-то, только спросить царевну все как-то боязно, а сама не говорит.

— Да вот как дело-то было, — ответила шутиха. — Царь-то покойный крепко любил свою доченьку старшую, и не хотелось ему, чтобы оставалась она в девках. Задумал найти он ей мужа, из чужого государства королевича. Прослышал это он, что в немецкой земле, Дания она прозывается, есть у царя тамошнего сынок молодой — и послал он туда послов. Так-де и так! чтобы прислали того королевича. Ну, королевича не прислали — послы ни с чем вернулись. Погодя, государь Михаил Федорович посылает опять туда, только уж не послов, а немца Марселиса. Немец тот по сию пору у нас на Москве живет. Вернулся немец, говорит: прибудет королевич. И точно — прибыл, да и не один, а со многими людьми ратными. Принимали его, чествовали. Вольмаром тот королевич прозывался, собою красавец писанный, говорят, да разумный такой, уветливый. Государь и говорит ему: «Возьми за себя дочку нашу, царевну Ирину, и живи с нами; много городов и вотчин мы тебе пожалуем, только так как ты, значит, в басурманскую веру крещен, то должен от той веры отказаться и креститься в нашу веру истинную, православную». Королевич на слова эти государевы такую речь держал: «Царевну я возьму за себя, и города, и вотчины тоже, жить буду у вас в послушании, а веры своей басурманской менять не стану». И тут же попрекнул государя: «Ты, говорит, моему отцу обещал не нудить меня в вере, с тем я только и поехал, как же теперь-то? — неладно оно выходит!» Осерчал наш царь: «Бесприменно должен ты переменить веру!» Тот твердит свое: «Не могу я того сделать, и коли так — отпусти меня в мою землю!» А царь все не отпускает. Приставил стражу к королевичу, патриарху приказал его уговаривать, да ничего из того не вышло — стал басурман на своем. Под конец освирепел совсем, бежать хотел, а как его остановили, так он со своими людьми басурманскими наших

стрельцов видимо-невидимо побил. Пуще прежнего караулить его стали — бежать ему уж и нельзя было; закручинился немец, сна лишился, пищу перестал принимать. Говорят царю: «того и жди помрет». А царь все одно твердит: «Пусть крестится на веру православную, тогда мы ему всякие почитания окажем, а не хочет, так взаперти держать будем и домой не отпустим». А у самого-то у царя кошки скребут на сердце... видала я его тогда... как приходил он к царице... хмурый такой, пасмурный... на себя непохож стал — как-то ему было обидно... И что же бы ты думала? — чем все это кончилось?! Хворал царь, хворал, да и помер, а за ним скончалась и царица. Так вот месяца с два тому времени, что ли, отпустил государь Алексей Михайлович того королевича Вольмара подобру-поздорову, а царевна Ирина ни с чем и осталась... жениха своего ни разу и не видала... Вот какие дела у нас делаются!...

Между тем в тереме началось движение — все проснулись. Шутиха первая слышала это движение своим чутким ухом и, еще раз уверив Фиму в том, что будет наблюдать за всем и за всеми, поспешно вышла из опочивальни.

И долго неподвижно сидела Фима — новый мир, страшный и чудовищный, встал перед нею и заслонил собою ее молодое счастье.

## XI

Царь, конечно, немедленно и с радостью согласился на просьбу Фимы относительно переселения в терем Пафнутьевны, и за старой мамкою тотчас же было послано.

Не прошло и часу, как ее уже ввели в покои царской невесты. Пафнутьевну несколько это не удивляло — она была заранее уверена, что Фимочка вспомнит о ней и потребует ее к себе бесприменно. Кто же так может услужить ей, как старая мамка, ведь со дня рождения она ходила за нею! Каждую ночь, в течение почти семнадцати лет, спать ее укладывала, сказки ей на сон грядущий говаривала...

Войдя в царский терем, Пафнутьевна не испытывала никакого смущения. Ее чувства были совершенно иные, чем у стариков Всеволодских. Она была слишком стара и равнодушна к внешней обстановке жизни, чтобы поразиться не виданной ею до сих пор роскошью. А насчет того, что ее Фимочка так внезапно сделалась



хозяйкой всей этой роскоши — ведь она уж давно порешила, что так оно и должно, и будет непременно. Не смущали ее также встречи с разными важными боярынями, а глядя на попугаев в золоченых клетках, на обезьян да на карл с арапками, она только отплевывалась и про себя шептала: «Тьфу ты, мерзость какая, прости Господи!»

Войдя в опочивальню царской невесты и поджидая Фиму, которой пошли о ней докладывать, она внимательно осмотрела все убранство, тотчас же подошла к кровати, перешупала перины и подушки, одеяло, перестлала живо постель, как ей показалось удобнее, и, окончив эту работу, одобрительно кивнула головою. Особенно понравился ей киот с драгоценными образами. Положила она набожно три земных поклона за здоровье Фимы и поправила лампадку.

— Здравствуй, Пафнутьевна! — звонко крикнула, вбегая и бросаясь к старухе, Фима.

— Здравствуй, дитятко! — радостно и в то же время спокойно ответила старуха.

Фима плакала, обнимаясь с мамкой, но та не проронила слезинки.

— Что ты это, зачем плакать? — шептала она. — Грешно плакать на такой радости. Покажись-ка, дитятко!...

— Так, так, — повторяла она, разглядывая наряд Фимы, — все как следует... Хорошо! Царевна!... слава-те Господи! — закончила она, перекрестившись. — Дождалась-таки я радости.

— Ах, Пафнутьевна, садись, садись скорей! Чем мне угостить тебя? Чего хочешь, скажи только, тут все есть, всего вдоволь.

— И что ты, родная, до еды ли мне! Да я уж и отобедала.

— Ну так рассказывай скорее, что там у нас делается? Все ли здоровы? Что батюшка, матушка?... Андрюша?... Ведь Андрюшу-то я совсем не видала.

— Все расскажу, дай время.

И еще раз оглядевшись, погладив Фиму по голове и поправив на ее шее нитку крупного жемчуга, Пафнутьевна своим мерным голосом стала рассказывать:

— Все у нас, слава-те Господи, благополучно, только шуму много — наезжают бояре, кланяются твоему батюшке, твоей матушке — почет ведь им теперь такой, что на поди! А Андрюши весь день дома нет, у невесты своей, чай слышала? Вчерась у родителей спросился,

завтра сватов засылать будет. Да только мне не совсем по сердцу это дело.

— Отчего так, матушка? — перебила Фима. — Кажись, Машенька девушка хорошая.

— Ну, как кому! Первое — что-то еще скажет приданое, второе — все как-то не по-божески делается. Где это видано, чтобы парень еще до сватовства торчал так в доме?!

— А у нас-то, — невольно бледнея, прошептала Фима, — разве не то же с Митей было?

Старуха строго поглядела на свою питомицу.

— Ты бы, матушка, теперича о Мите и не говорила — совсем некстати! Забудь и думать о нем. Вот и Настасья Филипповна мне наказывала, как отпускала сюда: скажи, мол, Фиме: ни гу-гу! как раз еще беда выйдет.

— Сама знаю, — ответила Фима, — да я о нем и не думаю, о другом теперь все мои мысли, а все же мне его жаль, мамушка! не слышала ли чего о нем, не видала ли?

— Как не видать! Сходила, проведала... Хмурый он, молчаливый, только ничего, обойдется. Он парень разумный, понять должен, что ничего тут не поделаешь. Все перемелется, не тужи ты об этом, совсем из головы выкинь! А вот что я скажу тебе: старик-то, Пров, шепнул мне, вишь ты, Осина проклятый отыскался... Они его выследили. Говорил Пров: «Не уйдет он от меня — не ныне, завтра словлю его и куда след предоставлю».

— Ну, слава Богу, — сказала Фима и перекрестилась, — а то я не раз уж об этом помышляла. Я-то здесь, батюшки не вижу день-другой, не слышу о нем — вот все и думается; ну как тот разбойник где-нибудь повстречался!... Ох, страшно! Сама ты, мамушка, знаешь, от него всего ждать можно. Так это ты хорошую весть принесла мне. Только бы узнать скорей, когда Пров его словит, вздохну я тогда спокойно.

Долго они толковали о делах своих домашних. Фима поверила старой мамке все душевное состояние, рассказала о страхах своих, о свидании с шутихой Катеринкой.

Пафнутьевна задумалась и долго сидела молча, поджимая губы и как-то особенно жуя беззубым ртом.

— Так вот оно что! — наконец тихо и печально проговорила она. — Ах они, злодеи! Вот этого-то в мыслях моих и не было. Как же

это они на невесту-то царскую злоумышлять смеют? Нет, тут неладно что-то, может, еще наврала тебе эта шутиха-то, кто ее ведь знает, какая она! Да вот теперь не отойду от тебя, ну что они тут сделают!... Скоро ли обручение-то?

— Через два дня, Пафнутьевна.

— Дай-то Господи поскорей! Нагляжусь я на тебя, дитятко, в венце-то царском, золотая моя пташечка! Ну а потом как же, у себя навсегда оставишь, что ли?

— Еще бы! Неужто прогоню тебя?

— То-то, родимая, то-то? А теперича ты, дитятко, ступай себе с Богом, говорила ведь: царевны ждут тебя, — так ступай к ним, а я тут останусь. Стара, стара, а все же не совсем разума меня Господь лишил, поразгляжу всех, все выведаю, в обиду не дам тебя, будь покойна!

Фима отправилась к царевнам, а Пафнутьевна стала мало-помалу знакомиться с новой обстановкой, и тут для нее был труд немалый: слишком велика, слишком запутана для ее старой, непривычной головы оказалась теремная машина, да к тому же какими-то хитрыми, двуличными показались ей Фимины прислужницы. Из-за их ласкового обращения и внимания, которое ей оказывали как царевниной мамке, она замечала что-то неладное. И, действительно, неладного было много. Слух, пущенный постельницей Харитоновой, не затих, но напротив, с каждым часом разрастался.

— Видно, и взаправду болесть какая с царевною, — шептались между собою теремные женщины младшего чина, — вон, вишь ты, и мамку свою она сюда перетасила. Это отвод один, известное дело, мамка ее не выдаст и, коли взаправду с ней по ночам родимчик приключается, так старуха все скроет. Ну да ведь мы уж выследим, такого дела не оставим. Как можно молчать, на такое дело глядячи!...

А когда пришел вечер и Фима объявила, что она будет спать вместе с Пафнутьевной, и когда Пафнутьевна крепко заперла дверь опочивальни, недобрый слух пошел еще пуще по терему. Шептались и толковали не только младшие постельницы, но и верховые боярыни.

## XII

Царь не в силах был дольше откладывать торжественного обручения, да и не было к тому никакой помехи.

На следующее утро во дворец снова были созваны все высшие сановники. С вечера уже был приготовлен пышный наряд для невесты. Царевны сами снесли его к ней в опочивальню. Принесли туда и тяжелый венец царский, в котором она должна была выйти к царю.

Пафнутьевна весь этот вечер не отходила от Фимы. Она сама теперь чего-то боялась, чуяла что-то недоброе. Она решилась никого не впускать к Фиме, всю ночь не спать, сторожить ее, чтобы чего не случилось.

«Ох, жутко! — думалось ей. — Похвалилась это я Фимушке, что уберегу ее, а как тут убережешь, в этаким-то содоме!... Ну уж и теремок! и куда это столько покойчиков понастроено... а стены-то все обвешаны сукнами да атласом — и не видно под тем сукном и атласом — может, где и дверка потаенная прячется, может, где и глаз человеческий в щелку глядит на тебя, все видит, а ты его и не заметишь... Везде половики толстые да мягкие разложены — подкрадется к тебе человек — что хошь с тобою сделает — и глазом не моргнешь... А уж люди-то здесь, люди! упаси Господи — ровно на разбойников в темном лесу на всех озираешься... Мало ли что могут придумать злые люди, мало ли какое колдовство пустить могут!...»

Она тщательно перестлала, пересмотрела постель и не нашла ничего подозрительного. Сама сходила на колодец за водою для умыванья. Несколько раз Манка Харитонова, все эти дни очень к ней подбивавшаяся и никак не могшая достигнуть своей цели, просила у нее позволения помочь ей в чем-нибудь. Пафнутьевна решительно отстраняла все ее услуги, а также услуги других постельниц.

Наконец Харитонова из сил выбилась и с озабоченным видом бродила по теремным коридорчикам и переходам, очевидно, что-то важное обдумывая.

Когда все в тереме стали засыпать, она незаметным образом оделась и вышла на один из дворов кремлевских. В укромном, заранее условленном месте дожидался ее Мишка.

— Ну что? — спросил он. — Как дело идет? Дала ли ты ей того зелья?

— Вот оно, вот, бери! — злобным голосом сказала Харитонова, подавая какой-то маленький сверточек Мишке. — Не пригодилось твое зелье — никакого нет доступа! Старуха проклятая, как собака, от нее не отходит, ничего не поделаешь. Другое придумать надо.

— Эх, что ж это ты, Марья, опростоволосилась, — смущенным голосом выговорил Мишка, — а мы на тебя в крепкой надежде были... Что ж теперь-то? Другого ничего не придумаешь!

— Тебе не придумать, а я, может, и придумаю, — огрызнулась Манка. — Поди теперь доложи боярину, что с зельем ничего нельзя было поделать, да, может, оно еще и лучше. Утро вечера мудренее, придумала я кое-что — и без зелья справимся.

— Ну, что такое? Говори, передам боярину.

— Ан нет, не скажу. Коли взялась я за дело, так одна его и сделаю. Останетесь довольны. Только смотри, чтоб уговор в точности соблюден был, сто рублей от боярина, да соболью шапку, да у новой царицы место казначеи. И скажи ты ему, чтобы он никак не отступался, ты меня знаешь, — коли обманете, себя не пожалею — на пытку, на казнь пойду, а уж выведу наружу все дело.

Манка поспешно простилась со знахарем и вернулась в терем. Ночь прошла благополучно.

Фима долго не могла заснуть от волнения, от разнообразных мыслей, но потом все же заснула.

Пафнутьевна на войлоке, в ногах ее постели, не спала, сидела и не сводила глаз с нее, только временами вставала она, чтобы поправить лампадку, и опять садилась на войлок, и опять глядела на свою Фиму.

Тихо было в тереме.

Сон начинал клонить Пафнутьевну, но она ему не поддавалась.

Между тем сон Фимы сделался тревожен; очевидно, ей грезилось что-то страшное. Она вся раскинулась на постели, произносила слова непонятные, вздрагивала. Пафнутьевна достала у киота святой водицы, окропила ее Фиму, и та стихла. Светлый сон наплывал на нее; ей снился лес зеленый, весь залитый солнечным блеском, весь усыпанный яркими цветами и сочными, спелыми ягодами земляники. И вот идет она по этому лесу, как в прежние детские годы, но не одна — с нею он, государь молодой, такой, каким был в ту минуту, как впервые глянул на нее своими чудными очами из-за двери царевниной палаты. Нет на нем златотканой царской одежды, простой кафтан суконный да черная смушковая шапочка. Но так он милее еще, в этом простом наряде, — таким она его полюбила. И бредут они по лесу зеленому, собирая цветы да ягоды. Крепко прижимает он ее к сердцу, шепчет на ухо речи любовные, а солнце так ласково, так приветно

светит, и птицы над головами их поют, заливаются. Но кто это идет им навстречу? Кто идет, понутив голову? Это он... Митя... Вот он подошел к ним, вот глянули на нее его очи знакомые, глянули с несказанной укоризной, — и сжалось ее сердце тоскою. И то же... глядит она, ан у него на шее полоса кровавая... Не своим голосом крикнула Фима и опять заметалась на постели, и опять кропит ее святой водою Пафнутьевна. Но, меняясь, одна за другою исчезают страшные и светлые грезы; глубокий сон обуял Фиму. Дыхание ее ровно. Успокоилась было и Пафнутьевна, да вдруг слышит — подбирается кто-то к дверям опочивальни; вот скрипнула дверь, выглянуло лицо чье-то да сейчас же и пропало. Вскочила Пафнутьевна, в коридорчик выглянула. Никого нету, тьма кромешная...

— Изверги! изверги! — шепчет старуха и садится опять сторожить свое ненаглядное дитяtko.

### XIII

Утром рано проснулась Фима — бодрая и веселая. Все ночные страхи пронеслись бесследно. Она думала теперь только об одном, что вот скоро увидит жениха своего, а потом пройдет еще несколько дней, и настанет жизнь райская, блаженная.

Царевны, боярыни и служанки Фимы собрались в ее опочивальню, чтобы присутствовать при ее наряде.

Прежде всего нужно было убрать голову.

Сама боярыня Годунова взялась причесать Фиму, но дело это как-то не спорилось в ее старых дрожавших руках. Она должна была отказаться.

— Кто тут из всех из вас искусница косу заплетать да перевивать жемчугом? — спросила она, обращаясь к постельницам.

Из среды их, скромно опуская глаза, вышла Манка Харитонова.

— Не раз я покойную государыню причесывала, да и царевен тоже... — проговорила Манка. — И за искусство мое государыня к руке меня жаловала... Прошу дозволить мне причесать красавицу-царевну; так уж сделаю — любо-дорого посмотреть будет.

Все припомнили, что действительно постельница Харитонова мастерица этого дела, только Фима, предупрежденная шутихой относительно Манки, вопросительно взглянула на Пафнутьевну.

— Да уж позвольте мне, боярыни, причесать мое дитятко. С детства ее кажинное утро причесывала, авось справлюсь, — проговорила старая мамка.

Она уже взялась за гребень, но Годунова отстранила.

— Не суйся, старуха, — сказала она, — где же тебе знать, как с жемчугом управляться, ты его небось никогда и не видывала.

Годунова взяла из ее рук гребень и передала его Манке.

Та, вся вспыхнув и блеснув глазами, принялась за дело. Живо расплела она длинные и густые волосы Фимы, взяла несколько ниток жемчуга и начала плести косу, искусно вплетая в нее жемчуг. Волосы Фимы так и извивались, будто живые, под ловкими пальцами постельницы. Вдруг царская невеста слабо вскрикнула:

— Ой! как ты мне стянула волосы, отпусти немного!

— Что ж это, государыня царевна, никак нельзя иначе. Гляньте-ка, боярыни, разве плохо я делаю косу?

И она продолжала свою работу.

Фима молчала. От прикосновения гребня и горячих рук Манки на нее находило какое-то полузабытье. Она отдалась не то мыслям, не то грезам — и уже не замечала, как сильно стянуты ее волосы, как кровь начинает приливать к голове и на висках бьются жилы.

Вот коса готова, ниже колен она падает, отливаясь золотом и сверкая жемчугом. На лоб красавицы надета тяжелая повязка, вся шитая золотом, с падающими вниз большими бляхами и с сетчатыми длинными золотыми подвесками, унизанными жемчугом.

Затем с большою торжественностью стали одевать Фиму. Надели на нее длинную, тонкую белую сорочку, а потом другую из алой шелковой материи, шитой золотом и унизанной опять жемчугом и дорогими камнями. Затем принесли телогрею распашную с широкими рукавами. Но наряд невесты был еще далеко не кончен. Принесли несколько ларцов с тяжелыми ожерельями, серьги, запоны, перстни...

Мало— помалу Фима начала чувствовать, что и стоять ей тяжело в этом торжественном, дорогом наряде. Массивная повязка сжимала ей лоб, огромное ожерелье давило горло и оттягивало плечи, а между тем царевнам и боярыням все казалось еще мало, они не знали, чем уж и украсить Фиму.

Никогда еще не испытанная головная боль усиливалась с каждой минутой; как свинцом была голова налита, а тут еще принесли венец тяжелый и, чтоб как-нибудь не упал он, плотно надели.

— Я головы повернуть не могу, у меня в глазах рябит! — сказала Фима.

— Ну что это ты, государыня царевна, — наперерыв друг за другом вскричали боярыни, — уж и тяжело!... А хотя бы и так, потерпи немного, зато и наряд же! одних камней да жемчуга целых два ларца опростали!

Манка Харитоновна стояла неподвижно, будто любуясь Фимой. Глаза ее блестели, на губах время от времени мелькала торжествующая усмешка.

Пафнутьевна ходила кругом своей царевны, любовалась ею, и в то же время на сердце у нее было как-то тоскливо, будто она чего боялась, а чего — и сама не знала...

Фиму повели в палату, где уж дожидались ее и царь, и бояре. Она глянула назад, на Пафнутьевну, которая стояла и крестила ее вслед дрожащей рукою. Ей захотелось сбросить с себя всю эту мучительную роскошь, растоптать эти камни, этот жемчуг, это пудовое золото... ей захотелось броситься на шею мамке и умолять ее, чтобы она унесла ее куда-нибудь, дальше, дальше...

Что это? отчего так страшно? Отчего такое мученье? Перед глазами ходят зеленые круги... Она шатается.

Две боярыни ведут ее под руки. Вот и палата. Народу видимо-невидимо, но она никого и ничего уж не видит, в голову стучит точно молотком, совсем отяжелела голова, так сама и клонится; а между тем держать ее нужно прямо, не то упадет венец, что тогда будет!... Голова горит, а руки, ноги, все тело — леденеют, что-то сосет под сердцем, что-то подступает к горлу, и на шее жилы надуваются.

«Где же он, где?» — думает Фима и ищет глазами царя. Вот он... он направляется к ней. Вот пришла торжественная минута... Она различает ризы собравшегося духовенства. Он здесь... Он возле нее. Он протягивает ей руку, а за ним опять это ненавистное бледное лицо с черной бородой. О, с какой страшной злобой глядят на нее пронзительные глаза боярина Морозова!... Вдруг свет меркнет перед нею, все сливается... Зеленые круги делаются красными, потом



желтыми — и ничего не видно... Фима пошатнулась и с громким криком упала на пол.

Трудно передать то впечатление, какое произвел этот крик, это падение царской невесты на всех собравшихся в палате. Молодой царь, за минуту перед тем с обожанием и восторгом глядевший на свою Фиму, сам вскрикнул и бросился к ней, стал поднимать ее.

Она лежала в своем тяжелом царственном наряде совсем почти бездыханная. Венец спал с головы ее, все лицо налилось кровью.

Боярин Морозов подал знак, чтоб призвали женщин и унесли царевну.

— Вот горе! — громким голосом сказал он. — Недаром в тереме поговаривали, будто царевна испорчена... а я тем слухам веры не дал... думал, то бабьи выдумки... ан нет! Только Бог милостив, не допустит Он конечного несчастья и гибели! Вовремя оказалось, что у царевны немочь падучая! — Он оглянул собравшихся торжествующим и зорким взглядом.

«Немочь падучая!» — это слово мигом облетело всю палату, повторилось всеми, и не нашлось ни одного человека, который бы выказал сомнение, который решился бы объяснить обморок царской невесты какой-нибудь случайной причиной, который обратил бы внимание на то, до какой степени затянуты ее волосы, как тяжел головной убор ее. Все были рады найденному слову, все были рады этой падучей немочи, которая обещала новое избрание, новую возможность поправить дела и тех и других. Один только человек, долго неподвижно стоявший в углу палаты и бессмысленно озиравшийся, вдруг вскрикнул:

— Немочь падучая! Лжете вы все! Здорова дочь моя, никогда никакой за ней не бывало немочи!

Раф Родионович с искаженным отчаяньем лицом, расталкивая всех, кинулся к Фиме, наклонился над нею и быстро сорвал повязку с головы ее. Он увидел на лбу ее яркую красную полосу; а Фима в то же время вздохнула и открыла глаза. Подбежали взволнованные боярыни и, прежде чем Раф Родионович вымолвил слово, схватили ее и унесли в терем.

Царь закрыл лицо руками и зарыдал как малый ребенок.

В тот же день слух о происшествии с царской невестой разнесся по всей Москве. Одни толковали, что Всеволодские своими хитростями скрыли от царя болезнь дочери, что она давно уже испорчена, другие не верили этому и вспоминали давно позабытую историю Марьи Хлоповой. «Все это бояре-злодеи, должно полагать, опоили, отравили девицу неповинную!!»...

Всюду тихонько, на ухо друг другу передавалось имя боярина Морозова как главного виновника этого события. Московские жители давно не любили его.

Весть о печальном происшествии дошла и до Дмитрия Суханова, который все эти дни не выходил из дому и не смел показываться на глаза Всеволодским после последнего сделанного ему приема. Но услышав от своего хозяина про то, что толкуют в народе, он как сумасшедший бросился в дом Куприяновой.

Там встретила его сама Куприянова и, взглянув на ее отчаянную фигуру и заплаканные глаза, он сразу убедился, что действительно с Фимой случилось что-нибудь неладное.

— Что, что такое? — повторял он прерывающимся голосом. — Ради Христа, не мучь, скажи...

— Ах, батюшка, — завопила Куприянова, — такое стряслось, что ажио разум мутится... Фиму-то опоили, что ль, чем, перед царем и боярами криком закричала и упала как мертвая. Ну, сейчас по всему двору говорить стали: «Порченная!»... будто бы Раф-то Родионыч да Настасья Филипповна знали про то давно, да скрыли... Набежали ко мне сюда люди ратные — Раф-то Родионыч в Кремле был — так Настасью Филипповну схватили да потащили. Что уж там такое теперича с ними — я и не ведаю! Хотела бежать да спрятаться, ан нет, где уж тут, не спрячешься, а и меня потянут, чует сердце мое, что потянут, пытать станут... Вот времена-то... И за что ж это?

Она заломила руки и громко завопила. — Меня-то за что же? Я их по родству да по доброте моей приютила, а из-за них вот теперь пропадать мне и со всем домом, что ж это за напасть такая! батюшки!...

Суханов ее уж не слушал. Он бросился вон из дому. В Кремле расспрашивал всех кого мог, и все ему повторяли одно и то же: «Родителей девицы той пытать будут — знамо дело, обман государя не шутка... вина великая, а с ней что станет, того никому не ведомо».

Пробовал было Суханов пробиться дальше во дворец, но об этом нечего было и думать. При первом неосторожном слове его схватили бы, и тогда ничем уж и никому он не мог бы помочь. И побежал он обратно к себе, чтоб посоветоваться с Провом. А Пров его дожидался с новой вестью.

— Не ведаю, — говорил Пров, — кто зачинщик в том деле, кто нашу боярышню испортил, а знаю одно — причастен тут немало Осина. Выведал я, где он скрывается. У знахаря в слободе Стрелецкой. И вместе с тем знахарем каждый день они то в Кисловку, то в Кремль ходят, — все разузнал.

Недолго думая, Дмитрий заставил Прова вести себя в Стрелецкую слободу и указать, где там живет знахарь. Дело было уж к вечеру, как дошли они до избы Мишки Иванова. По всем признакам хозяина не было дома. Немая старуха, видно, тоже ушла куда-нибудь или спала крепко. Как ни стучался Дмитрий, никто изнутри не отзывался.

— Так подождем, — сказал Пров, — вернутся же они... Уж теперь не уйдет он из наших рук, хоть и заколдовал себя, а не уйдет...

Они стали бродить по опустевшим темным улицам.

Прошло с полчаса времени. И вот различили они во мраке как будто две фигуры. Два человека действительно направлялись к избе знахаря. Дмитрий и Пров прокрались за ними. Вот они у калитки, стучат в нее, но им никто не отпирает.

— Эх, чертова баба, — говорит один из стучащих, — напилась, видно, да и дрыхнет, что с ней станешь делать. Придется через забор лезть, не ломать же калитку.

— Да постой, постучи еще, может, откликнется.

Дмитрий и Пров так и вздрогнули — они узнали голос Осины. Дмитрий уж хотел броситься на врага своего, но Пров его удержал.

— Постой, — шепнул он, — постой, время терпит, теперь не уйдут уж, Слушай...

— Право слово, через забор полезу, — говорил Мишка, — прозяб больно, мороз вишь ты какой!

— Ишь, прозяб! — перебил его Осина. — А мне нынче хоть всю ночь простоять на морозе, так не замечу — сердце согрелось, вот что! Вся душа кипит, радуется. Ведь я уж, признаться, думал — пропало наше дело, — ан нет, вывезла кривая!... Большой ты, брат, знахарь — да и со своею знахаркою, кумою Манкой. Может, уж винится теперь на

дыбе Раф Всеволодский, плетет околесную про немочь своей доченьки...

Все стало ясно для Дмитрия. Не помня себя, выхватил он нож, и прежде чем Осина успел произнести слово, навалился на него и запустил этот нож ему в грудь по самую рукоятку.

Пров между тем в свою очередь кинулся на Мишку и, не давая ему опомниться, крепко-накрепко стянул ему кушаком руки за спиною. Мишка завопил благим матом, но Дмитрий, бросив заколотого насмерть и только слабо хрипевшего Осину, приспел на помощь Прову, и оба они всунули целую рукавицу в рот Мишке.

— Что теперь делать? — спросил Пров.

— Вестимо что, одно и осталось: потащим его, потащим в Кремль, а коли словят нас дорогой, так все одно, повинимся, хоть умрем лютою смертью, а доведем до государя это дело...

Но их план не мог удался; отчаянный крик Мишки был услышан. Из соседних домов выбежали люди. Суханов и Пров не стали отбиваться, а дали себя связать и рассказали собравшимся, в чем дело. Дмитрий повинился в убийстве ведомого беглого вора и разбойника Якова Осины, а знахаря Михаилу Иванова, которого соседи тотчас же признали, обвинил в порче царской невесты. Сбежавшиеся люди, услышав про такие дела, только развели руками.

## XV

Царем овладело такое горе, что его приближенные не знали, что с ним и делать. Он заперся у себя в опочивальне, не принимал пищи, рыдал и рвал на себе волосы. И в этом отчаянии он был уже не тем разумным, почти окончательно созревшим юношей, каким его до сих пор все знали. Он снова превратился в ребенка, совсем потерял волю, чувствовал себя каким-то придавленным, бессильным пред разразившимся над ним несчастьем. В сознании этого бессилия, в сознании полной неискоренимости случившегося его постарались утвердить Борис Иванович Морозов и духовник. Только они одни среди придворных не растерялись, а напротив, более чем когда-либо владели всеми своими поступками и словами.

Морозов — в последнее время, то есть со дня избрания невесты, как-то стушевавшийся и в глубокой тайне ведший свою интригу —

теперь опять выступил на первый план, опять явился полноправным хозяином во всем дворце. Царь не хотел никого видеть — всех гнал от себя. Но Морозов его не слушался, оставался в опочивальне, приводил с собою духовника, и они кончали тем, что царь поневоле должен был их слушать. И он их слушал, хотя, конечно, многого не мог разобрать в том, что они ему говорили. Все его мысли, все его чувства были заняты одним: его любовью, еще более выросшей и окрепшей за эти тяжелые дни.

После нескольких часов немого отчаяния он вдруг вскакивал и кричал: «Нет, хочу ее видеть! Пустите меня к ней... зачем вы меня удерживаете, как смее удерживать?! Я хочу... что там с нею?! Хочу ее видеть непременно!...»

Несмотря, однако, на грозные слова его, Морозов и протопоп все же продолжали его удерживать силой, запирали перед ним двери, говорили, что это никак невозможно. И бедный царь превращался в несчастного и послушного ребенка, почему-то вдруг убеждался, что они правы, что ему действительно никак нельзя ее видеть, что ему нечем бороться с тем страшным врагом, который нежданно-негаданно его сломил и осилил — с мнимой болезнью Фимы.

Так прошло три дня. Бояре не дремали. Теперь все уже действовали заодно с Морозовым, для всех новая царица и родня ее были ненавистны. Морозов с протопопом держали царя взаперти, лишили его всякой возможности разобрать дело и убедиться в обмане, убедиться в том, что Фима совсем здорова и что никакой падучей немочи в ней нет и никогда не было.

Бояре под руководством того же, теперь более чем когда-либо энергичного Морозова, делали свое дело, уже не первое в летописях царского семейства — чинили спрос и расправу Всеволодским. С этим делом нельзя медлить: невольно являлось опасение — а вдруг царь не выдержит, вдруг в нем опять проявится та сила, на которую, несмотря на свою молодость, он уже не раз показывал себя способным.

У Всеволодских было мало защитников, но все же они были. Пушкин с друзьями своими и единомышленниками сделали все, что могли, для несчастного семейства — они избавили Рафа Родионовича и Настасью Филипповну от жестокой пытки, которая им грозила и о неизбежности и необходимости которой шла речь между боярами. Пушкин сумел найти доступ к царю, несмотря на всю зоркость

Морозова и протопопа; он не смел открыть ему правды, да и сам, может быть, не знал ее; к тому же он еще раз убедился в силе и хитрости Морозова и опасался, слишком уж явно вредя ему, навлечь на себя большие беды. Но он все же сделал многое — он прямо спросил царя: пытаться ли Всеволодских и что делать с девицей?

— Бога побойтесь, изверги! — закричал, весь в слезах, Алексей Михайлович. — Чтобы не было никакой пытки, а коли будет, коли кто осмелится без моего ведома сделать хоть малейшее зло Всеволодским, так вы мне головами за это ответите!

Если бы не вошел в ту минуту к царю Морозов, если бы тут не было протопопа, то, быть может, и все дело Всеволодских повернулось бы иначе, но Морозов успел зажать рот Пушкину, успел заставить выйти его от царя. Однако государево слово было произнесено, им нельзя было пренебречь — и Всеволодские были спасены. Их не пытали, только спешили сослать подальше и назначили опальному семейству в жительство сибирский город Тюмень. Невесте царской, именем государя, пожаловали весь приготовленный к свадьбе постельный убор: пуховик в камчатной червчатой наволоке, подушку, ковер под постелью, скамейку сафьянную и богатое одеяло из кизылбашской золотной камки на соболях с горностаевого опушкой. Оставили ей и перстень царский и ширинку.

Прошло еще несколько дней, и вдруг Пушкин снова явился к государю с очень важным известием.

— Всеволодские невинны, — сказал он, — никакой немочи, никаких припадков в их дочери не было, это здесь, в тереме, ее испортили!

И он рассказал царю все, что узнал из показаний Дмитрия Суханова. С изумлением глядел Пушкин на царя. Он ждал, что после этого рассказа юноша встрепетается, велит удержать на следующий день уезжавших Всеволодских; но царь не встрепетнулся, он находился в состоянии полнейшей апатии. Он был снова и уже совершенно в руках Морозова, он уверовал в невозможность мелькнувшего ему счастья, знал, что теперь уж никто не допустит его соединиться с больною или порченою девушкой, что против такого неслыханного брака восстанет вся земля Русская, что патриарх откажется венчать его. Все это хорошо и ловко было ему натолковано. Он примирился со своим несчастьем, начал искать утешения в молитве и навсегда

отказался от всякой борьбы. В том подавленном, беспомощном состоянии, в котором он был теперь, только одним и мог он выказать перед Пушкиным свою всегдашнюю разумность и справедливость; выслушав внимательно рассказ его, он сказал: «Дмитрия Суханова за убийство тайно скрывавшегося отъявленного разбойника Осины не судить и немедленно же выпустить на волю; крестьянина Никиты Ивановича Романова Мишку Иванова за чародейство, косный развод и наговор пытать накрепко».

Но и это решение царское сумел значительно переиначить всесильный Морозов.

Суханов и Пров действительно были выпущены на все четыре стороны, но Мишку Иванова не пытали, а только сослали в Кириллов монастырь и велели там держать его под крепким началом с великим береженьем. Кириллов монастырь очень жаловал Бориса Ивановича Морозова за его богатые пожертвования, настоятель и братия были его истинными благоприятелями. Мишка Иванов там ничем не мог повредить боярину.

Что же касается исполнительницы гнусного заговора, погубившего царскую невесту, Манки Харитоновой, — ей посчастливилось еще больше, чем знахарю. Каким образом и с чьей помощью Мишка «испортил» бывшую царевну — не выяснилось на следствии, которое вел главным образом сам Морозов. Манка еще некоторое время оставалась в тереме, а затем, конечно, богато одаренная, выехала из Москвы. Дальнейшая судьба ее осталась неизвестной.

## XVI

Опальная семья Всеволодских готовилась в сопровождении назначенной стражи выехать в дальнюю, тяжелую дорогу. Пушкин до конца оказался верным своему расположению к Рафу Родионовичу. Надеялся ли он еще как-нибудь поправить дело, повлиять со временем на царя, надеялся ли на возвращение царской невесты с дороги опять в Москву — Бог его знает, только он испросил разрешение держать Всеволодских у себя на дому и избавил их от многих унижений и оскорблений.

Раф Родионович, сгорбившийся и одряхлевший, как после долгой и тяжелой болезни, все дни и ночи молился Богу и этим только спас себя от полного отчаяния. Фима после своего несчастного обморока пришла в такое состояние, что можно было бояться за ее рассудок. Но от сумасшествия ее избавило новое горе, избавила болезнь и помешательство Настасьи Филипповны, которая не могла вынести семейного несчастья. Ухаживая за ослабевшей заговаривавшейся матерью, Фима нашла в себе новые силы. Она невольно должна была забывать свои страдания. Пафнутьевна вместе с нею неустанно ухаживала за своей госпожой и шептала Фиме:

— Терпи, терпи, дитятко! Господь посылает, Господь отнимает — терпи, не ропщи — так Богу, знать, угодно!

И Фима терпела и не роптала. В редкие часы, отходя от матери, которая стонала и произносила непонятные, дикие речи, Фима начинала думать. И вот все чаще и чаще приходило ей в голову, что это послано ей в наказание за то, что она обманула Митю, за то, что полюбила другого. Видно, она всей жизнью должна будет искупить этот тяжкий грех свой. Но Боже! что же ей было делать?!

Перед нею мелькал образ навеки потерянного для нее молодого царя. Поднималась вся сила, все блаженство любви, все мучения, ее душили слезы, ее давило отчаяние.

Но некогда было ей думать о своем горе — мать стонала снова, мать металась, там нужна была ее помощь, потому что только один ее голос успокаивал несчастную старуху, только ее прикосновение утешало ее муки.

Что касается Андрея Всеволодского, он спокойнее всех отнесся к семейному несчастью. Его горе не заключалось в том, что сестра и отец подверглись опале, что вместо роскоши, блеска, почестей всех их ожидает тяжелая ссылка, всякого рода лишения, полное бедствий житье в дальнем сибирском городе. Его горе еще прежде этого стряслось над ним: он обманулся в своей возлюбленной, в Маше Барашевой. Невольно подслушал он один ее разговор с матерью, из которого ясно увидел, что она его не любит и что если и желает быть его женою, то единственно ради свойства с царским семейством. Это было накануне обморока Фимы. Услышав из соседней горницы слова ужасные, он убежал тогда, даже не показавшись Барашевым, и решил, что больше к ним уже не вернется. Так что же ему было в том, что



теперь предстояло в Сибирь ехать?! Чем хуже, тем лучше, только бы скорее и подальше отсюда! Он действительно приготавлился к отъезду и выказал доброе чувство, всеми мерами старался успокоить старика отца и вместе с Фимой и Пафнутьевной ухаживал за матерью.

Срок, назначенный для отъезда Всеволодских, приближался. Страдания Настасьи Филипповны утихли, она по временам уже вставала с постели и довольно бодро ходила по горнице, только рассудок к ней не возвращался. По-прежнему говорила она непонятные речи, видела перед собою то, чего не было в действительности. То ей представлялось, что она у себя в деревне, и она отдавала приказания по хозяйству, то вдруг чудилось ей, что она едет во дворец к своей дочери-царице. Она называла Фиму государыней, целовала у нее руку и с важным видом толковала о боярах и боярынях, приезжавших к ней на поклон во дни кратковременного их счастья. И Фима, и Раф Родионович, и Андрей с нетерпением ждали отъезда. Теперешняя жизнь здесь, в Москве, была невыносима; скорее хотелось вырваться отсюда, хотелось дальней, хотя бы и мучительной, дороги; она все же поможет забыться. К тому же у всех мелькала надежда, что, быть может, новая обстановка благотворительно повлияет на Настасью Филипповну, вернет ей рассудок. Но не суждено было Всеволодским благополучно выехать — их подкараулила еще новая утрата.

Хотя Пафнутьевна после переезда царской невесты из дворца и казалась довольно спокойной, хотя она всячески уговаривала Фиму и помогала ей ухаживать за матерью, эта бодрость и спокойствие старухи были только кажущимися. Никто не знал, какой удар она вынесла и чего он ей стоил. Она давно уже, не первый десяток лет, положила все свои силы в господ своих, а Фима была всегда ее заветным сокровищем. Она будто помолодела, будто возродилась, когда увидела свое ненаглядное дитяtko на вершине земных почестей. Ведь она заранее прочила ей такую долю, верила, знала и ждала, когда все сомневались, — вот ее вера оправдалась — Фима будет царицей! Да что царицей! Фима будет счастлива. Старуха видела и чувствовала все, что произошло с Фимой, она поняла ее любовь к царю молодому... Ей оставалось только сохранить свое дитяtko до заветного часу... а она не сохранила, не уберегла от злых людей... Ни одной минуты с тех пор не могла заснуть старуха, не могла проглотить куска

хлеба. На людях крепилась, особенно перед Фимой, а как останется одна — зальется слезами, все себя винит, себя проклинает в несчастье Фимы. Такая жизнь не могла продолжаться, и без того уже дряхлый организм не выдержал. За три дня до предполагавшегося отъезда Пафнутьевна почувствовала приближение смерти. Когда она объявила об этом Рафу Родионовичу и Фиме, те не хотели ей верить, но пристальный взгляд на нее сказал им все.

Послали скорее за священником. С полным сознанием и торжественностью исповедалась и приобщилась Пафнутьевна, а затем слабым голосом кликнула: «Фима!»

Та подошла к ее постели.

— Прости меня, моя золотая, не уберегла я тебя... погубила, — едва слышно прошептала старуха.

Фима наклонилась к ней, хотела ее успокоить; но она уже была бездыханна. Горько, горько зарыдала Фима. Она не думала, что у нее может быть еще новое горе, которое так потрясет ее...

Пришел наконец день отъезда; через час они тронутся. Вдруг дверь покоя, в котором находилась Фима, только что похоронившая Пафнутьевну, отворилась — и на пороге показался Суханов. Нетвердым шагом подошел он к Фиме. И вдруг из глаз его брызнули слезы, и он упал ей в ноги.

— Митя! Господи, что с тобой?! — проговорила грустным голосом Фима.

При виде старого друга и первого жениха она не испытала нового волнения, ни одно новое чувство, ни одна новая мысль не пробудились в ней — ей только жаль было смотреть на его бледное, исхудавшее лицо, ей тяжело было видеть эти его слезы.

— Митя, не плачь, встань, что с тобой?

Он поднялся на ноги и остановился перед нею, жадно в нее вглядываясь. Его слезы высохли, он стоял молча и только смотрел на нее.

После всех мучений, после горя и отчаяния пришло-таки счастье. И это счастье заключалось в том только, чтобы ее видеть.

— Фима! — прошептал он наконец. — Я свободен, я еду за вами.

Она вздрогнула.

— Зачем? Не надо! Нет, Боже сохрани тебя ехать... вернись к себе... забудь меня... я не то думала... о Господи... проклинай меня!...

ненавидь меня... может, я точно преступница... может, за грехи мои несую наказание... но знай... знай — навсегда, на всю жизнь... что бы ни случилось со мною — я люблю его одного, отнятого у меня... люблю и буду любить до смерти!...

Она взглянула на царское кольцо, которое никогда не снимала с пальца, подняла свою руку, как к святыне, прижалась губами к кольцу этому и горько, безнадежно заплакала.

Дмитрий по-прежнему с любовью глядел на нее.

— Я давно это знаю, — сказал он, — давно все понял. Зачем стану я проклинать тебя? Но вот я опять говорю тебе: позволь мне только всю жизнь быть близ тебя... позволь мне служить тебе по моим силам... Неужто откажешь мне в этом?... Я знаю доброту твою... Фима, взгляни на меня... пожалей меня хоть немного... не гони меня... не гони от себя, Фима!

Она подняла глаза свои, увидела доброе, с детства близкое, с детства родное лицо. Она слабо махнула рукою и произнесла едва слышно:

— Делай как знаешь, Митя... Награди тебя Господь за доброту твою...

Через час Всеволодских вывезли из Москвы. Суханов с Провом в тот же день отправился в Касимов, устроил там дела свои и ранней весною уже нагонял Всеволодских по Сибирской дороге.

## XVII

Прошел год. Глубоко горевал государь; но молодость взяла свое — мало-помалу высохли сердечные слезы. Неудержимо, хоть и бессознательно, хотелось жизни и радости. Морозов изощрял весь свой разум, всю свою ловкость, чтобы удалять царя от печальных мыслей. Он тотчас же после высылки из Москвы Всеволодских почти насильно увез его на медвежью охоту. Он очень верно соображал, что эта любимая царская забава лучше всего рассеет его.

Действительно, Алексей Михайлович при первой же облаве оживился. И прежде смелый и бесстрашный, теперь он даже с наслаждением страстным искал опасности, шел на зверя без оглядки. Но от всякой беды охраняли царя зоркие охотники. И одна облава сменялась другою.

Пришла весна, а с нею и другие забавы — охоты соколиные да походы по подмосковным монастырям и вотчинам.

Морозов был при царе неотлучно и уступал свое место только духовнику-протопопу. Оба они теперь решили, что пришло время напомнить Алексею Михайловичу о необходимости его скорой женитьбы. При первом же слове об этом царь заплакал и отвечал им, что он не может и подумать о таком деле, что судьба и злые люди отняли у него любимую невесту — и если нельзя ей вернуться, то другой он не хочет.

Морозов и протопоп ничуть не смутились таким ответом — они его, конечно, ожидали — и продолжали свои увещания. Против их неопровержимых доказательств царю возражать было нечего, а насчет бедной Фимы они уверили его, что болезнь ее неизлечима и что о возвращении ее нечего и думать.

Почти каждый день возвращались царские советники к этому разговору и кончили тем, что снова начали восхвалять красоту и добродетели Марьи Ильинишны Милославской. Долго крепился Алексей Михайлович, но наконец счел себя вынужденным дать согласие на объявление своей царской радости, то есть женитьбы.

И опять, словно улей пчелиный, зажужжал и засуетился терем, и опять разгорелися страсти царедворцев. Но царедворцы, несмотря на все свои интриги, были теперь более, чем когда-либо, бессильны перед Морозовым. Он чуть было не погубил себя своею оплошностью при первом выборе царской невесты и теперь глядел в оба, был во всеоружии.

Недогадливые бояре, узнав о том, что царь выбрал Марью Милославскую, поговаривали между собою: «Хитер Бориска, ловко устроил дело — породнить с государем близкого себе человека... Ну да еще посмотрим: Илью-то Милославского мы знаем — кто ему больше дает, тот и друг его, так мы-то, дружно взявшись, Илью еще, может, и перетянем на свою сторону...»

Но вот, вслед за известием о царской женитьбе, по дворцу разнеслась и другая новость: Борис Иванович Морозов женится на младшей сестре будущей царицы, Анне Ильинишне, и свадьба его будет через десять дней после государевой. Бояре ударили себя по лбу, почесали затылки и грустно опустили головы. Они наконец поняли,

что их дело проиграно окончательно, что им не приходится тягаться с Морозовым.

Новая прекрасная невеста, новая «царевна» поселилась в покоях, где так недолго довелось погостить Фиме. Опять с тайною завистью и льстивыми речами кланялись красавице верховые боярыни, целовали и миловали ее царевны. И, может быть, среди суматохи этих шумных дней никому и на мысль не пришло вздохнуть по бедной касимовской невесте. Вздохнула по ней одна только дурка-шутиха Катеринка — вздохнула она, капнули из глаз ее черных горячие слезинки и тихо покатались по иссохшей щеке, смывая с нее белила да румяна. А потом тряхнула шутиха своей высокой кикой, зазвенела бубенчиками — и по всему терему промчался ее дикий хохот...

«Царская радость» происходила в великой тишине и благолепии. Теперь уж сам Борис Иванович озаботился, чтобы не случилось какого-нибудь нового несчастья, измышленного его врагами. Теперь в тереме повсюду были «морозовские глаза и уши» — и он знал каждое слово, каждое движение своих противников.

Пришел день венчания. Не струны и не трубы, как это бывало в прежние годы, раздавались во дворце кремлевском, а пение церковное. И сотворена была такая перемена по приказу благочестного и «тишайшего» государя.

Наступил час вечерний. С обычными церемониями и обрядами отвели новобрачных в опочивальню. Оставшись наедине, они прежде всего упали на колени перед иконами и помолились; затем молодой государь в первый раз пристально всмотрелся в свою новую подругу. Он увидел нежное, прекрасное лицо с полуопущенными, стыдливо избегавшими его взглядов глазами. Роскошный, но неуклюжий наряд уже не скрывал пышно развившихся форм ее девственного тела...

Шибко забилося сердце царя-юноши, новое чувство проникло в него, щеки зарделись румянцем, и страстным движением привлек он к себе невесту. Она вздрогнула, спрятала на груди его лицо свое. Горячими поцелуями осушил он сладкие девические слезы...

Ночь глубокая. На богатом мягком ложе заснули новобрачные. Тих и крепок сон государыни Марьи Ильинишны; но царю не спится спокойно. Неведомо откуда налетела нежданная греза и растет самовластно... Фима... Фима! снова явилась она как живая, во всем блеске красоты своей несказанной, и первая любовь юная, со всеми

своими заветными чарами, с блаженством и мукой, опять воскресла в душе юноши.

«Фима желанная!» — шепчут его губы. И дальше, дальше несет его греза, и чудится ему страна суровая, далекая, вьюга и мороз лютой. И среди этого холодного мрака опять тот же милый образ... Она все так же прекрасна, но побледнели ее нежные щеки, померкли от слез горячих ее светлые очи... целует она перстень золотой, целует ширинку, царем подаренную, и опять плачет... До конца жизни безрадостной не расстанется она с ними и умрет верною первой и последней любви своей...

Просыпается государь в тоске великой. С изумлением и страхом глядит вокруг себя. Рядом с ним молодая подруга; расплелись и черными змеями вьются ее косы по пуховой подушке, высоко поднимается грудь лебяжья белоснежная и ждет поцелуев...

Но чужой и далекой кажется теперь государю эта навеки данная ему красавица. Не ее имя он шепчет, не по ней льются его слезы в тихую ночь «его государевой радости»...

По историческим документам, относящимся к царствованию Алексея Михайловича, можно проследить дальнейшую судьбу Всеволодских. В 1649 году по царскому указу Раф Родионович был пожалован с Тюмени из опалы на воеводство в Верхотурье; но не прошло и года, как ему велено было снова вернуться в Тюмень и ждать там государева указа. Несчастный старик, однако, ничего не дождался — умер в 1652 году, и уже после его смерти пришел указ, чтобы быть ему в Тюмени воеводою.

Затем сохранилась грамота от 17 июля 1653 года, в которой значится: «Рафову жену Всеволодского и детей ее, сына Андрея и дочь Ефимию, с людьми отпустить с Тюмени в Касимов, и быти ей и с детьми, и с людьми в касимовском уезде в дальней их деревне; а из деревни их к Москве и никуда не отпускать без государева указа».

Собственно же о Фиме можно найти известие в записках современника всех этих событий, Самуила Коллинза. Около 1660 года он писал: «Развенчанная царская невеста еще жива; со времени высылки ее из дворца никто не знал за нею никаких припадков. У нее было много женихов из высшего сословия; но она отказывала всем и

берегла платок и кольцо как память ее обручения с царем. Она, говорят, и теперь еще сохранила необыкновенную красоту».

Таковы последние слова, записанные историей о безвинно и безвременно испорченной жизни касимовской красавицы.

*1879 г.*

*К. Г. Шильдкрет*

**ГОРАЗДО ТИХИЙ ГОСУДАРЬ**  
***(ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН)***



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА I

В опочивальне, в красном углу, перед оплечным образом Николая Мирликийского чудотворца, лениво потрескивая, ворчал нагоревший фитиль лампы. Немошный зрачок огонька то шурился недоуменно — и тогда темный лик Николая хмурил нависшие брови, — то вытягивался, тупо пошевеливал раздвоенными желтыми усиками и точно обнюхивал наседавшую на него отовсюду тягучую патоку мрака. Алексей нехотя поднялся. «К заутрени бы, что ли, ударили», — подумал он вслух, раздирая рот в судорожной зевоте.

Огонек лампы хирел. Вобрав голову в плечи, Алексей с любопытством следил за борьбой света и тьмы.

— Будет дрыхнуть тебе, — повернулся он, наконец, к громко похрапывавшему постельничему. — Колико раз наказывал я, чтобы вставал ты допреж своего царя-государя!

Постельничий оторвался на мгновение от подушки, но тотчас же с остервенением натянул на голову полог и снова заснул.

Через запотевшие стекла окон скупно сочился в опочивальню рассвет. Резче очертились расписанная красками подволока<sup>[8]</sup> и дубовая резная дверь. В углу ежилась, как будто переминаясь на тоненьких ножках своих, сырчатая<sup>[9]</sup> круглая печь. На изразцах карнизов заструились затейливые узоры из трав и цветов; расплывшиеся фигурки золоченых лошадок, ягнят, петушков и пестро обряженных человечков принимали свои обычные формы.

— Вот и сызнов день наступает, — мечтательно сложил руки на груди Алексей и уставился на образ.

Вдруг он заметил паука, пригревшегося подле лампы. Голубые глаза вспыхнули гневом.

— Доколе ж терпеть мне бесчинства в покоех!

Прыгнув к постельничему, он изо всех сил щелкнул его двумя пальцами по переносице.

— Убрать паука!... Немедля убрать!

Постельничий выпучил глаза и оглушительно чихнул.

— На добро здоровье, — расхохотался Алексей, сразу остывая от гнева. — А нуте-ко, Федька, еще!

Переносицу постельничего ожег новый щелчок.

— Чихай же, анафема!

Федор сбросил с себя полог и, с трудом преодолевая боль, улыбнулся.

— А и потешный же ты, государь.

— А ты чихай, коли на то воля моя! — капризно воскликнул царь.

Постельничий послушно исполнил приказ и слизнул языком с верхней губы капельку крови.

— День тебе добрый, — осклабился он заискивающе, точно провинившийся пес, и приник губами к царевой руке.

Алексей отдернул руку.

— Ежели дрыхнуть, на то ты больно горазд, а потехи для — так и носа жалко для государя.

Постельничий готовно подставил лицо под удар.

— Господи! Не токмо носа, живота не пожалею!... Покажи милость, потешься, отец-государь.

Царь напыжился и наложил большой палец на натянутый тетивой средний.

— Держись!

Но на этот раз ему не удалась забава. Вместе с голубым светом утра тяжело вполз в опочивальню бас колокола.

— Слава тебе, показавшему нам свет, — выдохнул разочарованно Алексей и перекрестился.

— Аминь! — с искренней благодарностью закончил постельничий.

Повернувшись к окну, государь задумчиво молчал. Федор присел на корточки и прижался щекою к колену царя.

— О чем закручинился, херувим?

Глубокий вздох вырвался из груди Алексея.

— Боязно, Федя...

Он заломил руки.

— Так боязно, что в очах помутнение, а сердце — точно кречет подбитый... ноет... — инда, плачет болезное.

Опустившись на постель, он привлек к себе Федора.

— А наипаче всего, наипаче царствования и младости своей, страшно мне, Федя, иное... Соромно мне... Ну как я один в опочивальне с царицею останусь?

Забыв разницу в сане, постельничий присел рядом с государем и дружески обнял его.

— А что Господом Богом положено, то превыше нас есть, государь. А с женушкой еще слаще житье твое пойдет супротив нынешнего.

Точно крикливая стая птиц клокотали колокольные перезвоны. В дверь кто-то несмело постучался.

— Гряди! — недовольно крикнул царь.

На пороге появился священник. Благословив государя, он смиренно опустил глаза.

— Утреню утренивать пора, государь.

Алексей засуетился.

— И то пора, прости, Господи, нераденье мое.

Постельничий хлопнул в ладоши. Тотчас же в опочивальню, склонившись до земли, один за другим, вошли шесть стряпчих и спальников. Отвесив по земному поклону, они приступили к обряду государева одевания.

Наскоро умывшись, царь собрался в крестовую, но на пороге неожиданно снова повернул в опочивальню. За ним неслышною тенью скользнул постельничий.

— Лежат, горемычные, — с глубокою кручиною произнес Алексей, опускаясь на колени перед коробом. — Лежат, спокинутые сиротины мои!

Федор вытер кулаком повлажневшие глаза и поднял крышку. Из короба пахло запахом плесени. Видно было, что давно ничья рука не касалась вороха полуистлевших детских забав.

— А вот и конек мой немецкого дела, — сказал Алексей и нежно погладил сбившуюся в войлок гриву.

Затем он достал потешные латы, приник к ним щекой.

— Доброго здравия, друга мои верные! Спокинул я вас, неразлучных моих... Памятуешь ли дни мои юные? Памятуешь ли, каково скакивал я на коньке своем скаунке? — спросил он Федора и мечтательно зажмурился. — Колико годов прошло с детской поры, а все сдается — токмо рученьку протянуть и достанешь те годы молодые.

Федор сочувственно покачал головой.

— Сесть бы, Федя, на того скакунка деревянного, — продолжал государь, — обрядиться бы в латы потешные и ускакать далече-далече, к тем годам златым моим, в коих несть человеку ни кручины, ни заботушки... В остатний бы нынешний день остатнею потехой потешиться!

Он вскочил вдруг и шумно захлопнул короб.

— Чтоб и не зреть нам боле сего!... Нынче же вон! Захоронить под землей.

Отец Вонифатьев встретил царя на пороге Крестовой и во второй раз благословил его золотым, в изумрудах, крестом.

Медленно и проникновенно читал Алексей положенные молитвы, скрепляя каждое слово крестным знамением и поклоном.

После утомительно долгой службы протопоп окропил царя святою водою.

— Соловецкие мнихи воду сию доставили, — с гордостью объявил он.

В передней дожидались бояре, окольные, думные и ближние люди. Увидев царя, они упали ниц и так пролежали до тех пор, пока раскачивавшаяся фигура Алексея не скрылась в тереме.

\* \* \*

Вскоре в переднюю ввалился Борис Иванович Морозов. Свысока оглядев собравшихся, он торжественно поднял руку.

— Волит великий государь сидеть нынче с окольным Петром Тихоновичем Траханиотовым, да с судьей земским Левонтием Степановым Плещеевым, да с думным дьяком Назарием Ивановым Чистым, да с постельничим Федором Михайловичем Ртищевым<sup>[10]</sup>.

Федор вышел в терем первым. За ним чинно потянулись остальные вызванные. Чуть слышным ропотом провожали их не удостоившиеся царского приглашения.

— Токмо нынче и свету стало у государя, что в Траханиотовых да в Плещеевых! — ворчали иные из них.

— Ужо не миновать стать, наступит времечко и вовсе повелит Алексей Михайлович не казаться перед очи свои! — вторили другие и

переглядывались исподлобья, по-бычьей сгибая головы.

Царь развалился в высоком кресле и с блаженной улыбкой прислушивался к веселому перезвону колоколов.

— До чего же, Господи, умильна жизнь христианская, — молвил он и милостиво похлопал по спине Бориса Ивановича.

Морозов приложился к царевой руке.

— Всю душу положил я на то, царь государь и пестун мой, чтобы возлюбил ты великою любовью Христа пропятаго...

Он помолчал, переглянулся с Траханиотовым и болезненно перекошил лицо:

— Токмо бы смуту избыть на Руси... Токмо тихо было бы в государстве нашем.

Алексей встревоженно приподнялся.

— Аль вести недобрые? Ну, чего им надобно, тем смутьянам?

— Батогов, государь! — резко бросил Траханиотов.

— Да дыму пищального, — прибавил Плещеев.

Ртищев сидел в стороне и не принимал участия в сидении<sup>[11]</sup>. Алексей поманил его пальцем.

— Слыхивал? А ты все норовишь смердов потчевать хлебушком да словом евангельским.

Плещеев и Траханиотов обдали постельничего высокомерным взглядом.

— Млад еще Федор Михайлович в государстве разуметь.

От лица Ртищева отхлынула кровь:

— Коль я млад и неразумен — выходит, царь еще неразумней меня по большей младости годов своих!

Морозов в ужасе отшатнулся к стене.

— Молчи!

Но постельничий уже кипел и никого не слушал, кроме себя.

— То-то, — кричал он, — судья с окольным государевой младостью пользуются да его светлым именем всей Москвой володеют!

Позабыв о присутствии Алексея, задетые за живое советники дружно набросились на постельничего. Царь чутко прислушивался к сваре и не останавливал спорщиков.

— А все от соли пошло, — визжал Федор, готовый вцепиться в бороду Траханиотова, — все от того указу, сто пятьдесят четвертого

году<sup>[12]</sup>.

— А и не впрямь ли Федькина правда? — вмешался вдруг в спор Алексей и приказал принести указ.

Назарий Чистой прошмыгнул в сени и сейчас же вернулся с указом.

— Чти! — поддернул щекой государь и пересел на лавку.

Трижды перекрестившись, Назарий начал:

Указ и боярский приговор от седьмого дня, месяца февраля лета семь тысяч сто пятьдесят четвертого году. Для пополнения государские казны служилым людям на жалованье, положити на соль новую пошлину — за все стрелецкие пошлины и за проезжие мыты — перед прежними с прибавкою: на всякий пуд по две гривны...

Плещеев вызывающе толкнул плечом Федора.

— Покажи-ко, ученый, где тут неправда противу государевых холопов и сирот.

Алексей не зло погрозил судье:

— Не сбивай ты дьяка.

Чистой снова сипло затянул:

А как та пошлина в нашу казну сполна сберется и мы, великий государь, указали: со всей земли и со всяких людей наши доходы, стрелецкие и ямские деньги сложити и заплатити теми соляными пошлинными деньгами.

— А и доподлинно, лиха не зрю, — развел царь руками и с видом превосходства поглядел на Ртищева. — Оно и выходит, что хотя годами я, почитай, на четыре лета млаже твоего, а умом-разумом перерос.

Постельничий по-ребячьи надул губы и молчал.

— Так, аль сызнов не так? — не отставал развеселившийся царь.

— А не так! — воскликнул Федор и, повернувшись к Плещееву, брызнул слюной в его скуластое рябое лицо: — Сам-то ты, лукавый, боле нашего ведаешь, что не так!... Ложью перед царем-государем живешь... Сходи-ка на рынок, прознаешь в те поры, что пошлина в раз

с полразом выше цены самой соли!... А коли так — можно ли той солью людишкам пользоваться?

Заметив смущение на лице царя, Траханиотов нарочито громко расхохотался.

— Оно и зреть, что хоть постельничий и навывчен многим премудростям книжным, а в государственности, как татарин в кресте, разумеет.

Отставив указательный палец, он по слогам отчеканил Ртищеву, норовя, главным образом, внушить самому государю:

— Был бы налог с одних мужиков да протчих смердов — доподлинно, можно бы и попечаловаться. А налог тот на всех, холопов царевых, от худого до высокородного.

Алексей нахмурился. Пальцы раздраженно пощипывали едва пробивавшийся русский пушок на откормленном круглом лице. Живые глаза подозрительно бегали по лицам ближних.

Плещеев чуть подвинулся к Траханиотову и что-то прошептал тонкими губами. Окольный, с опаскою покосившись на государя, мотнул головой.

Встав с лавки, царь вразвалку прошел к окну. На лбу его, между бровей, от непривычки к долгим спорам и серьезным думам, проступили вздувшиеся жилки. Он с радостью перевел бы беседу на что-либо более легкое и близкое его сердцу или показал бы ближним ручного сокола своего, которого сам обучил по-новому набрасываться на дичь, но невольно чувствовал, что не зря обозлились советники на постельничего. «Не зря надрывается Федька. Не навывчен он к сварам, — опасливо складывалось в голове и отдавалось в груди, — не быть бы бунту от соли». Один за другим оживали в памяти рассказы бахарей о смутных днях на Руси, о черных годинах. Переполошенное воображение рисовало страшные картины восстаний — царю казалось, что он уже слышит отдаленный ропот толпы, идущей с дрекольем на Кремль. «Надо тотчас упредить, — думал он, — надо немедленно повелеть советникам». Но нужных слов не было — они терялись, не успев оформиться в голове.

— А ведь правда, как будто, за Федькой выходит, — вымолвил он наконец. — Ежели без соли людишек оставить, не миновать смуте быть.

Чистой повернулся к образу и набожно перекрестился.

— К чему ты? — не понял царь.

— К тому, преславный, что имеешь ты гораздо мягкое сердце. За то величу и хвалю Господа нашего.

Едва сдерживая лукавую усмешку, он смиренно потупился и продолжал:

— Через мягкое сердце идет путь христианской души к райским чертогам... Путь же к безмятежному царствию на земле — есть путь силы непоколебимой.

Траханиотов горячо поддержал дьяка:

— Сим победишь, государь! Непоборимую твердыню духа. Испокон веку тем славны и сильны были володыки российские.

К Алексею подошел Плещеев.

— Дозволь молвить, царь.

— Ну?... Чего еще не накаркал?

Судья склонился к поле царева кафтана и благоговейно поцеловал ее.

— Ежели потакать людишкам, того и зри, опричь соли, занадобится им овкач вина доброго... А там недалече и до кафтана боярского! А по-моему, по-неразумному, чтобы помятовали смерды сиротство свое, — вместно ежеден потчевать их батожьем да кнутьем.

Снова разгорелся спор. Алексей неожиданно хлопнул в ладоши, и на лице его запорхала счастливая улыбка.

— Покель вы тут сварами тешились, надумал я, как по-божьи то дело решить. Да не батогом, а христианской любовью к людишкам нашим.

На лицах советников изобразилось крайнее восхищение.

— Волим мы то дело передать патриарху, — говорил царь, — пускай по всем церквам возносят священники молитвы к престолу всевышнего, чтобы смиростивился Господь, умягчил сердца человеков и свободил нашу землю от брани междоусобные. Да просветятся смерды великим светом премудрости Божией и да уразумеют... да уразумеют, что не через хлеб-соль, а через пост и смирение есть путь в сады Господни.

Ртищев восторженно припал к царевой руке:

— Бог глаголет устами твоими!

— Смирен ты, яко агнец, и мудр, яко сам Соломон! — подхватили остальные, отвесив земной поклон.



Сидение окончилось. Сохраняя выражение неприступной важности на лице, царь не спеша направился в трапезную.

Дворецкий и ключники дозорили подле стола. От поварни к трапезной суетливым муравейником засновали холопы стаи. Стольники с дымящимися мисками и горшками в руках стояли наготове, не спуская глаз с царя, чтобы по первому знаку Алексея поднести ему кушанья. Кравчие строго обходили стольников и деловито отведывали каждое блюдо. За спиной государя, не смея вздохнуть, вытянулся чашник с кубком вина.

## ГЛАВА II

Колокола захлебывались в ликующем перезвоне. По широчайшим улицам московским без конца сновали вестники.

— Великий государь побрачиться изволил! — возглашали они.

А к вечеру, в сопровождении Чистого, на Красную площадь вышел Петр Тихонович Траханиотов. Он был во хмелю — это видно было по его неверной походке и подплясывающей бороде. Дьяк, сам выделявавший замысловатые кренделя, почтительно подталкивал окольничего головой в спину.

Согнанная со всех концов Москвы толпа обнажила головы: еще за неделю по городу передавались таинственные слухи о том, что государь в день своего венца дарует людишкам большие льготы и снимает соляную пошлину... И вот ожидания сбылись. Иначе зачем же созвали людишек на площадь? Сейчас царев человек все обскажет с помоста.

— Угомонитесь! — икнул окольничий, хотя вокруг было тихо, и его маленькие глаза сурово уставились поверх голов. — Да не кружитесь вы, воронье!

Чистой растянул рот в добродушной улыбке:

— Яко столпы стоят людишки, а кружится хмель в очах твоих, Тихонович.

Он хотел еще что-то сказать, но вскрикнул и покатился с помоста.

— Полови-ко карасиков, тверезый, — гулко расхохотался столкнувший его Траханиотов на утеху ожидавшей толпы.

— Да и окольничего за едино в тот же омут! — взметнулся чей-то звонкий задорный голос.

Толпа оцепенела, чуя напасть. Но Петр Тихонович ничего не соображал. Наклонясь к балясам, он что-то горячо доказывал самому себе, икая и сплевывая. Обиженный дьяк, обтерев рукавом вываленное в снегу лицо, на четвереньках взобрался на помост.

— Перед кем ославил? Перед смердами ославил! — захныкал он и схватил окольничего за ворот: — Для ради токмо нынешнего дни зла не держу.

Наподдав Траханиотову коленом в спину, он заставил его выпрямиться.

— Так и держи, — ухмыльнулся окольничий и подал рукою знак: — Внемлите! Сего дня шестнадцатого генваря семь тысяч сто пятьдесят шестого году совокупился государь — царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси с благоверною цариц...

Он оборвал свою речь на полуслове и с силою потянул ворот, сдавивший горло.

— Держи да не передерживай! — лягнул он ехидно скалившего зубы дьяка и, передохнув, слезливо продолжал: — С благоверною царицею и великою княгинею Марьей Ильиничной Милославской. Уразумели?

Не дождавшись ответа, окольничий с испугом огляделся.

— Где я? — вдруг крикнул он и пошатнувшись, упал в объятия стрельца.

Народ нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Эдак померзнем все, покель он весть возвестит, — зашептались робко передние ряды.

Согретый дыханием стрельца, Траханиотов сладко зажмурился и всхрапнул. Его сменил Чистой.

— Внемлите, сиротины царевы! — торжественно поднял он к небу руку, предусмотрительно опершись животом о балясы, чтобы не потерять равновесия. — Ради для сего дни показал царь народу милость и пожаловал тестю своему, Илье Даниловичу Милославскому, окольничество.

Он примолк, осенил себя крестом и снова проникновенно повторил:

— О-коль-ни-че-ство!

Толпа сомкнулась тесней, придвинулась к помосту:

— Сейчас и до нас дойдет!

Чистой нахлобучил на уши шапку и спустился с помоста. За ним два стрельца бережно понесли запойно храпевшего Траханиотова.

Смеркалось. Ледяной ветер загребал снег с сугробов, с воем бросал его в коченеющие лица упрямо не расходившихся людишек. Небо темнело, опускалось ниже, нависнув над самой землей.

— Эй, вы, изыдите! — покрикивали стрельцы, разгоняя народ.

Белыми призраками мелькали на перекрестках завьюженные всадники, надсаженно тянули:

— Ликуйте, православные! Великий государь ныне побрачиться изволил!

\* \* \*

Отлежавшись на камне у Оружейной Палаты, Траханиотов пошел во внутренние покои.

Из царевой трапезной рвался наружу пьяный гул, скомороший гомон. В сенях, монотонно постукивая подковами, выбивали шаг дозорные стрельцы. Окольничий забрался в угловой терем и грузно опустился на пол. Едва щека его коснулась половицы, вдруг все завертелось и крикливо провалилось в пропасть. Он хотел позвать на помощь, но захлебнулся в густом клейком, как кровь, мраке.

В терем вошел Милославский и затормошил спящего. Когда Петр Тихонович пришел в себя, Милославский усадил его на лавку и ткнулся губами в ухо:

— Дело бы не пропил!

Траханиотов забегал глазами по темному терему

— И в думке не держал, чтобы пить.

Он глубоко вздохнул, обдав соседа винным перегаром.

— Кой тут хмель, коли не токмо что, а дых... ик!... дых нуть нынче стало не можно.

Илья Данилович предостерегающе приложил палец к губам.

— Не подслушал бы кто.

Они умолкли и скромно уселись подле окна. Чуть поблескивали одетые в иней стены нахохлившегося Кремля. Точно вздрагивая и старчески сутулясь, маячила сквозь студеный туман звонница святого Лазаря. Недобрыми думками лепилось к ней каркавшее воронье.

— Вороний гомон к метелице, — зябко поежился Милославский.

Притихший было ветер снова лютел, угрожающе точил о стены когти и бороздил высокие сугробы. Небо разбухало, мутнело.

— Одначе, и за дело время приниматься, — встрепенулся Илья Данилович, уловив звуки знакомых шагов. — Морозов жалуется.

В дверь просунулась голова боярина. Траханиотов почтительно вскочил с лавки, и сидевший на другом конце Илья Данилович брякнулся об пол.

Морозов помог ему встать, неодобрительно пожевал губами:

— А не к добру то. Не домовый ли бродит по терему?

На лбу Милославского вздулась шишка. Он ущипнул за плечо Траханиотова: «Поддай ефимок»<sup>[13]</sup>, и, вырвав из рук соседа монету, прижал ее к ушибленному месту.

Морозов распахнул двери, прислушался. В сенях было темно, тихо. Только из дальнего конца еле доносились шаги дозорных стрельцов. Вглядевшись пристально во мрак, боярин успокоенно прикрыл дверь.

— Пора начинать, — предложил он, прижимаясь спиной и ладонями к остывшей печи.

Траханиотов сморщил изрытый оспой лоб.

— Гоже ли без Левонтия да Грибоедова?

Борис Иванович лукаво подмигнул:

— В Разбойном Левонтий, а Грибоедов за Пронским блюдет.

Усевшись под образа, оба склонили друг к другу головы и едва слышно зашептались о чем-то.

Вскоре прибежал запыхавшийся Грибоедов.

— Замышляют! — объявил он упавшим голосом и изнеможенно опустился на лавку. — Князь Никита Иванович при мне царю наушничал, будто надумал Милославский весь род Романовых смертию извести, да через дочь свою, через Марью Ильиничну, царицу, самому на стол на Московский сести.

— Эк, тараруй<sup>[14]</sup>, — сплюнул сердито Илья Данилович. — А еще именуется дядькой царевым... рыжемордый!

Друзья снова прижались друг к другу и продолжали совещаться.

Наконец Морозов и Грибоедов, ударив с друзьями по рукам, ушли. Окольничие развалились на лавке.

— Попочивать маненько, — нараспев зевнул Милославский. — Авось, коли понадобится, поκληчут.

Траханиотов попытался что-то ответить, но не успел — хмельной сон опять овладел им.

Вернувшись в трапезную, Грибоедов учтиво вытянулся за спиной Никиты Ивановича.

Алексей, развалясь в золоченом кресле, с видом знатока следил за непристойной пляской иноземных скоморохов. В глубине зала, на возвышении, неумолчно трубили трубачи.

Грибоедов наклонился к уху князя Никиты.

— Вести недобрые.

Спокойно допив свой овкач, Романов встал и, чуть подергивая левой ногой в лад трубачам, затопал в сени. За ним незаметно проскользнул и Грибоедов.

— Дурные вести, — повторил он вполголоса, — замышляют противу тебя.

— Да ну?

— Как перед образом. — Дьяк оглядел подволоку, точно искал на ней икону, и вытянул тонкую шею. — Плещеев в Разбойном приказе сидит да двух людишек разбойных навывает небылицам противу тебя, Пронского да князь Черкасского.

Никита Иванович злобно расхохотался.

— А поглазели бы мы, как кречета вороны заклюют!

— А те разбойные норвят письма воровские на Москве пустить, — шепнул раздраженный несерьезностью князя Грибоедов, — дескать, пошлина соляная — затея Никиты Романова.

Князь вздрогнул. Жестоко оглядев дьяка и оттолкнув его локтем, он бросился в трапезную.

На заплеванном полу с визгом катались скоморохи. Пирующие кидали им объедки со стола и подзадоривали к бою. Кто добывал большее количество кусков, тот получал в награду овкач вина. Увлеченный потехой царь потянул со стола покрывало.

— Держи! — крикнул он так, точно науськивал на охоте псов. — Угуй!... Держи!

Князь Никита, выждав удобную минуту, вплотную подошел к царю и что-то шепнул ему.

— Ложь! — крикнул Алексей и замахнулся кулаком на дядьку.

Точно ветром снесло гомон и смех в трапезной. Шуты окаменели. Бочком, путаясь в собственных ногах, непослушных от хмеля и испуга, бояре отошли к стороне, за цареву спину. Их потные лица, не терявшие сознания достоинства даже в буйном хмелю, сразу поблекли, обмякли. Только Никита Иванович не отступил перед государевым гневом. Заложив руки в бока, он запрокинул голову и гордо отрубил:

— А не бывало такого, чтобы род Романовых-князей ложью лгали!

И, распалясь, топнул ногой:

— Иль впрямь царская наша кровь нынче не в кровь?... Иль впрямь — вся вера ныне Милославским?

Алексей по спинам и головам шутов ринулся в светлицу. Там, робко притаясь у стрельчатого окна, сидела царица. Подле нее, на полу, лежали боярыни и мамки.

Увидев Алексея, женщины недоуменно вскочили.

— А не по чину, государь, пожаловал ты к молодушке своей, — нахмурилась одна из боярынь.

— Прочь! — заревел Алексей, сжимая кулаки.

Оставшись наедине с царицей, он низко ей поклонился.

За окном бушевал вихрь. Метель дерзко стучалась в стекла, грозя ворваться в светлицу. Чуть вздрагивала в углу, ежась желтым язычком, лампада. В щелях окон скулили стиснутые струи ветра.

— Дай Бог здравия царице, — процедил сквозь зубы государь.

— Многая лета и слава царю, а мне служить ему верой да лаской, — заученно ответила Марья Ильинична и прижалась к мужу.

— Ждала?

— Да, владыка.

Алексей увлек жену на постель и, навалившись на нее, больно уперся локтем в ее грудь. Правая рука зашарила по плечу, а пальцы, нащупав горло, судорожно, сами собою, сжались.

— Помилуй! — сдушенно крикнула царица и заметалась в смертельном ужасе по постели. — По...мил...луй!

Взглянув в посиневшее лицо жены, царь опомнился и разжал пальцы.

— Не достойна ты и сгинуть от моей руки! — плюнул он с омерзением в глаза теряющей сознание Марьи Ильиничны. — Змееныш! Отродье Милославских!

Едва царица пришла в себя, он бросил ей под ноги шубу.

— Иди!... Чтоб духу Милославских не было в хороминах наших! В дальний монастырь!... На послух!

Ничего не понимающая женщина упала перед мужем на колени.

— Ты Богом данный мне муж и царь. По слову твоему да будет. Но допреж того, поведай, в чем вина моя, коей виной виновата я перед тобою?

— Коей виной? — ехидно повторил царь. — А не по то прокралась в хоромы наши, чтобы извести род Романовых, да володеть с Ильюшкою сиротинами Русийскими?

Царица ошалело уставилась в мужа и ползком пробралась к красному углу.

— Опамятуйся, царь-государь!

— На послух! — крикнул Алексей и заткнул пальцами уши. — На край земли!

Марья Ильинична вдруг поднялась. Голос ее окреп, и клятва, произнесенная перед иконой, прозвучала не мольбой, а гневным укором, отозвавшимся в сердце царя непонятным режущим стыдом.

Приникнув глазом к щели, боярыня не спускала взора с государя. На полу, у ее ног, ждала шутиха. Заметив, что государь смущен, боярыня решила воспользоваться удобным мгновением и пнула дурку ногой.

Гремя бубенчиками, шутиха ворвалась в светлицу и, взмахнув приделанными к плечам войлочными крыльями, прыгнула на стол.

— Кшш! — нетерпеливо смахнул ее царь рукой со стола.

Дурка вцепилась в его рукав.

— Сам кшш, злой Лексаша, из нашей светлицы от чистые голубицы!

В дверь просунулась голова боярыни.

— Окстись, государь, не к добру дурка вещает. Окстись и царицу оксти.

Шагнув к шутихе, она схватила ее за ногу, оттащила в сени, с заклинанием оградила царя четырьмя крестными знаменьями и на носках ушла в соседний терем.

Алексей постоял еще некоторое время пред женой и неожиданно, закрыв руками лицо, убежал.

В сенях его встретили Плещеев и вспухший от сна Траханиотов.

— Царь мой и государь! — с надрывом выпалил Левонтий, падая на колени.

Петр Тихонович вытер кулаком глаза и, тяжело отдуваясь, припал к краю царева кафтана.

— Да что вас нынче прорвало? — сердито оттолкнул от себя окольничего Алексей.

Траханиотов закачался и рухнул на пол. Плещеев прижался носом к царскому сапогу, заплакал:

— Не гоже бы в нынешний день венца твоего печаловаться, да не могу смолчать, коль за спиною измена бродит!

Царь в крайнем недоумении вобрал голову в плечи:

— Сызнов измена?

Не поднимаясь с колен, судья отодвинулся к порогу и открыл дверь. В сени вползли, одетые в железа, разбойные людишки. По бокам их стали стрельцы.

— Сие к чему? — отступил Алексей.

Плещеев стукнулся об пол лбом.

— Все поведем тебе, государь.

И повернулся к Траханиотову:

— Ты в глаголах поязыкатее, окольничий, обскажи все государю.

Окольничий приподнял голову.

— Недужится мне... ик!... того... сам...

Непослушная голова больно ударилась о половицу.

Плещеев подал знак разбойным людишкам. Путаясь и перебивая друг друга, узники принялись передавать царю все, чему научил их судья.

По мере рассказа лицо царя оживало и веселело. В глазах забегали лукавые искорки.

— А и выходит, — прищурился он, — на стол на Московский сесть замыслил дядька мой, князь Никита Иванович?

— Так, государь, — поспешил подтвердить Плещеев.

— А и затейники вы!

Левонтий ожидал, что царь, выслушав донос, распалится гневом, но, увидев противное, опасливо отполз к двери.

— Покличь-ка Никиту, — сквозь смешок приказал Алексей.

Судья ринулся в тьму и вскоре вернулся с Романовым, Черкасским и Пронским.



— Не студено ль в сенях тебе, государь? — заботливо спросил Черкасский.

Государь дружелюбно похлопал его по плечу.

— Студено не от стужи, а от затеи лихой.

Из груди Плещеева вырвался вздох облегчения. «Будет гостинчик вам нынче», — подумал он с удовольствием и торжествующе поглядел на князя.

— Выходит, Никитушка, замест нас всех царствовать волишь?

Не дав опомниться возмущенному князю, он оглушительно расхохотался и тут же, оборвав смех, обиженно склонил голову на плечо.

— Пошто вам свара? Аль худо при мне вам? Аль не примолвляю я всех моих ближних?

Князь Никита виновато развел руками.

— Не мы, а они свару затеяли.

— Право, охальники, — сказал царь и властно топнул ногой. — Нутко, челомкайтесь, озорники!

Противники с омерзением оглядели друг друга, но не посмели послушаться воли царевой и расцеловались.

Плещеев, опустив голову, вслед за другими поплелся в трапезную, но у порога вспомнил о разбойных людишках и торопливо вернулся к ним.

— Повырвать им языки, да растянуть до отказа, да сызнов на место пришить, чтоб впредь речистее были, — приказал он.

### ГЛАВА III

Пустынно вдоль берега Москва-реки. Кое-где лишь нахохлились, точно позабытые стога подгнившего сена, слепые избы. Чуть курится навоз на огородах; в нем роются, тщетно ища добычу, голодные и тощие московские псы.

На пригорке прилепилась старенькая церковь Воскресения-на-Гончарах. Ее придавили годы. Пустые глаза звонницы застыли в мертвом страхе. Кажется, взберись по скрипучей лесенке наверх — и через мертвые эти глаза увидишь даль былых десятилетий... Вон, на восходе, сквозь пелену тумана, слышится какой-то странный ропот. То не орды ли Довлет-Гирея крадутся на Москву?... А глубже, точно из-

под земли, растет, тянется к небу и уходит в тучи чья-то волнующая рука. Не Грозный ли царь пробудился, чтобы сжать в кулаке своем российских людишек?... А вон что-то повисло над Василием Блаженным. Не холоп ли то на дьявольских крыльях?...

Не раз, в разгар работы, гончар Савинка Корепин уходил как будто за своим делом, на малый час, и незаметно, огородами, пробирался к церкви. Он любил, облокотившись на балясы, глядеть на унылые просторы широко раскинувшейся Москвы и предаваться думам. Если бы спросить, чем влечет его к себе звонница, он не ответил бы, может быть, удивился бы вопросу: «Кремль как Кремль... А то вот — ряды. Чего тут не понимать?» И все же, какая-то сила толкала его сюда. Он отрывался на этой покосившейся звоннице от земли, от повседневных будничных забот своих, и видел, хоть сумеречные, неразборчивые, но все-таки — дали. И то, что он этого не понимал, не мог выразить в словах, увлекало его еще больше.

Вот и сегодня не застала его на работе Таня. Как всегда, она убрала избу, поставила на стол ведерко щей, наломала восемь кусков вязкого, как глина, хлеба, и, накинув на плечи прохудившуюся епанчу, вышла под навес.

— Снедать готово, — поклонилась она гончарам, незаметно обшаривая глазами углы и двор.

Отец заметил ее взгляд, безнадежно махнул рукой:

— Поищи ледку в теплом медку. Воронам счет ведет суженый твой, по цареву указу, по юродивому наказу.

Гончары сочувственно поглядели на девушку и молча пошли в избу.

Таня побежала к церкви. «Так и есть. Сызнов тужит», — подумала она и окликнула Корепина. Савинка вздрогнул от ее оклика, поглядел недоуменно вниз, — увидав девушку, весело кивнул ей и быстро затопал по ветхой лесенке.

Гончары уже сидели за столом, когда он вошел в избу.

— А и щи! — причмокнул Савинка, присаживаясь к товарищам и погружая ложку в ведерко. — То ли мырять в них, то ли штаны полоскать!

Остальные одобрительно фыркнули и, чтобы сдержаться, старательно набили рты хлебом.

Таня виновато потупилась, перестала есть. Хозяин уткнулся в ведерко, делая вид, что ничего не слышит. Со лба его, будто нехотя, медленно падали в мутную жижу капельки пота.

— Эвона, соль где! — зло съязвил Корепин. — А вы печалуетесь, несмышлениши, будто не солоно варено.

Он повернулся к девушке:

— Ты-то пошто не кушаешь да кручинишься? Али с государем царем на сидении была, соляную пошлину надумывала?

При упоминании о царе все, точно по уговору, вскочили и со страхом поглядели на дверь.

— Побойся Бога! — прикрикнул хозяин. — Неровен час язык услышит.

Савинка ухарски тряхнул льняной головой:

— А коль страшно, Григорий, окстись! От креста, бают, всякая нечисть бежит.

Старик беспомощно оглядел работных и неожиданно затопал ногами на дочь:

— А и выгоню! Коли тебе всякая заноза дороже родителя, сама с ним иди! Как пить дать — обоих-двух выгоню!

Подхватив ютящийся в уголке под ворохом соломы убогий свой сверточек, Савинка шагнул к выходу.

— Где дорога с кустом, там волку и дом, где в дубраве берлога, там медведю и отдых с дороги!

Таня загородила ему путь. Ее круглое лицо выражало отчаяние. Синие глаза с мольбой уставились на отца.

— Куда ж ему, батюшка, путь-то держать? Загубят его злые люди.

Савинка залюбовался Таней и, против воли, бросив узелок на место, весело хлопнул старика по спине.

— А и мне невместно идти. Погожу.

— Ну, ну, — не зло погрозился Григории, отворачиваясь от готовой заплакать дочери, — уж и реветь собралась.

И мягко прибавил, поглаживая прокопченную лопату бороды:

— Нетто я от зла? Я по-родительски... Его не наущай — как раз на дыбу наткнется.

Он пошел к навесу. За ним гуськом потянулись работные.

— Робить иди! — крикнул со двора старик.

Савинка мотнул головой:

— Колико мы с тобой, старина, горшки лепили, а на соль до сего дни не заработали.

Работные любопытно остановились. Взбешенный старик бросился обратно в избу.

— Так-то ты слова мои слушаешь!

Савинка вызывающе засучил рукава.

— А ты не словом учи, а кулаками. Ну-те-ка, починай!

Схватив со стола ведерко, он изо всех сил ударил им об пол.

— Государеву руку держишь! А не ведомо тебе, что чёрт у государя умишко отнял, а государь людишек без соли оставил?

Толкая друг друга, работные сбились у избы. Пришибленные их взгляды понемногу обнажали, отражая в себе притаившееся в дальних глубинах сознания, человеческое достоинство.

— А и доподлинно задаром робим! Истину сказывает, — поддержал Корепина один из них.

Савинка вышел на двор и еще более расходился.

— Доколе молчать нам? Кого страхом страшиться? Государя ли, что глядит изо рта у бояр Морозова и Милославского?... А, да пропади они пропадом все!

Таня резко рванула Савинку за рукав.

— Примолкни, едут... Примолкни!

Из— за пригорка выплыла колымага.

— То постельничий, — вполголоса, успокаивающе сказал Савинка Тане.

Григорий прицыкнул на работных и увел их под навес.

— Ходи и ты, — неуверенно попросила девушка.

Савинка обнял Таню одной рукой, другою мягко провел по русой кудельке, выбившейся из-под косынки.

— Не буду я больше нынче робить, — шепнул он, касаясь губами прохладного краешка ее уха. — Не заботит меня моя робь.

— Отец забранится.

— А пущай его тешится. Он не со зла. Чать тоже с голоду.

Впряженный в колымагу гнедой аргамак, напряженно перебирая стройными ногами и всхрапывая, ронял на землю клочья белоснежной пены. Постельничий, дремотно закрыв глаза, мирно поклевывал носом.

Когда колымага поравнялась с церковью Воскресения, пономарь враз ударил во все колокола.

Возница привскочил от неожиданности и хлестнул коня.

— Но, ты, татарин!

Задребезжавшая колымага подпрыгнула на ухабе и с грохотом повалилась на бок, выбросив постельничего в лужу. Савинка шлепнул себя по бедрам и ухарски свистнул.

— Мырни-ка еще малость нам на потеху!

Девушка крепко сжала его руку.

— Кручинишь ты меня, Савинка. Вот как кручинишь.

— Не я кручину, а горе наше кручинит нас. Все от нее, все от доли, девонька.

Таня поднялась с заваленки и сдавила руками виски.

— А уйдешь от нас, долю ищучи, как намедни грозился, так и ведай — непрощеный грех приму на душу, в Москва-реку брошусь. Пущай до скончания века погибель приму!

Кое— как пообчистившись, Федор сжал кулак и выразительно поглядел на возницу.

— Ужо на конюшне попотчуетесь!

Пономарь перегнулся через балясы и радостно закивал головой.

— Не покажешь ли милость, Федор Михайлович, не поблаговестишь ли?

Возница, тщетно гадавший — посечет или не посечет его господарь, загорелся надеждой на помилование.

— Потешился бы господарь, — осклабился он, — ублажил бы нас звоном христолубивым.

— И то, потешусь, — сдался постельничий и направился к лесенке.

Григорий вышел на двор, сердито окликнул Савинку.

— А, да ляд вас возьми, — отмахнулся Корепин, — не стану нынче робить!

Он шлепнул Таню по спине и пустился бегом к ораве ребятишек, игравших в горелки:

— Ну-ка, девонька, догони-ка метелицу!

Увидев Корепина, ребятишки с веселым визгом бросились за ним.

Далеко провожала Таня влюбленным взглядом расшалившегося Савинку. «Сердцем дите, — умиленно думала она. — а норовом, что

твой боярин».

\* \* \*

— Что за диковина? — остановился забредший к заставе Савинка, прислушиваясь к нарастающему гулу колоколов. — Никак сполох?

Улицы оживали встревоженной толпой. Перекрестки зачернели ратниками и стрельцами.

— Шапки долой! — торжественно докатилось издалека. — Государь царь изволит жаловать с троицкого богомолья.

От заставы, по направлению к Басманной слободе, промчались конные. Вскоре показалась золоченая карета царя. Батожники выбивались из сил, разгоняя палками народ, чтобы очистить путь государю. Толпы то отливались рокочущими волнами к деревянным мосткам, то снова наводняли широкие улицы.

— Дорогу царю! — надрывались подьячие.

— Все обсказать государю! — возбужденно зывали голоса из народа.

Вдруг за Лубянкой к небу взвился огненный столб. Тотчас же вся полуденная сторона за клубилась багровыми тучами дыма и искр.

— Зелейная<sup>[15]</sup> казна горит!... Усадьба Чистого горит!

Толпа ринулась на пожарище. Впереди, неузнаваемый, с выкатившимися глазами, с лицом зеленым, как хвоя, бежал Корепин.

— Жги лиходеев!

Весело потрескивая и играя огненными венцами, горела усадьба Чистого. Дьяк метался в подклети и, пренебрегая опасностью, перегружал из короба за пазуху деньги.

В толпу врзались ратники. Чистой с упованием прислушался к топоту коней и с большим еще рвением принялся за работу. Нагрузившись до последней возможности, он набросил на плечи крестьянскую епанчу, перевязал щеку красным платком и, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, вышел на двор.

— Жги воров! — заревел он подступившим к нему бунтарям. — Жги лихондеев!

На улице кони топтали людей. В переулках на убегавших набрасывались отряды стрельцов. Чистой отступал к воротам. «Токмо

бы к ратникам Бог помог подойти, — мучительно думал он, — токмо бы на улку пробраться»... Сноп искр обдал дьяка. Он зажмурился и прыгнул к воротам.

— Горишь! — крикнул Савинка и содрал с него тлеющую епанчу.

Чистой в страхе припал к земле.

— Да никак дьяк! — расхохотался Корепин и поднял его с земли.

Дьяк попробовал вырваться, но рука цепко держала его за ворот. Поняв, что все кончено, он проникновенно уставился в небо.

— Так их и надо, воров!-мотнул он головою. — Токмо не меня губите, а их, помогутней котор...

Он не успел договорить и свалился, оглушенный ударом дубины.

— Держи, изменник, гостинец за соль!

\* \* \*

Большой отряд ратников и стрельцов окружил карету царя. Алексей забился в угол кареты и шёпотом, точно боясь, что его может услышать толпа, обсуждал с ближними, как быть. Князь Черкасский твердо стоял на том, чтобы государь вышел к народу и тем успокоил его. Алексей несколько раз, набравшись смелости, высовывал было из окна голову, но тотчас же, объятый животным страхом, прятался.

— Не пойду, — говорил он и закрывал руками посеревшее лицо. — Пускай Никита пойдет.

Ропот усиливался, переходил в угрожающий гул. Ошалевшие людишки напирали на ратников, подходили к карете все ближе и ближе. Становилось ясно, что если сейчас, сию минуту, не выйти к бунтарям, они сами прорвутся, и тогда не миновать непоправимой беде.

Князь Никита свысока поглядел на царя.

— Видно, жребий на вас выпал с князь Черкасским.

Алексей заволновался и торопливо перекрестил дядьку.

— Благослови вас Господь, друти мои! Изыдите с миром и возвратитесь в добре и здраве.

Молча встретил народ царевых послов. Никита приказал ратникам оставить его и подошел вплотную к толпе.

— А бывало ли, чтобы печалующиеся уходили несолоно хлебавши от нас с князь Черкасским? — спросил он не то заискивающе, не то с обидой в голосе.

Черкасский клятвенно поднял руку.

— Тем и живы, чтобы блюсти промеж государя и сиротин его мир да любовь.

Князя долго, наперебой, выхваляли преданность российских людишек своим государям и добились того, что разгневанная толпа начала склоняться на их уговоры. Из разных концов переряженные холопами языки страстными возгласами поддерживали царевых послов.

Бунтари нерешительно переглядывались: недавняя жажда расправы с насильниками, объединившая всех, таяла, убывала; сами собой образовывались отдельные группки, не связанные одна с другой.

Корепин подоспел к Басманной слободе, когда происходили выборы послов к Алексею. Разузнав, в чем дело, он выскочил наперед и, сорвав с головы шапку, с матерной бранью шлепнул ею о землю.

— Аль не того ли выборные восхотят, чего мы восхотели? Аль мы не Траханиотова со Плещеевым да Морозовым ищем?

Толпа снова загорелась злобой и тесно сомкнулась.

— Тра-ха-ни-ото-ва!... Выдать изменника Траханиотова!

Князь Никита, через силу сдерживая гаев, ласково обратился к Корепину:

— Все исполнится по договору нашему. Иди с миром и не кручинься.

Но никто не слушал его слов. Взбаламученная призывом Савинки толпа уже вновь слилась в один могучий поток, катилась к цареву стану. Князя благоразумно отошли под прикрытие ратников и незаметно исчезли.

Когда они приблизились к стану, царь высунулся нетерпеливо из окна.

— Добро ли?

— Лихо, царь-государь!

Грузное туловище Алексея с неимоверною быстротою скрылось в карете.

Князь Никита открыл золоченую дверь и уставился на Алексея:

— Судью да окольного людишки требуют.



— Пригода<sup>[16]</sup> какая тому? — нахмурился царь.

Отстранив Никиту, в карету ввалился Черкасский.

— Отдай их, государь, не скупись. Не то, упаси Господи, не приключилось бы лиха с тобой, — сказал он и, не дожидаясь разрешения, окликнул судью: — Волят смутьяны не нас зреть в послах, а тебя со Траханиотовым.

Судья оторопел.

— Не пойду! — взмолился он, падая на колени перед царем.

Черкасский довольно потер руки и подмигнул князь Никите.

— А сдается мне, не Левонтий ли похвалялся — вся Москва-де в руце его?

Растерявшийся царь вышел из кареты и собрал совет.

— Рать ли снарядить противу смутьянов, либо Левонтия послом к ним спослать? — спросил он, глядя поверх голов и подергивая носом.

Все, кроме Морозова и Траханиотова, предложили выслать к народу судью.

— Поелику узрят людишки, что внемлет им государь, утихнут и укрепятся в вере, что не повинен помазанник Божий в лихих делах ближних своих, — молитвенно сложив руки, сказал Черкасский, хорошо знавший, чем пронять Алексея.

И, действительно, царь сразу укрепился в решении.

— Иди, — ткнул он пальцем в судью. — Доподлинно, не можно нам слыть серед смердов потатчиком лиходеев.

Левонтий на четвереньках отполз к Морозову.

— Не пойду!... Не пойду, государь... Траханиотову повели.

Но государь остался твердым. Он смягчил только голос и придал лицу выражение покорности.

— Не мы того ищем, а Господнему персту покоряемся.

Он осенил судью крестным знаменiem.

— Да укрепит тебя отец небесный в мученическом подвиге и через то пожалует тебя селениями горними.

Романов поднял с земли Плещеева и хлопнул его ободряюще по плечу.

— Блажен муж, живот положивый за царя своего.

Судья рванулся из рук Никиты и уцепился за сапог Алексея.

— Не пойду на погибель... Траханиотову повели, он боле моего лиходея!

Царь подал знак. Стрельцы поволокли Плещеева к толпе. Им навстречу с ликованием спешили смутьяны.

— Спа-си-те, — надрываясь, вопил судья, — то не я, то Траханиотов... Спа-си-те!

Точно подгнившие половицы, хряснули кости Левонтия под десятками ног. Он скребнул ногтями землю и попытался вскочить, но тут же почувствовал, что какая-то страшная сила взметнула его высоко в поднебесье.

— Морозова и Траханиотова! Волим изменников зреть, — бушевала толпа, — Тра-ха-нио-това!

Алексей, решивший выдать толпе и окольного, в последнюю минуту встретился с ним взглядом и не выдержал — неожиданно объявил, что сам идет к бунтарям.

Никита попытался удержать его, но царь раздраженно отмахнулся и, тяжело отдуваясь, направился к людишкам.

— Сиротины мои горемычные, — умильно зажмурился он, обращаясь к притихшей толпе. — Не страшась страху, печалуйтесь своему государю, как чадо печалуется родителю своему.

Смутьяны молчали, подозрительно оглядывая друг друга, стараясь по выражению лиц узнать языков<sup>[17]</sup>.

— Перед истинным обетование даю — не в погибель, а на радости ваши челобитную обратить.

Небольшая кучка людишек, во главе с Корепиным, приблизилась к Алексею.

— Без соли оставили нас воры твои. Отдай нам Морозова с Траханиотовым, и будем мы тебе до века холопами верными.

После долгих переговоров царю удалось отстоять Морозова. Связанного же по рукам и ногам окольного увезли на Красную площадь и там перед всем миром казнили.

Только добравшись до Кремля, Алексей почувствовал себя в безопасности. После трапезы он ушел в крестовую — служить молебствование о чудесном избавлении «от грозившие лютые смерти» и помолиться за упокой новопреставленных рабов Божьих Петра и Левонтия.

Поздней ночью, расставаясь с Марьей Ильиничной, он не удержался, похвастал:

— А вышло премудро, свет-царица моя! По чьему благоволенью Петра с Левонтием казнью казнили на радость смердам?

Он ткнул себя пальцем в грудь.

— По нашему, по государеву повелению... Разумеешь?

— Коли воля твоя, разумею, — ответила царица.

Алексей, любя, провел по лицу ее ладонью.

— Проста же ты, Марьюшка... По той самой пригоде выходит, что друг я не начальным людям, а смердам. Добро?

В опочивальне, прежде чем улечься, Алексей сел за стол, достал из ящика пергамент и принялся вслух обдумывать складывавшуюся в голове виршу:

Раб Божий Алексей-государь.  
Уповай всем сердцем на милости вышние  
И не будет тебе от того от всевышнего  
Ни туги, ни кручинушки, ни горюшки-горькие.

Он торопливо записал слова, с любовью снова прочел виршу и подмигнул в сторону темного окна:

— Пропишу-ко я и про нынешний день!

Перо усердно закрипело:

Лето 7156 июня во второй ден. В тот ден до десятого часу было красно и ветрено, а с десятого был гром и шел дожд велик часа з два, а потом шол дожд маленький и до вечера с перемешкою: а в ночи было тепло, а вчерашний ден на утренней заре шел дождик не велик...

Почесав переносицу, Алексей задумчиво уставился в подволоку и, уловив мысль, снова склонился над пергаментом:

...А еще упокой, Господи, души усопших раб твоих Петра и Левонтия. А еще нынче смутьяны смутили. Да не на того напали. Ведомы мне все пути непрохожие в ихнюю душу разбойную. А еще У свет-Марьюшки нынче сумерничал. Гораздо добро создал Господь теплых женушек человекам. Алексей, всея Руси царь-государь.

## ГЛАВА IV

Ртищев потерял счет времени: ему казалось, что лежит он в черной норе тысячи лет и ничего, кроме тьмы и небытия, не было во все времена.

С тех пор, как пономарь, узнав о неожиданно вспыхнувшем бунте, схоронил постельничего в церковном подвале, сразу оборвалась всякая связь с живой жизнью. Уткнувшись лицом в землю, Федор лежал, не смея ни пошевелиться, ни громко вздохнуть. Осмелевшие мыши, которых было тут великое множество, сновали вокруг него, забивались под кафтан и, попискивая, бегали по спине.

Потеряв всякую надежду на избавление, Федор решил смириться, покаяться перед смертью в грехах. Однако, несмотря на усилия, ему не удавалось сосредоточиться. В самые проникновенные мгновения, когда страстной молитвой удавалось вызвать в мутнеющем воображении призрак ангела, — откуда-то, из глубины души, настойчиво поднимался образ чернокудрой маленькой женщины. Она неслышно усаживалась у ног Федора, и ангел темнел, исчезал. «Янина, — шептал Федор, — откликнись, горлица моя сизокрылая!...»

Отчаянный писк мышей возвращал Ртищева к действительности... Одолеваемый призраками и измученный непосильный борьбой с ними, он наконец забылся в полубреду.

Вдруг он в ужасе вскрикнул и отполз в угол: на него, раскачиваясь и пригибаясь к земле, двигалась какая-то тень.

— Тут, господарь?

— Митрий?

— Я самый.

Узнав пономаря, постельничий бухнулся перед ним на колени.

— Не губи! В той соли нету моей вины!

Пonomарь отпрянул в сторону и приподняв половицы, шепнул дьячку:

— Ополоумел постельничий, меня испужался. Ходи сюда.

Дьячок подобрал подрясничек, спрыгнул в подполье и одной рукою сгреб Федора. «Родовитых кровей человек, а весом с кутенка», — с удивлением подумал он, вместе с ношей своей поднимаясь наверх, в церковь.

— Разрази меня огонь пророка Ильи, ежели сам государь не посетит храма сего и не содеет придела каменного в памятку нынешнего моего избавления! — клятвенно воскликнул Ртищев, убедившись, что опасность миновала и, порывшись в карманах, подал дьячку горсточку серебра.

Вышли на паперть. Дьячок скосил глаза в сторону избы Григория.

— А коли к слову придется, обскажи государю, дескать, речет дьячок: в избе гончара-де смутьян пребывает, Корепин Савинка.

И он рассказал все, что слышал от людей про Савинку.

\* \* \*

Отоспавшись в избе пономаря, Ртищев укатил в построенный им на собственные деньги Андреевский монастырь.

На монастырском дворе постельничего встретил ученый монах Дамаскин Птицкий.

— Возрадуйся, раб Божий Феодор, яко удостоишься ныне зреть мужа премудрого, — сообщил он, благословляя гостя. — Гостюет у нас преосвященный Никон, митрополит Новгородский.

Ртищева проводили в особый покой, предназначенный исключительно для бесед и прохождения «ученой премудрости». Там собрались уже все тридцать монахов, выписанных государем из Киево-Печерской лавры и иных украинских монастырей. В красном углу, за отдельным столом, сидел Никон.

Федор сложил пригоршней ладони и подошел под благословение к митрополиту.

— Основатель смиренной обители сей, — доложил Епифаний Славинецкий.

Ленивым броском Никон перекрестил воздух и ткнул волосатую руку в губы постельничего.

— Давненько не зрел я тебя, Федор Михайлович.

Польщенный вниманием преосвященного, Федор отвесил глубокий, по монастырскому уставу, поклон.

В дальнем углу покоя стояли подьячие Лучка Голосов, Степка Алябьев, Ивашка Засецкий и дьячок Благовещенского собора Костяк Иванов — ученики Андреевского монастыря. В вытянутых руках они

держали благоговейно, как держат Евангелие, раскрытые греческие грамматики и выбивались из сил, чтобы показать, с каким усердием долбят они заданные уроки. Временами, когда никто на них не глядел, они выпрямляли согбенные спины, высовывали язык в сторону учителей и с наслаждением плевали в страницы учебников.

— Не приступить ли со страхом? — спросил, ни к кому не обращаясь, Арсений Сатановский, вытащив из-за пазухи учебник.

Маленькие и круглые, как у птицы, глаза Никона, остро уставились в монаха.

— А не передохнуть ли вам нынче ради для приезде нашего?

Бородатые лица учеников вспыхнули радостью. Руки сами собой сомкнулись, с шумом захлопнув опостылевшие, ненавистные книги. Сатановский послушно распустил учеников. Размяв занемевшие члены, Никон тяжело поднялся и пересел к общему столу.

— Премудростям иноземным малых сих навychаете? — не то насмешливо, не то строго прищурился он и сжал в кулаке жесткий волос седеющей бороды.

Ртищев выпятил грудь.

— Так, владыко. Навychаемся грамматике греческой, латинской и славянской, риторике, философии и другим словесным наукам во имя Отца и Сына и Святого Духа и на благо Российской земли.

Беседа, в начале робкая и неуверенная, оживилась, когда перешла на волнующие монастырь вопросы образования. Федор напомнил о переведенной Славинецким книге о «Гражданстве и обучении нравов детских».

Никон сразу стал внимательней и серьезней.

— Чти, отец, — приказал он и, усевшись поудобнее, ткнулся бородою в ладонь.

Долго, с большим увлечением, спорили монахи о книге. Каждый стремился показать перед Никоном свою ученость и ни за что не соглашался с мыслью, высказанной соседом, как бы справедлива она ни была. Наконец митрополиту наскучил спор, грозивший затянуться до бесконечности, и, чтобы покончить с ним, он сказал наставительно:

— Всякое учение, поеже несть в нем хулы на Бога, есть пользительно государству.

— Аминь, — перекрестились монахи и прекратили спор.

Сухой взгляд Никона повлажнел, смягчив выражение скуластого, неприветливого лица.

— Был и я в давние годы, яко червь неразумный, и вот сподобил Господь приобщиться премудростям книжным.

Он мечтательно склонил голову на широкое плечо свое. Ртищев придвинулся поближе и весь обратился в слух.

— Показал бы ты нам милость, владыко, поведал бы о путях жития твоего, — умильно уставился Сатановский на преосвященного.

Никон поиграл золотым наперсным крестом, даром царя, сладко зевнул и перекрестил рот.

— И то поведал бы, — просительно протянул постельничий.

— В дальние годы, — начал митрополит, — был я не то чтобы из малого рода, а рожден от доподлинного мордовского смерда. А господарь наш, неведомо пошто, невзлюбил родителя моего и всякой пыткой пытал. А стану я перед господаревы очи — тож и меня ни в чем не миловал. И секли меня так, что до сего дни не уразумею, как не вытряхли душу мою из телес...

Он на миг остановился, с немой укоризной глядя на образ, и вдруг с необычайной силой стукнул кулаком по столу. Развесивший уши Федор вздрогнул от неожиданности. Монахи смиренно склонили головы и молчали.

— А и было мне, недостойному, видение, — продолжал Никон, — услышал я глас светлый, яко венец на челе Богородицы, и солодкий, яко причастие нерукотворенное: «Восстань, отроче, и гряди в иные земли научиться книжным премудростям. И благо ти будет. И будеши превыше всех во христианстве сидети». А внял я гласу небесному и отошел из своей земли в землю иную.

Он встал и подошел к окну. Его лицо потемнело, покрылось крупными каплями пота.

— Колико тут пережито! — с искреннею тоскою вырвалось из крепкой и выпуклой груди его. — И в гладе томился, и от стужи студился лютой, одначе, думу свою держал неотвратно: все превзойду и стану я в славе превыше всех человеков!

Глаза его зажглись величавой гордостью. Борода взмела воздух, будто очищая все, что мешало владыке в пути.

— Тако и свершилось по реченому... Еще ходил я попом на селе, а смерды великим страхом страшились меня. А в те поры прослышал

про меня архиерей и повелел предстать пред очи свои: «Добро, чадо, — рек он мне, — пасешь ты стадо Христово, ибо единым страхом перед господарями черные людишки спасутся перед отцом небесным». И, благословив меня, повелел принять постриг монашеский... И возвеличился я, да не до вышнего краю! Грядет еще час славы моей.

Заблаговестили к вечерне. Никон вытер с лица пот, перекрестился и, приняв из рук согнувшегося послушника жезл, не торопясь направился к выходу. За ним чинно двинулись остальные.

После вечерни монахи вновь собрались в учебном покое, чтобы обсудить Соборное уложение, которое затеял составить государь.

Никон пытливо оглядывал высказывавшихся, стараясь проникнуть в их сокровенные думы, и что-то записывал на клочке пергамента. Монахи ежились под его взглядом, робели и осторожно следили за митрополичьей рукой, желая узнать, что он пишет. Только Ртищев чувствовал себя великолепно и с детским простодушием восторгался умом Никиты Одоевского, Семена Прозоровского, Федора Волконского, дьяков Гаврилы Левонтиева и Федора Грибоедова, кропотливо собиравших старые, покрытые пылью веков обычаи и законы и представивших Алексею записку о новых законах.

— А для кого то Уложение? — поморщился Никон.

— Вестимо, для сиротин царевых, — пожал плечами постельничий.

Губы Никона задрожали, как у голодного пса, почуявшего запах говядины.

— То-то, что для сиротин, а не для правды.

Набравшийся смелости Славинецкий вступился за Ртищева, но митрополит властно топнул ногой:

— Уложения собирают боязни ради междуусобия от всех черных людишек, а не истинные правды ради! Тих, гораздо тих государь... Утишить мыслит уложениями воров да смутьянов. А то не уложениями смиряется, а батогами да дыбою.

Он разгневанно вышел из трапезной в свою келью. Монахи бросились было за ним, но остановились в сенях, боясь еще больше восстановить его против себя.

— Будет потеха, — горько пожаловался Сатановский, — не миновать, челом ударит на нас государю.



— А ты не каркай, — перекошил лицо Славинецкий.

Сатановский вызывающе оглядел обидчика.

— И деды мои, и прадеды не воронами, а кречетами почитались, ты же от начала века некормленным псом воешь да псиною отдаешь!

Еще мгновение и они вцепились бы друг другу в бороды, но тут на пороге показался Ртищев, и застигнутые врасплох монахи низко поклонились друг другу.

— Благослови, отец, — буркнул Сатановскому Епифаний.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — пробормотал тот, еле сдерживаясь.

Федор с умилением глядел на монахов.

— Колико радостно зреть смиренное житие ваше!

Едва постельничий простился и ушел за ворота, Епифаний засучил рукава:

— А не благословишься ли и ты, ворон, благословением?

Сатановский толкнул его в грудь.

— Гряди ты к ведьме под хвост, философ козломордый!

\* \* \*

Ежась от промозглой ночной сырости, Ртищев верхом на низкорослом коньке трусил к Кремлю.

У Спасских ворот он передал скаунка дозорному стрельцу и, помолясь на храм Василия Блаженного, скрылся в темноте двора.

В царевой опочивальне при свете восковой свечи, за круглым столиком, полураздетый Алексей играл в шахматы с Милославским. Федор потоптался перед дверью и нерешительно кашлянул.

Государь недовольно покосился на дверь, но тотчас же снова склонился над шахматами.

— Аи ловок же ты, государь, — с нарочитым восхищением всплеснул руками Илья Данилович, — колико не тужься, а не одолеть тебя.

Постельничий прыснул и помотал головой. «Хитра лисица, — подумал он не зло, — а сам, небось, токмо и норовит, чтобы поддаться». Он чуть приоткрыл тяжелую дверь.

— Жив? — сердечно протянул к нему руки царь.

— Жив, государь!

Милославский похлопал постельничего по плечу.

— А ныне и не бойся, ибо всех коноводов вечор людишки мои изловили.

Алексей нахмурился.

— Гоже ли? Сдается нам, мы посул давали не занимать бунтарей?

Глаза окольного заблестели лукавыми искорками.

— Нешто мы смутьянов ловили? Мы татей вязали.

Он рассмеялся и присел на лавку.

— А не забыл ли ты, Данилыч, про Корепина? — прищурился постельничий. — Про гончара Корепина Савинку?

Царь порылся в ящике стола, достал бумагу и внимательно просмотрел список изловленных бунтарей.

— Доподлинно, не зрю сего имени, — сказал он, сурово взглянув на тестя.

Милославский торопливо вскочил.

— Сейчас же вора изловим!

Прихватив с собою Ртищева, он поскакал в Разбойный приказ.

\* \* \*

Савинка пробудился от громкого стука в дверь. Неслышно поднявшись, он чуть отволочил доску волокового оконца и пристально взгляделся в тьму. Стук повторился с большей настойчивостью и силой. «Стрельцы!» — скорее догадался, чем увидел гончар.

На соломе, в углу, заворочался разбуженный Григорий. Из закутка ни жива, ни мертва выглянула Таня.

— Эй, вы там, отоприте!

Савинка направился к двери. Девушка бросилась к нему:

— То по твою душу пришли... Беги!

Он безнадежно опустил голову.

— Куда побежишь от ока царева. Да и не чуешь — весь двор окружили, проклятые...

## ГЛАВА V

Грязный туман таял, обнажая поблескивавшую гладь Москва-реки. На восходе, точно расшитый золотом и изумрудами охабень боярышни, покачивалось прозрачное облачко. Из-за рощи, сквозь дымчатую пелену, стыдливо глядело солнце.

Ртищев, прилизанный и умытый, расхаживал по необъятному двору своей усадьбы, раскинутой в Конюшенном переулке Арбата, и нетерпеливо дожидался кого-то.

Наконец, к воротам подошел, одетый в подрясничек; сутулый старик. Федор бросился навстречу гостю. В хоромах, заперев дверь на засов, старик опустился на колени.

— Николай, угодник Божий, — зашамкал он, стукнувшись об пол лбом, — помощник Божий... Реки за мной, государь.

Федор повторил произнесенные стариком слова.

— Ты и в поле, — возвысил голос гость, — ты и в доме...

— Ты и в поле, ты и в доме, — молитвенно вторил постельничий.

— В пути и в дороге, на небесах и на земли заступи и сохрани от всякого зла.

— От всякого зла, — эхом отозвался Ртищев и поднялся с колен.

Старик, поклонившись хозяину, достал из-за пазухи две свечи.

— Сажи маненько сдобыть бы, — попросил он, озираясь по сторонам.

Постельничий вышел в сени и шепнул дворецкому:

— Сажи сдобыть ведуну.

Дворецкий стремглав бросился исполнять приказание.

Вываляв свечи в саже, ведун на каждой из них, у самого верха, начертал первые буквы имени женщины, которую называл государь, и утыкал буквы иголками.

— Время и огонек вздуть, — сказал он вполголоса.

Федор дрожащей рукой зажег свечи.

— Внемли, — насупился ведун, — егда почнут падать иглы, дуй в сторону, в коей живет зазноба, и реки за мной заговор.

Раздув до последней возможности щеки, Федор исступленно дул в окно и нараспев повторял за ведуном:

— Стал не благословясь, пошел не перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, вышел в чисто поле, стал, оборотился, свистнул тридевяť раз и хлестнул тридевяť раз, вызвал тридевяť сил...

— Вертись на одной ноге! — крикнул старик и схватил Ртищева за плечи, с силою закружил его. — Вертись да приговаривай с упованием: вы, слуги верные, сослужите мне службу правильно, запрягите коня вороного и съездите за тридевять верст...

Ртищев неожиданно остановился и замахал руками.

— Какой тут тридевять верст? Доплунуть — добежать до зазнобы моей.

Старик свирепо схватил Федора за ворот.

— Весь заговор разметал словесами своими! Нешто я мене твоего ведаю, где зазноба живет?

Он повторил снова весь обряд заговора и поклонился хозяину до земли.

— На дыбе пытать ее будешь, в землю схоронишь, а никуда не вытряхнешь любовь бесконечную.

Ведун взялся за ручку двери и, не поглядев на серебро, щедро врученное ему Федором, собрался уходить. Вдруг на лице его изобразился испуг.

— Ведь эко запомятовал... Вот оно — древние-то годы!... Черны, сказываешь, у зазнобушки волосья на голове?

— Черны, Миколушка. Чернее ночи черны.

— Вот по сей пригоде и должен я на груди носить за любовь за сию нерушимую перстень златой с камнем агатовым.

Постельничий облегченно вздохнул.

— Пожалуешь к вечеру, будет тебе перстень, Миколушка.

Выпроводив ведуна, Федор обрядился в новый кафтан и вышел на крыльцо. На дворе копошились холопы — чинили сбрую, ожесточенно чистили и скребли застоявшихся аргамаков, бегали без толку в сарай и подклеть — прилагали все старания, чтобы обратить внимание господаря на свое усердие. На противоположном конце двора за низкою изгородью, на огороде, перекидываясь веселыми шутками, работали девушки.

Ртищев поглядел на небо и решив, что уходить еще рано, побрел от нечего делать в огород.

Девушки побросали работу и бухнулись ему в ноги.

— Единому Господу поклоняйтесь, — назидательно пискнул постельничий.

Он приготовился произнести свою обычную речь, в которой проповедывал «братство всех людей во Христе», но, услышав благовест, круто повернулся, раздал узенькое лицо в блаженную улыбку и, сорвав с головы шапку, перекрестился.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

— Аминь! — хором закончили девушки и снова поклонились господарю.

Федор отправился в церковь. Устроившись на клиросе, он безмолвно воззрися на образа. Однако молитвенное настроение не приходило. Взор то и дело обращался к окну, а в мыслях против воли стояло все одно и то же: продаст или не продаст?

\* \* \*

Кое— как отстояв обедню, постельничий чуть ли не бегом пустился в сторону Знаменского переулка, к усадьбе дворянина Буйносова.

Буйносов увидел раннего гостя через окно и, в знак почтения, вышел к нему навстречу.

— Дай Бог здоровья гостю желанному.

Пригнувшись, он обнял постельничего и троекратно облобызался с ним.

В тереме Федор долго крестился на образа, потом еще раз поклонился хозяину и, захватив в кулак маленький, утыканный реденькою щетинкою подбородок, присел к столу.

Со двора заунывною жалобою доносилась чуть слышная песня.

Лебедь белую во чужой сторонushке захоронили,  
Со лебедь белою друга милого да разлучили,  
Да, эх, кручинушка, да долюшка сиротская!  
Знать, тобою, долюшка, нам дадено  
Вековать ли с горюшком век-вечные,  
Во слезах зарю встречаючи,  
Да в горючих зорьку провожаячи...

— Добро девки поют, — мечтательно закатил глаза, постельничий.

Буйносов чванно выставил живот.

— А краше всех, гостюшко, поет полонная женка Янина.

Федор смущенно поглядел на пальцы свои и отошел к окну.

— Эко, траву нынешним летом, как прорвало!

Буйносов торопливо перекрестился и сплюнул через плечо.

— Дурное око ворону на потребу, доброе же слово хозяину на корысть, — трижды проговорил он скороговоркой и потом уже спокойно прибавил: — Травы, доподлинно... могутные ныне травы, благодарение Господу.

Помолчав немного, Ртищев снова присел рядом с хозяином.

— Ежегодно радуются люди траве зеленой, — улыбнулся он печальной улыбкой, — а того в толк не возьмут, что оком не мигнешь, как травушке той и кончина века пришла.

Буйносов сочувственно покачал головой.

— Так и живот человеческий.

Потерев раздумчиво лоб, Ртищев забарабанил пальцами по столу.

— Читывал я, Прокофьич, и греческую премудрость, и многие тайны спознал, а все в толк не возьму: пошто и человек, и трава смертью помирают, а мир как будто и не помирал николи? Как жил много годов назад, так и жительствоует.

Он беспомощно заморгал глазами и спрятал в ладони потемневшее лицо.

— Сдается мне, что и человек, как трава: коль един на земли сиротствует, нет ему ни доли, ни радости... Все кручинится да тужит человек одинокий. А позабыть ежели про себя да к людям податься, особливо ежели к женке, то ли жизнь пойдет!

Прокофьич нетерпеливо дослушал гостя и грозно сдвинул рыжие брови.

— Не до того еще допляшешься с борзостями еллинскими! Ума решишься! А пошто наваждение такое?... По то, Федор Михайлович, что старину позапамятовал. Нешто так отцы и деды наши на мир Божий глазели? Нас как навывчали? Егда поспрошают тебя, ведаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астромонов не читал, с мудрыми философами не бывал, но учуся

книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов.

— Не то! — воскликнул Федор, — против старины не смутян я. Но ведаю, что не весь живот человеческий познала древняя мудрость.

Песня за окном то таяла, припадая к земле, то вздымалась к небесам, исполненная кручины, то билась отчаянно в воздухе, как бьется отяжелевшими крыльями смертельно раненный сокол.

— Эко, девки печалуются, Прокофьич!

Буйносов выглянул в окно.

— Сызнов Янинка раскаркалась!... Ужо закажешь десятому, как лихо накликивать.

Тяжело отдуваясь, он вышел на двор. Ртищев обеспокоенно последовал за ним.

При появлении господаря девки упали ниц, ткнувшись лицами в землю.

— Пожалуй-ко, покажи милость, подойди-ка к крыльцу, — поманил Прокофьич пальцем Янину.

Неторопливо поднявшись, женщина спокойно пошла на зов.

— В ногу! — крикнул господарь, наотмашь ударив ее по лицу.

— Как тебе сподручнее будет, — гордо сверкнула глазами Янина, опускаясь на землю.

Осанка ее, так не похожая на осанку даже самых родовитых российских женщин, величавый взгляд больших серых глаз и чуть вздрагивающие от скрытого возмущения ноздри привели Буйносова в неистовство.

Федор, чтобы выручить Янину, стал между нею и Прокофьичем.

— Неужто песней сиротской можно лихо накликать?

Чуть приподняв голову, женщина обдала постельничего признательным взглядом.

— А ежели лихо не накличет, — огрызнулся хозяин, — то уж вернее верного девок от работы отвадит!

Он кликнул дворецкого и, не обращая внимания на немую мольбу Ртищева, приказал:

— Сечь ее крапивою до четвертого поту!

Ртищев гневно вцепился в руку Буйносова.

— Опамятуйся!

Но дворецкий, покорный приказу, поволок женщину через двор.

— Дружбы для! — крикнул постельничий. — Не соромь полоняночку.

Буйносов упрямо мотнул головой и, увлекая за собой не выпускавшего его руку гостя, пошел в конюшню.

— Продай женку, Прокофьич! — завизжал Федор, едва холоп замахнулся на женщину пучком крапивы.

Глаза Буйносова подернулись усмешкою. Чтобы еще больше раззадорить гостя, он сорвал с гвоздя плетъ и, с наслаждением крикнув, трижды полоснул Янину. Ртищев умоляюще протянул к нему руки:

— Ничего не пожалею, бери колико волишь!

Хозяин кинул плетъ под козлы.

— Не можно. Рад послужить, да самому холопы надобны.

— Дружбы для нашей!... До скончания живота памятовать буду добро твое...

Буйносов почесав затылок, нерешительно помялся и с сожалением поглядел на гостя.

— Нешто для дружбы?... А дружбы для и мы не бусурмане. Задаром отдам! За двести рублей.

Федор всплеснул руками.

— Окстись! Да нешто бывало, чтобы за холопку боле трех рублей плачивали?

Ни слова не ответив, Прокофьич вытер руку о полу кафтана, перекрестился и кивнул кату<sup>[18]</sup>.

— Ты ей пятки полехтай огоньком.

— Дворянин, а рядишься, что твой татарин, — не выдержав, проговорил постельничий и гадливо сплюнул.

— Так-то ты! — заревел Буйносов. — В батоги ее!

Каты бросились к батогам. Обомлевший Ртищев отпрянул к двери, но тотчас же ловким движением вырвал из руки холопа батог.

— Царю ударю челом, не поущу! Нету такого закону, без суда людишек казнью казнить.

Лютый гнев помутил рассудок Прокофьича. Он отшвырнул далеко в сторону заступника женки и схватил секиру.

— А коли не волен ныне я, господарь, над смердами расправу творить, так на же!

Федор, собрав все свои силы, метнулся к козлам.



— Бери!... Двести пятьдесят бери, токмо помилуй!

— То-то же, — спокойно ответил Буйносов, опуская секиру, — вон оно до чего довел ты меня, Федор Михайлович. Еще бы время малое, грех смертный принял бы на душу.

Федор сжался и, боясь вновь рассердить неудачным словом хозяина, угрюмо молчал.

В терему они ударили по рукам. Дворецкий побежал за дьячком. Подоспевший Буйносов, довольный выгодной сделкой, предложил гостю вина.

— Не вкушаю, — поморщился постельничий, — не тешу нечистого.

— Вольному — волюшка, а спасенному — рай, — презрительно ухмыльнулся Прокофьич. — Токмо по-нашему, по-неученому, не грех бы для крепости пообмочить купчую отпись.

Он увел Ртищева в трапезную и насильно заставил пригубить корец.

— А остатнее я отхлебну.

В дверь просунулась голова дворецкого:

— Доставил.

Буйносов надменно оглядел пошедшего дьячка и, не ответив на глубокий поклон его, спросил:

— Горазд ли ты купчую отписывать?

— Тем и живы опричь служения в храме, — почтительно закивал дьячок и достал из болтавшегося на животе мешочка чернильцу.

— А коли горазд, строчи, вислогубый!

Дьячок повел кожей на лбу — из-за дрогнувшего уха выскользнуло перо и, точно прирученное, упало промеж растопыренных пальцев.

— Про что отписывать, господари?

Выслушав Буйносова, он припал на одно колено и, вытягивая горлом, в лад поскрипывавшему перу, застрочил купчую. Покончив с делом, он перекрестился на образ, высморкался и загнусавил:

Купчая отпись на проданную польскую женку Янину. Се я, Иван, сын Прокофьев, дворянин Буйносов в нынешнем сто пятьдесят седьмом году, продал я, Буйносов, свою польскую полонную женку Янину постельничему Ртищеву Федор

Михайловичу. А у тое женки глаза серые, волосы черны на голове. А взял я, Иван сын Прокофьев, за ту свою полонную женку у него, Ртищева, 250 рублей денег. А впредь мне, Буйносову, до тое женки дела нет ни роду моему, ни племени, не вступаться... И буде кто станет в ту женку вступаться, а мне, Ивану, сыну Прокофьеву, очищать и убытку никакого ему, Ртищеву Федор Михайловичу, не довести. В том я, Буйносов, ему Ртищеву, отпись дал. А отпись писал дьячок Васька Лотков лета 7157 году.

Ртищев в знак согласия качал головой. Он торжествовал. Что там деньги! Главное, сбылось, наконец, то, о чем он мечтал больше года, никому не смея поведать свою тайну. Да и как можно было ему — постельничему, господарю — прийти к Буйносову и откровенно сказать о своей любви к какой-то безвестной полонной женке!

\* \* \*

В колымаге Прокофьича постельничий умчался к себе в усадьбу за казной. К обеду все было готово. Купчая отпись осталась в руках Федора, а Янину Буйносов обещался доставить на следующее утро, так как ей нужно было отлежаться после побоев.

Спрятав купчую на груди, Ртищев облобызался с хозяином и укатил во дворец.

Прокофьич на радостях пригласил соседей и мертвецки напился.

— Ловко я его, ха-ха-ха!... — гремел его густой бас в низких хоромах. — Секи! Ха-ха-ха-ха!... Я секу, а он, гнида болотная — «Полсотни рублей прикину, помилуй токмо, продай полонную женку». Ха-ха-ха!...

Тревожно и почти без сна провел Федор ночь. Едва забрезжил рассвет, он вскочил с постели и, позабыв о молитве, припал к окну. Дважды заходил в опочивальню дворецкий, о чем-то докладывая, спрашивал о чем то, и даже как будто, набравшись смелости, дергал господаря за край рубахи — но Федор только отмахивался.

— Сызнов блажит! — с сожалением пожимал дворецкий плечами и уходил ни с чем в полутемные сени.

Наконец, на дороге показалась Янина.

— Принимай! — взвизгнул Ртищев и бросился в сени, но вовремя опомнился. — Ты вот что, Флегонт, — поднялся он на носках, чтобы казаться солиднее, и постучал зачем-то пальцем по груди дворецкого. — Я... того самого, как его... вечер полонную женку купил. От лютые смерти Христа для спас... Так ты уж, Флегонтушка, баньку задай той полонянке, да ласковым словом примолви. Хоть и из ляхов она, а все же душа человеческая.

Выпроводив дворецкого, Федор снова приник к окну.

Пошатываясь, маленькая, пришибленная, с беспомощно болтавшимся в руке узелочком, точно олицетворение скорби и беспросветного одиночества, Янина шагала к резному крыльцу.

## ГЛАВА VI

Сам Ртищев смазал раны Янины целебными снадобьями, перевязал холстом и на всякий случай, для крепости, попросил Миколушку свести хворь на черного таракана.

На следующее утро, когда больная почувствовала себя лучше, ее перевели из подклети в каморку, примыкавшую к господарской опочивальне. Каморка была похожа скорее на узкий и низкий гроб, чем на человеческое жилье. Свет проникал через продолговатую щелку под подволокой, заделанную матовою слюдою. Но Янину поразило богатое убранство помещения. Лавка вдоль стены была обита парчой с золотыми гривами<sup>[19]</sup>, на постели из золоченого дуба высилась гора пуховиков; покрывало, расшитое сапфирами, рубинами, бисером и бирюзой, горело при мигающем свете лампы тысячью причудливых огоньков; маленький круглый столик был завален дорогими потехами фряжского дела; в огромном стеклянном шаре, подвешенном к подволоке, уродливо корчась, отражалось все, находившееся в каморке.

Полонянка недоверчиво отступила к порогу.

— То не для нас, то для господарей, — показала она рукой на постель.

Дворецкий ухмыльнулся.

— День-деньской тебя для заботились холопи. Нешто не ведаешь, что господарь пожаловал тебя ключницей?

Вернувшись от заутрени, Ртищев перерядился в потертый подрясничек и, наскоро перекусив, вышел во двор.

До самого обеда помогал он холопам в их повседневной работе, на огороде поучал девушек, как нужно «по-европейски» удобрять землю и какие на свете бывают овощи помимо капусты и редьки. Девушки слушали внимательно, низкими поклонами благодарили господаря за добрые речи, но, когда Федор оставил их, — с недоумением уставились друг на друга:

— Уразумела?

— Подавись он со словесами своими со бусурманскими! Токмо опоганились слушаючи.

И продолжали работу так, как учили их отцы и деды. В сущности, вся дворня относилась благожелательно к господарю — за тихий нрав его и человеческое отношение к людишкам. Только одного не могли холопы простить ему: страсти обучать их басурманским премудростям.

Каждый день, выпавшись после обеда, Ртищев, нагруженный букварями, шел в повалушу<sup>[20]</sup>. Там дожидалась его вся дворня, от стариков до детей. Усевшись за покатым столиком, сработанным умельцем из немецкой слободы, постельничий устремлял кроткий и прямодушный свой взгляд на людишек.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — тоненько выводил он.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — повторяли холопы с таким неподдельным отчаянием, точно неожиданно видели себя на краю бездонной пропасти.

Федор усиленно тер висок и приступал к уроку, неизменно начиная с одного и того же:

— А что сказывает государь царь и великий князь всея Руси?

— Делу время, а потехе час, — отвечали все хором.

— Добро, гораздо добро, — кивал головой учитель и переходил к букварю.

В тот день, когда Янина переселилась в каморку, холопы решили не ходить в повалушу, понадеявшись, что господарь, забавляющийся с бабой, позапамятует пытаться их учением. Но пришел послеобеденный

час и, как всегда в будни, Ртищев, со связкой книг под мышкой, направился в повалушу.

Дворовые покорно поплелись за ним.

— А что сказывает государь царь и великий князь всея Руси?

— Делу время, а потехе час.

— Добро... Гораздо добро.

Федор перелистал букварь, нашел нужное место и, не глядя, ткнул пальцем в одного из учеников.

— Тебе, Афонька! — зашептали со всех сторон холопы, подталкивая старика-огородника.

Афонька, тонкий и кривой, как отраженная в воде осокорь, убитая молнией, сердито зажевал провалившимися губами и не двинулся с места.

— Ну-ко, Парашка, иди! — произнес наконец Ртищев первое, пришедшее на память имя.

Заросшая с головы до коротких узловатых ног грязью, рыхлая женщина испуганно заморгала и повернулась к иконе.

— Господи!

— Ну же!. — раздраженно прикрикнул учитель. — Долго дожидаться я буду!

Парашка, охая, поднялась, вразвалку, по-утиному, подошла к господарю и, разинув до ушей рот, ожесточенно сунула под головной платок грязную пятерню.

— Реки! — деловито ткнул Федор указкой в букварь.

— Глагол... иже... рцы...

Ртищев нетерпеливо забарабанил пальцами по дубовому столу.

— А где ты тут «иже» узрела? Реки: глагол, есть, рцы, аз, како, людие.

— Глагол, есть, рцы, како, людие, — точно в бреду, повторила Парашка.

— А вкупе?... Всем миром реките.

В повалуше воцарилась мертвая тишина. Ртищев оскалил зубы и, наклонившись к женщине, процедил ей под ухо:

— Реки: Ге-ра-кл.

Обомлевшая Парашка с воем бросилась в ноги господарю.

— Избави!... Не погуби христианскую душу!

На лбу у Федора выступил пот. Он схватил женщину за руку и, поднявшись на носках, шлепнул ее букварем по груди...

— А Геракла страшишься — реки: добро, ук, рцы, аз.

— Реки: добро, ук, рцы, аз, — упавшим голосом откликнулась женщина.

— Ну чего ты взыщешь с нее! — сплюнул Федор. — Без моего реки: добро, ук, рцы, аз.

Парашка повторила так, будто накликала на себя неминуемую гибель:

— Без реки моего добро, ук, рцы, аз, иже...

И расплылась в улыбке.

— Постой, погоди! — не выдержал Ртищев и закатился смехом. — А есть то истина: добро, ук, — ду, рцы, аз — ра. Ду-ра!

Холопы поддержали господаря раскатистым хохотом. Обалдело умолкнувшая ученица внезапно всплеснула руками:

— И доподлинно, дура!... У меня корова не доена, а я тут букварю обучаюсь.

Когда в повалушке немного стихло, Ртищев, довольный собой, порылся в книгах, нашел изображение коровы и, показав его ученикам, пощелкал двумя пальцами по лбу Парашки.

— А ведомо ли тебе, что смертью помереть может корова, коли ее не ко времени подоить?

Играя именами иноземных ученых, он принялся объяснять холопам, как построен скелет коровы. С каждым словом постельничий увлекался все более и более. Он позабыл уже, о чем начал говорить, и перескакивал с поразительной быстротой с одного предмета на другой. Жития святых переплетались с разговорами, об уходе за овцами, гражданство и обучение нравов детских — с Аристотелем и комедийным действием у иноземцев... Наконец, истощив весь запас красноречия, Ртищев устало разогнул спину и с недоумением воззрился на Парашку.

— Так о чем, бишь, мы с тобой? — устало потянулся он.

— Об дуре, — пробудившись от дремоты, крикнул огородник и на всякий случай спрятался за спину соседа.

Федор собрал книги и повернулся к образам. Холопы с радостью склонили колена, готовясь к молитве. Урок окончился.

Спускался неприветливый вечер. Точно хмельные монахи в дымчатых рясах и сбившихся набекрень клобуках, покачивались в низком небе разорванные тучи.

Ртищев сидел, нахохлившись, в опочивальне и тосковал. Идти никуда не хотелось, а ложиться спать было еще рано. Временами он поднимался с лавки и, затаив дыхание, на носках, подкрадывался к двери, ведущей в каморку Янины.

— Почивает, болезная, — шептал он с умилением, складывая руки на груди.

Янина тонула в пуховиках и, закинув за голову руки, беспокойно ждала господаря. Томительно медленно длилось время. Каморка погружалась во мрак. На улице стихало движение. Кралась слезливая московская ночь.

Заслышав шорох в опочивальне, полонянка встала с постели, готовая к встрече. Но Федор не шел: прикинув ухом к деревянной переборке, прислушиваясь к дыханию женщины, он шептал какие-то ласковые, самому ему непонятные слова.

Его слабый шепот донесся до чуткого слуха Янины и сразу успокоил ее. «Да то он нейдет жалеючи, — догадалась она и, посмелев, решилась на хитрость: — Пожалуешь, ох, как пожалуешь, господарик!»

Плотно укутавшись в покрывало, она запела вполголоса:

Ой, не спится мне молодушке,  
На чужой— лихой сторонушке.

И, нарочито громков всхлипнув, продолжала с тоской:

Пожалел бы ты меня, Господь-батюшка,  
Да укрыл бы во сырой земли...

Федор, полный участия, слушал. Точно в лад безрадостной песне, был заблудившийся в трубе ветер и печально позвякивали о слюдяное

оконце тяжелые капли дождя.

А не можно боле мне одинокой  
А сиротствовать на чужбинушке, да на далекой...  
Пожалей же, Господь-батюшка, полоняночку.  
Прибери к себе да бесприютную...

Все тише пела Янина — слова блекли и вяли, как лепестки сорванных ветром степных колокольчиков. Наконец песня оборвалась, сменилась жалобными всхлипываниями.

Ртищев заметался по опочивальне, не зная, что предпринять, и сразу вдруг решился: зажмурившись, чтобы не так чувствовать страх, открыл дверь каморки.

Янина грохнулась на колени.

— Помилуй, господарь! За кручиной своей упамятовала я, что покой твой встревожила.

Нащупывая руками дорогу, постельничий шагнул во мрак и наткнулся на столик. С треском и звоном покатались по полу дорогие фряжские забавы.

— Свет бы вздуть, — отступил Федор...

Полонянка поднялась с колен и зажгла лампаду.

— Эка, сколько сгублено твоих забавушек, — виновато развел руками господарь и уселся на край постели. — Да ты не кручинься, касатка. Я новых доставлю, колико сама восхочешь.

Она натянула покрывало на круглое плечо и жеманно сложила губы.

— Не ждала я тебя, господарь, не приубралась.

— А я было думку имел, ты почиваешь, лапушка.

— Где уж. Очей не сомкнула.

Федор осторожно обнял ее. Легкая дрожь пробежала по телу женщины.

— Бога для, не губи, — взмолилась она.

Девичья стыдливость полонянки тронула сердце Федора и пробудила в нем чувство великодушия. Неимоверным усилием воли поборов себя, он встал, клятвенно поднял руки:

— Как родителя не соромилась бы, так и меня не соромься.



И глухо прибавил, задувая лампаду:

— Токмо не гони, токмо дозвожь быть подле тебя.

Каморка погрузилась в непроглядную тьму. Не решаясь подойти к постели, Федор сказал:

— Ты бы спела господарю своему, горлица светлоокая.

— Рада бы потешить тебя, да ведомы мне едины песни кручинные.

Федор склонил голову и вздохнул:

— А мне токмо и по мысли песни такие.

Янина, помолчав, запела.

Жил да был на Польше шляхтич Казимир.

Ой, велик-могуч был шляхтич Казимир!

Тьмы тем злата в погребах он хоронил.

Токмо краше злата-серебра ему была

Дочка панночка, Янинушка...

И оборвалась, зарывшись лицом в подушку, заплакала.

— Сиротина... горемычная моя сиротина, — зашептал Федор, склоняясь над ней и чувствуя, как у него самого закипают в груди рыдания. Рука его сама собой обвилась вокруг ее шеи и губы припали к мокрой от слез щеке.

Янина испуганно рванулась.

— Не надо... Бог взыщет за меня, сиротину!

Федор всем телом откинулся назад и воскликнул в исступлении:

— Коли так, краше не зреть тебя! Утресь же отпущу тебя на все на четыре сторонушки!

Он сделал шаг к двери, но Янина вцепилась в его рукав.

— Не спокитай!... Нешто не чуешь, что милей ты мне свету белого! Об едином токмо кручинюсь — не ведаю, я ли любя тебе.

Ртищев захлебнулся от счастья.

— Мне ли? Люба ли?... Да коли нужда будет, по единому глаголу твоему в реку брошусь, не перекрестясь.

Снова теряя голову, он обнял женщину и с силой сжал ее в своих руках. Янина с отчаянным криком забилась в его объятиях.

— Тьфу! — рассердился постельничий, отпуская ее.

Янина поняла, что игра ее принимает дурной оборот и, опустившись на пол, присев у ног Федора, долго говорила ему о любви своей, клялась, что все думки ее заполнены им одним... Точно в бреду, слушал Федор признание полонянки. «Прикрикни! Токмо прикрикни — и все будет по-твоему, — билась в мозгу его настойчивая мысль. — Нешто слыхано слыхом, чтобы холопка супротив господарей глас подавала!» Но он сумел подавить в себе этот голос и, измученный, перегоревший, ушел, так и не тронув в эту ночь Янину.

## ГЛАВА VII

Воевода встретил Никона далеко за Новгородской заставой и, испросив у митрополита благословения, пересел в его колымагу.

— Тихо ли на Москве, владыко?

Никон грубо наступил ногой на ногу воеводы и показал глазами на сопровождавших его монахов.

Всю дорогу, до митрополичьих покоев, проехали молча. Никон был не в духе. Встречавшиеся на улицах людишки, как всегда, почтительно снимали перед ним шапки, кланялись в пояс, но он не отвечал на поклоны и вместо благословения обдавал их таким жестоким взглядом, что они старались как можно скорей уйти с его глаз.

Воевода понял, что митрополит везет недобрые вести, и с мучительным беспокойством перебирал в памяти все свои прегрешения, которые могли каким-либо путем дойти до Москвы.

Помолясь наспех перед воротами обители, Никон прошел в опочивальню, позвав за собой воеводу.

— А не слыхивал ли ты новых вестей, — зло насупился митрополит и еле слышно прибавил: — Опричь тебя на всех путях стрекочут про лихо сольвычегодское да устюжское.

Воевода тряхнул плечами, будто освободился наконец от давившей его ноши.

— Далеко до Сольвычегодска, владыко. А нам вместею новгородскую сторону блюсти в благодати и мире.

Глаза Никона сузились в ядовитой усмешке.

— А и в твоём воеводстве, чую, смуте не миновать.

Воевода вскочил с лавки, готовый к спору, но, встретившись со взглядом владыки, только вздохнул обиженно и снова уселся. В опочивальню, низко поклонившись митрополиту, вошел келарь. Никон переглянулся с ним и злорадно потер руки.

— Обскажи-ко сему мирскому начальному человеку, какими вестями ныне полнится земля российская.

Келарь перекрестился на образ, потом с преувеличенным почтением склонился перед воеводой.

— Опречь Сольвычегодска смутит ныне и Псков. А еще слухом слышали, Новгород послов из Пскова встречает.

— А на то и воеводствуем мы, чтобы не слухом служить, а истиною, — ответил воевода и приподнялся, стукнул себя в грудь кулаком: — А не было от Пскова послов!

Никон, спокойно ожидавший, когда кончит воевода, подошел к порогу и приоткрыл дверь.

— Все обсказал, служитель истины?

— Все!

— А коли все — вот тебе Бог, а вот и порог.

Воевода позеленел от оскорбления, но послушно поклонился и вышел. «Была бы сила моя, показал бы я тебе, смерд мордовский, как над царевыми людьми издевою издеваться», — яростно думал он и, вскочив на коня, зло замахнулся плетью.

Зычный оклик келаря заставил его остановиться.

— Чего еще занадобилось?

Монах сложил на животе руки и низко поклонился.

— Благословляет тебя владыко на совет с Афанасием Лаврентьевичем Ордын-Нащокиным. Велико учен и разумен гот муж и в усмирениях не единожды показал умельство свое перед государем.

\* \* \*

Улицы были заполнены народом, дорога от рынка к заставе стала похожа на вооруженный стан. Торговцы, чуя беду, побросали лари и поспешили скрыться. Кое-где виднелись отряды ратников — они незло покрикивали на толпу, грозя пустить в ход пищади.

Воевода сдержал коня и плетью поманил к себе стрельцов. Однако никто не послушался его.

Кто— то в толпе рассмеялся.

— Повоеводствовал и будет, родименький!

Один из ратников, подскочив к воеводе, хлестнул его коня.

— Покель целы косточки — скачи к лешему в бор!

Воевода размахнулся с плеча и заорал:

— На дыбу его! В железа!

Ратник отпрянул от удара и взялся за пищаль:

— За мшел<sup>[21]</sup> непомерный да за все издевы — держи! — воскликнул он, но тотчас же по-приятельски улыбнулся. — Не егози, господарь. Оставлю я тебя псковичам на потеху.

— Псковичам? — точно во сне, повторил воевода. Весь пыл его мгновенно улегся, рука бессильно упала, плетъ выскользнула из кулака и легла под ноги ратникова коня.

— А за гостинец спаси тебя Бог, — прибавил ратник и, ловко изогнувшись, подхватил плетъ с земли. — Ишь ты, корысть мне ныне какая!... Набалдашник-то из чистого злата.

В дальнем краю кто-то протяжно крикнул и призывно ударил в накры<sup>[22]</sup>.

— Мир псковичам! — пронеслось по улице.

Толпа по собственному почину, не дожидаясь приказа, расступилась, образовав узкий проход. Воевода припал к шее коня и во весь дух помчался назад к митрополичьим покоям.

Добравшись до рынка, псковичи остановились.

— Тебе обсказывать! — подхватили послы какого-то парня и поставили его на опрокинутую вверх дном бочку.

Парень сорвал с головы шапку.

— Так что хлебушка нету! — свирепо вытаращил он налитые кровью глаза. — Так что хлебушка нету!...

Он примолк, чтобы побороть в себе звериную злобу, мешавшую ему говорить и, прищелкнув пальцами, снова надрывно крикнул:

— Так что хлебушка нету!

Его сменил другой посол. Степенно перекрестившись, он разгладил бороду, прищурился и зябко запахнул епанчу.

— Хлебушка нету, а денег черные людишки и отродясь не зрели. Все, братья-новгородцы, дьякам, боярам да прочим царевым людям в

нутро идет... Так ли я сказываю, братья-новгородцы?

— Так! — как один человек, рывкнула толпа. — Все дьякам да иным царевым людям!

Посол, ободренный поддержкой, разгорячился.

— А сильные люди за тех еретиков-басурман, что из шведской земли к нам во Псков перебегли, королю тьму тем хлеба отдали да еще силу великую денег прикинули. Гоже ли нам головами помереть, а хлебушек стравить басурманам?

Бурная людская лавина прокатилась по улицам, сметая все, что попадалось на пути. С веселым потрескиванием заплясали на крышах домов багровые огненные змейки. По земле поползли мохнатые лапы дыма.

\* \* \*

Никон согнал на свой двор всех новгородских монахов. Подгоняемые келарем, послушники подкатили к стенам пушки.

— Да благословит вас Бог на правый бой за дело царево! — напутствовал монахов митрополит.

Черным вихрем пронеслись монахи по улицам. Впереди, держа в одной руке высоко над головой кипарисовое распятие, а в другой сжимая черенок турецкой сабли, грозно скакал на своем рыжем коне воевода.

— Погибель смутьянам!... Анафема врагам государевым! — вопил келарь, не отставая от воеводы и потрясая булатным мечом. — Анафема восставшим противу государя — царя Алексея.

В первое мгновение бунтари, потрясенные необычайным зрелищем, смутились и расстроили ряды, но, узнав воеводу, тотчас же пришли в себя.

— А и раз помирать!...

До поздней ночи длился жестокий бой.

Наконец монахи не выдержали и, дрогнув, отступили к митрополичьим покоем... Никон, зорко следивший со звонницы за бранью, торопливо сбежал вниз к послушникам, дозорившим у пушек.

— Готово, владыко, — поклонились монахи.

Никон снова взобрался на звонницу.

Толпа выплыла из-за переулка. Митрополичьи воины гикнули на коней и ускакали за стены. Уловив знак владыки, пономарь с силой рванул намотанные на руки веревки. Набатный рев колоколов захлебнулся в пушечном залпе.

Толпа смятенно шарахнулась назад. Из-за стены на отступающих снова ринулась монастырская конница.

— Разумейте языцы и покоряйтесь! — победно залился келарь.

— И покоряйтесь!... И покоряйтесь, яко с нами Бог, — поддержали остальные, выхватывая из ножен сабли.

На стене, пророчески простирая руки, озаренный трепещущим заревом факелов, стоял митрополит.

Вдруг из— за угла показалась толпа чернецов, отбившихся, по-видимому, от главных сил.

— Спасите! — молили они, стремясь пробиться к своим.

Никон не успел понять, в чем дело, как часть чернецов взобралась на стену.

— Благослови, владыко!

Митрополит готовно поднял руку, но кто-то с неожиданной силой сбросил его со стены под ноги смутьянам. Остальные чернецы окружили келаря и воеводу.

Из ворот, рискуя жизнью, выскочил игумен.

— То ряженые... Ни имайте им веры...

Но было уже поздно.

— Секи их, изменников! — вопили псковичи, наступая на митрополита.

Никон вскочил на ноги и злобно отшвырнул от себя саблю.

— Секите! Приемлю сором и смерть с великою радостью во имя Христово и во спасение царя моего.

Парень, первым говоривший на рынке, деловито поплевал на руку и с наслаждением ударил митрополита кулаком по лицу. Народ ахнул.

— Не гоже! Не гоже нам над пастырями глумиться... Не басурманы мы, — донеслось возмущенно с разных концов.

К митрополиту подошел примкнувший к бунтарям стрелецкий полуголова.

— Бьем тебе челом, владыко, и молим благословить Новгород на новое житие со выборные люди в начальниках.

Связанный по рукам и ногам, воевода завопил:

— Не внемли гаду сему! То он всей смуте начальник.

Митрополит, не удостоив взглядом бывшего у ног его воеводу, повернулся к церкви.

— Коль противу сего мздоимца-воеводы восстали людишки — благослови их, Господи сил, на победу.

\* \* \*

Новгородцы ожили. Стрелецкий полуголова, избранный всенародно воеводою, с утра до ночи трудился, щедро награждая людишек зерном, которым завалены были господарские и монастырские закрома. Рекою лились вино, пиво и мед. Холопы, в одеждах бояр и торговых гостей, неустанно чинили суд и расправу над не успевшими скрыться господарями.

Расправившись с врагами своими, начальными людьми, выборные решили, что сделали все для своего освобождения, и предались непробудному пьянству. Разбойники, бежавшие из темниц, почуяв безнаказанность, принялись за грабежи и убийства. В городе не прекращались пожары.

Торговые люди, истосковавшиеся по своим ларям, не выдержали пренебрегая опасностью, собрали раду.

— Ты на воеводстве сидишь, — обступили они полуголову, — а не зришь, что рушится град наш сиротствующий.

Хмельной воевода не внял их словам — разразился площадной бранью и, приказав схватить зачинщиков, ушел заканчивать прерванный пир.

Никон, обряженный в поношенный подрясничек, ежедневно после обедни уходил в город. Его сопровождали толпы монахов и простолудинов. На площади, перед церковью, митрополит опускался на колени и зычным голосом молился за «сиротствующий град».

— Покайтесь перед государем, — со слезами в голосе увещевал он толпу, вставая с колен после молитвы, — внемлите молению моему и гласу всевышнего. Как сгинет без солнца земля, так да погибнет народ без Богом помазанного царя-государя!

Наконец как-то ночью в митрополичью опочивальню ворвался сияющий келарь.

— Владыко, владыко, — затормошил он спящего, — добрые вести, владыко!

Никон очумело вскочил и нащупал в изголовье секиру.

— То я, владыко! — испуганно отступил келарь, и тут же весело хлопнул в ладони: — Конец пришел вольнице! Конец беззаконию богопротивному. Нащокин расправился с Псковом и грядет во славе к Новгороду.

\* \* \*

Слух об усмирении псковичей быстро докатился до новгородцев. Всполошенные толпы высыпали на торговую площадь держать совет. Оставшиеся в живых господари и приказные выползли из своих убежищ.

Полуголова не рискнул идти на площадь. Пораздумав, он направился к митрополичьим покоям.

Никон не вышел к воеводе, выслав к нему келаря.

— Недужится владыке, — печально вздохнул монах. — Мне же наказал бить тебе челом, не покажешь ли нам милость, не отстоишь ли обедню в моленной.

Польщенный воевода отпустил сопровождавших его друзей и доверчиво пошел за келарем.

— Пожалуй, — услужливо распахнул перед ним дверь монах.

Гость переступил через высокий порог и тут же половица с грохотом провалилась под его ногами.

— Поостынь маненько, воеводушко смердов, — хихикнул келарь и захлопнул дверь.

На площади бушевала толпа. Одни с кулаками наступали на выборных, требуя немедленного создания дружины, другие призывали к бегству в леса, третьи настаивали на бескровной сдаче города Нащокинской рати. Монахи сновали в толпе и, непрестанно крестясь, зывали к небу.

— Ты, Господи, зришь туту нашу горькую. Вразуми рабов Твоих смириться перед Тобой и преславным помазанником Твоим.

После жестоких споров противники Никона махнули на все рукою и сдались.



В тот же день выборные отправились на Москву — бить челом государю на бояр и приказных, доведших людишек до бунта, и принести повинную от лица всего Новгорода.

\* \* \*

После двухдневного заточения стрелецкого полуголову повели на конюшню.

— Новгородскому воеводе поклон и многая лета! — встретил его с усмешкою митрополит, но, едва узник сделал движение, чтобы подойти под благословение, келарь повалил его на землю и мигнул катам.

— Секите!

Два послушника, исполнявшие обязанности катов, набросились на воеводу и сорвали с него одежду.

Чем больше кричал истязаемый, тем беспощаднее его секли. Когда спина узника обратилась в сплошную рану, Никон перекрестился, деловито снял с гвоздя саблю и собственноручно рассек ему пятки.

— Выбросить псам!

Заблаговестили к обедне. Келарь засуетился, принес ведро с водой и, смыв кровь с рук владыки, подал ему посох.

Домовая церковь при митрополичьих покоях была битком набита молящимися. Все именитые люди Новгорода, уцелевшие от расправы, пришли поклониться Никону и отслушать торжественное молебствование.

После службы митрополит вышел на паперть; приказав всем стать на колени, обличающе бросил:

— Вы!... Вы град сей богоспасаемый довели до гибели!

Молящиеся покорно склонили головы и молчали.

С каждым словом Никон распалялся все более.

— Ибо мало потчевали батогами холопей своих, распустили потворством своим!... Аль позабыли, что на то и даны Богом черные людишки, чтобы господа наущали их смирению и тем уготовали им путь к блаженству в будущей жизни?

Один из торговых людей клятвенно поднял руку.

— Обетование даем творить отселе по глаголу твоему, владыко!

\* \* \*

Новгородские послы прибыли на Москву. Окольничий проводил их в Кремль и выстроил на площади у Большой Палаты<sup>[23]</sup>.

Вдоль Средней Палаты, что ютилась между Большой и Благовещенским собором, в ожидании государева выхода, разгуливали думные бояре и стрельцы.

Царь нетерпеливо поглядывал в окно и то и дело стремился выйти к послам, но каждый раз его сдерживали Милославский и Стрешнев.

— Не срок, государь, — в один голос увещевали они. — Погоди гонцов от Новгородского митрополита. Сейчас должны прискакать.

Небо заволакивало тучами. Кремль темнел, супился. Под окном о чем-то чуть слышно шепталась с сумерками зябко нахохлившаяся трава; плакучая ива, прилепившаяся к воротам, ведущим из внутреннего двора на площадь, теряла свои обычные очертания и, казалось, отделяется от земли, уходит куда-то расплывчатым туманным пятном. Точно голодные мыши, надоедливо скреблись о стены занесенные ветром осенние листья.

Выборные с тревогою поглядывали на царевы покои.

— Нейдет государь, — сиротливо жаловались они и, точно в предчувствии беды, тесней прижимались друг к другу.

Наконец на крыльце показалась сутулая фигура Ильи Даниловича.

— А что я сказывал, — радостно шепнул соседу один из послов, — как пить дать, пожалует сейчас и сам царь-государь! Не зря слух идет, будто царь усердно внемлет ныне печалованиям холопым, а сильных людей из царства выводит.

Милославский что-то шепнул думному дворянину и скрылся в хоромах. Дворянин стремглав бросился на Красную площадь, навстречу скакавшему во весь опор всаднику.

— Откель?

Всадник сдержал коня.

— От митрополита Новгородского, да от Афанасия Лаврентьевича Ордын-Нащокина с благою вестью!

Спрыгнув с коня, гонец направился к воротам, ведущим в Передние Переходы, но дворянин приказал ему идти во дворец обходным путем.

Узнав от вестника об окончательном усмирении псковичей, Алексей сразу преобразился.

— Не выйду к смутьянам! — объявил он, важно развалясь в кресле. — Всех их вон из Кремля!

— И то, по всему двору ихним духом смердит, — поддакнул Стрешнев и заковылял к двери.

Илья Данилович остановил его:

— Гоже ли так?

— И всегда-то ты, Ильюшка, нашей воле противоборствуешь, — недовольно произнес Алексей.

Милославский припал к руке государя.

— Не противоборствую, а о благоденствии твоём печалуюсь. Гнать всегда время найдется, а ныне вместе по-родительски на их кручины попечаловаться да посулы добрые посулить. То ли дело — вернуться в Новгород, о государе всем с великой любовью людишкам сказывать будут.

Царь задумчиво почесал поясницу и воззрился на тестя.

— И то, Данилович! Пускай о государе своим с великой любовью сказывают людишкам.

Стрешнев с презрением оглядел Милославского.

— Не внемли ему, государь! Не тем славны были великие князья российской земли, что с холопами слезы точили. Помяни деда своего, Филарета, да еще Грозного царя помяни! Не ухмылкою, но величием покоряли они противоборствующих!

Алексей встал и гордо запрокинул голову.

— И то!... Не ухмылкою, а величием покоряли они противоборствующих!

И, посоветовавшись с ближними, выслал тестя к послам.

— Внемлите, — буркнул себе под нос Илья Данилович, представ пред выборными. — Царь-государь показал мне милость замест него слово вам молвить.

Послы опустили на колени.

— А сказывает царь-государь, что холопы-де государевы и сироты великим государям николи не указывали. Псковичам и новгородцам

надобно было челом бить до нынешнего смятения, а не самим управляться. А того николи не бывало, чтоб мужики со бояре, окольные и воеводы у расправных дел были, и впредь не будет того!

Промокшие до костей, подгоняемые окриками стрельцов, послы молча покинули Кремль.

## ГЛАВА VIII

С тех пор, как Ртищев добился наконец своего и Янина уже не противилась его ласкам, все изменилось в усадьбе. Полонная женка стала полновластной хозяйкой над челядью.

Счастливый постельничий ничего не замечал. Не задумываясь, по первому слову Янины, он сбросил с себя старинные русские одежды и облачился в польский жупан. По утрам сама полонянка обряжала его в широчайший расшитый золотом и позументами, иноземный халат. Надушенный благовонными жидкостями, доставленными знакомым немцем из-за рубежа, Ртищев усаживался за книги и с головой уходил в изучение «европейской премудрости».

Почувствовав свою власть, Янина быстро поправилась и стала еще привлекательней, чем была.

Челядь, которую также заставили перерядиться в польские одежды, ненавидела своевольную гордую польку, но никто не смел выдать перед господарем свою нелюбовь. Больше всех доставалось от Янины дворецкому, которого она решила заменить своим человеком. Полонянка постоянно жаловалась на него Федору, нещадно секла его на конюшне и добилась того, что Ртищев сослал любимого своего слугу в дальнюю вотчину.

Затянутая в шуршащий шелк кофты, плотно облегавшей ее стройный стан, в тяжелой бархатной юбке, с двумя рядами золотых пуговиц по бокам, с собольей опушкой, густо набеленная и благоухающая, Янина все свободное время проводила у зеркала.

Почти все друзья Ртищева отбились от его дома, и, когда он приглашал их к себе, — откровенно заявляли, что не могут переносить «ляшского духу». Такие замечания волновали Федора, нарушали блаженный покой, в котором он пребывал со дня сближения с полонянкой. Набравшись смелости, он давал себе слово поговорить с Яниной и уломать ее отказаться от иноземных обычаев, но, когда

оставался с нею наедине, сразу забывал приготовленные слова и откладывал объяснение до другого, более подходящего случая. Все, что делалось где-то там, за воротами усадьбы, на московских улицах и в самом Кремле, — теряло смысл и значение. Там властвовали над жизнью суета сует и томление духа, а истина, доподлинное добро пребывали в этих серых и ясных глазах такой покорной и такой всепокоряющей женщины...

После обеда, когда постельничий уезжал в Кремль или в Андреевский монастырь, Янина переодевалась в лучшее платье, ложилась на турецкий диван и предавалась чтению латинских книг или просто забывалась в полудремоте. Вскоре из сеней до слуха ее доносились сдержанные шаги дворцового Тадеуша, купленного Федором у иноземца.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — вкрадчиво раздавалось за дверью.

— Ты, Тадеуш?

— Я, коханочка, — сладко вздыхал дворецкий и поспешно входил в терем, закрывая за собой дверь на засов.

Янина отодвигалась к стене и глазами указывала на место подле себя. Тадеуш расшаркивался, подражая изысканным манерам шляхтичей, присаживался на край дивана у ног польки и шепотом докладывал ей о чем-то. Передав дворецкому новые поручения, Янина отпускала его и уходила в трапезную — там дожидались ее обычно гости из Басманной слободы.

Проводив гостей, полонянка набрасывала на плечи турецкую шаль и отправлялась на улицу встречать господаря. Когда Ртищев выходил из колымаги, она отвешивала ему низкий поклон, делая вид, будто собирается пасть на колени. Федор краснел, смущенно спешил в хоромы.

— Мне вместно поклоняться тебе, ненаглядная, — обнимал он женщину, — а ты все норовишь перед мною пасть ниц.

Застенчивая и радостная, Янина прижималась к чахлой груди господаря.

— Пошто мне милость такая от Бога? Недостойна я не токмо любовь от тебя принимать, но и ноги мыть твои херувимские!

Влюбленные усаживались на диван и проводили долгие часы в веселом щебетании. Впрочем, болтала больше полонянка. Она

говорила обо всем, что приходило ей в голову, с наивнейшим легкомыслием перебегая с предмета на предмет, но под конец всегда выходило так, что сам Федор заводил речь о царе, о жизни при дворе и делах Посольского Приказа.

Янина мечтательно жмурилась и тесней прижималась к Федору.

— Сказывай, солнышко мое красное... Так и родитель мой сказывал мне про иноземные страны. То-то любы мне сказы сии!

\* \* \*

С каждым днем все больше и больше восставали ревнители старины против новых порядков в доме постельничего.

— Эдак, прости, Господи, глагол нечестивый, недалече до того, что и образа вон вынесет из хоромин, — жаловались они царю и просили Христа ради запретить Ртищеву «тешить лукавого».

Царь внял настойчивым жалобам и вызвал к себе Федора.

— В ляхи отказываешься? — огорошил он гостя, не догадывавшегося о причинах, по которым охладел к нему с недавнего времени государь.

— Свят, свят, свят, Господь Саваоф, — обмахнул себя крестом постельничий. — Деды мои русские, прадеды Русские и я русский рожден да русским в будущий мир отойду.

Алексей перестал улыбаться и, указав рукою на лавку, подсел к Федору.

— Сызмальства люб ты мне, Федька, по то и кручинюсь об искушениях, в кои вверх ты чистое сердце свое.

Растроганный постельничий приложился к цареву кафтану и кулачком вытер глаза.

— За добрый глагол твой да пошлет тебе Бог многая лета!

— Молва идет, — не слушая его, продолжал Алексей, — будто твой двор не русским обычаем жительствоует, а заправляет всем у тебя полонная женка. Не гоже, Федька, отродью ляцкому володеть постельничими государевыми.

Заметив, что Ртищев взволнован, Алексей смягчился, окинул его задумчивым взором и воскликнул радостно:

— А что, ежели бы полоняночку ту да в нашу православную веру перекрестить? Поглазел бы я в те поры, кой боярин зло рек про тебя бы!

Порешив на этом, царь дружелюбно простился с постельничим и отпустил его от себя.

Прямо из Кремля Ртищев отправился в церковь — припал лбом к каменным плитам пола и предался молитве. Он не заметил, как отошла вечерня, как погасли огни, и очнулся только после просьб потерявшего терпение дьячка — перенести моление на утро.

Чуть покачиваясь на своих изогнутых тонких ножках, Ртищев направился к выходу. До самой усадьбы он чувствовал себя спокойно и был уверен, что Янина поймет его, согласится креститься. Однако, встретившись лицом к лицу с полонянкой, он, как всегда, смутился и позабыл все, чему наставлял его Алексей.

— Здоров ли ты, господарь мой? — заботливо спросила Янина, увидев его желтое, сразу осунувшееся лицо, и с опаской подумала: «Уж не проведал ли чего про меня?»

Ртищев ничего не ответил. Пробравшись бочком в опочивальню, он бессильно опустился на лавку.

«Проведал, нечистый, не иначе, проведал», — тупо отбивалось в мозгу Янины. Она заметалась по каморке, лихорадочно придумывая способ оправдаться перед постельничим.

— Янина! — донесся вдруг из опочивальни умоляющий голос.

Женщина выхватила из-под подушки зеркальце, мимоходом погляделась в него и, придав лицу выражение младенческой невинности, вышла на зов.

— Ты кликал меня, мой господарь?... Недужится тебе? Ведуна бы, а либо лекаря к тебе доставить...

Ртищев поднялся с постели и хрустнул пальцами.

— Не то, Янинушка моя! Телесами я здрав... Немоществую же духом смятенным.

— Неразумная я, а верую, что любовью укреплю дух твой, коханный мой. Обскажи токмо все без утайки.

Ртищев упрямо покачал головой.

— Боязно... Глаголы нейдут.

И только после того, как Янина разразилась слезами, он собрался с силой, троекратно перекрестился и выпалил:

— Не я волю, государь волит, чтоб приняла ты истинную веру Христову и тем ропот боярский утишила... Токмо не я, перед Богом не я! То государева воля.

Точно ветром, сразу снесло все сомнения и тревоги Янины. Она едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости.

Федор отодвинулся на край постели и испуганно замер, не смея взглянуть на полонянку.

— Царева ли то воля? — спросила наконец она.

— Перед истинным! Разрази меня Илья пророк, ежели то не царева воля! — клятвенно поднял руку постельничий.

Янина так взглянула на него, так, будто решила на жертвенный подвиг.

— Царевой воле я не ослушница, — четко произнесла она и повернулась к иконе: — В коей вере пребывает царь-государь да ты, солнышко мое, Федор Михайлович, вместе и мне той вере веровать!

Ртищев закружился по опочивальне волчком — щупленький, кривоногий, смешной в своей ребяческой радости.

— Так я и ведал! Не зря все без утайки тебе рассказал.

Он внезапно остановился и приложил палец к губам.

— Погоди-ко! Постой!

— Сказывай, светел мой сокол.

Федор расставил ноги и до отказа выпятил узкую свою грудь.

— А ведомо нам, что ты родом из шляхты. Доподлинно ли?

— Доподлинно! — гордо запрокинув голову, подтвердила Янина.

— А коли так, вместе мне, малую пору переходя, венцом венчаться с тобой!

\* \* \*

Сам государь пожелал, чтобы его духовник, отец Вонифатьев, наставил Янину на путь истинной веры, и каждый день, ровно в полдень, протопоп приходил в усадьбу Ртищева с поущением.

Федор отдал строгий приказ челяди ни единым духом не заявлять о существовании своем во все время пребывания священника в хоромаш.



— Великое ныне совершается таинство, — строго напоминал он холопам, — заблудшая в ересях душа невинная внемлет глаголам Господа нашего Иисуса Христа.

Холопы прятались в подклети, бабы и девки уходили с ребятами со двора, а сам господарь на низкорослом своем кавказском коньке скакал в Андреевский монастырь. В хоромы оставались только Янина, Вонифатьев и Тадеуш, дозоривший у крыльца.

## ГЛАВА IX

Не раз Никита Романов и Ртищев докладывали царю об успехах школы при Андреевском монастыре и просили его посетить школу.

Шестого сентября, в день чуда Михаила архангела, Алексей, уступив просьбе советников, собрался в монастырь. Он долго совещался с Ордын-Нащокиным и Стрешневым, в какие одежды обрядиться ему, чтобы ублажить архангела и показать свое усердие перед ним.

В ожидании выхода государя, от покоевых палат до Спасских ворот выстроились, одетые по-праздничному, думные дворяне, дьяки и начальные служилые люди. На звоннице, не спуская глаз с крыльца, на котором должен был показаться царь, дозорили пономари.

Алексей в порфире, в становом кафтане, блещущем золотом, в тяжелой шапке, усыпанной алмазами, яхонтами, изумрудами и рубинами и в сафьяновых башмаках, расшитых жемчугом, опираясь на золоченый жезл, вышел наконец из покоев. Пономари ударили в колокола. Стая ворон, испуганных благовестом, оторвалась от звонницы и с резким карканьем закружилась над головами людей.

— Лихо накарай татарину, а христианам со их государем — на радости, — торопливо перекрестил царя отец Вонифатьев и плюнул в сторону воронья.

Алексей, отдуваясь, попробовал сам спуститься с крыльца, но тяжелые одежды придавили его, и он не мог двинуться с места. Два стольника, заметив беспомощность царя, дружно подхватили его под руки и понесли на себе к карете.

На Красной площади свита разделилась по рядам: люди меньших чинов пошли впереди, а бояре, окольничие, думные и ближние зашагали рядом с каретой. Позади, в стороне от бояр, двигался отряд

стряпчих, предводительствуемых постельничим. Стряпчие зорко следили за своим маленьким воеводой и бережно, как дражайшую святыню, несли носовой платок государя, стул с изголовьем, подножье<sup>[24]</sup> и солношник<sup>[25]</sup>.

У храма Василия Блаженного карета остановилась. По обе стороны Алексея, на нахлестках, примостились Стрешнев и Милославский. По знаку окольного, стольник, управлявший лошадьми, перекрестился и тронулся в путь.

Сотня стрельцов, вооруженная батогами «для тесноты людской», рьяно бросилась очищать царю путь от ротозеев. Батожники не щадили никого и избивали всех, попадавших под руку.

\* \* \*

Отслушав обедню, Алексей направился в трапезную и милостиво выслушал доклад настоятеля о трудах ученой братии на пользу просвещения российский людишек. Затем государь пожелал посетить особый двор монастыря, где жили любезные его сердцу богомольцы, странники и юродивые Христа ради.

— Надобно для нас отобрать верховых нищих, — сказал он Нащокину и, подхваченный под руки двумя монахами, поплыл через двор.

Епифаний угодливо заегозил подле Алексея:

— Ныне узришь ты, владыко премилостивый, святых обычаев человеков, а серед них гораздо угодного Господу Ваську Босого.

— Слыхивали мы про Босого, — мягко улыбнулся царь. — Имат же Господь на земле непорочные души.

Из ворот высунулась восторженная, заросшая до глаз, голова юродивого.

— Кой шествует человек? — широко раздался хищный рот, утыканный двумя рядами крепких, как железо, зубов.

Епифаний юркнул к воротам и, благословив блаженного, осторожно шепнул ему что-то.

— Го-го-го-го! — рокочуще расхохотался Васька и оттолкнул от себя монаха. — У-гу-гу-гу!

Алексей, благоговейно сняв шапку, перекрестился. Юродивый тотчас же оборвал смех и с лязгом захлопнул свою черную пасть. Приплясывая и гроыхая тяжелыми веригами, он подскочил к государю и рявкнул:

— Царю и брату нашему короб божьих гостинчиков!

Лицо государя зарделось счастливой улыбкой.

— Короб, не короб, а и за горсточку малую земно поклонюсь, — смиренно сложил он на груди руки. — Благослови!

— Благословляй благословляющих тя! — зарычал Васька и вдруг покатился кубарем по двору. — Быть тебе в радости, быть тебе в славе, — весело, уже тоненьким, как паутинка, голосом зазвенел он. — Быть тебе в здраве, царь наш и братец, Лексашенька!

Алексея охватывало какое-то странное чувство смятения, боязни, и в то же время настойчивого желания ближе сойтись с юродивым; не отпускать его от себя.

— Васенька, молитвенник наш, — ласково произнес он.

Юродивый привстал на колени.

— Глас херувимский кличет меня... То не царь ли мой, помазанник Божий?

— Я, Васенька, я, прозорливец.

Резво подскочив к царю, Васька поклонился ему. Его лицо, только что неистово дергавшееся, вытянулось, застыло и казалось лишенным всяких признаков жизни.

— Царствуешь, Алексаша? — глухим голосом спросил он.

— Царствую, Васенька.

— А с ляхами да шведами в мире?

— В мире, прозорливец.

Босой погрузил пятерню в дремучую свою бороду.

— А худой мир, молвь идет такая, лучше доброй ссоры, царь Алексаша.

Перекрестив государя, он опустился на четвереньки и, подвывая, пополз к воротам.

— Куда же ты? — заволновался Алексей и опустился на корточки перед Босым. — Уж не прогневался ли?

— Гневом не гневаюсь, а слухом слушаю, — буркнул в бороду юродивый. — А путь мне лежит через улицы широкие в покои кремлевские.

Он поднял голову и тупо поглядел в глаза государю. Стрешнев недовольно поморщился.

— Больно ты громок для покоев кремлевских!

— А ты помолчи! Пускай прозорливец сказывает, — прикрикнул Алексей на советника и нежно погладил могучую спину Босого.

— Не перст ли то Божий указывает тебе путь в покои наши?

Васька припал губами к земле и звучно стал целовать ее.

— Земля божья, семь небес божьих, на седьмом небе стол Господень. Сидит на столе Господь-батюшка, вещает всем тварям волю свою, а и Васеньку не забывает, — произнес он и снова приложился к земле.

Алексей решительно встал.

— Коли, доподлинно, чуешь глас Божий, покажи милость, гряди с миром в Кремль.

Босой ничего не ответил и отвернулся, о чем-то задумался. С каждым мгновением мертвое лицо его дергалось все более и более, собиралось рябью бесчисленных лучиков, оживало в невинной, детской улыбке.

— Добро!... Поживем с тобой в Кремле, Алексаша! — обнял он ноги царя и прижался к ним взлохмаченной головой.

\* \* \*

После трапезы Васька отправился побродить по Кремлю. Насупившись, осматривал он богато убранные покои, беспрестанно крестился и молол всяческую чепуху.

У половины царевен его грубо остановили стрельцы.

— Эй ты, басурманин! Аль не ведаешь, что ни единому мужу не можно быть подле светлицы царевниной.

Босой ударил стрельца головой в грудь и завыл таким диким голосом, что переполошил все Постельничье крыльцо. Дозорные взялись за бердыши. Поняв опасность, юродивый заметался, испуская еще более неистовые вопли.

Алексей сам вышел к Босому и в сердцах прибил дозорных.

— Да будет ведомо каждому, что юродствующим Христа ради все пути-дороги открыты!

Васька, увидев царя, разошелся пуще. Он бился головой о стены, рвал на себе волосы, в кровь исцарапал лицо и изрыгал на Кремль такие проклятия, что отец Вонифатьев почел за благо немедленно же отслужить молебствование и окропить все хоромы святою водою.

Государь, дрожа от страха, униженно склонился перед блаженным.

— Бога для, спаси наши души! Переложи гнев на милость, освободи от анафемы.

Босой бессильно опустился на пол и заплакал.

— Обидели меня юродивенького... Бродят серые волки, птенцам смерть готовят, — выдавил он сквозь всхлипывания.

— Бога для, разреши от анафемы, — как нищий, умолял царь.

Всхлипывания постепенно стихали, дыхание юродивого становилось ровнее и искривленное в обиде лицо смягчилось улыбкой.

— Нешто можно не миловать божье дите, Лексашу царя, — потрянул он головой. — Не сему месту анафема, не сим человекам погибель. Подхвати словеса мои, Гамаюн-птица, унеси за тридевять земель, утопи в океан-море глубококом.

Счастливый царь облобызал прозорливца и, проводив его к царевнам, отправился к себе дописывать виршу об Андреевском монастыре.

Войдя в терем, Васька перекрестился на образ и, подсев к царевне Анне, сестре государевой, вдруг сморщился гадливо, зажал пальцами нос.

— Смердишь, царевна!

На круглом, миловидном лице девушки полыхнула краска стыда и оскорбления.

— Прочь отсель! — крикнула она, притопнув ногой.

Васька исподлобья поглядел на строптивую царевну.

— Ан не прогонишь, — нагло ухмыльнулся он и впился ледяным взором в ее глаза.

Царевна почувствовала, как в душу ее входит какой-то непонятный, странный страх — будто осталась она, невзначай, одна в темноте, рядом с покойником. Сутулясь и теряя власть над собой, она покорно уселась и уронила на грудь голову.

— Чему бы смердеть тут, прозорливец?

— Чему бы?... А сие? Не от диавола ли сие? Белилами ли со румяны угодишь отцу небесному?

Наперсница Анны, боярышня Марфа, молча наблюдавшая из угла за небывалою дерзостью прозорливца, не выдержала, возмущенно шагнула к нему:

— Хоть ты и юрод...

Она не договорила — Босой разинул пасть и глухо зарычал, привлекая к себе девушек.

— А ведомо ли вам, кому дерзите?

Где— то совсем близко, в светлице, раздался чей-то глухой, сдержанный говор и тотчас же перелетел к подволоке.

— Чуете?... То нечистые гомонят!

Таинственные голоса стихали, укутанные во мрак, таяли где-то в подполье... Босой выпустил девушек из страшных своих объятий и с неожиданной торопливостью ушел из светлицы.

Марфа закрыла за ним дверь на задвижку, и прижалась к царевне.

— Сохрани нас царица небесная, — прошептала она. — Сдается мне, не Духом Святым, а силой лукавого крепок блаженный.

## ГЛАВА X

Утро выдалось неприветливое, брюзжащее и разбухшее, как текший в водянке больной. Низко нависшее небо непрерывно сеяло промозглую, точно плесень на изъеденном веками надгробии, дождевую пыль.

Царь Алексей Михайлович сидел у окна и, поеживаясь, рассеянно перелистывал часослов. Несмотря на то, что он отлично спал всю ночь, его одолевала судорожная зевота. Не хотелось ни читать, ни приступать к опостылевшим делам государственности, ни предаваться забавам. Он отменил даже назначенную с вечера любимую свою соколиную охоту и прогнал домрачеев, услужливо приведенных Одоевским, чтобы потешить царя.

У двери, низко согнувшись, стояли безмолвные Стрешнев и Борис Иванович Морозов.

Алексей изредка раздирал смежавшиеся веки, недовольно оглядывал советников, но тотчас же снова сонно свешивал на грудь голову.

Лежавший под лавкой карлик мучительно напрягал весь свой изворотливый ум, тщетно придумывая, чем бы развеселить государя. Он пробовал было пройтись по терему на руках, но получил такой пинок под спину, что почел за благо больше ни единым движением не напоминать о своем существовании.

Туман за окном поредел, но улица была так же ворчлива, как на рассвете. Дождь усиливался и бился о стены и стекла так, что казалось, будто трясутся палаты.

— Эх, гомонит, — передернул плечами Алексей и с шумом захлопнул знакомую до отвращения книгу.

Борис Иванович шагнул предупредительно к царю и чуть приподнял голову.

— Чего гомонит, государь?

— Ты гомонишь! «Чего гомонит»! — передразнил Алексей боярина. — Дождь гомонит! Всю душу выело, а они стоят, как вша на кафтане, будто дела им нету! Дармоеды!

И, пошарив ногой под лавкой, изо всех сил наступил на карлика.

Скоморох почувствовал, как что-то хрустнуло в его груди, и понатужившись, попытался высвободиться из-под сапога.

Алексей заглянул под лавку.

— Аль царская ласка не в ласку тебе?

Задыхаясь от боли, карлик огромным напряжением воли выдавил на обвислом, как у бульдога, лице угодливую улыбочку.

— В потеху, Лексаша! В потеху, Михайлович!

И, высунув язык, залаял, подражая лисе.

— Опостылело! — оборвал его царь. — Ты бы лучше рыбкой поплавал.

Карлик терял сознание. Лицо его посинело и из носу брызнула кровь.

— Плавай! — выпустил наконец государь свою жертву и мигнул Стрешневу.

Советник юркнул в сени.

Приложив к бокам оттопыренные кисти сморщенных рук, карлик, точно плавниками, помахивал ими и на животе полз вдоль стен по терему.

— Стой! Никак червь! — захолопал в ладоши повеселевший царь.

Скоморох привстал на колени и на лету схватил ртом подброшенную вернувшимся Стрешневым перламутровую пуговицу.

— Покажи милость, откушай! — поклонился насмешливо Алексей.

Шут проглотил добычу.

— А не попотчуеть ли еще, Алексашенька? — кувыркнулся он в воздухе и припал губами к царевой ноге.

— Попотчую, гнидушка, — пошлепал его по спине Алексей. — К вечеру, поди, вернешь мне того червячка?

Морозов с омерзением сплюнул.

— Чать, колико раз басурманишко червя того глотал да после трапезы сызнов на свет выбрасывал! Тьфу!

Карлик, подбоченясь, строил уморительные рожи и трескуче смеялся, как будто замечание Морозова привело его в неподдельный восторг.

Непослушные слезинки повисли на реденьких ресницах его. Он стряхнул их двумя щелчками и еще пуще захохотал.

— Не можно! Слезою от смеха сейчас же изойду! — извивался он по полу. — Повели, Алексашенька, попримолкнуть мне!

— Будет! — забарабанил государь пальцами по стеклу и снова насупился. — Бубнит, что твой дождь по стене!

И, поддев ногой карлика, выбросил его в сени.

— Ты бы, преславный, кровь себе отворил, — посоветовал робко Морозов. — Авось, дух полегшает. Царь отрицательно покачал головой.

— Боязно одному.

— А ты бы лекарю наказал всему Кремлю кровь отворить.

Стрешнев замахал руками на Бориса Ивановича.

— Еще бы государю великому всех смердов загнать для той пригоды! Надобно достойного обрести.

И поклонился царю:

— Взял бы с собою Бориса к лекарю.

Пораздумав немного, Алексей встал.

— Волю я не с Борисом, а с тобой кровь отворять, Родивон!

Стрешнев болезненно ухватился за поясницу.

— Рад бы честь такую приять, да токмо вечор отворял.



— Перечить? — перекошил лицо Алексей. — Своему государю?! — он не дал опомниться советнику и ударил его по лицу.

— Да мы тебя — в батоги! В земли студёные!

Морозов незаметно отступил и юркнул в полуоткрытую дверь.

— Иди! — пхнул он ногой прилепившегося к порогу карлика.

Еле живой шут встал и, собрав все силы, прыгнул на спину Стрешнева.

— А вот из Родивоновой головушки волосики тебе, Алексашенька! Эвон, серебряные какие!

— Не вели! — взмолился Стрешнев. — Краше на дыбу идти, нежели сором терпети от скомороха!

Алексей вцепился одной рукой в бороду Родиона, а другой оттолкнул его от себя.

Стрешнев вскрикнул и упал, больно стукнувшись головой о стену, и придавил всей своей тяжестью карлика.

— И бороденка-то — что туман на болоте, — сплюнул царь и, отбросив от себя клочок вырванной бороды советника, гадливо вытер руки о полу кафтана. — Не мог добрых волосьев отрастить государя для! Вша! Един тебе глагол — вша! Тьфу, окаянный!

Отворив себе кровь, Алексей, чтобы как-нибудь развлечься, собрался по совету Ордина-Нащокина в подмосковное село Коломенское.

Во всю дорогу царь дулся, придирался к каждому пустяку и то и дело зло тыкал посохом в спину возницы.

— Все-то вы норовите государя прогневить! Все-то вы басурманы!

Стрельцы и ратники, прибывшие заранее в Коломенское, готовили потеху для государя.

На берегу Москва-реки дворцовые рубленники сколачивали помост. Бабы просеивали желтый, как зимнее солнце, песок. Ребятишки, надрываясь от тяжести, тащили кули с песком и под присмотром стрелецкого десятника посыпали дорогу. Сенные девушки устлали лестницу, ведущую на помост, медвежьими и волчьими шкурами, а балясы<sup>[26]</sup> обмотали объярью, подбитой куницей и соболем.

У околицы, в ожидании царя, выстроились думные дворяне, служилые люди, дьяки и подьячие.

Узнав, какая потеха готовится для царя, крестьяне побросали работу и убежали в лес. Но искушенные дозорные подстерегли их недалеко за опушкой и отрезали путь. Начался горячий торг. Меньше, чем за три алтына, стрельцы не отпускали пойманных. Крестьяне ползали на коленях, клялись, что таких денег у них никогда не бывало, но стража была неумолима.

Откупившиеся стремглав убежали в непроходимые дебри, а остальных погнали к реке.

Прибыв в потешное село, Алексей прежде всего отслужил молебен и потом уже приказал начинать потеху.

— Достаточно ли сиротин для потехи? — деловито поворачивался он то и дело к советникам. — Сдается мне, допреж боле их было.

Грузно переваливаясь и сопя, двигался государь по желтой тропинке к помосту.

Ближние наперебой старались успокоить его и уверяли, что в избах не осталось ни одного мужчины.

Опершись на плечи Ордын-Нащокина и Морозова, Алексей с большими усилиями зашагал по гнувшейся под тяжестью его тела деснице. Позади, стараясь держаться как можно тише и незаметнее, дородный стряпчий благоговейно нес над головой государя унизанныйяхонтами и алмазами шелковый солношник.

По реке сновали челны. В них сидели стрельцы с нагайками и батогами наготове.

— Нырять, должно, будем, — перешептывались крестьяне, со страхом поглядывая на мутные волны реки и зябко натягивали на уши епанчишки. Сеял мелкий осенний дождь. С полуночной стороны дул резкий пронизывающий ветер.

Точно почуяв добычу, черными вереницами слеталось на Прибрежные ивы и осокорь воронье.

Подняв ворот собольей шубы, царь уселся в резное, с золотыми узорами, кресло и устремил хозяйский взгляд в безнадежное небо.

«Снежку послал бы Господь, озимя от стужи сокрыть», — подумал со вздохом он и легким кивком поманил к себе стрелецкого полуголову.

Служилый, переступая через три ступени, почти скатился с помоста, во весь дух помчался к крестьянам и привел одного из них к царю.

Колотясь лбом о настил, полз крестьянин на брюхе к Алексею.

Государь милостиво разрешил ему встать.

— Крестьянствуем, сиротина?

— Крестьянствуем, царь-государь.

— Добро, — похвалил Алексей.

Выжав в кулаке мокрую бороду, крестьянин перекрестился.

— Доподлинно так... Робим... Что Бог оставил, о том гораздо радеем.

Царь собрал морщинками лоб.

— А много ли было допреж?

Мужик жалко улыбнулся и развел руками.

— Про много и в думках не было, царь наш премилостивый! Чать, ведомо тебе, землицы у нас — двум курченкам не разминуться.

Ордын — Нащокин незаметно наступил на ногу крестьянину и выразительно поглядел на него.

Чувствуя, что наговорил лишнего, мужик упал на колени и приложился губами к перепачканному в грязь носку государева сапога.

— Всем довольны... Спаси тебя Бог... А что печаловался на скудость земельную — не внемли. На то и смерды мы, чтоб печаловаться.

Алексей благодушно улыбнулся и снова воззрился на небо.

— Снежку бы... Зеленя от стужи сокрыть. Ты как полагаешь?

— Снежку бы, воистину — зеленя... Это точно... — усердно закивал крестьянин. — Снежку бы от стужи...

Царю очень хотелось сказать что-либо приятное своему покорному подданному, и, подумав, он с глубокой нежностью приложил руку к груди.

— Бог не без милости. Будет снег, сиротина. Дай токмо северам разгуляться.

И преисполненный великодушия, царь чуть приподнялся.

— Быть по сему. Покажу тебе милость, — с тебя потеху начну.

Крестьянин, не ожидавший такого исхода беседы, в ужасе отполз к лестнице.

— Помилуй, царь! Не одюжу я, утопну! Старуху да малых деток помилуй!

Думный дворянин схватил его за ногу и сбросил наземь.

— Э-гей! — науськал Стрешнев стрельцов. — Лови его!

Два стрельца подхватили крестьянина и, добежав до реки, швырнули его в воду.

Царь любопытно перегнулся через балясы.

— Нырай, сиротина! — крикнул он, капризно топнув ногой. — Нырай!

В то же мгновенье на толпу со свистом и гиканьем помчался конный отряд.

— Эй, вы, потешные! Распотешьте царя-государя!

Спасаясь от наступающей конницы, крестьяне бросились в реку.

— Нырай! — кричал развеселившийся царь и, чтобы удобнее было распоряжаться, высвободил руку из-под рукава тяжелой шубы.

Река забурилась, взволновалась свистом бичей, всплесками, бульканьем и отчаянным криком цепенеющих от стужи людей. Там и здесь, точно летучие змеи, с зловещим шипением резали воздух капканы, бросаемые с челноков. Крестьяне, спасаясь от капканов, прятались друг за друга, смятенно барахтались в студеной воде и беспрерывно ныряли на радость царю.

Брошенный первым в воду мужик, выбиваясь из сил, поплыл к берегу. Вдруг он почувствовал, как шею его сдавила петля.

— В челнок его, борова! — надрывались Алексей и бояре.

Стрелец потянул к себе капкан и, вцепившись в полузадушенного, втащил его в ладью. Отплыв на середину реки, он дождался, пока подоспели другие челны и по команде столкнул крестьянина снова в воду.

— Нырай, преставленный! Ништо тебе, не господарь, не околеешь!

Весело всплеснулась вода, закружилась воронками. Одна за другой показывались головы из мутных вод и тотчас же скрывались под ударами батоков и змеиным шипеньем капканов.

Алексей вдруг встревожился. Время шло, а его знакомец не показывался из воды.

— Неужто нам на кручины утоп? — всплеснул он руками и, сорвав шапку, перекрестился.

Но крестьянин выплыл и отчаянно загреб к берегу

— Вот-то потешный! Вот-то угодничек нам! — вздохнул полной грудью царь и, приложив к губам ребром руки, громко, по слогам,

объявил: — Жалую тебя не единым, а двумя корцами — тройного боярского.

До берега оставалось несколько взмахов. Близость спасения придала мужику бодрость и силу. Еще шаг — и под ногами будет земля. Он понатужился и стрелой выбросился на берег.

— Держи, удалец! — крикнул кто-то издалека и метнул капкан. Крестьянин попытался броситься наутек, но стрелец потянул к себе конец веревки и увлек пойманного в реку.

Алексей застыл в ожидании.

— Выплывет? — спросил он у ближних советников.

— Выплывет! — уверенно ответили советники. — Чать, не впервой ему тебя потехою тешить!

Стрелец, смущенный долгим пребыванием под водой пловца, дернул капкан. «Что за притча? — подумал он. — Никак что держит потешного?» Из сбившейся далеко за церковью толпы баб и ребят с диким криком бросилась к берегу какая-то женщина.

— Выплыви! Кормилец наш, выплыви! — упала она ниц и заколотилась головой о землю.

Но «потешный» не показывался из воды. Взмолнованный Алексей спустился с помоста.

— Сдобыть! — прошипел он, обдавая стрелецкого полуголову жестким взглядом. — Тотчас живым сдобыть!

Жуткие вопли женщины подействовали на барахтавшихся в воде крестьян, как искра, попавшая в порох.

— Спасите! — взвилось в воздухе отчаянным стоном. — Добрые люди! Спасите!

Царь, задыхаясь, охваченный ужасом, затопал к берегу.

— Что сие? — неожиданно, на полном ходу остановился он и суеверно перекрестился.

Где— то подле него, точно из-под земли, раздавался слабый, полузадушенный писк.

— Не иначе, душенька потешного за мной увязалась, — повалился бессильно государь на руки Ордына. — Не иначе, душенька его плачет!

Припав ухом к земле, бояре прислушивались к писку, стараясь определить, откуда исходит он.

— Да то кутенок!

Алексей вострепенулся.

— Доподлинно ль?

— Доподлинно, государь, — показал Стрешнев на барахтавшегося в луже слепого щенка.

Позабыв об утопленнике, государь склонился над щенком и горько покачал головой.

— Скот, а тоже плачет, смерти страшась неизбежной.

Вой на реке рос, передавался от сердца к сердцу и топил в себе небо и землю.

Царь передернул недовольно плечами.

— Будет! Отставить потеху!

И, присев на корточки, достал из лужи щенка.

— Животина, а тоже смерти страшится.

Он любовно сунул вздрагивающий мокрый комочек под шубу и зажмурился.

— Блажен, иже и скоты милует!

— Истина, истина, царь, — с умилением поддакнул Морозов. — Доподлинно, херувимскую душу имеешь ты, царь-государь!

На берег, промокшие до костей, точно во хмелю, выходили из реки люди. Стрелецкие десятники выстроили их долгою чередой в затылок друг другу и увели к веже<sup>[27]</sup>, поставленной подле церкви, потчевать вином и просынами лепешками.

Под зябнувшей ивой, на рогоже, лежал вытащенный из воды утопленник. Лицо его перекопилось в синюю маску, а стеклянные, вытаращенные глаза, казалось, ищут упрямо кого-то в бездушном слезливом небе.

Уткнувшись лицом в грудь покойника, точно во сне, что-то пришептывала притихшая женщина.

Над трупом кружилась воронья стая; спускаясь все ниже и ниже, она готовилась к пиру.

Царь сидел в трапезной у печки и заботливо тыкал мордочкой кутенка в блюдо с подогретым молоком:

— Тяв, тяв, серенький мой! Лакай, синеоченькой!

И, полураскрыв рот, дул заботливо на вздрагивающую спинку, чтобы согреть кутенка своим царским дыханием.

— Тяв, тяв, серенький мой!

Ближние стояли за спиной царя и восхищенно переглядывались.

— Кроток, яко Давид! — захлебнулся от счастья Морозов.

— Мудр же, яко царь Соломон! — воздел руки горе Ордын-Нащокин.

А Стрешнев, не выдержав, пал перед царем на колени.

— Дозволь стопы твои херувимские облобызать, царь-государь!

За темным окном плакал ветер. Ему вторили слепцы-ломрачей, поместившиеся в соседнем с трапезной тереме.

## ГЛАВА XI

Вонифатьев благословил Янину и возложил на голову ее обе руки:

— Воистину, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога Отца на тебе, чадо любезное.

Полонянка скромно потупилась, с детской доверчивостью прильнула к груди протопопа.

— Было мне, молитвенник мой, видение...

Она слегка отодвинулась и простодушно заглянула в сузившиеся глаза духовника.

— В полночь посетила меня дева Мария и повелела идти в Кремль. Так и рекла: «Изыди, сиротина, от Ртищева и служи при дворе государевом».

Священник недоверчиво улыбнулся:

— Нешто может мать Божия посетить басурманку? Перекресткой сподобишься стать, а в те поры, дополинно, будут и видения тебе чудесные.

Янина надула губы.

— Истину сказываю. Николи кривдой не жительствовала.

Рука Вонифатьева снова легла на курчавую голову женщины.

— Ты не гневайся... Ты лучше пообмысли, каково без тебя Федору будет.

Янина гадливо поморщилась и закрыла руками лицо.

— Аль опостылел тебе постельничий?

— Не опостылел, а вон из сердца ушёл. Как будто и не был в нем николи.

Она помолчала и бросилась вдруг в ноги духовнику

— Отвори!... Извелась я, отец!

Растерявшийся протопоп поднял женщину, уложил ее на лавку.

— Да ты никак кликуша!

— Давит, отец! Распусти ворот мне, — сквозь щелкающие зубы попросила Янина и закрыла глаза. — А и кликушею буду, не миновать... До всего доведет!

— Не думал я, что так тебя Федор забидел, — покачал головой духовник.

— Распусти ворот, — слабо повторила Янина.

Он протянул руку, тотчас же отдернул ее.

— Не можно мне. Грех перед Господом.

Нерешительно поднявшись, он двинулся к двери.

— Ты уж кликни кого из людишек, а я пойду.

Янина сама рванула на себе кофточку.

— То не Божье дело, отец, недугующих покидать.

«А и впрямь недужится женке» — подумалось протопопу. Обратись взором к иконам, он нащупал грудь Янины и, крадучись, провел по ней пальцами.

Женщина притихла и почти не дышала.

— Не введи мя во искушение и избави мя от лукавого. Господи... Господи! — точно в забытии шептал духовник.

Янина не двигалась. Вонифатьев испуганно воскликнул:

— Уж не отходишь ли, чадушко?

Она вздрогнула.

— Свободи, отец, от напасти... Свободи от постельничего. Не можно мне больше.

Она сбросила на пол покрывало.

Не помня себя, протопоп вскочил с дивана.

— Ведьма... Спасите, ведьма!

И бросился к запертой двери.

Янина робко поднялась, сделала шаг к порогу и, как бы обессилев, пошатнулась, рухнула на пол.

Вонифатьев оторопело склонился над нею.

Его снова обдал острый и пряный аромат иноземных благовоний...

Едва ушел протопоп, как на дворе послышался стук копыт и погромыхивающей колымаги. Янина осторожно подобралась к окну. Из колымаги выходили Ртищев и Васька Босой.



Наскоро поправив волосы, Янина мазнула белилами лицо и распростерлась перед киотом.

С шумом распахнув дверь, Федор низко поклонился, пропуская вперед гостя.

— Усердствует, — шепнул он, — всем сердцем непорочным усердствует перед Господом.

Сбросив с плеч шубу, Васька перекрестился и одной рукой легко поднял полонянку.

— А ты не вели ей. Переусердствует — простынет скоро!

Он зычно расхохотался и высоко к самой подволоке подкинул женщину.

Постельничий в испуге расставил руки, чтобы поймать Янину, но она уже повисла на шее блаженного.

— Недобрый ты, прозорливец. Поди, третий день у нас не бывал. Аль брезгуешь? — защебетала она и, спрыгнув на пол, поцеловала руку Ртищева: — Умаялся, поди, господарь?

— Дите! — ухмыльнулся Федор. — И повадка-то вся дитячья.

Он посмотрел на нее с неожиданной серьезностью.

— Уж не упамятовала ли ты про вечерю, усердствуя перед Господом?

Тадеуш, дозоривший в сенях, услышав зов господаря, почтительно просунул голову в дверь.

— Гладом женку изводишь? — крикнул ему Федор. — Покормить время не стало?

Устроившись с ногами на широкой лавке, Босой благодушно следил за Ртищевым.

— А ты бы не допускал басурмана кушаньев касаться перстами для обращаемой, — сказал он, — сам бы заботою позаботился.

— И то... Вот не догадался!

Федор выбежал вслед за Тадеушем. Закрыв за господарем дверь, Янина присела к Босому.

— Утресь будет Вешняк, — прорычал юродивый.

Янина прижала палец к губам.

— Какой глас у тебя зычный. Не сказываешь, а громом громыхаешь, — недовольно поморщилась она и шепнула: — Пятсот злотых сулят тебе от польского короля, ежели того Вешняка ни с чем из Москвы отпустят.

— Пятьсот?... Тыщу и две горсти жемчуга!

Янина негодуяюще отодвинулась от него.

— Больно жаден ты, Васька! Тебе не в прозорливцах ходить, а в приказных. Аль позабыл, как десяток годов тому назад за алтын руки лобызал шляхтичам?

— А за молвь за сию твою дерзкую прикидываю я еще двести золотых, — ехидно ухмыльнулся Босой и обнял женщину. — Потараруй-ко еще, дите непорочное, — еще прикину.

Полонянка подумала было вступить в торг, но по холодному лицу Васьки поняла, что он не уступит, и, скрепя сердце, согласилась.

— Подавись ты, прожора!... А еще блаженный, прости, мать Божия.

Из сеней слышались шаги постельничего.

— Покажите милость, пожалуйста хлеба-соли откусать, — пригласил он гостя и Янину, остановившись в дверях.

\* \* \*

Царь молился перед отходом ко сну, когда в опочивальню к нему вошел Босой.

— Сень по полу воровским чином блазнится, ею Алексаша-царь застится, — сердито буркнул юродивый.

Алексей наспех закончил молитву и подошел под благословение Васьки.

— Сень, сказываю, застить тебя норовит! — глухо повторил Босой и, обмахнув государя мелким крестом, присел на постель. — Садись и ты, Алексаша, во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Царь примостился на краю постели, зажал в кулаке каштановую бороду.

— К чему про сень помянул?

— А к тому, Алексаша, что ныне сень не в сень, а в помеху. В помеху тебе едина сень — Ордын-Нащокин, а другая — Одоевский!

Страх, вызванный у Алексея таинственными словами блаженного, сразу растаял.

— Верую в своих советников так, как верую, что помазал меня на царство Господь.

Васька наклонился к цареву уху.

— Крымцы унимаются?

— Куда там!... Где им уняться.

— А возьмешь ты под руку свою Богдана Хмельницкого, еще пущего врага наживешь — ляхов богопротивных.

Щедро пересыпая свою речь непонятными выкрикиваниями, он долго говорил о тяжелых бедствиях, которые падут на страну, если Москва присоединит к себе Украину.

— Погибнешь ты и весь род твой погибнет, — с болезненным стоном закончил Босой. — Горе мне!... Зрю царя своего в полону и позоре.

Алексей, зараженный мрачными предчувствиями, не знал, на что решиться.

— Уразумел ли, царь, реченное мною?

— Уразумел, Васенька... Токмо в толк не возьму, как быть ныне нам с Вешняком?

— А, отслужив молебствование, одари его дарами и отпусти с миром к Хмельницкому.

Царь растерянно поглядел на прозорливца.

— Договорились мы намедни обо всем с советниками и ведомо тому Вешняку, что утресь объявим мы себя всенародно царем Малые Руси.

Босой встал и перекрестился на образ.

— Я совершил все, чему научил ты меня, отец небесный!

Сняв шелковый подрясник, подарок царевны Анны, он с силой разодрал на себе рубаху.

— Горе нам!... Черен Кремль сиротствующий, кипят огни, объявшие землю Русинскую! Сподоби, Господи, раба твоего Василия уйти в леса дремучие, не зрети погибели царские.

Он неожиданно отпрянул к двери, закрыл руками лицо.

— Секут... В железа обряжают великого государя!

И закружился бешено по опочивальне, звеня веригами, царапая в кровь лицо и сшибая все, что попадалось под ноги.

Царь забился в угол, с суеверным ужасом следил за дикой пляской «прозорливца».

Плюнув на все четыре стороны, Васька упал на пол и, крадучись, пополз в сени. Вскоре под окном опочивальни раздался его

протяжный, точно предостерегающий, вой.

Алексей припал к стеклу, вгляделся во мрак.

На дворе, не шевелясь, стоял юродивый. Голова его была высоко запрокинута, а вздетые кверху руки как будто грозились в пространство. Вой то усиливался до рева, то спадал до молитвенных вздохов, то переходил в рокошующий хохот безумного.

— Господи, спаси и помилуй! — стучался царь лбом о стекло.

Он молитвенно звал к себе юродивого, но Васька не слышал или не хотел слышать, и продолжал юродствовать.

\* \* \*

Утром следующего дня к Ртищеву пришел Вонифатьев.

— Великая милость двору твоему, — объявил он, стараясь не глядеть на хозяина. — Великая милость от государя.

Янина вздрогнула, услышав эти слова, но тотчас же скромно потупилась. Сгорающий от любопытства Федор вытянулся на носках, нетерпеливо воскликнул:

— Сказывай, не томи!

Протопоп откашлялся и быстрым ревнивым взглядом окинул полонянку.

— Радуйтесь и веселитесь! Преславная бо царица, Анна Михайловна, показала милость тебе и изъявила волю быть матерью твоей приемной.

Ртищев радостно взвизгнул и, обняв полонянку, закружился с нею по терему.

Протопоп позеленел. В глазах его загорелась лютая ненависть к Федору

— Что это ты с лица будто спал? — заботливо спросил постельничий. — Не занедужил ли, избави Господи?

— Зубами маюсь, — угрюмо ответил Вонифатьев.

В трапезной протопоп и постельничий принялись наставлять Янину, как держаться перед царевной.

— Как я, убогая, предстану перед светлыми очами ее? — вздохнула полонянка.

— Ты все молчи, — поучал протопоп, — царевна тебе глагол, а ты ей — поклон.

— Да с челомканьем в руку, — подхватывал Федор. — Так все и челомкай. Гораздо полюбишься!... Уж нам с протопопом добро ведомы повадки царевнины.

Потрапезовав, Янина уселась за часослов. Федор же, против обыкновения, развалился на лавке и объявил, что остается дома.

Вонифатьев подозрительно оглядел полонянку. «Уж не она ли тому пригодой?» — подумал он и, чтобы не выдать себя, со стоном схватился за щеку.

— Так и точит, проклятое, всю душеньку выело!

Он присел подле Ртищева и закачался из стороны в сторону.

— Не обессудь, Федор Михайлович, немоготу мне нынче женку твою поущать христианской любви.

Постельничий сочувственно вздохнул и поднялся, чтобы проводить гостя. Духовник обмотал лицо кумачовым платком, не удостоив женщину взглядом, понуро пошел к дверям<sup>7</sup>

— А день-то нынче, день-то каков! — покачал он головой, останавливаясь у порога.

Янина оторвалась от книги, но тут же с еще большим усердием углубилась в чтение.

— Велик нынче день, — продолжал Вонифатьев вполголоса, — ибо, по вразумлению свыше, не принял государь под высокую руку свою запорожцев.

Пораженный постельничий всплеснул руками.

— То не так! Не можно тому поверить, вечер иное нам сказывал царь.

Позабыв о зубах, духовник ехидно расхохотался.

— То было вечер, а утресь, кто не тешился с женками да к государю на сидение поспел, доподлинно цареву волю услышал... А обернулось так по мудрому глаголу Босого. Вняв прозорливцу, наказал царь обсказать Вешняку, что примет он гетмана с запорожцами под свою высокую руку в те поры, егда королевское величество ею, гетмана, и все запорожское войско учинит свободным без нарушения вечного мира с нами.

Выпроводив гостя, Федор сердито зашагал по терему.

— Эка надумали... Вешняка ни с чем из Москвы отпустить! При убогости-то при нашей, — злобно скрежетал он зубами, с каждым словом распаляясь все более и более.

Янина закрыла книгу, приложилась губами к краю сафьянового переплета.

— Об чем ты, владыко мой?

— Все о том, о гетмане с войском, — вздохнул Федор и, усевшись рядом с женщиной, принялся выкладывать ей, сколько выгод теряет Москва, отказываясь от Украины.

За окном послышался топот копыт.

— Будто кто на двор прискакал? — испуганно спросила Янина.

По сеням, к терему, бежал запыхавшийся Тадеуш.

— Дьяк Гавренев пожаловал! — крикнул он и тотчас же вновь ринулся на крыльцо.

Сдавив руками грудь, ни жива, ни мертва, стояла Янина. «За мной!» — с мучительной болью думала она. — Пропала! Все проведали языки». Федор, не спеша, вышел в соседний терем и чванно уселся в низенькое кресло.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — отдельно произнес за дверью Гавренев.

— Аминь! — ответил Ртищев и выпятил грудь.

Дьяк шагнул через порог, почтительно поклонился хозяину.

— Спаси Бог хозяина доброго!

— Дай Бог здоровья гостю желанному, — ответил постельничий, указывая рукою на лавку. — Коли по суседству, рады мы, а по службе — и тому не супротивны.

Гавренев сладенько улыбнулся.

— Оно по службе и по милости, Федор Михайлович. Женка тут у тебя...

Прильнувшая ухом к двери Янина бессильно схватилась за косяк. «Конец, погибла головушка! — ледяным ознобом пробежало по спине. — Всему конец!»

Помолчав немного и потешившись волнением постельничего, дьяк многозначительно подмигнул ему.

— А женка-то твоя полонная в гору все забирается. Сама царевна Анна Михайловна показала ей милость да повелела перед светлые очи свои представить!

## ГЛАВА XII

Был канун Рождества. В пятом часу утра царь отслужил утреню и собрался к выходу.

— Пригож? — ухмыльнулся он, обрядившись в широчайшую волчью шубу и надвинув на глаза высокую кунью шапку.

Протопоп любовно оглядел Алексея...

— Как есть, торговый гость. Ни один человек не признает.

Он умильно прищурился и оскалил изъеденные тычки зубов.

— Только повадку высокую твою не утаить тебе, государь. Так и озаряет лик твой сиянием.

Усевшись в небогатые сани, царь выехал из Кремля. За ним, переряженные простолюдинами, потянулись на возах и пешком подьячие и языки.

Чем больше удалялся Алексей от Кремля, тем люднее и оживленнее становились дороги. Нищие, слепые, калеки и странники, подстерегавшие шествие еще с ночи, бежали за санями и наперебой славословили «неизвестного».

Государь щедро разбрасывал пригоршни меди, то и дело крестясь на встречавшиеся церкви.

Из— за низеньких изб, занесенных сугробами, один за другим выползали людишки. Они с опаской поглядывали на переряженного царя и сновавших по обочинам улиц подьячих, но все же спешили влиться в толпу.

Нищие с воем набрасывались друг на друга, готовые вступить в смертельную драку из-за каждого затерянного в снегу медяка.

— Скоты, токмо бы и грызться им, псам, — брезгливо морщился Алексей, но тут же, вспомнив, что творит благо во имя Христа, с новым усердием разбрасывал милостыню.

Мешок с медяками пустел, а толпа не убывала. Царь взволновался.

— А не достанет казны, — шепнул он Одоевскому, сидевшему в худой епанчишке на месте возницы.

Одоевский подал глазами знак трусившему не遠далеке на крестьянской кляче окольниковому. Точно случайно, из-за переулка показался воз с сеном и отделил царские сани от нищих.

Едва государь отъехал немного, в топу врезался отряд батожников.

— Эй, вы! — крикнул стрелецкий полуголова. — Долго ли будете дороги паскудить?

Воздух резнул свист батогов. Людишки рассыпались в разные стороны.

Алексей деловито огляделся.

— Никак угомонились убогие?

— Надо бы не угомониться, коли награждены они по-царски твоей рукой неоскудевающей, — тряхнул головой возница и хлестнул коня.

На повороте показалась высоко огороженная усадьба. У железных ворот ее, друг против друга, стояли двое дозорных стрельцов.

Государь печально поник головой.

— Господи, сколь тягостно нам зрети тюремный двор!

Дьяки, окружившие сани, сорвали с голов шапки и опустили на колени в снег.

— Я был голоден, и вы накормили меня, я был в темнице, и вы посетили меня, — проникновенно изрек тюремный поп и перекрестился. — Не про тебя ли, государя, сие речено есть в Евангелии? То ты печальник страждущих и алчущих.

Необычайное оживление и суэта дошли до слуха узников.

— Не иначе, сочевник!... Должно, царь пожаловал, — радостно встрепенулись они.

В зловонной яме, на охапке прелой, изъеденной сыростью и мышами соломы, прислушиваясь к шуму, сидел Корепин.

Его сосед, недавно брошенный в подземелье, подполз к порогу и насторожился.

— Доподлинно, Савинка, царь.

Корепин презрительно сплюнул.

— Ведомы нам его милости... Посидишь, Афоня, с мое — навывчешься тонкостям ихним. Я за пять годов три краты на воле был.

Афонька подвинулся к товарищу и завистливо поглядел на него.

— Три краты, сказываешь, на воле бывал?

— На воле! — с горьким вздохом повторил Корепин. — Токмо и славы, что на воле... А на деле — тьфу! — и вся воля твоя. Аль стрельцов на Москве недостаточно, чтоб изловить тебя допреж того, как



ты вольного духу хлебнешь? И не мигнешь, как сызнов в яму пожалуешь.

Он участливо обнял Афоньку и замолчал. Несмотря на то, что ему были хорошо знакомы «царские милости», он невольно начал поддаваться настроению товарища и к нему незаметно возвращалась давно уже покинувшая его надежда на освобождение.

К яме приближались чьи-то шаги. Сдавленные подземельем голоса становились все отчетливее.

— Идут! — воскликнул Афонька и схватился за грудь.

Подобрав под себя ноги, Савинка плотно закрыл глаза и не отвечал. Ему хотелось забыться, ни о чем не думать, но раз пробужденные думы не покидали его. Вспомнилось: кто-то вошел к нему, наклонился над самым лицом: «Иди, сиротина». Яркий сноп факела ослепил его. Но ярче и горячее огня загорелось вдруг от простых этих слов сердце. Он вышел, покачиваясь, на двор. Морозный воздух таким хмелем ударил в голову, что он повалился без чувств в сугроб. «Иди!» — крикнул чей-то голос и, пробудившись от теплой блаженной дремоты, он побежал... Был лютый рождественский сочельник. Улицы клубились в морозном тумане. Умявшийся снег хрустел под ногами так, точно земля была усыпана белыми вкусными сухарями. Он не чувствовал ни стужи, ни голода, ничего, кроме дикой, всепокоряющей радости освобождения. «Воля!» — свистел могучим разбойничьим посвистом полуночный ветер. «Воля!» — звонко и неумолчно хрустело под ногами. Улицы, избы, земля и холодное небо кружились, смеялись, пели. Захватывало дух от быстрого бега, билось сердце, но нельзя было остановиться, сдержаться... И вдруг закружилась земля, какая-то страшная сила на полном ходу метнулась под ноги, и все исчезло... И потом — может быть, в тот же час, а может быть (кто знает счет времени, кто разберет сроки в одиноком человеческом сердце?), может быть, через долгие годы — кто-то подошел вплотную, положил руку на плечо. Он сонно приоткрыл глаза. «Свет!» — кольнуло в мозгу и сразу вернуло к жизни. «Воля!» — крикнул он истошным голосом и вдруг, в первый раз за всю свою жизнь, заплакал. Чужая рука крепче сдавила его плечо. Из-за угла спешили какие-то люди. Он собрался с силами, подавил в себе слезы. А чужой человек наклонился над ним,дохнул винным перегаром в лицо. «Так, сказываешь, воля, молодчик?» — он мигнул стрельцам:

«Вяжите! Всех государем волей пожалованных давно изловили, токмо тут упреди, тебя догоняючи!...»

Афонька, затаив дыхание, вслушивался. Голоса то приближались, то снова слабели и таяли. И вдруг, когда узник уже отчаялся, дверь отворилась.

Савинка не пошевелился. Стрелец ударил его батоном по спине.

— Ниц! Царь-государь жалуется!

Оба узника распластались перед Алексеем. Тот, задыхаясь от невыносимого смрада, оттопырил губы.

— Чьи будете?

— Афонька я, — всхлипнул Афонька и умоляюще приподнял голову.

— А ты?

Савинка медленно, по слогам, назвал себя. Царь задыхался. Одутловатое лицо его посинело, двойной затылок, свисавший складками, побагровел.

— На двор их! — кивнул он стрельцам и, грузно опираясь на посох, заторопился вон.

С удовольствием подставив лицо ветру, царь жадно глотал студеной воздух. Ему принесли обитую обьярью лавку и, бережно взяв под локти, помогли сесть.

— Так, сказываешь, Афонька? — степенно разглаживая бороду, спросил царь.

— Воистину так... Господи! Почто мне милость такая, что сам государь медовыми устами своими недостойное имя мое речет?

Алексей, поддаваясь льстивым словам, повернулся к стрелецкому голове.

— А, сдается нам, не погибла еще душа в сем холопе.

Он милостиво подставил Афоньке свой сапог для поцелуя.

— Каков грех привел тебя на тюремный двор, сирота?

— Сестру мою за долги подьячий к себе отписал. А долгу за собой я не ведаю, — слезливо заговорил Афонька. — Разорили меня те подьячие... Не можно мне было терпети, зреючи, как тягло они не толико в казну волокут, колико в свою хоронят мошну. А и в сердцах ночью темною я маненько помял бока тому подьячему.

Алексей с недоумением поглядел на узника.

— Ты, что же это, на государственность, выходит, печалуешься? Тяглом, сказываешь, дьяки придавили?

Афонька понял, что наговорил лишнего и, чтобы выпутаться, возмущенно тряхнул головой.

— Я? Да язык мой богомерзкий отсохни! Ни в жисть!... Не на государственность, а на того подьячего, что сестру мою загубил. На него, окаянного.

Царь топнул ногой.

— Мой-то холоп окаянный? Смутьян!

Стрелецкий голова схватил Афоньку за волосы.

— Не пожалуешь ли, государь, убрать его?

— Убрать! — крикнул Алексей. — Да в железа обрядить от сего дни до светлого дни воскресения Христова.

Афоньку поволокли в подземелье. Царь перевел свой взгляд на изнуренное лицо Корепина.

— А, сдается, видывал я тебя и о прошлом годе. Давно на тюремном дворе?

— Не ведаю, государь. Потерял я счет Господним дням.

— Три года, преславный, без малого — сообщил дьяк, поклонившись низко царю.

— Три года! — поднял глаза к небу Алексей. — Эко страждут, Боже мой, людишки твои!

Он поплотнее укутался в шубу.

— Каешься?

Савинка привстал на колени и прижал руку к груди.

— Каюсь и на едином челом тебе бью: повели меня казнью казнить!... Не можно мне больше терпеть.

Алексей снял шапку и перекрестился.

— А не гоже, сиротина, смерть кликать.

Неожиданно поднявшись, он объявил великодушно:

— Жалуем мы тебя не смертью, а волею!

И, склонив голову к дьяку, строго шепнул:

— До богоявленъего дни пущай пообдышится. А там сызнов на тюремный двор доставить.

Едва очутившись за воротами, Савинка услышал за собою шаги. «Язык», — догадался он, но не оглянувшись и с силой сжал кулаки:

«Попытайся, излови!». Не торопясь, он направился к рынку и вскоре замешался в толпе.

Позднюю ночью в застенки привели почти всех выпущенных царем на свободу. Тюремный дяк пересчитал изловленных и с кулаками набросился на языков:

— Четырех проспали, анафемы!

— Трех.

— Четырех!

— А четвертого повелел государь до крещенья дни не занимать.

— Идол!... Мало ли что с доброго сердца царь изречет.

В тот же час по Москве, по трущобам и тайным корчам, забежали соглядатаи, тщетно разыскивая Корепина. Невдалеке от избы Григория-гончара притаилась засада.

\* \* \*

Довольный проведенным днем, царь сидел в глубоком кресле и, отхлебывая подогретое пиво, диктовал Грибоедову расходную записку:

«Декабря в двадцать четвертом числе, за два часа до свету, великий государь царь и великий князь всея Руси самодержец изволил ходить на большой тюремный и на Аглинский дворы и жаловал своим государевым жалованием милостынею из своих государевых рук на тюремном дворе тюремных сидельцев, а на Аглинском дворе полонянных. Да великий же государь жаловал из своих государских рук милостыню бедных и нищих безщотно. Да по его же великого государя указу раздавали нищим же полковник и голова московских стрельцов у Лобного места. Всего роздано безщотно 157 рублей 4 алтына..."

Князь Семен Петрович Львов, примостившийся на лавке у окна, переглянулся с Милославским. Царь недовольно надул губы.

— Аль покупились мы? Недостаточно милостыни раздали?

Львов вскочил с лавки.

— Не к тому мы. Но нашему впору бы полковнику да головам, да полуголовам со дьяки половины бы тех Рублев с алтынами. Потому, ведомо нам, как они добро твое раздают!

— А что? — встревожился государь.

— Да то, что единою рукою раздают, а другой — отнимают!

Милославский подошел к царю и приложился к его руке.

— А и потеха была! Загнали стрельцы тех убогих в Разбойный приказ да дочиста все и обобрали.

Уставившись в оплечный образ Миколы, Алексей сокрушенно вздохнул.

— То не по нашему велению, а по дьяковскому приказу. С них и взыщется на небесах.

И, переведя взгляд на князя, сердито передернул плечами:

— Ну, чего ты рыло воротишь, инда мыша подохшего отведал!

Львов закрыл руками лицо.

— Не о дьяке я кручинюсь, не о том, государь. Ибо ведаю, что ты перед Господом чист и непорочен душою... Невмоготу мне стало зреть боле потехи бесовские. Посоромились бы хоть грядущего Рождества Господня... Онемечились твои ближние!

Он с омерзением сплюнул и перекрестился.

— Ходит ныне князь Никита Романович, муж царских кровей, в жупане ляцком! Сказывают люди — не токмо сам обасурманился князь, а и людишек обрядил по чину ляцких холопов. А за ним туда же потянул и постельничий... Перед всем миром соромятся.

Алексей растерянно встал с кресла и шагнул к окну. То, что он услышал от Львова, не поразило его, так как он сам потихоньку разрешил Никите и другим ближним рядиться в «еуропейские одежды» и перенимать от иноземцев многие их обычаи. Но ропот бояр, строго придерживавшихся старины, мешал ему открыто стать на сторону преобразователей. Он боялся порвать как с теми, так и с другими. Приходилось кривить душой, ссылаясь на нелюбовь свою к сварам и ни во что не вмешиваться.

— Да и Нащокин больно кичится навыченностью своею премудростям книжным, — не унимался Львов, — я-де володею премногими мудростями! У меня-де восемьдесят две латинских книжицы в терему!...

Алексей заломил руки.

— Токмо и ведаю, что печалованья ближних моих слушаю денно и ночью. А чем я прогневал Господа?

Князь ненадолго примолк, но не выдержал и начал:

— А мне, неученому, сдается, лучше изучать часослов, псалтырь, октоих, апостолов и Евангелие, любить простоту паче мудрости и тем грешную душу очистить от грехов и жизнь вечную получить.

Чтобы как-нибудь прекратить неприятный разговор, Алексей протяжно зевнул:

— Любы мне слова твои, Симеон. Коли б не умаялся я в сей день, сдается, слушал бы тебя безо краю.

Он с трудом разогнул спину и оперся локтем о подоконник

— Так измаялся, что, сдается, и молитвы не одюжу на сон грядущий.

Покряхтывая, он опустился на колени перед киотом.

У постели засуетились, взбивая пуховики, стряпчие и спальники. Под креслом, свернувшись калачиком, беспокойно ворочался и скрипел зубами всхрапывавший карлик.

## ГЛАВА XIII

Недолго покружив по московским улицам, Корепин выбрался за город и скрылся в лесу. Чем дальше уходил он от опушки, тем труднее было определять дорогу. Но он шел, не раздумывая, наугад, почти не передыхая, до самого Мурома.

Облюбовав заброшенную медвежью берлогу, Савинка решил поселиться в ней на зиму. Два дня без усталости добывал он из-под сугробов сухие листья и хворост для нового жилья своего и, покончив с этим делом, принялся за устройство силков и капканов.

В лесу было спокойно, тихо. В начале, правда, пугало близкое соседство со зверьем и приходилось все время быть настороже, чтобы не попасть в зубы волкам. Тревожила еще и лесная нечисть... Но вскоре Савинка освоился и во всяком случае чувствовал себя на новом месте гораздо лучше, чем в заточении. С волками он мог вступить в любую минуту в единоборство или отгородиться от них на ночь весело и уютно потрескивающим костром, а против нечисти отлично помогали знакомые с детства, испытанные заклинания. Радовало и вселяло бодрость то, что на много верст кругом не было слышно

самого страшного и коварного человеческого врага — человека. Там где-то, далеко-далеко, каждый шаг, каждая думка людишек были предусмотрены и предопределены царевыми окольными, воеводами, боярами, помещиками и Бог весть еще кем, а здесь, в темной дубраве, нет ни дьяков, ни законов. Живи, как птица небесная, не печалась о грядущем! Будет день — будет и пища, а воли никто не отнимает; горазда дубрава и все что живет в ней, беречь и любить свою волю превыше жизни.

На рассвете Савинка обходил силки и, доколотив дичину дубинкою, тут же свеживал ее, жадно вдыхая запах дымящегося мяса.

Утолив голод, он, не спеша, возвращался в берлогу и, зарывшись с головою в листву, предавался дремоте.

Лес то жалобно выл, точно оплакивал кого-то близкого, безнадежно потерянного, то вдруг содрогался от свиста, улюлюканья и дикого хохота — и тогда Савинка отчетливо видел плотно зажмуренными глазами, как отовсюду, дробя небо и землю, слеталась к берлоге нечистая сила справлять бесовские свои хороводы. В белых саванах, хмельные, разгульные и распутные, с визгом кружились по лесу ведьмы... Леший, разрывая копытами снег, подбирался все ближе и ближе к берлоге...

Спокойствие покидало Корепина. Он сжимал заледеневшими пальцами медный крест, когда-то давно подаренный Таней, и с ожесточением выкрикивал таинственные, непонятные ему самому, заклинания.

Так сменялись за днями дни. А когда, под первыми лучами вешнего солнца занедужила земля, Савинка недоуменно протер глаза и развел руками:

— Диво-дивное, право... И мигнуть не успел, а уж кончились северы!

Дождавшись, пока стает снег, он вырубил новую дубинку и, закинув на плечи торбу, тронулся в путь.

Был канун Николы Вешнего, когда он, усталый до крайности от долгой ходьбы, вышел наконец на опушку и увидел перед собой погост с каменной церковью посередине.

— А тут и вотчина наша, — ухмыльнулся бродяга и, заложив за спину руку, беспечно направился к погосту.

Спускался тихий безоблачный вечер. Улочки были пусты. Кое-где в отволоченных оконцах подслеповато мигали дымящиеся лучины. В стороне, за широким лугом, смутно маячили тени сторожей, дозоривших у господарской усадьбы.

Корепин наугад постучался в первую попавшуюся избенку. Какой-то парень приоткрыл было дверь, но тотчас же снова захлопнул ее.

— Самим в пору нам христарадничать. Бог подаст, не взыщи.

Бродяга в раздумье остановился, оглядел устало покривившиеся избенки и повернул к лесу.

— Куда же ты, эй! — зло крикнул вдогонку ему парень. — Нищий, а тож с норовом.

Ухватив Савинку за руку, он потянул его в избу. Корепин с улыбкой ответил:

— Зачванишься, коли тебя порогом да Богом добрые люди потчуют.

Едва Савинка очутился в избе, его обдало таким удушливым запахом пота, бараньих шкур, гари и затхлости, что он вынужден был приоткрыть дверь.

Парень надменно оглядел гостя.

— Аль не по норову дух избяной князь-боярину?

Савинка захлопнул дверь и решительно пошел к лавке.

— Отвык я от избяного духу. А ежели княжью повадку узрел во мне, твоя оплошка. Не горазд, должно, ты людишек по нутру признавать.

Он перекрестился, снял торбу и присел на край лавки.

— Одначе густо у вас.

Парень не понял.

— Густо, сказываю, у вас, — повторил с добродушной улыбкой Корепин и ткнул пальцем в угол, где на ворохе сена лежали старик со старухой, пятеро детей и девушка.

Дети тесно прижались друг к другу и с любопытством уставились на гостя.

— Аль признали? — потянулся к ним Савинка, но, заметив, что дети испугались его, снова уселся на свое место.

Парень разостлал у порога тулуп, придвинул к изголовью полено и собрался лечь.

— Ложись и ты, — сказал он, — чать, умаялся с пути-дороги.



Не слушая его, Корепин порылся в торбе и многозначительно подмигнул ребятишкам.

— Полежать-полежим, а допреж того попотчuemся ушканом да иной прочей дичинкою.

Дети сразу посмелели, подползли к ногам гостя.

— Сам добыл? — спросила девушка, — а либо на пиру пожаловал кто?

Савинка тряхнул головой и чванно подбоченился.

— Сам ли? Да нешто слыхано слухом, чтобы господари сами себе прокорм добывали?... Аль мала лесная вотчина наша?

Девушка расхохоталась:

— Горазд же ты на ветер лаять!

Парень остановил ее.

— Замест смеху попотчевала бы лутше гостя похлебкой.

Старуха приподняла голову и погрозила сыну:

— Нынче отхлебаешься, утресь чем кормиться будешь? Не дам похлебки.

— А мы и без нее попируем, — сказал Корепин, вываливая из торбы на стол изжаренную на костре дичину.

Жадно раздув ноздри, старуха подошла к столу. За ней заковылял старик.

— Нешто и мне говядинкою попотчеваться? — заискивающе произнес он и, не дожидаясь приглашения, вонзил зубы в заячий окорок.

Поутру Савинка отправился на княжий двор. На лугу, у ворот усадьбы, уже давно толпились холопы, ожидавшие выезда князя в церковь.

Корепин присел за бугорком и задумчиво склонил голову. Решение идти в кабалу, принятое накануне почти с легким сердцем, показалось ненужной и нелепой затеей. Вспомнилась Москва, товарищи, Таня, старик Григорий — и вдруг с неудержимою силою потянуло к своим. «Взобраться бы с Танею на звонницу, обнять бы ласковую ее, да думкою уйти далече-далече», — мечтательно вздохнул он и спрятал лицо в ладони.

Точно выстрел, раздался неожиданно сухой треск бича. Из усадьбы, на белом аргамаке, окруженный холопами, выехал князь. Корепин вскочил и невольно залюбовался господарем. «Пригож

окаянный, что твой Егорий Храбрый!» — подумал он и вскрикнул вдруг от режущей боли в спине.

— Ниц!

Прыгнув к обидчику — спекулятору<sup>[28]</sup>, Савинка ловким ударом ноги сшиб его наземь.

Взвизгнули батоги. Бродяга пытался броситься наутек, но его окружили холопы.

— Ниц, — ревел оправившийся спекулятор, — князь жалует.

Поняв, что ему не справиться с противниками, Савинка покорно опустился на колени.

Пофыркивая и гордо перебирая тонкими ногами, аргамак, казалось, скользил в воздухе, не касаясь копытами земли. Князь исподлобья поглядел на незнакомого холопа, натянул стремя и, поровнявшись с Корепиным, ударил его нагайкой по темени.

— Сие тебе в поущение, чтобы загодя готовился к встрече князей! — крикнул он с ехидным смешком и, пришпорив коня, поскакал к церкви.

Людишки бросились врассыпную. Один из них не успел отскочить — упал, подмятый конем.

Князь любовно потрепал гриву аргамака и сдержал его ход.

— Эк, смерды богопротивные. Так и норовят ноги скакуну искалечить.

\* \* \*

Подписав кабалу, Савинка отправился на поклон к князю.

Дворецкий остановил нового холопа у крыльца и приказал ему стать на колени.

Время шло, а князь все не показывался. Спина Савинки немела и ныла, ноги одеревенели, в груди закипели обида, возмущение и едкий стыд. Хотелось вскочить, бежать куда глаза глядят — только бы избавиться от унижения, на которое он сам обрек себя. Но бежать было некуда. Всюду, в самых глухих углах российской земли, его ждала общая доля черных людишек — холопство и голод. И он, стараясь не глядеть на проходивших, покорно ждал.

Наконец, распахнулась дверь, ведущая в сени. Савинка ткнулся лбом в каменную ступеньку.

Чуть приподняв прямые, широкие плечи, князь погладил черную бороду свою и небожно ткнул холопа изогнутым носком сафьянового сапога.

— А как кличут козла бородатого?

— Корепиным Савинкой, — приподнял голову холоп.

Бычья шея господаря побагровела, в сливяных глазах вспыхнул жестокий гнев.

— Аль не навычен ответ держать перед князь-боярами!

И, поманив в себе дворецкого, наотмашь ударил его по лицу.

— Отвещай за него.

Дворецкий шлепнулся наземь.

— Корепин Савинка, пошли, Боже, здоровья господарю, милостиво отверзшему высокородное ухо свое, чтобы услышати недостойное имя холопье!

Медленно, сквозь стиснутые зубы, повторил Корепин слова, произнесенные дворецким.

Князь удовлетворенно погладил себя по крепкой груди.

— А нас, господаря, как величают, козел бородатый? — уже ласковее произнес он.

Дворецкий подполз на брюхе к ногам князя и поцеловал его сапог.

— Князь Григорий свет Санчеулович, владыко наш и отец-благодетель Черкасский.

Сжав кулаки, Савинка повторил величание.

Черкасский сбежал с крыльца и сбросил с себя кафтан.

— Ну, ей же Богу, козлиная у тебя борода! Прямо тебе не русский смерд, а торговый гость аглицкий.

Засучив рукава, он наклонился к Корепину и, схватив его за узенькую, без баков, бородку, поднял с земли. Савинка невольно вцепился в руку господаря.

Дворецкий бросился на холопа и укусил его в плечо.

— Прочь длань нечистую от длани высокородной!

Князь оттолкнул дворецкого и принялся внимательно ощупывать тело холопа.

— А, сдается нам, крепок ты, смерд.

— Да не спущу, коли что, — вызывающе ответил Савинка и, в свою очередь, засучил рукава. — Бывало, и на медведей хаживал, и с волком челомкался.

Из поварни и избы для челяди высунулись любопытные лица. Черкасский отступил на шаг и тряхнул головой.

— А не потешишь ли ты господаря своего единоборством да боем кулачным?

— Пошто не потешить, — охотно согласился Корепин и поплевал на ладони. — Починай, господарь!

Обомлевший дворецкий спрятался за спину князя и погрозился холопу обоими кулаками.

— Да нешто на то моя воля? То князь затеял, не я! — огрызнулся Савинка и выпятил грудь. — Налетай, господарь!

Григорий Санчеулович расхохотался.

— Вот-то разбойничий клич! Вот-то головушка буйная!

И прежде, чем Корепин приготовился отразить удар, стиснул его в медвежьих объятиях. У Савинки хрустнули кости. Он собрался с силой и стукнул лбом по подбородку князя.

Железное кольцо рук еще плотнее сомкнулось, сдавило мертвой петлей.

— Покоряешься ли? — спросил князь и вырвал зубами клочок волос из головы задыхавшегося холопа.

— Погодишь, подарик, — крикнул Савинка и, изловчившись, подбил ногой ногу Черкасского. Не ожидавший удара, князь, потеряв равновесие, рухнул наземь, увлекая за собой противника.

Борцы освирепели. Они с воем и бранью покатились по траве, норовя вцепиться друг другу в горло. Усадьба насторожилась. Никто не мог представить себе, чтобы холоп осмелился по-настоящему драться с господарем и не взмолить о пощаде в первую же минуту. Дворецкий, еле живой от страха, не знал, что предпринять.

Враги, увлекаясь все больше, очутились у открытого погреба. Здесь Савинке посчастливилось — он нырнул из-под князя и сел к нему на спину.

— Сдавайся, господарь.

Туловище князя на миг повисло над подземельем. Охваченный лютым гневом, он уперся локтями в обочины входа и перекувырнулся.

Савинка полетел вниз головой.

Счастливым дворецкий подбежал к Григорию Санчеуловичу.

— Воистину ты еси Самсон... Не зря именем сим тебя вся губа величает.

Отдышавшись немного, Черкасский подошел к погребу.

— Эй, ты, Голиаф! — крикнул он:— Не время ли за попом посылать да гроб готовить!

Побежденный Савинка, кряхтя и слизывая с губы кровь, с трудом выбрался из погреба.

— Мир ли? — ухмыльнулся князь, довольно потирая руки.

— Покель мир, — вздохнул Корепин. — Да токмо, сдается мне, не силой ты взял, а лукавством.

Князь махнул рукой.

— Добро уж! В другойцы попотчую, как сам захочешь.

Он развалился на траве и устало потянулся.

— А покель мир... умаялся я с тобой, прости Господи.

Корепин отошел к тыну и вымыл в луже перепачканное лицо.

Дворецкий прибежал с ковшом кваса, поклонился князю:

— Испей, благодетель.

Залпом опорожнив ковш, Черкасский обсосал усы и встал.

— Одначе, скажу по правде, не можно мне утаить, что и ты воин добрый. Доселе в боках у меня вихляние от твоих кулаков.

Похлопав себя по животу, князь милостиво объявил:

— За силушку за твою да за храбрость жалую я тебя корцом вина и еще ловчим моим.

\* \* \*

За любовь к аргамакам и за сметку при укрощении диких коней Черкасский вскоре пожаловал холопа набольшим ловчим.

Утром, после трапезы, князь неизменно, не считаясь ни с временем года, ни с погодой, отправлялся на выгон. Там поджидали его ловчие с необъезженными аргамаками. Прежде, чем приступить к работе, господарь обходил коней и с кропотливой тщательностью осматривал их. Царапина или клочок грязи на его любимцах вызывали в нем бешеный гнев. Он тут же расправлялся с провинившимися холопами: сек их, вздергивая на дыбу, возле которой день и ночь

дозорили каты, подвешивал к столбу вниз головой и придумывал множество изощреннейших пыток.

Любимейшей забавой князя после укрощения диких коней были пытки. Он не раз сидел с опытными дьяками до поздней ночи у себя в терему, обдумывая устройство какой-либо новой, выписанной из-за рубежа машины, дробящей кости или вытягивающей конечности. Сарай, где наказывали особенно провинившихся, был завален клещами, спицами, иглами, колесами с зубьями, тисками и железными досками, унизанными гвоздями, на которые укладывали пытаемых.

Зверствами Черкасского возмущались даже бояре-помещики. Слухи о жестоком князе доходили иногда и до Москвы. Но Григорий Санчеулович, несмотря на уговоры ближних людей царевых, продолжал действовать по-старому.

— И рад-радешенек я подобреть, да, видно, сидит во мне нечисть особливая, так и тянет в сарай тот.

Присылал к нему Стрешнев из Москвы ведунов, чтобы выгнать из нутра его нечисть, но ничего не помогало, и на Москве махнули рукой на княжеские потехи:

— Что взыщешь с него, коли замешана тут нечистая сила!

Черкасский продолжал потешаться, как хотелось ему.

Накатавшись вдоволь на горячем, полудиком скакуне, Григорий Санчеулович, если было время полевых работ, отправлялся в сопровождении дворецкого в поле.

Крестьяне, завидя господаря, терялись, перебежали зачем-то с места на место, переругивались.

Князь деловито обходил клин, потом раздумчиво останавливался и, наметив подходящую жертву, неожиданно загорался неподдельной ненавистью.

— Сызнов сошник погнула! — кричал он, набрасываясь с кулаками на девуку.

Девка падала в ноги господарю.

— Неповинна я!

Но дворецкий волочил уже ее к меже.

— Аль и впрямь неповинна? — склонялся князь к девушке и проводил потной рукой по ее лицу. — А быть по сему, изыди с миром.

Девушка припадала в поцелуе к краю кафтана и уползала к своим.

— Стой! — ревел князь. — Весь кафтан мне обслюнявила.

Он налетал на добычу и срывал с нее рубаху.  
Дворецкий, стоявший наготове, деловито принимался за избивание.

\* \* \*

В канун Петрова дня Черкасский приказал собрать с крепостных по пяти алтын со двора и по одной мере зерна.

Спекулятары согнали людишек на площадь перед церковью и объявили господареву волю. Староста выступил наперед.

— Что положено по закону, все отдали без утайки.

— То не так, — взволнованно зашумели крестьяне, — облыжно на нас господа обсказали! Что отдать положено, отдали.

Присутствовавший на сходе дворецкий, подражая князю, подбоченился и тряхнул головой.

— Облыжно?

Староста перекрестился.

— Облыжно, Иов.

— Утресь доставить! — вскипел дворецкий и выхватил из рук спекулятора бич.

Савинка подошел к Иову, наклонился к его уху.

— Обезмочили людишки, неумоготу им не токмо опричь положенного отдать, а и самим прокормиться нечем до нови.

Дворецкий грозно насупился.

— Уж не из смутьянов ли ты, что печальником черных людишек прикидываешься?

— Не печальник, а токмо не как другие прочие, памятую род свой крестьянский! За ласку за господареву души своей не продаю.

Подзадоренные смелыми речами крепостные подняли шум и потребовали, чтобы их допустили для объяснения с князем.

Спекулятор шепнул что-то одному из ловчих. Холоп послушно кивнул и, замешавшись в толпе, пошел к усадьбе.

Выслушав ловчего, разъяренный князь приказал седлать коней.

— Давить! До единого! — крикнул он, вскакивая на аргамака, и помчался к площади.

Струсившая толпа рассыпалась в разные стороны, но было уже поздно. Князь первый врезался в мечущихся по улице крепостных.

До позднего вечера не убирали раздавленных и искалеченных. В усадьбу доносились стоны раненых и плач неожиданно осиротевших семей. Согнанные с починков и деревень крестьяне проходили нестройными рядами по обочинам улиц и под подсказ спекулатарей протяжно выли:

— Та-ко да со-тво-рят со вся смерды, кои сму-той смутят!

В погребе, связанный по рукам и ногам, дожидался своей участи Савинка. Он понимал, что спасения ждать неоткуда и смирился, отдался на «Божью волю». Казнь не страшила его, не вызывала в нем ни горя, ни возмущения — порой даже казалось, что смерть лучший выход. «Гораздо велики просторы российские, — с какой-то холодной, неживой улыбкой шептал он, — а куда как необхватней кручина черных людишек русских!»

Приткнувшись к стене, Савинка закрыл глаза. «Так бы вот заснуть да не просыпаться до радостного утра», — подумал он и примолк.

Вдруг где-то близко над головой послышались чьи-то сдержанные шаги.

«За мной!» — решил узник, невольно бледнея и чувствуя, как падает сердце.

Кто— то завозился у двери. Глухо чавкнул топор.

— Жив ли?

Корепин напряг слух.

— Откликнись! То я Петрушка!

Узнав голос парня, приютившего его в первую ночь, когда пришел он на погост, Савинка невольно вскрикнул.

— Нишкни! — зашипел Петрушка и с большей еще силой ударил топором по замку.

Безразличие, вялость, покорность судьбе сразу исчезли, сменились бурною жаждою жизни.

— Наддай! — вздрагивающим шепотком приказал Петрушка и, не дожавшись помощи, рванул к себе запор.

На Савинку пахнуло свежим воздухом ночи.



В глубоком байраке, далеко за усадьбой Черкасского, собрались выборные от крестьян писать с Савинкою челобитную государю на князя.

Корепин так пыхтел над бумагою, будто голыми руками выкорчевывал корни столетнего дуба, но не сдавался, и продолжал упрямо выводить непокорные буквы. Иногда он останавливался и тупо шарил глазами по кривым строкам, с искренним удивлением восклицая:

— А побей меня Бог, коли кто поймет, что тут проставлено!

Крестьяне ласково похлопывали его по плечу:

— Кому занадобится — разберет. А ты строчи!

Дописав наконец челобитную, Корепин с омерзением далеко в сторону швырнул гусиное перо.

— Три века жить буду, а, разрази меня гром, коли возьму еще единойды в руки выдумку сию окаянную! Пущай ею дьяки да сатана тешатся.

Придвинувшись поближе к тусклому пламени лучины, он нараспев, с огромным усилием, кое-как прочитал написанное. Сняв шапки, выборные благоговейно слушали и в лад каждому слову покачивали головами.

— Истинно... Так... Вот-то умелец!... Прямо тебе, словно бы из сердца глаголы идут.

Савинка болезненно скривил лицо.

— А все сие ни к чему. Не вчуяться царю на кручины холопы, — он приложил палец ко лбу и еще раз упавшим голосом повторил: — Не вчуяться царю, нет, не вчуяться, — но заметив, что выборные огорчились его замечанием, торопливо прибавил: — А там, что Бог даст. Авось, по-доброму обернется. Дал бы перво-наперво Господь умудриться перед царем предстать да отдать челобитную. Не признали бы до того меня, сидельца беглого со двора тюремного, дьяки да языки.

\* \* \*

На дворе стоял лютый декабрь, когда Савинка очутился наконец под Москвой. Весь долгий путь он был спокоен, не думал о грозящих

опасностях, но, едва завидев звонницу Симонова монастыря, почувствовал вдруг, как в него вошел непреодолимый, животный страх. «А что, коль признают? — прикинув к обледенелой березе, с мучительной тоской подумал он. — Не быть в те поры челобитной у государя... А с нею не зреть и мне свету Божьего». — Он нащупал зашивку в рукаве епанчи бумагу и выхватил из-за пояса нож. «Авось, и не признают лихие люди... А отдам челобитную, все едино не миновать гибели. Изничтожить бумагу да тем живот сохранить свой!...» — Он занес нож, чтобы распороть рукав, но тут же рука упала безжизненно, выронив нож. Страх за собственную жизнь сменился едким стыдом. «А те?... Дожидаются, поди, сермяжные, ответа доброго от посла своего!»

И, не замечая ледящего ветра, Савинка распахнул епанчу, высоко подняв голову, зашагал к заставе.

У вежи дозорных его остановил стрелец.

— Кто идет?

Савинка осенил себя широким крестом и почтительно сложил руки на груди.

— Шествую я из святых мест на Москву по обетованию родительскому.

Стрелец юркнул в вежу, прячась от налетевшей метелицы, и оттуда уже крикнул:

— Коль во имя Господа — шествуй.

На улице не было ни души. Точно занесенные снегом надгробия стояли низенькие, безмолвные избы. В мутном небе клубился тяжелый сумрак, неповоротливый, как туман на болоте. Жалко скрипели промороженные плетни.

С каждым мгновением Савинка трусил все боле и боле. Ему все отчетливее слышались чьи-то крадущиеся шаги. «По мою душу!» — думал он, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Со всех сторон напознала бурная мгла. Точно в страшном сне вдруг исчезли небо, земля, сереющие надгробия изб, и во всем мире остались только Корепин и тот, невидимый, нагоняющий его и несущий с собою гибель.

— Вот он! — обжигает кто-то затылок горячим, как железо на морозе, дыханием.

— Вот он! — откликается в сердце и сковывает движения...

Савинка знает, что еще не ушло время, что можно еще обмануть языка — нужно только свернуть неожиданно в первый переулок и запутать следы. Но, вместо того чтобы бежать, он решительно поворачивается навстречу врагу. Рука его мертво сжимает черенок ножа. Он напряженно всматривается в ночь, готовый к бою, пронзает ее набухшими ненавистью и отчаянием глазами. Скулит метелица во мгле, точно ведьмы в лесу, кружатся визгливые вихри снега... Откуда-то издалека, от Немецкой слободы, доносятся не то вопли, не то дикий безудержный хохот лешего... И никого вокруг, ни признака жизни. Снег и мгла.

— Это все тебе чудится, баба! — шепчет успокоенный бродяга, прячет за пояс нож и уверенней движется дальше. Ему холодно. Он натягивает на уши епанчу, дышит в ворот, чтобы немного согреть затканное инеем и льдом лицо, и все тяжелей, немощней перебирает слабеющими ногами. Он идет наугад, не разбирая дороги, ему все равно, куда прийти — лишь бы можно было поскорей приткнуться голову к теплой охапке соломы и хоть на мгновение заснуть.

Корепин щурится и сладко-сладко зевает. «На малый бы час!... Токмо бы очи закрыть да потянуться... Вот так!» — блаженно улыбается он и помимо своей воли ложится в сугроб.

И вот уже видится ему знакомая изба... Как славно потрескивает в печи сухой валежник! Дым мягко обволакивает подволоку, опускается к нему, окутывает теплым, пушистым пологом. «Коль сладостен, Господи, отдых в жилье человеческом! — благодарно думает он и устраивается поудобней. — Имат ли человек гораздые радости, опричь радости прибежища теплого?...» Лютый порыв ветра подхватывает снег и с бешеной злобой швыряет в лицо замерзающего. Савинка вскакивает, очумело смотрит по сторонам.

— Никак Москва-река блазнится! — кричит он полным голосом и чувствует, как часто-часто колотится сердце. Он обегает вокруг избы, не доверяя своему счастью: — А и не чаял дойти до избы сей, а вот же дошел!

На неуверенный стук в дверь никто не откликнулся.

Савинка подобрался к оконцу, окликнул Таню и спрятался за угол. Кто-то завозился у двери, просунул на улицу голосу.

— Кой беспокойный в ночь тревожит людей?

Корепин вышел из засады.

— Григорию от Савинки низкий поклон!

— Ты? — отшатнулся старик.

— Я, кому же и быть, как не мне, бродяге! — шёпотом ответил Савинка и, не дожидаясь приглашения, вошел в избу.

Проснувшаяся Таня вздула лучину и выглянула из закуты. Она не узнавала ночного гостя.

Корепин склонился над печкой и с наслаждением приблизил к тлеющим углям лицо.

— А и студено! — передернул он зябко плечами, сдирая с усов и бороды подтаявшие сосульки. — Студено, Танюша?

Девушка испуганно отодвинулась и перекрестилась. Бродяга, не выдержав, протянул к ней руки:

— Неужто же я так стар стал, что и признать не можно?

Таня сорвалась с места, позабыв о присутствии отца, с криком бросилась Савинке на шею... Григорий тихонько поддался к лавке и сделал вид, что ищет что-то под ней. Только когда дочь его пришла в себя, он шагнул к двери и прислушался.

— Не искал я лиха, а оно само пожаловало!

Корепин смущенно поглядел на хозяина.

— А ты, старина, не кручинься. Я на малый час, отогреться пришел, Тане поклон отвести да сызнов в дороженьку-путь.

Таня упала в ноги отцу.

— Не гони!... Ради для дочери, ради для матушки опочившей, не гони ты его... Чай, давно про него языки позабыли. Да и ликом он не тот стал нынче!

Она заломила руки и сдавленным голосом повторила:

— Не тот!

Савинка поднял девушку и поцеловал ее в губы.

— То не диво, что я, на тюремном дворе сидючи да сиротской доли хлебаючи стал на себя непохож. А диво то с чего ты высохла?

Старик сердито зажевал губами.

— С чего?... А с того, что приворожил ты ее! Колико женихов пригожих спровадила, дура.

Он неожиданно в пояс поклонился гостю:

— Христа для, развяжи грех! Спокинь ты нас да обетованье дай николи не хаживать к нам.

Не возразив ни слова, Таня торопливо обулась и накинула на себя поношенный бараний тулуп.

— А тебя куда нечистый в полночь несет? — крикнул старик, срывая с нее тулуп. — Аль в избе тесно стало с родителем?

Девушка гордо подняла голову.

— А куда Савинке путь, туда и мне дорога выпала.

Корепин всплеснул руками.

— Окстись! Некуда, лебедь моя, идти нам с тобой!

И, нахлобучив на нос шапку, взялся за ручку двери.

— Прощай, лебедь моя... И ты, Григорий, не поминай лихом.

Таня резко оттолкнула отца, бросилась к двери.

— А где селезню летать, там и утице быть!

Но Савинка открыл дверь и даже не оглянулся — чтобы не показать девушке перекосившегося от неслышных рыданий лица.

— Прощай. Авось, настанет пора — прилетит селезень за утицей... Э, да что сказывать!

Он выбежал на двор. Кружились метелицы. Ветер вздымал вороха снега, бросал их в окна...

Савинка бежал до тех пор, пока хватило сил. Когда ноги отказались повиноваться, он покорно повалился в сугроб. «Восстань, на век заснешь», — тупо шевельнулось в мозгу, но тут же расплылось бесформенным, тяжелым туманом. Однако какая-то внутренняя упорная сила заставила его подняться. Он устремил в небо покорный взгляд и перекрестился.

— Помилуй мя, Господи, не можно мне доле бороться за живот... Помилуй! Приими дух мой в пресвятые руки Твои.

Порыв ветра донес откуда-то издалека рычание псов и голоса людей.

— Стрельцы!

Савинка злобно сжал кулаки:

— Так нет же! Краше в лесу замерзнуть, нежели дьякам в пасть на потеху поддаться!

Ненависть породила в нем новые силы. Он подобрал епанчу и бросился наутек. Но, едва сделал он десяток шагов, как почувствовал, что земля расступается перед ним. Он остановился. Снег заколебался под ним и с хрустом провалился, увлекая за собой в яму Корепина.

— Сгкнь-сгинь-сгинь-сгинь! — крикнул кто-то глухим голосом, точно из сокровеннейших глубин земли. — Сгинь-сгинь-сгинь!

Чьи— то пальцы вцепились в горло Савинки.

— Сгинь, сатана!

Перепуганный Корепин взмолил о пощаде.

— Христа для! Отпусти странника божьего!

Невидимый враг неожиданно разразился добродушным смешком.

— Так то ж, выходит по словесам твоим, Бог мне гостя послал!

Поняв, что в яме устроился на ночлег такой же бездомный бродяга, как и он, Корепин сразу пришел в себя.

— Вот и кров послал Господь! — весело воскликнул он.

В яме, под снегом, было сыро, но почти тепло. Крепко прижавшись друг к другу, бродяги усердно задышали друг другу в лицо.

— Добро! — довольно бурчал хозяин. — И печки не надобно.

— Добро! — повторял размеренно Савинка и сладко жмурился.

Когда гость согрелся, бродяга порылся у себя за пазухой и достал луковицу.

— Откушай, брателко.

Корепин с жадностью схватил луковицу, почти не жуя, проглотил ее.

— Одначе не солодко жительствоешь! — вздохнул хозяин и заботливо подsunул под бок товарища часть соломы, на которой лежал сам. — Издалече?

— Издалече, брателко. Шествую из кручинной сторонушки, а поспешаю к неминуемому лиху... Ведомы ль тебе те дороги, брателко?

Хозяин присвистнул.

— Превеликая дорога! Большая сила людишек той дорогой шествует.

Они притихли. Над головами тужила о чем-то метелица.

— Спишь, брателко, как тебя кличут, не ведаю?

— Не спится. Все думушку думаю... А кличут меня Корепиным Савинкой.

— То-то же! А то, помрешь ежели, как я вотчину твою боярскую да палаты каменные твои сыщу!

И, довольный своей шуткой, изо всей мочи шлепнул Савинку по спине.

— Небось, добро-то свое Яшке отпишешь?

— А ты нешто Яшка?

— Пospрошай на тюремных дворах, волишь во Пскове, волишь в Туле, всяк тебе про Яшку обскажет.

Савинка собрался что-то сказать, но побоялся отогнать мягко охватывавшую его дремоту и промолчал...

Утром товарищи вылезли из логова и внимательно оглядели друг друга.

— Вместях ночку долгую ночевали, — осклабился Яшка, — а разлучи нас кто до свету, так бы во век ни ты меня, ни я тебя не признали бы.

Корепин обнял бродягу.

— В ночь ли темную, на дне ли океан-моря, везде голодный признает голодного!

До полудня бродяги толкались по рынку, тщетно выискивая с другими нищими и бездомными псами добычу.

Савинка глубоко нахлобучил шапку, обмотал ворот епанчи тряпьем так, что лица почти не было видно. Глаза его подозрительно щурились на прохожих, выискивая среди них языков. Он уговорился с Яшкой не даваться живьем стрельцам в случае, если их узнают.

— Краше в честном бою помереть, нежели сести на тюремный двор до скончания века.

## ГЛАВА XV

Вдоль кремлевских стен скользят и тают в лунном сиянии тени дозорных. Суетливый дворцовый день кончился, сменился мирной вечерней молитвой и отдыхом.

В низеньком тереме за круглым столом сидит Алексей. Желтый огонек лампы уютно теплится перед золоченым киотом, чуть оживляя строгий лик распластавшегося во всю ширину подволоки Бога-отца.

Царь с блаженной улыбкой следит за игрой теней. Подле него на лавке сумерничает Босой. Юродивому скучно. Он лениво вычерчивает пальцем в воздухе какие-то полукруги и в лад движениям своим мычит что-то в дремучую бороду. Вериги давят бока и плечи, вызывают тупую боль и раздражение. Хочется уйти поскорее, отдохнуть от

осточертевшей государственности. «Чай, дожидаются», — думает он и невольно разглаживает послунявленной ладонью непокорные вихры. Под черной бархатной рясой, молодецки охватывающей его богатырский стан, тревожно шуршат и перекликаются звенья ржавых желез. Алексей переводит взгляд на Ваську, но тотчас же снова забывает о нем и продолжает умиленно следить за подмигивающим добродушно изображением Саваофа, за узорчатыми лунными рушниками, скользящими по стенам, и за собственной полупрозрачной тенью. Босой теряет терпение, исподлобья, зло поглядывает на государя.

Васька давно уже изменился до неузнаваемости. Он редко юродствует, держится серьезно и строго, следит за собой. Весь Кремль остерегается его, боится вызвать его немилость. Вельможи первые кланяются ему, без его благословения не предпринимают никаких дел, так как хорошо знают, что неудобное юродивому всегда неудобно и Алексею.

Ежедневно, после вечерни, царь подходит под благословение к Ваське и с напряженным вниманием выслушивает наставления на грядущее утро. Прежде чем начать слово, Босой долго стоит перед образом, подняв руки горе, и что-то невнятно нашептывает. Царь робко поеживается и терпеливо ждет. Если мертвое лицо прозорливца оживает, расплывается в дружескую улыбку, — Алексей крестится благодарно и чувствует, как все его существо наливается гордой радостью и покоем. Когда же темнеет взор Васьки и безжизненно падают руки его, а из груди вырываются протяжные, полные туги стенания, — государь сразу теряет уверенность в себе, горбится сиротливо и тайком, неслышно пятится к двери... Босой резко поворачивается к нему и, загораясь вдруг бешеной злобой, топает иступленно ногами.

— Сызнов не внял глаголам Отца Небесного! Сызнов внемлешь врагам истины!

Он падает на колени перед иконами, кивком головы показывает царю на место подле себя и, после долгих молений, наконец смягчается.

— Даешь ли обетование, Алексаша, сотворить по глаголу Божию?

— Даю, прозорливец.

Натешившись игрою теней, государь пересел ближе к Босому.



— Скучно, мне, Васенька... Давненько ты мне сказов не рассказываешь.

«Эк, навязался, брюхатый!» — выругался про себя Васька, но вслух охотно согласился позабавить царя и, опустившись на пол, приступил к сказам.

Мерно и убаюкивающе, точно шелест полевой травы в тихий весенний вечер, потекла речь Босого. Алексей зажмурился, уселся поуютнее и дремотно слушал.

— Гораздо добро речешь ты, прозорливец. Словно бы не из уст твоих глас исходит, а за окном жужжание пчелиное, — сладко зевнул он и ткнулся бороною в кулак.

Босой погладил цареву ногу и продолжал мягко ронять:

— И есть, Алексашенька, дальняя теплая сторона, Индию реченная, дивами дивными полная. А в той Индии теплой обитает птица, реченная Фюникс. А птица сия — одногнездница, не имат ни подруженьки, не птенцов, но едино в гнезде своем пребывает... Егда же состарится та птица Фюникс, долго жалешенько плачет, убивается, горемычная. А, накручинившись вволюшку, взлетает ввысь, берет огонь небесный и, спустясь, зажигает гнездо свое. И меркнут в те поры звезды небесные, и мрак велик ложится на землю, и плачут все твари земные. И земля в те поры плачет. А гнездо горит огнем белым, подобно первому белому снегу, а то и как месяц новорожденный. Фюникс же птица сидит во гнезде, жалешенько плачет, убивается, да огню небесному бока опаленные подставляет. А пепел с той птицы так и сыплется, так и сыплется, так и сыплется!... А когда померкнет огонь, слетаются к гнезду светлые, как очи царя Алексашеньки, силы небесные, дуют на пепел и райскую песню ему поют.

Васька откашлялся в кулак и запел:

Христос рождается — радуйтесь!

Христос преставляется, радуйтесь!

Яко в рождестве и смерти душе воскресение!

Всем христианам до века спасение.

И пророчески поднял руку:

— А из пепла гнезда своего сызнов Фюникс воскресший встает и величит со духами светлыми Господа. И песня та златыми звездами в небеси рассыпается, а на земли зацветает благовонными цветиками и звоном малиновым. Слава, честь, поклонение и благодарение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Он неторопливо встал и склонился к похрапывающему царю.

— А-минь!... Все, Алексашенька.

Алексей испуганно открыл глаза.

— Улетел? Фюникс-то, отлетел?

— Отлетел, мой преславный. А и тебе ли не срок ко сну отлететь, Алексашенька?

Обняв не очнувшегося еще от сладкого полусна государя, он увел его в опочивальню. Едва добравшись до постели, царь, не успев даже перекреститься, крепко заснул.

Васька покропил стены опочивальни святой водой и, отдав последние распоряжения стряпчему и спальникам, на носках вышел в сени.

— К царевне, — шепнул он дожидавшимся его домрачею Никодиму и еще какому-то юродствующему нищему. — Нонеча там и полная женка Янина.

В светлице Анны стоял полумрак. Царевна нежилась на пуховике. У изголовья ее сидела Марфа и напевала вполголоса какую-то девичью песню. На полу, подобрав под себя ноги, дремала Янина. На коленях ее лежала раскрытая книга Георгия Писидийского: «Похвала Богу о сотворении всякой твари».

Анна высунула из-под тафтяного с собольей опушкой и жемчужными гривами покрывала руку, нежно погладила черные кудри крестницы.

— Измаяла я, поди, тебя, Нинушка?

Полонянка полураскрыла глаза и прижалась к прохладной руке царевны.

— Не можно мне верить, матушка моя царевна, что даровал мне Господь превеликие свои милости, сподобив меня крестницей твоей стать!

Кто— то завозился в сенях. Марфа вскочила с постели и юркнула к двери.

— То по велению царевны, — слышался резкий голос Босого, — утресь еще наказывала двух бахарей блаженных доставить.

Марфа открыла дверь.

— Жалуйте. И то, измаялась наша царевна, вас дожидаетесь.

Трижды перекрестившись на образа, юродивые, по молчаливому приглашению царевны, сели на лавку.

— А духовник пошто не шествует? — спросила зардевшаяся боярышня, склонясь перед Босым.

— Сейчас с царицей пожалует, — буркнул Босой, глядя куда-то поверх голов.

Янина молитвенно сложила руки.

— Прикажи, матушка-царевна, уйти. Не можно мне, не достойной, предстать перед очи царицыны.

Мясистые губы Василия передернулись в усмешке. «А и лукава же баба проклятая. Обликом — херувим, а душою — сатана сатаной». Царевна привлекла к себе крестницу:

— Не кручинься. Обсказала я царице про усердие твое в делах веры Христовой да про живот твой горький, полонный. И показала она тебе милость узреть тебя в светлице моей.

— Жалует! — объявила боярышня и широко распахнула дверь.

Милостиво улыбаясь, в светлицу вошла Марья Ильинична. За ней бочком протиснулся отец Вонифатьев. Васька встал и перекрестил воздух.

— Благословенно благословенное... Тьма свету не в кручину. Свет же в тьме — радости.

Никодим шлепнул себя по ляжкам и, грозась пальцем в окно, подхватил, перебирая пальцами струны домры:

— Тьме Бог — отец, свету Господь — родитель, нам же на радости — свет царица Мария.

Царица ничего не поняла, с заискивающей улыбкой подошла к прозорливцу.

— Не растолкуешь ли мне сии премудрые словеса?

Васька поджал губы и повернулся к Никодиму.

— Реки!

Никодим таинственно наклонился к царице.

— Прикажи Проньке. В пятничные дни дана ему великая сила предреканья.

Пронька шмыгнул носом, обнюхав воздух и вдруг закатился сиплым смешком.

— Зрю!... Ночь дню поклоняется, свет тьму проглотил. А в свете, как горлица белая, царица купается!

Он обежал вокруг Марьи Ильиничны и радостно закончил:

— Очистившийся перед Васенькой — перед Богом очистится!

Допустив поочередно к своей руке царевну, Марфу и Янину, царица уселась под образами и умильно воззрилась на Босого.

— Сказывала мне Аннушка, будто зандобилась я тебе, прозорливец.

Васька ничего не ответил. Он неожиданно размахнулся, больно ударил себя по лицу и разодрал бархатную рясу. В сумраке, полунагой, свирепый, он казался очень страшным.

Царица закрыла глаза, чтобы не видеть надвигающегося на нее великана.

— Не можно мне зреть мужа нагого, — с мольбою вымолвила она. — Да и опричь сего, страшусь я вериг. Словно бы гады, обвилились они вокруг телес твоих мученических. Свободи себя от них, прозорливец.

— Сама слободи, — ткнулся губами в ухо Марьи Ильиничны Никодим. — Никому не положено, опричь царицы, касаться желез сих святых.

Превозмогая страх и стыд царица сняла с юродивого вериги. Васька с наслаждением встряхнулся и присел на пол.

— Сестры дражайшие!

Все с удивлением переглянулись:

— Откеле исходит сей глас?

— Сестры дражайшие! — снова сдушенно прокатилось по терему.

Помертвевшая от суеверного ужаса царица пала ниц перед иконами:

— Царица небесная, заступи!

И тотчас же, где-то подле нее, не то под ногами, не то у самого уха раздалось протяжно:

— Царица небесная, заступи!

Царевна и Марфа, потрясенные чудом, крепко уцепились за Никодима и Проньку и молили Босого выгнать из светлицы нечистого, но страшный голос не унимался. Он то гулко бился о стены, то

рокочущим хохотом кружился в воздухе, отдаваясь громовыми раскатами в сердцах перепуганных женщин, то уходил куда-то в преисподнюю. Вонифатьев бегал, как ошалелый по светлице, рьяно крестил подволоку, стены и пол, непрерывно творя заклинания. Янина, закрыв руками лицо, на животе подползла к прозорливцу.

— Про Никона... реки про Никона, — подсказала она едва слышно.

— Некие рекут, Никон-де тщится книги священные исправить во славу Божию. Ему же противоборствуют еретики, — плачуще донеслось из-за окна. — А я, Бог Саваоф, глаголю: не внимлите гласу лукавого!... Ибо не ревнители древнего благочестия, но Никон сеет ересь в душах христианских.

Марья Ильинична встрепенулась. Ее лицо зарделось счастливой улыбкой. Она благоговейно воззрилась на образа и истово перекрестилась. Все ее сомнения рассеялись. Еще недавно, когда Никон вел беседу с царем и учеными монахами о необходимости исправления богослужебных книг, она почувствовала, что затевается недоброе дело. Однако Ртищев, Ордын-Нащокин, Никита Романов и сам Алексей, изо дня в день доказывая ей правоту Никона, смутили ее душу. Теперь же сам Бог открыл истину.

— Верую, Господи, и исповедаю крещение тако, како веровали древние чудотворцы твои! — клятвенно крикнула она, и опустившись на колени, стукнулась об пол лбом.

Янина подползла к царице, горячо поцеловала край ее платья.

— Како ты рекла, тако и я под твоею рукою буду противоборствовать Никону, — прошептала она и снова закрыла руками лицо, чтобы не выдать торжествующей радости.

— Благословенна раба Мария, — ласкающе-мягко вздохнуло над головами.

Расставив широко пальцы, Янина восхищенно поглядела на Ваську. «И даст же Бог человеку дражайший дар вещаний чревом!» — умиленно подумала она и искренно перекрестилась.

Выполнив добросовестно все, что требовала щедро наградившая его полонянка, Босой шагнул к царице, но вдруг зашатался и рухнул на пол.

— Почил! — вскрикнул склонившийся над прозорливцем Никодим.

Марья Ильинична с рыданием упала на грудь Босого. Василий приоткрыл один глаз и болезненно улыбнулся.

— Не рыдай мене, мати! — запел он и неожиданно расхохотался страшным хохотом сумасшедшего.

## ГЛАВА XVI

Вечный страх, что узнают его языки, иссушил Корепина, измотал всю его душу. Он облютел, становился все более подозрительным и остерегался даже закадычайшего своего друга Яшки. В каждом человеке чудился ему враг, поджидавший лишь случая, чтобы предать его.

Только в редкие встречи с Таней ненадолго оживлялся Савинка, забывая о всех стерегущих его напастях.

В условные дни сходились они в лесу, в берлоге, которая служила бродягам жильем. Яшка, завидев женщину, немедленно исчезал. В берлоге было тепло и довольно просторно — товарищи углубили яму, стены утеплили подобранными на свалке войлочными лохмотьями и соломой и обшили дубьем; кровлей служило решетование из прутьев и хвороста, придавленное снежным сугробом; вход в землянку вел через дыру, прорытую в стороне и защищенную от человеческих глаз кустарником. Зарывшись по пояс в тряпье, Корепин припадал губами к щеке Тани и так мог просиживать без слов часами.

К вечеру гостя осторожно высвобождалась из его объятий.

— Пора. Чать сызнов отец заругается.

Бродяга с тяжелым сердцем провожал Таню до леса.

— Токмо бы Пешного действа дожждаться<sup>[29]</sup> да царю отдать челобитную, — неуверенно улыбался он, чтобы как-нибудь поддержать в себе бодрость, — а там спокинем мы с тобой Москву, уйдем на украйные земли, заживем без горькой кручинушки.

Укутанный в тряпье и солому, из-за деревьев показывался дружелюбно скаливший зубы Яшка.

— Эвона!... А я, было, в думках держал, не засталась ли ты за господарыню в вотчине нашей.

Наступила неделя Праотец<sup>[30]</sup>. Савинка заметно повеселел.

— Ну, кажись, пришел час ударить государю челом, — поделился он с товарищем, ничего не подозревавшим о челобитной.

Яшка вытаращил глаза.

— Царю?... С челобитной? Ополоумел! Аль не слыхивал, что по новому указу не можно черным людишкам челом бить государю?

— Так то черным людишкам, — ухмыльнулся Савинка, — а не нам. Мы, брателко, особые — опричь тюремного двора ни в каких грамотах не записаны...

В канун воскресенья бродяги отправились на патриарший двор. Там давно уже теснилась толпа бездомных людей, дожидавшихся выхода келаря.

Когда монах вышел на крыльцо, людишки опустились на колени:

— Благослови на бранный подвиг, отец.

Благословив людишек, келарь увел их в большую трапезную. Накормил и выдал одежду. Обряженные в гулы<sup>[31]</sup> из красного сукна с оплечьями из меди, в медных шапках с опушкой из заячины, расписанных краской и золотом, они высыпали на улицу.

Простолюдины попрятались по домам. Только орава крикливых ребят бесстрашно бегала за «халдеями»<sup>[32]</sup>, наполняя промерзшие улицы песнями, свистом и улюлюканием.

Для бездомных людей пришли сытые дни. Отовсюду поступали к ним щедрые подаяния. Каждый торговый человек считал своей святой обязанностью кормить и поить участников Пещного действия. На рынках, в торговых рядах, на Козьем болоте — всюду снабжали их, Христа ради, прокормом. Халдеи с ревом набрасывались на подаяние и нещадно избивали друг друга, пытаясь вырвать лучший кусок, чтобы тут же, почти не жуя, проглотить его.

Смазав бороды медом, Савинка и Яшка бегали по занесенным снегом широким московским улицам, пугая лошадей и встречавшихся крестьян багровыми космами потешных огней.

— Пали его! — крикнул какой-то ряженный, вынырнув из переулка и схватил за ворот сидевшего на возу с сеном крестьянина.

Крестьянин попытался вырваться, но его сбросили наземь и привязали к хвосту коня.

— Калым давай!

Савинка подтолкнул локтем товарища и укоризненно покачал головой.

— А сдается мне, не гоже бы людишек немочных забижать.

По лицу бродяги скользнула недоумевающая усмешка.

— А сдается, окстись да не хаживай с халдеями.

Пробившись к лошади, он поднес факел к бороде ревающего благим матом крестьянина.

— Калым давай, миленок-брателко.

Отчаянный крик резнул притихшую улицу. Ребятишки шарахнулись в разные стороны. Где-то заголосили бабы... Не помня себя от возмущения, Савинка выдернул из ближайшего плетня кол и ринулся на Яшку.

— Душегуб!

Кто— то сзади ударил Корепина кулаком по затылку. Он зашатался и выронил кол.

— Секи его!

Еле вырвался истерзанный и залитый кровью Савинка из рук озверевших людей. Левый глаз его закрылся, взбух, на подбородке, на месте вырванных ключев борода, зияла кровоточащая рана.

У Арбата избитого настиг запыхавшийся Яшка.

— Жив ли брателко? — участливо спросил он и покачал головой. — Экой чудной ты!... Нешто можно перечить положенному? Подьячие и стрельцы, и те до Богоявленьего дни не вольны забижать халдеев...

— Уйди! — крикнул Савинка и вдруг, широко расставив руки, упал в сугроб.

— Дотешился, светик! — сплюнул Яшка и, взвалив товарища на плечи, потащил его в берлогу.

Остаток дня и ночь Савинка провел в тяжелом полубреду. Однако на рассвете, сообразив, что Яшка собирается уходить, он с трудом поднялся.

— Аль в Успенский пора?

— Кому пора, а кому срок и отлеживаться, — сквозь зубы процедил Яшка. — И ведь эко надумал!... На толпу с дрекольем идти.

Корепин, преодолевая боль, пошел за товарищем.

Успенский собор был полон молящихся. Паперть запрудила толпа, не успевшая пробраться вовремя в церковь. Но халдеи, пришедшие



последними, гордо запрокинув головы, уверенно протискались в собор.

На амвоне, с правой стороны, окруженный ближними боярами, в кресле восседал государь. Корепин протискался поближе к клиросу. Будто почесываясь, он то и дело тревожно ощупывал рукав, в котором была зашита челобитная. Здоровым глазом он внимательно измерял расстояние, отделявшее его от царя, и соображал — успеет ли добежать к амвону прежде, чем перехватят его дьяки.

Из боковой двери, ведущей в алтарь, высунулся дьячок и поклонился в пояс царю.

Алексей перекрестился, поднял к небу глаза.

— Починайте во славу божью!

Дьячок, с трудом сдерживая подступающий кашель, отступил к аналою и шамкнул беззубым ртом:

— Благослови, отче!

Царь сорвался с кресла и так схватился за голову, будто кто-то неожиданно треснул его по темени.

— Что ты сказываешь, — заорал он, — мужик, сукин сын: благослови, отче?... Тут патриарх, сказывай, ирод: благослови, владыко!

Чтобы ублажить царя и тем искупить свою вину, дьячок набрал полные легкие воздуха и рявкнул на весь собор.

— Благосло...

Но вдруг лицо его напряглось, вздулось жилами, побагровело, а из свистящей груди вырвался оглушительный кашель.

Алексей слезливо оглядел молящихся.

— А и в чем вина наша перед Господом, что ради для царей ныне в соборах замест велегласых дьяконов и мнихов верещат сукины сыны поросята?

Неудачливого дьячка сменил монах. Расставив широко ноги, он молодецки тряхнул черной гривой и, надавив указательным пальцем на кадык, оглушил молящихся громовым раскатом:

— Бла-го-сло-ви, вла-дык-ко!

Царь грохнулся на колени и с наслаждением перекрестился. За ним пали ниц все находившиеся в соборе.

— Вот то глас, — вслух похвалил Алексей, — чисто тебе Илья-пророк по небеси прокатился!

Из алтаря торжественно вышел патриарх Иосиф. Благословив толпу, он направился на середину собора. Алексей, опираясь на плечи ближних, последовал за патриархом и стал у столба.

Начался «чин воспоминания сожжения триех отроков или Пещное действо».

Монахи отдернули ширмы. Молящиеся увидели между столбами решетчатую деревянную печь, в виде огромного фонаря, расписанного суриком и другими красками. Для изображения горящей печи фонарь по решеткам со всех сторон был унизан железными шандалами, в которых горели восковые свечи.

После шестой песни канона, получив благословение патриарха, трое ряженных, изображавших еврейских отроков — Анания, Азария и Мисаила — были связаны «убрусцем<sup>[33]</sup> по выям» и отданы двум халдеям.

Халдеи, беспомощно тужась, чтобы вызвать на лицах приличествующий церемонии гнев, подвели отроков к печи.

— Чада царевы, зрите ли сию пещь, огнем горящу? — крикнули они в один голос.

Отроки с презрением оглядели своих катов и гордо подняли головы.

— Зрим мы пещь сию, но не ужасаемся, есть бо Бог наш на небеси, той силен взять нас от пещи сия...

Получив по зажженной свечке, отроки, подталкиваемые халдеями, вошли в пещь и тоненькими голосами заскулили молитву. Халдеи, со свечами в руках, побежали вокруг печи и бросили в горн легковоспламеняющуюся траву-плаун.

В соборе воцарилась мертвая тишина. Все взоры были обращены на вырезанного искусно из пергамента ангела, спускавшегося на шнурке с подволоки.

Два монаха, укрывшихся в алтаре, по знаку, поданному иеромонахами, принялись ожесточенно сотрясать железный лист.

Халдеи упали ниц. Какая-то старуха, преисполненная суеверного страха, воюще заголосила и побежала к выходу... И тотчас же, точно по уговору, ее со всех концов поддерживали смятенными криками и рыданиями.

Ангел, покачавшись над печью, медленно, как бы неохотно, снова поднялся к подволоке.

Торжествующие халдеи ударили казнимых пальмовыми ветвями.  
— Где есть Бог ваш на небеси?!

Отроки печально переглянулись и отдались на волю огня.

Вдруг монахи снова затрясли железными листьями и рывкнули хвалебную песнь. Ангел, трепеща, спускался к печи.

— Ангел! Ангел Господень, спаси нас, — взмолились отроки.

Толпа снова притихла. Кое-где лишь слышались глубокие вздохи. Ангел реял в воздухе, плавно взмахивая размалеванными крыльями.

— Ангел! Ангел Господень, спаси нас! — надрывались отроки, заглушая грохот железа и трещеток.

И вот, на мгновение задержавшись в воздухе, ангел слетел в печь. Из сотен грудей вырвался вздох облегчения. Отроки сорвали с себя убрusцы и, ухватившись за крылья ангела, трижды обошли с ним вокруг печи. Пораженные халдеи бочком придвинулись к спасенным и, отвесив земной поклон, подтолкнули их к патриарху.

— Многая лета! — вихрем взвилось на обоих клиросах многолетие государю и царствующему роду.

Служба окончилась. Алексей сам, непрестанно крестясь и пришептывая молитвы, погасил все четыреста свечей в печи и направился к амвону.

Удобная минута наступила. Корепин прыгнул к царю и стал на колени.

— Государь, царь православный! — забормотал он, щелкая зубами, как на лютom морозе.

Ближние бояре позвали монаха.

— Убрать!

Но царь остановил их властным движением руки. «Он!... Он и есть», — мелькнула догадка.

— Аль челом бьешь, холопыюшко?

— Бью челом, государь! — ударился Корепин лбом о каменные плиты пола. — На ворога христианского, на князь Черкасского, Григория Санчеуловича!

Савинка поборол в себе страх и, смело поглядев государю в лицо, продолжал:

— Мрут черные людишки с голоду! Опричь кривды да батогов не зрят иного. Плохо, гораздо плохо жительствоуют сиротины твои, людишки черные.

Он сбросил с себя гулу, зашарил по рукаву епанчи.

— Аи челобитная тебе от черных людишек... Все в ней пропи...

Он осекся и похолодевшими пальцами разодрал рукав.

— Была, государь! Сам писал...

— Сам? — ехидно прищурился Алексей и кивнул подошедшим дьякам. — Так вот чью цидулу сдобыли языки у халдеев в побоище уличном.

Присутствовавшая в соборе Янина заинтересовалась неожиданной сварой и любопытно приблизилась к амвону.

— Так сам писал, сиротина? — переспросил государь, захватив в кулак бороду.

— Сам! — поднялся Корепин с колен. Его глаза зажглись вдруг гордыми огоньками, а пальцы, мывшие судорожно епанчу, сжались в кулак. — Сам!... Думка была, не ведаешь ты, что робят с людишками черными. А ты, государь, обороняючись, тех же кличешь к себе на подмогу дьяков.

— Замолчи! — крикнул Алексей и ударил челобитчика по лицу.

Едва сдерживая волнение, Янина не спускала глаз с дерзновенного смерда. Его осанка и смелые речи восхитили ее. «Вот-то бы споручник мне!... Вот-то бы от обиды на государственность да на дьяков добро служил бы моему королю!» И полонянка решила во что бы то ни стало спасти Корепина.

\* \* \*

Вечером, когда пришли к ней гости, Янина рассказала им о бродяге.

— А кто дьякам враг, тот нам впору придется, — убежденно закончила она.

Федор вернулся домой, когда никого из чужих уже не было. Янину он застал в камере, чем-то очень расстроенную.

— Нинушка, свет мой! — засуетился постельничий и, приблизившись к женщине, выпятил до последней возможности грудь. — Да ежели кто забилел тебя, своими перстами удавлю лиходея!

Полонянка искоса взглянула на запетушившегося господаря. «Витязь тоже — пугало воронье!» — подумала она и нежно обняла

Федора.

— Не забили меня, а жалость выела сердце мое... Не можно мне боле терпети.

Осторожно подбирая слова, она заговорила о грядущем празднике Рождества. Ртищев усадил полонянку подле себя.

— Истинно, истинно, — временами поддакивал он и дремотно шурился. — Колико мы с чистым сердцем твоим добрых дел сотворим!

Однако, услышав про Савинку, сразу потемнел.

— Не сказывай про него. Грех непощеный и слышать мне, постельничему государя царя, имя смутьяна богопротивно.

Всю ночь Ртищев не спал, прислушиваясь к сиротливым вздохам и сдержанному плачу полонянки. Покоренный слезами, он много раз вскакивал с постели, готовый сдаться, но у самой двери останавливался, гневно сжимал свои детские кулачки.

— Нет! Негоже постельничему государеву быть заступником смердов-смутьянов.

Чтобы избежать встречи с Яниной, Федор на рассвете уехал в Кремль. Царя он застал в крестовой за утреней. Стоявший у двери Босой догадался по лицу Ртищева, что с ним приключилось что-то недоброе.

— Кручинишься, Федя?

Постельничий безнадежно махнул рукой.

— Ты бы хоть, прозорливец, улешил Янину. Смертью умрет она от сердца доброго своего.

Встревоженный Васька, не дожидаясь трапезы, отправился в Конюшенный переулок, в усадьбу Ртищева.

\* \* \*

Ночью, прежде, чем идти спать, прозорливец, запыхавшись, ворвался в цареву опочивальню.

— Ходит, Алексашенька!

— Кто ходит? — испуганно откликнулся царь.

— Сень дерзновенного ходит в покоях твоих!... Чуешь? Как отроки иудейские... Звон, зри... Ходит и держится перстами за

ангельское крыло.

Алексей попятился к красному углу. Откуда-то сверху тяжело пополз на него чей-то сдавленный голос.

— Ради для Рождества Господа нашего Исуса Христа, я, ангел Господень, внял покаянной молитве раба Божия, бывшего тебе, государь, челом смерда сиротствующего.

Царь опустил на колени и в страхе прислушался к исходящим с подволоки словам.

— Помилуй же, помазанник Божий, раба того! Внемли ему, — заклокотало где-то в подполье и стихло.

Босой стал на четвереньки и подполз к государю.

— Чуял ли?

— Чуял, — перекрестился царь. — Токмо как же мы противу Соборного уложения руку поднимаем?

Васька раздраженно брякнул веригами.

— Упамятовал ты, Лексашенька. Не противу Уложения восстал смерд, а челом бил на господарей.

— Вот то-то же сказываем и мы, — приободрился царь. — Потому доля черных людишек сполна обозначена в Уложении.

Васька поморщился, сплюнул, и отполз к двери.

— Ползут! — рявкнул он и отчаянно замахал руками, телом своим заслоняя государя. Из углов, с подволоки, из подполья неслись на Алексея стоны, рев, мольбы и проклятия.

Алексей вскочил с колен, обеими руками ухватился за крест.

— Свободить! Тотчас же свободить холопа того!

## ГЛАВА XVII

Босой, узнав о приезде Новгородского митрополита, смутился. Упрямый и властолюбивый Никон, не останавливавшийся ни перед чем, чтобы добиться задуманного, был единственным среди ближних царя, с которым нужно было держать ухо востро.

И доподлинно, Никон не шутил. Он крепко обдумал, к чьей стороне примкнуть: к ревнителям ли старины или к Никите Ивановичу Романову, Ордын-Нащокину, Ртищеву и другим поборникам новшеств, и решил, что силы — на стороне преобразователей.

Больше всего Ваську страшило, что Никон может добиться патриаршего стола. Он не сомневался в том, что все будет тогда кончено. Строптивый «мордовский сын» не допустит, чтобы кто-либо делил с ним власть и влияние на царя.

Прозорливец старался быть почаще подле Алексея, вмешивался в каждую мелочь, пугал Алексея, по ночам рассказывал о злых кознях Никона и сношениях его с иноземцами. Государь давал обетование порвать с митрополитом, клялся в любви своей к Ваське, но продолжал действовать так, как хотели того ближние бояре и Никон.

В утро, когда митрополит явился к царю, Босой ушел из Кремля. Царь встретил Никона у двери соборной палаты и, дружелюбно улыбаясь, подошел под благословение.

— Не тебе от меня благословением благословляться, но мне вместно молить заступничества твоего перед Господом, — льстиво поклонился митрополит, но все же возложил руки на голову государя.

Ближние выстроились вдоль стены, у брусяного взруба. Усевшись в дубовое кресло, украшенное двуглавым орлом, царь милостиво указал ближним на лавку.

Никон любопытно огляделся и, отставив палец, пересчитал окна в нижней части стены.

— Яко двенадцат колен Израилевых, и двенадцат окон в соборной твоей, государь, — одобряюще покачал он головой и перекрестился.

Алексей удивленно оттопырил губы.

— А мне и невдомек сие.

— Сии же верху стены три окна, — продолжал Никон наставнически, — суть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый.

Лица ближних засветились восхищением перед мудрым толкованием митрополита.

— Доподлинно, мудр ты, и во всякой вещи знаешь доброе толкование, — похвалил государь.

Нащокин, пользуясь случаем, приподнялся с лавки.

— Мудр и праведен митрополит и несть мужа на Руси, кой блюл бы так ревниво благодать Христову, как он.

Густые брови Никона встревоженно насупились.

— Превыше и умственнее меня Иосиф, патриарх московский.

Никита Иванович фыркнул в кулак.

— Превыше главою, а разум, сдается, давно в вине утопил.  
Алексей погрозился дядьке.

— Грех над володыками насмехаться, Никитушка!

Князь, подражая старикам, зашамкал с ужимками:

— Стар я... Токмо закину ноженьку на стол патриарший, а остатняя ноженька в могилу тянет. — И, неожиданно резко поднявшись, ткнул рукой в сторону Никона:

— Вот тебе, государь и племянник мой, истинный патриарх!

Голоса крепи, речи смелели, переходили в горячие споры. Только князь Львов угрюмо молчал и безостановочно барабанил пальцами по переплету окна. Но под конец он не выдержал:

— Покажи милость, царь, отпусти от себя.

— Аль не по мысли тебе беседы наши? — скривил губы царь.

Львов с нескрываемой ненавистью оглядел с головы до ног митрополита.

— А ведомо ли тебе, владыко, что, не учась премудростям латинским и греческим, Зосима и Савватий, по местному чину, угодили Богу и совершили многая преславная чудеса?... А и митрополиты Петр, Иона и Филипп, опричь часослова, псалтиря, октоиха да апостола ничего не читавшие, такожде преславно угодили Господу.

Он забылся и, несмотря на присутствие государя, противно чину, многозначительно поднял руку. Его глаза, точно два серых мышонка, рассерженно бегали из стороны в сторону, как бы норовя выпрыгнуть из раскосых и узеньких своих норок.

— Уши попридержи, — прервал его Никита Иванович, — ишь, с кожей на челе, словно бы в лихоманке, трясутся.

Царь не выдержал и расхохотался.

— Не внемли ему, Симеон! Уж такой он уродился потешный. Сказывай, не серчай!

— Нечего сказывать, — буркнул князь и отошел, сопя, к двери.

— А нечего, митрополита послушаем, — повернулся Алексей к Никону.

— Короток сказ мой, царь-государь, — ответил Никон. — Не гнушался бы Симеон Петрович мудрых советников-книг, ведал бы, что давно зреет нужда великая вернуться Руси к тому целительному источнику, откель обрела она веру Христову. Ибо великие потребности



церковные лежат в обрядах. А наши учителя, по темноте своей, те обряды по-своему повели да тем изрядное допустили искажение в книгах. — Он перекрестился с глубокою верою и твердым, не допускающим возражения голосом, прогудел: — Настал час, в кой повелевает Господь исправить веру, к обрядам чистым и непорочным греческим повернув ее сизнов.

— Чуешь, Симеон? — спросил Алексей.

Львов взялся за ручку двери.

— Освободи, государь!... Не можно мне по роду-отечеству, с мордовскими людишками на одной лавке сидючи, беседу беседовать. Привычны бо мы от дедов наших не глаголом, но батогами внушать смердам, что добро, а что есть лихо.

Алексей освирепел.,

— Прочь!... С очей наших прочь!

\* \* \*

Янина стала реже бывать в Кремле, так как благоволившая к ней вначале царевна заметно изменила свои отношения к худшему. Но полонянка не особенно кручинилась. С тех пор, как Корепин, по челобитной постельничего, был отдан ей в холопы, она отдалась новому, захватившему ее целиком, делу: сам польский посол через близких своих одобрил затеи Янины и посулил выдать ей большую награду, если она сумеет связаться с смутьянами и с разбойными российскими ватагами, чтобы должным образом влиять на них.

Тадеуш, почуяв в Савинке соперника, возненавидел его с первого дня и старался ни на минуту не оставлять его наедине с Яниной. Она пригрозила было выслать дворецкого в Арзамасское имение господаря, но Тадеуш только нагло расхохотался в ответ и больно шлепнул ее по спине — нарочито громко, чтоб слышно было в сенях, объявил:

— Я в Арзамас, а ты на дыбу, красавица, коль не любо тебе в языках у короля нашего хаживать!

— Примолкни! — зажала ему рукой рот Янина. — Ополоумел? — и обиженно отошла к оконцу: — Я от чистой души к нему, а он сразу же и браниться!

— А от чистой души, и мы не из свиней русских. Добро ведаем, как с панночками держать молвь достойную, — расшаркался Тадеуш.

Поняв, что Янина испугалась его угроз, он с каждым днем стал распускаться все более и более. Он издевался над полькой, вымогал у нее деньги и золото, заставлял по ночам приходить к нему в чулан и дошел до того, что по малейшему поводу избивал ее чуть ли не на глазах у челяди.

Все драгоценности Тадеуш сносил в Басманную слободу к своей возлюбленной. Он сам рассказывал об этом полонянке и хвастал, что скоро надежные люди помогут ему уйти за рубеж.

Это вначале обрадовало Янину — она даже предложила ему помощь.

— Погодишь, не таково просто от нас избавиться, — ответил Тадеуш, ехидно ухмыляясь, и Янина поняла, что дворецкий никогда не уедет, а будет до последней возможности держать ее в своих руках.

Однажды ночью, пользуясь отсутствием Федора, она сама пришла к Тадеушу.

— Отдыхаешь?

— А ты допреж того, как войти, на колени бы стала да лбом бы об дверь стукнулась.

— Пожелаешь, не токмо стукнусь, расшибусь... Токмо об едином кручина моя...

— Чего еще, токмо?

— Токмо не выдай меня, — шепнула Янина и, захлебываясь, упала к нему на грудь: — Покажи милость, пожалуй в господареву опочивальню. Не гоже тебе, соколу ясному, в каморе лежать!

Удивленный Тадеуш недоверчиво отстранился.

— Уж не козни ли замышляешь?

Она воздела к небесам руки.

Выслушав поток обетовании, произнесенных на чисто польском языке, дворецкий сдался. В опочивальне они уселись за круглым столиком подле окна.

— Аи попотчую я коханого своего! — похвалилась Янина, доставая из короба бутылку заморского вина.

Тадеуш выхватил из ее рук бутылку и подозрительно оглядел сургуч. Убедившись, что все в порядке, он сам откупорил бутылку.

— На добро здоровье, пан Тадеуш! — поклонилась Янина и первая пригубила чарку.

Когда дворецкий поднес ко рту кубок, она обвила рукой вокруг его шеи и жарко поцеловала в щеку.

— Покажи милость, дай испить из кубка твоего, хоть единый глоточек.

Тадеуш опорожнил почти весь кубок и милостиво передал его полонянке.

Янина поднесла ему свою чарку.

— Гоже ли вино?

— Гоже.

— Так и пей на добро здоровье.

Он выпил чарку и поднялся.

— Нешто полежать маненько?

— Твоя воля, пан, — смиренно вымолвила Янина и растегнула кофточку.

Тадеуш сделал шаг к постели и вдруг схватился рукою за грудь.

— Эко хмельное вино!

— А ты полежи... полежи, пан мой ласковый, — просительно говорила Янина и лицо ее перекопилось в звериной усмешке. — Показал бы милость, хоть на малый час полюбил бы меня!

Страшная догадка помутила рассудок Тадеуша.

— Ты пошто смеешься так?... Пошто глазеешь так на меня? Или зельем меня опоила?

От каменеющих его ног к животу и груди тяжело полз смертельный холод... Жуткая усмешка, полная издевки, не сходила с лица полонянки.

— Полюби меня хоть на малый час допреж того, как отправишься в приказ да об Янинке обскажешь дьякам!

Тадеуш замахнулся бутылкой, но тут же немеющие пальцы выронили ее.

— Змея! Зм...мея под...кол...одная!

— Жалуй!... Жалуй же, пан мой коханный! — хохотала Янина. — Не то, как поволокут тебя в преисподнюю, не поспеешь!

Дворецкий сделал последнее усилие, чтобы устоять на ногах, и замертво рухнул на постель.

— Добрый путь, пан, — склонилась над ним женщина.

Убедившись, что дворецкий мертв, она спокойно убрала со стола чарки, вытерла ковриком пролитое на пол вино, выволокла труп в сени и побежала в каморку, отведенную для Корепина.

Савинка сладко похрапывал, разметавшись на войлоке, Матовые лучи полумесяца чуть серебрили его голову, ложились на запрокинутое лицо призрачной, тающей кисеи.

Янина провела рукой по груди холопа.

— Боязно мне... Чуешь, Савинка?

Корепин полуоткрыл губы и радостно улыбнулся.

— Ты не бойся, Танюша... Иди, да иди же ко мне, не бойся...

Услышав незнакомое имя, полонянка злобно ткнула Савинку кулаком.

— Восстань!... Токмо бы дрыхнуть им, псам.

Савинка открыл глаза и, увидев перед собой польку, вскочил.

— Аль утро пришло?

— Кое там утро, — заломила руки полонянка, — лихо пришло, а не утро! Дворецкий без живота в сенях лежит.

Она выбежала на двор и громким криком подняла на ноги всю усадьбу.

Приведенные по ее приказу поп и ведун весь остаток ночи тщетно читали над покойником молитвы и заклинания. Янина была вне себя. Она сама окропила Тадеуша святой водой, причитала над ним и умоляла людей спасти «верного господарева хлупа». Однако никакие заговоры не помогли. Ведуну и священнику пришлось покориться судьбе. Сунув за пазуху серебро, полученное за труды, они простились с Яниной и, уходя, смиренно утешили ее.

— Что Богом положено, того не одюжить людишкам.

Полонянка два дня держала строгий пост и никого не пускала к себе, кроме Федора и нового дворецкого — Савинки.

— Добрый холоп был, пуще живота любил тебя, господарь, — неутешно причитала Янина. — А и словно чуяла я беду. Среди ночи пробудилась. Выхожу, ан грех какой... лежит... лежжит!

На третий день Тадеуша похоронили, справили по нем богатые поминки, и жизнь в усадьбе Ртищева потекла своим чередом.

Как— то в праздник к Федору пришел в гости коломенский епископ Павел.

— Слыхивал я, женка, будто ты, православную веру приняв, твердо блюдешь уставы древние, — обратился он к Янине, благословив ее.

Ртищев трусливо выглянул в дверь.

— Страха мирского страшишься, — пожурил его Павел и печально покачал головой. — В стране христианской про Христа не можно стало сказывать без опаски... Вре-ме-на!

Ртищев развел руками и устался на образа.

— Измаялся я в думках, владыко. Покель Никона слышу, сдается, будто у Никона истина. А с ревнителями древлего благочестия побеседую, и будто истина истинная — у них.

Чтобы избежать пугавшего его разговора, он вдруг засуетился.

— Батюшка! Да мне срок к государю идти!

И поклонился в пояс епископу.

— Не взыщи, владыко, Нинушка тут тебя попотчует, а я пойду.

В трапезной прислуживал Корепин. Павел заметил, с каким усердием слушает его речи холоп, и торжественно изрек:

— А и апостолы были не горазды в граматичном учении, но познали Христа и с великою славою посеяли на земле всехвальное учение его. Дерзай же, чадо мое, борись за древнее благочестие, и будешь ты мужем, достойным вышних селений Господних!

Савинка отвесил земной поклон и поцеловал край епископской рясы. Перед расставаньем епископ взял обет с него и с Янины бороться с Никоном, погубившим веру Христову и, благословив их, ушел, довольный собой.

Весь остаток дня полонянка провела с Корепиным в угловом терему. Савинку поразила начитанность польки и знакомство ее с жизнью «еуропейцев». Он забрасывал ее бесконечными вопросами и на все получал обстоятельные и точные ответы. Однако, когда полонянка предложила ему учиться по-латыни, «чтобы свободиться от свиного российского духу и быть подобным „еуропейцу“, Корепин, задетый за живое, поднялся с лавки и шагнул к двери.

— Российские людишки хоть и темны, да дух человеческий имут, а не свиной! То от лютой жизни стали на себя непохожи людишки!

Янина восхищенно притянула к себе дворецкого.

— Да нешто в хулу я?... Тем и любы мне молодцы, кои не покоряются, но противоборствуют, как ты в соборе противоборствовал, обидам да господаревым кривдам.

Она сдавила руками виски и понурилась.

— И сама-то я, ох, нахлебалась кручинушки!

Разжалобившийся Савинка дружелюбно обнял ее. Янина тесно прижалась к нему и смолкла.

Приближался вечер. По небу бродили стада свинцовых туч. Терем тонул в мягком, чуть колеблющемся, полусумраке. В пазах бревенчатых стен потрескивали, точно баюкая притомившийся день, невидимые сверчки. Из щелки подполья подозрительно высунулся мышонок, поглядел на мигающий глазок лампы, скользнул неслышно к красному углу и растаял в палевых складках густеющей тени.

Полонянка вложила свою руку в руку дворецкого и замурлыкала какую-то песенку. «Токмо бы приворожить тебя, молодец, — думала она в то же время, — токмо бы отведал ты ласки моей». Ее воображение разыгрывалось и рисовало заманчивые картины будущего. Перед затуманенным взором вставали объятые огнем восстаний российские города, заброшенные нивы и пастбища, трупы, заполонившие дороги, бегущие в страхе перед гордою шляхетскою ратью царевы полки и впереди рати — король, на белом коне скачущий в Кремль. Увлекаясь, она трепетно тянулась навстречу видению. «То я, круль Казимир! То я уготовала тебе дорогу к столу Московскому. Я!...»

## ГЛАВА XVIII

Добившись патриаршего стола, Никон еще ревностней принялся за исправление церковных книг.

Низшее духовенство, смотревшее вначале сквозь пальцы на затеи патриарха, встретившись лицом к лицу с новшествами, подняло бурю негодования. И в самом деле — большинству священников, не знавших грамоты и научившихся службе по слуху, было над чем негодовать, так как после исправления книг им пришлось бы либо переучиваться вновь, либо расстричься.

Первыми дали знать о себе монахи Соловецкого монастыря, отправившие на Москву послов для объяснения с Никоном.

Патриарх продержал послов на своем дворе три дня, не допуская их к себе и запретив келарю выдавать им прокорм. Возмущенные монахи решили идти с челобитной к царю. Но, едва они собрались покинуть подворье, их окружили вооруженные послушники и, загнав в амбар, жестоко избили.

На четвертый день Никон сжалился над послами и приказал вывести их на двор.

— Печалуетесь, отцы-иеромонахи? — спросил он насмешливо и замахнулся вдруг посохом:— На колени, еретики!

Послы, не сдерживая гнева, вплотную обступили крыльцо.

— Не в унижение, а в честь доселе нам было кланяться московскому патриарху. Токмо и патриархи встречали нас допреж не дрекольем, а благословением да хлеб-солью!

Никон поманил к себе стражу и спокойным голосом объявил послам:

— Либо на колени, либо под батоги. Не повелеваю, но даю вам вольную волю самим решить.

Поняв, что иного исхода нет, выборные, скрепя сердце, опустились на колени.

— Печалуйтесь, покель досуг мне слушати вас, — молвил Никон.

Монахи о чем-то зашептались между собой.

— Не краше ли и не починать? — уже громче, так, чтобы дошло до Никона, произнес один из послов.

— А пришли, так выкладывай, брат Иннокентий, — ответил другой. — Не по своему делу прибыли на Москву, а ради для всей церкви страждущей.

Патриарх нетерпеливо передернул плечами.

— Либо печалуйтесь, а либо — вон!

Иннокентий вздохнул, провел двумя пальцами снизу вверх по ястребиному своему носу и, нехотя перекрестившись, поднялся с колен.

— Стар я и немощен. Не взыщи. Не можно мне на коленях стояти.

— Добро! Сказывай, стоячи, — разрешил патриарх.

— А сказ невелик наш тебе, святейший... Токмо внемли, не злобствуя, но с усердием, патриарха достойным.

Никон прищурился и сложил руки на животе.

— То ли с челобитного ко мне вы пожаловали, то ли поущать меня вздумали!

Иннокентий выпрямил сутулую спину и ударил себя в грудь кулаком.

— А будет воля Господня, и от поущения не отречемся! — крикнул он дерзко в лицо патриарху. — А покель внемли!... А которые мы священники и диаконы маломочны и грамоте не навичены, то новым книгам нам колико не учитца, а не навикнуть.

Патриарх желчно усмехнулся.

— То-то вы и привержены к старине, что червю слепому свет Божий пуще лютые огни!... Не сдается ли вам, отцы соловецкие, что у сего иеромонаха смиренного замест главы — колпак скомороший на ослиное копыто посажен?

Взбешенные издевательствами, монахи вскочили с колен.

— Будет! Не дано тебе над духовными мужами смеяться. Самому царю челом ударим на богохульника!

— Гоните их в шею! — крикнул Никон и, сбросив с крыльца Иннокентия, скрылся в покоях.

Прямо с патриаршего подворья послы отправились к епископу Павлу Коломенскому.

По изможденным лицам гостей и потрепанному их виду Павел понял, какой прием оказал им Никон. Выслушав монахов, он наскоро покормил их и приказал собираться к царю.

Послы растерянно переглянулись.

— Возможно ль в рясах, изодранных послушниками патриаршими, перед царевы очи предстать?

— Возможно! — злобно ответил Павел. — Пуцай поглазеет государь православный, како встречают на Москве учителей и наставников христианских.

Алексей был в Думе, когда ему доложили о приходе монахов. Робко оглянувшись на Никиту Ивановича и Морозова, он встал с кресла и перекрестился.

— И все-то не так, как ищет сердце наше! Все-то смута и свара серед людишек наших.

Никита Иванович кивнул стоявшему у двери дьяку:

— Веди их!



Запрокинув величественно голову и чванно поджав губы, Павел первым вошел в Думу. За ним, на четвереньках, усердно колотясь лбами о проплеванный пол, вползли монахи.

Ордын— Нащокин преградил дорогу епископу.

— Иль не гнется спина, что дерзаешь не поклониться государю всея Руси?

Послы испуганно насторожились, готовые при первом окрике царевых советников броситься наутек. Но Павел, оттолкнув Нащокина, подошел вплотную к царю.

— По твоему ли соизволению, государь, стали ныне промеж тобою и епископами православными человеки мирские?

Алексей покраснел и потупился.

— Любы нам все наши сиротины, — расплывчато ответил он.

— Все ли? — ткнул епископ посохом в сторону Ртищева. — А либо токмо те богомерзостные, кои навычены еллинским книгам да прочей ереси?... Все ли, а либо любезней сердцу твоему вороны, гнездящиеся при Андреевском монастыре?

Федор попытался вступить в пререкания, но, встретившись со взглядом епископа, растерялся и махнул безнадежно рукой.

Медленно раскачиваясь у окна, князь Никита вполголоса напевал иноземную песенку.

Царь предложил Павлу присесть.

Епископ несколько успокоился и уж тише продолжал:

— Ведомо ли тебе, государь, что верующий ежечас подвержен поддаться диаволу и впасть в богомерзкую ересь? Иль негоже стали глаголы премудрые ныне: люби простоту паче мудрости, не изыскауй того, что выше тебя, а какое дано тебе от Бога учение, то и держи.

Алексей неопределенно покачал головой и поочередно поглядел и на епископа, и на сторонников новшества, и на поборников старины.

Полдня ушло на страстные споры о Никоне, о его преобразовательских деяниях. Наконец, Павел, охрипший от крика, покинул Думу, так ни до чего и не договорившись с царем.

На улице епископа встретила толпа единомышленников.

— Зрите, христиане, како творят ныне с монахи на патриаршем дворе! — завопил Иннокентий, потрясая лапами изорванной рясы. — Три дни морили нас голодом еретики! Три дни потчевали нас батошьем и кнутьем!

Павла окружили ученики Андреевского монастыря — Голосов, Засецкий и Алябьев.

— Очисти, владыко, от ереси книжной! — заломили они в отчаянии руки. — Избави нас от злых козней Ртищева и Нащокина.

Епископ тотчас же приступил к очистительной молитве. Толпа благоговейно опустилась на колени.

Получив отпуск, ученики Андреевского монастыря поклонились в пояс Павлу и возбужденно обратились к толпе:

— Ныне нас очистил владыко, а кто порукой тому, что завтра нас да иных христиан сызнов не погонят поганиться ересями? А не быть на Москве гнезду вельзевулову? Огнем спалить тое гнездо!

— Огнем спалить! — подхватила угрожающе улица.

— Да и пепел развеять!

Неведь откуда в руках людей появилось дреколье, ножи и камни. Толпа, предводительствуемая монахами, хлынула в сторону Андреевского монастыря.

В Кремль, нещадно нахлестывая нагайкой взмыленного коня, мчался окольный.

— Бунт! — молнией пролетело по всем уголкам Москвы и поразило громовым раскатом палаты царя.

Алексей, выслушав окольного, бессильно повалился на лавку.

— Вот тебе и философия на европейский лад! Вот тебе и исправление богослужебных книг!

Рокот толпы долетел и до усадьбы постельничего. Савинка, узнав, в чем дело, бросился было на улицу, но у самого крыльца его остановила Янина.

— Куда?

— Аль оглохла, не чуешь разве, как загомонили людишки?

— Не ходи! Не срок тебе дьяков дразнить!... И то гневается царь на нашего господаря, — умоляюще заговорила Янина и, неожиданно загоревшись злобой, погрозила в пространство:— Будет час, сама я впереди черных людишек пойду великою ратью противу царевых воров!

Где— то ухнул пищальный залп.

Корепин распахнул дверь и вырвался из рук вцепившейся в него польки.

— Пусти!

— Ан не пущу! — властно крикнула Янина. — Не пущу зря помирать! То не на радости, а на кручины черным людишкам.

Она догнала его у ворот и загородила дорогу.

— А меня не слушаешь, послушайся Танина гласу!

Савинка недоуменно остановился.

— Нешто ты про Таню ведаешь?

— Коли сказываю, выходит, ведаю. А уйдешь — не зреть тебе боле ни воли, ни девки!

Пользуясь замешательством Корепина, она увела его в хоромы. Савинка сел на лавку и закрыл руками лицо.

— Серчаешь? — тихо, упавшим голосом, спросила полонянка.

— Уйди! — неприязненно передернулся Корепин. — Не серчаю, а, иначе, уйди.

Но полька не послушалась, присела рядом с ним. Она долго с горячностью доказывала Савинке, что не должен он рисковать понапрасну и под конец таинственным шёпотом рассказала ему о людях, которые исподволь готовят восстание во всей стране.

— Кто сии люди? — сразу загорелся Корепин.

— Пообживемся с тобой, все обскажу. Тайну сию не можно мне, не спросясь у атамана нашего, ни единому человеку открыть.

Она помолчала и так поглядела на дворецкого, будто хотела проникнуть в самые сокровенные его помыслы.

— Даешь ли обетование верой и правдой служить людишкам страждущим?

Корепин вскочил с лавки и клятвенно поднял руку.

— Пущай душа моя отойдет в геенну огненную, коли помыслю токмо Иуде сподобиться!

— А коли так, — улыбнулась Янина, — для начала испытанье тебе. Держи!

Достав из-под кофточки запечатанную сургучом цидулу, она сунула ее за пазуху ему и принялась подробно объяснять, куда нужно отнести бумагу.

— Гоже ли? — усомнился Савинка. — Как я перед людьми тому ляху цидулу отдам?... А ненароком ошибка выйдет, да языка замест своего приму человека?

Янина снова во всех подробностях описала ему внешность поляка и перекрестила его на дорогу.

— Да благословит тебя Бог на правое дело. А повыгонит царь послов Хмельницкого из Москвы, как погнал Вешняка, в те поры все и почнется. Поднимется в те поры казачество, соединится с холопями нашими и великою ратью пойдет на царевых воров.

Дворецкий невольно залюбовался Яниной. «Прямо тебе ни дать, ни взять мать Божья, что на фряжских лубках», — подумал он умиленно и чуть коснулся ее руки.

— Ну, я пойду.

— Иди, мой коханий, — ласково ответила Янина и, точно покорившись горькой судьбе, прибавила:— А оттель к Тане зайди... Поди, истомилась без тебя, горемычная. Колико время на воле ты, а по блажи господаря ни единой со двора не хаживал никуда.

В воротах Корепин встретился со стариком богомольцем, частым гостем Янины, и почтительно поклонился старцу.

— Не к нам ли ковыляешь, человек Божий?

— К вам, чадушко, к вам, — едва внятно просипел богомолец и зябко натянул на уши ворот тулупа. — На дворе благорастворение воздухов, а мне все студено, голубок... Видно, время в могиле погреться.

Янина, увидев гостя через окно, выбежала ему навстречу. Старец остановился посередине двора и, широко расставив руки, зашатался из стороны в сторону. К нему на помощь подскочил холоп.

— Аль ноженьки не носят, молитвенничек?

— Стар я стал, немощен. Ростом да видимостью дуб ядреный, а в нутро поглазеть — опричь дупла да плесени, ни чего не засталось.

С огромным трудом он подошел к крыльцу и низко поклонился Янине.

— Спаси Боже рабу Божию, Нину!

— Гряди с миром, старче, в нашу обитель.

В каморке, примыкавшей к опочивальне Федора, гость, покряхтывая и творя молитву, уселся на лавку.

Янина выглянула в дверь. Холоп, проводивший богомольца до порога опочивальни, вытянулся перед полонянкой.

— Мне идти, а либо занадоблюсь?

Полька звонко ударила его по лицу.

— Колико раз я наказывала не поганить духом смердящим хором! Коли занадобится, неужто не кликну!

Старец покачал головой и хихикнул. «А и лукава, блудная тварь! Ей бы не во образе по земле шествовать, а змием на брюхе ползать».

Обойдя хоромы и убедившись, что никого нет, Янина закрыла на засов входную дверь и вернулась в каморку.

— Сбрось ты, Василий, тулуп свой да в сени снеси. Вся каморка смердит.

Старец зажал ей ладонью рот.

— Ополоумела? Старцем величай, а имени не реки. Не ровен час, учует кто.

Полька уверенно тряхнула кудрями.

— Опречь нас да мышей во всех хороминах духа нету живого.

\* \* \*

Корепин встретился с поляком в тайной корчме, и, обменявшись с ним цидулами, тотчас же ушел.

По дороге к Тане он встретил Григория, ковылявшего в церковь.

— А девка-то вся вышла, — собрал гончар желтые губы в сочувственную улыбку. — На деревню, милок, подалась, подкормиться маненько.

На пригорке показалась приземистая фигура приходского священника. Заметив его со звонницы, пономарь ударил во все колокола, и Григорий, сняв шапку, набожно перекрестившись, пошел своей дорогой.

Корепин неохотно поплелся домой. У ворот господарской усадьбы холопы предупредили его, что Янина заперла входную дверь и не велела никому подходить близко к хоромам. Савинка обошел усадьбу и, выбрав местечко поудобней, прилег на траву отдохнуть.

Время шло, а старец, очевидно, не собирался уходить из усадьбы. «И об чем толковать без краю с человечешком древним?» — недовольно думал дворецкий, ежась от предвечерней прохлады. Он подождал еще немного и решил пробраться в свою каморку. Чтобы не тревожить Янину, он отволочил оконце в чулане и неслышно пробрался в сени. Из опочивальни слышался сдержанный голос полонянки. Савинка невольно остановился и прислушался.

— А посол нашего короля сулит пожаловать тебя тремя тыщами золотых да крестом изумрудным, ежели ты подобьешь царя выгнать вон из Москвы послов гетманских — Кондратия Бырляя и Мужиловского Силуана.

«Эко, глаголы какие со богомольцем», — удивился Корепин и подкрался к двери каморки. Старец, должно быть, в сильном возбуждении, тяжело шагал по каморке.

— Выгони, попытайся, коли нынче вся сила у Никона... Нешто слыхано, чтобы я, первый советник царев, не хаживал боле без дозволения к государю? Да об чем толковать!... Всюду языки за мной шествуют. К Федору не можно стало хаживать в своем образе.

Савинка припал ухом к щели.

Шаги стихли. Старец зевнул и, должно быть, уселся — в каморке скрипнула лавка.

— А кичатся послы Хмельницкого тем,-донесся до слуха Савинки его хриплый голос, — что-де, после того, как казаки разбили ваших ляхов на Буге у Батоги<sup>[34]</sup>, сам турецкий султан и хан крымский кличут казачество себе в подданство да сулят за то богатые выгоды и милости.

Голос падал, переходил в невнятный шелест... Затем, после томительно-долгого молчания, Савинка услышал наконец голос Янины.

— А коли лихо учуем, уйдем за рубеж. Токмо бы допреж того добиться, чтобы воров гетмановых из Москвы вон погнали.

Богомолец присвистнул.

— Погнать-то, авось, и погонят, да еще недостаточно сего, чтобы Сигизмунду на стол сести Московский.

У Корепина помутилось в глазах: «Что же сие, Господи Боже! Да то ж не печальники холопы, а языки польского короля!» — Он торопливо отполз к оконцу и, выпрыгнув на двор, притаился в кустарнике.

Вскоре Василий ушел из усадьбы. Болезненно перебирая ногами, часто останавливаясь, чтобы перевести дух, он направился к роще. Савинка неотступно шагал за ним. У рощи старец остановился, пристально, огляделся по сторонам, и, не заметив припавшего к земле Корепина, бодрой походкой здорового молодого человека пошел к сосняку

Дворецкий полз за ним на животе.

— Да тож Васька Босой! — всплеснул он руками, когда старец снял накладную бороду и копну седых волос с головы.

Не раздумывая, гонимый чувством негодования, Корепин прямым путем отправился в Тайный Приказ.

## ГЛАВА XIX

Федор изогнулся, до отказа запрокинул подрагивающую голову и с таким ужасом уставился на рот дьяка, точно исходили оттуда не человеческие слова, а падали всесокрушающие огненные колесницы всех семи Божьих небес

— ...А Бырля Кондратия и Мужиловского Силуана немедля вон. Поелику же невозможно сие через Веди Буки...

Дьяк причмокнул с наслаждением и мягко, как кот на полузадушенную мышь, поглядел на Ртищева.

— Веди-то Василий выходит, а Буки — Босой... Еще толмач с ляцкого цидулу не перекладывал, а и ляха изловленного не разыскивали<sup>[35]</sup>, а я слухом учуял: Веди не инако-де, как Васька прозорливец.

И снова уткнулся в бумагу.

— Поелику же невозможно сие через Веди Буки учинить, обворожи поумелей господаря своего. Однако не сейчас, а переходя, под остатнее время сохранив сие по той пригоде, что умишком трухляв он и дело загубить может...

В цидуле подробно указывалось, что должна предпринять Янина для разрыва Москвы с Украиной и под конец торжественно подтверждалось, что в случае успеха полонная женка будет вывезена в Польшу, в пожалованное ей королем поместье.

— Так-то, Федор Михайлович, — игриво прищелкнул языком дьяк. — А ты еще ухмылку на лице держал, когда я впервой о богомерзостях сих обсказывал.

Постельничий бессмысленно огляделся, подался к двери, но тотчас же вернулся назад.

— Скажи! — заломил он руки, совсем, казалось, готовый упасть на колени перед дьяком. — Христа для, пропятого, скажи...

— Все. Ни вот столько не утаил от тебя. Ведаю, что сказываю не с худородною шельмою, а по делу богопротивному с

царевым постельничим совет держу.

— Выходит, все тобою реченное — истина? — с тоской в голосе спросил Федор. — Да сказывай, не щерь рыла ехидной бесовской.

Его охватил звериный гнев. Он подпрыгнул и повис на плече дьяка:

— Мир не видывал еще казни, коей тебя буду казнить, ежели общется, что облыжно возвел ты на женку полонную!... Сам перстами своими удуш, а прознаю, за истину ты ратоборствуешь или выслуги ищешь перед государем.

Дьяк легким движением стряхнул с себя тщедушное тело постельничего и повернулся к образу.

— Прости духом смущенного раба твоего, дерзнувшего черное дело противу царя всея Руси потварью обозвать.

Гнев Ртищева рассеялся так же неожиданно, как и возник, уступив место смутному чувству страха.

— Не потварь... Не так уразумел ты меня. А и о том поразмыслил бы, каково душе моей? Ведь тут не токмо грех непощеный перед государем, тут честь моя... В моих ведь хороминах то черное дело родилось!

Он опустил голову на руки. Смешно и жалко задвигались еще больше сузившиеся плечики. Дьяк приоткрыл дверь, что-то шепнул стрельцу и окликнул постельничего:

— Сейчас изловленного ляха приволокут. Разыскивать буду...

— Я буду... Я разыскивать буду! — объявил Федор и, когда ввели скованного по рукам и по вые поляка, визгливо крикнул:— Чинить застенки! Калить гвозди железные, дыбу готовить.

Дьяк жестом пригласил Ртищева за собою. В застенке уже возился у огня кат, раскаливающий прутья, щипцы и иглы.

— Что носом водишь? — повернулся дьяк к замершему у входа колоднику. — Аль говядиной жареной отдает?

Пинком под спину он отбросил поляка к дыбе. Ртищев воздел к небу руки:

— Сподоби мя. Господи Боже сил, со славою послужити царю моему.

И выхватил из огня добела раскаленный железный прут.



Корепин вернулся домой на рассвете, когда усадьба еще спала. Обменявшись приветствиями со сторожами и узнав, что господарь еще не приезжал, он прошел в свою каморку, не раздеваясь, прилег на охапку сена. Однако, несмотря на все старания, ему не удавалось заснуть. Перед глазами неотступно стоял образ допрашивавшего его дьяка и вызывал тревогу, недобрые предчувствия.

Где— то близко слышались чьи-то крадущиеся шаги. Дворецкий, приподняв голову, уставился в заволоченное оконце «Бежать,-родилось в мозгу и заставило вскочить на ноги. — Бежать, покель вдругойцы не попал к дьяку на расспрос».

В чуть приоткрытую дверь просунулась голова Янины. Савинка сразу притих и, почувствовав острую неловкость, по-детски, виновато потупился.

Полонная женка по-своему поняла его

— Уж и не чаяла я узреть тебя, — прошептала она, входя в каморку. — То ли вольно тебе с душою бабьею, словно с тварью бессловесною тешиться?

Корепин еще больше смутился. В словах полонянки ему почудился намек. Он искоса взглянул на женщину и вытащил из-за пазухи цидулу.

Янина словно неохотно приняла бумагу, спрятала у себя на груди и укоризненно вздохнула.

— Лукавишь ты, Савинка... Ведаешь, что не о цидуле ночку кручинилась, а об том тугой<sup>[36]</sup> изошла, что с Таней милуясь, меня не позабыл ли.

У дворецкого отлегло от сердца.

— А об том не тужи, — сказал он. — Быль молодцу не в укор. Где бы орел ни летывал, лишь бы ко гнезду, к орлице обернулся целехонек... Про Таню же сказ не велик: на деревню ушла.

Янина подозрительно подняла брови.

— На деревню? А ты же где ночь ночевал?

Сообразив, что сказал неладное, Савинка постарался выпутаться и перевести разговор на другое.

— С родителем ее, с Григорием-гончаром, про долю нашу все сказы держал. Покель то да се — и ночка приспела. А ночью, да при цидуле эдакой, сама разумеешь, какое тут странствие. Неровен час, на дозор набредешь... Вот и застался...

Прижавшись щекой к теплему, пахнущему иноземными благовониями плечу женщины, он сладко зевнул.

— Отдохнуть бы маненько.

Янина заботливо взбила сено, помогла Савинке улечься и, трижды перекрестив его, ушла.

У Корепина смежались глаза. Мысли работали спокойней. Пробудившееся было чувство раскаяния в содеянном сменялось вновь — как и в первую минуту, когда он понял, что связался не с «ратоборствующими за убогих черных людишек», а с польскими языками, замыслившими погубить землю родную, — сознанием правоты своего поступка. Даже образ ехидно шурящегося дьяка уже не пугал. «Не можно верить тому, что меня, российского человека, за добро железами отдарят», — подумал он и потянулся всем телом, уютнее ткнулся лицом в душистое сено.

Откуда — то издалека доносились неясные шумы. А может быть, и не шумы, а песенка дремы, такая же тихая и ласковая, как глаза Тани... И доподлинно, вон идет она, кивает. Улыбается мягкой своей улыбкой.

— Танюша. А, Таня... То я кличу тебя, Савинка...

Он сделал движение рукой, чтобы обнять склонившуюся над ним девушку, и заснул.

А шумы не утихали. У растворенных настежь ворот суежилась челядь, бегала вокруг топтана<sup>[37]</sup>, встречая господаря.

Широко перекрестившись, Федор Михайлович засеменял к фигурному крыльцу хоромин.

В сенях его встретила Янина:

— Дай Бог здравия хозяину доброму.

Она поклонилась в пояс и, не дождавшись обычного ответа, пристально взглянула на господаря. Заставив себя улыбнуться, Ртищев, покачиваясь, прошел в опочивальню. «Не инако, приневолили гнидушку мою хмельного испить, — подумала Янина, уходя к себе. — Авось, хоть с хмеля от челомканья свободит, от ласки своей плюгавой».

Федор Михайлович плотно прикрыл за собой дверь и без сил повалился на постель.

— Аминь. Край остатний! — вырвалось у него почти вслух и острой тоской отозвалось в груди.

Он знал, что никакая сила не может повернуть, остановить всего того, что так неожиданно содеялось в его доме. Да и сам он не мог представить, чтобы измена осталась неразысканной и неотомщенной. Так велось при родителях, при дедах и прадедах. И покроет ли он бесчестьем род свой, вступившись за воров, замышляющих противу помазанника Божия? Посмеет ли вступить в противоборство с Богом, заступником царя христианского?... Нет, нет!...

«Нет», — лязгал зубами Ртищев и с наслаждением чувствовал, что закипает в нем, такой нужный в эту минуту, гнев. И он нарочито распалял себя, вызывал в воображении картины, одну ужаснее другой: видел поверженного в прах перед ляцким королем государя и себя в изодранной хламиде перед боярами, и патриарха, предающего его со всеми родичами и потомками анафеме...

О, если бы не в его усадьбе и не через нее, Янину, сотворилось черное дело! Он показал бы всей Руси, как постельничий государев ведет расправу с крамолою и воровскими людьми. Но — она, Янина... его Янина замешана здесь!

Федор широко раскрыл рот, давась, с огромным усилием, глотнул спертый воздух опочивальни и, собрав все силы свои, бросился к двери.

Янина, слышав его шаги, гадливо передернулась. «Не миновать, лобызаться с ним, — подумала она и на всякий случай изобразила на лице приветливую улыбку. — Погоди уж, дай срок, в скоморохи и то не пожалую тебя, когда на Польше жить буду...»

Постояв у двери, Федор нерешительно отступил. Он не верил в себя, боялся, что не устоит перед Яниной и не сумеет выполнить порученное ему. Пуще же всего пугали ее слезы. Что, если теперь, как и раньше, он размякнет перед этой плачущей маленькой женщиной и вместо того, чтобы убедить ее выдать всех своих споручников, сам станет ее помощником и поможет ей бежать?... Он терялся все больше и больше. На мгновение в мозгу зажигалась страшная мысль: «А что, если уйти, навсегда? Не знать, не чувствовать, не видеть ничего больше. Затянуть кушачок вокруг горла...»

А время не ждало. После обеда надо было ехать с докладом в Кремль к государю. За то, что в своих хороминах он пестовал лютого врага и не догадывался об этом, на него возложено было бремя

прознать во что бы то ни стало всю подноготную заговора, обыскать все допряма и тем искупить невольное свое прегрешение.

И Федор решился. Отвесив земной поклон архангелу Михаилу, он откашлялся, одернул на себе кафтан и тяжелым шагом, подражая дьяку, пошел в каморку.

Янина с трудом стряхнула дремоту и расцвела в улыбке:

— Коханный мой!... Недобрый ты мой! Измаялась я всю-то долгую ноченьку, тебя сдожидаячись.

Ртищев отвратил взор, зашептал про себя молитву.

— Аль тяжело с похмелья? — приподнялась на локотке Янина и уже наставительно прибавила:— Неужто не можно откланяться, коли не приемлет душа зелья хмельного?... То-то вот не в меру ты мягок, всех ублажаешь.

— Доподлинно не в меру я мягок, — насупился Федор, — всех ублажаю: и друга, и вора.

Он сдвинул пальцами запрыгавший вдруг непослушно колючий свой подбородок и примолк.

Янина уселась на постели, поджав под себя ноги, и ткнула пальцем в ямочку на своей щеке:

— О сем месте хворью хвораю. Исцели...

Ртищев молчал, упорно творя про себя «да воскреснет». Наконец он решился, рванув на себе застежки кафтана, стремительно сунул за пазуху руку и вытащил скомканную бумагу.

— Чти!

Едва взглянув на цидулу, Янина возмущенно отшвырнула ее от себя.

— Потварь.

Ее глаза горели негодованием, как от непереносимой обиды, от тяжкого незаслуженного оскорбления, а ледяной озноб уже полз по спине, сковывая оконечности, и каждое мгновение грозил ужасом исказить лицо.

Постельничий, позабыв обо всем, зачарованно глядел на Янину. Он никогда еще не видел такой величественной красоты: перед ним стоял новый человек, единым взглядом способный заставить самое солнце преклониться ему.

Не раздумывая, одно только чувствуя — что Янина не виновата, охваченный страстным желанием оправдаться, Федор, захлебываясь,

прокричал:

— Всех приведу — и ляха Владислава, и женку ляцкую Леокадию, и Янека-толмача, и Ваську Босого... Пускай все ведают, что в моих хороминах...

И вдруг оборвался, перепуганный почерневшим лицом Янины.

— Так вот как, — пропустила она сквозь стиснутые зубы, — по первому же глаголу покаяться, заячьи души... Дыбы испугались российской...

Она кое— как овладела собой и прибавила:

— А коли все передали иуды, веди в тайный приказ. Не тебе над шляхетскою кровью, над панной польскою, надо мною, Яниною, издевою издеваться!

Высоко подняв голову, она встретила взглядом с постельничим и сразу поняла, что выдала себя. Уничтоженный вид Федора, его обалдевшие глаза, приоткрытый удивленный рот — объяснили ей все. В ней загорелась надежда. Она решила бороться. По углам губ зазмеились едва уловимые извивы улыбки.

— Эвона каково потешилась я над тобою!... А то за веру твою в потварь черную... Да пожалуй же улыбкою!

Но было уже поздно. Ртищеву стало ясно, что Янина сказала правду. Самому ему непонятное спокойствие охватило его.

— Садись, — указал он на лавку подле окна.

Янина послушно присела и через окно взглянула на двор. Вдоль высокого забора разгуливали какие-то незнакомые люди, одетые смердами. Однако по тяжелой их поступи и по тому, как держались они, без труда можно было признать в них стрельцов.

Ртищев присел на край постели.

— Все простил бы тебе, — начал он, — и за соперника, коли прознал бы, и казну ежели бы мою воровскою рукою повыкрала... Все бы простил! Но в хороминах царева постельничего измену порожденную — николи не прощу!

Он вздернул плечиками и, напыжившись, встал:

— Ни-ко-ли!

Понемногу он увлекся, начинал чувствовать себя, как на уроке с холопами. Но Янина не слушала его — уронив на грудь голову, она думала о своем. Темные тени на лице, отрывистое и тяжкое, как стон, дыхание, глубокие морщины на лбу — отражали невеселые эти думы.

Время близилось к полудню, когда постельничий вспомнил о главной цели своей и приступил к делу.

— А в чем же порука, что ежели я без утайки поведаю, меня помилуют да и за рубеж отпустят? — спросила Янина, выслушав его.

Федор показал рукой в сторону Кремля.

— В том порукой не я, не дьяки, не бояре, а слово государя Алексея Михайловича.

Выхода не было. Янина отлично понимала, что ее ожидает. Запирательство грозило жесточайшими пытками и позорною казнью, полное же признание могло принести облегчение участи, а может быть, при содействии Федора, и освобождение. «Бывало же так, — насильно старалась убедить себя она, — жаловали же волей покаявшихся»...

И она согласилась на предложение Федора.

\* \* \*

Вот уже третий день, как Янина одна правит усадьбой. Ртищев уехал по царевым делам к оружейникам в Тулу и оставил полонную женку полновластной хозяйкой.

В воскресенье, в обед, к Янине прибыли гости, ляхи и иноземцы из Немецкой слободы.

За столом прислуживал Савинка. Янина, в присутствии челяди, объявила, что с православною верою она приняла и обычаи православные, а потому потчевать будет гостей по-московски.

От трапезной до поварни вытянулся долгий холопий черед. Пошли из рук в руки тяжелые ведра, лохани и блюда. Задымились на резном столе куры во щах да в лапше с лимоном, папорок лебедин под шафранным взваром, утки с огурцами, гуси с пшеном сарацинским, петухи рассольные с имбирем, перепеча крупчатая, пироги с бараниною, кислые с сыром, рассольные, жареные и подовые, блины, караван... А травников, пива ягодного, медов — вишневого, можжевелого, смородинного, черемухового и малинового — да романей и мушкетеля столько выпито было, что челядь и счет потеряла жбанам, корцам и мушермам.

Хотя, наперекор древним обычаям, женщина столом заправляла, а не gospodarь, гости не кручинились и отменно соединили в себе обычаи Московии со своими, иноземными: потчевались до отвалу и наперебой воспевали достоинства радушной хозяйки.

Вино развязывало языки. Янина предусмотрительно выпроводила холопов и Савинку, а один из гостей вышел в сени и стал там на дозоре.

Тонкий, и бледный, как дымок угасающего кадила, поляк, с серовато-бледными кудрями и выцветшими глазами, пересел с хозяйкой в угол и передал ей пакет.

— Хоть ты и через меру меня торопила, но все сделано во всяком порядке, — ухмыльнулся он.

Янина, спрятав пакет, подошла к столу.

— Паны шляхтичи, — поклонилась она. — Вместно зараз у нас, серед самых верных людей, совет держать, кому Бырляя извести, часом не удастся сотворить сие Ваське Босому.

— К чему така ласка Бырляю? — спросил кто-то и расхохотался.

— А к тому, что на Украине наши люди пустят молву: «Эвон-де, как послов ваших примолвляют. Коли Бырляя смертию извели, то что уж с рядовым казачеством сотворят?»

Худой высокий поляк прибавил:

— А Мужилковского, как станет ведомо о кончине Бырляя, мы у себя сокроем, будто от напастей москальских. И о том ведомо станет зараз на Украине.

Теснее усевшись, заговорщики принялись за подробное обсуждение дела.

Вскоре пришел переряженный прозорливец.

Янина встретила его с радостью.

— Возвеселись! Не долог час, воссядет король наш на стол Московский.

Василий внимательно оглядел гостей и, признав их, развязно потрепал Янину по спине.

— Три тысячи злотых, добро... А не худо бы его королевскому величеству за то, что без утайки я обсказывал вам, паны шляхтичи, все про Польшу реченное в сокровенных беседах государя со ближние, еще пожаловать меня поместьишком в ляцкой земле.

— Твое за тобой останется, — обнадеживающе улыбнулся седой поляк. — Не запомнят наш король добрых деяний.

Вдруг что-то затрещало в подполье и тотчас же с шумом отскочила к стене крышка западни... Вихрем налетели на гостей стрельцы и после короткой борьбы перевязали их.

\* \* \*

Янину трижды разыскивали на дыбе. Каждый раз она повторяла одно и то же:

— Как перед Богом, как перед матерью Божьею, все обсказала. Ничего больше не ведаю.

В последнюю ночь дьяк пришел к ней, торжественный и счастливый.

— Молись Богу, жена. Исполнил государь обетование свое — жалует тебя волею.

Янина с криком рванулась с желез, пытаясь упасть на колени.

— Боже, спаси царя!

Дьяк перекрестился и приблизил лицо свое к сияющему лицу колодницы:

— Токмо допрежь обскажи, кто на Украине в найбільших ходит над ляхкими языками.

— Не ведаю!... Разорви душу мою все силы нечистые, ничего не ведаю боле.

В подземелье, осунувшийся, высохший, вошел Федор Михайлович.

— Не таи, — протянул он к Янине руки и, точно слепой, поискал скрюченными пальцами в воздухе, — Обскажи все, себе во спасение и мне перед царем в оправдание.

— Ради для любви былой твоей ко мне, поверь, государь!... Все, что ведомо было мне, все до пряма обсказала.

Постельничий вдруг окрысился.

— Не смей про любовь поминать! Нету ее, с сердцем вытравил из себя. Змея!

Он замахнулся, будто хотел ударить ее, но рука бессильно упала, коснувшись железа.



— Змея... Вечор еще Янек на дыбе показывал, что ты да Казимир только и ведаете про набольшого на Украине.

— Слухом не слыхивала... Поверь! Слухом не слыхивала!

Кат поднес к груди Янины зажженную свечу.

Ртищев присмирел, отодвинулся и, взглянув на искаженное лицо Янины, приник вдруг головой к стене, забился в рыданиях.

\* \* \*

Было три часа ночи, когда в подземелье, где сидела Янина, снова явился озаренный факелом дьяк.

— А видать, съела ты у Бога теленка, — изрек он с важностью.

Янина, измученная пытками, почти с полным безразличием повернула голову к двери.

— Тебе говорю... Молись. Воля тебе от государя.

Она с ненавистью поглядела на вошедшего.

— Потопил ты в крови человеческой душу живую. Уйди... Или убей. Сразу убей!

— А баба, баба и есть. Ты ее хоть в землю зарой, а язык все будет болтаться да людей бранить. Сказываю — воля и нишкни, покель батога не отведала.

Только тогда поверила своему счастью Янина, когда кат сбил с нее железы.

Дьяк ободряюще взял колодницу за руку.

— Благодарю государя, а наипаче Федору Михайловичу в ноженьки поклонись. То он вымолил прощенье тебе.

Он пропустил Янину в дверь. На женку повеяло свежим воздухом, и она неожиданно почувствовала такой прилив сил, что сразу позабыла о всем пережитом, стрелой полетела по узеньким сенцам.

Вдруг она оступилась, разбросала в стороны руки и провалилась в яму.

Дьяк разжег факел.

Янина неподвижно лежала на распластавшемся внизу теле Васьки Босого.

— Добро ли вора на волюшке? — расхохотался дьяк, хватаясь руками за вздымающийся в хохоте живот.

Упершись руками в грудь Босого, Янина привстала.

— А цар...рево... обе...тов...вание...

— Хороните! — крикнул дьяк.

Каты деловито засучили рукава и, поплевав на руки, принялись зарывать могилу.

## ГЛАВА XX

На украинских свирепствовали татарские орды, а внутри Руси все чаще вспыхивали восстания черных людишек, толпами уходивших в леса, к разбойным ватагам.

Царь, придавленный недобрыми вестями, осунулся, перестал тешиться охотой; каждый пустяк раздражал его. Все свои помыслы он направил на то, чтобы в первую очередь расправиться с приверженцами старой веры, которых считал единственными виновниками всех бед.

Алексей не жалел казны для войск, отправлявшихся на подавление бунта, и жертвовал большие суммы на молебствования во всех церквях страны, но ни порох, ни молебны не приносили желанного успокоения. Едва стрельцы рассеивали мятежников в одном конце, бунты вспыхивали в десятках новых мест.

Нужно было немедленно найти какой-либо выход, который отвлек бы народ от внутренних распрей и смуты.

Никон, Ртищев, Морозов и другие ближние люди видели спасение в скорейшем присоединении Украины. Их прельщало богатство края, обилие хлебных запасов, плодородие и отвага запорожского войска.

— Да с такими орлами степовыми мы не токмо успокоим разбойных людишек, а и для всей Европы будем словно бы мечом булатным, к ихней вые прилаженным.

Алексей, после долгих колебаний, поддался уговорам советников и разрешил объявить послам Богдана Хмельницкого, Бырляю и Мужилловскому, что государь всея Руси принимает под свою высокую руку запорожское войско с христоробивой Украиной.

Никон заготовил «великое послание ко всем православным христианам», в котором печаловался на ляхов, притеснявших казачество, и призывал, забыв распри «восстать всем сиротам государевым на защиту братьев по вере».

Послание очень понравилось государю. Однако он запретил оглашать его до тех пор, пока из Польши не возвратятся князья-бояре Репнин и Волконский с дьяком Алмазом Ивановым.

Бырля и Мужилковского поселили в Кремле, окружили княжескими почестями. Алексей часто беседовал с ними и сулил великие милости Украине.

— Пожалуем мы казачество полною волею управляться на Украине, как сами восхотят, а ни в чем не станем помехи чинить. Ни добра, ни казны вашей нам не надобно, в нужде подмогнем сами от достатков наших! Токмо имам надежду едину повелит Господь в брань выступить противу басурманы — и вы всем молодецеством с нами выступите

Никон при послах горячо поддерживал государя, оставаясь же наедине с Алексеем, довольно потирал руки, ухмылялся:

— Токмо бы ляхов тех одолеть, в те поры поглазеем, застанется ли Украина вольницей, а либо в полную вотчину твою отойдет.

И оба предавались мечтам о благодатной солнечной стороне, выкладывали в уме, сколько богатых корыстей принесет им великий торг с «богомерзким некрещеным Востоком».

\* \* \*

Московские послы вернулись из Польши ни с чем. Их предложение принять Хмельницкого в подданство по Зборовскому договору и православной веры не теснить было отвергнуто.

Царь сумрачно слушал послов. Им снова овладевали сомнения. Нарушение вечного мира, на которое он недавно решился, показалось вдруг опрометчивым шагом, сулящим неисчислимые бедствия.

Алмаз Иванов, низко согнувшись, читал ответ Польши московскому государю:

— А ежели Хмельницкий булаву положит и не будет гетманом, казаки все оружие перед королем положат и станут просить милосердия, тогда король для царского величества покажет им милость...

— Узрят уже басурманы казацкое милосердие! — возмущенно воскликнул Ртищев. — Покажем мы им гетманову булаву!

Алексей прикрикнул на него:

— Нишкни!... Покажем!... Особливо ты покажешь, витязь из потешного моего короба.

Дьяк дочитал до того места, в котором указывалось на вину начальных польских людей, нарочито допустивших в своих грамотах пропуски в государевом титуле, и замялся.

— Чти! — приказал Алексей, но вдруг покраснел и опустил голову — Аль не винятся?

Волынский и Репнин заскрежетали зубами.

— Не только не винятся, великий государь, а издевою издеваются!

Молчавший до того Никон вскочил с лавки, гневно пристукнул палицей.

— Доколе же терпети нам, Господи... Не краше ли головами своими помереть, нежели слышати, как помазанника Господня богомерзкие ляхи поносят?

Терем задрожал, наполнился выкриками, руганью, угрозами, и это общее возмущение придало государю бодрости. После недолгих колебаний он решительно поднялся, трижды перекрестясь, чванно подбоченился.

— Волим мы спослать к Богдану Хмельницкому стольника своего, гораздо навыченного в запорожских делах, Ладыженского А и пущай возвестит он гетману и всей Украине христолюбивой о милостях наших, изволил-де принять вас государь царь под свою высокую руку, да не будете врагам Христа в притчу и поношение. А ратные люди нами-де собираются.

\* \* \*

На Москву со всех концов Руси прибыли выборные от всяких чинов. В Покров день тысяча шестьсот пятьдесят третьего года в Грановитой Палате открылись сидения Собора. У крыльца палаты государь был торжественно встречен Никоном и сербским митрополитом Михаилом. После молебствования Собор приступил к делам. Выборные, стойко преодолевая сон, выслушали долгую речь Репнина о неправдах короля Казимира и пространное слово Никона, густо пересыпанное ссылками на священное писание и

апокалипсис, — о том, что для благодеяния Руси нужна война с «богопротивными кичливыми ляхами». После этого царь предложил Собору высказать «без утайки» свои суждения. Выборные помялись, зашептались между собой и нестройным хором ответили:

— А что ты, государь, удумал со ближние, тому и мы не супротивны. Твори, как воля твоя.

Ртищев, испросив благословения у Никона, отвесил земной поклон государю.

— Дозволь молвить, царь.

— Молви, постельничий.

— А во многих грамотах королевских и порубежных городов воевод, — визгливо перечислял Федор, — и кастелянов, и старост, и державцев к воеводам в государевы порубежные города, именованья их и титула писаны не по вечному миру, со многими пременениями!...

Он повернулся к царю и бухнулся ему в ноги.

— Не попустят сироты твои издевы над государем своим! Костями ляжем за честь государеву... Костями ляжем за русскую землю!

Выборные повскакали с лавок.

— Костями ляжем за честь государеву! — заревели они, потрясая кулаками и неистово топая ногами, — Ни попустим издевы над государем своим!

Алексей, потупившись, одной рукой поглаживал пышную свою бороду, а другой — вытирал украдкой проступавшие слезы.

Ртищев весь горел бранным задором. Он, как ошалелый, бегал от царева кресла к лавкам для выборных и кричал, ударяя кулачком в грудь:

— А иные злодеи во многих листах писали с великим бесчестием и укоризной!... А и в книгах их пропечатаны злые бесчестия, и укоризны, и хулы, чего не токмо великим государем христианским, а простому человеку слышати невозможно, и мыслити страшно...

Львов подтолкнул локтем князя Хованского.

— Эх, распинается, шельма. А все, змий лукавый, из-за великого труса, как бы не попасть в опалу, за то, что в хоромах своих свил гнездо языков ляцких с женкою Яниной!

Москва завихрилась в хмельных перезвонах колоколов, в пирах боярских, в песнях стрелецких отрядов и неистовых перекликах ратников, вещавших народу государеву и Соборную волю:

— Припадем ныне, люди православные, со рыданием и молитвою к Господним стопам! Идет бо ратью царь-государь во славу сиротин на извечных врагов — ляхов!

К польской слободе, подбиваемые дьяками, двигались толпы бродяг и выпущенных на волю разбойных людишек. Чужая погром, иноземцы побросали дома и убежали с семьями в лес...

Свинцовое небо подернулось багровыми отблесками пожарища.

— Бей басурманов богопротивных во славу Бога живого!

\* \* \*

Ртищев вернулся домой около полуночи. Его удивило обилие всадников, оцепивших усадьбу.

Завидя постельничего, стрелецкий полуголова прыгнул с коня и почтительно поклонился.

— А изловили наши языки ляха. Да на дыбе сказывал лях тот — дворецкий-де твой не единожды, но многократно хаживал к ляхам с цидулами от схороненной женки Янины.

При упоминании о полонянке у Федора упало сердце.

— Огнем бы спалить усадьбу сию, — воскликнул он, — чтобы не было! Чтобы ничего не засталось! Творите как сами ведаете... Ежели по доскам все хоромины разнесете да с землею сровняете, и на то ни единым дыханием не попечалуюсь.

Хватаясь за стены, он пробрался в опочивальню и, опустившись на четвереньки, крадучись, вполз в каморку.

— Янина! — вырвался из груди его полный смертельной кручины крик. — Солнышко мое красное.

Достав из короба холщовую косыночку, покрывавшую курчавую голову полонянки в тот день, когда, избитая и униженная, впервые пришла она в усадьбу, Федор прижался к ней пылающим лицом.

— Все!... Все, что засталось от лапушки моей ненаглядной.

Ратники перерыли все уголки двора, тщетно разыскивая дворецкого. Но Савинка давно уже шагнул по темному лесу, забираясь

все дальше, все глубже, в знакомые дебри.

— Здорово, нечисть лесная! — зычно крикнул он, остановившись наконец перед покинутой медвежьей берлогой. — Здорово, лесной государь! Авань, ты сохранишь от государя Московского убоого российского человечешку!

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### ГЛАВА I

Царь устал от походов. Захватив с собой Ордын-Нащокина и Ртищева, он вернулся на Москву. В Кремле, в самый разгар пира, устроенного в честь победы, Алексей сам подошел к Нащокину и при всех боярах и патриархе Никоне троекратно поцеловал его из щеки в щеку.

— Роду ты невеликого, Афанасий, а на рубеже Ливонии с Литвою такие творил чудеса, что впору поучиться от тебя многим высокородным воеводам российским.

Афанасий Лаврентьевич упал ниц, стукнулся лбом об пол.

— Не умишком своим добро творю, но неизреченною любовью ко государю во всяком деле преуспеваю!

Привстав на колени, он поглядел исподлобья на нахмурившихся бояр.

— А еще преуспеваю по той пригоде, что не кичусь доброму навязать и от чужих, будь они други мне, а либо вороги.

Трубецкой, Хованский, Голицын, Львов и другие князья вскочили с лавок.

— Так неужто же не побрезгуешь и у басурманов духу еретичного набраться, коли помыслишь, что то добро для крещеной нашей земли?

Князь Никита Иванович вызывающе стал перед Хованским.

— Коли то Руси в лихву, кой же дурень побрезгует?

И, подняв Нащокина, указал ему на место подле государя.

— Ты, Афанасий, ошую, а я одесную Алексей выразительно поглядел на дядьку.

— Ты бы хоть пира для прикусил вострый язык свой

Бояре попятись к двери. Хованский взялся за скобу

— Освободи, государь, от пира такого. Не гоже нам Ординовы ереси слушати!

Алексей, не ожидавший такого исхода, растерянно огляделся. Его выручил патриарх — стукнув властно палицей об пол, перекрестился и возгласил:



— За пиром упамятовали мы часы отслужить. На колени!

После молитвы государь натруженно опустился в кресло и полузакрыв глаза.

— Садитесь и вы, мои ближние. — вымолвил он, стараясь придать своему голосу побольше мягкости

Бояре, скрепя сердце, заняли свои места

Посидев немного и допив мед, Алексей протяжно зевнул

— А сейчас можно по-доброму со Господом жаловать и по домам.

Оставшись с патриархом. Никитой Ивановичем, Ртищевым и Нащокиным, государь с улыбкой кивнул на дверь

— Смуют бояре!. Не любо им, что набираетесь вы европейского духу.

Ордын— Нащокин вытер рукавом сухие глаза.

— Особливо я им не люб, государь... Перед всеми людьми за твое государево дело никто так не возненавижен, как я.

\* \* \*

С каждым днем Афанасий Лаврентьевич все больше входил в доверие Алексея. Государев двор исподволь стал заполняться незнатными земляками Нащокина.

Спесивые вельможи, почуяв опасность, повели себя так. словно ничего не замечали, но в то же время ждали случая, чтобы вступить в открытый бой с ненавистным Афанасием Лаврентьевичем. Они попытались привлечь на свою сторону Ртищева, но вскоре отказались от этой затеи, так как Федор откровенно заявил, что потерял всякую охоту заниматься государственностью.

И действительно — постельничий все время свое отдавал наукам. Он то просиживал с утра до ночи за латынью, то ревностно вдруг принимался обучать грамоте челядь свою, то проводил время за страстными спорами с монахами Андреевского монастыря.

Поздно ночью, усталый и разбитый, лег он в постель, но, оставшись без дела, сразу чувствовал, что охватывает его тревога, ноющая тоска. Закрыв глаза, он старался ни о чем не думать и хоть ненадолго забыться.

Проходили часы. Стрельчатое оконце заволакивали сизые клубы предутреннего тумана, где-то хрипло перекликались петухи — а постельничий все еще беспокойно ворочался под покрывалом, полный тяжелых воспоминаний и безрадостных дум. Ни молитвы, ни заклинания не помогли: «она» не уходила из опочивальни. И чем горячее взывал Ртищев к Богу, тем настойчивей крепло наваждение.

— Ты мой... Ты мой, подарик, — жутко хихикала заживо похороненная и холодными синими пальцами щекотала перехваченное спазмами горло постельничего. — Ты мой... мой ты!... Подарик!

Федор в ужасе соскальзывал на пол, отползал к красному углу. Янина сдерживала смех. Страшно зияли черные провалы ее глаз. Искривив в жуткую маску лицо, она неслышно присаживалась рядом. Федор истово крестился, призывал на помощь все силы небесные, но сам, не замечая того, шептал:

— Янина, лапушка моя ненаглядная!

Полька резко вырывалась из его объятий.

— Спасите!... Спасите!... Спасите! — кричала она и слова эти точно орлиным клювом проклевывали череп. — Спасите!... Спасите!

А из каморки показывался кто-то спокойный и бесстрашный, в кумачовой рубаше, с раскаленными щипцами в руке, входил в опочивальню. Федор пытался вскочить, чтобы выгнать вон незваного гостя, но одеревеневшие ноги не повиновались ему. Кат кланялся в пояс, с убийственной медлительностью крестился на образа и зажимал щипцами грудь полонянки.

— Не кручинься, Федор Михайлович. Сейчас на славу схороним мы женку твою...

Кое— как отдышавшись, Ртищев подкрадывался к постели и юркнув под покрывало, замирал, не смея открыть глаза. Нараставшие вопли пытаемой шли уже не из угла, а откуда-то из глубин его собственного существа.

— Спасите! — дико вскрикивал тогда Федор и ногтями впивался в восковое лицо свое. — Спасите!... Спасите!

Всполошенный дворецкий, заслышав крик, стремглав бежал в опочивальню.

— Опамятуйся, государь!

Ртищев стихал, прислушивался в ужасе и, едва живой, приоткрывал глаза.

— Ты? — вздыхал он полной грудью, готовый разрыдаться от счастья, что видит живого человека.

— Я, государь, — мягко отвечал дворецкий и глядел на Федора так, как глядит мать на смертельно больного ребенка.

Убаюкав Ртищева, он неслышно присаживался на полу.

— Кто тут? — неожиданно поднимал голову постельничий, и, увидев холопа, зло показывал ему на дверь. — Изыди!...

Едва дворецкий выходил в сени, Федор тщательно подсовывал под бока покрывало и вытаращенными глазами впивался в сумрак.

— Господи, избави мя от наваждения! — беззвучно молился он, а сам трепетно, с настойчивостью сумасшедшего, вновь вызывал в воображении образ Янины...

Только засветло, когда оживала усадьба и пробуждался на улице утренний гомон, обессиленный Ртищев забывался недолгим бредовым сном.

Никто, кроме дворецкого, не знал о его жестоких страданиях, да никто и не интересовался ими. Только царевна Анна как будто подозревала что-то. Она изредка приглашала постельничего к себе, расспрашивала его о здоровье, снабжала целебными снадобьями и между слов давала понять, что догадывается о его горе и сочувствует ему.

Боярышня Марфа во время этих бесед тихонько сидела у ног царевны и, прерывисто дыша, точно от сдерживаемых через силу слез, с преданной нежностью глядела на Ртищева.

Федора глубоко трогало отношение к нему девушек, и пребывание в светлице царевны незаметно сделалось для него единственной услугою и утешением в жизни.

Алексей, при встречах с постельничим неодобрительно покачивал головой.

— А и поизвелся ты, Федька, иноземным премудростям навываючись. Обернись-ко на лик свой, в гроб краше кладут.

Федор виновато отводил взгляд в сторону и не отвечал.

Однажды государь, заметив, что постельничий особенно грустен, ласково потрепал его по щеке.

— Удумал я, Федька!... Чтобы не убиваться тебе, Аристотеля да Платона одолеваючи, жалую я тебя старостой над умельцами, хоромы ставящими для нас в Коломенском.

Ртищев с радостью согласился и весь отдался новому делу.

\* \* \*

Когда дворец в Коломенском был готов, царь на радостях два дня разъезжал по Москве, щедро оделяя милостыней нищих и богомольцев.

На третий день он отправился в потешное село. У околицы его встретили ученые монахи Андреевского монастыря во главе с Ртищевым и Симеоном Полоцким. Лицо Симеона сияло.

— Доподлинно, государь, владеешь ты великим даром творить пречудную красоту, — с неподдельным восторгом обратился он к Алексею.

После торжественного молебствования царь пожелал потешиться медведем и иными потехами.

На широкую поляну вышел вожак с медведем и помощником — мальчиком, изображавшим козу. Алексей развалился в кресле, установленном на высоком помосте, и подал платочком знак. Вожак поклонился на все четыре стороны, потрогал кольцо, продетое сквозь ноздри зверя, оглушительно заколотил в барабан.

— Ну-тко, Мишенька, поклонись государю да покажи науку свою.

При каждом подергивании цепи медведь пофыркивал и послушно выполнял все, что требовал хозяин.

Довольный действием, государь хохотал до слез. В лад ему скалили зубы, угодливо ухмыляясь, ближние.

— А как красные девицы белятся, покажи-ко, Михайло Иванович, — ломаясь, выкрикивал вожак.

Медведь садился на землю, тер лапой морду и зло поглядывал по сторонам маленькими, налитыми кровью глазами.

— Козою потешь! — хватаясь за тучный живот, гоготал Алексей.

Мальчик торопливо накинуд на голову мешок, сквозь который продета была палка с козлиной головой и рогами. Вожак, приплясывая, выбивал барабанную дробь. Коза и медведь обнялись и покатались по земле.

Вдруг медведь вскочил, поднявшись на задние лапы, угрожающе зарычал на хохочущего царя. Алексей сразу оборвал смех и подозвал к

себе вожака.

— Аль и тому животину навывчал, чтоб на государя пеной брызгал?

Вожак с силой рванул цепь. Медведь, еще пуще освирепев, бросился на Алексея. Раздался залп, и смертельно раненный зверь повалился наземь.

— А сего смерда в железа! — топнул ногой царь и неожиданно смолк: со стороны дворца раздался громовый раскат.

В мгновение ока вся полуденная часть села заволоклась тяжелыми клубами пыли.

— Лихо, царь! — хватаясь за голову, упал на колени прибежавший розмысл<sup>[38]</sup>.

Не помня себя от гнева, Алексей рванулся к дворцу.

На месте хором он увидел гору камня и бревен. Хоромы, выстроенные наспех, рухнули прежде, чем успели обсохнуть в них краска и позолота.

Из— под развалин неслись крики задавленных.

— Никак, людишек похоронило? — упавшим голосом спросил государь.

Ордын— Нащокин умоляюще поглядел на него:

— Пожаловал бы ты отсюда, от кручины прочь... Иные поставим палаты, во сто крат краше сих, государь.

Тяжело сопя, Алексей ушел в старый дворец.

## ГЛАВА II

Каждый день во всех церквах Московии служили торжественные молебствования «о ниспослании мира и покорении под нозы царя всякого врага и супостата», — а поляки и шведы собирались тем временем с силами, чтобы нанести Руси смертельный удар.

Никон убеждал Алексея как можно скорее двинуться в поход на Ригу.

— Егда узрят рати лицо твое, государь, — говорил он, — великою воспаятся они силой духовной и многии славные сотворят чудеса... А о делах государственности не кручинься. Покель дарует мне Господь здравие, верой и правдой буду блюсти и стол твой, и честь твою.

Царь поддался настойчивым уговорам патриарха. Через несколько дней, трогательно простившись с ближними, он выступил из Москвы.

\* \* \*

Жизнь в царском лагере протекала по строгому монастырскому чину. Алексей вставал задолго до рассвета и, наскоро умывшись, начинал утомительно долгую службу в походной церкви. После обедни, похлебав постных щей, он открывал сидение с воеводами. Если близко от лагеря проходили войска, государь, окруженный телохранителями, выезжал на аргамаке навстречу им и произносил напутственное слово. Мимо него нескончаемой вереницей проходили стрельцы, а он мягко, почти заискивающе, вглядывался в хмурые, заросшие грязью лица, точно не ему дано было вдохновлять людей на бранные подвиги, а сам он ждал от них сочувствия и поддержки.

Дорога пустела. Государь сиротливо склонял голову и, точно в забытии, крестил воздух.

— Сподоби их, Господи, со славою костью лечь за нашу государеву честь.

В грудь закрадывалась тревога. Без всякой причины становилось вдруг жаль не этих вооруженных рабов, только что прошедших перед ним, а самого себя. Он беспомощно оглядывался по сторонам, точно искал защиты у окружающих.

— Великое множество сиротин под пятой у меня, а поразмыслишь — и един я во всем мире, как перст... И никого-то ближнего у меня нету, опричь Господа Бога.

Попы и ближние, как бы в жестокой обиде, всплескивали Руками.

— Не гневи Господа, царь! И нас не кручинь глаголом горьким своим!... Иль не зришь, что вся Русь крещеная за един волос с твоей головы с великою радостью смертью умрет?

Царь взбирался на аргамака и понуро возвращался в лагерь.

\* \* \*

Вскоре с Двины пришли хорошие вести — с минуты на минуту ожидалось падение Кокенгаузена.

Алексей выслушал послов, прискакавших с этой вестью, так, будто знал уже все и до них.

— А мы и имя крещеное граду тому нарекли, — многозначительно улыбнулся он.

Послы удивленно уставились на царя.

— Аль до нас кто посмел прискакать к тебе без ведома воеводы?

Царь встал с кресла и чванно разгладил бороду.

— А и доподлинно так! Были у нас в ночи послы... Были послы! — вещим голосом повторил он. — Яко зори вешние, предстали пред нами страсотерпцы Борис и Глеб.

Помолчав немного, он вышел на двор, собрав все население лагеря, воздел к небу руки:

— Внемлите!... А вы, послы любезные, разнесите ту весть нашей рати многострадаальной.

Все, точно по невидимому знаку, упали ниц перед царем.

— Творил я вечер молитву на сон грядущий, — перекрестился царь, — а и не ведаю, по пригоде какой, смежились невзначай очи мои. И тотчас разверзлись душевные очи и узрел я страсотерпцев Бориса и Глеба. И услышали мы глас херувимский: «Ликуй! Внял молениям твоим Отец Небесный, жалует тебя Кокенгаузен». И еще рекли: «Наречешь ты град Кокенгаузен — Царевича Дмитрия градом. И поставишь в нем храм каменный на все времена во славу христоролюбивого российского воинства».

Слух о чудесном видении быстрокрылою птицей облетел войска. «Победа! Бог даровал нам победу через молитвенника нашего и владыку государя-царя!» — радостно возвещали глашатаи.

В станах, неведь откуда, появились монахи и странники-богомольцы с целыми тюками образов Бориса и Глеба.

— Сим победиши! — торжественно объявляли они и щедро наделяли воинов наспех намалеванными иконками.

Надежда на помощь святых подняла дух у измученной долгими переходами и вечным недоеданием рати.

— Вперед!... Страху не страшимся, смерти не боимся, ляжем за царя, за Русь! — ревели начальные люди и гнали войска под вражий огонь, на приступ.

А государь, перед сном запершись в опочивальне, опустился на колени перед образом Спаса и виновато склонил голову на плечо:

— Ты многомилостив и даешь отпущение грешникам... Отпусти и мой грех! Не в хулу, а во славу твою думали мы с протопопом укрепить дух рати нашей неправою выдумкою о видении страстотерпцев.

\* \* \*

Узнав о взятии Кокенгаузена, Алексей спешно собрался в завоеванный город.

Два дня работали многочисленные смены стрельцов, убирая с пути, по которому должен был проехать царь, убитых и раненых русских воинов. На окраине города полоненные рыли могилы. Священники, облачившись в черные рясы, служили панихиды по убиенным.

Из груды трупов, брошенных в ямы, то и дело неслись стоны и крики о помощи. Но головам и полуголовам недосуг было разбираться, кто жив и кто мертв: нужно было спешить к встрече царя. И полоняники, полуживые от ужаса, безмолвно засыпали могилы землей.

Тем временем, рейтары<sup>[39]</sup> подтаскивали к дороге раненых и убитых иноземцев. Кое-где рядом с ними, для видимости, клали и русских стрельцов.

Все улицы города были украшены зеленью, шелком и обьярью. На перекрестках неумолчно били в накры и оглушительно трубили глашатаи. Оставшихся в живых жителей согнали к заставе и там учили, как отвечать государю, если он обратится к ним с вопросом.

Вскоре в Кокенгаузен прибыл гонец.

— Царь жалует утресь! — объявил он воеводе. — Все ли готово ко встрече?

— Все, — хвастливо потрянул головой воевода. — Не впервой нам государей встречать!

На следующий день за город высыпали войска во главе с духовенством. Алексей, далеко за заставой, вышел из колымаги и, сняв шапку, трижды перекрестился.



— Боже мой, колико кручины и крови...

Он направился к дороге, заваленной трупами и телами раненых. С каждым шагом лицо его, искаженное ужасом и отвращением, менялось, а глаза с недоверчивым удивлением устремлялись на ближних.

— Так неужто же наши сиротины все живот сохранили?... Сдается нам, не видать и ни российских рейтаров, и ни стрельцов? — остановился он наконец перед воеводой.

— Не все, государь, — сокрушенно вздохнул воевода. — А токмо, Божьей милостью, многое множество сохранилось от гибели людишек твоих.

Отойдя в сторону, он за плечи приподнял с земли мертвеца.

— Един наш стрелец, а ворогов подле него край непочатый. Не рать у тебя, государь, а орлы!

Алексей отвернулся и закрыл руками лицо.

— Убери!... Сейчас же убери! Не можно нам без смертной туги на гибели наших людишек глазети.

Воевода бережно опустил труп на землю и закрыл ему остекленевшие глаза.

— Не рать, а орлы, — повторил он, вдохновенно приложив руку к груди. — Железами не удержишь! Так и рвутся в бой за государево дело.

Привыкнув немного к страшному зрелищу, царь уже спокойней и деловитей обходил ратное поле, то и дело склоняясь над мертвецами.

— А не инако, жив? — остановился он перед раненым и сочувственно улыбнулся. — А жив ли ты, басурман?

Раненый со стоном приподнял голову, показал рукой на свои запекшиеся губы и что-то по-своему забормотал.

— Аль испить просит? — повернулся Алексей к воеводе. — Оно хоть и не нашей веры человек, а тоже разумеет, жалуется. Ты попотчуй-ка его водичкою, не скупись...

У самого входа в город Алексей присел отдохнуть в приготовленное для него мягкое кресло. Глубоко вздохнув, он сморщился гадливо и сплюнул.

— Добро, иначе, смердят басурманы!

— Смердят, государь! — подхватили ближние. — Показал бы ты им милость да пожаловал их могилами.

— И то, — согласился государь. — Схоронить!...

Воевода испуганно подбежал к Алексею и что-то шепнул ему.

— А и то гоже удумано. Дай-ко-ся поглазеть, — поинтересовался Алексей и с видом знатока пощупал поднесенный ему иноземный мундир. — Гораздо добра одежда у басурманов.

Он подумал немного и решительно объявил

— Мертвые сраму не имут. Хоронить убиенных нагими, одежонку же отписать в обоз.

Отслушав благодарственный молебен и потрапезовав. Алексей отправился искать место для закладки церкви. Когда выбрана была подходящая площадь перед ратушей, он приказал немедленно приступить к работе и сам, помолясь на восход, вырыл первую лопату земли.

### ГЛАВА III

Украина, так недавно праздновавшая присоединение свое к Московии, настороженно притаилась и сжала готовый к сопротивлению кулак.

— Набрехал нам москаль, — все чаще передавалось из уст в уста. — Сулил нам полную волю, а сам, видать по всему, Украину в вотчину норовит описать. А не будет!. А не дастся молодечество в пасть москалю.

Действительно — пользуясь удачной для него войной с Польшей. Алексей решил, что настало время покончить с украинскими вольностями. Чтобы закрепить за собой надежных сторонников, он стал щедрою рукою раздавать «великие маетности» начальным людям.

Вскоре Запорожье было лишено права что бы то ни было предпринимать без разрешения государя. Даже самому гетману запретили переписываться и вести самостоятельные переговоры с иноземными государствами.

В украинских городах появились царевы урядники, которые должны были собирать подати на царя и передавать их непосредственно людям, приезжающим из Москвы. Часть таких податей, по положению, предназначалась и на содержание запорожского войска. Однако урядники и полковники, налагавшие в

иных местах по три золотых со двора, почти все деньги присваивали себе.

Не раз запорожцы ходили с челобитного к гетману, грозили бунтом. Большой Хмельницкий беспомощно разводил руками, клялся в преданности казачеству и обещал потребовать объяснения от Москвы. Но время шло, а умирающий гетман не принимал никаких мер к ограждению Украины от насилий и неправды царевых людей.

Только — ближайший сподвижник гетмана, писарь Иван Выговский, не мог примириться с обманом и решил вернуть Украине утраченную волю.

В июле Богдан Хмельницкий скончался.

Выговский решил воспользоваться удобным для его замысла случаем и в тот же день, 27 июля, написал путивльскому воеводе Зюзину смиренную цидулу:

Если хочешь знать, кто теперь выбран в гетманы, то, я думаю, ты знаешь, как еще при жизни покойного гетмана вся старшина избрала сына его, пана Юрия, который и теперь гетманом пребывает, а вперед как будет, — не знаю. А я после таких трудов великих рад бы отдохнуть и никакого урядничества и начальства не желаю.

— Ось, бери от нас, простесеньких хлопцев, писульку, — сказал он сотскому. — Та и на який бис нам их булава... Да не треба нам той булавы, да не того... не треба нам и царя московского!

В Чигирин, на раду, прибыл посол Зюзина, подьячий Тюлькин. Выговский принял посла в курене.

— Сидай, пан мой дражайший.

Подьячий недовольно пробормотал сквозь зубы.

— Раду, выходит, у вас собирают, пан?

— Та выходит, будто и раду, — безразлично ответил Выговский, выколачивая о каблук сафьянового сапога пепел из люльки. — Геть! — прикрикнул он тут же на дремавшего у двери сотского и, будто про себя, прибавил со вздохом: — Ось яки чоловіки тепер пошли... Не могут самого пана подьячего от який-нибудь стервы отличить. Так и прут в курень, не подумавши.

Сотский спокойно повернул голову, но не двинулся с места.

— Ну, что вы зробите з ним! — прикидываясь возмущенным, стукнул писарь о стол кулаком. — Та кому ж я кажу — геть, голопупая дура!

Он повернулся в сторону подъячего и распустил губы в улыбке.

— То не ты голопупая дура, а он голопупый!... То я не на тебя брешу, а на того сучьего сына, пан ласковый!

Заметив, что посол начинает понимать его отношение к себе, Выговский вскочил с лавки.

— А воеводе так и кажи: царскому величеству я верен во всем, служу великому государю и войско запорожское держу в крепости.

Он обсосал усы и елейным голосом продолжал:

— Как гетмана похороним, то у нас будет и рада о новом гетмане, и мне Богдан Хмельницкий перед кончиною, нехай ему на тим свити легенько икнется, приказывал опекуном быть над хлопцем его, пан Юрием. А я приказ его помню и сироту не спокину.

Подъячий просидел у писаря до позднего вечера. Хозяин усердно потчевал его локшиной, варениками и настоенной на тютюне горилкою, но на расспросы о том, кого казаки склонны избрать гетманом, отделялся шутками.

Посол пил много, однако почти не хмелел. Только когда Выговский, рассердившись, подсыпал в горилку горсть перцу и пороху, подъячий обалдел и свалился под лавку.

— Тьфу! — плюнул Выговский в лицо послу— Весь курень опоганил духом москальским!

И, раскурив люльку, вышел из куреня.

\* \* \*

Со всех концов Запорожья потянулось казачество в Субботово хоронить Богдана Хмельницкого.

Сторонники Выговского использовали удобный случай и всюду, где только можно было, собирали летучие сходки. Гневно потрясая кулаками, они, не стесняясь, проклинали тот час, когда Хмельницкий отдался под московского царя и слезно молили казаков одуматься и избрать гетманом Выговского, который только и может освободить их от москальского ига.

— Только пан писарь и остался верным вольнице запорожской! Только под ним славное низовое товарищество пошлет к бисову батькови москальских бояр с ихним кобылячьим царем.

Великой радостью входили проникновенные эти слова в казацкие души.

— Выговского!... Геть царевых воров-урядников с вольной Украины!

Торжественно и с большими почестями похоронили казаки Хмельницкого, но на поминках не задержались — нужно было торопиться в Чигирин на раду.

Выговский долго отказывался принять гетманскую булаву и сдался лишь после того, как казаки объявили, что, кроме него, никого не изберут.

Выплюнув на ладонь люльку, Выговский низко поклонился раде.

— А так — так и так, будь по-вашему, паны-молодцы! Да помните же... Булава моя будет добрым на ласку, а злым на каранье.

И, будто без умысла, повернувшись в сторону московской дороги, угрожающе потряс булавой.

Воинственный гул толпы воодушевил его.

— А не сгибла родная Украина!

— А не сгибла!... Слава батькови-гетману!... Слава молодечеству низовому! — ураганом пронеслось над площадью и рассыпалось по широкой степи...

\* \* \*

Вскоре, однако, казаки стали замечать, что Выговский через меру якшается с поляками, дает им многие льготы и даже приглашает к себе на службу советниками и полковниками. Больше всего не нравилось запорожцам, что гетман держится с поляками не как с басурманами, а как с равными.

Ко всему этому, вскоре на Украине прошел слух, будто польский король сулит пожаловать Выговского сенатором и наградить многими землями, если он перейдет с войском запорожским в подданство Польше.

Первым выступил против гетмана полковник Григорий Лесницкий. Он собрал на своем полковницком дворе в Миргороде великую раду сотников и атаманов и без долгих рассуждений обратился к ним:

— Имеете ли вы веру ко мне, православному запорожцу?

— Имеем! — дружно ответила рада.

Тогда полковник, стерев пятерней пот с пылающего лица, прерывисто прокричал:

— А Иван Выговский не Иван, а Иоганн-басурман!

И, не дав опомниться собравшимся, чувствуя в себе приток бешеной злобы, стукнул в грудь кулаком.

— Перенял гетман католическую богомерзкую веру! Обетовал королю обасурманить нас всех, христиан православных... А чуяли вы измену такую, панове казаки?

Осатаневшая толпа потрясла воздух отчаянным воплем.

— Смерть изменнику! Смерть христопродавцу!...

Полковник властно топнул ногой.

— А и прислал еще к нам московский царь воеводу своего, Трубецкого, с наказом, чтобы войска запорожского было только десять тысяч, да и те должны быть в Запорожье. — Он пытливо оглядел сразу пришибленно замолчавших людей. — Чуете ль молвь мою, панове?

— Бей по головушке, бей до краю, пан-полковник, бей до краю, пан-полковник, бей без утайки! — ответил один из атаманов.

— И по-моему без утайки, — подхватил Лесницкий, неожиданно смягчаясь и снижая голос до шёпота. — Так слушайте.

Он похлопал себя по карману и перекрестился.

— Получили мы писульку от крымского хана. А пишет хан дюже ласково нам, чтобы ему поддались, а лучше поддаться, пишет, крымскому хану. Московский царь всех вас невольниками вечными сделает, в кандалы закует, жен и детей ваших в лаптях лычных водить станет, — а хан крымский в атласе, аксамите и сапогах турецких будет водить.

Рада терпеливо выслушала полковника и, точно сговорившись, без слов, пошла прочь с полковницкого двора.

Только с улицы уже какой-то атаман крикнул с ненавистью:

— Лучше сойтись всем добрым молодцам-запорожцам к батьке Днепру, да и утопнуть, чем некрещеным татарам поддаться!

Великая смута пошла среди запорожцев. Не стало на Украине из начальных людей никого, кому могло бы довериться казачество.

Затосковали казаки, стали уходить по одному в широкие степи, собирались в диком поле, и, отдав последнее целование родной земле, двигались к Волге, к волжским казацким ватагам.

А Выговский, узнав о том, что говорил на раде Лесницкий, приехал в Корсунь, отдал полковникам булаву

— Берите!... Не хочу быть у вас гетманом. Царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу.

Полковники, посовещавшись, вернули гетману булаву.

— За вольности будем вместе стоять, на то и челобитную нынче же отправим царю.

Выговский гадливо сплюнул через плечо.

— Вы, полковники, должны мне присягать, а я государю не присягал, присягал Хмельницкий.

Из толпы, пробивая локтями дорогу, выступил полтавский полковник Мартын Пушкарь. Вперив взор в гетмана, он вызывающе бросил ему:

— Все войско запорожское присягало великому государю, а ты чему присягал? Сабле? Пищали?

Толпа зашумела, и из общего шума вырвался чей-то насмешливый голос:

— Ты лучше сбрехни, Мартын, много ль золотых отвалили тебе москали за то, что прихвостнем у них служишь?

Воспользовавшись этими словами, Выговский достал из кармана горсть московских денег и бросил их в лицо Пушкарю.

— Хочет нам царь московский платить жалованье, а то разве гроши?... То харкотина, а не гроши.

Мартын простер руки к иконе, стоявшей рядом на столе.

— Боже, прости гетмана нашего, посмевшего царские деньги облаять харкотинной.

И с великой кручиной оглядел собравшихся.

— Паны! Как перед Богом, кажу вам: хотя бы государь изволил бумажных денег нарезать и прислать, а на них будет преславное государево имя, то я рад его государево жалованье приним...

Он не успел договорить — мощный удар гетманова кулака сшиб его с ног

— Так вот почему ты, прихвостень царский, золотые, что урядники с казацких дворов пособрали, схарцизил!

Со всех концов Корсуни сбегались люди к полковничьему двору. Все смешалось в бешеных криках, в проклятьях и драке. Гетман сидел верхом на Пушкаре и, захватив в кулак его оселедец, жестоко колотил его по затылку. Мартын извивался и пронзительно выл.

— Ляхам продался! — вопили сторонники Лесницкого, наседавая на гетмана.

— Брешешь, спидница татарская, — надрывались друзья Выговского.

— Бей их, хриstopродавцев!

Сверкнули выхваченные из ножен сабли.

— От-то ж вам за ляхов!

— Держи за татарина!

## ГЛАВА IV

Пока Алексей был в походе, всеми делами государства самодержавно правил Никон, именовавший себя с недавних пор «великим государем, патриархом Московским и всея Руси».

Раз в неделю Никон принимал вельмож. Они дожидались его долгими часами на дворе, ничем не решаясь напомнить о себе, так как знали, что малейший ропот неминуемо повлечет за собой опалу. Все, что приказывал владыко, почиталось законом для начальных людей. Ослушание каралось ссылкой в дальние города.

Униженные вельможи молчали, дожидаясь нетерпеливо возвращения государя и защиты от зазнавшегося «мордовского сына».

С каждым днем все заметней углублялась и пропасть между Никоном и подчиненным ему духовенством. Число недовольных угрожающе росло. Находились уже отдельные люди, которые открыто поднимали свой голос против патриарха. Когда же Арсений Грек, с благословения Никона, приступил к исправлению церковных и богослужебных книг, на сторону недовольных стали переходить огромные толпы.



В одно из воскресений патриарх во время службы в соборе объявил, что, по внушению свыше, должен предать анафеме двоеперстников.

После литургии он вышел на амвон и, приказав молящимся стать на колени, приступил к церемонии проклятия.

Затем иеромонах подал ему икону негреческого письма и длинный гвоздь. Размахнувшись, Никон пырнул гвоздем в глаза образа Богородицы.

— Изничтожим мы творение бесовское!

Толпа, на мгновение оцепеневшая от суеверного ужаса, вскочила с колен и бросилась к выходу. Однако патриарх предусмотрительно распорядился закрыть на замок выходную дверь и этим отрезал молящимся дорогу на двор.

— А ни один не изыдет из храма, покуда не очистим мы места пресвятого сего от нечисти трипроклятой! — крикнул Никон и швырнул икону под ноги иеромонаху. — Топчиие, басурманку!

\* \* \*

Князь Григорий Черкасский проведал, что многие крестьяне его близко связаны с разбойной ватагой, хозяйничающей в округе.

Распаленный гневом, он согнал заподозренных к себе на двор и приказал им рыть могилу. Вызванные с погоста поп и дьячок должны были по полному чину служить отходную.

Священник облачился с большой неохотой, с нарочитой медлительностью.

— Аль занемог, отец Поликарп? — подозрительно уставился на него господарь. — Не подсобить ли тебе копытцем, отец?

Поп едва успел отскочить в сторону вздыбившийся княжеский аргамак ударил копытом по аналою и наземь посыпались требники, иконка, крест и Евангелие.

— Не кощунствуй, боярин! — вскрикнул отец Поликарп, с трудом наклоняясь к земле.

Дьячок опередил попа, собрав оброненное и протерев полою подрясничка образок, троекратно приложился к лику Христа.

— Челомкай и ты! — ощерился на Черкасского священник.

Князь слез с коня и охотно поцеловал икону.

Землю окутывал вечер. Темнело, и уже с трудом можно было различать лица людей.

Приговоренные молча рыли могилу. Связанные путами ноги мешали их движениям, а трясущиеся от страха руки то и дело роняли лопаты. Спекулятары, сосредоточенные и деловитые, показывали, как нужно копать, и почти каждое слово свое скрепляли жестокими ударами батогов.

— Готово ль? — нетерпеливо передернул плечами князь и вдруг в страхе воскликнул:— Звезда хвостатая в небеси!

Запрокинув головы, люди уставились в небо. Среди темных, зловещих туч, напозавших с запада, горела и туманно переливалась никогда не виданная звезда.

— Погибаем! — прорезал тьму чей-то сдавленный вопль.

Усадьба заметалась в суеверном страхе. Со всех сторон бежали ошалевшие люди. Приговоренные побросали лопаты и на брюхе, как развороченное гнездо черных чудовищных змей, расползлись по двору.

Пораженный ужасом князь упал наземь, позабыв о казнимых.

— Епитрахилью накрой!... Накрой же! — кричал он, протягивая руки к священнику.

Но отец Поликарп не слышал его.

— Зрите, православные христиане! Зрите знамение гнева Господня! — пророчески воскликнул он, истово крестясь, и, выхватив из рук спекулятаря нож, подбежал к приговоренным.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аз, грешный иерей, властью, данною мне от Бога, разрешаю вас от лютые смерти!

Переходя от одного крестьянина к другому, он ножом перерезал веревки.

Багрово завихрились огни появившихся откуда-то факелов.

— Епитрахиль! — униженно кричал князь. — Покрой епитрахилью своей!

И, дрожа от внутреннего озноба, подполз к ногам священника.

— Внемлите! — воскликнул отец Поликарп, отставив два пальца для креста. — Внемлите, люди! Излия бо всевышний фиал ярости своея грех ради наших.

Дьячок, прилипший к аналою, набравшись смелости, повернул голову к князю.

— Внемли, господарь... Истину бо речет иерей.

Черкасский с опаской приоткрыл глаза, но тотчас же снова зажмурился. Он понял, что пришел час кончины мира «Коли и смерды шапки не ломают передо мной, всему конец!» — подумал он со страхом.

Священник с каждым словом распалялся все более и более.

— А по то всеблагий творец род человеческий наказует, что многие пошли по стопам врага Божия, волка Никона!

Дерзкие эти слова точно пробудили Черкасского от страшного сна.

— Правду ли токо сказывает Поликарпишко, аль послышалось нам?

Он вскочил с земли и схватил священника за ворот.

— Вправду! — бросил кто-то в лицо ему. — По то наказует Бог род человеческий, что многие пошли по стопам волка Никона и споручника его — царя Алексея Михайловича!

— В батоги его!... В яму! Живьем! — не помня себя, заревел Черкасский.

— И то, брателки... Живьем его, в яму! — рванулось в толпе, и прежде, чем князь успел опомниться, его сбили с ног и скрутили веревками.

Спекулатари и дворецкий, чуя беду, отползли за яму и ринулись в тьму.

Боярин наддал плечом.

— Слободи! Иль...

Глумливый хохот заглушил его голос.

— Иль не поспеешь без креста подохнуть, князь?

Рыжая бороденка факела переплелась с черною княжескою бороною.

Вдруг глаза Черкасского остекленело уставились на склонившегося к нему мужика.

— Ты?

— Я, господарик... Как есть я, Корепин Савинка! Пришел еще единойды с тобой поборотися.

Языки огня лизнули лицо Черкасского. Священник сорвал с себя епитрахиль и накинул ее на князя.

— Не Божье то дело — огнем жечь господарей. Придет час, погреется он всласть в преисподней.

— Развяжите! Иль всех на дыбу, — иступленно ревел Черкасский. — Добром прошу, развяжите!

И смахнув с лица епитрахиль, лязгнул в волчьей злобе зубами.

Савинка, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул. Тотчас же со всех концов раздался ответный свист.

— Притомился я, — шлепнул Савинка господаря по животу и грузно уселся на его лицо. — А ты зубки-то, князюшко, не тупи об меня. Авось занадобится еще уголья в пекле грызть.

К усадьбе, озаренные факелами, бежали какие-то люди. Корепин вскочил.

— Будет тешиться. Время за дело!... Встречай, князь, ватагу разбойную.

Ватага, весело перекликаясь, ввалилась на двор и окружила Черкасского.

— Здорово, князь аргамачий!

Савинка вцепился в ноги связанного и снял шапку.

— А пожалуйешь ли сам в могилушку, господарь, аль достойней сволочить тебя к ней?

В стороне, высоко подняв голову, молился отец Поликарп. Подле него неуверенно переминалась с ноги на ногу часть людишек, не знавшая, куда примкнуть.

Неожиданно священник выронил из рук образок и бросился к боярину.

— Не поущу издевы над князь-боярами! Не за тем служу я Христу, чтобы потакать расправам богопротивным.

Корепин дружески потрепал попа по плечу.

— Изыди, батько, с миром, покель я коленом тебя в тое могилу за князюшком не спровадил.

Священник испуганно огляделся, ища сочувствия, на, поняв по лицам людей, что ждать добра неоткуда, простер к небу руки.

— Прости им, Отче, не ведут бо, что творят.

— Ан ведаем, врешь! — свирепо оскалился Савинка. — Ты-то ведаешь ли, отец, что творишь?

Собрав последние силы, Черкасский подполз к ногам священника.

— Заступи!... Не дай погибнуть.

Отец Поликарп негодуяще поглядел на Черкасского.

— Ни им, зло затеявшим, я не потатчик, ни тебе, еретик, не заступник.

Черкасский глухо завыл и приник к земле обгорелым лицом.

— А коли так, не молитвенник ты, а Иуда. Христопродавец!

Священник богобоязненно поглядел на небо.

— Зришь ли ты, богохульник, сие знамение Божье?

— Зрю, христопродавец, холопий поп, и верую: на погибели царевым врагам отослал Бог знамение сие!

Савинка раскатисто захохотал.

— Нуте-ко, брателки, покажем господарику, кому на погибели знаменье.

И сбросил князя в могилу.

— Хорони!

Священник, перекрестившись, тяжело вздохнув, пошел прочь из усадьбы. За ним, крепко прижимая к груди требники, заковылял дьячок.

— Каешься ли, князь? — склонился над ямой Савинка.

Крестьяне, точно боясь, что Корепин помилует Черкасского, усердно заработали лопатами.

Вскоре на могиле, в которую зарыли Черкасского, вырос высокий холм. Кто-то из ватаги взобрался на вершину холма и вбил в нее кол.

— Псу псиная честь!

До рассвета правили людишки тризну по Черкасском. На дороге, чередуясь, стояли с дозором верные люди Корепина. У сторожевой вышки торопились спасенные от казни, готовые по первой тревоге ринуться в бой за своего освободителя. Бабы, дети и старики, здоровые и больные — все сбежались на княжеский двор помянуть чаркой боярского вина «в бозе почившего» господаря. Все до единого позабыли о страшной хвостатой звезде, ходившей недавно по небу. Да и какое чудо могло сравниться с чудом внезапного освобождения от князя!

На рассвете, когда рассеялся туман над рекою и засверкал росным бисером лес, на дальней дороге показался стрелецкий отряд.

— Не уберегли языков... Предали, печенеги! — ударил обзём шапкой дозорный и помчался к усадьбе.

— Стрельцы жалуют, атаман! — задыхаясь крикнул он Савинке и бросился к сполошному колоколу.

Спокойно, как будто ничего не случилось, отдавал Корепин последние распоряжения охмелевшим крестьянам.

— Кто в лес, отходи! — потрянул он головой, когда навьюченные боярским добром людишки вышли из хором.

Часть мужиков и баб поклонились атаману до земли.

— Колико жить нам засталось, поминать тебя будем в молитвах за добро твое превеликое. А уходить нам от землишки своей некуда. Не взыщи.

Примкнувшие к вольнице крестьяне вскочили на выведенных из конюшен княжеских аргамаков.

— С Богом! К третьей берлоге, — скомандовал Корепин и поскакал впереди в сторону леса.

Из окон трапезной повалили густые клубы едкого дыма. Занимался пожар.

## ГЛАВА V

После смерти шведского короля, Карла X Густава, шведы заключили в Оливе с поляками мир, по которому обязались друг перед другом вести совместную борьбу против Руси. В то же время в Белорусии и на Украине поднялась новая волна мятежей. Положение Москвы заметно ухудшилось. Добрые вести о победах все чаще сменялись донесениями о тяжелых поражениях.

Алексей взволновался.

— Я сказывал, сказывал я, — топал он ногами на ближних, — колико раз сказывал, что не верую в великие завоевания! Все вы с Никоном государя во искушение вводите, суки! Отродье сучье!

Но Никон, Милославский и другие твердо стояли на своем. Переждав, пока царь извергнет весь запас гневных слов, они принимались доказывать необходимость продолжения войны.

— А казна?... Казну где сдобудете? — слезливо уже спрашивал царь.

— Сдобудем... Не кручинься, преславный, все сдобудем тебе, — упрямо отвечал патриарх. — А что до людишек, гораздо живучи людишки, всяческие напасти повынесут. Вынослив, гораздо вынослив российский смерд.

Милославский подсовывал царю кипы приказов о новых тяготах и мытах. Алексей с глубоким вздохом, не читая, подписывал бумаги. Чувствовали себя отменно одни лишь торговые люди, забрасывавшие царя богатыми дарами и на всех перекрестках превозносившие его мудрость и доброту. И, действительно, жилось им отлично — война, обрекшая страну на голодный мор и разорение, была для них желанным праздником.

Милославский отдал торговым гостям все кабацкие откупа и подряды на поставку для войск. Но важнейший торг, приносивший огромные барыши, Алексей объявил царской монополией. Торговлей льном, щетиной, конским волосом, медом, воском и всем, что вывозилось за рубеж, распоряжался исключительно царь, предоставивший богатые льготы «аглицким немцам».

Точно паутиной, опутали англичане всю Московию сетью торговых приказов.

Зато в безвыходном положении очутились мелкие торговые люди. Они не только не могли продавать свои товары по той же цене, как иностранцы, но вынуждены были закрывать лари и спускать за бесценок все свое добро, чтобы только как-нибудь выплатить мыту.

\* \* \*

Приказные изо дня в день обходили избы мелких торговых людишек и ремесленников со сбором податей.

Отец Тани, обезмоченный тяглом и голодом, давно распустил работных и забросил свое гончарное дело. Однако подьячие не оставляли его, донимая непосильными придирами.

Настойчивей всех был приказный Туляк. Он отобрал все, что было у Григория, и грозился продать за недоимки избу, и старика забить на правеже.

Григорий слушал, смиренно сложив руки на высохшей груди, и шамкал в ответ одно и то же.

— Твоя сила... Как поведешь, таково и содеется... А мы что? Мы — немочны...

Как — то Туляк пришел к гончару поздно вечером. Заслышав его шаги, Таня юркнула в закуток и с головой зарылась в солому.

— Здоров ли, хозяин? — потрепал подъячий Григория по плечу. Старик покорно уставился на икону.

— Здоров... Прогневал я Господа. Маюсь-маюсь на земли, а все не жалуется смертушка.

Туляк снял шапку, расчесал пятерней реденькую щетинку на голове и присел на лавку.

— Чего таращишься? Аль не признал? — улыбнулся он, скаля изъеденные тычки зубов.

От неровного света лампы рябое, с провалившимся носом лицо приказного казалось еще более страшным, чем обычно.

— Мы что же... Мы рады, — смиренно ответил старик.

Забрав в рот полинявшие усы, приказный хитро покосился на закуток.

— Что за пригода — в кой час не приди, а все ты один?

Гончар вздрогнул, испуганно поглядел на гостя.

— Кому же и быть в избе?... Девка, так ты нешто удержишь? Почитай, и не зрю ее. Все прокорм ищет, — он, тяжело вздохнув, перекрестился. — Где уж нам прокормить ее. Самому впору ноги с гладу-холоду протянуть.

Туляк порывшись за пазухой и вытащил узелок.

— Чать и мы крещеные, не татары какие... Для ради дружбы нашей попотчую я тебя пирогом с кашею да чарочкой.

«Не иначе, к Таньке моей подбирается, карпаты дьявол», — подумал гончар, бледнея, но сдержавшись, отвесил земной поклон:

— За милость, за честь спаси тебя Бог.

Достав с полочки глиняный черепок, он протер его начисто рушником и подал гостю. Туляк налил в черепок вина.

— Кушай на добро здоровье.

Гончар испуганно замахал руками.

— Куда уж! Стары мы стали... Прошла наша пора хмельное лакать.

— Пей! — стукнул Туляк кулаком по столу.

Гончар послушно проглотил вино. Горячая волна обдала его грудь, быстро откатилась к ногам и жгучим потоком хлынула к закружившейся голове. Он зашатался и, ухватившись за край стола, разразился удушливым кашлем.



— Не приемлет душа, — выдохнул он, отдышавшись немного. — Стар я и отощамши.

Туляк усадил старика подле себя.

— Присаживайся. Не из тех я, чтобы кичиться с черными рядышком сиживати! — Он выпрямил грудь и многозначительно причмокнул: — А был бы ты, Григорий, посмышленей, не ведать бы тебе ни кручины, ни горюшка.

С вожделением поглядев на пирог, Григорий неуверенно потянулся к нему. Вдруг он вскочил из-за стола и всплеснул руками.

— Господи, я-то потчеваюсь, а Танька с утра не жрамши!

Он просунул голову в закуток и крикнул:

— Танька! Иди пирога отведать приказного.

Туляк фыркнул.

— Ну, вот, потеря-то и нашлась.

Старик опомнился-повернулся к приказному с ребячьей улыбкою.

— Нашлась?... Да где ж она?

Он бессмысленно засеменял по избе и, открыв ногой дверь, трескуче прокричал в темноту:

— Танька!... А, Танька!

Туляк встал из-за стола и тяжело опустил руку на плечо гончара.

— Хитер ты, старик, да не хитрей меня!

Стараясь изобразить на лице разочарование, гончар опустил на лавку.

— А я и впрямь в думку взял, вернулась-де Танька. Ан нету.

Приказный склонился к уху хозяина:

— Коли по правде, дочь твоя, хоть годами давно быть ей в женках надобно, а куда как солодка еще. Так бы за подол и держался...

Он шагнул в закуток и, в темноте нащупав под соломой Таню, втащил ее в избу.

— Смерд!... Так-то ты правду сказываешь царевым людям?

Таня вырвалась из рук Туляка, подбежала к отцу. Ее исхудалое лицо залилось багровым румянцем, тонкие извивы бровей собрались в одну вздрагивающую, точно ползущую на врага, змейку; жесткие морщинки пролегли на лбу и у углов рта, а глаза засветились граничащей с безумием злобой.

Туляк понял, что ничего силой не сделать, и решился на хитрость. Нахлобучив на глаза шапку, он тщательно завернул в тряпицу остаток

недоеденного пирога, сунул в карман флягу и безразличным голосом объявил:

— Обряжайся, красавица, да, благословись у родителя, иди на двор тюремный.

Григорий упал в ноги ему:

— Меня казни, а девку помилуй!

— Не ты с разбойником Савинкой в языках ляцких служил, не тебе и ответ держать. — ответил приказный и резко повернулся к девушке:

— Кому я сказывал? Обряжайся!

Григорий подполз к дочери, припал к ее коленям.

— Поддайся!... Отца для, поддайся! Лутче в блюде с ним жить, чем сгинуть в узилище без покаяния.

Туляк удивленно оглядел старика и разразился самодовольным смешком.

— Вот то умственные глаголы! Чуешь, бабонька. — великоумственно родитель сказывает.

Таня решительно накинута на себя епанчу и, поклонившись отцу, взялась за ручку двери.

— Краше на дыбе Богу душу отдать, нежели с катом сим безносим хоть малый час миловаться. Тьфу, рыло карпатое!

— Примолкни! — взревел приказный и, отшвырнув ногой старика, выскочил за Таней на улицу. — Я вот, ужо, тебя!... Не наклоняешься еще карпатоу.

Таня не ответила и зашагала быстрее.

У Земляного города она подозрительно остановилась.

— Куда ведешь?

— Куда? Вестимо, в застенок.

— А в застенок, так не кружи вороном, веди прямою дорогою.

Из— за переулка вышел дозорный стрелец. Туляк обрадованно окликнул его и, приказав Тане не двигаться с места, пошел к нему навстречу.

Таня, пригнув голову, напряженно прислушивалась к шепоту, но, кроме ехидного смешка, ничего не могла разобрать.

Рассказав все, что нужно было, стрельцу, Туляк передал ему узелок и, переждав немного, неохотно полез в карман за флягой.

— Мшелом жалует — догадалась Таня и почувствовала, как понемногу вползает в нее страх.

— Гайда! — прикрикнул стрелец и больно ударил девушку кулаком по спине.

Они долго кружили по окраинам, пока не остановились наконец подле тайной корчмы.

Из избы глухо доносились песни, хохот, хмельная брань. Приказный трижды отдельно постучал в дверь и, отойдя к оконцу, отсчитал еще пять торопливых ударов.

Притихшая было изба вновь ожила, признав условные стуки. Щелкнула щеколда, и в дверях показалась встрепанная голова старухи.

— Кого Бог дает в полночи?

Стрелец, втолкнув Таню в сени, тотчас же исчез.

Таня бросилась к выходу, но кто-то упал ей под ноги, и она шлепнулась на пол.

В избе стоял дым коромыслом. Хмельные приказные и служилые люди, увидев Туляка, бросились встречать его. Навалившиеся на Таню мужики скрутили ей руки и втоптали в горницу. Сквозь едкий дым и пар Таня увидела нескольких девушек, разместившихся вдоль стены на лавке.

Одна из них, по приказу хозяйки, поднесла гостье чарку вина. Таня замотала головой, мертвенно стиснула губы. Тогда старуха, перемигнувшись с Туляком, поклонилась Тане в пояс и неожиданно изо всех сил ударила кулаком по зубам. Девушка стукнулась затылком об стену. Алые струйки крови медленно поплыли по подбородку.

Туляк, не обращая внимания на свою полонянку, уселся за стол и потребовал вина.

— Неужто муж аль родитель приказному продал? — спросила Таню соседка, заботливо вытирая с лица ее кровь.

— Кривдой увел! — жестко свернула глазами девушка.

— А нас родители продали... За недоимки.

И, точно оправдываясь перед кем-то, виновато потупилась.

— Нешто одюжить людишкам немочным подать цареву?

Всю ночь бражничали приказные. Таня защищалась до последней возможности и сдалась лишь, когда потеряла сознание.

Под утро Туляк вышел как бы за своим делом на улицу. Поджидавшие на углу языки тотчас же ринулись в избу. Перепуганная

хозяйка попыталась бежать через окно, но ее схватили и с силой бросили об пол.

Приказные наспех одевались, дружелюбно переговаривались с языками.

— То мы нарочито и ноченьку ночевали в вертепе сем непотребном, чтобы без обману прознать, зря ли болтают, аль впрямь тут блудные твари на искушение христианам гнездятся.

Девушек, обвиненных в блуде, вместе в хозяйкой погнали в застенки. С ними уволокли и Таню.

## ГЛАВА VI

Великая сила мастеровых и мелких торговых людишек собралась после обедни на Красной площади, у храма Василия Блаженного.

— Волим к царю с челобитною!

Ближние люди цареви набросились с кулаками на стрелецких полуголов.

— Так-то блюдете вы покой государев?

Служилые виновато отступали.

— Нешто можно нам православных христиан в храм не пущати?

Алексея всполошил рокот толпы. Когда отошла служба, он, посоветовавшись с Милославским, приказал допустить к нему челобитчиков.

Точно изваянный из камня и золота, сидел на троне важный и недоступный царь. Рядом с ним, такой же величественный и строгий, восседал, опираясь на палицу, патриарх. Ниже, до отказа задрав бороды к подволоке и выпятив животы, разместились на лавке ближние бояре.

Объятые трепетом, по одному, вползали на четвереньках выборные. Колотясь головой об пол, они благоговейно лобызали царский сапог и неслышно отталкивались в сторону. Когда обряд целования окончился, Алексей разрешил челобитчикам встать.

— Сказывайте, по какой пригоде пожаловали.

Выборные переглянулись, но никто из них не решался заговорить. Тогда Никон наугад ткнул посохом в первого попавшегося старика.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, реки.

Старик, покряхтывая, опустился на колени и жалко уставился на царя

— Лихо нам, государь, горемычным сиротинам твоим!

— Лихо? — поморщился Алексей и с недоумением поглядел на патриарха.

Милославский заерзал на лавке и погрозил кулаком челобитчику.

— Лихо! — повторил выборный, не заметив угрозы Милославского. — Не дай, нам, преславный, природным своим холопам и сиротинам, от иноверцев и приказных жить в скудости и нищете.

Никон гневно поднялся.

— А ведомо ль вам, какую годину мать наша. Русь православная, переживает?

Царь остановил его мягким движением руки

— Не сбивай. Пушай печалуется да помнит что всяческая слеза сиротин моих — моя слеза.

Ободренный старик благодарно коснулся губами государева сапога.

— А бьем челом на том, государь, чтобы все были в тягле и в свободе иль в льготах равны, чтоб во всем народе мятежа и розни не было.

Милославский еле сдержался, чтобы не наброситься на смелого челобитчика. Алексей же, умиленно уставившись на образа, зашептал пухлыми губами молитву и, кончив склонился к выборному

— Восстань!

В повлажневших глазах царя сквозила скорбь.

— Воистину, тяжело испытует Господь людишек моих!

Он закрыл руками лицо и сокрушенно покачал головой:

— А то неспроста: за грехи наказует Господь За грехи плачет кручинная наша земля.

И, повернувшись неожиданно к патриарху, полным голосом крикнул:

— По делом человек и отпускается им! Да мы не печалуемся, не ропщем!

Патриарх сурово поглядел на присмиривших челобитчиков.

— Молитесь о временах мирных. Ибо ныне, в годину брани и испытания, ропшут токмо недруги государевы.

Выборные, поклонившись царю, ушли из Кремля. На Красной площади было уже пусто: окольный, пока послы были у царя, убедил толпу разойтись.

\* \* \*

— Все от Никона, все от ереси его богомерзкой, — шептались по уголкам посадские и торговые люди. — Не было новой веры, мерзкой Богу, не было и лютых напастей на православных.

Чтобы избавиться от насилий царевых людей и никонианцев, «повелевающих кланяться болванам», многие побросали дома свои и ушли в леса и скиты на соединение с вольницами и на «подвиг спасения души». Но и в самой Москве, и в других городах раскольники, чувствуя за собой силу, повели открытую борьбу против Никона.

Протопоп Аввакум, вернувшийся из мезенской ссылки, куда отправил его патриарх, не только не смирился, но еще пуще осатанел. В одно из воскресений, дождавшись выхода народа из церкви, он истошным голосом крикнул:

— Молитесь, православные! Приближается бо кончина мира, и антихрист уже пришел, двурожный зверь. Един рог — царь, другой — Никон.

Площадь окружили, точно выросшие из земли, стрельцы. Голова взмахнул бердышом.

— Бей!

Но пораженные неслыханной смелостью протопопа, бесстрашно продолжавшего свою исступленную речь, стрельцы обнажили головы и не двинулись с места.

— И царь, и патриарх, и все власти поклонились антихристу! — дергаясь, выкрикивал протопоп и грозил кулаками в сторону укутанного в туман Кремля.

Потоками огненного ливня падали в сердца людей эти слова. И хотя многие, не искушенные в книжных спорах, не понимали истинного смысла речей, все они горели таким же бурным пламенем, как и сам Аввакум. Им все равно было, что послужило началом борьбы с государем, спор ли о книгах богослужебных или о

двоеперстным кресте, они знали одно, понятное всем обезмоченным людишкам, — Аввакум ненавидит сегодняшние порядки, а кто восстал против порядков, с тем всякому нищему по пути.

Как очумелый, прибежал Ртищев к Никону.

— Хула на государя... и на тебя, патриарх! — выпалил он, задыхаясь от бега.

Никон по— отчески обнял постельничего.

— Не кручинься, чадо мое Ведаю про все и спослал великую силу монахов противу того Аввакума... Рейтарами переряженные, покажут они еретику, как смутой смутить!

Усадив Федора подле себя, патриарх показал ему цидулу от нижегородского воеводы.

— Корепин? — подпрыгнул от неожиданного Ртищев и широко разинул рот.

— Оный и есть!

Придя немного в себя, Федор решительно взялся за шапку.

— Куда?!

Постельничий гордо выпятил хилую грудь. Острые плечики его откинулись назад. Казалось, стоит ему взмахнуть тонкими плетями рук, и, полный порыва, оторвется он от земли, ринется в бой с самим небом.

— Сам, своими перстами удавлю поганого смерда! — взвизгнул он. — К государю пойду!

И, не слушая увещаний едва сдерживавшего смех Никона, бросился в сени...

Алексей принял Ртищева в опочивальне.

— Не набедокурил ли сызнов?

Федор упал на колени.

— Не я, Корепин набедокурил!

Ничего не понявший царь раздраженно насупил брови.

— С коих пор повелось, чтобы царей тревожить челобитною на Корепиных неведомых? Аль повышли у господарей батоги?

Постельничий стукнул об пол лбом.

— Не с челобитною я, а с вестью недоброю. Корепин, тот самый, что в языках ляцких ходил, холоп мой беглый, разбоем ныне промышляет на Волге. Атаманом ходит!

Поднявшись с колен, он умоляюще поглядел в посеревшее лицо государя.

— Покажи милость, отпусти меня на рать противу изменника!... Дай мне, сиротине твоему, великою потехой потешиться — сими перстами изменника удавить.

Алексей пытливо уставился на постельничего.

— Нешто и он блудил с Яниной, что так распалился ты противу него?

Но, заметив, как помертвело вдруг лицо Федора, дружески улыбнулся:

— Не гневайся, Федька, то не от сердца я. С юных лет верю в чистое сердце твое... А посему благословляю тебя на рать.

\* \* \*

Вечером царица Анна, выпроводив от себя боярышень, мамок и шутих, осталась вдвоем с Марфой.

— Лихо! — вздохнула она, подперев рукой двойной подбородок.

Боярышня недоуменно подняла голову

— Уж не занедужила ли от ока дурного?

Царица положила вздрагивающую руку на голову Марфы.

— Я-то здрава, что со мной содеется... А с тобой вот — лихо.

— Со мной?...

Понизив голос до шёпота, царица приблизила губы к уху боярышни:

— Пожаловал братец мой Ртищева воеводой противу разбойных людишек.

Напуганная было таинственным видом Анны, боярышня облегченно вздохнула.

— Неужто же мне кручина сия в кручину? Лети, соколик, воронам на потребу!

— Дура! — рассердилась Анна и больно ущипнула боярышню. — Аль век задумала в девках сидеть?

\* \* \*



Федор стал частным гостем царевны. Едва освободившись от дел, он, пользуясь правом ближнего человека царева, не испрашивая разрешения, уходил на женскую половину дворца.

Поклонившись до земли Анне, он усаживался на краешек лавки и неизменно начинал с одного и того же;

— Вечор из пищали стрелял. Ратному делу навывчаюсь. Так вот — ворон, а так вот — я.

Царевна улыбалась и подсаживалась ближе к гостю.

— И каково?... Убил ворона, а либо ранил?

— Покель не поддается проклятая птица. Каркает, а чтобы помереть или раниться — ни в какую!

Марфа, не вмешиваясь в разговор, усердно занималась рукоделием. Лишь изредка она печально осматривалась по сторонам, глубоко вздыхала и, хрустнув пальцами, снова склонялась над работой.

— Об чем тужишь? — спрашивала тогда царевна и щурилась на Федора.

Ничего не подозревавший постельничий виновато опускал голову и молчал...

Однажды Ртищев пришел в светлицу необычайно возбужденный и радостный.

— А боярышни нету? — спросил он, прикладываясь к руке царевны.

— Ишь ты, без боярышни и не дыхнет, — лукаво погрозила Анна.

— Я не к тому... Я чтобы поклон отдать. Отъезжаю.

Царевна вздрогнула и отступила. Игравшая на ее лице приветливая улыбка исчезла.

— Все то вы, мужи, как один! Закружите, завертите девичьи сердца наши непорочные, а сами, как соколы, встряхнулись, крылами взмахнули и нету вас!... А я-то думала, Федор-де не из таковских!

Хотя Федор продолжал ничего не понимать, сравнение с соколом весьма польстило ему.

— Да оно хоть и сокол я, сдается, не клевал будто я сердца боярышни... Чтой-то не разумею.

Анна подошла вплотную к гостю и строго поглядела в его глаза.

— Лукавишь!... Иль не зрю я, что иссохлась Марфинька по тебе?

Она усадила опешившего постельничего на лавку и принялась рассказывать, как тает от любви к нему боярышня.

\* \* \*

Ртищев ушел от царевны преображенный.

— Ну, какой я муж ратный, коли ворона убить не могу? — настойчиво спрашивал он и с наслаждением повторял слова, сказанные ему царевной:— Мое дело ученья свет возжечь в сердцах человеческих, а не из пищалей палить... Так ли?

— Так, так! — поддакивали собеседники и спешили отделаться от навязчивого постельничего.

У Троицких ворот, по дороге к царю, Федор встретился с Львовым.

— Здорово, воевода! — ядовито ухмыльнулся князь, свысока оглядывая Ртищева.

— Ну, какой я воевода, коли ворона убить не могу, — воспользовавшись случаем, остановился Федор.

— Доподлинно, — охотно подтвердил Львов, — воевода из тебя, что попу из бабьего сарафана риза.

Ртищев так был занят своими мыслями, что не понял обидной шутки.

— Вот, вот... Тоже и я реку! Еще греческие философы поущали...

Князь заткнул пальцами уши и трижды сплюнул.

— Не погань ты слуху нашего словесами языческими. За твои за философии, кол бы осиноый тебе всадить да в монастыре Андреевском на крыльце приладить на радости еретикам.

Федор растерянно попятился и обратился к дозорному стрельцу:

— Ну, обскажи хоть ты... Я ему про воеводство...

Но тотчас же осекся и почти бегом направился к царевым палатам.

Алексей, предупрежденный сестрой, встретил Ртищева с широкой, во все лицо, улыбкой.

— Едем?

— Коли воля твоя, еду, преславный...

— А может, застанемся?

Постельничий упал в ноги царю.

— Застанемся, государь! Ну какой я муж ратный, коли из пищали ворона убить не могу?

Царь помог встать Ртищеву и обнял его.

— А слыхивали мы от сестрицы, будто смутил ты сердце боярышни Марфы... Так ли?

— Так, государь! — залился гордым румянцем постельничий.

— Коли так, вместе тебе и побрачиться с нею.

— Коли воля твоя, государь...

— И добро. Быть по сему.

## ГЛАВА VII

После женитьбы Ртищев забросил все свои дела и ни на минуту не разлучался с женой. Он старался предугадать каждое желание Марфы, потакал малейшей ее прихоти. В первое время молодая стойко переносила присутствие мужа. Иногда ее просто забавлял этот маленький человек, наряженный в польский жупан, вечно суетившийся и строивший самые неразумные планы преобразования государства. Но вскоре ей прискучили бесконечные ласки, слюнявая любовь и постоянная болтовня мужа.

— Ты бы, чем дома сидеть, — предложила она однажды, — творил дела какие добрые во имя Христово.

Ртищев, как всегда, увлекаясь, страстно ухватился за мысль жены. Едва дождавшись утра, он отправился к ближайшей церкви и там, склонившись перед распятием, долго и смиренно вымаливал благословения на какой-либо достойный христианина подвиг. После обедни, разомлевший и ни до чего не додумавшийся, он пробрался в алтарь и таинственно поманил к себе священника.

— Жажду подвигов христианских, отец, а за что приняться — в толк не возьму.

Поп одобрительно покачал головой.

— Похвально, чадо мое, гораздо похвально.

И с едва скрытым презрением оглядел жалкую фигуру постельничего. «В колпак бы тебя обрядить, чтоб малых чад потешал, вон оно тебе дело какое под стать», — подумал он, а вслух с чувством произнес:

— А хочешь великое добро сотворить, внеси лепту свою на храм сей и да почиет на тебе благодать дара духа свята.

Ртищев, ожидавший дельного совета, раздраженно поморщился.

— У тебя, отец, токмо и глаголов, что о лепте на храм сей да о нуждах своих. Ты бы хоть единожды иному деянию вразумил.

Но, тотчас же раскаявшись, виновато уставился на образа:

— Прости, Христа ради, лютость мою... Ныне же внесу тебе свою лепту, токмо вразуми на подвиг.

Поп обещал подумать и дать к вечерне ответ.

Федор, томимый жаждой сделать что-либо такое, что было бы угодно Богу и пришлось бы по нраву Марфе, затрусил на своем скакунке по улицам. Несмотря на праздничный день, улицы были почти пусты. Лишь изредка попадались дозорные да, обдавая пылью, с треском и грохотом проносились одинокая колымага.

Постельничий свернул к окраине. Порасспросив у приказных о жителях, он решил наиболее нуждающихся одарить богатой казной. Мысль показалась ему удачной. Он приободрился и повеселел.

— Всех одарю... Достойных и недостойных!

Однако чем ближе подъезжал он к заставе, тем неприятней скреблось в груди чувство какой-то странной неудовлетворенности. «Ну, пожалуйешь их казной, а на долго ли умилишь тем их жизнь? — думал он. — Токмо и радости, что напьются с гладу и в сугубые грехи ввергнут души свои...» Вдруг он остановил коня и шлепнул себя ладонью по лбу.

— Эвона!... Погоди!...

И в страшном возбуждении поскакал домой.

— Надумал я, Марфинька! — воскликнул он, повисая на шее у жены. — Грядет час, в кой ни единого на Москве не застанется хмельного человечиска!

Марфа высвободилась из объятий мужа и показала ему рукой на лавку.

— Садись, а там и потолкуем.

Вскоре, испросив разрешения у государя, постельничий занялся постройкой огромного приюта для пьяниц. Он так увлекся своей новой затеей, что почти не бывал дома и совсем позабыл о существовании Андреевского монастыря.

Марфа, предоставленная самой себе, с первых же дней заскучала. Ей нечем было заполнить свои дни, и они проходили, один за другим, долгие и безрадостные. Федор возвращался с работы ночью и заставлял Марфу уже в постели. Наклонившись к жене, он с отеческой заботливостью и нежностью глядел на похудевшее лицо ее, не смея громко вздохнуть, чтобы не потревожить ее тихого сна. Но Марфа не спала, чувствовала на себе взгляд мужа. Ей становилось жалко его, хотелось привлечь его к себе, поделиться с ним своей тоской, и она готова была протянуть к нему руки, мягко-мягко окликнуть его — но еще плотней закрывала глаза и гадливо кривила губы...

Осенив крестом жену, Федор бочком уходил к себе, и помолясь, укладывался в постель. Поутру, едва потрапезовав, он садился на своего скакунка и мчался к месту постройки.

Быстро, точно из-под земли, выросли затейливые хоромы. Ртищев не жалел казны на украшение и внутреннее убранство приюта. Все терема были расписаны нарочно приглашенными для этого иноземными мастерами. В трапезной на стенах был изображен ад, в котором на раскаленных углях извивались в страшных корчах грешники, имевшие в земной жизни пристрастие к вину, а на подволоке, у престола Господня, ликовали, предаваясь обжорству и пьянству, трезвенники и постники.

В день открытия приюта сонм духовенства служил торжественное молебствование со здравицей «великому заступнику человек противу козней лукавого, рабу Божию Феодору». Вся московская знать собралась в приют. Федор восседал в высоком кресле и, сложив руки на животе, застенчиво выслушивал поздравления.

Гости пировали и бражничали до поздней ночи. Отяжелевшие от обильных возлияний, попы неустанно перед каждой чарою хрипели хозяину многая лета, лезли к нему лобызаться. Ртищев, полный сознания своего величия, важно оттопыривал губы и почти все время молчал.

— Пейте, кушайте на добро здоровье! — изредка, как заученный урок, повторял он.

Толпы людей загромождали улицу, примыкавшую к приюту, давили друг друга, вступали в бой за лучшее место. Каждому хотелось хоть одним глазком взглянуть на ломившиеся от яств столы.

— Эх бы в хоромины допустили! — то и дело вслух мечтали людишки, залепившие окна трапезной. — Токмо бы погладить того пирожка да бражки нюхнуть!

Им отвечал бесшабашный смех забулдыг.

— Дурехи! Нешто не для вас хоромы поставлены?

Задирая головы, забулдыжные люди, бродяги бездомные, торжественно, в тысячный раз, повторяли:

— При-ют для пьяниц... Так и прописано; для, дескать, пьяниц!

Наконец пир окончился. Дремавшие в сенях холопы, услышав оклик дворецких, ринулись в трапезную и понесли к колымагам перепившихся до бесчувствия господарей и попов.

\* \* \*

Ртищев завел дружину, которая с утра до ночи расхаживала по Москве, подбирая пьяных.

Приют был всегда переполнен. Каждый, кому нечего было есть или становилось неумоготу жить без крова, подбирался поближе к усадьбе постельничего и, прикинувшись пьяным, валялся наземь, оглашая воздух площадной бранью и разбойными песнями.

— Боже мой, Боже мой... Потеряли людишки человеческий образ, — заламывал Федор руки в истинной скорби и слезливо глядел на безучастную жену. — Нешто пойти?

И, не дождавшись ответа, спешил на улицу.

Остановившись над «спасаемым», он тут же, на глазах огромной толпы зевак, принимался читать заговор против запоя.

— Слышишь ли, диавол? Слышишь ли, змий зеленый? — восклицал он, обегая трижды вокруг «пьяного».

— Слышу, — следовал обыкновенно ответ, сопровождаемый отвратительными ругательствами.

Федор срывал с себя шапку и чертил над лицом мужика таинственные знаки.

— Ты, небо, слышишь, ты, небо, видишь, что хочу я сотворить над телом раба...— Он подталкивал ногой отчитываемого и кричал:— Имя?

Кто— либо из дружинников или толпы называл первое приходившее на ум имя. Тогда Ртищев продолжал:

— Тело Маерено, печень тезе. Звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода от загарного студенца.

Двое дружинников прыгали на живот «пьяного» и, жестоко колотя себя в грудь, подхватывали рыкающими голосами:

— Месяц ты красный, сойди в мою клеть, а в моей клети ни дна, ни крыши! Солнышко ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей!

Ртищев взмахивал рукой, и вся толпа тянула проникновенно за ним:

— Звезды, уймите раба от вина; месяц, отврати раба от вина; солнышко, усьмири раба от вина.

После короткого молчания постельничий поднимал высоко руку и властно изрекал, изгоняя зеленого змия:

— Слово мое крепко. Аминь.

Дружинники уносили «спасенного» в приют, разделенный, по совету приходского попа, на три части: для хмельных, протрезвившихся и исправившихся.

Ровно в полдень, Федор, строгий и полный сознания важности творимого дела, являлся в приют. За ним, навьюченный книгами из священного писания, выкидывая ногами кренделя и строя уморительные рожи, двигался приютский староста, исцеленный по убеждению постельничего от «пагубного пристрастия к зеленому змию».

— Смердит! — брезгливо дергал носом постельничий.

Староста бросал книги на стол и, растворив окно, злобно плевался.

— Ироды не нашего Бога! Сколько раз наказывал я вам подпускать благодетелю нашему вольного духу.

Ртищев восхищенно взглядывал на старосту и садился за стол.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

— Аминь! — отвечали «протрезвившиеся».

Начинался урок.

Староста стоял на коленях, лицом к слушателям, и, колотясь время от времени об пол лбом, пришептывал:

— Во!... Вот так премудрости... А и да наших, православные!

Наконец, перекрестившись в последний раз, Ртищев закрывал книгу и бессильно запрокидывал голову.

— Прониклись ли, люди?

— Прониклись!

Староста, зайдя за спину господаря, подмигивал кому-либо из товарищей. Лица призреваемых заметно оживлялись. К столу подползал посол.

— Благодетель, — произносил он с расстановкою, — дозволю ударить челом.

— Восстань, сиротина, ибо токмо пред Господом вместе на коленях стоять человекам, — отвечал Ртищев.

Челобитчик всхлипывал и протягивал к нему руки.

— Не восстану, покель не смилуешься над нами!

— А коли Божье дело, уважу, — милостиво изрекал постельничий.

Призреваемые срывались с мест, точно подхваченные ураганом.

— Неужли ж не Божье, коли без похмелья не миновать помереть нам без малого!

Ртищев возмущенно поднимался и отступал ближе к двери.

— Так-то вы прониклись глаголом Божьим?

Староста припадал к его руке и с чувством восклицал:

— Благодетель!... Ты ли, кладезь премудрости, не разумеешь, что пьяному без похмелья тверезым не быть? Токмо по чарке единой, задави ее брюхо ежовое!... Чтоб добежал бес из души христианской, яко бежит от лица Господа ненавидящий имя его... Токмо по чарке, брюхо ежовое!

— А не дашь, — перебивая друг друга, кричали людишки, — в Москва-реку бросимся, утопнем! На тебя смертный грех перекинем.

Перепуганный угрозами, Федор устремлял взгляд на иконы.

— Нешто по единой чарке на смерда?

И сурово поднимал к небу руку:

— Даете ли обетование в остатний раз ныне пить и закаяться до скончания живота?



— Даем, благодетель!

Пошептавшись со старостой, постельничий удрученно качал головой.

— Быть по сему. По единой отпустится вам.

Так происходило изо дня в день до тех пор, пока однажды, подожженный перепившимися призреваемыми, приют не сгорел до основания.

## ГЛАВА VIII

Марфа почти не вставала с постели. Она осунулась, постарела, постоянно брюзжала. Федор боялся показаться ей на глаза и держался так, чтобы присутствие его не было заметно в хорах. Только в большие праздники он брал на себя смелость приглашать в гости кое-кого из близких своих друзей и униженно упрашивал жену поддержать заведенный «иноземный порядок» и показаться гостям.

Марфа неохотно вставала и, набелившись, ненадолго выходила в трапезную.

Тень улыбки, малейшее оживление Марфы — наполняло истосковавшееся по ласке сердце Ртищева глубокой радостью и надеждою. Он готов был расцеловать гостей, сумевших вывести из оцепенения его жену. Но зато всякое неосторожное слово приводило его в бешенство. Он резко останавливал каждого, чьи шутки и болтовня действовали, по его мнению, раздражающе на Марфу. С людьми же, осмелившимися сказать ей открыто грубость, он порывал навсегда.

Так случилось с раскольниковым попом Логгином. Несмотря на различные взгляды на веру, Федор относился к Логгину с большим уважением и старался поддерживать с ним дружбу. На ехидные насмешки друзей он гордо отвечал, что «всяк, кто исповедует Иисуса Христа, приходится ему братом», и ссылался на государыню, поминавшую в своих молитвах ревнителей старины.

Встретив однажды Логгина на улице, постельничий зазвал его к себе, чтобы на досуге побеседовать о делах веры. Марфа, узнав о приходе раскольника, пожелала выйти к нему.

До появления жены Ртищев был ласков с попом, почти во всем с ним соглашался и даже попросил «изъять дух недугующий в сердце

рабы Божьей Марфы». Поп говорил с ним так же дружелюбно, ласково, но когда Марфа, почтительно склонившись, вошла в трапезную и сложила на груди руки в ожидании благословения, Логгин, схватив вдруг шапку, попятился к двери.

— Нету тебе благословения моего!... Гораздо ты набелена... И лика не видно!

Федор вспылil, подскочив к гостю, брызнул ему слюною в лицо.

— Ты, протопоп, белила хулишь, а без них и образа не творятся!

Логгин легким пинком далеко от себя отшвырнул постельничего.

— Пшел прочь, Никоново охвостье!... Недостойн ты про образа поминать.

Ртищев ринулся к нему, все опрокидывая на своем пути и вереща:

— Раскольник!... Ворог церкви Христовой!... Вор!

Но протопоп не слышал его — гордо запрокинув голову, постукивая тяжелым посохом, он уже ушел со двора. Марфа с уничтожающей усмешкою поглядела на мужа.

— А кого еще удосужишься мне на потеху доставить?

Федор вобрал голову в плечи и прижался к стене. Марфа вышла из трапезной, изо всех сил хлопнув дверью.

Тогда, прокравшись в сени, Федор приказал дворецкому немедленно снарядить холопов в погоню за Логгином.

Людишки, вооруженные дрекольем, выстроились на дворе. Постельничий принял на себя командование и, пылая жаждой отмщения, пошел на врага. Однако дойдя, до ближайшего переулкa, он неожиданно изменил план действий и, распустив рать, помчался с челобитного к патриарху.

\* \* \*

Собрав на Арбатской площади огромную толпу, Логгин и другие раскольничьи пророки произносили страстные проповеди, призывая народ к борьбе с никонианами.

Уже смеркалось, когда Логгин, благословив народ, зашагал на покой в ближайшую часовенку.

В глухом переулке его вдруг окружили монахи и, связав, поволокли в застенок.

Сам патриарх чинил допрос протопопу. Присутствовавший тут же Федор, ехидно скаля зубы, тыкал в лицо Логгину кистью, смоченною белилами:

— Накось, отведай радости бабьей... Попотчуйся!

Никон с улыбкой удерживал постельничего и продолжал допрос.

Узник упрямо молчал.

— Опамятуйся, протопоп! — в последний раз предложил патриарх. — Все отпущу тебе и пожалуй великими милостями, ежели отречешься от ереси.

Логгин гневно воскликнул в ответ:

— А не имат власти двурожный зверь судити христиан православных!

— В железа его! — бешено затрясся Никон. — В яму его, христопродавца!

\* \* \*

Со всех концов страны приходили на Москву печальные донесения. На Украине волновались казаки, шведы и поляки продолжали наступление, а внутри страны все жарче разгорались огни мятежей.

Вольница Корепина выросла в войско, соединилась с другими ватагами и сеяла смерть среди помещиков и царевых людей.

На борьбу с мятежниками выступила сильная рать рейтаров. Рейтары никого не щадили, сжигали на пути своем деревни, села, нивы и пастбища.

У нижегородских лесов они соединились в один стан и вступили в бой с главными силами вольницы.

Враги безжалостно уничтожали друг друга. Горели леса. Объятые пламенем люди теряли рассудок, сгорали заживо, но не сдавались. Трупы заволокли дороги, отравив воздух удушливым смрадом. Запах мертвечины пропитал одежды, тела и души живых.

— Поддайтесь на милость царя, — предлагали рейтары, сходясь лицом к лицу с отрядами мятежников.

— Краше смерть, чем лютый глаз и неволя у царевых и никоновых воров! — редела ватага и бросалась в смертную схватку.

Однако рейтары были вооружены с ног до головы; каждый день прибывали к ним на подмогу новые силы и у них было много обозов с прокормом. Под конец полуголодные ватаги не устояли, откатились глубже, в лесные трущобы. На Москву поскакали гонцы с вестью о «славной победе над воровскими людишками».

После трехдневного отдыха Савинка собрал сход.

Извещенные людьми из вольницы, сюда пришли окольными путями выборные от посадских, торговых и черных людишек, от городских простолюдинов, от крестьян, ремесленников и холопов.

— Как будем жить? — спросил Корепин, низко кланяясь.

— Краше в берлоге с гладу подохнуть, нежели отдаться на милость цареву и треклятых людишек его, — отвечали ему. — Ведомы нам царские милости!

До поздней ночи не унимался лес в страстных спорах людей, пока наконец не было решено вести дальше борьбу против «рогов антихриста» Алексея и Никона.

Распустив сход, Савинка ушел отдохнуть в свою берлогу.

В берлоге под грудой листьев было тепло и уютно, как в сеннике. Савинка с наслаждением потянулся и, подложив под щеку руку, дремотно закрыл глаза.

— Никак крадется кто? — приподнял вдруг голову товарищ Корепина Каплаух.

— Спи, — ответил атаман. — То не враг, а ветер по лесу крадется.

Каплаух примолк. Хмурая мгла нависала все безрадостней и печальней. Сквозь вершины деревьев точно волчьи зрачки глядели звезды... Но вот, как стонущий звук оборванной струны, долетел до берлоги чей-то вздох. Товарищи вострепнулись и сели, прислушиваясь. Вздохи росли, множились, уже можно было разобрать слова кручинной песни.

— Должно, огненное крещение готовится, — догадался Каплаух. До слуха отчетливо донеслось:

И учили жить в суете и вражде.

И прямое смирение отринули.

И за то на них Господь Бог разгневался:

Положил их в напасти великие,

Попустил на них скорби великие,  
И срамные позоры немерные...

Стройная волна хора мягко прокатилась по лесу.

Безживотие злое, супостатные находы,  
Злую немерную наготу и босоту,  
И бесконечную нищету и недостатки последние.

— Пойдем, брателко? — спросил Каплаух.

Савинка мотнул головой.

— Тяжко мне там... Не по мысли.

Однако он выполз из берлоги и поплелся с товарищем на голоса.

Вдалеке вспыхнул костер.

— Так и есть!... Быть крещению, — подтвердил свою догадку  
Каплаух и ускорил шаги.

Песня стихала, принимала к земле, таяла:

Все смиряючи нас наказуя  
И приводя нас в спасенный путь.  
Тако рождение человеческое от отца и от матери.

На середине просторной поляны, у костра, стоял старик. Его белая, подернутая багровыми отблесками пламени, борода касалась ввалившегося живота, землистые космы волос на голове рассыпались по узеньким плечам.

Коленопреклоненная толпа, окончив песню, поклонилась до земли старцу.

— Благослови!

Старик отставил два пальца, трясущейся рукой перекрестил воздух и, не спеша, снял с себя епанчу.

— Братие! — заговорил он чуть слышно. — Ныне радуюсь я и веселюсь, ибо сподобил меня Господь силою некрушимою приять истинное крещение огнем и тем очиститься от мерзопакостных следов Алексеева царства.

Толпа испустила молитвенный вздох. Раздевшийся донага старик подошел вплотную к костру.

— Простите Христа ради, православные христиане! — поклонился старик. — А сподобит Бог, буду по втором неоскверняемом крещении огнем молитвенником вашим перед алтарем Бога живого.

Воздев к небу руки, он нырнул в багряные волны огня.

Притаившийся лес сотрясся от страшного крика и воплей. В дальних кустах залилась испуганным лаем лиса. Ломая сучья, с воем скрылись в трущобах ошалевшие волки.

— Нас не остави!... Молись за нас Господу! — билась о землю толпа. — Заступи перед Господом!

— Уйдем! — хватаясь за плечи Каплауха, шепнул Савинка.

Пораженный мертвенной бледностью атамана, Каплаух поспешно увлек его в берлогу.

## ГЛАВА IX

У Ордын— Нащокина завелось много новых друзей, среди которых особенно выделялся дьячий сын Артамон Сергеевич Матвеев, сумевший в короткое время собрать вокруг себя целый кружок знатных людей.

Матвеев часто устраивал вечера, на которых гости оживленно беседовали о преобразовании Руси. На один из таких вечеров вместе с Нащокиным приехал и Ртищев.

Афанасий Лаврентьевич вошел в дом, как давнишний знакомый и свой человек. Жена Матвеева, шотландка Гамильтон тотчас пригласила гостей в богатый, по-европейски убранный, терем.

Нащокин, заметив, что хозяин то и дело переглядывается с женой, не вытерпел, спросил:

— Не новые ль вести?

— А почитай что и новые, — таинственно ухмыльнулся Матвеев и перевел разговор на другое.

Вскоре из сеней донеслись громкие голоса и смех.

— Князь Никита пожаловал! — воскликнула хозяйка, торопясь навстречу гостям. За ней вышли в сени и мужчины.

— Управителю Посольского приказа и царской большой печати и государственных великих дел обергегателю, Афанасию свет Лаврентьевичу, с низким поклоном многая лета! — рявкнул Романов и полез лобызаться с хозяином.

Позади Никиты Ивановича, широко расставив ноги, оглушительно чихал и сморкался в кулак Борис Иванович Морозов.

— И сыну дьячему, думному дворянину Артамену Матвееву со хозяйкой слава и в делах преуспевание, — подхватил он вслед за князем.

Матвеев густо покраснел, с трудом подавив обиду, поклонился боярину:

— Родом не кичимся, да нам много и не надобно. Был бы умишко. Для нас он куда как сподручней кровей родовитых.

Гости вошли в терем. Пересыпая речь прибаутками, Романов объявил, что придумал для кружка важное дело. Заинтересованные слушатели почтительно умолкли и уставились на князя.

— Имам ли мы свое злато и серебро? — начал Никита Иванович. Морозов добродушно улыбнулся.

— Кто и не имат, а ты по государе, первый богатеи во всей Руси. Никита Иванович шутливо отмахнулся от него:

— Словеса-то у тебя густые найдутся в кармане, за то умишко твой завсегда на татарском аркане!

И с нарочитой важностью прибавил:

— А племянник мой, государь Алексей Михайлович всея Руси еще молвит: «Делу время, а потехе час». По то я и тешусь, что ни час то по часу!...

Хозяева и гости закатились смехом.

— А в серебре по какой пригоде у нас недочет? — снова начал князь Никита и ударил по столу кулаком:— А по той пригоде, что из чужих земель добра того сдожидаемся, свое же ногами топчем!

Постельничий не вытерпел и вмешался в разговор.

— Добро сказываешь, князь Никита Иванович. Ни во век серебра медью не подменить... И то великая смута пошла серед людишек; сотворили-де медных денег, а серебро, что ни день, бежит от той меди, рукой не достанешь.

Все долго, с большим интересом обсуждали слова Романова, пока наконец не решили тут же написать грамоту, чтобы подать ее на

утверждение государю.

Вооружившись лебяжьим пером, Артамон Сергеевич, пыхтя, склонился над бумагою.

...А еще ведомо нам, холопам и сиротам твоим, государь, про Канинский Нос да Югорский Шар; а и сверх того и на Урале, а и еще в Кузнецке, да в Красноярске, да в Томском краю многое множество в земли серебра того схоронено... А и бьем тебе челом, царь-государь, на той земли рудознатцев отослать. А и обыщется серебро, великие корысти от того будут тебе, государь...

Кто— то тревожно постучался в дверь. Матвеев оторвался от бумаги.

— Кому там не терпится?

В дверях показалось испуганное лицо дворецкого.

— Гонец прискакал!... Царь-де к тебе жалует.

Лицо Матвеева покрылось смертельной бледностью. В первое мгновение он так растерялся, что даже не мог встать с лавки.

— Встречай! — улыбнулся Нащокин и подтолкнул хозяина в спину.

Артамон Сергеевич ошалело вскочил, со всех ног бросился на улицу.

Алексей не раз уже наезжал к Матвееву, как наезжал запросто к другим любимцам своим, но дьячий сын никак не мог освоиться с этим и всегда при встрече «высокого гостя» волновался, робел и чувствовал себя, как приговоренный к смерти, за которым пришли палачи.

Незаметно пробравшаяся в терем воспитанница Матвеева, Наташа, забилась за спинку дивана, вытаращенными глазенками, точно мышонок, впервые увидевший свет из темной норки своей, следила за суматохой. Алексей едва войдя в терем, увидел ее.

— Попалась, проказница! — шагнул он к дивану и с нарочитой строгостью наклонился к пылающему личику девочки. — Ох, уж эти Нарышкины мне!... Куда ни кинься, всюду в Нарышкиных ткнешься!

Он небольно подергал Наташу за непокорный вихорок. Девочка рванулась и юркнула к двери. Ее подхватил на руки Никита Иванович.



— Стоп-стоп-стоп!... Жил-был бычок, да попался в горшок. А кто бычка того съест, тому ворох раскрасавиц-невест!

Он широко разинул рот, как бы готовый проглотить расплакавшуюся девочку.

Алексей нежно взял ее из рук дядьки и поцеловал.

— И не соромно?... Чать, двенадесятый годок пошел, а ревешь, как дите.

Он достал из кармана сердоликового пастушка. Слезы сразу высохли на глазах девочки. На круглых щечках ее заиграл румянец.

— Мне?

— Кому ж бы еще?

Поблагодарив государя за гостинец, девочка, вцепившись в руку Матвеевой, вприпрыжку усакала из терема.

После трапезы и долгой молитвы Артамон Сергеевич благоговейно приложился к руке царя.

— Ужо и не ведаю, царь мой преславный, сказывать иль утаить?

— Сказывай, коли есть про что сказывать.

— А и прибыл к нам из дальних земель гость, государь. Муж гораздо ученый и душевности превеликой.

Алексей многозначительно подмигнул Нащокину.

— Слыхивали мы, Артамонушка, про гостя того.

Матвеев испуганно отодвинулся.

— Норовил я в тот же час, как прибыл сербин, тебе обсказать про него, да сдержал князь Никита Иванович.

— Сдержал! — чванно надулся царь. — А про то слыхивал ли, что допреж того, как помыслит о чем человек, государю ужо и ведомо все?

Но, заметив, что Матвеев в самом деле не на шутку перепугался, милостиво потрепал его рукой по щеке.

— Ладно уж, что с тебя взыщешь... Веди сербина.

Артамон Сергеевич, низко кланяясь, вышел из терема и тотчас же вернулся с гостем.

Алексей с большим любопытством поглядел на стройного, с тонкими чертами лица и с гордым взглядом больших синих глаз, иноземца. Подталкиваемый хозяином, гость подошел ближе к царю и изысканно поклонился.

— Кто ты есть таков человек? — привычным движением подставляя руку для поцелуя, спросил государь.

Иноземец шаркнул ногой, склонил русую голову и трепетно, как к величайшей святыне, приложился к кончикам липких и пропахнувших рыбой царевых пальцев.

— Юрий Крижанич... Хорват, славянин.

— Добро, — похвалил Алексей. — Гораздо добро.

Князь Никита, переглянувшись с ним, указал Юрию на место подле себя.

— Выходит. Москва тебе любезнее Рима? — дружески обнял он гостя.

Хорват молитвенно поднял к небу глаза.

— Я славянин. А славянину путь лежит не в Рим, а на Москву под сильную руку славянского государя.

Польщенный Алексей крикнул и, разгладив усы, точно невзначай поглядел на Матвееву. Хозяйка зарделась и потупилась.

Тепло встреченный царем хорват понемногу освоился с необычным для него положением и заговорил спокойнее:

— А будет воля твоя, все обскажу без утайки.

Алексей охотно вместе с креслом придвинулся поближе к гостю

— Охоч я до сказок.

Откашлявшись в кружевной платочек, Крижанич скромно сложил руки на животе и чуть наклонил голову.

— Рожден я подданным султана турецкого, государь. А родителей потерял в дни ранней младости.

Алексей перебил его.

— Не возьмем мы в толк, откель ты добро так нашенским российским словесам навывчен?

Матвеев, вскочив с лавки, поспешил ответить за гостя:

— Велико ученый он муж, государь... С женушкой моей давеча так по-англицки лаяли, инда оторопь меня взяла.

Царь ревниво повернул голову к Гамильтон. Его голубые глаза потемнели и на лбу залегла глубокая складка.

— По мысли, выходит, тебе молодец иноземный!

Морозов и Никита Иванович сладенько переглянулись, скрыв в бородах многозначительную улыбочку. Гамильтон обиженно надула губы и нервно смяла шелковые гривы столового покрывала.

— Сказывай! — опомнившись, прикрикнул на хорвата царь.

— И увезли меня в Италию, — упавшим голосом продолжал тот. — Там много познал я премудростей и жил у итальянцев, как в родном доме.

— Какого же нечистого от житья такого потянуло тебя на Московию неумытую? — уязвил его Ордын-Нащокин.

Крижанич взволнованно ответил:

— Отечество мое объединенное славянство! По то и дорога моя туда, где живут славяне!

— А ей право, пригож ты, Юрка! — с искренним удовольствием воскликнул царь и в порыве великодушия объявил:— Быть тебе под нашей рукой в таком добре, какого у итальянцев не видывал.

Он пошептался с Нащокиным и Морозовым и торжественно встал.

— Жалую я тебя, сербин, одинадесатью копейками дневного жалованья. Живи по-боярски.

Хорват благодарно прижал руки к груди.

— Утресь же приступлю к делу своему. Настал час, когда думка всего живота моего сбывается: будет у славян для единого языка грамматика всеславянская!

\* \* \*

Развешанные по стенам в дорогах футлярах часы пробили десять. Гости заторопились по домам. Матвеев умоляюще взглянул на царя.

— Показал бы милость, погостевал бы еще у меня. Потешил бы я тебя играцами.

Царь согласился. Предводительствуемые хозяйкой, гости вошли в огромный терем, поддерживаемый двумя рядами мраморных колонн.

На хорах, обряженные по-скоморошьи, стояли наготове музыканты. Едва показался царь на пороге, музыканты, собрав всю силу легких, так затрубили, что в терему погасли свечи.

— Добро! — смеясь вымолвил царь.

Неистовые трубные звуки смягчались, принимали постепенно формы плавной и стройной мелодии.

Натешившись музыкой, Алексей пожелал походить по хоромам.

— Умелец ты терема убирать, — ласково обратился он к Матвееву. — Прямо тебе ни дать, ни взять, иноземец!

Артамон Сергеевич скромно потупился.

— Тут уж умелец не я, а хозяйюшка.

И обратился к жене:

— Показала бы государю товар лицом, поводила бы по убогим хороминам нашим.

Матвеева, не дожидаясь повторения просьбы, увела за собой государя.

— Что невесела? — тепло прижался плечом к круглому плечiku шотландки Алексей, когда они очутились в угловом терему.

Матвеева печально улыбнулась и уселась рядом с царем на широкую, обитую атласом, лавку.

— Постой, — насторожился царь. — Никак, шебуршат?

Женщина, слегка раскачиваясь, поправила пышную прическу из рыжих волос своих и, закинув ногу за ногу, точно случайно подняла шуршащий шелк платья.

Алексей облизнул кончиком языка губы.

— Замолвила бы словечко доброе мне.

Она отодвинулась и закрыла руками лицо.

Царь заерзал на лавке и так засопел, как-будто нес на себе непосильную тяжесть.

— Замолви же для государя!

— Соромно мне! — вздохнула Матвеева.

— Неужто прознали? — вздрогнул Алексей и схватился рукой за грудь.

Матвеева припала губами к пухлой руке царя.

— Кто посмеет прознать!... Верный холоп, ежели и зрит, позабывает тотчас, а ворогов не страшно. Кто посмеет прознать про дела государевы?

— А об чем же туга? — сразу успокоился Алексей.

— Соромно мне, горлице твоей, ходить в женах простого думного дворянина. Неужто же краше моего боярские жены?

Алексей милостиво улыбнулся.

— Быть по сему! Жалую Артамона боярином.

## ГЛАВА X

Многие люди стремились войти в кружок преобразователей. Однако Ордын-Нащокин, заправлявший всеми делами кружка, принимал новых членов с большой осторожностью и строгим выбором. Особенно подозрительно относился он к знати.

Прежде чем попасть «на сидения» к Матвееву, новички подвергались строгому испытанию. Они должны были заменить старинный русский кафтан немецким платьем и так разгуливать в праздничные дни по улицам. Дважды в неделю они обязывались посещать Андреевский монастырь, где монахи проверяли их познания в философии. По приказу кружка — беспрекословно отправлялись на площади, чтобы вступить в спор с раскольниками. Сидели они за одним столом с иноземцами и пили с ними из одной братины. Сморкались не в кулак, а в платок, и даже подстригали коротко бороды...

Удачно выдержавшие эти и многие другие испытания торжественно провозглашались «преобразователями».

Только рудознатцы, розмыслы и живописцы освобождались от всяких испытаний и сразу входили в кружок полноправными членами. Но такие люди ненадолго задерживались на Москве: их вскоре же отправляли на окраины для отыскания золотой и серебряной руды, постройки господарских домов «по еуропейскому обычаю» и для обучения княжеских детей «живописному умельству».

Ордын— Нащокин, помимо многочисленных своих обязанностей, занялся еще и военным делом. Вместе с полковником Кемпеном он тщательно разработал и углубил все свои планы, о которых писал царю еще из Кокенгаузена.

По его настоянию были учреждены пограничные войска: вместе с наемными воинами, набиравшимися из иноземцев, на службу были приглашены чужестранные офицеры, приступившие к обучению русских военному делу на европейский лад.

Горячее участие во всех делах кружка принимала также и Гамильтон, весьма подружившаяся в последнее время с Марфой.

Ртищевой казалось, что она обрела наконец истинный смысл жизни. Федор во всем поощрял жену и очень гордился ею.

— Эвона, каково подле мужа ученого пообтесаться, — хвастал он перед друзьями, искренно веря в свои слова, — от единого духу, что

стоит в усадьбе моей, даже жены неразумные и те европейской премудрости набираются.

Марфа редко бывала дома и почти совсем переселилась к Матвеевой. В старой заброшенной повалуше было устроено нечто вроде приказа, где происходили бесконечные сидения, страстные споры и рождались смелые планы. Князя Милорадовы и дьяк Шпилкин состояли постоянно советниками при Марфе и Матвеевой.

По совету Гамильтон государь разрешил построить близ Немецкой слободы заводы — стеклянный, железоплавильный и бумажный. Матвеев на радостях задал богатый пир и до бесчувствия споил всех гостей и свою многочисленную дворню.

\* \* \*

Со всех сторон потянулись на Москву черные людишки строить заводы. Для руководства постройками из-за рубежа были выписаны специальные розмыслы и умельцы. Они же были оставлены и мастерами на заводах.

Сам государь, принимая у себя умельца, объявлял:

— Глядите ж, делайте по уговору, чтобы нашего государства люди то ремесло переняли.

И после, когда заводы уже работали, главное внимание надсмотрщиков было обращено на то, чтобы иноземцы ничего не таили от русских и добросовестно обучали их своим познаниям.

Крестьяне, холопы и простолюдины, обласканные Милорадовыми, Шпилкиным, Матвеевой и Марфой, с большим усердием принялись было за работу на заводах. Однако вскоре они поняли, что заводы построены не на радость им, а на неслыханные мучения.

Пытка начиналась задолго до зари. Голодные, невыспавшиеся, бегали под ударами батоков работные люди, таскали тяжелые чушки, задыхались, насквозь промокшие от пота, долгими часами возились у топок, падали замертво... Их выбрасывали на улицу, и там они или замерзали, или заболели тяжкими недугами.

Поздно вечером раздавался свисток, призывавший к шабашу. Работные, еле живые, уходили из мастерских, чтобы, похлебав в

бараках пустых щей и забывшись на короткие часы бредовым сном, вновь спешить в проклятое пекло.

Когда ропот потерявших терпение людей доходил до Кремля, Гамильтон, улучив удобную минуту, запиралась с Алексеем у себя в тереме-башне и шептала:

— Будь тверд, государь. Подражай во всем Западу... Ибо на то созданы Богом смерды, чтобы господари уготовали себе через их труды достойное житие.

Царь недоверчиво качал головой.

— А сдается нам, спялят работные заводы наши... Ох, уж и ведомы нам те смерды!

Гамильтон весело улыбалась.

— А не токмо что подпалить, рта не откроют без благословения спекулатарей. Все их помыслы у нас как на ладони. Почитай, на трех смердов по языку поставили...

— И то! Не зря ты и мудростей европейских преисполнена, лебедушка моя.

— А людишек-то, государь, на наш век хватит. Их сколько ни выколачивай, а они, как блохи плодятся!

— Хе-хе-хе!... Как блохи!... И ловка же ты на словеса распотешные!

Алексей, несмотря на свое сочувствие «преобразователям», все же не хотел открыто бороться с боярами и с торговыми людьми, державшимися старины.

— Тих я, гораздо тих, не рожден для свары, — смиренно поглаживая живот, вздыхал он, когда представители кружка приставали к нему с чересчур уже смелыми планами. Но все же, не давая прямого согласия, он вел беседы так, что «преобразователи» со спокойной душой поступали; как хотели сами.

Выходило, будто во всех новшествах повинен не государь, а вельможи его.

Беседа с боярами, верными старине, Алексей заламывал вдруг руки, падал на колени перед образом и срывающимся голосом молил Бога помиловать его и снять бремя царствования.

— Повсюду кривды, лукавство и себялюбие! Ты, Господи, веси, каково нам с тихою нашею душою терпети свары... Избави мя,

свободи от стола государева! Сподоби мя, одинокого, приять смиренное иночество.

Бояре сокрушенно вздыхали и молча, по одному, уходили, унося в сердце своем тяжелый, туго переплетенный клубок сочувствия, недовольства, подозрения и веры в правдивость царя.

\* \* \*

Боярская дума давно уже не была участницей верховной власти. Однако думные сидения время от времени еще происходили, хотя и заканчивались почти всегда сварой и озлоблением.

Родовитое боярство цепко держалось за призрак былого могущества своего и не хотело мириться с тем, что рядом с ним, а то и выше, восседают и забирают большую силу какие-то неизвестные людишки, «дьяковские дети». Родовитые придирались к каждой мелочи, чтобы задеть, оскорбить и уничтожить новых любимцев царя. Ни одно предложение худородных, даже если оно вызывалось необходимостью, не получало у них поддержки и одобрения. Поэтому царь собирал думу все реже и реже — причем, каждый раз на сидение, будто случайно, попадали многие сторонники новшеств.

В день, когда в думе был проведен закон «сделочных крепостей» на крестьян, князь Хованский, дождавшись Нащокина, набросился на него чуть ли не с кулаками.

— Ты ли государь высокородный, коему с древних времен положено Богом дела крестьянские рядить?

Ордын надменно оглядел князя и, словно нехотя, процедил сквозь зубы:

— А сидел я в думе не по своему хотению, но по государевой воле.

Хованский взмахнул кулаком перед носом Афанасия Лаврентьевича.

— А не бывать тому, чтобы ворону превыше орла летати!

Дрожа от лютого гнева, он хрипел, выкрикивал, надрываясь:

— А ныне бояре и окольничие, коих род идет от Володимира равноапостола, в ту думу и ни для каких дел не ходят!... То вы, безродные псы, царя сему наущаете. Вы!



И, пригнув голову, неожиданно ударил в грудь Ордына.

— Накось, откушай, посольских дел управитель смердящий!

Нащокин, не ответив ни слова, почти бегом пустился с челобитной к царю.

Алексей принял управителя в трапезной.

— Не лихо ль какое?

— Лихо, царь! Не можно мне больше быти у дел государственных.

Униженно ползая на коленях и без меры привирая, Нащокин рассказал о стычке своей с Хованским. Государь гневно хлопнул в ладоши:

— Подать нам Хованского! — крикнул он вбежавшему дьяку — На аркане приволочить, коль упрется!

Едва князь вошел в трапезную, царь рванул его за ворот и стукнул изо всех сил затылком об дверь.

— А запомятовал ты, князь Иван, что взыскал тебя на высокие службы я, великий государь, а то тебя всяк обзывал дураком!... За Афоньку всему роду твоему быть разорену!

Он покосился на Ордына, наслаждавшегося позором Хованского, и, успокоившись, приказал дьяку Заборовскому принести Уложение и прочитать первую статью из третьей главы.

— Внемли! — щелкнул он пальцем по низкому лбу Хованского, когда дьяк вернулся со сводом:— Авось, поумнеешь маненько!

Дьяк стал посреди трапезной и, перекрестясь, загудел.

Будет кто при царском величестве в его государевом дворе и в его государьских палатах, не опасаячи чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бита челом о управе, и сыщется про то допряма, что тот на кого он бьет челом, его обесчестил: и по сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе кого обесчестит, посадите в тюрьму на две недели, чтобы на то смотря иным неповадно было вперед так делати.

Окончив, Заборовский благоговейно закрыл Уложение и, подняв его высоко над головой, как Евангелие на выходе из алтаря, направился в сени.

— Слышал ли? — важно поглаживая бороду, спросил Алексей.

Хованский отвесил низкий поклон.

— А противу Уложения мы не смутьяны. Како положено, тако и сотвори.

Он пожевал губами и, обдав Нащокина ненавидящим взглядом, громко прибавил:

— Токмо от того, что меня в узилище ввергнут, Афоньке высокородней не стать.

— Молчи! — крикнул на него царь. — За дерзость твою еще двумя неделями жалую от себя, рыло телячье!

\* \* \*

Долго, точно в дальний путь, собирался Хованский в тюрьму. Со двора своего он выехал в богато убранной колымаге, сопровождаемый толпой холопей и обозом.

У ворот тюрьмы князя Ивана встретили дьяк и стрелецкий полуголова.

— Добро пожаловать, князь! — приветствовал дьяк, помогая Хованскому выйти из колымаги.

Устроившись на гряде подушек, князь спокойно ждал, пока для него уберут помещение. Когда все было готово, холопы ввели господаря в каморку и уложили на пуховики.

— Удобно ли, князюшко? — подобострастно скаля зубы, спросил полуголова.

Князь важно поглядел на служивого.

— Отбуду срок, всех одарю!... По-княжески. Чать, не псы мы худородные.

И, потянувшись, точно про себя произнес:

— Измаешься тут... Девку бы, что ли?...

Полуголова услужливо засуетился.

— Как без девки в одиночестве да в туте! Чай, и девки те истомились в темнице без ласки...

Он выбежал из каморки. Хованский остался один, уютней устроился на пышной постели и натянул на глаза покрывало, попытался заснуть.

Вдруг ему почудилось, будто кто-то скребется в углу. Он приподнялся и испуганно вытаращил глаза.

— Ай!... Крысы!

На крик прибежали и стрелец, и холоп.

— Изловить!... Изничтожить! — ревел побелевший от страха князь, не спуская глаз с двух огромных, ростом с кутенка, пасюков.

Стрелец ловким броском загородил поленом вход в нору. Спокойные до того, привыкшие к людям, крысы, почуяв опасность, разъяренно ощерились.

— Упади на них... Брюхом, баба!... Не трусь! — увлеченно командовал князь. — Лавкою по башке!... Лавкой же, смерды!

Наконец крысы были убиты. Хованский оглядел все углы и, убедившись, что ничто больше не угрожает его покою, выслал из каморки своей искусанных в кровь крысоловов.

Смеркалось. Откуда-то едва слышно доносился благовест.

— Во имя Отца и Сына, — молитвенно устоялся князь в подволоку, но тут же умолк и прислушался.

— Никак идут?

Чуть приоткрылась дубовая дверь.

— Бодрствуешь, князюшко?

— А что?

В каморку, испуганно озираясь по сторонам и ежась от сырости, вошла полунагая, растрепанная девушка. Князь Иван причмокнул от удовольствия.

— Ишь, остроносенькая!... Ну-кошь, потешь господарика.

Девушка покорно ждала приказания.

— За что в узилище ввергнута?

— За недоимки. Подьячий споначалу к себе отписал, а погода, будто за блуд, на двор тюремный пригнал.

— Так-так, — сочувственно вздохнул князь. — Понакручинилась, горемычная... Ну, да уж за то тотчас потехою потешишься: ползай ты по земле, аки крыса, а я ловить тебя буду.

И спрыгнув с постели, погнался за опустившейся на четвереньки девушкой.

За дверью послышался сдержанный хохоток потрафившего князю полуголовы.

## ГЛАВА XI

Юрия Крижанича поселили в отдельной усадевке и не тревожили до тех пор, пока он сам не заявил, что окончил первую часть своей работы.

Пользуясь полной свободой, хорват проводил досуг в прогулках по Москве в изучении обычаев и нравов русских людей. То, что он увидел в короткое время, крайне поразило его. Он начинал чувствовать, что пламенная вера его в Русь и в то, будто только она способна открыть миру новые, неизведанные человеческие пути к совершенству, гаснет, тускнеет, сменяется тревогою... Однако, он не мог так просто, сразу, отказаться от своей страстной мечты о всеславянском государстве и искусственно разжигал в себе слабеющие силы.

В тот день, когда Крижанич должен был прочитать свой труд, у Артамона Сергеевича собрался весь кружок. Юрий старался не выдать своих сомнений и держался так, как будто ничего не произошло с ним. Но перемена слишком резко бросалась в глаза, чтобы ее не заметить.

Шпилкин первый проявил сочувствие к хорвату и ласково коснулся его руки.

— А сдал ты, сербин... Как из решета задор-то твой весь просыпался.

Князь Никита расхохотался.

— А хлебнет еще маненько духу российского, так обславянится, что хоть святых вон выноси.

Хорват вспыхнул.

— Я духу тяжелого не страшусь. На то мы и живы, чтобы очистить от тьмы души людишек российских.

Ртищев с видом победителя шагнул к хорвату и постучал пальцем по его груди.

— Ну, вот и сказ весь! И выходит, что без Европы никак славянам не обойтись. Потому, вся привыченность наша от Запада.

Крижанич болезненно вздохнул.

— Доподлинно, темна Россия, точно в гроб тесен заколочена да камнем придавлена.

Глаза его зажглись непоколебимым упрямством.

— А и от Запада возьмем, что на потребу славянам!... От того, поди, нас не убудет. Тесто наше, а сдоба европейская. А замешавши, таку диковинку выпечем...

Он пощелкал пальцами, подыскивая подходящее слово и не найдя его, вытащил из кармана тетрадку

— А будет ваша милость послушать, все доподлинно уразумеете.

Кружок с большой охотой и любопытством приготовился слушать. Хорват раскрыл тетрадку и близко поднес ее к глазам:

Адда и нам треба учиться яко под честитым царя  
Алексея Михайловича владением мочь хотим...

Матвеев удивленно пожал плечами.

— Сие не по-нашенски, а по-тарабарски. Нешто уразуметь русскому человеку такую премудрость, прости, царица небесная...

Хорват остановил его строгим движением руки и продолжал:

Мочь хотим древние дивячины плесень стереть,  
уметелей ся научить, похвальней общения начин приять и  
блаженно его стана дочекать.

— А ни вот столько, — показал на кончик своего ногтя смущенный постельничий.

Остальные глядели на хорвата, как на юродивого, и молчали.

Юрий снисходительно улыбнулся.

— Покель латыни не превзошли такожде, небось, дивовались?...

А славянам не латынь вместна, а всеславянский язык.

И, не торопясь, перевел прочитанное:

Значит, и нам надобно учиться, чтобы под властью  
Московского царя стереть с себя плесень застарелой  
дикости; надобно обучиться наукам, начать жить более  
пристойным животом и добиться более благополучного  
состояния.

Все оживленно заговорили. Сразу появились ярые сторонники и враги нового языка.

Юрий настолько увлекся, стараясь показать правоту и важность своей затеи, что выпалил, позабыв осторожность.

— А и кардинал, когда я, будучи пастором в Риме...

Он тут же осекся, испуганно уставился на опешивших собеседников. Но было уже поздно.

— Пастором? — процедил с омерзением сквозь зубы пришедший под конец чтения дворянин Толстой.

— Па-сто-ром? — хором повторили за ним остальные и, точно сговорясь, трижды истово перекрестились.

Ртищев брезгливо отодвинулся от Крижанича, сунув за ворот руку, дрожащими пальцами стиснул нательный крест.

— Да воскреснет Бог и расточатся врази его!...

Если бы не подоспевшие вовремя Марфа и Гамильтон, дело окончилось бы печально для хорвата.

Гамильтон с презрением оглядела «преобразователей»:

— Так вот она вся привычка ваша российская!

Артамон Сергеевич смутился, не зная, как повести себя, чтоб не показаться дикарем перед женой и не вызвать недовольства гостей.

Марфа тем временем поманила к себе мужа:

— Ты бы хоть, соколик, уgomонил их... Поди, всех ты ученых.

Постельничий, польщенный словами Марфы, сразу почувствовал себя убежденным сторонником хорвата.

— А был пастором, да ныне отрекся! — крикнул он. — И неча про старое поминать.

Заслышав приближающиеся шаги, Гамильтон выглянула в дверь.

— А вот и Федор Петрович Обернибесов. Как есть к вечере пожаловал, — обрадованно объявила она и, подарив гостя ласковой улыбкой, рассказала ему о происшедшем, стараясь каждым словом показать свое презрение к кружку и веру только в него одного.

Обернибесов, ни с кем не поздоровавшись, подошел к Юрию.

— Не кручинься и веруй в превеликую дружбу нашу. Ибо ведомо нам, что хоть и хаживал ты в пасторах, а душу имал в себе славянскую.

И повернулся к Романову.

— Так ли я сказываю, князь Никита Иванович?

— Так, — великодушно согласился князь. — Будь по глаголу постельничего: что было — прошло, быльем поросло.

Не смея возражать дядьке царя, кружок примирился с новостью и обещался не выдавать тайны хорвата, которому в случае, если бы узнали, что он был пастором, грозило изгнание из Руси.

Гамильтон пригласила гостей в трапезную. За вечерней, в противовес русским обычаям, не было ни вина, ни обилия яств. Зато, наперекор старине, нарочито велась оживленная беседа.

— Обмыть да причесать надобно москвитянина, — склонив голову в сторону женщин, вкрадчивым голосом произнес успокоившийся немного Крижанич.

Марфа невесело усмехнулась.

— Где уж! Нешто нашим свиньям вдолбишь...

— Обсказать бы про все за рубежом, руками бы замахали, — подхватила Матвеева, — веры не дали бы словесам. Эки, ведь, свиньи! От воров деньги в рот прячут, горшков не моют... Подает мужик гостю полную братину и оба-два пальца в ней окунул. А дух... Ничем не смыть духа того!

Она передернулась с отвращением и замолчала.

Вскоре после трапезы часть гостей разошлась по домам. Остались Ртищев с женой, Ордын-Нащокин, хорват и Толстой.

Крижанича увели в угловой терем-башню.

— Можно ли? — шёпотом спросил Юрий, когда Гамильтон, убедившись, что никого в сенях нет, заперла на засов дверь и присела на диван.

— Начинай, — с такой же таинственностью шепнул Нащокин и приготовился слушать.

Бледный, с нахмуренным лицом, стоял посредине терема Юрий, устремив куда-то ввысь горящий взгляд. Точно зачарованная, любовалась им Марфа; она не знала еще, о чем будет говорить этот странный, так непохожий на русских, чужеземец, но твердо верила, что пойдет за ним на какой угодно его призыв.

Ртищев, нахохлившись, исподтишка следил за женой. Охваченный беспокойством, он не выдержал и потянулся губами к ее уху.

— Марфенька...

Марфа вздрогнула и с ненавистью откинула голову.

— Ну?

По глазам мужа она поняла, что тот хочет сказать, и через силу выдавила на лице улыбку.

— Диву даюсь я, как будто и пригож сербин, а все нету в нем закваски твердой, как у российских людей, как у тебя, мой соколик.

Федор гулко вздохнул. «Экой я, право! И как мог я усумниться в чистой голубице своей!» — подумал он с укором самому себе и блаженно уставился на Крижанича.

— Чти, что ли, грамоту, — заторопил Юрия Толстой.

Юрий мялся и продолжал молчать.

— Аль боязно? — строго насупился Ордин и встал. — И то, дело такое, что без крестного целования начинать не можно.

Он первый подошел к образу. Выслушав данную всеми присутствовавшими в терему клятву, Крижанич уже безбоязненно достал из подкладки кафтана сложенный вчетверо лист бумаги.

— Починать?

— Починай, — кивнула Гамильтон.

Склонив голову и подавшись туловищем вперед, Юрий вполголоса начал:

Какая должна быть власть в государстве Российском? Всем людям на потребу поущение от честной коллегии народолюбцев, во имя Отца и Сына и Святого Духа: 1) Просвещение, наука, книга — мертвые, но мудрые и правдивые советники. 2) В Христианском государстве несть места жестокости в управлении, обременения народа непосильными поборами и мшлом...

Толстой недовольно крикнул и с ненавистью поглядел на Крижанича, но тотчас же опомнился, весь обратился в слух. Хорват продолжал:

А посему надобны слободины, права народу и сословное самоуправство. Торговые люди да выбирают себе старост с сословным судом, ремесленников гоже соединить в цеха, а всем промышленным людям надобно волю дать, бить челом государю и начальным людям о своих нуждах, а и оборонять их от областных управителей. Крестьянам же дозволить вольно трудиться и от крепости к земле свободить...

— Эгей, постой-ко! — приподнял брови Нащокин. — Такого уговору у нас с тобой не было про крестьян.



— А и про мшел зря помянул, — вставил Матвеев. — Токмо умам брожение!

Подбодренный взглядом жены, Ртищев покрыл все голоса резким своим верещанием:

— А по-божьи коли, не можно в крепости держать людишек! Чай, крест на них тож православный, как и у господарей.

Крижанич виновато шаркнул ногой.

— Коль не любо коллегии, я попримолкну.

— Чти! — раздраженно махнула рукой Матвеева. — А кончишь, там порядим.

Юрий снова поднес к глазам лист:

и от крепости к земле свободить, поколику противно то заповедям господа Исуса Христа. И еще по всем градам поставить школы, в коих бы умельствам разным народ обучать: золотарному, рудознатному и иному заводскому. И еще для женского полу учинить рукодельные школы, где бы и хозяйственной премудрости навывкали. А женихам наказать строго у невест грамоты испрашивать, чему обучалась. И еще дать волю холопам, обучившимся мастерству. И еще неустанно переводить на российский язык немецкие книги о ремеслах и торговлях. И еще призвать из-за рубежа иноземных немецких мастеров и богатых людей, которые обучали бы москвитян мастерству и торговле.

Страстно, до самой полуночи, обсуждал кружок каждую строку хорватской грамоты. Под конец, внеся в нее кое-какие изменения и поправки, все присутствующие единодушно решили переписать грамоту и распространить тайно по Руси.

Толстой и Крижанич с большой охотой взяли на себя труд выполнить волю кружка. Первый принял на себя Москву, а второй — Поволжье и остальную часть государства.

— Баба та, что дадена нам в холопы со двора тюремного, Татиана, гораздо охоча будет нам подсобить.

Дома Юрий, позабыв про сон, полный новых сил и надежд, уселся за переписку «воровского письма» и очнулся лишь утром, когда постучалась к нему Таня.

Испуганно оторвавшись от бумаги, он шагнул к двери.  
— Кой человек?  
— Не разбудила ли я тебя, господарь?  
Узнав голос Тани, Крижанич сразу успокоился и открыл дверь.

## ГЛАВА XII

В тот же день, на дворе, в присутствии холопей, Таня бросилась Крижаничу в ноги и попросила отпустить ее на побывку в деревню к умирающей тетке.

Юрий долго упирался, ссылаясь на то, что все дороги кишат разбойными людишками, которые могут убить ее.

— А ты бы, господарь, испросил для меня двух стрельцов. Авось, уберегут меня те стрельцы от напасти.

Хорват оскорбительно засмеялся.

— Да эдак, ежели каждую блудную бабу со двора тюремного свитой жаловать, и стрельцов не наберешься.

Холоп схватил Таню за волосы, готовый по первому знаку господаря избить ее. Но Юрий резким окриком остановил холопа и задумчиво уставился на небо.

— Нешто по пути володимирскому воеводе цидулу отдать, — произнес он, будто рассуждая с самим собой и испытующе поглядел на женщину.

Таня встрепелась.

— Живота решусь, а цидулу доставлю.

— А коли так, — уже твердо объявил Крижанич, — собирайся со Господом в путь.

Покончив с домашними делами, Юрий отправился к Толстому с сообщением, что все готово для отъезда Тани.

Толстой обещал исхлопотать двух стрельцов и по-братски облобызался с хорватом.

— Дал бы Бог бабе вдобре до Савинки того добраться, ужо усердно тогда московских людишек я образую! От века до века памятовать будут наставника и благодетеля своего, сербина Юрия!

Крижанич, по уши обласканный хозяином, ушел домой. Едва гость скрылся за переулочком, Толстой вскочил на коня и помчался на Арбат в усадьбу Стрешнева, где в тот день гостил государь.

Узнав о приезде дворянина, Алексей немедленно принял его.

Толстой на коленях подполз к царю, приложился к краю кафтана и опасливо повернулся к Стрешневу.

— Нету ль подслуха тут?

Стрешнев успокоил гостя.

Толстой не решался выдать всех членов кружка, так как знал их силу и влияние на царя, а потому, чтобы не подвергать себя их гневу, все валил на Крижанича. Сжав кулаки, царь весь обратился в слух и не спускал глаз с дворянина.

— А откель тебе все ведомо стало? — спросил он вдруг. — А и пошто до сего дни молчал?

Толстой встал с колен и гордо выпрямился.

— С первого часу сдавалось мне, будто не с добрыми думками пришел тот сербин на Русь. А посему в холопи ему пожаловал я трех языков да одну бабу, которая якшается с разбойным человечешкой. А до сего дни не сказывал, чтобы на деле прознать, правду ли рекут все языки, про то, что снюхался сербин с врагами твоими, смутьянами.

Алексей ткнул свою руку в губы Толстого.

— Иди и памятуй: за Богом молитва, а за царем служба не пропадает.

\* \* \*

Поутру, в колыхаге, нагруженной двумя тяжелыми сундуками, Таня выехала из Москвы. Ее сопровождали два стрельца, приставленные для «охраны цидулы от знатного иноземного гостя сербина Юрия ко володимирскому воеводе».

Едва лошадь свернула в лес, из-за дерева выскочили какие-то оборванцы.

— Стой! — повелительно крикнули они и бросились к колыхаге.

Один из стрельцов стремительно юркнул в кусты и исчез. Разбойники навалились на второго стрельца:

— Вяжи остатного ушкана!

Дозорившие у лесной рогатки стрельцы, слышав крики, подняли тревогу и обступили лес.

После недолгой борьбы нападавшие сдались. Стрельцы подошли к Тане, окруженной стражей, и недоуменно разинули рты.

— Откель такое великое множество цидул у холопки?

Старший взял из вороха одну из листовок и, прочитав первую строчку, изо всех сил ударил женщину кулаком по лицу.

— Да то воровское письмо!... Да то измена нашему государю!

Связанную и избитую Таню увезли в Разбойный приказ.

План Толстого удался на славу. Все вышло так, как он задумал. Языки, изображавшие в лесу разбойных людишек, по всем улицам трезвонили о том, что случайно наткнулись на колымагу и, заподозрив недоброе, вскрыли сундуки, в которых оказались воровские письма. Никому и в голову не приходило, что Таню предали; так все, что произошло, было просто и правдоподобно.

Испробовав все пытки и ничего не добившись, дьяк, допрашивавший Таню, с отрядом рейтаров отправился в Андреевский монастырь, где ничего еще не подозревавшие Юрий и Ртищев мирно вели с монахами ученые беседы. Ворвавшись в покои, стрельцы набросились на хорвата и связали его.

— Все баба про тебя обсказала! — ошарашил дьяк иноземца.

Однако Крижанич не поддался обману и прямо поглядел в глаза дьяку.

— Не пожаловал бы ты и меня, дьяк, не обсказал бы, что баба та лаяла про меня?

Постельничий, едва живой от испуга, прижался к стене и стоял так, не смея ни вздохнуть, ни пошевелиться. Его бил озноб. Он попытался было взять себя в руки и заговорить с дьяком, но прикусил до крови высунутый язык и только беспомощно затряс головой.

Обыскав хорвата, стрельцы выволокли его на двор и бросили в колымагу.

Кое— как оправившийся Ртищев вышел, пошатываясь, за дьяком, глядя куда-то в сторону, погрозил пальцем.

— А и не соромно тебе, Юрко, за хлеб за соль за царские черною изменою воздавать?!

Но, почувствовав, как лицо заливают жгучий румянец стыда, съежился и жалко бочком двинулся к воротам. «Схватят ведь псы и меня! — думал он, исподлобья поглядывая на ратников. — Прощай, Марфенька со чадами моими малыми! Како житьствовать будете без

меня?» Однако рейтары почтительно раступились и пропустили постельничего на улицу.

Очутившись на воле, Ртищев почувствовал такой приступ радости, что позабыл обо всем и, как мальчишка, помчался в поле...

Вечером усталый и разбитый, вновь полный тревоги, Федор пришел к Толстому.

— Слыхивал?

— Слыхивал, Федор Михайлович.

— И каково?

— Каково Бог положит, — вздохнул Толстой.

Неожиданно озлобившись, он больно сдал руку постельничего.

— А не скулить ныне вместе, но думку думати, как бы нас не выдал сербин. Сам утопнет и наши головушки сиротские за собой в омут потянет.

Посоветовавшись, они решили безотлагательно собрать всех членов кружка, чтобы сообща придумать, как спасти хорвата от неминуемой смерти.

\* \* \*

Прямо из церкви, после всенощной, государь отправился в застенки. Он не узнал Юрия, до того обезображено было пыткой его лицо. Но слишком кипело еще негодование царя, «страшные» слова воровского письма еще прыгали огненными кругами перед глазами и чрезмерна была еще обида на хорвата, чтобы в груди нашелся хоть крохотный уголок для жалости и снисхождения.

— Вор! — иступленно выкрикнул Алексей, впиваясь ногтями в горло полубесчувственного узника. — Язык европейский!... Христопродавец!

Дьяки подхватили его и, усадив на лавку, подали ковш студеного кваса.

— Не трудись, государь! Дозволь нам, сиротинам, чинить допрос. Алексей опорожнил ковш, обсосал усы и шумно задышал.

Рядом с Крижаничем повисла привязанная к столбу Таня. Тело ее представляло собой сплошной кровоподтек. На боках и бедрах висели окровавленные лоскуты кожи и мяса. Из черных провалов жутко

впились в пространство невидящие, отравленные безумием, болью и ненавистью, глаза.

Государь ткнул Таню посохом.

— Спокаялась ли?

Она не ответила.

— Не дразни! — снова рассвирипел государь. — Добром обскажи, кому письма воровские везла!

Сморщив лоб и сжав кулаки, Таня из всех угасающих сил своих пыталась побороть тяжелый мрак, окутавший ее мозг.

— Руси... Туда везла... Руси... Казни!... Всю Русь казни! — выкрикнула она и потеряла сознание.

\* \* \*

Крижанича и Таню приговорили к казни<sup>[40]</sup>.

Царь долго даже и слушать не хотел о помиловании, но в конце концов сдался на слезные мольбы Матвеевой и заменил хорвату смертную казнь ссылкой в студеные земли, а Таню повелел заточить до конца живота в подземелье.

На Ртищева так подействовали события последних дней, что он слег в постель и прохворал до осени. Марфа не отходила ни на шаг от больного, с жертвенным терпением выполняла все капризы его. Чтобы сделать приятное постельничему, кружок перенес свои сидения в его усадьбу.

Федор, несмотря на слабость, принимал участие во всех спорах, касающихся «приобщения России к европейской учености». Но больше всего его интересовало преуспевание заводского дела.

Поправившись, он прежде всего отправился на железоплавильный завод.

Работа кипела вовсю. Десятки заросших дымом, грязью и копотью людей, не передыхая ни на одно мгновение, метались по двору, подобно развороченному муравейнику.

Была суббота. Вместе с церковным благовестом раздался наконец долгожданный свисток, возвещающий конец трудовому дню. Работные торопливо вышли на двор и построились долгою чередой по трое в ряд.

У ворот, за столиком, сидела Марфа и двое приказных. На земле, охраняемый стрельцом, стоял сундучок с медными деньгами.

Ртищев довольно улыбнулся и поиграл медяками.

— А добро, Марфенька, Милославский надумал медью серебро подменить.

Работные исподлобья оглядели постельничего и о чем-то горячо зашептались между собой. Один из приказных, прислушавшись, схватил со столика плетъ и хлестнул по голове стоящего в первом ряду человека.

— Цыц!

Федор вырвал из рук приказного плетъ.

— Не моги забижать!... То на роби иное дело, а после шабаша — не моги!

Ободренные заступничеством, работные придвинулись к столику.

— Покажи милость, господарь, не вели им медью нас потчевать.

Федор, не ожидавший такой просьбы, смущенно отошел за спину стрельца.

— Нешто не те же деньги ходячие медь?

— Те же, аль не те, не нам разбирать. То дело ваше, начальных людей... А ты выдь-ко на рынок, поглазей, в какой чести на рынке том медь!

— Выдь!... — пронеслось по рядам, смешавшимся в одну бурливую толпу. — Выдь! На серебро хлеб продают, а на медь веревки не сдобудешь, чтоб удавиться.

Ртищев сунулся к приказному.

— Так ли?

— Так, Федор Михайлович!

Постельничий пришибленно поглядел на жену, ища в ней поддержки, но ничего не дождавшись, растерянно повернулся к толпе.

— Я в недуге лежал, по то и не ведаю, что медные деньги словно бы ныне не деньги.

— Жрали бы их замест хлеба! — крикнул кто-то, покрывая все голоса.

Приказный затрясся от гнева.

— Кто дерзит? Выходи!

— Ого-го-го-го-го! — заклокотало в ответ. — Сам выдь-ко на нас!

Работные напирали к столику. Десятки рук потянулись к сундуку, подбросили его высоко и опрокинули на голову приказному. Сшибленный с ног стрелец упал на Марфу, увлекая ее за собой.

— Идем, Марфенька! — взмолился Ртищев, поднимая жену.

Марфа отказалась ехать с мужем и, под охраной спекулатарей, пошла к Гамильтон.

Федор приказал вознице везти его в Приказ.

Из Приказа он отправился домой. На пути его обогнал сильный отряд рейтаров. Постельничий любовным взглядом оглядел всадников и перекрестился.

— Токмо бы дал Господь без смертоубийства людишек угомонить.

Надевая шапку, он сокрушенно подумал: «До чего же притки смердушки наши! Ну, некоторой выучки и тонкости европейской... Все бы им смуты смутить». Прерывая его мысли, ухнул залп. За ним другой...

У самого дома Ртищева нагнала Марфа.

— Якшался со смердами!... Спалили они завод, — перекосила она лицо и впилась ногтями в руку мужа. — Все ты! Ты!... Европейец из капустной квашни.

Постельничий выпрыгнул из колымаги.

— А не можешь противу Богом данного мужа глас поднимать. Коли так, и в хоромы не пойду!

Марфа опомнилась, испуганно поглядела на Федора.

— Ты не гневайся, Федор Михайлович. То с кручины я... Противу закона Божьего не иду, и мужа своего почитаю.

Сгорбившись, готовый разрыдаться, безвольный и жалкий, поплелся Федор за женой в хоромы.

## ГЛАВА XIII

Никон, опьяненный властью, перестал считаться с законами, касавшимися церковного и монастырского управления, и действовал так, как хотелось ему.

Неприступность, ореол царского величия, которым он окружил себя, крайне не нравились даже ближайшим друзьям его, не знавшим в конце концов, какому государю служить: Алексею Михайловичу или патриарху.



Время, когда Алексей уезжал из Москвы, было для вельмож самой жестокой порой, полною унижения и издевательств. Бояре, начальники приказов, окольные, воеводы, вся московская знать долгими часами простаивали без шапок на патриаршем дворе, дожидаясь приема.

— Все спуталось нонече, неведомо стало, кто государь, — жаловались они друг другу, с ненавистью поглядывая на покои, — Богом ли помазанный Алексей Михайлович, а либо охвостье мордовское, Никон.

Не выдержав унижения, бояре, набравшись наконец смелости, пошли к царице искать защиты против всеильного временщика.

Добившись приема, челобитчики распростерлись ниц перед Марьей Ильиничной. Окольный, князь Петр Волконский, поднял над головой зажатую в два пальца цидулу.

— Горе нам, матушка, наша царица, — срывающимся голосом выкрикнул он. — Наступили бо последние дни. Безродные людишки именуются государевым именем!

Царица приказала челобитчику встать и, приняв от него бумагу, по слогам прочитала:

От великого государя, святейшего Никона, патриарха Московского и всея Руси, на Вологду, воеводе, князю Ухтомскому. Указал государь — царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси и мы, великий государь...

Боярин Михайло Салтыков, стоявший безмолвно на коленях у порога, схватился за голову.

— Вот, вот... Чуяла, матушка — «и мы, великий государь»... Ах, охальник!

Марья Ильинична с негодованием швырнула цидулу на стол.

— Доподлинно, велико дерзок сей мних!

Хованский подполз к государыне и звучно поцеловал соболью опушку на ее платье.

— А мы, князь-бояре, нонече те токмо ниже мнихов безродных, но и паче смердов почитаемся у патриарха.

— Токмо женкам да девкам и праздник нонче, — подхватил Волконский, — токмо оне во всяко время невозбранно ходят к благословению. Тем нонече время, и челобитные принимает от них

патриарх невозбранно, и грехи им отпускает, удалясь от людских очей в опочивальню.

Царица, с большим участием выслушав челобитчиков, приказала немедленно вызвать Никона.

Патриарх выслал к послам своего келаря.

— Волим иметь беседу лик к лику с патриархом, — объявили послы.

Узнав о дерзости царицыных людей, Никон сам вышел на крыльцо.

— Како рекли? — тонкой сверлящей струей попустил он сквозь зубы и сдвинул брови.

— Волю государыни царицы мы со смирением выполняем, — ответили послы с поклоном.

И в один голос, едва скрывая злорадную усмешку, передали приказ царицы.

Никон выпрямился и поднял к небу руку.

— Изыдите и памяуйте: священство превыше царствования!

И, повернувшись к двери, ушел в покои. С того дня Марья Ильинична, и ранее недолюбливавшая патриарха за введенные им новшества, окончательно возненавидела его. Она ничего не сказала мужу, а начала действовать исподволь, через своего отца. Милославский, в свою очередь, осторожно, пользуясь каждым случаем, натравливал государя против Никона.

Алексей медленно, но неуклонно, поддавался наущничанью, все чаще решал дела по совету врагов Никона и тем, сам того не замечая, освобождался от влияния патриарха и охладевал к нему.

Уловив перемену в царе, Никон нарочито перестал с ним встречаться и заперся в своих покоях.

— Сам пожалует к нам. Не обойтись ему без мудрости нашей, — уверенно говорил он келарю, — где ему, духом слабому, Россией без нас управлять. А я не пойду, священство превыше царствования... Пущай сам первый пожалует!

Слова эти какими-то путями дошли до Милославского. Он тотчас же отправился с доносом к царю, прихватив с собой заодно челобитную духовенства на патриарха.

— И не токмо вельможи, священницы и мнихи ропшут на Никона, — едва войдя в терем и приложившись к царевой руке,

выпалил Илья Данилович.

Алексей взял челобитую у тестя и передал ее дьяку.

— Чти!

Дьяк перекрестился и, свернув трубочкой губы, начал:

«Прежние пошлины с духовенства за рукоположение брать он не велел, токмо новый порядок установил: ставленникам велел привозить отписки от десятников и от поповских старост, где кто в какой десятине живет; за такою отпискою пройдет недели по две и по четыре да харчу станет рубль и два; придет с отпискою к Москве и живет здесь недель по пятнадцать и по тридцать, и становится поповство рублей по пяти и по шести, окромя своего харчу...»

Царь слушал, закрыв глаза и покачиваясь из стороны в сторону.

— Эк, над меньшей братией глумится! — сплюнул он, когда дьяк окончил.

Милославский изобразил на лице своем величайшее страдание:

— И эдакий жестокосердный и недостойный дерзает именем государевым именоваться!

Подзадоренный царь засучил рукава.

— А и отпишу ж я ему!... Так глаголом письменным зашибу, до века не опамятуется.

Усевшись за стол, он принялся строчить гневную цидулу патриарху.

\* \* \*

На Москву прибыл грузинский царевич Теймураз.

Улицы, по которым должен был проехать царевич, запрудили огромные толпы. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово выбился из сил, но продолжал вместе с отрядом батожников усердно размахивать немеющими руками, надевая палочными ударами всякого, кто осмеливался слишком выдвинуться вперед.

Вдруг взгляд Хитрово упал на патриаршего дворянина. «Погоди ужо, Никоново чадо, — сладко зажмурился он, — отменно

попотчнешься», — и, улучшив удобное мгновение, ударил дворянина изо всех сил по спине:

— А не совалась бы опарушка из корытца!

Дворянин взвизгнул и повернулся к окольниковому.

— Пошто бичуешь? Не простой я, чать, пришел сюда, а с делом.

Окольниковый притворно удивился и отступил.

— А ты кто таков?

— То-то ж, кто я таков! — запальчиво ответил обиженный. — А патриарший я человек, да с делом посланный от государя патриарха!

Люди, стоявшие подле дворянина, со страхом попятнулись от него. Еще недавно и сам Хитрово, при упоминании патриаршего имени, трусил бы не меньше любого простолюдина. Но сейчас он хорошо знал, как изменились отношения государя к Никону, и потому, кроме наслаждения от стычки, он не испытывал ничего.

— От государя патриарха? — взмахнул он палкой и, крикнув, как дровосек, еще раз ударил дворянина. — А не чванься, самозваного государя холоп!

Избитый прорвался сквозь толпу и, извергая потоки проклятий, побежал к патриаршим покоям.

Нетерпеливо выслушав печалование, Никон, багровый от оскорбления, ударил по столу кулаком.

— Так и молвил «государь самозванный»?

— Так и молвил, государь патриарх!

— Погоди же, проклятый!

\* \* \*

Поутру в Кремль пришли три архиерея — послами от Никона.

— Разыщи дело, царь-государь, — поклонились они в пояс царю. — Не попусти издев над людьми святейшего патриарха. Сними невольное прегрешение с души своей и воздай поделом окольниковому.

Алексей милостиво обошелся с послами, долго беседовал с ними, но ни одним словом не обмолвился о деле, за которым они пришли.

Только в самом конце беседы он многозначительно переглянулся с Морозовым и Милославским и, будто между прочим, обронил:

— А государили на Руси два государя, да приходились они отцом и сыном друг другу, а нам — дедом да батюшкою. Ныне же един государь царь и великий князь всея Руси мы, Алексей Михайлович!

И благодушно улыбнулся архиереям.

— Так ли, преосвященные?

Послы что-то проворчали в бороды и поспешили уйти.

\* \* \*

В Успенском соборе, по случаю двенадцятого праздника, должно было состояться торжественное служение.

Патриарх, в ожидании государя, нарочито долго оттягивал начало обедни. Он заметно волновался. Маленькие круглые глаза его, так недавно глядевшие на весь мир, как на свою вотчину, потускнели, потеряли могущество и жалко бегали по сторонам, как будто искали защиты и участия. Шаги патриарха стали неровными, неуверенными, негнувшаяся раньше спина жалко, по-стариковски сгорбилась.

Время шло, а государь все не приезжал.

— Почнем во имя Господне, — чужим, сдавленным голосом объявил наконец священникам и иеромонахам, облаченным в сверкающие ризы, патриарх.

В дверях, ведущих в алтарь, показался князь Юрий Ромодановский.

— Благослови на вход.

— Входи!

Ромодановский шагнул к Никону.

— Не будет государь нынче во храме. Гневен царское величество на тебя. Сказывает царь, что пишешься ты великим государем, а у нас един великий государь — царь.

Никон недоуменно пожал плечами.

— А называюсь я великим государем не сам собою, но так восхотел и повелел его царское величество. Свидетельствуют о сем грамоты, писанные его рукой.

Не глядя на князя, он разбитой походкой направился к царским вратам.

— Благослови, владыко! — раскатисто рявкнул архидиакон.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, — зло процедил патриарх, чувствуя, как странно забилося вдруг сердце и заломило правый висок.

Медленно и скучно тянулась обедня. Настроение Никона невольно передавалось духовенству и молящимся. Однако под конец патриарх приободрился и как будто повеселел. Приказав ключарю поставить у выхода сторожей и никого не выпускать из собора, он вышел на амвон и внятно, по слогам, отчеканил:

— Ленив я был вас учить! Не стало меня на сие, от лени я окоростовел. И вы, узрев мое к вам неучение, окоростовели от меня.

Он умолк, точно сбившийся со знакомой тропинки слепой, испуганно ощупал вздрагивающими пальцами воздух и всем туловищем подался вперед.

Сквозь щели царских врат, с затаенным дыханием наблюдали за патриархом монахи.

— От сего дни, — крикнул вдруг Никон, задыхаясь, — я больше не патриарх вам! Ежели же помыслю патриархом быть, то буду анафема!...

Монахи выбежали из алтаря.

— Братие, не попустим!... Кому он убогих нас оставляет?

Верные патриарху людишки подхватили вопли монахов и метнулись к амвону.

— Кому ты убогих нас оставляешь?... Смилуйся, государь, патриарх!

Никон перекрестился и вытер рукавом глаза.

— Кому вам Бог даст и пресвятая Богородица изволит, к тому и прибегнете!

Он скрылся в алтаре и вскоре вернулся с мешком, в котором было припасено простое монашеское одеяние.

— Помилуй!... Не покидай нас, убогих, — стонали молящиеся.

Монахи вырвали мешок из рук патриарха.

— Не дадим! Негоже святейшему всея Руси государю патриарху в одежды мнихов простых рядиться.

Немощно опираясь на жезл, Никон поплелся в ризницу, вернулся в мантии с источниками и в черном клобуке.

— Благослови вас Бог, — низко поклонился он и, не слушая увещаний, направился к выходу.

Больше месяца патриарх не выходил из своих покоев, тщетно дожидаясь доброй вести от государя. Но Алексей, подстрекаемый женой и ближними, не хотел и думать о примирении.

Поняв, что царь не протянет первым руки, Никон решился на последнюю хитрость — написал Алексею униженную цидулу, в которой просил пожаловать ему келью, освободив от патриаршества.

Всю ночь провел Никон без сна. Мысли о том, что сила и слава его так неожиданно рухнули и, может быть, никогда уже не вернутся, истощили его, довели до отчаяния.

— Придет! Утресь придет! — упрямо долбил он, чтобы как-нибудь заглушить в себе безрадостные предчувствия. — В собор пожалует и сызнов другом наречет своим.

Но слова пусто отдавались в мозгу, не успокаивали. Утром Никон явился в собор в простом монашеском одеянии. В алтаре его дожидался князь Алексей Трубецкой.

— Царское величество повелел тебе цидулу вернуть, — подал князь бумагу Никону, — а еще сказывал, чтобы ты патриаршество не оставлял; келий же на патриаршем дворе великое множество.

Потемневший Никон, едва сдерживаясь, чтобы не выдать своего жестокого огорчения и разочарования, резко бросил князю в лицо:

— Уж я слова своего не переменю, да и дано у меня обетование, чтоб патриархом не быть.

И, гордо выпрямившись, пошел из собора через Красную площадь на Ильинку, к подворью построенного им Воскресенского монастыря.

## ГЛАВА XIV

Войны с Польшей, Швецией, Крымом и Турцией не прекращались, пожирали толпы людей, разоряли страну.

Все помыслы царя и ближних были обращены не на стремление к заключению мира, а на то, чтобы усилить наемные иноземные войска и обучить русские рати по европейскому образцу.

Народ давно уже вместо хлеба питался серединной корой, травами и кореньями. Пустели деревни, села и города. По Руси гуляла

голодная смерть. Из заколоченных изб далеко по полям и дорогам разносился жуткий запах мертвечины. Наступил неслыханный с давних лет мор. Со всех концов земли приходили страшные вести.

Алексей забросил все потехи свои и проводил время в сидениях с ближними, в посте и молитве. Он осунулся, потемнел; глубоко запали и потускнели его, всегда благодушно улыбавшиеся досель, голубые глаза, грузное тело разбухло, сделалось тяжелым и дряблым, как перекишшая опара в квашне.

Когда ему донесли, что в Руси вымерло от морового поветрия более семисот тысяч человек, а в самой Москве — до семидесяти тысяч, он наложил на Кремль строжайший трехдневный пост.

Примолкли двор и палаты кремлевские. Смыло смех и людской говор. Скоморошьи стаи и музыканты попрятались в подземелья и темные уголки, чтобы видом своим не нарушить царившей вокруг мрачной торжественности. Тоскливо, точно дубравою заглушенный вой голодных волков, припадали к земле великопостные перезвоны.

Страстно прижимая руки к груди, не спуская проникновенного взгляда с распятия, на коленях, молился царь.

— Помяни души усопших раб твоих, имена же их ты, Господи, веши! — бился он об пол лбом. Христанские кончины живота нашего, безболезненна, непостыдна, мирна и доброго ответа на страшном судище Христовом просим! Избави от лютых смертей!... Избави!

Но чем больше молился Алексей, тем тревожнее сжималось сердце его и страх, неясный, произвольный, казавшийся поэтому еще более неизбывным, отравлял все существо. Подле государя неотлучно дозорили Ртищев и Милославский. В часы, когда, измученный молитвою и поклонами, Алексей укладывался на жесткую подвижническую постель, искренно опечаленный постельничий подползал на брюхе к кровати и с великой тоской заглядывал в желтое царево лицо.

— Не тужи!... Не надрывай сердца моего, холопьего, — всхлипывал он, лобызая ноги царя. — От Бога все... Не нам сетовать на волю его пресвятую.

Его хрупкая, полудетская спина жалко вздрагивала, острые приподнятые плечи почти касались ушей. Он говорил без конца, стараясь подыскать такие слова, которые могли бы утешить безмолвно слушавшего государя. Он готов был на самую тяжелую жертву, только



бы вернуть этим покой «благодетеля и владыки». Но нужных слов не было. Растопыренные пальцы гневно скребли половицу, и тщетно напрягался до последних извилинок мозг в отчаянной попытке найти слово, которое принесет спасение Руси и тем развеселит цареву сердце...

Когда трехдневный пост окончился, Алексей почувствовал себя бодрее. На него как будто снизошло умиротворение — так бездомный бродяга, случайно забредший на позабытый, заросший бурьяном и крапивой погост, неожиданно умиляется сердцем перед лицом сладко дремлющей вечности.

Устроившись подле окна, царь задумчиво глядел на тихую площадь, на перистые облачка, ласково приникшие к лазури неба, и чувствовал, как душа его преисполняется благодатью. А как хорошо было сознавать, что и это небо, и весь необъятный простор живут в нем, как живет он в них без личных желаний, без жалких и нищих человеческих дум, приковывающих вселенскую душу к земле!

— Верую, Господи, верую в жизнь бесконечную и не ратую на кручины житейские, — шептал он, улыбаясь блаженной улыбкой.

А в соседнем тереме уже дожидались с докладом Милославский, Матвеев и Ордын-Нащокин.

Ртищев за спиной царицы кресла робко переминался с ноги на ногу, обдумывая, чем бы привлечь к себе внимание государя.

Тихо, мягким шепотком, беседовали вельможи о делах государственности. С недавних пор они забросили споры о преобразовании Руси. Страх возможного ослабления военной силы заставил их позабыть обо всем, отдать все силы на то, чтобы изыскать средства к содержанию войск и не подать им повода для ропота.

Алексей, убаюканный тишиной, вздремнул. Постельничий, зажав для большей верности пальцами нос и стиснув губы, боком выбрался в сени.

— Тсс! — погрозил он пальцем, входя к вельможам. — Опочивает.

Милославский недовольно причмокнул.

— Обрел, тоже, время для опочивания.

— Тсс! — присел на корточки и испуганно вобрал голову в плечи Ртищев.

Но советники, не обратив на него внимания и посоветовавшись между собою, вошли к государю.

Откинув голову на спинку кресла, государь храпел. Один глаз его был полуоткрыт, на прилипшей к щеке рыбной крошке копошилась стайка трапезующих мух.

— Кш, оголтелые! — нарочито громко крикнул Нащокин и взмахнул рукой перед самым носом царя.

Алексей мотнул головой и очумело уставился на ближних.

— Как почивать изволил, царь? — поклонился в пояс Матвеев.

Алексей облизал губы и расплылся в счастливой улыбке.

— Зрел я, будто в чертогах хрустальных белокрылые херувимы благословляют меня...

Он протянул руку к столу. Вельможи, отталкивая друг друга, бросились за квасом. Ртищев скользнул угрем между ног Милославского и вцепился в ковш.

— Испей, царь-государь.

Напившись, государь довольно крякнул и перевел взгляд на тестя.

— К чему бы во сне херувимов зрети?

— К казне... Не иначе, казну обретишь...

Алексей незло погрозился.

— И лукав же ты... Клонишь к тому, зрю уж, чтобы сызнов меня тревожить беседами государственными.

Он помолчал и вдруг с умилением повернулся лицом к окну.

— Ты на небеса воззришь, на землю пречудную, на благодать Божию, что дадена нам и в былинке остатней немошной, и в солнце могутном, и в птице пернатой. В сем едином лишь радости человеческие, а не в суете сует... Да уж быть посему. Не отстанешь, ведь, от тебя. Выкладывай, что ли.

Усевшись на лавку, Илья Данилович без долгих рассуждений прямо объявил:

— А государственной казны нет нисколько, а служилых людей, казаков и стрельцов в городах прибыло, жалованье им дают ежегодно, докуки тебе от служилых людей, дворян и детей боярских большие, а пожаловать нечем.

Вся разнеженная умиротворенность, в которой пребывал с утра государь, мгновенно рассеялась.

— Не можно нам свары заводить со служилыми, — воскликнул он, вскакивая с кресла. — На них и держава держится наша.

— То-то мы и речем, — подхватили дружно советники, — без служилых ты, государь, что орел без когтей, а либо христианин без креста!

Матвеев торопливо достал из кармана бумагу.

— А и надумали мы хилыми умишками, государь...

Он откашлялся, расправил бумагу и приступил к чтению.

Уткнувшись в бороду кулаком и собрав складками кожу на лбу, царь внимательно слушал.

— Гоже ли? — спросил он робко, ни на кого не глядя, когда Артамон Сергеевич, окончив чтение, положил на стол план нового налога.

— Гоже! — ответили все хором.

Помявшись немного, Алексей неуверенно подписал бумагу.

— Быть посему. А там, как рассудит Господь.

Вскоре по всей Руси на площадях приказные огласили новое цареве постановление:

«Пожаловал людишек своих царь-государь налогами: с торговых людей — сбор пятой деньга<sup>[41]</sup> и рублевый налог со двора; с духовенства и служилых — сбор полтинной и полуполтинной деньга; да с оемесленников, и крестьян двух с половиной деньга<sup>[42]</sup>».

Сборщики податей тотчас же приступили к обходу дворов. Никакие мольбы не трогали их. Они уносили все, за что только можно было выручить хоть какие-нибудь деньги. Едва государь подписал постановление о налоге, пришла новая беда: из обращения стали исчезать мелкие монеты.

Но Милославский нашелся и здесь. По его совету, царь приказал рубить серебряные ефимки на четыре части и на каждую долю накладывать клеймо: «двадцать пять копеек». Таким образом, стоимость ефимка поднялась в два с лишним раза. Разница в стоимости целиком шла в казну.

Цены на товары, благодаря новым деньгам, росли с необычайной быстротой. Стоимость же медных денег падала все более и более.

Довольные вначале своей затеей, царь и ближние вскоре поняли, что денежные дела безнадежно запутываются. Не унывал один лишь Милославский.

— Была бы монета на рынках, а там все уладится, — уверенно заявил он однажды царю и предложил чеканить на Москве, в Новгороде и Пскове мелкие медные деньги — алтыны, грошевики и копейки по образцу старых серебряных монет.

Большое разнообразие мелких денег, уравненных не с новой порченной серебряной монетой, а и со старыми серебряными копейками, еще более усилило замешательство населения и несколько не устранило недоверия к медным и легковесным серебряным деньгам.

\* \* \*

Хлебные рынки пустели. Кое-где встречались еще возы с зерном и капустой, но крестьяне, простояв до вечера в тщетном ожидании покупателя, возвращались домой ни с чем.

По рынкам, одичавшие от голода, в отрепьях, толпами бродили работные и ремесленники.

— Христа для, подайте убогому, — кланчили они, жадно впиваясь ввалившимися глазами в возы с недоступным зерном. — Подайте Христа для!

Продавцы с участием глядели на нищих, но ничего не подавали.

— Сами не кушамши... Все на подати собираем.

Неожиданно стаяй воронов, почуявших запах падали, нападали на рынок приказные.

Всполошенные мужики падали ниц.

— Помилуйте, не губите!

Но сборщики грозно взмахивали бичами.

— Не смутьяны ль уж вы, что противу податей восстаете?

Приказные оценивали не только хлеб, но и стоимость воза с конем и забирали почти все зерно без остатка.

— А жить-то чем нонеча? — вопили ограбленные. — Жить-то чем, благодетели наши?

Сборщики спокойно делали свое дело и уходили.

Милославский торжествовал. Его казна неукоснительно умножалась. Людишки его шныряли по Москве, проверяли сборщиков и львиную долю податей отбирали для своего господаря.

В день, когда были готовы новые хоромы Ильи Даниловича, построенные по «еуропейскому обычаю», он, полный гордого удовлетворения, с искренним чувством благодарности приложился к царевой руке.

— А и до чего же отменно все в державе твоей богоспасаемой, тесть мой и государь!

Алексей заткнул пальцами уши и затряс головой.

— Будет!... Опостылел ты мне с государственностью своей. Дай хоть малый час душеньке моей отдохнуть от сует земных.

— Отдохни, отдохни, благодетель.

Царь кивнул стоявшему у порога рассказчику.

— Сказывай!

И сетуяще поглядел на тестя:

— Ты бы хоть единый раз потешил меня сказом таким, как сей дворянин Лихачев. А то все государственность да государственность... Тьфу!

Милославский добродушно усмехнулся.

— А отставишь меня от денежных дел да отошлешь, как сего Лихачева, во Флоренцию, чать, и я не лыком шит, тож смогу.

— Ну, не перечь государю!

Лихачев, уловив нетерпеливое движение царя, приступил к прерванному рассказу.

— И объявились палаты... И быв палаты и вниз уйдет, и того было шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами...

Алексей недоверчиво прищурился, переглянулся с тестем.

— Уж не выдумка ль!... Возможно ли быть морю в палатах?

Милославский махнул Лихачева ладонью по лицу.

— Ври, да из меры не проливай!

Обиженный гость перекрестился.

— А что зрел, о том и реку своему государю. А порукой тому сам герцог Тосканский.

Царь нараспев зевнул.

— Дивны дела твои, Господи!

И, томимый любопытством, заторопил Лихачева:

— Сказывай далее.

— А в море рыбы, — таинственно зашептал дворянин, прикладывая палец к рябому носу, — а на рыбах люди ездят, а в верху палаты небо, а на облаках сидят люди. Да спускался с неба на облаке сед человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамачки под каретами как есть живые, ногами подрагивают...

Милославский заткнул уши и отошел к двери.

— Дозволь, преславный, уйти. Забрехался до краю дворянин, серед иноземцев пожительствовал!

— Нишкни, — погрозился Алексей.

Илья Данилович шмыгнул за порог.

— Сказывать ли, царь-государь? — поклонился Лихачев.

— Сказывай.

— А в иной перемене объявилось человек с пятьдесят в латах и почали саблями и шпагами рубиться и из пищалей стрелять и человека с три как будто и убили... И многие предивные молодцы и девицы выходят из полога в золоте и пляшут, и многие диковинки делали.

Восхищенный рассказом Лихачева, Алексей в тот же вечер вызвал к себе Матвеева, Ртищева и Нащокина.

— Волю зреть на Москве комедийное действо!

Ближние горячо поддержали царя и тут же принялись обсуждать, кому поручить написать «действо».

Сидевший молча у окна Милославский, едва беседа окончилась, поклонился в пояс государю.

— Дозволь молвить.

— Реки!

— Сам ты, царь, премудро сказываешь: делу-де время, потехе же час.

— Ну?

Илья Данилович осклабился.

— Ну, выходит, хочу я за дело приняться.

Государь шлепнул тестя по животу и рассмеялся.

— Что ты с ним сотворишь, коли спит он и зрит свою государственность!

— Не о себе помышляю, — преданно заглянул Милославский Алексею в глаза, — о твоём пешусь благоденствии!

И таинственно прищурился:

— Добро бы, государь, всю многоликую монету скупить, а выпустить одноликую, ибо не имут людишки веры в нынешние деньги и на них никаких товаров не отпускают.

Царь сердито топнул ногой.

— Токмо давеча сказывал — отменно-де все в державе моей!

— Не обмыслил давеча хилым умишком своим, государь.

За Илью Даниловича вступился Ордын-Нащокин.

— Дело сказывает Данилович. Великого ума тесть твой, государь.

Алексей раздумчиво потер пальцами лоб.

— Нам-то от того лихва будет какая?

— Верная лихва, царь, — успокоил Милославский, — скупим меди на рубль да шестьдесят копеек, а чеканить из той меди будем сто рублей по мелочи. Я уж доподлинно все прикинул. Не зря же ты меня пожаловал ведать двором денежным!

Царь обнял тестя.

— А и, доподлинно, великого ума тесть наш Илья Данилович.

## ГЛАВА XV

Все заботы об увеличении казны царь возложил на Милославского. Чтобы прежде всего улучшить свои собственные дела, Илья Данилович образовал артель для чеканки фальшивой монеты, в которую вошли боярин Морозов, дворянин Толстой, стольник Иван Голенищев, стряпчий Сила Макарьев Бахтеев, муж царевой тетки по матери, думный дворянин Матюшкин и торговый гость Василий Шорин.

По стопам «верных» голов и целовальников пошли и денежные мастера, серебряники, оловянники и иные.

Вскоре в народе пошли подозрительные толки: денежные мастера никогда не слыли богачами, жалованье получали убогое, мшел братъ было им не у кого — жили тихо, скромно, перебиваясь с хлеба на квас; и вдруг, словно с неба, клад на них свалился. Кругом беспросветная нищета, моровое поветрие, а мастера каким-то чудом обрядились с семьями по боярскому обычаю, снесли покосившиеся избы свои и поставили каменные дворы, стали закупать в рядах, не торгуясь,

дорогие товары, серебряную утварь, и каждодневно устраивать развеселейшие пиры.

— И откель благодать им такая? — зло перешептывались по углам люди.

А медные деньги обесценивались между тем все более и более. По Руси, под стенанья, вопли и скрежет зубов отплясывала свою страшную пляску смерть. Покойников не успевали хоронить и оставляли в замурованных избах. На месте сел, деревень и починков выросли погосты. Избы стали надгробиями. Ночью и днем по смрадным московским улицам бродили бездомные толпы голодных и падали замертво, чтобы больше не встать никогда. На всех перекрестках дозорили усиленные отряды рейтаров. Москва превратилась в стан, а ее обитатели — в полоненных людишек.

Потеряв надежду на лучшее будущее, люди с особенной жадностью ухватывались за самые различные слухи и принимали их безоговорочно, как истину. Этим пользовались раскольничьи «пророки», громогласно вещавшие, не стесняясь присутствием рейтаров, о скором приходе антихриста и светопреставлении.

Однажды раскольники принесли новую весть. Народ всколыхнулся, повеселел; из уст в уста передавалось о скором приходе на Москву, на выручку голодающим, великой разбойной ватаги с атаманом Корепиным во главе.

Слух прокатился и смолк, и еще грознее насупилась притихшая Москва...

\* \* \*

Доведенный до отчаяния народ решил на последнее средство: идти с челобитной к самому государю. Выборные отправились к Ртищеву.

— Ты, Федор Михалович, един не гнушаешься простолюдинов. Заступи ж и помилуй!

Ртищев разжалобился и на другой же день упросил государя принять челобитчиков.

На Красной площади с утра собралась огромная толпа голодающих. Выборные долго стояли на коленях перед храмом



Василия Блаженного и иступленно молились «о смягчении и умилении царева сердца». Наконец их ввели в Кремль.

— Великий наш печальник и государь! — упали послы ниц перед Алексеем. — Дозволь челом бить тебе, помазанник Божий!

Царь вперил в подволоку глаза.

— Печалуйтесь!

Один из выборных подполз к Алексею и припал к его ногам.

— Хлеб учал дорог быть высокою ценою от медных денег, — срывающимся голосом начал он, — потому что вотчинники хлеб, и сено, и дрова продают на медные деньги большой ценой. А на серебряные деньги ржи четверть купят рубли по четыре, а по меди выходит рублей по тридцать по шесть. А и в таком дорогом хлебе и во всяком харчу скудные людишки погибают и многие чернослободцы торговые люди ожидают себе от медных денег конечные нищеты.

Выборный умолк и стукнулся лбом об пол.

Царь схватил руками голову и тяжело сопел. Его глаза потемнели, налились слезами.

Челобитчики — работные, ремесленники, цирюльники, портные, сапожники, гончары и мелкие торговые люди, увидев государеву скорбь, оживились. «Ужо он все напасти единым глаголом своим с нас снимает. Нешто допустит он нашей гибели», — думали они, смелея.

— Дозволь еще молвь тебе молвить, государь! — вновь поднял вдруг свой голос выборный.

— Молви!

Работный приподнялся, упершись об пол рукой и, чувствуя, как помимо воли все существо его наливается отчаянной отвагой, мотнул головой в сторону Милославского.

— А учало все дорого быть еще по той пригоде, что тесть твой, царь-государь премилостивый, Илья Данилович Милославский, приказал сробить на свою потребу воровских медных денег на сто на двадцать тысяч.

Кровь отхлынула от лица Милославского.

— Оговор то воровский, государь! То вороги противу меня измышляют!

Раздув широко ноздри, государь впился режущим взглядом в глаза тестю.

— А оговор, найдем мы казнь и на врага твоего!

Он встал и высоко поднял руку, точно призывая в свидетели небо.

— За глаголы за смелые спаси вас Бог, страждующие холопы мои!... А обещутся вправду слова, лютою смертию воров изведу!

И незаметно моргнул Ромодановскому, указывая на работного.

— Не инако, вор-то из разбойной ватаги Корепинской, — склонился Милославский к уху царя.

— И самому мне сдается, — ответил чуть слышно Алексей и встал с кресла.

— Изыдите с миром и веруйте, что не дадим мы погибнуть холопам своим.

У Троицких ворот работного остановил думный дьяк.

— Волит государь доподлинно глаголы твои записать, чтобы легче было сыскать воров.

До вечера выборный просидел в камерке, дожидаясь опроса. Наконец за ним пришли стрельцы и, не дав опомниться, накинули на голову мешок. Работный попытался сопротивляться, но его ударили палкой по темени.

Очнулся он в подвале, на дыбе. В углу, у пылающей печи, возился кат.

\* \* \*

Алексей не обратил бы внимания на слова работного, если бы не понимал, что воровские деньги наносят ущерб его казне.

— А родитель-то твой — денежный вор, Марья Ильинична, — вызвав к себе жену, гневно закричал на нее царь. — Сто двадцать тысяч! Разумеешь ли? Сто двадцать тысяч воровских денег!

Он с ненавистью и с каким-то болезненным злорадством потрясал кулаками перед лицом растерявшейся Марьи Ильиничны.

— Тоже, «святая» — раскольников призывает богоборствует, а родитель — вор!

И подскочил к двери.

— Подать Милославского!

Илья Данилович вошел в терем с высоко поднятой головой.

— А ежели ты, всея Руси царь и великий князь, смердам да ворам разбойным внемлешь, верного же холопа и тестя изменником почитаешь, так на же!

Он бросился к стене, схватил охотничий нож и разодрав на себе кафтан, размахнулся с плеча... Царица с пронзительным визгом повисла на руке отца. Алексей попятился к двери.

— Эко, горяч ты, Ильюшка! — жалко выдавил он, задерживаясь на пороге. — Уж государю стало ныне не можно глаголом обмолвиться.

Илья Данилович бессильно выронил нож.

— Каково напраслину мне терпети... Сам я в думке держал, государь, нонеча же поведать тебе про воров денежных, а смерд меня упредил.

Он уселся рядом с зятем и уже без обиды в голосе назвал имена некоторых денежных мастеров и ни в чем неповинных малых людишек...

В ту же ночь начались аресты и пытки.

Не имевшие средств откупиться подвергались лютой казни: их жгли, вырезывали ремни из кожи на спине, выкалывали глаза и под конец заливали горло расплавленной медью.

Постельничий, присутствовавший как-то при казни, не выдержал ужасного зрелища, — помчался домой и, составив с женою набросок нового закона о наказании денежных воров, поехал в Кремль.

— Послушайся тихого своего сердца, царь, — упал он на колени перед Алексеем, — помилуй воров! Не Божье то дело христианское горло топленой медью потчевать.

Царь по— отечески потрепал Федора по щеке.

— Волос седеет у тебя, а сердце все как у дитяти! Чти уж!

Трижды перекрестившись, Ртищев развернул свернутую трубочкой бумагу:

«А тому, кто робит матошники и с них переводит чеканы — отсечь руки и ноги. А тому, кто робит воровские деньги на чюжих матошниках — отсечь левую руку да левую ногу тож. А кто до чего довелся, после пытки казнить смертию и прибывать у денежных дворов на стенах, а дома их и животы имать на царя безденежно».

Последние слова особенно понравились государю. Он, не задумываясь, взял бумагу из рук постельничего и передал ее дьяку

— А по-Божьему ежели, по-христианскому, быть посему. А то, где ж сие слыхано, чтобы христианам горло заливать медью топленой!

Отдаленный шум, точно морской прибой, с глухим рокотанием ударился о кремлевские стены.

Государь, затаив дыхание, прокрался к окну

— Никак, гомонят?

— Гомонят, — подтвердил побелевший Ртищев.

В терем, не испросив разрешения, ворвался Голицын.

— Бунт, государь!

У Алексея упали руки. Одутловатое лицо его вытянулось, глаза забегали в страхе.

Топоча не по чину ногами, обгоняя друг друга, к государю спешили Ордын-Нащокин и Ромодановский.

— Мужайся, царь-государь! — крикнули они в один голос, едва переступив порог терема. — На Лубянке поставлен нами полк иноземный. Благослови нас на воеводство.

## ГЛАВА XVI

Темна и тревожна московская ночь, окутанная клейким туманом. Осторожно крадется огородами, точно выслеживая добычу, промозглый ветер. Очертания чахлых рябин, прилепившихся к краю дороги, странно колеблясь, то тянутся тонкими щупалами куда-то ввысь, то, жутко похрустывая, припадают к земле, расплываются черным пятном. Зарывшись по уши в навоз, на огородах, под заборами, по обочинам улиц, лежат бездомные люди. Их трясет мелкая дрожь, приступы голода вызывают мутящую тошноту и ноющую, тягучую боль в животе. Непереносимо хочется спать, кажется, стоит лишь закрыть поплотнее глаза, ровней задышать и тотчас придет благодетельный сон. Но сон ни приходит. В тяжелом полубреду мерещится душистая солома в углу теплой избы, дразнящий запах горячей похлебки и медвяная, пышная, ржаная коврига.

Коврига растет, ее краешки касаются всех концов стола, а румяная и улыбчатая голова-шапка упирается в самую подволоку... Стол трещит старыми костями своими, не выдерживает тяжести,

медленно валится на сторону... Коврига скользит на пол, задерживается на весу и вдруг с грохотом падает.

— Спасите! — кричит в ужасе бездомный. — Спасите!

Он хочет вскочить, но ноги цепко переплелись с ногами соседа, и грудь придавила чья-то чужая тяжелая голова... Снова настороженная тишина, крадущийся огородами ветер и, где-то далеко, позвякивание дождевой капли — словно слюдяными крылышками о траву...

Два человека медленно двигались по черным улицам. Далеко обходя дозорных, они при малейшей тревоге припадали к земле, и ползли на брюхе.

В одном из переулков они остановились.

— Никак песни играют? — спросил один из них.

Второй прислушался.

— А сдается, недалече мы от хором торгового гостя Василия Шорина.

Они свернули в сторону и огородами поползли дальше, в безглазую мглу...

\* \* \*

Шорин собрал у себя в хоромаш всю московскую знать, третьи сутки празднуя день ангела сына.

Все, что можно было только закупить на рынках, было приволочено в усадьбу торгового гостя. Неумолчно трубили «игрецы», любезно предоставленные Шорину боярином Матвеевым и жителями Немецкой слободы. Рекой лилось вино, пиво и мед. Пьяный гул, хохот, песни и музыка оглушили, перевернули вверх дном весь переулок. На просторном дворе разгулявшийся Шорин потчевал просяными лепешками и вином дворовых людишек.

Среди веселья хмельной хозяин вдруг отчаянно хлопал в ладоши и ревел на всю трапезную.

— А есть ли кто могутней да славнее меня?

Он тащил гостей в подвалы. Рой холопей выстраивался по двору. Факелы теребили ночную темь, бросая зловещие отблески на лица господарей. Опираясь на плечо дворецкого, чванно вышагивал впереди всех Шорин.

— Вот она, силушка! — сквозь икоту бахвалился он, раскрывая короба с золотом, драгоценными камнями, серебряной утварью, мехами и богатой одеждой. — Возьми голой рукой Василия Шорина!

И колотил себя в грудь кулаком.

— На! Не жалко!... Все отдам дружбы для!

Он набирал полную пригоршню золота и лез к князю Куракину:

— Бери!... Живота не пожалею для тебя, Феодор Феодорович! Потому, ежели сам государь, отбыв на Коломенское, наказал тебе замест него на Москве быти, должен я тебя превыше всех ублажать... Бери, не жалко!

Но Куракин хорошо знал Василия.

— Златом пожалует, а погода такое восхощет, и не возрадуешься, — перемигивался он с Милославским, стараясь освободиться из медвежьих объятий хозяина.

Из подвалов с песнями и плясом снова шли в хоромы.

Часть гостей валялась в сенях и трапезной на заплеванном полу, оглашая воздух пьяными стонами, храпом и непрерывной отрыжкой. В одном из теремов дожидались своей участи купленные Шориным у голодающих девушки и молодые женщины.

Милославский, устроившись рядом с Куракиным, усердно ел, много пил, и то и дело язвительно поглядывал на хозяина.

— Аль не признал? — не вытерпел наконец Шорин.

Илья Данилович взял с серебряного блюда стерляжью голову, с наслаждением обсосал ее и бросил под стол.

— Была стерлядка рыбиной знатной! Да то было в воде, а на земли место мясу ее быти в брюхе, голове ж — в сору.

Василий ничего не понял, но на всякий случай решил обидеться.

— Ты куда ж гнешь? Уж не меня ли рыбиной величаешь?

— А хоть и тебя! — подбоченился Милославский. — Восхотела, сказываю я, стерлядь из воды уйти, чтоб и на земли покичиться силой своей, а протухла!... А восхощет торговый гость из рядов отплыть да к природным дворянам пристать — не миновать и ему протухнуть, сермяжному.

Шорин схватил мушерму и, не помня себя от гнева, опрокинул ее на голову царева тестя.

Гости замерли. Резко оборвалась музыка.

— Краснорядская крыса!... Холопий род! — заревел Милославский, стаскивая со стола вместе с посудой полог. — Алтынник медный.

Первым опомнился Ртищев. Он подскочил к хозяину и заткнул ему рукой рот.

— Христа для... Не заводи свары с тестем царевым.

Шорин далеко от себя отшвырнул постельничего.

— Алтынник, да не твой, а царев! — стукнул он по столу кулаком, сразу трезвея. — А ты рубль да воровской!

Трапезная пошла ходуном. На рвущихся в драку противников навалились десятки людей.

— Пустите! — гремел Илья Данилович.

— Пустите! — вырывался из рук Василий.

Милославский бился головой об половицу, царапался, кусался и выл.

— А с коего время могутным он стал, вша краснорядская. Не с того ли дни, как сборщиком по моей милости заделался с пятой да с двух половинной деньги!...

Шорин притих наконец, перестал сопротивляться и обессиленно сел на лавку.

— Ну вот, так-то сподручней, — облегченно вздохнул постельничий. — Погломонили и будет.

Вдруг Василий прыгнул на стол и ринулся вниз головой на Милославского.

— А, денежный вор, попался!... Накось, держи от стерлядки!

\* \* \*

Дождь прошел, но мгла сгустилась еще больше. Два человека, промокшие до костей, добрались до Сретенки.

— Приехали, Куземка, — добродушно пошутил один из них и вытащил из-за пазухи сверток.

— А приехали, — весело подхватил Куземка, — выходит, время нам, Савинка, и за робь приниматься.

И юркнув к столбу, игриво подбросил круг воска.

— Давай письма-то!

Смазав углы воском, он приклеил бумагу к столбу.

— Гоже ли держится?

— Гоже!

Они торопливо зашагали дальше. Вскоре все столбы на Сретенке и Лубянке были заклеены воровскими письмами.

\* \* \*

В белесом небе, далеко на восходе, спорил с разбухшей мглой рассвет. Забрезжило хилое утро двадцать пятого июля тысяча шестьсот шестьдесят второго года.

В усадьбе Шорина воцарился покой. Под столом, дружно обнявшись с Милославским, храпел хозяин; пальцы его крепко сжимали овкач, из которого он потчевал после примирения гостя. Рядом, широко раскинув ноги, скрежетала зубами и хрипло дышала во сне опоенная девушка. За столом, уткнувшись лицом в миску с квашеной капустой, спал князь Куракин.

В ближайшей церкви заблаговестили к заутрени. Вначале робкий перезвон крепчал, наливался уверенной силой.

Разбуженный перезвоном, Ртищев недоуменно приподнял голову. «Никак благовестят?» — с трудом сложилось в тяжелой его голове. Он потянулся и перекрестился на образ: желтое лицо его полыхнуло кумачовым румянцем: «Боже, что ж я наделал!... Как же я пред очи Марфеньки ныне предстану!» — хрустнул он пальцами и с омерзением отодвинулся от простоволосой женщины, прикорнувшей на самом краю сундука.

Наскоро одевшись, постельничий бочком выбрался в сени.

— Лихо! — встретил его с глубоким поклоном дворецкий, спешивший в трапезную. — Лихо! — повторил он, тряхнув головой. — Демка Филиппов слышал, собирается-де великая сила людишек и чаят от них быть погрому двору боярина Ильи Даниловича Милославского, двору нашего господаря и иных знатных людей за измену в денежном деле.

Ртищев метнулся в трапезную.

— Вставайте! — пронзительно заверещал он и плеснул в лицо мертвецки пьяного Шорина мушермой меда.



На Сретенке, у воровских писем, уже толпился народ. Нашлись грамотеи, которые громогласно читали написанное:

«Изменник Илья Данилович Милославский, да Федор Михайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да гость Василий Шорин».

— Изменники!... Правильно! — грохотала толпа.

Сретенский сотни сотский Павел Григорьев поскакал в земский приказ с докладом к Куракину.

Князь, не выпавшийся, сердитый, сидел за столом, прислонившись спиною к стене, и маленькими глоточками пил квас.

— Докладай! — буркнул он, тупо уставившись на ковш.

Сотский отвесил земной поклон.

— А собрались на Сретенке мирские люди без ведому моего о пятой деньге порядить. А я с сотней, про сие прослышавши, тотчас противу тех людей выступил. А не успел я до Сретенки доскакать, как слышу возгласы велегласные: «На Сретенке да Лубянке на столбах письма воровские расклеены!»

Куракин прищурился, плюнул и вдруг ударил Григорьева ковшом по лицу.

— Потчуйся, сукин сын, за то, что попустил беззаконие. И пшел с очей моих вон!

Прогнав сотского, князь снарядил на Лубянку дворянина Семена Ларионова и дьяка Афанасия Башмакова.

Тем временем Василий Иванович Толстой окольными путями поскакал на коне в Коломенское, к царю.

## ГЛАВА XVII

Ларионов и Башмаков, уверенные в собственном могуществе, явились на Лубянку одни, без стрельцов.

— Расступись! — властно крикнул Ларионов и врехался в толпу.

Дьяк, воспользовавшись замешательством людей, сорвал со столба письмо.

— Не моги! — крикнул Куземка Нагаев и метнулся к Ларионову. — Изменник!... Бейте изменника!

Страшный удар железной палкой по голове сразил Куземку.

Чувствуя, что надо действовать сейчас же, не теряя ни мгновения, Корепин бросился с дубиной на дворянина.

— Миром постоять на изменников! Выручай, православные!

Расстроенные ряды людишек сомкнулись.

— Выручай!

Ларионова и Башмакова стащили с коней.

Сотский Григорьев, притаившись за изгородью, возбужденно наблюдал за происходившим. Он глубоко верил в победу Ларионова и только выжидал случая, чтобы — когда это не будет опасно для жизни — броситься к нему на помощь. Увидев, что Ларионова подмяли, он поспешил заблаговременно убраться подальше.

Но не сделал сотский двух шагов, как из-за погребца на него прыгнул пес. Григорьев в страхе бросился назад и перескочил через забор.

— Стой! — принял его в свои объятия уже оправившийся Куземка Нагаев. — Далече ли?

Сотский вцепился в руку Куземки.

— Не погуби! Пригожусь!

Куземка, поволокший было его к мятежникам, приостановился.

— Ну те-ко, выкладывай.

Захлебываясь от волнения, путаясь и торопливо крестясь, сотский рассказал, что Куракин проведаль о корепинской ватаге, укрывшейся в лесу, и приказал иноземным полкам оцепить лес.

Позабыв о сотском, Нагаев побежал с недоброю вестью к Савинке.

Вскоре издалека донеслись глухие пищальные выстрелы: то предупрежденная верными людьми Корепина ватага вступила в бой с полками, чтобы отвлечь их внимание от того, что готовилось в городе.

Расправившись с Ларионовым и Башмаковым, толпа откатилась к церкви преподобного Феодосия, что на Лубянке.

— Православные христиане, — обратился к притихшим людям Корепин, — слышали ли вы, что прописано в письмах?

— Чти!... Сызнов чти.

Обнажив голову, гилевщики<sup>[43]</sup> еще раз выслушали содержание воровского письма.

Едва Куземка окончил чтение, толпа, точно подхваченная ураганом, с гиком понеслась к усадьбе Шорина. На перекрестке мятежников перехватил сильный отряд рейтаров. Впереди, на белом аргамаке, с обнаженной саблей в застывшей руке, гордо, точно Егорий Храбрый, сидел безусый поручик, князь Кропоткин.

— Стой! — звонко отдал он команду и спрыгнул с коня.

К поручику, не снимая шапок, подошли Савинка и Нагаев.

— Здорово, князь! Аль глад почуял?

Кропоткин пожал плечами.

— Не разумею я глаголов сих.

— А вот, уразумей! — неожиданно вспыхнул Корепин и разорвал на себе ворот рубахи. — Коль по человечине стосковался, на — жри!... Давись кровью холопьем!...

Князь с невольным восхищением уставился на Савинку.

— Костляв ты, смерд, не по мысли мне такая дичина. Да и очи у тебя бесноватые.

И запросто, как равного, потрепал Корепина по плечу.

Бунтары и рейтары с нескрываемым удивлением глядели на князя и ничего не понимали: «Уж не хмелен ли поручик, что со смердом, как с господарем, беседу беседует? Аль замыслил недоброе что?»

Кропоткин отступил и уже грозно крикнул:

— А не обскажешь ли, смерд, какая пригода повела вас на смуту да на верную смерть?

Савинка попытался ответить, но, князь остановил его резким взмахом сабли и повернулся к рейтарам.

— Сам сказывать буду.

Лицо его покрылось багряными пятнами, а круглый с ямочкой подбородок запрыгал, как у плачущего ребенка.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — начал он.

— Шел бы на середу, не слышать нам! — взволновались задние ряды гилевщиков.

— Братья рейтары! — во всю силу легких крикнул князь и смело пошел в самую гущу толпы. — Гляньте-ко на людишек, коих мы призваны смертью поразить!

Рейтары от неожиданности побросали поводья.

— Хмелен! Ей-право, хмелен! — раздалось уже вслух.

— Хмельного отродясь и не нюхивал я! — возмущенно отозвался поручик. — А ныне, доподлинно, захмелел... Ибо кто не захмелеет, на лики глядучи смутьянов сих? Лики их сини, как у удушенных, и тела тощи, как у преподобных, приявших подвиг великопостования.

Его голос сорвался, почерневшее лицо покрылось мелкими каплями пота, глаза закипели слезами. Низко склонив голову, он отвесил безмолствующим рейтарам глубокий поклон, коснувшись рукою земли.

— Не ведаю, как вы, — выдохнул он чуть слышно, — а я не подниму меча противу труждающихся и обремененных.

И с неожиданной силой воткнув саблю в землю, переломил ее надвое.

Толпа ахнула, испуганно отступила, но точас же с ревом бросилась к князю. Высоко, как могучий клич мятежников, взлетел на воздух Кропоткин.

— Слава! До века!...

Когда толпа немного успокоилась и пришла в себя, один из капралов спрыгнул с коня и опустился перед поручиком на колени.

— О многих людишках немочных поминал ты златыми устами своими, а про то упамятовал, что и нам воры денежные медью жалуют жалованье, что и мы, как и иные протчие, убоги ныне и сиры.

— На коней! — властно скомандовал князь. — За мной! — с Ильинки, четко отбивая шаг, двигались стрелецкие роты.

Савинка и Куземка выстроили гилевщиков рядами.

— Не выдавай, православные! — ухарски сдвинул Корепин шапку набекрень и по-разбойничьи свистнул...— А, не выдавай, православные!

Кропоткин натянул поводья и ринулся навстречу наступающим ротам. Немного времени понадобилось ему для того, чтобы привлечь на свою сторону войско. Обозленные недоеданием и неполучением жалованья, стрельцы с первых же слов, не задумываясь, перешли на сторону взбунтовавшегося народа.

Со всех концов Москвы сбегались на площадь несметные толпы.

— К царю!... На Коломенское! — призывал Савинка.

— На Шорина!... На Милославских! — несло из толпы. Пока мятежники громили усадьбы знатных людей, Корепин с отрядом

стрельцов и черных людишек захватил застенки и тюрьмы. Стрелецкие головы и дьяки, узнав о том, что на сторону гилевщиков перешли войска, убежали из Москвы и укрылись в монастырях. Крадучись, на четвереньках, выползали освобожденные узники и только на улице, радостно приветствуемые толпой, вскакивали, как очумелые, и неслись, опьяненные неожиданной свободой по бурлящим улицам.

— Воля!

— На Шорина!

— На Милославского!

— Не выдавай, православные! Бей изменников!

Полный напряжения и тревоги, Савинка обходил подземелья.

Дрожащая рука его подносила факел к перепуганным лицам заключенных, а в сердце все глубже проникали тоска и отчаяние: «Нету, давно уже нету! И косточек не осталось...» Наконец, в одном из подвалов он нашел Таню. Она висела, прикованная железами к стене.

Корепин взгляделся в ее лицо и в ужасе отступил.

— Таня! — взрогнули своды от жуткого крика. — Татьяна!

Восковое лицо женщины болезненно передернулось и в широко открытых стеклянных глазах на мгновение вспыхнул слабый признак сознания. Костлявые пальцы собрались щепоткой, точно для крестного знамения. Но тут же голова бессильно упала на изъязвленное плечо. Слипшиеся космы седых волос перекинулись на глаза, задев щеку Савинки.

Невольная гадливость охватила Корепина от этого прикосновения, точно по телу поползли мокрицы, но он с негодованием стряхнул с себя это чувство и взял женщину за руку.

— То я, Савинка твой... Слышишь, Таня?... Танюша!...

Она как— то странно подергала головой и, захватив серыми губами клоч своих волос, начала жевать их беззубыми деснами.

— Глянь, пчела... Пчелочки!... Динь-динь... звенят!... Глянь, глянь, в лес пчелочка улетела... уле-у-у-у-у...

Она жалко заплакала, вздрагивая всем телом, мотая головой, и вдруг раскатисто захохотала. Смех становился все безудержней, бурней, безумней. Тело прыгало в чудовищной страшной пляске, голова больно билась об острые камни стены; жутко звякали и словно прихихикивали ржавые железа.

Коренин обеими руками ухватился за стрельца, чтобы не упасть.

— Свободи от желез, — попросил он срывающимся голосом и, хватаясь за стены, ушел из подземелья.

Товарищи Корепина освободили женщину от цепей. Свежий воздух и свет подействовали на Таню, как на рыбу, выброшенную из воды. Она смятенно забилась по земле, потом вскочила, бросилась к забору, но тут же рухнула Корепину на руки.

Савинка снес ее в избу и уложил на лавку.

— Пуцай пообдышится, — сочувственно вздохнул помогавший ему стрелец и безнадежно поглядел на узницу.

Стеклянные зрачки Таниных глаз потемнели, сузились. По прозрачному лицу медленно скатилась слеза.

— Отошла, — мрачно обронил стрелец и, закрыв покойнице глаза, перекрестился.

Молча сняв шапку, Корепин стал на колени, приложился к холодеющей руке Тани. В это время в избу ворвался Куземка.

— Поспешай, Савинка, ведет нас князь на Коломенское! А ватаги наши перед иноземными полками отступать почали. Как бы не прикинулось лихо.

Савинка жалко поглядел на товарища.

— Некуда нонеча мне поспешать... Подошел я до краю остатнего.

Нагаев придвинулся к лавке, перекрестился и отвесил Корепину земной поклон.

— За дружбу за твою спаси тебя Бог, а дорога моя еще впереди. Не поминай лихом, прощай.

Он помялся и вздрогнувшим голосом прибавил:

— А живой к живому тянется. Почивший же да отыдет ко Господу.

Корепин с неожиданной силой вскочил с колен.

— На Коломенское!... К царю!

Он схватил со стола секиру и побежал на улицу.

— Эй, люди, за мной!... К царю! На Коломенское!

## ГЛАВА XVIII

Застыв перед образом великомученицы Варвары, без слов молился государь. По обе стороны его лежали, распластавшись на

каменном полу, Ртищев и Милославский. Изредка взор Алексея крадучись скользил к окну, задерживался ненадолго на пыльной дороге, а чуткое ухо тревожно ловило далекие, заглушенные шумы.

Край дороги заметно темнел, как будто сплющивался. Шумы росли, переходили в отчетливые, возбужденные крики.

— Идут, смутьяны, — шепнул царь.

Действительно, к площади подходила толпа.

В церкви стало тихо, как в пещере отшельника. Старенький поп, приготовившийся к возгласу, замер с полураскрытым ртом. Дьячок, захватив в охапку требники, сунулся, было, в алтарь, но Алексей гневно топнул ногой и велел продолжать службу.

Точно град под могучие раскаты грома, заколотились в стекла и просыпались по церкви озлобленные выкрики мятежников.

Царь опустил на колени и, уткнувшись лбом в пол, чуть слышно приказал ближним:

— Покель не поздно, обряжайтесь в подрясники и сокройтесь у царицы.

Милославский и Ртищев нашли царицу с детьми, забившимися под постели и лавки.

Царевич Федор вцепился в ногу Ртищева.

— Ты все! Из-за тебя, плюгавца, смута содеялась!

Он потянул Федора к себе и отвесил ему звонкую оплеуху.

— А не удумывай медных денег нам на страхи великие!

— Ми-и-ло-слав-ско-о-ого! Из-мен-ни-ка Рти-и-ище-ваааа! — отчетливо доносилось с площади.

Марья Ильинична бросилась на шею отцу.

— Помираю!...

\* \* \*

В церкви, точно ничего не случилось, продолжал молиться царь. Едва держась на ногах от страха и старости, к нему подошел Стрешнев.

— Тебя, государь, смерды требуют!

Алексей надулся.

— А не бывало такого, чтобы мы службу Господню до конца не выстаивали! — громко отчеканил он, чтобы слышно было молящимся, и шёпотом прибавил:— Повели попу не поспешать. Пушай тянет обедню, покель можно тянуть.

Стрешнев, передав священнику приказ царя, вышел на улицу, но тотчас же снова вернулся.

— Пожалуй, государь, выдь к бунтарям... Инако, лиха бы не было, ежели они сами сюда ворвутся. А грозят!... Ей, пра, грозят, окаянные!

Государь, подумав, решительно поплыл на паперть.

— Царь!... Царь жалуется! — нервною дрожью перекатилось по толпе и стихло.

Сняв шапки, гилевщики теснее сомкнулись и подвинулись к паперти. Нижегородец Мартын Жердынский взял у Куземки шапку с письмом и подал царю.

— Изволь, великий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников привести пред себя!

На площади и вдоль дороги выстраивались мятежные войска.

Государь сразу повеселел: «Ужо будет потеха вам!» — с наслаждением подумал он и, погрузив в бороду пятерню, ласково кивнул Кропоткину.

Князь, выставив по-военному грудь, четким шагом подошел к Алексею.

— Государь! — прямо глядя пред собой, крикнул поручик. — Споручило мне московское войско весть возвестить!

Он повернул голову к толпе и торжественно продолжал:

— Покель не изведешь ты изменников и воров денежных, будут рейтары со стрельцами служить не тебе, государь, а народу!

Ошарашенный царь отступил к двери, готовый шмыгнуть в церковь. К нему подошел Толстой, что-то торопливо проговорил и тотчас же, высоко подняв голову, затопал ногами.

— А и пора, государь, повывести изменников денежных. Достаточно людишкам немочным терпеть от ближних воров твоих. Покель не расправишься с денежными ворами и я служу не тебе, а народу!

Гилевщики радостно загудели.

— Истинно!... По-божьему речет.



Сиротливо склонив голову на плечо, царь поднес руки к глазам.

— Тужу и рыдаю, — всхлипнул он и воззрился на небо, — ибо всюду кривды творятся. Ибо рыдает и тужит мой народ, сиротины мои... Помози мне, Господи, извести изменников богомерзких, стол мой окруживых!

Он неожиданно поклонился на все четыре стороны и страстно бросил:

— Спаси вас Бог, что не страшась, всем миром пожаловали челом бить на изменников своему государю!

Народ, тронутый слезами царя, ответил земным поклоном.

— Имамы веру, царь, что сыщешь правду и воров изведешь.

Алексей приложил руку к груди и мягко, по-отечески, улыбнулся.

— Изыдите с миром, сиротины мои, а я в том деле учиню сыск и указ.

Корепин, Нагаев, Жердинский и Кропоткин, пошептавшись между собой, взобрались на паперть.

— А не единожды слыхивали мы посулы твои, государь!

Обмякшая было толпа, снова угрожающе загудела.

— Не единожды!... Слыхивали...

— Чему верить, — тормошил Алексея Кропоткин. — Верить чему, государь?

— Образу святому. Обетованию, — торжественно объявил Алексей. — Мы, государь царь, обетование даем. Не было на Руси, чтобы цари обетование нарушили. Краше смерть!

Жердинский принес из церкви крест и серебряный образ Спаса.

Лицо государя засветилось блаженной улыбкой.

— Да не буду я помазанник Божий, если нарушу обетование! — воскликнул он, и по слогам, воздев к небу руки, произнес клятву.

Нагаев ткнул иконой в губы государя.

— Челомкай Спаса!

Когда обряд обетования окончился, Кропоткин, довольный, ударил с царем по рукам.

— А ныне ты нам сызнов царь-государь. Тотчас отыдем мы по домам!

Полные надежд, гилевщики двинулись с песнями на Москву.

Едва площадь опустела, к церкви на взмыленном аргамаке, с противоположной стороны, прискакал Толстой.

— Все содеяно, государь! — упал он перед царем на колени. — Великую силу собрал я из бояр, дворян, монахов да боярских детей. Всей дружиной перестреленут они бунтарей. Уж развеселая будет потеха.

Не успели мятежники скрыться за поворотом дороги, как из лесу на них ринулись дружинники.

— Бей!

Ухнул пищальный залп. Все смешалось в кровавом вихре. Захваченные врасплох, бунтари рассыпались в разные стороны.

Рейтары под командой Кропоткина попытались пробиться вперед, но их встретили ураганным огнем и заставили обратиться в бегство.

Государь, опустившись на колени, принял ухом к земле.

— Гудет!... Господи, заступи и помилуй, порази смердов, восставших против государя и ближних его. Верни крепость и силу смиренному помазаннику твоему!

\* \* \*

Отслужив всенощную, царь прямо из церкви отправился в застенки.

По пути, от Коломенского дворца до московской дороги, на долгой череде столбов, покачивались тела повешенных мятежников. Подле каждого столба Алексей останавливался, крестился и, набожно понутив голову, плелся дальше.

— Схоронить бы, — глубоко вздохнул он.

— Схороним, царь, — ответил Толстой. — А токмо сдается мне, вместно бы до того согнать с округи всех черных людишек, да показать им, при глаголе поучительном, како воздаст Господь за смуты против царя.

В каменном подземелье, прикованные друг к другу, дожидались своей участи Корепин, Нагаев и князь Кропоткин. При появлении царя кат ударил узников палкою.

— Ниц!

Куземка мрачно поглядел перед собою и склонил голову.

— Спаси Бог царя за то, что он крест целовал на том...

— Молчи! — заревел Алексей.

Савинка поманил к себе государя.

— Помилуй, царь... Перед кончиною живота хочу я тебе от всея Руси холопьем глагол сказать.

Алексей наклонился к Корепину. Савинка приподнял голову, набрал полный рот слюны и плюнул государю в лицо.

— Вот тебе от всея Руси холопьем!

\* \* \*

Всю ночь издевался царь над узниками. Обессиленный, он беспомощно опустился на лавку и поманил к себе ката:

— Распалить железо, дабы поставили мы на том железе «буки», что есть бунтарь. Были бы молодцы до веку признаны.

Наложив собственноручно на щеки узников клеймо, государь склонился над умирающим Кропоткиным.

— А побратался со смердами, жительствоуй с ними до конца живота.

И громко крикнул:

— Спосылаю я вас всех на вся времена в студеные земли.

Чванно надувшись, он пошел к порогу. Дьяки наперебой бросились к двери и широко распахнули ее.

В сенях Алексей задержался, положил руку на плечо Толстого.

— А сдается нам, Васька, вместней смутьянов сих в Москва-реке потопить... Не то, неровен час, как бы не сбегли из студеных земель... Да и каков им ныне живот при телесных мучениях? Чать, все нутро у сиротинушек повредили дьяки.

## ГЛАВА XIX

Бунт был подавлен, но голод и мор не утихали.

Алексей, скрепя сердце, согласился с советами ближних и пошел на некоторые уступки. Пришлось отменить медные деньги, отнять многие льготы у иностранцев. К казне потянулись легионы людей. Там каждый медный рубль обменивался на две серебряные деньги. На Москве был учрежден новый серебряный монетный двор... Так,

понемногу, подчиняясь Матвееву и Ордын-Нащокину, царь уничтожил все затеи прежних лет.

По утрам, после обедни, государь неизменно справлялся у окольниковичего:

— Тихо ли в нашей державе?

— Тихо, гораздо тихий мой государь, — кланялся в пояс окольниковичий. — Опричь раскольников, всяк человек велико хвалит всехвальное имя твое.

Царь недовольно сопел.

— Завелась немалая сила и раскольников тех богомерзких...

«Ревнители старины» не сдавались и продолжали призывать народ к восстанию против «антихриста».

Аввакум пришел из Юрьевца-Польского под Москву. Его сопровождали несметные толпы голодных. В один из праздников протопоп, собрав в поле всех жителей округа, торжественно объявил:

— Братие! Во огне здесь невеликое дело потерпеть — аки оком мигнуть, так душа и выступит прямо в рай.

Он ненадолго примолк, осенил себя двоеперстным крестом и продолжал:

— Внемлите гласу Господню...

Толпа, обнажив головы, с великим трепетом выслушала подтвержденную выкладками и ссылками на апокалипсис весть о скорой кончине мира и грядущем страшном суде<sup>[44]</sup>.

Легкокрылая весть эта с непостижимой быстротой облетела просторы российские. Крестьяне побросали работы, покинули избы и потянулись в леса.

Не помогали самые лютые казни, которые придумывали помещики и приказные, чтобы остановить бегство людишек. Села и деревни зловеще пустели. В непроходимых лесных берлогах люди строили гробы и укладывались в них, чтобы «запощеваться» — умереть голодной смертью.

Обрекшие себя на смерть разбивались по семьям, так как боялись, что могут на страшном суде потерять друг друга.

По ночам, когда лес засыпал, гробы оживали скулящею однотонною песнею:

Деревян гроб сосновен,  
Ради мене строен,  
В нем буду лежати,  
Трубна гласа ждати.  
Ангелы вострубят,  
Из гробов возбудят...

Шли месяцы. Давно пробил определенный Аввакумом час скорого пришествия, а небеса не разверзались и не было слышно трубного звука архангелов.

Готовившиеся к «запощеванию» новые толпы людей подозрительно поглядывали на раскольничьих «пророков».

— А чегой-то, молитвенники наши, не зрим мы преставления свету... Уж не ошибка ли тут?

«Пророки» разводили руками.

— День-то доподлинно тот, число звериное, месяца Зодиака, а в годах, доподлинно, ошибка Божьим соизволением вышла.

И устремив преданный взгляд в небеса, с глубокою верой вещали:

— Дал Господь вседержитель новый срок в десять годов для вящей молитвы и покаяния возлюбленным чадам своим, ненавидящим никониан.

\* \* \*

Разгневанный дерзкими проповедями Аввакума царь приказал предать его суду.

На патриаршем дворе собрались Алексей, восточный патриарх, архиепископы, мелкое духовенство и вельможи. Аввакум со своими учениками лежал в углу палаты, на полу, и при появлении судей с презрительной усмешкою отвернулся к стене.

— Восстань, дерзновенный! — схватил Матвеев за ворот протопопы и поставил его перед царем.

Патриарх укоризненно покачал головой.

— А и упрям же ты, протопоп: и Палестина, и сербы, и албанцы, и римляне, и ляхи — все тремя перстами крестятся. Один ты, упрямец,

стоишь на своем и крестишься двумя перстами.

Ученики Аввакума испуганно насторожились: «Ишь ты, на весь мир указуют. Како учитель отвечать станет?» Но протопоп, точно угадав их мысли, погрозил им пальцем и вызывающе уставился на патриарха.

— Вселенские учителя!... Рим давно пал, и ляхи с ними же погибли, до конца остались врагами христианам. Да и у вас православие пестро... От насилия турецкого Махмета немощны вы стали и впредь к нам учиться приезжайте — у нас Божьей благодатью самодержавие и до сверженного ныне царем Никона-отступника православие чисто было и непорочно и церковь безмятежна. А и до Алексея-царя...

— Молчи! — воскликнул в исступлении Алексей и вцепился в бороду Аввакуму.

— И то молчу, — спокойно пожал плечами протопоп.

Его ученики восторженно переглянулись и, не выдержав, заржали. Алексей с силой отбросил от себя узника.

— Пшел!...

Протопоп с омерзением вытер рукавом бороду и отошел к своим.

— Вы, князья мира, посидите маненько, а я полежу.

Ордын— Нащокин сердито сплюнул.

— Дурак протопоп, ни царей, ни патриарха не почитает.

Свернувшись клубочком, Аввакум чуть приподнял голову с пола.

— Мы уроды Христа ради. Вы славны, а мы бесчестны... Вы сильны, а мы немощны... Хотя я несмышленный и очень неученый человек, да то знаю, что все святыми отцами Церкви преданное свято и непорочно; до нас положено — лежи оно так во веки веков.

Суд длился недолго: царь пожелал отправить протопопа с его учениками в Пустозерск.

Судьи почтительно склонились перед государем.

— Мудр ты, царь-государь. И мудрость глаголет устами твоими...

## ГЛАВА XX

Кой— где еще вспыхивали голодные и раскольничьи бунты, но они уже не пугали царя, как прежде.

— Измаялись, извелись людишки черные в распрях и смутах богопротивных, — говорил Алексей, — не восстать им боле могучей ордой противу Богом данного им государя и великого князя.

Алексей повеселел, еще больше распух и с такой важностью носил свое брюхо, точно в нем хранились вся мудрость, держава и сила его.

Только, когда умерла Марья Ильинична, государь опечалился, забросил потехи, перестал ходить на охоту и около двух лет провел в строгом посте и молитве.

Наконец ему наскучила жизнь отшельника, и он снова зачастил к Матвееву, где, как в былое время, собирался дважды в неделю весь кружок преобразователей.

Матвеевы стали замечать, что государь почти не принимает участия в сидениях кружка, а все больше увивается подле Наташи. Гамильтон не только не ревновала царя, но прилагала все старания к тому, чтобы сблизить его со своей, выросшей в стройную красавицу, пестуньей. Пугливое вначале желание видеть Наташу царицей понемногу переходило в страстное стремление, в цель жизни Матвеевой. Она хмелела от думок и видела себя наяву и во сне хозяйкой Кремля. Она даже стала называть Наташу не иначе, как матушкой-царицей Натальей Кирилловной, повелев и мужу так же величать девушку.

А государь почти и не скрывал своей любви к Нарышкиной, так непохожей по блестящему воспитанию, начитанности и манерам на бессловесных, забитых и тупых сверстниц своих из боярских и дворянских домов.

Наташа, привыкшая с детства к царю, держалась с ним хоть и почтительно, но с подкупающей непосредственностью и простотой. Во время ученых споров, если царь был неправ, она каким-нибудь одним удачным словом заставляла его сразу сдаться, признать ошибку. При этом так лукаво светились ее глаза, что Алексей преисполнялся чувства какой-то особенной гордости за дочь незнатного стрелецкого головы, ходившей когда-то в лаптях по Смоленску. «И откель сияние такое у отродья дворянишки убогого?» — думал он, пожимая плечами.

То, что девушка происходит не от знатных родителей, не расхолаживало его, а еще больше дразнило, влекло.

Как— то, во время беседы, Артамон Сергеевич сообщил царю, что в первой московской немецкой школе детей обучают «комедийному действу».

Алексей с удовольствием выслушал боярина и подмигнул Наташе.

— А не учинить ли и нам для потехи твоей то действо? — оживился он, но тотчас же осекся. — Сказывал нам еще Лихачев про палаты дивные, да иные бояре упредили нас — потеха-де та не от Бога, а от лукавого.

Чуть колыхнулся в улыбке золотистый пушок на верхней губе Наташи и заискрившимся в погожее утро на елочке инеем блеснули два ряда мелких зубов.

— Действо то государь, не на соблазны, а на утешение дано господом Богом.

Государь привлек к себе девушку и поцеловал ее в губы.

— Каково же разумна дочка у нас!

Гамильтон наступила на ногу мужу и выразительно поглядела на него. Артамон Сергеевич встал, удивленно развел руками.

— Диву даюсь я. В твои-то годы дочерьми девиц нарекать!... Не родитель ты, а всем образом пречудным ангельским своим жених-женихом.

Польщенный царь разгладил бороду и распустил в улыбку жирное, лоснящееся лицо.

— А и то, Артамонушка, сорок годов да два года, что на спине своей я несу, невесть еще тяжелая ноша какая!

Он взял Наташу за руку.

— Жених я тебе, красавица, аль родитель?

Зардевшаяся Наташа вырвалась от царя и выпорхнула в сени. За ней последовала и Гамильтон.

Царь, пошептавшись с боярином, приказал позвать женщин.

Едва девушка показалась на пороге, Артамон Сергеевич сорвал со стены икону Божьей матери и упал Наташе в ноги.

— Опамятуйся, благодетель! — с нескрываемым ужасом крикнула девушка. — То мне вместно стопы твои за добро твое лобызать.

Матвеев поднялся, торжественно возложил образ на голову пестуны:



— Молись... Великая бо радость снизошла на тебя: государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые Руси самодержец жалует тебя преславною царицею и своей женой!

\* \* \*

Со всех концов Руси, из богатых хором, убогих изб и монастырей привезли в Кремль самых красивых девушек страны и разместили их в шести теремах.

Поздно ночью, по теремам, от постели к постели, пошел, в сопровождении лекаря, Алексей. Он долго и внимательно ощупывал девушек, притворявшихся спящими, совещался с лекарем, выбирая по древнему обычаю жену, которая «способна дать усладу государю».

Среди других невест — в Кремле была и Наташа.

Потру царь объявил о своем выборе:

— Избрали мы женою и царицею — Наталью Кирилловну Нарышкину.

\* \* \*

По случаю полного умиротворения Руси царь повелел три дня служить во всех церквах страны молебны.

В Москве неумолчно перекликались ликующие перезвоны. Кремль готовился к пиру. В то же время учитель немецкой школы, пастор Грегори, заканчивал приготовления к «комедийному действу».

В комедийной хорошине неподалеку от Немецкой слободы, в селе Преображенском, дворовые музыканты Матвеева под началом органиста Симона Жутовского и играца Гасенкруха разучивали в тысячный раз «Торжественную встречу царя».

Алексей сидел, наготове в трапезной и, нежно поглядывая на жену, судачил с ближними о делах.

— Так тихо, сказываешь, на Руси? — спросил он прибывшего на Москву князя Алексея Трубецкого.

— Мудростью твоею повсюду посеян мир, мой государь.

— Добро, — улыбнулся государь и перекрестился. — Пожаловал Господь и с иноземцами миром по рукам ударить, и смуту извести. Добро!

В дверь просунулась голова думного дворянина.

— Челом бьет пастор, государь, не покажешь ли милость да не пожалуешь ли на действо в комедийную хоромину?

Алексей встал.

— Сейчас жалуем на действо.

\* \* \*

Утром, после обедни, царь рассеянно выслушал доклады и объявил ближним:

— А сдается нам, что комедь народу нашему в великую потеху и поущенье будет.

Ртищев вытащил из кармана бумагу, высоко поднял ее над головой.

— Всю-то ноченьку мы с Марфенькой о сем же вели беседу.

— И дорядились до чего?

Федор приложился к руке царя.

— Хилыми умишками своими мыслим мы, что вместемн отобрать мещанских и подьяческих мальцов из Новомещанской слободы да обучить их тому действу.

— Волю! Отобрать! — ударил Алексей в ладоши и любовно поглядел на Федора. — А тебя жалую я боярином. Добро, окольный мой?

Ртищев упал на колени.

— От окольности не отрекаюсь, а от боярства — свободы. Ну, кой я боярин? Мне люб боле монастырь.

Царь расхохотался.

— Что с ним сотворишь! Как был тридесять годов назад блаженным, таким и остался... Каково я житьствовать буду, ежели все ближние мои в монастыри уйдут? Ордын-Нащокин — монах<sup>[45]</sup>, ты — монах...

И встал:

— Ладно, погода с тобой потолкую. Все?

Матвеев собрал со стола бумаги.

— Все, государь. Дозволь вестникам почать трубить о празднестве великом мира на Руси.

— Поспешай. Да уж вся надежда на тебя, боярин, пущай ликует вся Москва от мала до велика!... Да игроков на улицу гони, да скоморохов!... Чтоб памятовали все до гроба, каково радостно нам, гораздо тихому царю, тихое житие в державе нашей

Вдруг из сеней, прерывая слова Алексея, донеслись чьи-то возбужденные голоса.

— Не велено пущать! Аль не слыхивал, что ныне ликование на Москве! — гремел Хованский.

— Пусти! Кое нынче ликование, не до ликованья нам!

Встревоженный государь вышел в сени.

— Что за пригода?

Хованский раздраженно махнул рукой.

— Воевода из Нижнего норовит охально пред очи твои предстать.

Воевода опустил на колени.

— Помилуй, государь! Сызнов лихо... Смутьяны сызнов.

Мертвенная бледность разлилась по лицу царя.

— Смуть-ян-ны?

Прислонившись к стене, он крикнул:

— Отменить потехи!

А воевода заколотился об пол лбом.

— Государь царь! Неисчислимая сила воров разбойных объявилась на Волге. Атаманит же над теми разбойными богопротивный смерд — Разин Стенька, мой государь!

*А. Е. Зарин*

**НА ИЗЛОМЕ. КАРТИНЫ ИЗ  
ВРЕМЕНИ ЦАРСТВОВАНИЯ ЦАРЯ  
АЛЕКСЕЯ МИХАИЛОВИЧА (1653-  
1673)**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОХОДЫ

## I У ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

В грязном углу Китай города на Варшавском кряже под горою находилось страшное место, обнесенное высоким тыном. Московские люди и днем-то старались обойти его подальше, а на темную вечернюю пору или, упаси Боже, ночью не было такого сорвиголовы, который решился бы идти мимо этого проклятого места. Называлось оно разбойным приказом или, между москвичами в страшную насмешку, Зачатьевским монастырем. Ведались в нем дела татейные да разбойные, по сыску и наговору, и горе было тому, кто попадал туда хотя бы и занапрасно. Радея о правде, пытая истину, ломали ему кости, рвали и жгли тело и выпускали потом калекою навеки, с наказом в другой раз не попадаться.

С утра и до ночи шла там страшная работа, и вопли подчас вырывались даже из-за высокого тына и неслись по глухой улице, заставляя креститься и вздрагивать прохожего. Прямили там государю боярин со стольником да двумя дьяками и заплочный мастер с молодцами.

За высоким тыном вокруг широкого двора были разбросаны постройки. Прямо перед воротами тянулось низкое строение с маленькими отдушинами на уровне с землею, закрытыми железными решетками, — так называемые ямы, куда бросали преступников, закованных в железо; немного дальше стояло здание повыше, тюрьма и клетки, где тоже томились преступники, но в условиях более сносных. Рядом с этими зданиями, во дворе налево, стояла приказная изба, а напротив, справа, высилась тяжелая каменная, низкая башня, где помещался страшный застенок.

Во дворе стояли тюремные стражники, взад и вперед пробегали заплочные мастера, то и дело тащили из ям и клетей преступников на допросы с дыбы или выносили из застенка изломанных, окровавленных.

У ворот этого страшного приказа ходили с бердышами два стрельца по наряду, и тут же, на месте, огороженном невысоким

частоколом, мучились жены, муже— и детоубийцы, по пояс закопанные в землю.

Недалеко от этого страшного места, саженьях в двухстах от него, стоял чистенький веселый домик, обнесенный забором, но хоть и весел он был на вид, мимо него также берегся идти скромный обыватель. Никогда никто в нем не видел веселых гостей, никогда никто не слышал, чтобы в нем раздались смех или пение, и теперь вот, хотя стоит на дворе ясный весенний день и теплему солнцу радуется не только человек, а всякая тварь Божья, каждый листок на дереве, каждая травка, в домике словно вымерла вся жизнь, а между тем там живут люди: муж, жена и тринадцатилетний сын.

Только если бы вышли они на шумную улицу или площадь, все гуляющие шарахнулись бы от них, как от зачумленных, потому что всякий бы узнал в высоком широкоплечем богатыре с русою бородою от плеча до плеча, с добродушною усмешкой под густыми усами и с веселыми серыми глазами страшного мастера разбойного приказа Тимошку-кожедера.

Кто его не знал! Недели не проходило, чтобы на лобном месте у тяжелой плахи или высокой виселицы не являлся бы он перед москвичами в своей кумачовой рубахе с яхонтовыми запонами, с засученными рукавами и, добродушно посмеиваясь, не потешал бы народ прибаутками, от которых между плеч начинало знобить.

В этот весенний день, в воскресенье 24 апреля 1653 года, царствования царя Алексея Михайловича 9-го, Тимошка отдыхал от работы у себя дома, потому что день воскресный считался даже и в разбойном приказе.

Встав на заре, он по обычаю отстоял заутреню у себя на дому, для чего слуга его взял с базара попа за два алтына; потом сытно поел пирога с кашею, выпил взварного меда и вышел в сад погулять, пока хозяйка его обед варила.

Хорошо было в густом саду в эту пору!

Птицы, перепархивая с ветки на ветку, весело чирикали, раза два где-то зачинал петь соловей и обрывался, жужжала пчела и, как хлопья снега, мелькали в воздухе капустницы. Черемуха и сирень напоили воздух таким дурманом, что даже Тимошка вздохнул и, качая головою, подумал: «Хорош мир Божий. И все-то его славят, окромя нас, грешных Живем словно волки...»

Он прошел к себе на пчельник, где стояло у него пол-сорока колод, за которыми ходил старик с переломанными ногами. Тимошка взял его из приказа на поруки, поддавшись жалости, и пристроил к своей пасеке. Старика пытали, обвиняя в колдовстве, и сломали ему ноги. Потом срослись они, но срослись криво, изогнувшись под коленями, что придавало фигуре старика ужасный вид.

— Ну, как пчелки, Антоша.? — ласково спросил его Тимошка.

— А, слава Господу Богу, — прошамкал старик, усмехаясь бледными губами, — четвертый денечек уже летают. Ишь Господь благодать какую посылает! Теплынь!

И он заковылял на своих искалеченных ногах от колоды к колоде.

Тимошка посмотрел ему вслед и ласково усмехнулся. Он любил этого старика за свое доброе дело, и сам старик любил его и тешил своими речами.

Прошелся Тимошка и по огороду, и по фруктовому саду где зацвели уже груша и яблоня, пока наконец Васютка здоровый тринадцатилетний парнишка, позвал его обедать.

Ловкая, красивая Авдотья, по рождению дочь палача из земского приказа, собрала уже обед, и Тимошка, перекрестясь, с жадностью принялся хлебать жирную лапшу, запивая ее водкою, потом оладьи и наконец кисель, после чего еще выпил ендову пива. А Авдотья, служа ему весело говорила:

— Кушай, светик, на здоровьице! В недельку раз только и видишь тебя, сокола!

— Пожди, — отвечал Тимошка, — скоро поменьше работы будет. Отдохнем! К вечерне уже шабашить будем.

— С чего так? Али татей да разбойников поменьше?

— Не то! Скоро заведется еще приказ. Тайных дел. Противу царя воров искать будут.

— А воеводою кого?

— Слышь, князя Ромодановского, а другие бают — Шереметева, да нам-то все едино, кабы работишки поубавили, а то беда!

— Ну пожди, скоро Васютка пойдет. Он тебе на помощь, — успокоила его жена и, приготовляясь сама обедать, сказала: — Я тебе в саду постелю настлала. На воздухе легче!

— Ну-ну!

И, покрестившись с набожностью, Тимошка пошел под развесистую березу, где хозяйка ему постлала ковер и положила изголовье.

Солнце уже золотило закат, когда Тимошка проснулся и зычным голосом закричал:

— Квасу!

Васька сторожил его сон и теперь стремглав бросился угодить ему.

Тимошка вспотел и тяжело дышал.

Васька принес квасу целый жбан, и едва Тимошка потянул холодный квас богатырским глотком, как живительная сила вернулась к нему разом.

— Хорошо! — сказал он, утирая усы и бороду, и потом, весело усмехаясь, обратился к сыну: — А что, Васютка, может, поучимся?

— А то нет? — радостно ухмыляясь во весь рот, ответил Васютка.

Невысокого роста, но широкий и плотный, с большой головою, на которой вихрами торчали огненно-рыжие волосы, с широким скуластым лицом, он, в противоположность отцу своему, являлся олицетворением жестокости. При словах отца глаза его засветились радостью.

— Ну-ну, — кивая лохматой головою, сказал Тимошка, — тащи снасть!

И когда сын стрелою умчался из сада, он встал, перекрестился и начал потягиваться с такою могучей силой, что расправляемые кости трещали, словно на дыбе.

Минуты через две Васютка вернулся. На спине он нес кожаный, туго набитый паклею мешок, под мышкою — кучу ремней, которые оказались плетью и кнутом.

— Ладно, начнем! — засучивая рукава рубахи, сказал Тимошка.

Васютка быстро положил наземь мешок и обнажил, как отец, руки. Глаза его горели. Он жадно ухватился за плеть.

Это был длинный толстый ремень, аршина в четыре, состоящий из пяти колен: четыре — ровные и короткие — были из толстого негнущегося ремня, пятое же представляло собою длинный, вершков в двенадцать, ремешок из сыромятной кожи, согнутый в виде желобка с заостренным загнутым кончиком; твердый, как лубок, этот конец был ужасен при ударе.



Отец усмехнулся.

— Плеть так плеть, — сказал он, — зачинай!

Васютка выпрямился и стал вровень с мешком, который казался оголенной спиной. Потом, согнувшись, как бросающаяся на добычу кошка, Васька медленно стал пятиться, собирая в руку коленья распущенной плети, и, собрав всю плеть, на мгновение остановился. Грудь его прерывисто дышала. И вдруг он визгливо закричал:

— Берегись, ожгу! — и быстро сделал шаг вперед.

В то же время выпущенная из руки плеть вытянулась словно змея, оконечник ее звонко ударил по мешку и свистя взвился в воздух.

Васька остановился и взглянул на отца, ожидая одобрения, но тот покачал головою.

— Неважно! — сказал он. — Ты ему что сделал, а? Ты ему клочочек выдрал, во какой, — он показал на кончик мизинца, — а ты ему должен всю полосочку вон! Гляди!

Он взял плеть из рук сына и с места, как артист, собрал ее в руку. Потом без возгласа вытянул руку, и плеть выпрямилась, глухо ударив по мешку. Прошло мгновение, и словно подсекая лесом рыбу, Тимошка дернул плеть назад.

— Понял? — сказал он восхищенному сыну. — Ты наложи ее да поддержи, чтобы она въелась, а потом сразу на себя, не кверху, вот она по длине и рванет! Ну-кась!

Васька кивнул головою и взял плеть снова.

— Ожгу! — завизжал он, подскакивая. Плеть хлопнула, он выждал и дернул ее назад. Отец одобрительно кивнул головою.

— Ну, давай таких десятков, — сказал он, — авось не скоро очухается! Да не части.

Васька с увлечением стал наносить удары. Он изгибался, прыгал и звонко вскрикивал.

— Берегись, ожгу! Поддержись! Только для тебя, друга милого!

А сам Тимошка медленно считал удары и делал замечания.

— Руку не сгибай, а назад тяни! Не подымай кверху! Не торопись! Десять! — сказал он наконец, и Васька остановился, тяжело переводя дух. Волосы его взмокли от пота, лицо лоснилось.

— Покажи теперь, как бить, чтобы больно не было! — сказал он.

— Хе! — усмехнулся отец. — Ты поначалу выучись, как кожу рвать. А то ишь!

— А когда в застенок поведешь?

— Ну, это еще погоди. Пожалуй, заорешь там со страху. Это не мешок. Ну, бери кнут теперь!

В это время мимо страшного приказа по пустынной улице шли два человека, направляясь к домику Тимошки. Одеты они были в тонкого сукна кафтаны поверх цветных рубашек, охваченных шелковыми опоясками, шерстяные желтые порты были заправлены в польские сапоги с зелеными отворотами, на головах их были поярковые шапки невысоким гречишником<sup>[46]</sup>.

— В жисть бы не поверил, что к нему охоткою пойду, — говорил рослый блондин своему товарищу, невысокому, но крепкому парню с черной как смоль бородою. Тот сверкнул в ответ зубами, белыми как кипень, и сказал:

— Все к лучшему, Шаленый! Теперь, ежели попадешься ему в лапы, он тебя за друга признает. Легше будет!

— Тьфу! — сплюнул Шаленый.

Они подошли к воротам, и товарищ Шаленого ухватился за кольцо.

Васька уже было взялся за кнут, когда послышался стук в калитку.

Тимошка с изумлением оглянулся через плетень на дверь.

— Ко мне? Кто бы это?

— А Ивашка стрелец, — напомнил ему Васютка, — он хотел веревку купить для счастья.

— А! — Тимошка усмехнулся. — Побеги, открой ему!

Васька бросил кнут и убежал. Через минуту он вернулся с встревоженным лицом.

— Не, какие-то люди. Тебя спрашают!

— Какие такие? — сказал Тимошка, собираясь идти на двор; но они уже вошли в сад.

Тимошка подошел к ним.

Они, видимо робея, поклонились и прямо приступили к делу.

— Покалякать с тобою малость, — сказал черный и, оглянувшись, прибавил: — Дело потаенное!

— Ништо, — ответил Тимошка, — у меня тут ушей нету. Сажаетесь! — Он подвел их к скамье под кустами сирени и опустился первый.

Шаленый увидел мешок, кнут с плетью и вздрогнул.

— Это что? — спросил он.

Тимошка усмехнулся.

— Снасть. Мальчонку учил. Васька, — крикнул он, — убери! — и обратился к гостям: — Какое дело-то?

— Потаенное, — повторил черный, и нагнувшись, сказал: — Бают, слышь, что у вас в клетях сидит Мирон.

— Мало ли их у нас! Мирон, Семен.

Шаленый вздрогнул.

— Нам невдомек. Какой он из себя? За что сидит?

— Рыжий... высокий такой... по оговору взяли... будто смутьянил он... а он ничим...

— Этого-то? Знаю! — кивнул Тимошка. — Ну?

— Ослобонить бы его, — прошептал черный и замер.

Тимошка откинулся, потом покачал головой и усмехнулся.

— Ишь! — сказал он. — Да нешто легко это. Шутка! Из клетки вынуть! Кабы ты сказал — бить не до смерти, а то на!

— Мы тебе во как поклонимся! — сказал Шаленый.

— А сколько?

— А ты скажи!

Тимошка задумался. Такие дела не каждый день и грех не попользоваться. Очевидно, они дадут все, что спросишь.

— С вымышлением делать-то надо, — сказал он, помолчав, — не простое дело! Ишь... Полтора десять дадите? — спросил он с недоверием.

— По рукам! — ответил внятно черный. Лицо Тимошки сразу осветилось радостью.

— Полюбились вы мне, — сказал он, — а то ни за что бы! Страшное дело! Теперь надо дьяку дать, писцу, опять сторожам, воротнику, всем!

— Безвинный! — сказал черный. — Когда же ослобонишь?

— Завтра ввечеру! Приходите к воротам. Его в рогоже понесут к оврагу. Вы идите позади, а там скажите: по приказу мастера! Вам его и дадут.

— Ладно!...

— А деньги — сейчас дадите пяток, а там остальные. Я Ваське, сыну, накажу; он вас устережет!

Черный торопливо полез в сапоги и вынул кошель. Запустив в него руку, он позвенел серебром и вынул оттуда пять ефимков.

— Получай!

Тимошка взял деньги и с сожалением сказал:

— В земском приказе сколько бы взяли!

— Шути! — усмехнулся черный, вставая.

— А скажи, — спросил Шаленый, — с ним вместе девку Акульку взяли, ее можно будет?...

— Акулька? — сказал Тимошка. — Высокая такая, сдобная?

— Она! Али пытали?

Тимошка махнул рукою.

— Акулька — ау! Ее боярин к себе взял...

Черный протяжно свистнул.

— Плохо боярину, — пробормотал Шаленый, и они двинулись к воротам.

— Веревки не надоть ли, — спросил Тимошка, — от повешенного?

— Не!

— Руку, может? У меня есть от тезки мово. Усушенная!...

— От какого тезки?

— Тимошки Анкудинова. Я ему руку рубил, потом спрятал.

— Не надо, свои есть, — усмехнулся черный. — Так завтра?

— Об эту пору, — подтвердил Тимошка, выпуская гостей.

— Уф! — вздохнул с облегчением Шаленый. — Словно у нечистого в когтях побывал.

— Труслив, Сенька! — усмехнулся черный.

— А тебе будто и ништо?

— А ништо и есть!

Они прошли молча мимо приказа.

— Куда пойдем, Федька?

— А куда? К Сычу, на Козье болото. Куда еще!

— А Мирон-то? Вот осерчает, как про Акульку узнает! Беда!

— А ты бы не осерчал? — спросил Федька, и черные глаза его сверкнули. — Я бы не посмотрел, что он боярин!

Солнце уже село, и над городом сгустились сумерки. Тимошка вошел в горницу и весело сказал:

— Получай, женка, да клади в утайку свою!

— Откуда? — радостно воскликнула Авдотья.  
— Гости принесли, — засмеялся Тимошка, — завтра еще десяток.  
— А я веревку продала. Приходил Ивашка. Я ему с поллоктя за полтину!  
— Ну-ну! — И Тимошка так хлопнул по спине Авдотью, что по горнице пошел гул. Авдотья счастливо засмеялась.

## II ПРИ ЦАРЕ

Того же 24 апреля Тишайший царь Алексей Михайлович<sup>[47]</sup>, откушав вечернюю трапезу в своем коломенском дворце и помолившись в крестовой с великим усердием и смирением, простился с ближними боярами и, отпустив их, направился в опочивальню.

— Князя Терентия со мною, — сказал он.

Терентий — князь Теряев-Распояхин — быстро выдвинулся вперед и прошел оправить царскую постель.

Царь, истово покрестивши возглавие, самое ложе и одеяло и осенив крестом все четыре стороны, лег на высокую постель.

В той же комнате, на скамье, покрытой четырьмя коврами, лег князь Терентий.

В смежной комнате легли шесть других постельничих, из боярских детей; дальше, в следующей комнате, поместились стряпчие, из дворянских детей, на которых лежало по первому слову царскому скакать с его приказом хоть на край света, и, наконец, за этими последними дверями стояли на страже царские истопники, охраняя царский покой.

Ночь во дворце началась, но не спалось в эту ночь князю Терентию. Может, от дум своих, которых не поведал бы он ни царю, ни батюшке, ни попу на духу, может, оттого, что весенняя ночь была душна и звонко через слюдяное окно лилась в комнату соловьиная песнь, — только не спал князь Терентий. С ног его сполз легкий кафтан и упал на пол у самой скамьи, а сам князь облокотился на руку и полулежал, устремив недвижный взор на царскую постель. В опочивальне было почти светло от яркого лунного света и лампы, что теплилась перед образом над дверями. В почти пустой огромной горнице, по стенам уставленной укладками и сундуками в чехлах, с

поклонным крестом в углу, словно шатер стояла царская постель, покрытая пышным балдахином.

Алого бархата занавесы спускались до пола, золотом перевитые кисти подхватывали края срединных полотнищ, и высоко поднимался купол балдахина, оканчиваясь искусно выточенным золоченым орлом.

А если бы заглянуть вовнутрь, то на верху балдахина можно было бы увидеть красками написанное небо, с солнцем, луною и планетами.

Князь Терентий лежал, отдаваясь своей тоске, когда вдруг из-за занавесей раздался протяжный вздох, и князь невольно ответил на него тоже вздохом.

— Не спишь? — послышался ласковый голос царя.

— Не спится, государь, — вздрогнув, ответил Терентий, — ночь-то такая духовитая... соловей звенит...

— О! — сказал царь, — али по жене затосковал? Небось, небось, завтра свидишься!

Князь помолчал. Скажи он слово, и он выдал бы охватившее его волнение. Лицо его сперва залилось краскою, потом побледнело, а царь продолжал говорить.

— Вот и мне тоже не спится, только по иному чему, нежели тебе, Тереша!... Все думаю, чем война кончится; хорошо ли удумано; опять сам ехать решил, и оторопь берет. Слышь, что ведунья покаркала.

Князь покачал головою:

— Коли дозволишь мне, холопу твоему, слово молвить, — скажу: все пустое! Николи человек знать будущего не может. Все от Бога! — сказал он с глубокою верою.

— А *он* не пакостит, думаешь? От Бога доброе, а от *него*, с нами крестная сила, погань идет.

— Без Господней воли — и он без силы!

— А все же она сказала, и берет меня раздумье. Забыть ее не могу. В лесной чаще, куда заскакал я, и зверь не бывает, — и вдруг она! Откуда? Сгорбленная, лохматая, глаза горят, и рот, словно щель черная. Конь ажно в сторону шарахнулся. А она кричит мне: слушай, царь! Я и остановился, а она: не дело замыслил, говорит, уедешь из Москвы, а вернешся — один пепел будет!... — и сгинула... разом...

Царь замолчал.

— Да, — сказал князь, — я да Урусов с Голицыным, да Милославский, мы весь лес потом изъездили. Сгинула!

— Вот видишь! — подхватил царь. — Наваждение, не иначе. Я патриарху отписал, а он пишет: молиться будет... Святой! — сказал царь с умилением, и мысли его обратились тотчас в иную сторону.

— Великий старец! — заговорил он с восторгом. — Мед в устах! И мудрость велия, и сердцем кроток, и жизни праведной. Когда молил я его, он все говорил: недостойн! А ныне как пасет овцы своя? За всех нас молещик!

— А он и на войну благословил, — сказал князь.

— Так! Почему же я иду, а все не могу изгнать из дум своих ее карканья! Положим, — заговорил он снова задумчиво, — Москву на верных слуг оставляю: Морозов Иван, Куракин Федор, Хилков. Мужа разума, а все же сердце щемит. Царица, детки малые, царевич. Вот что!

Царь вдруг откинул занавеску, князь увидел его сидящим на постели и тотчас встал на ноги.

— Я полюбил тебя, Терентий, — с чувством сказал царь, — и хотел при себе неотлучно держать, а теперь вот что удумал. Оставайся тут! Оставайся да мне тайно про все отписывай. Как тут, что... я про тебя шепну патриарху...

Лицо князя вспыхнуло от нескрываемой радости, и он упал на колени, крепко ударив лбом об пол.

— Али рад? — спросил царь.

Князь быстро опомнился.

— Рад, что отличил меня, холопишку твоего! — сказал он глухо. — Я за тебя, государь, живота не пожалею.

— Знаю, знаю! — остановил его царь. — Вы все, Теряевы, нам верные слуги. Твоего отца еще мой родитель супротив всех отличал, и теперь он со мною вместе будет...

В это время, звонко перекликаясь, запели петухи.

— Ишь! — сказал царь. — Полночь, а утро близко. Будем спать! — И занавес плавно опустился и скрыл царя.

Князь поднялся с колен и лег на лавку, чтобы снова предаться своим думам, но на этот раз радостным думам. Царское слово как будто возродило его к жизни. Он не уедет, останется здесь, а тот, другой, уедет в поход!... — и губы его невольно улыбались, глаза светились тихим счастьем, и в тишине весенней ночи, в бледных лучах сияющего месяца легким видением перед ним вставал образ той, о которой были все его мысли.

Чуть поднялось с востока яркое весеннее солнце и ожила проснувшаяся природа, как на дворе коломенского дворца поднялась суматоха. Медленно и важно в прихожую, переходя дворцовый двор, сходились бояре, окольные стольники бить царю челом утром на здоровье; суетливо бегали по двору конюхи, стремянные, вершники, обряжая царский поезд; гремя оружием, собирались стрельцы, и ржанье горячих коней сливалось с топотом, возгласами, бряцаньем оружия и колокольным звоном в такой шум, что птицы, оглашавшие воздух пением, смолкли и пугливо попрятались в траве и кустах.

В этот день царь с семейством выезжал в Москву, чтобы проводить свое войско в поход.

Царь проснулся в добром настроении. Глаза его ласково светились, когда он вышел к своим боярам и они все упали перед ним на колени.

— Ну, сегодня кто запозднил, того купать уж не будем за недосугом, — сказал он, подпуская иных к руке, после чего послал к царице наверх узнать о здоровье и тихо двинулся в крестовую отстоять утреню и напутственный молебен.

Потом, потрапезовав, царь приказал собираться и тронулся в путь.

Иностранцы, посещавшие Россию, свидетельствуют, что великолепие двора царя Алексея Михайловича превосходило все ими виденное. И действительно, пышность его двора могла только сравниться с пышностью французского двора. Обладая поэтической душой, любя красоту во всех ее проявлениях, царь устремил свое внимание на обрядовую сторону придворной жизни, и при нем многообразный чин царских выходов, богомолий, посольств, царских лицезрений, обрядов получил особую торжественность и перестал на время быть мертвым обрядом, потому что царь вносил в него живую душу.

И теперь, когда он вышел на крыльцо, собираясь в дорогу, он прежде всего взглядом опытного церемониймейстера оглядел всех столпившихся на дворе и потом уже, приняв благословение от священника, сел на коня, которого подвели ему стремянные. Конь был настоящий аргамак золотистой масти. Пышный чепрак покрывал его почти до земли, шелковая узда с драгоценными камнями сверкала на солнце, как полоса молнии, высокое седло, украшенное тоже драгоценными камнями, было широко и покойно, как кресло. Конь



нетерпеливо рыл копытом землю и тряс красивою головою, на которой звенели серебряные бубенцы и колыхался султан из страусовых перьев, — но царь был искусный наездник и легко сдерживал пылкого коня.

Стрельцы, со знаменем в голове отряда, открыли шествие; потом длинной вереницей попарно тронулись сокольники и доезжачие, в зеленых и желтых кафтанах, легких серебряных налобниках, с ножами у кованых поясов; за ними попарно поехали стольники, спальные, стряпчие и, наконец, царь, окруженный ближними боярами. Далее потянулись всадники со знаменем и алебардами и за ними царицын поезд. Вершники вели коней под уздцы и шли подле дорогих колымаг, в которых ехали царица с детьми и боярынями и царские сестры.

Вокруг них и сзади верхом на лошадях ехали теремные мастерицы и девушки. Здесь были и постельницы, и сенные, и золотницы, и белые мастерицы, и мовницы или портомои, — словом, все составлявшие обиход теремной царицыной жизни.

Поезд медленно двигался, вздымая по дороге пыль. Царь был весел и шутил со своими боярами, называя их разными прозвищами и смеясь над плохими ездоками, как вдруг лицо его побледнело, и он закричал:

— Возьмите ее!

Бояре испуганно оглянулись по направлению царской руки и увидели горбатую старуху. Она стояла у опушки леса, подняв обе руки кверху, и не то благословляла, не то слала проклятия.

— Я ее! — воскликнул Голицын и поскакал к лесу, но старуха вскрикнула и исчезла, словно виденье.

— Окружить лес! — приказал царь. Конная стража поскакала к лесу, но старуха словно сгинула. Царь сделался мрачен.

### **III ВОРЫ**

В назначенный Тимошкою вечер оба гостя его, едва закатилось солнце, уже стояли на страже перед воротами приказа, прячась за толстыми деревьями противоположной стороны улицы.

Мрачны и унылы стояли высокие заостренные бревна тына. Кругом было пусто и тихо. Два стрельца, обняв свои бердыши, мирно храпели, прислонясь к косякам ворот. Где-то протяжно выла собака и

усиливала гнетущее впечатление. И вдруг в тишине ночи раздался пронзительный стон... еще

и еще.

Шаленый рванулся в сторону. Товарищ едва успел ухватить его за полу кафтана.

— Куда, дурень? — прошептал он, чувствуя, как и его охватывает невольная дрожь.

— Ппусти! — стуча зубами, пробормотал Семен.

— Балда! — выругался его приятель. — Кабы это тебя драли...

— Жутко, Неустрой! — совладав с испугом, тихо ответил Шаленый. — Думается: а коли придет и наш черед, да мы вот так-то...

Голос его пресекался.

— Балда и есть! — презрительно ответил Неустрой. — Двум смертям не быть, одной не избыть. Любишь кататься, люби и санки возить. Не все коту масленицу править. Так-то! А ты гляди, почет-то какой! Тут тебе и боярин, и дьяки, и мастера эти самые... Опять: стерпи! Пусть их, черти, потешатся, а там опять твоя воля!

— Без рук, без ног!

— Еще того лучше. Сойдешь за убогого. Так ли Лазаря запоешь, любо два!

— Тсс... — вдруг остановил его Шаленый, и они замерли.

Ворота с громким визгом отворились, и из них медленно вышли два парня, босоногие, с ремешками на головах, неся за концы рогожу, на которой недвижно лежало тело. Стрельцы сразу встрепенулись.

— Куда? Кто? — окликнули они.

Вышедшие рассмеялись

— Спите, — сказал один, — свое добро несем.

— Мастера! Не видите, что ли! — ответил второй, и они пошли вдоль тына, свернули за угол и стали по скату спускаться к мрачному темному зданию.

Неустрой и Шаленый тихо двинулись за ними и невольно вздрогнули, увидав, куда они держат путь. Они шли прямо к «Божьему дому», из которого доносился невероятный смрад разлагающихся трупов. В этот дом — вернее, склеп — складывались трупы всех неизвестных, поднятых на улицах Москвы мертвецов. Были тут опившиеся водкою, замерзшие, вытащенные из воды, были тут и убитые, и раздавленные. Всех клали в одно место и держали до весны,

когда хоронили зараз в общей могиле. Случалось, к весне скапливалось триста-четыреста трупов, и едва наступала оттепель, как тяжелый смрад от них разносился по всему городу.

Неустрой не выдержал, и как только носильщики завернули за угол, он подбежал к ним и сказал:

— По приказу мастера!

— Получай! — добродушно ответил шедший впереди и ловким движением сбросил наземь неподвижное тело.

— Мертвый? — испуганно спросил Неустрой.

Носильщики засмеялись.

— Встряхни и очухается.

— Нешто можно было его живым выволочить? Дура! — укоризненно сказал другой.

Неустрой и Шаленый нагнулись над товарищем. Шаленый вдруг выпрямился.

— Кровь! — сказал он глухо.

— Где?

Шаленый указал на ноги носильщиков. Голые, они были испачканы кровью.

Носильщики грубо засмеялись.

— И уморушка! — сказал один. — Али, милый человек, нашего дела не знаешь?

— Заходи, покажем, — с усмешкой сказал другой.

— Тьфу! Пропади вы пропадом! — сплюнул Шаленый и торопливо зажал в кулак большие пальцы от сглазу или наговора.

Носильщики смеясь удалились и скоро скрылись за углом забора.

— Понесем, бери! — сказал Неустрой, хватая недвижимого приятеля за ноги.

— А деньги? — раздался подле них голос, и они увидели приземистого, большеголового Ваську.

— Получай! — ответил ему Неустрой и торопливо отсчитал монеты. — Бери, что ли! — крикнул он товарищу.

Они ухватили тело за ноги и за голову. Мальчишка оскалил зубы.

— А хошь, крикну государево слово, а?

— Дурак! — задрожав, ответил Неустрой. — Оговорим твоего батьку, да и тебе влетит.

— Го-го-го! — загоготал Васька. — Так оно и было! Батьку-то не оговоришь, он тебе язык вырвет. Щипцы в рот!

— Уйди, окаянный!

— Хошь, закричу? — дразнил мальчишка и словно бес прыгал подле них на одной ноге.

— Дай полтину! дай! молчать буду!

Невыносимый смрад доносился из склепа, страшным призраком чернел приказ под серебристым светом луны, а мальчишка, сверкая огненной башкою, прыгал и вертелся подле них, говоря:

— Дай полтину, а то закричу!

— Дай ему, бесу! — прохрипел Семен.

— Лопай, пес! — кидая монету, сказал Федька.

Васька схватил ее и завертелся волчком.

— Го-го-го! — прокричал он. — Вот славно! Ужо приходите в приказ, я вас плетью бить буду. По-легкому, только клочья полетят.

— Ооо! — раздался протяжный вой из-за тына.

— Бежим! — закричал Семен, и они бегом пустились по пустынной дороге, волоча за собою товарища.

— Приходите! — кричал вслед Васька и хохотал визгливым хохотом.

Они пробежали саженой сто и без сил упали на траву.

— Уф! — простонал Семен. — Ну и ночь!

— Проклятуций мальчишка, — проворчал Федька.

— Тимошкино отродье, змеиный яд, волчья сыть, сатанинский выродок! — залпом выругался Семен.

— Одначе, что же это Мирон-то наш? Потрем? — предложил Федька, и они дружно стали встряхивать своего товарища, бить по спине, тереть ему уши и дуть в лицо.

От такой встряски очнулся бы и мертвый, и Мирон скоро пришел в себя, вырвался из их рук, сел и бессмысленно огляделся.

— Мирошка! Атаман! Кистень! — восторженно воскликнул Семен. — Ожил, родитель!

— Чего zenки-то ворочаешь, — усмехнулся Федор, — вызволили небось!

Одним прыжком Мирон вскочил на ноги.

— На свободе? — воскликнул он, радостно озираясь. — Ой ли! Ты, Неустрой! и ты, Шаленый! родные мои! — Он крепко с ними

поцеловался. Потом передохнул и заговорил:

— Я не чаял выбраться! ни-ни! Пока деньги были, от пытки откупался, послал вам весточку да думаю: где уж! А вскорости на кобылку лезть. Так и решил: прощай мое правое ухо! Ан и вы, мои золотые!

— Стой, атаман, прежде всего выпить да поснедать что-нибудь надо, — сказал Семен, — чай, отощал с монастырской еды!

— Верно, что отощал, — засмеялся Мирон, — во как! Там, милые, корочками кормят, да и то не всяк день.

— Ну, так идем!

— А куда?

— Да к тому же Сычу. Он, чай, ждет не дождется дружка.

— И то! — засмеялся Мирон. — Я ему во сколько добра таскал. С меня жить пошел.

Они дружно двинулись по дороге, спустились к самой Москвее-реке и пошли ее берегом, пробираясь к Козьему болоту, супротив которого находилась рапата Сыча.

— А много дали, братцы, выкупа? — спросил по дороге Мирон.

— Пять Тимошке да его щенку полтину! — ответил Федька.

— Что брешешь, — перебил его Семен, — пятнадцать!

— Пес брешет, — серьезным тоном сказал Федька, — нешто я, как ты, умен? Я ему пять ефимков дал, а тому щенку десять оловяшек всунул! Я не ты! — с укором прибавил он по адресу Семена.

— Ой, ловко! ой, молодец! ну и ну! — весело расхохотавшись, проговорил Мирон. — То-то взбеленится Тимошка!

— Всыплет своему щенку! Попомнит нас!

— А коли ему попадемся... — задумчиво заметил Семен.

— Да, братцы, теперь берегись! — окончил Мирон, и они пошли в рапату. Это был тайный притон разврата. Здесь пили вино, играли в зернь и в карты, и раскрашенные женщины, с зачерненными зубами, подходили к гостям, садились к ним на колени и уговаривали пить.

В эту ночь по всей Москве шел великий разгул. Наутро царское войско выступало походом на поляков, и стрельцы, солдаты, рейтары пили из последнего, прогуливая свою ночь.

Хозяин рапаты Сыч, с седыми клочками волос на голове, с черной дырой вместо глаза и перешибленной ногой, бегал, хромя, по всей

хоромине, стараясь угодить каждому, и едва успевал черпать из бочки крепкую водку.

Мирон, войдя, толкнул его незаметно плечом, в ответ на что Сыч пробурчал что-то и тотчас незаметно скрылся. Следом за ним в особую клеть вошли Мирон и его товарищи.

## **IV ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЙСКА**

Хоти и говорят, что худой мир лучше доброй драки, однако жизнь в мире с поляками становилась русским нелегко. Со времени того позорного поражения несчастного Шеина под Смоленском, следствием которого явился тяжкий Поляновский мир<sup>[48]</sup>, о мире, собственно, не могло быть и речи. Хвастливые поляки, кичась взятым верхом, глумились над русскими, вступившими с ними в сношения; русские же таили в душе жажду мщения еще с приснопамятного 1612 года. Пограничных городов воеводы отписывали в Москву, что поляки не признают даже титула царя, по-всякому понося его. Вражда обострялась, а тут еще завязалось великое дело с Малороссией, в которой гетманствовал Богдан Хмельницкий. После страшного погрома в 1651 году Хмельницкий, поняв, что одним казакам не справиться с Польшею, вторично просил Алексея Михайловича принять Малороссию в свое подданство, но царь все еще медлил.

Он не решался прервать с Польшею мира, приняв сторону казаков, и в то же время опасался, как бы Хмельницкий в отчаянии не соединился с крымским ханом и не двинулся бы на Россию.

В виду этого, а заодно и горя ревностью о своем царском достоинстве, царь отрядил богатое посольство — из князей Репина, Оболенского и Волконского — к Яну Казимиру.

Но посольство было встречено поляками высокомерно и во всех требованиях ему было отказано. Мало того, король немедленно выступил против Хмельницкого.

Это переполнило меру терпения Тишайшего.

Был тотчас созван собор, на котором решено было принять гетмана со всем его войском в подданство и в то же время двинуться на поляков войною.

Как в 1632 году, по Москве тотчас разнесся воинственный клич, и жажда мести за все обиды вспыхнула пожаром в сердцах русских.

Царь быстро начал готовиться к походу.

В октябре этот поход был решен, а уже 27 февраля двинулась из Москвы вся артиллерия под началом бояр Долматова, Карпова и князя Щетинина.

Бутурлин уже принял присягу от казаков на подданство, и их полки уже начали действия.

Наконец, 26 апреля должен был выступить князь Алексей Никитич Трубецкой со всем войском из Москвы, и провожать его вышли царь с царицею и патриарх Никон.

Это было торжественное зрелище.

У патриаршего дворца наскоро была выстроена деревянная галерея на помосте, вся обитая алым сукном и перегороженная надвое. В левой половине ее на высоком кресле сидел царь в остроконечной шапке с крестом, украшенной драгоценными камнями, в золотом нагруднике, и его молодое, полное, красивое лицо горело отвагой и радостью. Рядом с ним в драгоценной митре, с сияющими камнями крестом на груди, с высоким посохом в руке стоял патриарх Никон, а вокруг в дорогих парчовых кафтанах и высоких парчовых шапках стояли ближние бояре, окольничие, спальники и убеленные сединами архиереи в полном облачении.

В другой же половине государыня Мария Ильинична со своей сестрою Анной Ильиничной, с царскими сестрами Ириною и Анною и ближними боярынями из-за парчовой занавески глядели на широкую площадь, что расстилалась перед ними.

И вот под лучами весеннего яркого солнца засверкали воинские уборы, и к галерее, сняв блестящий шлем, подошел князь Алексей Трубецкой и склонился перед царем. Позади него стали два полка, конный и пеший.

Царь поднялся и знаком подозвал к себе князя, а когда князь вошел на галерею, он горячо обнял его.

— Не посрами царя своего! — сказал он ему.

Князь хотел ответить, но волнение помешало ему, и он, упав на помост и гремя доспехами, до восьмидесяти раз ударил царю челом.

— Да будет благословение Божие над тобою, — строгим голосом произнес Никон, благословляя склоненного Трубецкого, — да бежит от тебя враг, как тьма от ясного солнца! Сим победиши! — и с этими словами он протянул ему хоругвь. На высоком древке с русским орлом

развевался белый плат с черными полосами. В середине его сиял златотканый орел, под которым хитрою вязью была начертана надпись «Бойся Бога и чти царя».

Князь благоговейно принял знамя и, облобызав руку патриарха, сошел вниз. В это мгновение загудели колокола, заиграли трубы, загремели барабаны, и огромная рать, более десяти тысяч, двинулась в поход, проходя мимо царя и патриарха. Впереди шел князь с двумя полками, окруженный знаменами, золотые орлы которых сверкали на солнце, белые, красные, зеленые хоругви реяли в воздухе, как гигантские птицы; на них виднелись изображения икон Спаса и Богоматери, орлов, оленя, мечей и корон... Гремя копытами тысячи коней, звеня доспехами, медленно двигалась рейтарская конница в своих низких налобниках, с тяжелыми палашами до земли, с конями, закованными в броню. За ними тотчас шел пеший рейтарский полк с алебардами и в шлемах — а там тянуло и все войско. Вот гусары, вооруженные копьями, по образцу польских гусар, в ярких зеленых, красных и желтых камзолах, с легкими шлемами на головах, в легких кольчужных сетках до пояса. За ними конница с огромными мушкетами, положенными поперек седел, и тысячи пеших стрельцов с ружьями в руках и козлами для них за плечами. Одни просто в кафтанах, другие в кожаных, лубяных латах, иные в шлемах, иные в треухах, но все равно готовые умереть в бою. Вот запестрело в глазах от забавных лохматых фигур на крошечных лошадках. Замелькали остроконечные шапки, зеленые и белые халаты, длинные копья с пучками красных волос на концах, кривые луки и кожей обтянутые саадаки<sup>[49]</sup>. Это несчетная сила татар, башкир и калмыков. Потом пошли сибирские войска и за ними стройными рядами то конные, то пешие полки из боярских и дворянских детей, обученные западному строению.

Государь, встречая каждый отряд, ласково кивал ему головою и провожал до самого конца сияющим взглядом, а патриарх, благословляя проходивших правою рукою, левою кропил их святою водой и неустанно повторял слова благословения.

А за воротами Кремля войска встречал толпившийся народ и провожал их радостными кликами.

Это торжественное прохождение войска заняло все время и зажгло сердца воинственным жаром.



— Что, други, — улыбаясь, обратился царь к стоявшим вблизи, — не возгорается ли и у вас охота идти на ляхов?

— Так бы и полетел, — ответил пылко боярин князь Теряев-Распояхин.

Царь улыбнулся.

— Про тебя знаю! Отец твой, вояка, и Москву от ляхов очистил, и с Лисовским, слышь, бился, и Сапегу знал, а ты с Шеиным под Смоленском был. Пожди, без тебя не уедем, Аника-воин! А сын твой как? Я ему здесь наказал оставаться. Терентий, тебе, может, не в охоту с бабами оставаться, ась?

Молодой князь Терентий, сын Теряева-Распояхина, смущенно выступил и стал на колени.

— Твоя воля, государь! — сказал он.

— Встань, встань, — приказал ему царь, — я ведь шутя говорю. Так как хочешь? ась?

— Остаться, — прошептал Терентий, вспыхивая.

— Ну и оставайся, а мы воевать уйдем! так-тось!

Князь Теряев нахмурился и грозно взглянул на сына.

— Не погневись, государь, на глупого, — сказал он, — и я, и сыны мои за тебя готовы костями лечь.

— Да ты что, — улыбнулся царь, — я его своею волей здесь оставляю.

— А на место его мой младший идет, государь, в поход с нами.

— У тебя и еще сыны есть?

— Петр, государь! — ответил князь.

— Ну, ты его покажи мне.

В это время последний отряд уже уходил в ворота и скоро площадь опустела.

Царь встал и набожно перекрестился.

— Да будет, Боже, воля Твоя! — произнес он и, обратясь ко всем, сказал:

— Через неделю и мы поедем!

Смотр окончился.

Государь сел в раззолоченную колымагу, чтобы переехать небольшое расстояние от патриаршего двора до своего дворца. Вершники побежали впереди. Шествие тронулось.

Следом за ними поехала и царица со своими боярынями.

Бояре проводили царя и медленно стали разъезжаться по своим дворцам, думая о скором походе; а царское войско шло тем временем на Можайск, вздымая пыль ногами и копытами.

В Москве шел дым коромыслом. Мещане и посадские да оставшиеся городовые стрельцы еще правили проводы, и царевы кабаки кипели шумною жизнью.

## V ДВА БРАТА

Князь Теряев-Распояхин и его старший сын, Терентий, верхом на породистых конях шагом поехали домой. Толпы народа волновались перед ними, и они осторожно пробирались по узким улочкам к своему дому.

Князь говорил сыну:

— Зарезал ты меня нонче! Морозов, ишь, локтем пнул, как ты такое слово сказал!

— Какое, батюшка, невдомек...

— А что воевать не хочешь. Мы царевы холопы. Нам в радость за него, батюшку, костями лечь, а ты что? — сурово сказал князь.

Сын тихо покачал головою.

— Я тебе, батюшка, сказать досуга не имел. Государь мне в ночь сам назначил на Москве оставаться. Колдунья запугала его. Слышь — ты, баяла, уедешь, а Москва сгинет!

Князь даже осадил коня.

— Сам наказал? — переспросил он.

— Сам, — ответил Терентий, — потому я так и вымолвил...

Лицо князя просветлело.

— Ну-ну! А я думал сдуру! Так, Тереша; дело. Послужи тут царю, а я с Петрухою на поле ратном. Глядишь, и упрочится род наш!

С этими словами они подъехали к княжескому дому, выстроенному Терентием Петровичем по приказу царя Михаила.

Высокий частокол окружал его со всех сторон, спускаясь до самой Москвы-реки. За ним у реки виднелись густые навесы вековых деревьев, а дальше хитрые крыши домовых пристроек. Крытые тесом, иные черепицею или дранкой, выкрашенные в зеленый, красный, желтый цвет, они были и острые, как у немецкой кирпичи, и куполами, и просто скатами, что придавало зданию затейливый вид.

Высокие тесовые ворота с иконою, вделанной в верхнюю перекладину, были тоже выкрашены разными узорами, а наверху деревянная резьба изображала конские головы и высокого петуха.

Едва они подъехали к дому, как сторож, что стоял у ворот (воротник), ударил в доску, которая загудела на весь двор, и спешно отворились ворота.

Князь с сыном въехали во двор и остановились у высокого резного крыльца, выступающего вперед, с хитро выточенными пузатыми балясинами, с круглым низким куполом.

Стремянные подбежали и помогли князьям сойти с коней.

Князь взошел на крыльцо и, обратясь к толстому дворецкому, что стоял в богатом кафтане с высоким воротом (что твой боярин), сказал:

— Трапезовать, Никитка! А ввечеру во дворец, — прибавил он сыну, проходя в горницы.

Четверть часа спустя в большой трапезной горнице за столом сидела вся семья князя.

Держась немецкого обычая, который он перенял, бывши в Швеции и иных землях еще при Михаиле царе, князь любил трапезовать всею семьею, когда не было гостей.

При госте иное дело. Женщины тогда уходили, а поднося здравицу, закрывали лицо свое, поднимая фату только для поцелуйного обряда, который, к слову сказать, уже стал выводиться.

И сидел князь со своею семьею. Сам он сидел в красном углу под образами, а напротив сидела княгиня, жена его, Ольга Петровна. Раздобрела она дюже за время замужней теремной жизни. Подбородок лежал жирными складками на высокой груди, щеки от тяжести повисли чуть не до самых плеч, и от красивого лица ее остались только живые, ясные глаза.

Справа от князя сидел его старший сын Терентий, слева младший, Петр, а подле княгини, рядом с Терентием, сидела жена его, Дарья Васильевна, из роду Голицыных, слева же — княжна Анна, круглолицая девушка, лет шестнадцати. Дарья Васильевна, два года как обвенчанная с князем Терентием, была и красавица, и модница того времени. Высокая, стройная, еще не пополневшая от теремной жизни, с длинным овальным лицом, словно выточенным, с высокою грудью и покатыми плечами — она была совершенной красавицей, несколько татарского типа. Только по моде того времени щеки ее были

так нарумянены, что краска видна была лежащей толстым слоем, брови были намазаны прямыми чертами, а прекрасные, ровные зубы сплошь зачернены — отчего рот терял свою прелесть и никак не мог быть сравнен с розою.

В редких случаях, когда при больших выходах или на царской охоте можно было украдкой увидеть открытое лицо боярыни, — молодежь затаив дыхание следила за Дарьей Васильевной, и много дворянских да боярских детей сушили по ней свои сердца, а князь Терентий даже и не взглянул на нее и сидел все время молча, опустив глаза на тарелку.

Сидя напротив своего брата, он казался мрачной тучею перед легким перистым облаком.

Черные волосы его на голове и в бороде, черные сдвинутые брови и смуглый цвет сурового лица делали его старше на добрый десяток лет. Он сидел молча и словно томился какою-то думою.

А напротив него брат его Петр, в светло-синем шелковом кафтане с серебряными шнурами по груди, сиял, словно праздник. Белое и румяное круглое лицо его с прямым, красивым носом и алыми губами было весело, радостно и ко всем обращалось с улыбкою. Русые волосы его, несмотря на побритый затылок, непослушно вились и падали на лоб; чуть-чуть пробивающиеся волосы на верхней губе и подбородке придавали ему задорный вид.

И как по внешности, так и по характерам своим оба брата являлись полными противоположностями.

Может быть, в этом помогло немало и их разное воспитание.

С того времени, как князь Михаил Теряев, прокравшись через вражье войско, пришел в Москву из-под Смоленска и был награжден царем званием окольничего, князь без перерыва ходил в походы, то на мордву, то на шведов, посылался на окраины возводить острожки, посылался ловить разбойников, и только при царе Алексее, пожалованный в ближние бояре, повесил свой меч и отдохнул.

А тем временем рос князь Терентий, любимец матери, рос в терему, окруженный санными девками, мамками и няньками. Княгиня Ольга, трепеща за жизнь мужа, богатая любовью и не зная, куда расточать ее, ушла вся в дела благочестия и окружила себя странниками, странницами, юродивыми. В иные вечера сидел Терентий в ее светлице и слушал дивные рассказы о конце края земли,

о трех китах, о чудной птице Феникс и о страшных циклопах. В другой раз странники говорили про великие дела Господни, про сподвижников, про знаменья небесные, и сердце мальчика наполнялось таинственной мечтою.

А тут померла бабка, и дед его, князь Терентий Петрович, ушел в Угрешский монастырь и принял монашеский чин под именем Ферапонта.

Со своей матерью стал он ездить к деду на поклон и беседу, и стороною дошли до него бабьи рассказы. Говорили, что сжег князь неповинную девушку, сына полубовницу, и того греха себе простить не мог.

Под таким впечатлением рос Терентий, когда вернулся отец и остался дома, окончив свои походы.

Князь тотчас принялся за Терентия, обучил его грамоте, обучил на коне ездить и из пищали стрелять, но не мог уже изменить впечатлительной души сына. Не по нраву он стал своему отцу, зато сразу полюбился Тишайшему царю, и тот сделал его постельничим и ни с кем так не любил спать, как с князем Терентием.

А скоро князю ударило 20 лет, и отец решил его поженить на княжне Голицыной. Ни жених, ни невеста не перечили родителям, и стали они мужем и женою.

Но тут вдруг случилось с Терентием такое, от чего потерял он сразу весь свой покой...

Зато полюбился князю его младший сын — весь радость, здоровье и сила. Не в терему, а в саду да на дворе провел он свое детство. Старик Иоганн Эхе делал для него луки, точил стрелы, учил владеть мечом; старик Эдуард Штрассе шутя выучил его грамоте и показал великую премудрость Божью в устройстве земли и неба. Дети Эхе, шестнадцатилетняя Эльза и старший Эдди, не оставляли в забавах и играх, и рос он, как молодой лось, на воле.

Может, за это и полюбился он своему воинственному отцу. Как вернулся отец в Москву, ни соколиная охота, ни облава не обходились без Петра. В короткое время выучился он и на коне сидеть, и пищалью владеть, как добрый рейтар, а когда царь приказал по образцу западных войск формировать из дворянских детей пехотные и конные полки с европейским строем, он тотчас записался в полк Бутурлина.

Князь, любуясь на него, едва объявили войну, взял его из полка, чтобы вести на войну в царевом отряде, и Петр весь горел желанием побиться с ляхами.

Трапеза проходила молча. Слуги принесли сперва мисы с жирной лапшой и пироги, которые потом сменились рыбою, затем на стол явились жареные птицы, бараний бок с кашею, поросята вареные и жареные, потом в затейливых поставцах и на тарелках подали разные варенья, засахаренные плоды и ягоды, орехи с пряниками — и трапеза окончилась.

Помолясь на иконы и поцеловав руку у князя, женщины ушли в терем, а слуги подали на стол мед и пиво, и князь, налив три стопы, отпустил из горницы слуг.

## VI ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЯТОЙ ГЛАВЫ

Отпив крепкого меда, князь перевел дух и заговорил:

— Вечеру на верх звали, а там и ночь. Времени-то, поди, немного, и поговорить недосуг. А тут поход, дело ратное, одному Богу ведомо, кто жить останется, кому убитому быть. Так потому и поговорить хочу с вами...

Он разом осушил стопу и заговорил снова;

— Оба вы мне равно милы, как ты, Терентий, так и ты, Петр. Нравом вы разные, и разные пути у вас, но про одно памятуйте вовеки: берегите род ваш и всеми силами старайтесь возвеличить его. Не древен он...

Князь тяжело вздохнул.

— Зачался он всего от царя Ивана Васильевича. Допреж просто во дворянах значился, ну а он, государь, возвеличил. Прадед ваш, первый князь Петр Теряев-Распояхин, немало за царя крови пролил; честно служил ему мечом и в опричнине не пачкался. Дале дед ваш, отец мой, ноне отец Ферапонт, помогал из Москвы ляхов гнать и царю Михаилу на престол сесть. За то и отличен был царем. Я же — дела мои все тут...

Сыновья молча кивнули, а князь продолжал:

— Не древен род наш. Столь не древен, что Морозовы и те кичатся предо мною, да я свое место знаю и милостью царской не обделен, а кои старшие, как Голицыны, Шереметевы, Мосальские или

там Трубецкие, так те чтут меня. А я так мыслю, что заслугами, а не старинностью отличен быть должен и тем возвеличить род свой. Я сделал свое, а для вас сделал и того больше. Меня и царь, и люди московские любят.

Он усмехнулся.

— Небось, когда смута на Москве была и народ дома Морозовых разбивал, они у царя попрятались да дрожью дрожали, а как царь меня к народу выслал, так все люди меня послушались.

Он задумался и тихо сказал:

— Дал я им тогда Плещеева да Траханиотова, а по правде, надо было Бориску отдать, да и Глеба впридаток. Они с Милославским-то больно уж себе, а не царю прямими. А Плещеев что? Плещеев холоп был у них... Так-тось! Народ и по сю пору меня любит и вас любить будет. Я дел сторонюсь, воеводства не ищу, местами не считаюсь, а за то царь, коли правды ищет — всегда меня призовет. Вот и Никона выбирать; кому царь про свои думушки говорил? А мне! Для тебя говорю, Терентий! Ты ноне царем отличен, идешь по дворцовой службе. Прями царю, и отличен будешь. Гляди, Морозовы уже отодвинулись. Только семейством и держатся: а тестюшка намерен ишь какую потасовку получил! Царь-то его возил, возил по полу. А ты, Петр, меча не оставляй! И промеж себя дружите, первое дело. Тебе, Терентий, дом этот будет и рязанские вотчины, а тебе, Петр, коломенские. Вот и все! Сестру честно замуж выдайте...

— Батюшка, — заговорил Петр, — да что это словно ты помирать собираешься?

— Не собираюсь, — ответил князь, — а в животе и в смерти Бог волен! Завтра я вас на утрени благословлю, а теперь и соснуть еще час можно!

Князь встал, и за ним поднялись его сыновья. Они почтительно поцеловали его в плечо и вышли из горницы.

Князь прошел в опочивальню; сняв кафтан, протянулся на лавке и скоро захрапел на всю горницу.

Терентий пришел на свою половину. На высокой постели, раскинувшись и разгоревшись от жару, крепко спала его молодая жена. Румяна выкрасили ее подушку алою краской; от жары по вспотевшему лицу ее полосами стекла черная краска бровей, и, взглянув на свою

жену, Терентий хмуро отвернулся в сторону и, отойдя, лег на лавку, но не затем, чтобы спать.

Тяжкие мысли отравляли его покой.

«Вон отец сказывал, — думал он, — чтобы я возвеличил род наш, а я поганю его. Поганю честное имя свое, клятву преступаю, окаянствую, и нет мне хода! разве в монастырь идти! Думал, уйду на войну, сложу голову, а как государь вымолвил: на Москве останешься, — так от радости у меня дух захватило. Господи, думаю, нагляжусь на нее, налюбуюся. Старый уедет с царем, одна голубушка! Ох, окаянство, окаянство!» Он сел на лавке и в порыве отчаянья схватил себя за голову.

Действительно, с ним стряслось горе.

Довелось ему увидеть боярыню Морозову, Федосью Прокофьевну, жену Глеба Ивановича, и с той поры он стал сам не свой. Ее нежное личико с полными алыми губами, с большими, как звезды горящими, серыми глазами и рядом морщинистое, сухое лицо старика Морозова грезились ему и во сне, и наяву.

Против воли стала разом противна ему молодая жена, и спокойствие души уже навсегда оставило его.

А там случилось увидеть ему боярыню и два, и три раза. Был он однажды у Глеба Ивановича с царским наказом, когда старик занедужился, и о ту пору она поднесла ему чару меда. Поднесла и своим взором открыла его великую, мучительную тайну.

После, в зимнюю, студеную пору, столкнулся с ним морозовский холоп Иван и указал ему дорогу в сад, и там он увидел боярыню. В одной телогрейке да пуховом платке поверх кички сошла она к нему, сошла с лицом снега белее... для чего?

Терентий взмахнул руками и опустил их на колени.

Чтобы его укорить! Он-де ее покой смутил.

Как дух нечистый мешает ей спать, грезится, мешает ей молиться... и она заплакала!... Он обомлел сперва, а потом — откуда слова взялись.

А с ним что деется? Не он, а она околдовала его! Он тоже клялся перед Богом жене своей, а теперь что с ним? Где он? Да что! За ее слово доброе, за взгляд, за ласку он хоть на отца...

— Тсс! — боярыня даже руки подняла в ужасе и стала его уговаривать бросить нечестивые мысли, уехать, а с ней встретясь,



глаза в сторону воротить. Только усмехнулся на такие речи Терентий и пошел прочь, даже не прикоснувшись к руке боярыни.

Наверное, никто никогда так не проводил со своею зазнобою времени на потаенном свидании. Терентий горько усмехнулся.

С того пошло. Словно отраву пили они, сходясь на свидания и жалобно коря друг друга, но порою они и делились своими думами. Боярыня говорила с тоскою про старого да ревнивого мужа, Терентий рассказывал, как ему опостылело в доме.

Боярыня утешала его, раз провела рукою по его черным волосам...

— Обрадуется ли? — подумал Терентий про свое оставление в Москве и горько улыбнулся.

Иному и любовь на муку! Ведь прожил же он тихо, покойно до двадцати трех лет. Немало повидал дворовых и сенных девушек, видал и мещанок вельми красивых, и хоть дрогнуло бы его сердце. Жену дали, хоть бы единожды он порадовался, а тут вдруг, сразу, ровно пожаром вспыхнул. И Терентий мучился своей греховной любовью, сознав давно себя бессильным бороться с нею...

Тем временем Петр сидел в маленьком садочке при домике Иоганна Эхе и весело болтал с его дочерью Эльзой, пухлой, розовой немкой, и братом ее Эдуардом, который уже пятый год учился малярному искусству у известнейшего придворного художника Данилы Вухтерса.

— Что же ты думаешь, — с горячностью говорил Эдуард, — без меча и прославиться нельзя? Ан можно! Вот я, как царь победит ляха, намалюю доску и на ней град Смоленск или иной какой, и образ царя, и войско наше, и пальбу из пищалей, и стены града рушатся. Поднесу царю — вот и слава. Учитель намалевал, как град Иерусалим падает, вот и я!

— Пока! А я уже в славе есть! — раздался молодой голос, и в садик, легко перескочив низкую изгородь, впрыгнул молодой человек, ровесник Петра. На нем был забавный коричневый халат и шапка скуфьею, что придавало ему вид послушника. Но молодое лицо его с маленькой рыжей бородкою, с ярко блестящими глазами говорило о горячей крови, о непреклонной энергии, и когда он взглянул на молоденькую Эльзу, она вспыхнула, как небо зарницею.

Это был Иван Безглинг, тоже ученик Вухтерса и товарищ Эдуарда.

— Как же это удалось тебе? — спросил Петр.

— А просто! Прослышал я, что патриарх говорил: неладно у нас образа малюют. Люди не люди, натуральности мало. Я намалевал на доске Миколу, ото всех потиху — да и понес патриарху.

— А он? — нетерпеливо спросила Эльза.

— А он взял, смотрел и даже хвалил. Тебе это, говорит, дар от Бога — и послужи им Богу. Святить у себя оставил; мой, говорит, лик намалюй. Я ушел, а нынче слышу, патриарх царю про меня уже сказывал. Вот!

Эдуард с завистью взглянул на него.

— Счастливый! Ну да уж! — И, отгоняя дурное чувство, он встряхнул головою, а Эльза козочкой вбежала в домик и, бросившись на грудь матери, сказала, захлебываясь от радости:

— Мутерхен! Он в славу вошел!

— Кто? — спросила Каролина.

— Ваня, — тихо ответила девушка.

Каролина засмеялась и обняла ее.

— Что же? Пусть сватов шлет, — улыбаясь, сказала она. — Ты знаешь, ни я, ни папахен тебя неволить не будем.

Как есть в эту минуту на пороге комнаты показался огромный Эхе. Высокого роста, он, засев дома после долгих походов, разжирел от безделья и казался великаном. Голова его оплешивела, огромная борода разрослась до пояса, кровавый рубец по-прежнему горел через все лицо, но ярче его светились глаза Эхе.

— Так, так, — хрипло проговорил он, — без стариков и договоры. Ой-ой! Ну-ка, снеси мне в садик пива, я пойду да покалякаю с молодежью.

## VII СКАРЕДНОЕ ДЕЛО

Егор Саввич Матюшкин, милостями Милославских, а главное — Бориса Ивановича Морозова, из дьяков ставший думным боярином, сидел в разбойном приказе и прямил Морозову во всех делах его.

Невысокого роста, с маленьким брюшком, которое он для важности вперед пятил, с небольшой плешью в слегка седеющих черных волосах, с черною бородою, раскинутою на плечи, обликом немного жидовин, боярин Матюшкин почитал себя первейшим

красавцем и думал, что у всякой бабы, которая взглянет на него, сердце трепыхается птицею. Ходил он важно, голову держал кверху, и самое сладкое дело ему было в застенке бабу пытаться. Случалось, что иная больно по душе ему становилась, тогда он мигал своему дьяку, Травкину, и баба мигом из ямы или вонючей клетки переводилась в дом боярина. Для того у него были горницы особые устроены, в пристройке посередь густого сада. Там боярин и тешился.

Сегодня он был не в духе. Акулина, которую он для себя с дыбы снял, чуть ему глаз не выцарапала. В злости хотел он ее назад в приказ отправить, да больно полюбились она ему, и вместо криков и брани он только сказал ей ухмыльнувшись:

— Добро, молодка! Ретив конь, да объездится. Я пойду, а ты вспомни друга своего Тимошку-кожедера!

И ушел в приказ. Зато уж и лютовал он там.

В застенке о ту пору находился важный преступник, англичанин Вильям Барнели. Это был молодой красавец с открытым, смелым лицом, с вьющимися до плеч локонами.

Он приехал в Москву для торговли и попал в дом боярина Морозова. Там не раз звали его в терем показывать его товары, и молодая боярыня Анна Ильинична, сестра царицына, покупала у него добра немало, а пуще любила его рассказы, которые передавал он ей коверканным языком.

Стар был Борис Иванович. Злые языки московские говорили, что он сам на себя беду накликал. Мало ему было считаться дядькою царским, мало было состоять ближним во всех делах, так задумал еще с царем в свойство войти: поженил молодого царя на дочери Милославского, Марии Ильиничне, а сам взял да на ее сестре женился, и как мороз губит весенний цвет, так загубил он молодую девушку. Вместо любви и доверия вошла в дом ревность жгучая, и нередко в терему раздавались глухие крики... санные девушки в ужасе убегали в клетки да повалуши<sup>[50]</sup>, во всем доме наступали скорбь и уныние. Это боярин вместо ласки плетью учил молодую жену свою.

А когда узнал, что не два и не три раза был в его отсутствие в терему английский купец, когда донесли ему злые люди, что чуть он на верх уйдет, Барнели уже подле дома с товарами, — свету не взвидел старый боярин.

Уж и бил он боярыню о ту пору! Перед самым царевым походом вместо прощания! Заливалась она горячими слезами, Спаса во свидетели звала, Николой-угодником заклиналась — себя не помнил старый боярин.

А потом позвал своего верного слугу боярина Матюшкина, наказал забрать в приказ этого Барнели и от него правды дознаться. Матюшкин было призадумался.

— Моя голова в ответе, а ты слушай только, — сурово произнес Борис Иванович, и Матюшкин лишь низко поклонился ему.

— Твой холопишко!

Тут же под вечер был захвачен англичанин, а наутро, чуть только заелел восток, стоял он в страшном застенке и недоумевающим взглядом оглядывал мрачные стены, сырой пол и непонятные орудия пыток.

Но вошел боярин, вошел с ним дьяк Травкин, тонкий как спичка, с большой лохматой головой и красным носом — и скоро узнал несчастный Барнели, для чего предназначено это странное сооружение вроде виселицы, с веревкою и кольцом...

Матюшкин пытал его накрепко, да ничего от него не дознался.

— Жилист, окаянный, — сказал он наконец с глубоким вздохом, — что из него вытянешь?

— Дозволь, боярин, слово молвить, — вертя головою, сказал Травкин.

— Ну, ну!

— Беспременно надо от боярыни сенных девушек достать. Я так смекаю, что от них скорее дознаемся!

— Во-во! — радостно воскликнул Матюшкин. — И ума в тебе, Еремеич! Дело! Вестимо, девок достать... мы их... — И боярин засмеялся громким, утробным смехом, словно конь заржал.

— Скинь его, Тимошка! — ласково сказал он палачу, вставая. — На нонче будя! Так ты, Еремеич, твори! Иди к самому боярину на двор. Так, мол, и так... да там посмотри... — И боярин скосил глаза. Дьяк сразу понял его намек и закивал своею головою.

Боярин развеселился и в добром духе пошел домой. В это же самое время холоп боярина Панфил, малый в плечах косая сажень, с круглой как шар головою и придурковатою рожей, в которой виднелось все же лукавство, пробрался огородом, перемахнул плетень

и бегом пустился вдоль Москвы-реки вплоть до Козьего болота, где незаметно юркнул в калитку. Там, переводя дух, он уже степенно пошел по пустырю, обогнул большую избу Сыча и зашел в нее с заднего крылечка.

Пьянство и разгул в рапате кончились, и огромная запотевшая горница с длинными скамьями и столами, с воздухом, пропитанным дымом табачного зелья и сивухи, казалась хмурой, мрачной, как душа пьяницы без опохмеля у большой бочки, свернувшись клубком, лежал мальчишка, на лавке громко храпел сам хозяин.

Панфил оглянулся и хотел уже будить Сыча, когда в низенькой двери, ведущей в повалушу, показался Федька Неустрой.

— Ты, паря! — сказал он Панфилу ласково. — Ну, подь сюда, подь!

Панфил послушно нагнулся и нырнул в темноту через маленькую дверцу.

Неустрой провел его в просторную клеть.

Там стоял в углу стол и вдоль стены протянулись две скамьи. На одной лежал ничком нескладный Семен и, свесив до полу свои корявые, черные руки, храпел громким храпом. За его головою, опершись на облокоченную руку, сидел МIRON. Лицо его припухло от непрерывного пьянства, покрасневшие глаза блуждали дико, — и только Федька Неустрой казался таким же, каким был в гостях у Тимошки.

— Ну, вот и наш сокол! — сказал он, вводя Панфила.

МIRON поднял голову и тотчас хрипло спросил:

— Сдалась?

Панфил поклонился, тряхнул волосами и скрипучим голосом ответил:

— Не еще! А только сдаст.

— Это почему? — спросил Неустрой.

У Панфила словно запершило в горле. Он стал кашлять.

— Встал это утром и ничим-то ничего во рту не было! — сказал он вместо ответа.

— Дай ему! Нацеди там! — произнес МIRON.

Неустрой выглянул за дверь и крикнул на мальчишку, который тотчас вскочил на ноги, протирая заспанные глаза. — Пива да калачей волоки!

Панфил с жадностью закусил калач, выпил с полковша пива и, наотмашь отерев губы, заговорил:

— Как же ей не сдаться? Он ее тогда к кожедери назад отошлет, да там ее драть будут. У нас завсегда так. Покобенится, и вся тут!

Мирон вцепился рукой в свои волосы.

— Ой, правда! — заскрипел он зубами. — Что же, баба пугливая! Мужик, и тот погнется, а она? Ну, ну!

— А выкрасть можно? — спросил Неустрой.

Панфил закрутил головою.

— Не! Кабы она одна там была, а их теперь шесть! Выходит, пять стерегут. Так-то ли завоют... ой! А по саду псов спускаем. Такие лютые...

— Слушай, — порывисто вскакивая, произнес Мирон, — ты вот нас узнал. Мы добрые молодцы. Живем весело, ни о чем не тужим; голову на плаху готовим, а дотоле сами себе бояре. Ты же холоп, из батожья не выходишь. Хочешь идти с нами?

У Панфила вспыхнули глаза.

— Возьми, атаман! — сказал он.

— Ну и возьму! Помоги Акульку изъять. Для псов мы тебе зелья дадим, ты их угости, они и стихнут, а там — проберись только да Акульке шепни: готовься, мол. Нонче в ночь! А?

Панфил заскреб в затылке.

— Оно, положим, коли ежели... — начал он.

— Хошь али нет? Решай! — резко спросил его Мирон.

— Да, что ж... я... пожалуй!

— Ну вот!... Теперь слушай!...

И Мирон стал объяснять Панфилу, что и как он должен сделать, в какие часы, и потом учить, как подавать сигналы.

— А коли не сладится дело наше, — грозно окончил Мирон, — ну и попомнит меня боярин в те поры!... Иди!...

Панфил поклонился и, выбравшись из рапаты, снова засверкал голыми пятками.

## VIII ОТЪЕЗД

Как в канун 26 апреля шло великое прощание по всей Москве с пьянством и буйством, так творилось и в канун 1 мая, дня, когда

выезжал в поход царь со своим двором. Любя пышность и блеск, видя в них величие своего звания, царь обставлял всякий свой выезд великими церемониями с массою участников. Сборы же в далекий поход были уже немалым делом.

Снаряжались целые обозы, два полка в проводы; царь брал с собою и ближних бояр, и окольных, и постельных, и дворян, и стольников, и кравчих, а челяди без счета, — и каждый боярин, в свою очередь, не говоря о личном отряде, забирал и обоз, и ближних, и челядь.

И все это снаряжалось, суеилось, прощалось.

Царь, совершавший первый поход, горя желанием славы, ездил молиться в Угрешский монастырь, потом к Троице-Сергию, а потом, думая о семье и дорогом стольном городе, держал думу с боярами и другом своим, патриархом.

Еще задолго до отъезда правление на время отсутствия царя было поручено боярам князьям Хилкову Ивану Васильевичу и Куракину Федору Семеновичу да ближнему боярину Ивану Васильевичу Морозову

Они стояли теперь перед царем, а он умильно говорил им:

— Друга, послужите мне правдою. Берегите царство, Москву-матушку и государыню-царицу. Коли что худое, упаси Господи, — царь набожно перекрестился, — приключится, не мешкая мне отписывайте. А еще прошу обо всем пресвятому отцу нашему докладывайте и ему, как мне, доверяйте!

— Холопищки твои! — отвечали бояре, земно кланяясь царю, и в то же время угрюмо косились на патриарха

«Ишь, слеток! Ведал бы, клобук, свои поповские дела, мало ли их: все монастырские дела и в их землях воровство всякое под его рукою. Так нет! В государское суется, и царь у него, что воск в руках».

А патриарх сидел рядом с царем, молчаливый, строгий, с сияющим крестом на груди, а об локоть с ним стоял отрок с драгоценным посохом.

— Так! — с просиявшим лицом говорил царь. — А ты, отче, — обратился он к патриарху, — молись за нас и блюди за делами своим светлым оком. На место отца родного Господь послал тебя на пути моем!

Никон смиренно склонил голову

— Я слуга Господа моего, и не в меру превозносишь ты, царь, монаха сирого. За тебя же, государыню-царицу и деток твоих я всегда неустанный молещик, а что до делов государских, так мне ль со скорбным умишком править ими. На то бояре твои поставлены.

Бояре только переглянулись между собою и усмехнулись в бороды. Короткое время на Москве патриарх новый, а они уже слышали его лисьи речи да узнали волчью хватку

В эту ночь царь провел время со своею женою, весь вечер потешаясь в терему с сестрами-царевнами и своими детьми.

И каждый боярин делал в своем доме последние распоряжения.

Боярин Морозов, Борис Иванович, мрачный сидел в своей горнице у письменного стола, откинувшись в креслах. Правая рука его лежала на столе, левая на локотнике, и он хмуро глядел на боярина Матюшкина, который теперь походил не на воеводу, а на трусливого холопа.

Он стоял перед боярином, немного нагнувшись вперед, словно боясь своего толстого пуза; лицо его, поднятое кверху, выражало подобострастие, и он говорил, внутренне дрожа за каждое свое слово.

— Ничим-ничего, боярин, вот те крест святой! Чиста твоя бояр...

Морозов нахмурился, и Матюшкин, словно поперхнувшись, заговорил торопливо:

— Его всяко пытал: и с дыбы, и с кобылы, и длинником, и плетью; огнем жег! Хоть бы что. Опять же девок сенных, что от терема взяли, тож пытал полегоньку. Визжат, а слов никаких, в улику-то. Бают все: для торга ходил, и я так чаю, боярин...

— Чай про себя, — сурово остановил его боярин, видимо просветлев душою.

Матюшкин съежился и угодливо поклонился.

— Так вот, — боярин подумал и сказал: — Этого англичанина пошли в Тобольск. Пусть там поторгует! Завтра тебе царский указ перешлю. Теперь иди!

Боярин встал. Матюшкин, сгибаясь, приблизился к нему и поцеловал его в плечо.

— А девок я по вотчинам разошлю. Перешли их на двор ко мне, — добавил боярин.

— Как повелишь, государь!



Матюшкин, пятясь, выбрался из горницы и едва дошел до сеней, как пузо его уже лезло вперед, голова задралась кверху, и он медленно, важно поворачивал по сторонам свои масляные глаза.

Боярин Борис Иванович со вздохом облегчения провел рукою по лицу, и под его седыми усами мелькнула улыбка. Но не стало от этого моложе и краше его суровое лицо. Тяжелой поступью он перешел узкие переходы и поднялся по лесенке в терем молодой жены.

А Матюшкин ехал верхом на сытом мерине в высоком седле, что в кресле, и думал про Акульку, не подозревая никакой беды и огорчения...

Молодой князь Петр Теряев-Распояхин проснулся, когда майское солнышко уже играло на небе, быстро вскочил с постели и торопливо захлопал в ладоши.

На его зов в опочивальню вошел невысокого роста, с маленькой головой и широченными плечами мужчина и, ухмыляясь в густую русую бороду, сказал:

— Заспался, князюшка?

— Ах, Кряж! — воскликнул князь. — Да как же ты меня не побудил?

— Батюшка не приказали.

— А он вставши?

— Эй! — Кряж махнул рукою. — Уехавши давно: и батюшка, и братец!

Петр всплеснул руками:

— Что ж ты это сделал! Теперь запозднюю — что будет!

— Небось! — усмехнулся Кряж. — Ты одевайся только, а я уже все обрядил. Пожди, пошлю отрока!

Кряж вышел, и на место его вошел мальчик с тазом, рукомойником и шитым полотенцем на плече.

Князь поспешно умылся и начал одеваться. Мальчишка стоял разинув рот, и выражение восторга все яснее и яснее отражалось на его лице по мере того, как князь надевал походные одежды.

И было отчего прийти в восторг и не дворовому мальчишке.

В зеленых сафьяновых сапогах, в желтых шелковых штанах и в алом кафтане, стянутом зеленым поясом, молодой, статный, красивый, с курчавою головою и ясным горящим взглядом, Петр был как майский день.

А когда он пристегнул короткий меч к поясу и засунул за него два пистолета, когда на плечо накиннул, продев руки, дорогую кольчугу из стальных с золотой насечкою чешуек да взял в руку плетъ и блестящий шлем, с ясною, как молния, стрелкой, мальчишка даже вскрикнул:

— Ой, ладно!

Князь весело засмеялся и, кивнув ему ласково, побежал на двор, где Кряж ждал его в двумя оседланными конями.

Сам Кряж оделся тоже в поход. На нем поверх кафтана были из сыромятной кожи латы, железный черный шлем с надзатыльником и наушниками покрывал его голову, за поясом торчало два ножа, за плечами висели кривой лук и саадок со стрелами, а на кисти руки висел шестопер<sup>[51]</sup> фунтов в семь, а не то и в десять.

Этот Кряж, по прозвищу, а именем Федька, был назначен стремянным к молодому князю, едва тот сел на коня. Без роду без племени, княжеский холоп, он с собачьей преданностью привязался к красавцу юноше и теперь впервые отправлялся с ним в поход.

На дворе толпилась челядь, а впереди всех стоял старик Эхе с красавицей Эльзой и Эдуардом.

— А, вы тут? — радостно сбегая к ним, воскликнул Петр.

— Вышли проститься и пожелать удачи, — вспыхнув, сказала Эльза.

— Привезу тебе подарок, — улыбнулся Петр. — Ну, простимся!

И, обняв Эльзу, он звонко поцеловал ее в обе щеки. Эдуард крепко обнял его.

— Если будешь в Вильне, — сказал он, — посмотри мастеров тамошних, бают, знатно малюют.

— Кто о чем! А ты, Иоганн, чего хочешь?

Глаза старого рейтара разгорелись.

— С тобой ехать! — воскликнул он. — Да! Почему же мне не ехать? Donner wetter! Каролина плачет! Фи! Эди большой! Ему что, Каролина покойна! Да! да!

Лицо его разгорелось. Он тряс плешивой головой, а седая борода развевалась.

— Да, да! Еду! — повторил он, в то время как челядь смеялась, видя его волнение.

— Папа, — обняла его Эльза, — успокойся, милый! Что говорил тебе князь? Ты один тут защитник!

— Раньше! Теперь князь Терентий тут! — не унимался старик.

Петр наскоро поцеловал его, вскочил на коня и поскакал в ворота.

— Догоню! — крикнул ему вслед Эхе.

— Опоздаем! — испуганно говорил князь, гоня коня.

— А ты и не поснедал ничего? — заботливо спросил его Кряж.

— До того ли! О Господи! — воскликнул он с отчаяньем, затягивая поводья.

— Не бойсь, княже, поспеем, — успокоил его Кряж.

Толпы народа, спешащего к кремлевским воротам, перегородили им путь, и они принуждены были продвигаться шагом. Было уже десять часов утра, когда они подъехали к воротам и должны были тотчас спешиться, потому что выезд уже начался.

В воздухе гудели колокола, смешиваясь с нестройными звуками рогов, тулумбасов<sup>[52]</sup> и барабанов.

Из Никитских ворот медленно выступили конные всадники в медных кольчугах, и в воздухе заколыхались знамена. Всадники проехали; за ними, высоко держа царское знамя с изображением золотого орла, ехал толстый, высокий богатырь знаменосец, а следом конюхи по двое в ряд повели шесть царских коней.

— Ишь ты, — пробормотал Кряж, и его голос слился с радостным криком народа.

Действительно, зрелище было необыкновенное. Шесть коней с высокими седлами, покрытые алыми бархатными попонами, фыркающая и играя, шли на длинных шелковых поводьях.

Их попоны с золотыми орлами были все затканы драгоценными камнями, на красивых головах торчали султаны из белых перьев цапли, с самоцветными камнями на гибких проволоках. Копыта их были золочены, а ноги все обвиты драгоценным жемчугом.

Они шли, нетерпеливо мотая головами, и в воздухе весело звенели серебряные бубенчики, которыми были увешаны их головы.

Кони прошли, и за ними в зеленом халате в алмазах, на лохматом коне поехал младший брат сибирского царя, живущий в Москве аманатом<sup>[53]</sup>, и с ним его свита, в желтых и зеленых кафтанах, в остроконечных шапках, с луками и колчанами за спиною. Потом потянулись гусем восемь дорогих коней, а за ними показалась царская карета.

Народ упал на колени. На каждом коне сидел кучер в драгоценном кафтане из алого бархата, и подле его стремени шел вершник с палкою, обвитой алой тесьмою. В воротах, что маленькая часовня, показалась царская карета. На высоких колесах, вся открытая, она была обтянута алым бархатом, а наверху как солнце горели пять золоченых глав.

Тишайший недвижно сидел на бархатных подушках и благодушно улыбался, забыв на время о тяжести разлуки, о предстоящем ратном деле и упиваясь торжественным чином.

На его лице уже не было слез, которые он проливал обильно, прощаясь с женою, детьми, сестрицами и патриархом.

Он сидел недвижно, в кафтане, сплошь затканном жемчугом, с яхонтами по бортам и середине. На голове его всеми огнями горела высокая остроконечная шапка, опушенная соболем. В левой руке он держал золотую державу, а в правой крест, благословляя им народ.

Вокруг него, пестрея алыми и зелеными жупанами, ехали двадцать четыре гусара, одетых по польскому образцу, с белоснежными крыльями по бокам седел и с длинными жолнерскими копьями.

Коленопреклоненный Петр поднял голову.

Позади кареты ехали боярин Борис Иванович и Милославский, дальше Глеб Иванович и князь Теряев, вот Голицын, Шереметев, Львов, Одоевский, Салтыков, потянулись попарно ближние бояре.

Князь Петр поднялся с колен.

Потянулись вереницею сокольничие, стольники, постельники.

Петр сел на коня.

— Поеду, — сказал он Кряжу, — а ты в обоз. — Он дождался, когда двинулись боярские и дворянские дети, и присоединился к ним.

Горя огнями, сверкая золотом, медленно выезжала царская карета из Москвы, направляясь по Можайской дороге, а из ворот Кремля, на диво народу, еще двигались люди, подводы и лошади. За дворянскими и боярскими детьми конными и пешими отрядами шли боярские ратники, за ними потянулся обоз с царскою кухнею, шатрами, бельем и одеждами, с боевым снарядами, с винными и съестными припасами, со столовою и иной посудой, а там стадо быков и овец, клетки с птицею, кони, а там снова подводы с боярским добром.

И до самого вечера двигались через Москву люди и кони, оглашая воздух нестройным гулом голосов, рева и топота.

Кряж нашел княжеский отряд под началом старого Антона и присоединился к нему, усмехаясь веселой улыбкою.

— Чего зубы скалишь? — угрюмо спросил его Антон.

— А весело! — ответил Кряж. — Ровно на свадьбу едем!...

## IX СИЛА СОЛОМУ ЛОМИТ

Темный вечер 30 апреля в канун царского отъезда опустился над Москвою. Рыжий Васька, Тимошкин сын, выбежал играть из дома. Он поймал молодого щенка и четвертовал его в поле, недалеко от «божьего дома», после чего наткнул на палки его голову и лапы и побежал к дому на ужин, как вдруг до чуткого слуха его донеслись осторожные шаги; он тотчас припал к земле и скрылся за толстой липою. В темноте прямо на него надвинулись три тени и остановились шагах в двух, так что Васька даже попятился и, сжав в руке нож, насторожился.

— Рано еще, — сказал один.

— Позди, сейчас Косарь подойдет. Тогда и двинемся.

Васька задрожал с головы до пят. В одном голосе он признал знакомый. Ему тотчас вспомнились оловянные рубли, за которые отец вздул его так, как может драться только палач, и злоба закипела в его груди.

— Ужо вам, — пробормотал он и подполз ближе.

Знакомый голос сказал:

— Неустрой-то с задов петуха пустит?

— Да, — ответил другой, — как Панфил совой прокричит. Ты только помни: от меня ни на шаг; уведу я ее, тогда воруй, а до того ни-ни!

— Словно впервой, — обидчиво возразил знакомый голос.

Как яркой молнией имя Панфил озарило смышленную башку Васьки.

«Не иначе как у боярина», — решил он тотчас и, отползши шагов пять, поднялся на ноги и пустился к боярскому дому, что стоял особняком за разбойным приказом, ближе к самому берегу.

Боярин сидел у себя в горенке распоясавшись и, плотно поужинав, допивал объемистый ковш малинового меда.

Глаза его заволоклись, толстые губы расплылись в широкую улыбку, и он бормотал себе под нос:

— А и дурень этот Бориска! Ой, дурень!... Царский дядька, на государском деле сидит, а все ж дурень. На тебе! — по бабе сохнет. Старому-то седьмой десяток идет, а он девку в семнадцать взял. Э-эх! Ты люби баб, а не бабу! — наставительно сказал он наплывшей свече и погладил бороду, широко улыбнувшись.

— Как я! Мне баба тьфу! Сейчас Акулька любя, а там Матренка... Акулька... — Он задумался и покачал головой.

— Кобенится, на ж! Нонче ей подвески дам, а станет опять старое тянуть — плетухов. Да!

Он поднялся, тяжело опираясь на стол, и хотел идти, когда в горницу влетел запыхавшийся Васька и чуть не сшиб его с ног

— С нами крестная сила! — испуганно воскликнул боярин. — Сила нечистая! Эй, люди!

Васька в желтой рубахе, испачканной собачьей кровью, босой, в синих портах, с ножом в руке, раскрасневшийся и рыжий как огонь, действительно походил на чертенка.

— Нишкни, боярин! — заговорил он торопливо. — Я Васька, Тимошкин сын! Нишкни!

— Уф! — перевел дух боярин. — Чего ж ты, вражий сын, так вкатываешь? Али в сенях холопа нет? Ну, чего тебе? — Беда, боярин! Слышь, на тебя заговор воры делают. Жечь хотят.

Боярин сразу протрезвел и ухватил Ваську за волосы.

— Заговор? Воры? А ты откуда знаешь? Ну? ну?

Васька ловко выкрутил свою голову и стал рассказывать, что слышал.

— А Панфил должен им знак подать. Совой крикнуть!

— Панфил! Эвось! Ну-ну! Я ж им!

Боярин подумал и потом быстро сказал, вставая:

— Беги в приказ и накажи, чтобы сейчас сюда десять стрельцов шли. Как придут, пусть у задов от ворот до реки вокруг тына станут и всякого вяжут. Понял?

Васька кивнул и выскользнул из горницы. Боярин злобно усмехнулся и захлопал в ладоши. На его зов вошел холоп.

— Возьми, Ивашка, еще двух да сымай ты мне Панфила. Скрути и ко мне води!

Холоп поклонился и вышел. Боярин подпоясал рубаху, надел сапоги и снял с гвоздя толстую ремennую плеть.

В сенях послышался шум: боярин сел на скамью и приосанился.

В ту же минуту вошли холопы, толкая перед собою бледного, перепуганного Панфила со скрученными за спину руками.

Он вошел и упал на колени.

— Государь, что они разбойничают! — начал было он, но боярин так махнул плетью, что лицо Панфила разом залилось кровью.

— Я тебе дам, вор и разбойник! — кричал он зычно. — Сам воровское дело против своего государя затеял, да еще воет! Пес! волчья сыть! Сказывай, кого криком совиным сюда скликать собирался?

Панфил задрожал как в лихорадке и повалился ничком.

— Смилуйся! — завыл он. Боярин ударил его вдоль спины.

— Сказывай!

— Молодцы тут, боярин, у тебя девку выкрасть собирались, а худого ничего, ей-Господи!

— Брешешь, пес! Какую девку?

— Акульку, государь!

Лицо боярина загорелось злобою.

— Э, так это, может, тот вот, что в приказе помер! Ну-ну! Ивашка, беги на двор да склидай холопов, кого с колом, кого с топором. А вы ждите его! Откуда кричать хотел: со двора али с саду?

— Со двора, государь!

— Ну, ин! ведите!

Панфила поволокли, а боярин, помахивая плетью, пошел за ним следом.

На дворе столпились холопы, Панфил стоял в середине с вывороченными за спину руками и искося поглядывал по сторонам, в то время как боярин говорил:

— По пять к каждому амбару, да к клетям идите! Коли где огонь покажется, шкуру спущу! Иди, Ермило, возьми пяток да у ворот стань, а ты, Ивашка, возьми...

В это мгновение Панфил рванулся в сторону и быстрее лани бросился бежать со скрученными руками. На миг все оцепенели от такой наглости, но тотчас боярин оправился и завопил:

— Лови его, держи!

Челядь бросилась вперед беспорядочной толпою, сшибая в темноте друг друга, и в тот же миг в воздухе раздался протяжный, унылый крик совы.

В небольшом домике посреди густого сада боярина сидели четыре молодые женщины. Одна из них, рослая, красивая, со сросшимися черными бровями, беспокойно переходила от окна к дверям, жадно прислушиваясь к тишине.

— Ты чего это так задержалась, Акулька, — насмешливо спросила ее одна, — али боярина не дождешься?

Акулина бросила на нее презрительный взгляд.

— И не стыдно тебе смешки делать, Матрена, — заговорила с упреком третья женщина, — ей здесь застенка хуже, с боярином-то, а ты...

— Тсс! — вдруг остановила их четвертая, и все насторожились. Со двора слышались крики, выстрелы, воздух озарился красным светом пожара.

Женщины испуганно сбились в угол, и только Акулька, бросившись к двери, в бессилии билась об ее дубовые доски.

Крики и шум наполнили воздух. Можно было подумать, что огромная шайка чинит свой разбой, а между тем весь этот шум подняли только четыре человека.

Едва закричал Панфил, спрятавшись в густые кусты, как Неустрой подпалил с задов две клетки и скользнул на двор, а со стороны поля через тын вскочили в сад Кистень, Шаленый и Косарь и прямо бросились к домику.

Косарь ухватил свой топор и в три удара сбил висячий замок.

Акулька упала на руки Мирона.

— Не время киснуть, — торопливо сказал Мирон, — бежим!

Но в ту же минуту их окружили боярские холопы.

— Бей! — кричал Ивашка, махая мечом.

— А ну, Косарь, махни! — тихо сказал Мирон.

Топор свистнул в воздухе, и три человека упали на землю.

Мирон с Акулькой отпрыгнули в сторону и быстро достигли ограды.

Но остальные не были так счастливы. Холопы массою навалились на Косаря и Шаленого и опрокинули их, Неустроя с диким визгом



ухватил Васька и подрезал ему под коленом ногу.

Боярин велел их привести на двор и с жестоким глумлением смотря на оборванных, окровавленных разбойников, говорил:

— Ну-ну, исполать вам, добрые молодцы! Ужо вас мой Тимофей Антонович пощупает! Хе-хе-хе! Сведите их в приказ, ребята!

Во время короткого боя Панфил сидел в кустах малинника ни жив ни мертв, потом, немного оправившись, он стал двигать руками, пока не освободил их, и тогда осторожно перелез через тын и пустился знакомой дорогой к Сычу, бормоча себе под нос:

— Ужо, боярин, посчитаемся! И ты, Ивашка! Попомните Панфила-холопа да сестру его Марьюшку!

Той же дорогою к Сычу получасом раньше пришли и Мирон с Акулькой.

## Х ГРЕШНИКИ

Медленно разъезжались из государственного дворца лица, провожавшие царя в дальний поход.

Марья Васильевна, княгиня Терехова, облобызав руки царицы и царевен, вышла по длинным переходам и шла по двору к своему рыдвану; к ней подошел Терентий Михайлович и для прилики больше пошел следом за нею, тока не довел ее до рыдвана.

— В одночасье буду, — сказал он жене и остановился, провожая глазами ее поезд. Восемь вершников побежали впереди, расчищая дорогу, гнедые кони, ведомые под уздцы конюхами, шесть коней гусем, тронулись медленным шагом, и рыдван заколыхался по неровной мостовой, а следом за ним толпою пошли княжеские слуги.

Князь тихо пошел назад ко дворцу и вдруг вздрогнул, увидав молодого Федора Соковнина. А тот шел к нему улыбаясь и говорил:

— А, князь Терентий! Я-то тебя ищу да ищу!

— Зачем тебе я?

Молодое лицо Соковнина осветилось широкой улыбкою.

— Сестрица наказала тебя повидать да сказать тебе, чтобы ты после обедни на дом к ей пришел!

Князь побледнел от волнения и даже шатнулся, а Соковнин, понизив голос, заговорил:

— Смотри, так при батюшке и залепила: скажи, мол! Батюшка на нее: срамница ты, говорит, этакая, мужа только проводила. А она как глянет... Должно думать, дело у нее до тебя какое! Одначе прощай. Патриарх наказал прийти к нему для чего-то. А он у-ух!

И Соковнин беспечно пошел к коням, окруженным слугами, но Терентий его перегнал, махнув рукою своему стремянному. В нетерпении он едва имел силы перейти Кремлевскую площадь, а потом вскочил на коня и бешено погнал его за Москву-реку.

Не до обеда ему было. Сердце его вспыхнуло и голова закружилась. Он не помнил себя от безумной радости, и тяжелые мысли, угрызения совести оставили его душу.

— Любит! Моей будет! — шептали его губы, и он скакал вдоль берега, подставляя разгоряченное лицо свое порывам ветра.

До кровавой пены гонял он коня и потом, повернув его, тихим шагом поехал к Москве, думая о дорогой боярыне.

Но когда перед ним, за кустами молодой зелени, показались красные и зеленые крыши морозовского дома, сердце в нем замерло, и он придержал коня. Мысль о своем окаянстве на миг мелькнула в его голове, но он тотчас отогнал ее, сжал коленами бока коня и рванулся к воротам.

От ворот тотчас отделился морозовский слуга Иван и, приветлива улыбаясь, сказал князю:

— А я уж тут жду тебя да жду! Иди, князь, через красное крыльце прямо. Там тебя девушка проведет.

Князь отдал слуге коня и, быстро перейдя двор, взбежал на высокое и широкое крыльцо.

— Сюда, княже! — сказала ему красивая девушка и легкой поступью пошла перед ним.

Князю Терентию опять на миг стало совестно: «Словно вор. Когда хозяина нету, тогда и лазаю»...

Они прошли приемную комнату, большую трапезную, горницу, где боярин делами занимался, опочивальню и вошли в моленную.

— Здесь! — сказала девушка и скрылась.

Терентий суеверно огляделся по сторонам. В комнате, устланной коврами, стоял аналой, а на нем лежало большое Евангелие, редкость того времени. Весь правый угол и смежные с ним стены были доверху завешаны образами, крестами и складнями. Они горели драгоценными

огнями при трепетном свете нескольких лампад, и вся комната, слабо освещенная светом, проникавшим через круглые разноцветные стекла одного окна, имела торжественный вид тишины, покоя и святости.

Терентию сделалось тоскливо и тяжело.

Боярыне Федосье Прокофьевне был об эту пору всего двадцать первый год. Из приближенного к царской семье роду Соковниных, семнадцати лет вышла она замуж за пятидесятилетнего Глеба Морозова, и молодое сердце ее тосковало, не изведав любви. Через год родился у нее сын, Иваша, к которому она привязалась всею душою, но и тут сердце ее не находило удовлетворения. Тогда вдруг ее взор упал на князя Терентия, и сразу словно озарилась ее томная жизнь.

Она на время отдалась мечте и не боролась со своим чувством, наслаждаясь нечаянною встречею в узком дворцовом переходе, тишком наблюдая, как вспыхивает лицо князя, но скоро мысль о грехе заслонила на время ее чувства, и она приказала своему верному слуге Ивану провести князя в сад.

Вся трепеща, не зная твердо, для чего звала она князя, сошла боярыня в сад. Да не знала она силы молодой любви, не знала своей горячей крови, и суровые речи ее и упреки иногда звучали ласкою. Корила она князя, а сама любовалась им; бледнела, но слушала его пылкие речи и раза два коснулась его рукою, а наедине со своими думами, в грешных мыслях и целовала его, и обнимала.

Окаянный тешился над нею, а ко всему еще верного ее духовника, протопопа Аввакума, услали в далекий Тобольск за его крепкую веру<sup>[54]</sup> — и некому было отогнать лукавого.

Ядом напитывалась молодая душа и вдруг прозрела.

Сидела боярыня у колыбели своего сына Иваши и думала о своем любимом князе, как вдруг ребенок заплакал, да так горько, так жалобно, словно сиротинка.

В другой раз думала о том же князе боярыня, как вдруг вошел в терем сам боярин, тяжело опустился на кресло и сказал:

— Федосьюшка, что это мне вдруг стало так-то недужно, беда! Словно кто за горло душит! — и с этими словами он торопливо отстегнул ворот рубахи, а лицо его все налилось кровью.

И, наконец, в третий раз, вот сегодня. В царицыном терему повстречались они с женою Терентия. Грустная она такая, нерадостная.

Царица спрашивает:

— Что, Дарьюшка, какая ты смутная? Али муж не любит?

Она опустила голову низко-низко и ответила:

— Нет, государыня, всем довольна!

Сердце вжалось у боярыни. Как могла она помыслить такое скаредное да еще радоваться! Бесов тешила! Люди в скорбях и слезах, кругом горе, а она еще множить его себе на потеху хотела; душу геенне огненной готовила!... И, не помня себя, она наказала брату звать к ней князя.

— Все скажу ему, все! — шептала она, идя к своей светлице, и потом молилась: — Не введи мя во искушение, но избави от лукавого!

В горницу вошла девушка и тихо сказала:

— Пришел!

Боярыня быстро выпрямилась.

— Где?

— В моленной!

Боярыня широко перекрестилась и твердой поступью пошла из горницы.

Князь задрожал, услышав шелест платья, и радостно рванулся боярыне навстречу, но едва взглянул на нее, как остановился смущенный.

На лице боярыни не светилась радость; оно было серьезно и торжественно; глаза ее смотрели скорбно и вдумчиво, и едва войдя, она тихо сказала:

— Прости, князь, что зазвала тебя. Дело есть!

Это так мало походило на любовное приветствие, как самая моленная не соответствовала месту свидания, и князь только смущенно взглянул на боярыню, а та, дойдя до аналая и положив на него белую руку, заговорила:

— Великое дело, князь! О спасении моей и твоей души! Протопоп Аввакум много раз говорил мне про лукавого. Он-де всяко уловляет души наши: и лукавством, и притворством, и жалобой, и всяко тщится нас с пути сбить, а Христос, батюшка, то видит и горько плачет. А он, лукавый, манит нас телесными прелестями, и златом, и честью, и слабые, забыв про душу, идут в его сети, как глупые перепела к охотнику. Вот, князь, — торжественно сказала она, — то же и с нами было! Кабы не одумались мы, уловил бы нас в тенеты лукавый и не

было бы нам, окаянным, прощения! А ныне одумалась. Для чего перед Господом клятву супругу давала, для чего Господь по моей молитве послал мне в утеху сына? Его ли отрину, когда сука — и та о щенятах своих печется. И ты, князь, тоже. У тебя молодая жена, дюже красивая, а я ей разлучницей стану? Простимся, князь! — окончила она тихо.

Князь даже пошатнулся от ее речей. Холодный пот выступил на его челе, и голова закружилась. Ведь всю свою душу он положил в любовь эту. Что жена? Что клятвы? Что геенна огненная? Он обрек себя на всякое мученье!

И князь со стоном повалился на колени и поднял руки. Боярыня тихо отодвинулась и скорбно покачала головою.

— Не убивайся, князь! Того ли убиваться, что от окаянства отступились, блудом не согрешили, беса не утешили? Радоваться тому надо! Каждому от Господа крест свой!

И речь ее полилась плавно, тягуче, зажурчала, что ручей.

Она говорила о своем окаянстве, о грехе, который всю жизнь замаливать теперь надо, о клятвопреступлении, разбитых сердцах и усталых душах.

И, слушая ее, Терентий понемногу проникся ее настроением, и ему стало больно и горестно за свое окаянство.

Истинно говорил про боярыню Борис Иванович после беседы с нею: «Наслаждался я паче меда и сота словес твоих душеполезных!»

А речь ее лилась. Она заговорила о новом времени, готовящем всем верным испытания за веру в Господа. Твердость нужна, чистота духовная, ибо грядет антихрист.

— Смотри, сколько верных уже приняли мученья. Неронов бит шелепами<sup>[55]</sup>, с цепью на шее, аки пес, дыне в темницу ввержен, Аввакум в Тобольске крест несет в холоде и голоде, а впереди много их, много, и всем Господь уготовит сан ангельский!...

Лицо ее горело, глаза пророчески смотрели вдаль, она словно выросла.

— Время ли предаваться блуду и окаянству, когда скорбь кругом. Там война, и кровь льется, там глад, хлад и болезни, всюду плач и стенания, и готовится всем скорбь великая! Так-то, княже, — окончила она вдруг усталым голосом, — будем прямить друг другу и честью расстанемся.

— Твоя воля, — покорно ответил князь и, поклонившись до земли, вышел из моленной.

Боярыня долго смотрела ему вслед. Потом лицо ее озарилось улыбкою торжества, и она с чувством сказала:

— Благодарю, Господи, что пособил осилить лукавого!

И, упав на колени, она с жаром начала отбивать поклоны, ударяясь с силою нежным лбом о деревянные доски.

А князь медленно ехал на коне домой, и в душе его было пусто, как в склепе. Недавняя радость сменилась гневом и горестью, потом умиление и раскаянье вошли в душу, а теперь... И князь скорбно опустил голову на грудь, не видя ничего ни вокруг, ни перед собою.

Умный конь сам без поводьев шел по извилистым улицам Москвы прямо к дому, и князь очнулся только тогда, когда стремянный принял его коня под уздцы.

Князь сошел на землю и медленно прошел в свои горницы.

## ХІ ОКО ЗА ОКО

Почти в одно время прибежали к Сычу Мирон с Акулиною и Панфил.

— Ты откуда, песий сын? — воскликнул Мирон, увидев холопа в изодранной рубахе и с окровавленным лицом.

— Оттоль же, откуда и ты, — угрюмо ответил Панфил, — ишь, как меня боярин употчевал.

Мирон подозрительно посмотрел на него.

— Не с твоей ли охоты?

Панфил изумился.

— Белены я, что ли, объелся? Как это он меня саданет. Рраз! Сказывай, гыт. Я его на двор, а сам в бега. Слава Господу, не поймали.

— А то?...

— Кожу бы снял, — угрюмо ответил Панфил и, обратясь к Сычу, сказал: — Старичок, дай рожу обмыть!

Старый Сыч прищурил свой единственный глаз.

— Думаешь, краше будешь, — усмехнулся он, — ты погляди, как надулась-то! Мази тебе, мил человек! — с убеждением заявил он. — Пойдем, что ли.

Мирон взглянул на Акулину и покачал головою.

— Думал, что он нас предал, а нет. Кому ж бы?

Он задумался, но через минуту потрянул головою.

— А! бес с ним! Ну, рада, лебедушка? — он ласково посмотрел на Акулину. Та вспыхнула и горячо обняла его.

— Везде за тобой пойду! В огонь, в воду води. Холопка я твоя, кабальная!...

— А боярин понравился? — усмехнулся Мирон. Акулина грозно выпрямилась.

— Чтобы сдох он, старый пес, — злобно произнесла она, — греховодник! Сколько он душ загубил. Возьмет из застенка, да и в любовницы себе, а жену насмерть бьет. Я бы ему! — И она так выразительно вытянула свои сильные руки, что боярин Матюшкин, увидя ее, замер бы от страха.

— Небось, — сказал, входя в горницу, Панфил, — он и от меня попомнит!

Мирон приветливо кивнул ему головою.

— Садись, Панфил, вместе чару выпьем. Я, признаться, думал — ты нас боярину выдал, да, вишь, прошибся. Эй, Сыч, давай вина, пока гостей нету!

Сыч тотчас поставил чарки и красулю<sup>[56]</sup> и сам подсел ближе.

— Взяли-то кого? — спросил он.

— А всех! — ответил Мирон. — И Ермила, и Сеньку, и Федьку.

— Хорошие ребята! — покачал головою Сыч.

— Вот уж дознаюсь, что с ними. Ночь придет — выберусь, — сказал Мирон и прибавил: — Наше дело такое: из честного пира да на виселицу!

Панфил усмехнулся.

— А я на виселицу не пойду!

— Поволокут волоком. Ну, пей, что ли, а там и поспать малость надо!

В это же время в страшном застенке перед самым боярином стояли Косарь, Неустрой и Шаленый. Тимошка с мастерами готовил дыбу и следил за железными щипцами, что накаливались в горне, и тут же вертелся рыжий Васька, которому в награду боярин разрешил впервые участвовать в работе.

— Ну-ну, соколы, — сказал боярин после целого ряда вопросов, на которые все трое хранили упорное молчание, — не хотите говорить

с боярином, поговорьте с плетью. Нукась, Тимоша!

Тимошка грубо схватил за плечо Неустроя и дернул его к дыбе.

Начались мученья, мученья, которых уже не в силах теперь представить самая пылкая фантазия!

Матюшкин слушал стоны и ухмылялся.

— А, песьи дети, умели воровством заниматься, умейте и ответ держать! Я вас, окаянных, огнем еще! Ну, ну, Тимоша!...

И Тимоша старался.

Прошло три дня. В глухую полночь к калитке рапаты подходили люди поодиночке и по двое и трижды ударяли кольцом.

Калитка растворялась, кто-то в темноте держал за цепь рычащего и рвущегося злого пса и, впуская посетителя, говорил тому:

— В баню!

Посетитель переходил двор, обходил рапату, из которой еще слышались пьяные голоса гостей, и шел прямо к одинокому строению на задах дома.

Там он снова стучал и входил уже в горницу, где за столом, при свете лучины, сидели люди всех цветов и возрастов и пили.

Во главе стола сидел Мирон с Акулиною, неподалеку Панфил; сидели в сермяжных зипунах и тонкого сукна поддевах, просто в пестрядных рубахах и в купеческих кафтанах, с широкими шарфами вместо пояса.

— Ты возьми, — говорил мещанин с жаром старику в суконной однорядке, — теперь аршин свой удумали, весы. А для чего? Чтобы с нас, голова, алтыны тянуть!

— Чего? — вмешался другой. — За то, что скотину из реки поишь, берут, подать дерут!

— Опять. Ты, говорит, взял пятак, а чти его за рубль. А подать неси рублем настоящим. Это что ж? — И купец, сказавший это, развел руками.

— А все ж погодить надо, — авторитетно заявил Мирон, — царя нет. Что без царя толку? Народ поднимем, а кому жалиться?

— Без царя нельзя! — согласились все.

— Теперь Морозова, дядьку, посадили в совет, Хилкова, а они что ж? Те же воры!

— А по приказам что! — воскликнул мужичонка. — Какое! Брательку моего на правеже о сю пору держат. Ну, побей и брось! А



они третью неделю! Нешто выбьют!

— Подожди, уж мы выбьем! — усмехнулся его сосед.

— А теперь вот что, — сказал Мирон, — на что званы. Нынче утром наших трех казнить будут. Так отбить их.

— Это что же... можно, — заговорили кругом.

— Вот и надо! — продолжал Мирон. — Мы, значит, пойдем и в круг станем. Как это их приведут, сейчас пожар кричите и смуту делайте, а я тут уж управлюсь! Дружно только.

— Знаем, не учи! Что это ноне Сыч лениво вино носит.

— Приказные у него закурили, — объяснил Мирон, и минуту спустя беседа полилась снова о непорядках, податях и всяких утеснениях.

Сразу нельзя было разобрать, что за народ собрался на эту сходку: просто недовольные люди или разбойники, каких тогда на Москве было до того много, что людей убивали прямо на улицах.

Уже в рапате смолкли пьяные голоса и гости, бранясь и толкаясь, ушли из нее по своим домам. Сыч и мальчонка спали в горнице, и две размалеванные бабы, положив головы на залитые вином столы, оглашали храпом унылое помещение, когда люди, сидевшие в бане, обменявшись последними словами, стали тихо поодиночке выходить на улицу...

Рано утром дьяк Травкин, стоя посреди двора разбойного приказа, читал приговор, скрепленный временными правителями, Ермилу Косарю, Семену Шаленому и Федору Неустрою.

— А также за разные скаредные и воровские дела тем вора, Ермилу, Семену и Федору, правые руки отсечь и, кнутом бивши, в Сибирь послать, дабы вперед теми делами скаредными не занимались.

Ермил, Семен и Федор со скрученными за спину руками, босоногие, в окровавленных портах и рубахах, с обезображенными лицами и опаленными волосами стояли потупив головы.

— Исповедаться хотите? — спросил их дьяк.

— Хотим, — хрипло ответил за себя и товарищей Семен.

— Идите!

Их привели в воеводскую избу, где у аналая стоял поп в епитрахили.

А тем временем ворота скрипя отворились и из них выехали телеги, нагруженные всеми приспособлениями для казни.

На бортах телеги в красных рубахах сидели три заплечных подмастерья и Тимошка.

Скоро приговоренные вышли на двор. Их окружил небольшой отряд стрельцов, и шествие тронулось на Козье болото в сопровождении дьяка.

Едва застучали топоры на поле, где мастера расположились расстилать помост и ставить кобылу (толстое бревно на четырех подставках с кольцами для поручней), как со всех сторон стал стекаться народ, охочий до зрелища, а тем более кровавого.

— Кого казнить будут? — спросил молодой парень у подмастерья.

— Дяденьку твою да тебя впридачу!

— Тьфу, оглашенный, — сплюнул парень, — чтоб у тебя язык отсох!

— Нам бы руки только, — засмеялся другой палач.

— Эй, красная рубаха, — закричал голос из толпы, — когда тебя вешать будут?

— За тобой следом! — ответил весело палач, вколачивая в помост последний гвоздь.

— Ведут, ведут! — слышались голоса, и толпа разом обернулась спиной к палачам и разделилась надвое.

Осужденные шли, понутив головы и искоса бросая по сторонам взгляды. Вдруг у самого эшафота толпа так плотно сбилась, что стрельцы невольно отодвинулись; в тот же миг над ухом Федора раздался ободряющий шепот:

— Гляди в оба, Неустрой. Свои не выдадут!

Федор сразу выпрямился и толкнул своих товарищей. Их ввели на помост к плахе, и дьяк снова начал читать приговор, но в это время сзади раздался крик:

— Пожар!

В ту же минуту толпа, теснимая кем-то, кинулась через помост к реке. Все смешалось. Тимошка неожиданно получил страшный удар в грудь, стрельцы, сбитые в сторону, не могли соединиться, а брошенный на помост дьяк сипло орал:

— Держите! Ловите! Воры!

В этой суматохе невидимый нож разрезал веревки на руках осужденных, на плечах их очутились кафтаны, на обнаженных головах

шапки, и они тотчас замешались в толпу, которая с воплем валила за Москву-реку.

А там, расстилаясь по небу черным облаком, клубился дым над разгоревшимся пожаром, который охватил дома на Балчуге, подле Китай-города.

## **XII В ПОХОДЕ**

Князя Петра Теряева все занимало в походе, и он рвался скорее увидеть врагов и сразиться с ними. Когда он только слушал рассказы воинов, вся кровь в нем закипала и он до половины обнажал свой меч. Выехал он из Москвы в длинной веренице дворянских и боярских детей, которые в то время служили при царе чем-то средним между адъютантами и курьерами. Царь в походе поручал им и передать приказание тому или другому начальнику, и скакать порою из-под Смоленска или из Вильны с грамоткой к патриарху.

Из огромной кавалькады, человек в двести — триста, князь Петр знал очень многих и сейчас же сблизился с ними. Все они были почти ровесниками, все большей частью из московских дворян и все впервые были в походе и рвались в бой.

Время было военное. С 1612 года почти без перерыва шли войны: то с поляками, то с крымцами и татарами, с башкирами; на рубежах были непрерывные схватки, умирляли бунтовщиков, ловили разбойников.

В войске было немало старых вояк, бывших не в одном походе, и вот на остановках они собирали вокруг себя молодежь и рассказывали им про жаркие битвы.

Разгорались тогда у юношей взоры, руки сжимали рукояти сабель, и так бы и полетели они в бой переведаться с ляхом.

Поезд двигался с необыкновенной пышностью и медлительностью. Царь ехал то на коне верхом, то в колымаге, порой в дороге развлекался соколиного охотою и все время весело шутил со своими боярами.

К вечеру, выбрав просторное место, останавливались на ночлег.

Воздвигался царский шелковый алый шатер с пятью главами, в десяти саженьях от него разбивали шатры ближние бояре кругом, далее, шагах в десяти, ставили шатры иным боярам, тесным кольцом

становилась вокруг стража, а там раскидывались палатки, просто копались ямы, устанавливались возки иных всех людей, и пылали костры, готовился ужин, и шла бражна до самой до полуночи. Но царь был умерен в еде и питье.

Он любил тихую, мирную беседу, любил веселую шутку, молодецкую потеху и, позабавившись, отсылал всех на покой, а сам потом садился писать письмо Никону патриарху, без чего не мог провести одного дня.

Бывший смиренный кожеозерский игумен совершенно подчинил себе молодого царя, который считал его вторым отцом.

В первую же остановку царь за трапезой благодушно сказал Теряеву:

— А что же, князь Михайло, ты мне сына-то своего не кажешь? Али не взял его с собою?

Князь поклонился земно царю и ответил:

— Ждал, государь, твоего слова ласкового. Повелишь позвать, в ту же минуту явится. Нам ли, твоим холопам, это не счастье?

— Веди, веди, — сказал царь.

Князь бросился из палатки за своим сыном.

Царь не ждал видеть такого красавца. С лицом ясным, как месяц, молодой и смущенный, богатырь по сложенью, князь Петр опустился перед царем на колена и крепко бил ему челом, звеня своею кольчугою.

— А и, князь, — с улыбкою сказал царь, — и такого молодца от меня прятал! Встань, сокол, подойди к руке! — И он милостиво протянул молодому Петру свою пухлую руку, которую тот накрепко поцеловал.

— Красавец! совсем витязь! Ну, княже, при мне будешь! Брат твой был мне постельничим, теперь ты будешь. Эту ночь со мною спи!

Князь— отец земно поклонился царю, слыша про такую милость к его роду, а царь ласково ему сказал:

— Истинно ты царский слуга, что даешь ему таких молодцов! А наемдни твой Терентий мне письмо отписал. Таково-то ладно составлено. Ума палата! А этот, видно, в силу пошел.

Морозовы сумрачно переглянулись между собою. Уж не новый ли приспешник им на шею? Царь ласков и милостив, полюбив, ничего для любимого не жалеет. Вот хоть Никон! Словно сам государь, такую власть забрал себе в руки.

— Не бойсь, — с усмешкой сказал им Милославский, — Теряевы не такие! В жизни не лукавили и ничего от царя, кроме ласки, не ищут. Не то что мы, грешные, — усмехнулся он в бороду.

Царь ушел в опочивальню вместе с Петром и, возлегши на свою постель, долго беседовал с ним.

Сначала так его про все расспрашивал да вдруг нечаянно узнал, что Петр ловок в соколиной охоте — и разгорелся весь сразу.

Ничто для царя не было милее этой охоты.

Сотни соколов держал он у себя в Коломенском, из далекой Сибири с великим бережением везли к нему соколов и кречетов, и в заботе о них он часто забывал государственные дела, как теперь забыл про поздний час.

И Петр любил эту забаву. Под Коломною и у него с отцом было немало соколов. Знал он все их повадки, каждую приметку хорошего охотника. Умел учить сокола, и лечить его, и беречь, а случаев занятных у него было не меньше, чем у царя.

— Ужо, ужо, — говорил ему царь, сидя на постели и широко смеясь, — покажу я тебе своих соколов. Подивишься! Здесь с собою не взял любимых, боюсь, не уберегут, а как вернемся с Божьей помощью, покажу тебе свою охоту.

— Ты к нам, государь, я тебе своего налета покажу. По десяти цапель бил — вот! Налетит, раз ударит и прочь! А чтобы когтит когда, ни в жизнь!

Он говорил с царем, совершенно забыв разницу лет и положений, и царь, строгий к этикету, даже не заметил его непочтительности к сану.

— Каждую ночь чтоб со мной князь Петр ночевал, — отдал он приказ на другое утро, и все дивились такой милости.

День за днем, хотя и медленно, сокращалось расстояние, и царь приближался к Вязьме, где ожидало его все войско, с князем Трубецким во главе.

На огромной равнине раскинулось оно боевым станом. Крутом на несколько верст пестрели палатки, стояли возы, длинными рядами тянулись коновязи и, словно сказочные чудовища, стояли длинные пушки на десяти, двенадцати и шестнадцати колесах. В середине стана высились четыре палатки князя Трубецкого с хоругвью, данной в поход самим патриархом.

— Что ж это, — ворчал каждый день князь Щетинин, — время идет да идет. Гляди, уже две недели, как стоим!

— А тебе не терпится, — ухмылялся боярин Долматов.

— Не то! А Смоленск, поди, крепится теперь. Нам бы на него в одночасье, а тут жди!

— Войска мало!

Князь только сердито взглядывал на боярина и отходил недовольный.

Собственно, и князь Трубецкой начинал уже тяготиться бездействием в ожидании царя. Главная беда была в том, что в полках от праздности стали заводиться пьянство, ссоры и буйство.

Стрельцы начинали выказывать строптивость, своевольничать, и не будь их головы, Матвеева, никому бы не управиться с ними.

— Без тебя хоть волком вой, Артамон Сергеевич! — говорил ему князь.

Матвеев улыбался ясною улыбкою и говорил:

— Ведомо, народ озорливый, да зато и не лукавый. Все в открытку. А в бою — не будет равного!

— А как это ты с ними управляешься? — удивлялись все другие начальники.

— А правдою! Созову их в круг Так, мол, и так. Негоже! Когда усовещу словом, когда и казнить велю. Лишь бы по правде, а не в сердцах...

— Едет! — сказал раз Трубецкому высланный им в дорогу гонец.

Князь тотчас поднял всех начальников. Торопливо стали строить войска, выставили знамена.

Князь с Щетининым, Долматовым и Карповым выехали далеко из лагеря и стали на дороге в пыли на колени, едва завидели приближающегося царя.

Он быстро, как ветер, донесся до них на своем аргамаке, соскочил с коня и дружественно облобызался с военачальниками.

— Что, заждались? — весело спрашивал он, окруженный ими.

— Твоя государева воля, — ответил князь Щетинин, — а боимся, что ляхи зело укрепились в Смоленске.

— Выбьем! — уверенно ответил царь и весело взглянул вперед, где вся равнина словно поросла блестящими копиями и алебардами.

— Экая силища у нас, да во славу Божью Смоленска не взять! — смеясь, снова повторил он и сел на коня.

Едва приблизились они к лагерю, как раздались приветственные залпы из пищалей, заиграли трубы, загудели барабаны, зазвенели литавры и, покрывая этот шум, вся равнина огласилась криками радости.

Вяземцы стояли на коленях, держа на головах блюдо с хлебом-солью и золотыми монетами.

Царь был доволен и весел.

— Ну вот, отдохнем, да и на ляхов, — говорил он своим нетерпеливым полководцам, — а успех нам будет. Патриарх за нас молится...

Ему отвели помещение в самой Вязьме, и в городе на радостях видеть царя жгли смоляные бочки, угощали нищих и поили ратных людей.

В Вязьму друг за другом прибыли и наемные войска. Генерал Лориан привел с собою 1000 пехотинцев, генерал Спемль 1500 конных драгун да Кильзикей 1000 гусар на великолепных конях, в отличном вооружении.

— Милости просим, — встречал генералов радушно царь, — будем вместе бить ляхов, только одно прошу, не затевайте ссор промеж собой!

И потом наедине он говорил то же князю Трубецкому:

— Пуще всего этого двоедушия не терпи. Быть без мест сказано, и как кто супротив тебя будет, мне говори! А то не будет ладу, как при батюшке под Смоленском!

Через три дня войско выступило в поход.

Давно в Вязьме не видали такой несметной, такой грозной рати. Конные, пешие стройными рядами шли, шли и шли, один полк сливаясь с другим, и, кажется, конца не виделось этой лавине вооруженных людей. И лица у всех горели одушевлением.

Наконец — то их ведут после долгих роздыхов и проволочек прямо в бой на ляхов, которые в ту пору были так же ненавистны русскому, как ныне французам немец.

### **XIII ПОД СМОЛЕНСКОМ**

Царь захотел первым увидеть Смоленск и ударил плетью своего коня. За ним понеслись военачальники, Морозовы, Милославский, Теряев с сыном и целый отряд боярских детей. Царь въехал на высокий курган крутого днепровского берега и осадил коня. Яркое горело утреннее солнышко, весело освещая окрестности, золотыми иглами сверкало оно в водах Днепра, но и под его веселыми лучами огромный Смоленск казался угрюмым и мрачным, великим и грозным, как старый воин, покрытый рубцами и шрамами недалеких битв.

Окруженный окопами и рвами, далее — рядом городков, еще далее высокой каменной стеной с башнями и бойницами, стоял он неуклюжий, широкий и грозно безмолвный.

Так и чувствовалось, что там, за стенами, здесь, в городках и окопах, притаилась немалая сила. Дай знак, и засверкает из окопов огонь, из бойниц и башен полетят смертоносные ядра и земля задрожит от грохота пушек.

Царь долго безмолвно смотрел на город, потом отыскал глазами князя Теряева и спросил его:

— Помнишь, князь, места эти?

Князь тяжело переводил дух от волнения.

— Мне ли не помнить, государь, — глухо ответил он, — этих мест. Вот словно бы сейчас переживаю все день за днем.

И, указывая плетью на окрестности, он стал рассказывать, где были наши окопы. Вот здесь стоял Шеин, здесь Измайлов, на этом холме Прозоровский, а здесь фон Дамм и Лесли. Мертвой петлею окружили город, брешь в стене уже пробили, напасть бы и взять!... Уже торжествовали победу, и вдруг — помощь... Явился Сигизмунд со своим войском... Сразу все...

Вот был день, когда поляки в город пробились!... Днепр потек кровью, а не водою, земля дрожала, убитые лежали грудами, и за ними бились поляки, и все переменилось. Стали наших теснить. Одно за другим оставляли мы свои укрепления, сбились все в одну кучу... мороз, голод, позорная сдача...

И при этих тяжелых воспоминаниях слезы выступили на глазах князя Теряева.

Все ему вспомнилось.

Ох, Смоленск, Смоленск, горемычный город земли русской, в боях иссеченный боец! Много ли еще городов таких, как ты? Вся твой



жизнь кровью записана на страницах истории. В тяжкое смутное время, стоя на рубеже меж Русью и Польшей, переходил ты из рук в руки всегда после кровавого боя, всегда обращенный в пепелище, залитый весь кровью. Недолго потом оставался ты в руках русских: взяли тебя снова поляки, несмотря на геройскую защиту Шеина. Вскорости тот же Шеин пришел за тобою и громил твои стены, морил голодом твоих защитников, проливая потоками кровь русскую и поляков. Царь Алексей отнял тебя и закрепил навеки за Русью.

Сто пятьдесят лет цвел ты, рос и украшался, пока не наступил страшный двенадцатый год, и снова ты был обращен в развалины и пепелища, и снова залился кровью...

И нет в черте твоей пяди земли, не напоенной кровью своих и врагов.

Слава тебе, железом и огнем крещенный Смоленск! Царь поднял голову и глухо спросил князя:

— Что же, не изменник Шеин, если он до самых стен дошел и остановился?

— Нет, — твердо ответил князь, — всегда он прямил царю своему, а тут замешкался, да и рознь вокруг, свара промеж начальников. Строптив был боярин и на Москве врагов имел много!

Царь кивнул головою.

— Нет ничего хуже розни! — тихо промолвил он и прибавил, набожно крестясь: — Упокой душу, Господи, раба твоего Михаила!

Князь следом за ним перекрестился.

А тем временем войско уже приближалось, наполняя воздух гулом словно отдаленной грозы.

На стенах Смоленска замелькали черные точки. В воздухе чувствовался бой. Коршуны и вороны стаяй кружились над равниною.

К князю Трубецкому то и дело подъезжали начальники частей, и он отдавал им приказания, как размещаться.

— Сегодня совет соберем, — сказал царь, — и поведем осаду.

Все разъехались устраивать свое временное жилище.

Князю Теряеву Антон со своим отрядом уже разбил палатку.

Князь вошел, помолился на красный угол и тотчас лег на войлоки, насланные для постели. Через несколько минут в палатку вошел ясный как день, радостный Петр.

— Вот и повоюем! — сказал он весело. — А то все охота да охота!

Отец взглянул на него и тихо улыбнулся.

Вот таким же юношей он был, может быть, даже на этом самом месте. Так же рвался в бой, тем же пылом горела его душа. И где все это?

Яркой картиной встали перед ним воспоминания пережитого. Богатырь Эхе, Антон, Мирон, бедный Алеша, сложивший в бою свою бесталанную голову, и, наконец, загубленная Людмила.

Он тяжело перевел дыхание.

— Батюшка, — ласково промолвил Петр, опускаясь подле отца на колена, — чего закручинился?

— Так, сын, молодость вспомнил; бури пережитые

— Скажи, батюшка, про свои битвы.

Князь тихо усмехнулся.

— Тебе все давно Эхе пересказал, — ответил он и прибавил:— Сходи, погляди, хорошо ли наши молодцы устроились.

Петр послушно встал, взял плетъ в руки и вышел из палатки.

У входа поджидал его Кряж. Его усатое лицо сияло радостью.

— Чего ты такой радостный? — спросил его Петр.

— А как же иначе-то. Теперя, значит, беспременно в бою будем!

Петр кивнул ему головою.

— Где наши стали?

— А пойдем, государь, я доведу!

Они пошли по лагерю. Войска не успели еще установиться, и всюду кипела работа. Стрельцы устанавливались своим обычаем: ставили четвероугольником обоз: длинные телеги со съестным и боевым припасом, а в середине правильными рядами выстраивали свои палатки, землянки и шалаши из ветвей и сучьев. Стрелецкий голова Артамон Сергеевич сам ходил по лагерю и то бранился, то шутил, то подгонял ленивых, а тем временем в больших котлах уже варилось пшено для горячей похлебки.

— Князю Петру здравствовать! — весело сказал Матвеев, увидев Теряева.

Петр поклонился ему в пояс.

— Куда путь держишь?

— А вот посмотреть, как наши молодцы устроились.

— Добро, добро, — похвалил его Матвеев, — первое дело о малом человеке подумать, о холопе своем. Все мы холопы перед Господом Богом! — строго окончил он и прибавил: — Коли удосужишься, зайди, покалякаем!

— Спасибо на ласке! — ответил Петр и пошел дальше.

Гусары и драгуны устали длинные коновязи и чистили своих коней.

Другие устанавливали палатки, варили пищу, а иные, лежа на земле, беспечно играли в зернь.

— Сюда, государь, вот мы! — сказал Кряж.

Они завернули на пригорок и очутились в небольшой ложбинке. На сочном лугу журчал светлый родничок. Большим полукругом были поставлены кони, и уже стоял десяток деревянных просторных шалашей.

Посредине луга в вырытой яме горел яркий костер, над ним качался медный котел, а вокруг него сидели холопы-ратники. Они были одеты все по одному образцу: в толстых кожаных латах, в железных налобниках и высоких сапогах из сыромятной кожи. У каждого висел короткий меч, за поясом торчал нож и висел у кого топор, у кого кистень или шестопер, да, кроме того, при коне стояла пика. Один из трех имел, сверх всего, пищаль с козлами для прицела.

— Хлеб да соль! — сказал князь, входя в круг.

Холопы тотчас повскакали со своих мест.

— Здравствовать тебе, государь! — гаркнули они.

— Сидите, хлебайте! — остановил их ласково Петр и сел на поданное ему высокое седло.

Холопы снова сели к котлу. Петр знал многих в лицо по своим играм и забавам.

— Что, Кузьма, рад? — спросил он высокого сухого парня с рыжими усами и бородой клином.

— И очень! — ответил Кузьма. — Дома теперь что? Ни охоты, ни другого какого занятия, а тут ляха бить будем!

— Будем! — усмехнулся Кряж. — Я себе зарок дал на десять душ.

— Нешто у них душа, — отозвался старый холоп, — они все схизматики <sup>[57]</sup>.

Радостное оживление царило во всем лагере. Всякий понимал, что теперь дошли до цели и начнется настоящее дело.

— Сегодня совет, — говорили дворянские и боярские дети, — завтра, может, и бой!

— Не, — отвечали осведомленные, — казаков ждать будем.

— А чего их ждать?

Такой же разговор поднялся и на совете в ставке князя Трубецкого, куда пришел и царь. Князь стоял за то, чтобы ждать прихода казаков, но тому сильнее всех воспротивился Щетинин.

— Что нам, — говорил он, — Шеина повторять, что ли! Ждать, ждать! А чего ждать, коли нас силища такая. Окопаемся, наставим пушки, дня два постреляем, а там и с Богом! На стены!

И его мнение одержало верх. Царю понравилась его смелость. На совете решено было с утра начать возводить окопы и устанавливать орудия, чтобы бомбардировать город.

#### **XIV В НЕПРЕСТАННОМ БОЮ**

Через три дня были установлены пушки и насыпаны крутые валы. Царь осмотрел все снаряжения, причем князь Щетинин давал ему объяснения. Длинные, неуклюжие пушки того времени требовали за собою много хлопот. Десятки пушкарей стояли возле каждой, под началом главного пушкаря.

— Благослови, государь! — сказал после осмотра боярин Долматов, низко кланяясь царю.

— Что же! Начнем, боярин! — весело ответил государь. — С которой?

— С этой! — ответил боярин. — Самая громадная у нас!

И они подошли к огромной пушке длиною в добрые две сажени.

Пушкарки тотчас захлопотали подле нее. В узких мешках они засовывали в жерло ее зелье (порох) и загоняли его туда банниками, потом заложили сверху паклею и закатали ядра. Затем из совка насыпали зелья в затравку так, что оно горкою возвышалось на пушке.

— Куда ж палить будешь? — спросил царь у пушкаря.

Тот стал на колени.

— У меня, государь батюшка, на башню наведено!

— Ну-ну!

Пушкарь зажег фитиль на длинной палке и стал сбоку к пушке, вытянув руку.

Вспыхнул огонь, все окуталось дымом, и раздался оглушительный гром выстрела.

— Сторонись! — закричал пушкарь, в то время как огромная пушка, вследствие отдачи, откатилась назад.

— Недолет! — сказал боярин.

— Стой, я сам направлю! — сказал царь и, сойдя с коня, подошел к пушке, которую с криком пушкари волокли на место.

Со стен Смоленска показалось белое облачко и сверкнул огонь.

— Заговорили! — пробормотал пушкарь, и канонада началась.

С той и другой стороны гремели выстрелы и летели ядра.

Князь Щетинин и бояре так направляли свои выстрелы, что они все били в одно место, в высокую башню, что стояла над главными воротами, и в самые ворота. Поляки старались сбить наши орудия.

В Смоленске не ожидали так скоро приближения русских, а впрочем, все равно помощи для него быть не могло. На юге казаки, а в самой Польше шведы отвлекали все главные силы.

Воевода пан Мышицкий решился до времени только отбиваться, думая, что, может, русские и минуют его, а то и подоспеет кто из своих, и вяло отстреливался со своих стен.

Три дня неумолчно грохотали пушки.

— Господи, да когда же бой будет! — с сокрушением спрашивали Петр и другие молодые люди.

— Подождите. Вот пойдем на приступ, тогда и бой! — утешали их старики.

Молодежь для лихости подъезжала под самые стены Смоленска и перебранивалась с панами в красных кунтушах, которые гуляли по стенам, когда ослабевала канонада.

— Пора, пора, государь, — уговаривали царя на приступ, но он еще не решался.

Однажды утром в ставку Трубецкого прибежал запыхавшийся конник.

— Князь, на нас рать идет! — сказал он.

Князь вскочил с лавки.

— Откуда? Чья?

— Оттуда! Видно, поляки. Все на конях! — ответил испуганный конник.

— Коня! — приказал князь. — Кличь стрелецкого голову, да Щетинина, да Кильзикея сюда!

Он уже распоряжался, выстраивая войска. Царь выехал на коне.

— Что приключилось?

— Бают, помощь ляхам идет! Рать! — торопливо ответил князь, отдавая приказы.

— Пусть вперед идут драгуны да разведают, и мигом назад! Мы их встретим! Боярин, пушки-то картечью набей!

Петр сиял радостью и всем встречным весело говорил:

— Ужо порубимся!

Но для него наступило быстрое разочарование. Назад скакали драгуны, а с ними какие-то сзади в алых жупанах, и над ними веял бунчук.

— Да это казаки! — воскликнул царь и весело засмеялся.

Действительно, это были казаки — сам атаман Золотаренко. Толстый, коренастый, он едва доехал до царя, как скатился с своего коня, покрытого пеной, и опустился на колени, кинув на землю свою булаву.

— Челом тебе, царь! — сказал он. — Привел тебе своих вояков и сам пришел, а в дороге для твоей царской короны взяли мы, казаки, Гомель с Быховом.

Тут он принял от есаула два огромных городских ключа и положил их рядом с булавою. Царь засмеялся и, сойдя с коня, ласково кивнул Золотаренко.

— Встань, атаман, жалую тебя к руке своей. Много ли с тобою казаков?

— Шесть тысяч, батько!

— Доброе дело! Шесть тысяч молодцов. Этак мы и Смоленск возьмем!

— А то як же? — ответил атаман. — Скажи только!

Царь обласкал атамана и звал его к своему столу. Там, после трапезы, атаман рассказал про свои победы.

Они шли, эти шесть тысяч казаков, как огонь по степи. Все, что встречалось по дороге, сметалось в прах. Гомель противился — что от него осталось? А Быховец что? они взяли его в одну ночь. Трусы эти поляки. Они как казацкий жупан увидят, так дрожат.

— Им наш батька такого страха нагнал! ух!

В то время, действительно, одно имя Богдана Хмельницкого повергало поляков в трепет.

— А не устали твои молодцы?

— А с чего, батько?

— Так завтра берем Смоленск! Князь, — обратился царь к Трубецкому, — сговоришься с кем надобно!

— Наконец-то! — вздохнули все с чувством радости...

Петр и его стремянный, Кряж, впервые пережили настоящий бой. Ночью, едва начались приготовления, Антон с суровым видом сказал Петру:

— На тебе, княже, надень чистую сорочку да испроси благословения у батюшки!

Петр хотел засмеяться, но увидел серьезную сосредоточенность на лицах и отца, и Антона — и смирился. Его самого охватил священный трепет.

— Батюшка, благослови! — произнес он, опускаясь на колени. Отец торжественно снял с шеи своей образок, который всегда носил кроме тельного креста, и поднял его над головою сына.

— Благослови тебя, Господи, и ныне, и присно, и во веки веков. Пошли тебе силы, крепости и удали! Аминь!

Он дал сыну поцеловать образ и надел его ему на шею.

Восторженная радость осветила лицо Петра. Он вскочил на ноги и крепко обнял отца.

— С Богом! — сказал растроганный князь.

— А ты, батюшка?

Князь покачал головою.

— Я нонче в бою не буду. Мое место при царе быть!

Он поцеловал сына и любящим взором проводил его из своей палатки.

Петр лихо вскочил на коня, которого подвел ему Кряж, и поехал к своему отряду.

На время боя он отпросился от царя, и князь дозволил ему встать в челе своего ополчения под руководством старого Антона.

— Береги мне его! — крикнул он Антону. Тот только кивнул головой.

— Глаз с него не спущай! — сказал он в свою очередь Кряжу, на что тот только ухмыльнулся.

— Ну, потешим, княже, свою душеньку! — говорил он весело, помахивая своим шестопером.

— В первый раз, Кряж, сердце так и замирает!

— Что в бой, что под венец, — ответил Кряж, — мне тут один стрелец сказывал: идешь — жутко, а там и не в себе. Только помахивай!

— С коней долой! всем пешим быть! — отдал приказание молодой полковник, князь Урусов.

— Вот тебе и сказ! — засмеялся Петр. — А на коне куда способнее!

— С коней долой! — слышались команды дальше, и вдруг грянула пушка. Это был сигнал двигаться. В темноте ночи двинулись войска, с трех сторон подбираясь к городу.

Петр шел наугад. Он знал, что его присоединили к стрельцам и что все они идут на главную башню, которую снова теперь громят из пушек.

Медленно, шаг за шагом подвигалась вся масса под грохот канонады, и вдруг раздался оглушительный крик ура, покрывший весь грохот, и, подхваченный словно волною, Петр понесся вперед. Ему пришлось куда-то лезть, он почувствовал, что начался бой, и закричал звонким голосом. Кто-то толкнул его в грудь, он махнул саблей и бежал дальше, спотыкаясь, падая, вскакивая на ноги, и с криком махал саблей. И вокруг слышались крики, стоны, проклятья.

Восток побелел, красною полосой означилось место восходящего солнца. Бледный свет озарил окрестности, и Петр увидел себя под стенами Смоленска; позади оставались взятые городки, где одним натиском были уничтожены слабые защитники.

Стрелецкая небольшая пушка раз за разом стреляла в толстые ворота.

Артамон Матвеев, простоволосый, с саблей, по которой текла кровь, распоряжался осадой, а сверху, со стен, сыпались камни, пищальные пули, лились смола и кипятки и с грохотом скатывались бревна, давя людей.

И опять вдруг пальба прекратилась, что-то загрохотало, и Петр с толпою очутился за воротами. Поляки ожесточенно рубились. Петр увидел толстое, красное усатое лицо, и вмиг оно облилось кровью от удара его сабли.



— Ура! — ревело кругом и несло по узким кривым улицам, как лавина.

Петр занес саблю над поляком, но тот упал на колени и с мольбою протянул руки. Петр устремился дальше.

— Ну, отдохни малость! — услышал он добродушный голос и увидел улыбающегося Матвеева. Тот вытирал рукавом потное лицо и говорил:

— Знатно рубишься! Только врагов нет уже. Паны за воротами царю ключи отдают. Город наш, хвала Богу!

Петр опустил саблю и только теперь почувствовал усталость. Солнце уже клонилось к вечеру.

Царь, держа в руке опущенный меч, в окружении ближних бояр и военачальников въезжал в город. Звонили в колокола, гремела музыка, и войско кричало ура! Радость победы охватила Петра, и он присоединил свой голос к общему крику.

Город Смоленск был взят. Наскоро уволакивали в сторону трупы, чтобы наутро схоронить их в общей могиле...

## **XV ПОБЕДЫ**

Царь пировал в Смоленске с Золотаренко и начальниками, пригласив к трапезе и многих смоленских панов, а через три дня велел войскам двинуться дальше, охваченный воинским пылом.

Эта первая удача обрадовала и ободрила его.

— Чую твое благословение, святой отче, и дерзаю! — писал он радостный Никону, и в тот же день с его грамотой скакал дворянский сын в Москву.

Победоносно двинулись русские войска.

Ничто не могло противиться их силе. Царь вошел в Литву, и друг за другом падали города: иные спешно отдавали ключи сами, иные после недолгого боя.

Сдался сильный город Полоцк, за ним Шклов, Могилев, Невель. Быстро двигалось русское войско, наводя на ляхов панику и наконец остановилось под Витебском.

Царь послал туда молодого боярского сына Хватова с требованием сдаться, но через два часа времени на стене города вместо ответа выставили срубленную голову боярского сына.

— Придется осаду делать, — сказал князь Трубецкой.

— Взять приступом! — закричал царь. — И всех вырезать до одного!

В первый раз за все время похода видели царя таким грозным. Глаза его метали искры, губы гневно выбрасывали слова, кулаки сжимались.

— Царского посла убили! Не могу простить этого! Или пусть сдаются и головы несут, или всем смерть! Завтра приступить!

— Вот то по-нашему! — радостно воскликнул казацкий атаман. — Пойду скажу своим казакам! То-то порадуются!

И войско, узнав про гнев царя и про его приказ, воодушевилось тем же чувством мести.

Утром без одного выстрела бросились войска на приступ; но осажденные оборонялись из последних сил с отчаяньем погибавших.

Два раза отбивали они осаду залпами из орудий.

Казаки осатанели.

Уже лезли стрельцы до самого гребня стены по лестницам, казаки почти выломали ворота, но вдруг новый залп сверху, валились трупы осаждающих — и смятенному войску приходилось отступать.

Ночь прекратила битву.

Царь в гневе говорил:

— Сей ли малый город нас остановит? Взять его в утро!

И князь подтвердил страшный приговор.

Трое суток бились под стенами Витебска и наконец его взяли.

Началась поголовная резня.

Петр рубился, как старый воин, когда была битва, но когда наступила страшная расправа, меч его опустился невольно.

Не воинское это дело!...

Казаки и стрельцы неистовствовали. Они врывались в дома, вытаскивали оттуда женщин, детей и убивали их на улице, предавая дома ограблению.

Вопли оглашали побежденный город, зарево пожара вздымалось то здесь, то там.

Надо было огрубеть в войнах того времени, чтобы видеть без содрогания ужасы этой кровавой мести. Петр еще не был закаленным воином и бледнея вздрагивал при каждом крике и бежал, стараясь найти где-нибудь убежище от этих невыносимых зрелищ.

Он увидел сложенную из простых камней стену и в ней растворенную калитку. Он вошел и очутился в густом тенистом саду. Этот сад показался ему светлым раем. В его тенистых аллеях было так легко и прохладно. Шум убийств доносился только смутным гулом.

Петр сел на тяжелую скамью, снял шлем, положил на скамью свой меч и жадно вдохнул полной грудью.

Он поднял глаза к безоблачному синему небу и задумался.

Как это небо, была тиха и безоблачна его жизнь. Он не знал ни волнений, ни огорчений, и счастье улыбалось ему впереди. Все любили его: и отец, и царь, и князья, и вот этот голова стрелецкий Матвеев, и дома, на Москве.

Он вспомнил про Эльзу и покраснел, как девушка. И она его любит!...

Вдруг со стороны дома раздались страшные крики.

Петр вскочил и в изумлении остановился на месте.

Легче серны прямо на него бежала молодая девушка с лицом, искаженным ужасом, и кричала:

— Ратуйте! Казаки! Папа! Мама!

За нею бежали два стрельца с обнаженными саблями. Петр быстро схватил меч в руку. Девушка увидела его и с криком метнулась в сторону.

— Держи!-хрипло крикнул стрелец, но тут же пошатнулся от толчка в грудь.

— Ни с места! — грозно сказал возмущенный Петр. — Что вы тут делаете?

— А ты что? — грубо спросил стрелец.

Петр вспыхнул.

Хамы не смели так говорить с князьями, и стрелец тут же покатился с разрубленной головой.

Другой стрелец бросился назад к дому, крича:

— Сюда! На помощь! Наших бьют!

Из дома выбежало пять человек. Лица их были исступленны, глаза сверкали, окровавленная одежда изорвана. Они с хриплым криком бросились на Петра.

Он быстро отскочил и, прислонясь к толстому дереву, начал отбивать удары. А дом уже охватило огнем, и клубы дыма вырывались высоко к небу.

— У, черт, и дерется!

— Ломай скамью! Держи его!

— Возьми пицаль! — кричали стрельцы, чувствуя, что не могут подойти к Петру, и приходя от этого в ярость.

— Я вам покажу! — кричал Петр. — Пойдите, скажу уже Артамену Сергеевичу!

— Жалься, жалься, — с еще большей яростью кричали стрельцы, — мы вот покажем тебе Артамена Сергеевича!

Двое продолжали нападать на него, а другие двое стали поспешно ломать скамью, вырывая ее из земли, чтобы ею или прикрыться, или бить Петра как тараном.

Петр изнемогал, рука уже слабо отражала удары, как вдруг он увидел чье-то лицо, заглянувшее в калитку.

— Помогите! — крикнул он. В то же мгновение в сад вбежал молодой воин в дорогом шлеме и кольчуге.

— Четверо на одного! — закричал он, с размаха поражая первого попавшегося ему стрельца. Тот упал с разрубленным плечом, а остальные поспешно бросились бежать прямо к пылающему зданию.

— Я вас! — крикнул им вдогонку молодой воин и обернулся к Петру.

— Ну, разбежались твои враги! — сказал он Петру с улыбкою.

— Спасибо, — прошептал князь, бессильно опуская руку с мечом.

— Пойди, — заботливо говорил тот, — может, ты где поранен?

— Нет, утомился только, — ответил Петр и прибавил: — Не подоспей ты, убили бы.

— Разбойники! Мало им ляхов грабить, на своего бросились!

Петр промолчал. Он почему-то не хотел говорить своему избавителю про девушку. В это время на его счастье в сад заглянул Кряж и, увидев Петра, снял свой налобник и перекрестился.

— Слава Иисусу Господу! — произнес он, подходя. — Я весь город ошарил. Думал, не беда ли, упаси Бог!

Молодой воин весело усмехнулся.

— Ну, вот и твой товарищ, я уйду!

— Как величать тебя? — спросил князь.

— Тугаев! — ответил воин и выбежал.

— Князь Тугаев, — сказал Кряж, с почтением смотря вслед убежавшему, — знатный воин! Сегодня он ляхов, как капусту, рубил!

Петр не слышал его слов.

— Кряж, верен ли ты мне? — спросил он.

Кряж даже отодвинулся.

— Али нет? — ответил он. — Прикажи только!

— Тогда, что ни увидишь, про все молчи, — сказал Петр, — здесь должна быть девица. Пойдем искать ее!

Кряж удивленно взглянул на Петра и только молча наклонил голову, при этом взгляд его упал на убитых стрельцов.

— Ах, ляхичи проклятушие, — сказал он, — каких молодцов уложили!

— Это не ляхи, а я да этот витязь! Спасибо ему: выручил, на меня четверо насели.

— На тебя? Ах я окаянный! — воскликнул Кряж, ударив себя в лоб. — И меня не было! Прости, княже, все время об руку был с тобою, а тут вдруг ты словно сгинул. Я туда, сюда. Прости, княже!

— Брось! — ответил Петр. — Пойдем девушку искать. Я ее отбивал от разбойников. Она сюда метнулась!

И он в сопровождении Кряжа пошел по дорожкам сада, внимательно приглядываясь к каждому кусту.

## **XVI ЛЮБОВЬ**

— Здесь! — вдруг вскричал он и остановился как вкопанный. И было отчего. В траве, раскинувшись навзничь, лежала прекрасная, словно дриада, молодая девушка. Белое лицо ее было недвижно покойно; черные, словно шнурочки, брови были слегка приподняты, алые губы полураскрыты, и за ними виднелись мелкие белые зубы, ровные, как подобранный жемчуг, а вокруг лица, словно сияние, лежали волны золотых волос. Она была неподвижна, и князь испугался.

— Не умерла ли? — пробормотал он, тревожно опускаясь на колени. — Кряж, добудь воды!

Кряж побежал искать воды, а Петр склонился над красавицей и, трепеща от волнения, приложил ухо к ее груди.

— Бьется! Значит, жива.

Он поднял голову и, дожидаясь Кряжа, смотрел на девушку. От разгоравшегося пожара накалился воздух и трещали загоравшиеся

деревья сада, порывами ветра иногда проносило целые снопы искр и тучи дыма; из города продолжали доноситься крики, вопли и стоны, но Петр не слышал и не видел ничего, кроме красавицы.

Кряж принес воды. Петр осторожно взял на руку и с руки брызнул на девушку. Та открыла глаза, большие, синие глаза, полные недоумения, потом в них отразился ужас, она вскрикнула и метнулась, желая вскочить на ноги, но Петр тихо удержал ее.

— Не бойся, девушка, — сказал он, — я прогнал твоих врагов. Вон лежат они, — он махнул рукой по направлению дома и прибавил: — Кто ты?

Она быстро села. Глаза ее пристально смотрели на Петра; немного спустя она, видимо, успокоилась.

— Ты спас меня?

Петр покраснел.

— Ты убежала, а я бился с твоими насильниками!

— А отец, мать, мамка? они где?

Петр смутился.

— Там! — ответил он тихо.

Она оглянулась и увидела догорающий дом.

— Там! — вскрикнула она иступленно и вскочила на ноги. — Там! — Она бросилась к дому, и Петр с Кряжем побежали за ней.

— Куда? Ты сгоришь! Туда нельзя!

Петр догнал ее и удержал. Она билась в его объятиях и кричала:

— Ах, они убили всех! Они сгорели! Папа, мама! О, я горемычная!...

Кряж растерянно смотрел на князя. Петр и сам терялся, не зная, что ему делать, и вдруг сообразил.

— Девушка, — сказал он, — их, верно, убили. Слезами не поможешь. Скажи, что с тобой теперь делать?

— Ах, я не знаю. Убей!

— Кто ты? У тебя есть родные? — Но Петр тотчас вспомнил ужасный царский приказ и смолк.

— Панна Анеля, — тихо ответила девушка, — отец мой подкоморий<sup>[58]</sup> был, пан Луговский. Мы все попрятались, и вот они вбежали, с саблями... Я бросилась от них. Ах я несчастная! — И она залилась слезами.

— Что с нею делать? — растерянно сказал Петр.

Кряж почесал затылок.

— Пожди, княже, — сказал он, подумавши, — я пойду поищу. Может, и найду, куда ее спрятать.

Петр кивнул, и Кряж ушел.

Пожар кончился, и с пожарища тянулся густой едкий дым. Спускались сумерки. В городе крики смолкли, и теперь слышался в отдалении трубный призыв.

Петр довел девушку до скамьи и опустился с нею, поддерживая ее рукою. Она была недвижима, словно статуя печали и отчаянья.

— Постой, девушка, — дрогнувшим голосом заговорил Петр, — не кручинься! Мой слуга пошел найти тебе убежище, а я тебя не оставлю. Может, у тебя есть кто родной, а?

— В Вильне, — тихо ответила она, — тетка!

— В Вильне! Ну, постой! Я тебя, может, в Вильну доставлю. Не кручинься, ясная!

В первый раз он говорил с незнакомой девушкой, но в речи его было столько непосредственного чувства, что девушка подняла на него свои полные слез глаза и улыбнулась. Словно небо открылось Петру в этой улыбке.

— Жизни для тебя не пожалею, — сказал он пылко.

В это время раздался голос Кряжа.

— Ау, княже! — закричал он.

— Сюда! — крикнул Петр.

Через мгновение появился Кряж в сопровождении худенького, маленького человечка. На голове этого человечка была бархатная ермолка, длинные пейсы болтались у него по щекам и путались с жидкой бородашкой. На нем был длинный до пят какой-то подрясник, перетянутый поясом.

Он подошел и тотчас стал быстро кланяться Петру, от чего пейсы его взлетали кверху.

— Кто такой? — спросил Петр.

— А жид, — ответил с усмешкой Кряж, — они, княже, все могут. Вот и он может ее устроить.

— Лейзер, ясновельможный пан, бедный жидочек! Я для вас, пан, все сделаю! Я люблю казаков! Уф как люблю. Я в Сечи у них жил!

— Что ты несешь? Какие казаки?

— Уф, а пан не казак? Пан — русс. Э, я люблю русса! Русс храбрый! Русс такой лыцарь! Ой, вей мир!

— Что он мелет такое? Ты можешь вот ее укрыть где-нибудь потаенно?

Еврей поднял голову, закрутил головою и, подняв руки, воскликнул:

— О, панна Анеля! Ясновельможная панна! А что пан скажет? Он скажет: подай мне Лейзера!

— Убили моего папу и маму, и всех, — с плачем произнесла девушка.

Еврей всплеснул руками

— Ой, вей мир! Какой хороший пан был, и убили! Бедный пан!

А труба гудела уже по городу, созывая отставших. Петр нетерпеливо окрикнул еврея:

— Ну так можешь?

Еврей даже подпрыгнул.

— Ну зачем не могу! Только это так страшно. Казаки придут и узнают. А! Лейзер панну держит, а царь велел всех убивать.

— Что ты врешь! Мы женщин не бьем!

— А казак бьет! Сейчас меня паф и с пистолетом на голова.

— Не болтай! Бери и прячь, — сказал резко Петр, — да покажи нам!

Девушка оставалась недвижна, словно не о ней шла речь.

— Ну а пан даст пять карбованцев? А?

— Десять даст. Прячь!

— Ну и сейчас! Пойдем, пан!

Уже было совсем темно. Петр охватил рукою девушку, но она выпрямилась и сама встала на ноги. Он взял ее холодную руку, и они пошли по извилистым узким улицам, заваленным трупами и обгорелыми бревнами. Кое-где еще дымились догоравшие здания. Изредка раздавался слабый стон раненого. Собаки с окровавленными мордами отбегали от трупов при приближении людей.

— Я не найду сюда дороги, — сказал Петр после нескольких поворотов.

— Ну я приду за паном и проведу! — ответил еврей.

— А обманешь?

— Пусть пан не даст мне карбованцев!



— Ладно!

— Я найду пана завтра и приведу! Ривка, отвори! Это я, Лейзер! — закричал он, застучав в калитку крошечного домика, и едва калитка отворилась, быстро залопотал что-то на своем языке.

— Сюда, паны, сюда, панночка! — заговорил он. — Осторожненько: тут полена везде!

Они осторожно в темноте вошли в какие-то сени, где увидели маленькую толстую еврейку с каганцом в руке.

— Сюда, сюда, — и еврей ввел их в небольшую чистую камору. — Здесь панна будет, и никто ее не увидит, — сказал он.

Был уже поздний вечер, когда Петр с Кряжем вернулись в стан и отыскиали свой отряд. Антон бросился к Петру.

— Княже, ты? Где же ты пропадал? Мы тебя везде искали, чуть город не перерыли! Князь-батюшка себя не помнит! — воскликнул он с укором — А ты, — накинулся он на Кряжа, — чего думал? Где шаты шатал?

— Батюшка! — испуганно сказал Петр и бросился в свою ставку.

Князь беспокойно ходил по шатру и, увидев вернувшегося сына, протянул ему руки. Петр бросился в его объятия. Князь победил свое невольное волнение и сказал:

— Ну слава Богу! Думал я, уж не убили ли тебя ляхи. С утра ведь пропал, а сеча была лютая. Ну, Бог миловал! Голоден, устал? Подожди, я крикну. Выпей меду да съешь кусок, а там к царю. Он тоже тревожился о тебе.

— Спасибо, батюшка, — ответил Петр, когда князь, вызвав слугу, приказал подать меду и еды.

— И я с тобой выпью! — сказал он уже весело. — Ну что, хорошо рубился?

— Ах, — ответил Петр, и лицо его побледнело, — я ничего такого не видел! Это погано!

— Что, что погано?

— Когда мы бросились в ворота и бились с ляхами, я бился не хуже иных, но потом, когда город был уже наш и стали рубить всех, всех, — я не мог! Зачем это?

Лицо князя стало строго.

— За то, что они царевы супротивники, а мы слуги царские. Нам ли думать?

— Но царь не знал, что убивали жен, девок, детей малых, старцев! Царь не видел этого, а то бы он сейчас остановил. Люди что звери стали, бегают в крови все, воют, зубами грызут. Один ухватил женщину за волосы и бежал по улице, а она билась головой о камень. Зачем это? Она ли пред царем виновата?

Лицо Петра разгорелось. Князь вздохнул и ответил:

— Не нашего разума это дело. Все у Бога во власти!

## **XVII ЮРОДИВЫЙ**

Тихо стало в Кремле с царевым отъездом из Москвы. Царица и царевны не показывались из теремов, по утрам не спешили со своих концов бояре ко двору на поклон, и эта тишина передалась и по боярским домам. У Морозовых, Милославских, Урусовых, у князя Теряева, у Щетинина, у каждого уехал кто-нибудь из дома в поход, и тихо было по всему двору, потому что женщины того времени и при мужьях вели теремную жизнь, а без них и подавно.

Но в самой Москве жизнь текла прежним порядком. Торговали, обмеривая и обвешивая; пьянствовали по царевым кабакам и рапатам; грабили и убивали прямо на улицах, как свидетельствуют о том современники, — и разбойный приказ работал вовсю, ибо князь Пронский, оставленный царем в качестве как бы полицмейстера, хотел сразу вывести всякое зло.

Тимошка— кожедер, а теперь и сын его Васька почти не выходили из застенка. Что ни день на Козье болото ехали мастера и, окруженные стрельцами, шли колодники. Рубили руки, резали уши, клеймили, секли головы, и народ глазел на кровавые зрелища, которых количество увеличивал и патриарший приказ.

Никон был неумолимым, беспощадным гонителем своих супротивников, а их день ото дня делалось все больше и больше.

Когда, ревнуя о чистоте православного учения и боголепии, Никон решил исправить священные книги, текст которых оказался совершенно искаженным, и стал вводить в богослужение согласное пение и порядок, сначала все подчинилось его воле, начиная с царя и высших бояр, но потом вдруг возгорелся протест.

Нашлись изуверы, которые увидели в его намерениях посягательство на веру, всполошились темные люди, старые попы, и

Аввакум с бешенством фанатика начал отстаивать и пение соборное, и двуперстное знаменье, и «Исуса» с одним «и»<sup>[59]</sup>. Никон не знал к ним пощады. Волоклись староверы на патриарший двор, бились там, истязались и в глазах своих единомышленников приобретали мученический венец.

Крупную ошибку творил Никон своими гонениями, но не знал середины его непреклонный характер.

И все шире раздвигалась пропасть между староверами и никонианцами, образуя раскол, впоследствии принесший такие горькие плоды. Но и в корне он не был сладок своим первоучителям и последователям.

Темны были люди того времени, и слишком искренна, пламенна была их вера.

Вот хотя бы боярыня Морозова, Федосья Прокофьевна. И молода, и красива, и знатна, а держит себя строгой постницей и молещицей. Щеки ее не знали белил и румян, не чернила она зубов, и они сверкали молочной белизной, не пила она ни медов, ни настоек в теремах у боярынь на их пирах, а все дни тратила на молитвы и дела богоугодные. Особенно в последнее время, с той поры, как муж в поход уехал.

Не могла простить она себе окаянства и упорно, страстно гнала от себя образ Терентия, князя Теряева, да трудно, видно, бороться с дьяволом!

Вот она с раннего утра стоит коленками на голом полу молещной, смотрит на образ Спаса и перебирает пальцами листовицу<sup>[60]</sup>. Побледнело ее прекрасное лицо, умиление светится в ее глубоких глазах, и страстная, горячая вера огнем палит ее душу.

Но вдруг заливает лицо краска, негодованием вспыхивают очи, и она опускает руки. Опять он! Опять наваждение! Стоит на коленях, тянет к ней руки и говорит, говорит...

— Уйди, отойди, окаянный! Чур меня! — шепчет она в смятении и потом, рыдая, начинает класть поклоны и молится до полного изнеможения.

— Господи, не попусти! Сохрани и помилуй! Грешница я окаянная, геенне обреченная!

— Мати боярыня, почто крушишься так? — раздалось за ее спиною, и она обернулась.

В дверях стоял мужчина с блаженной, бессмысленной улыбкой на губах, со сверкающим взглядом. Вид его был неистов: босые ноги покрыты пылью и грязью, посконная рубаха с открытым воротом спускалась почти до пят, волосы на голове торчали копною, спускались беспорядочными космами и путались с бородою.

С палкою в руке, огромный, неуклюжий, он был страшен, но боярыня его не испугалась, а, тихо улыбнувшись, встала с колен и ответила:

— По окаянству своему, Киприанушка!

Он закивал лохматой головою.

— Радей, радей, мати! Ноне всюду пошло окаянство, так хоть нам спастись душеньки бедные! Радей, мати! — сипло заговорил он, стуча посохом и разгораясь по мере слов. — Грядет антихрист, близко! Стонут праведники, в огне горят, но поют славу Господу! Ой, мати, мати, грядет им всем мзда по заслугам, и застонут они, антихристовы дети!

Речь его была темна и сбивчива, но на Федосью Прокофьевну она действовала неотразимо.

— Киприанушка, — робко сказала она, — али знаменье было?

— Знаменье? Буде оно, буде! Распалится гневом Господь, пошлет мор, голод, проказу лютую. Слышь, как вопят окаянные? — И он стал прислушиваться, но кругом было тихо.

— Истинно, — заговорила боярыня, — великое поношение терпим!... Киприанушка, не слыхал чего про попа Аввакума?

Юродивый поднял руки кверху.

— Грядет! На Москву буде страстотерпец наш.

— Когда?

— Сверзнется с трона своего Божий хулитель! Аки червь в пыли крутиться станет!

— Про кого говоришь?

— Про антихриста! Молись, мати, о наших душеньках! — И юродивый, резко повернувшись, быстро ушел из покоя, куда вход ему был во всякое время невозбранен.

Боярыня долго смотрела на дверь, за которою он скрылся, и старалась проникнуть в смысл его речей, наполнивших сердце ее и надеждою, и страхом.

Ах, если бы сбылось и вернулся из ссылки ее духовник, ее пламенный Аввакум!

— Бедненький! — и душа ее умилилась. — Страстотерпец миленький! Бьют тебя, заушают<sup>[61]</sup>, поносят. Терпишь ты и голод, и холод в Сибири лютой. Слышь, там и солнышко не светит, и кругом погань...

— Матушка боярыня, — сказала, входя, пожилая женщина, — Иванушка свет проснулся!

— Проснулся, соколик! — с умилением произнесла Морозова. — Иду к нему. Помолюсь с ним, ангелочком!

Лицо боярыни осветилось материнской любовью, и она пошла к своему сыну, шестилетнему Иваше.

А юродивый Киприан шел по городу, махая палкою, и вопил:

— Радейте, бедненькие, радейте, миленькие, близок час расплаты за окаянство Никоново!

— Что он говорит? — шептали в толпе, идущей за ним.

— Слышь, Никона клянет! — отвечала старуха какому-то приказному.

Юродивый услышал ее фразу и воскликнул:

— Истинно клян! Что видим? Имя сыну Божьему переменили! Печатают ныне с буквою ненадобной?! Это ль не окаянство? Гляди, в государевом имени сделай описку, того казнить, а дерзают нарушать имя Божие? Антихристовы исчадия. Окайные!... А звоны? И те переменили! К пенью звонят дрянью, будто всполох бьют... Пожди, будет им ужо, как Господь разгневается!

— Ты опять здесь народ мутишь? О чем болтаешь? — вдруг закричали два человека с палками, внезапно пробившись через толпу к юродивому. Это были патриаршие приставы.

Юродивый радостно протянул им руки.

— Миленькие, вяжите! — заговорил он. — Ввергните в тюрьму, в яму злую, да приму поношения во славу Господа!

Приставы рады были такой добыче, но толпа оттеснила их, и послышался кругом глухой ропот.

Юродивые пользовались огромным уважением в народе. Приставы испугались.

— Нам вязать тебя не надо, а народ не мути!

— Слуги антихристовы, — закричал тогда на них юродивый, — геенну себе готовите и малых в сети свои уловляете. Ужо будет вам! — И он гневно поднял свою палку, от которой приставы поспешно увернулись. В толпе раздался смех.

— Ужо мы вас, государевых ослушников! — пробормотали злобно приставы и снова затерлись в толпу, которая увеличивалась с каждой минутой, слушая юродивого.

А тот уже с пеной у рта громил Никоновы нововведения.

— Книги святых отцов испортили. Православные семьсот лет молились по тем книгам, а ныне новые, и в них антихристовы слова! Али святители до сего мудрого истинной веры не знали? Ох, ох, бедная Русь! Чего захотелось тебе за немцем вслед? Миколу чудотворцу — имя немецкое Николай, а во святцах и нет Николая!... Везде соблазн, везде окаянство!

Речь его лилась неудержимым потоком и словно электризовала толпу. Со всех сторон начинали раздаваться крики, вопли, и толпа бессознательно влеклась к патриаршему двору, готовая мстить за старую веру, но в это время в нее врезался отряд стрельцов и приставы с батогами — и посыпались веские удары направо и налево. Толпа рассеялась.

Но впечатление от слов юродивого осталось неизгладимо, и каждый понес в дом свое смутное недовольство и неясный страх.

Война, дороговизна, голод, разбойники.

Не есть ли это кара Божья за никонианство, за отступление от веры отцов и дедов?

И вверху, в теремах, также шло смутное брожение, хотя не в столь грозной форме, как в народе.

Но Никон был тверд, как скала среди бушующих волн, которые с плеском и шумом разбиваются о гранитные бока ее, не в силах даже потрясти ее, не только разрушить.

— Твори во истину и славу Божию, — говорил он, поддерживаемый восточными патриархами.

## **XVIII БОЖЬЯ КАРА**

Солнце только подымалось с востока и кровавым заревом озарило полнеба, засверкав лучами на куполе Ивана Великого. Народ в Москве

уже проснулся, и начиналась шумная, суетливая жизнь на площадях и улицах.

Длиннобородые купцы приходили в торговые ряды, крестились на восток, на горящие словно в огне храмы, и медленно отмыкали огромные висячие замки своих лавок, в то время как подручные молодцы отвязывали злых собак и уводили их прочь от лавок.

Иван Безглинг, в кафтане немецкого покроя, длинных чулках и башмаках с пряжками, шел по улице, направляясь к Москве-реке, к дому Теряевых, когда наткнулся на толстого купца. Тот оттолкнул его и грубо крикнул:

— Шиш с Кукуя! Иди на Кукуй!

Безглинг отскочил в сторону, но в тот же миг почувствовал толчок в бок и отлетел в другую сторону.

— Шиш на Кукуе! — крикнул другой, толкнувший его.

— Пустите! — просительно сказал Безглинг, но купцы окружили его и, с хохотом толкая его из стороны в сторону, кричали:

— Чертов немец, иди на Кукуй!

Молодые купцы потешались над бедным художником, а более старые стояли в стороне и бездействовали.

— По-моему, — говорил один, — что черт, что немец — все едино.

— Тэк! — кивал другой купец. — Все единственно!

— Теперь они что? Кости мертвецкие в ступе толкут, черную немощь пушают...

— Братцы! — закричал кто-то. — Да ведь это Никонов богомаз!

— Ах он, песье отродье! — загудело кругом. — Ширяй его!

Седой купец даже замахал руками.

— Вот он, кургузый! Вот он, совратитель! Видели его, окаянного, Спасов лик! Срам!

Безглинг почти терял сознание от беспрестанных толчков; камзол его обратился в лохмотья, шляпа упала в пыль и затопталась ногами. Он уже мысленно готовился к смерти, как вдруг раздались окрики, появились слуги с батогами, и толпа быстро раздвинулась на обе стороны, очищая дорогу и обнажая головы.

— Что за шум? — резко спросил князь.

— Да вот, княже, кукуевский шиш подвернулся. Потешились малость!

— Никоновский богомаз! — крикнул кто-то из толпы со злобою.

— Дела у вас нет, длиннородые, — с презрением сказал князь Теряев, — в батоги бы вас! Иди, Иван! — обратился он к дрожавшему художнику и хотел тронуть коня, но бедный Безглинг вдруг отшатнулся, упал на землю и стал корчиться. Лицо его посинело, изо рта показалась темная кровь, он вскочил с земли, взмахнул руками и снова упал уже без движения.

Толпа в ужасе смотрела на труп.

В этот миг вдруг появился юродивый.

Со стороны базара неслись смятенные крики.

— Началось! — завопил Киприан, потрясая посохом. — Час возмездия ударил! Бойтесь, никонианцы! Господь идет с гибелью.

— Мор, мор! — ревела прихлынувшая толпа.

Князь Теряев взмахнул плетью.

— Что там? — крикнул он.

— Мор, — раздались голоса, — на рыбном базаре падают и мрут!

— Гибель никонианцам! — ревел юродивый.

— С нами крестная сила!

— Гнев Божий! — раздались голоса.

— Убрать! — сказал князь слугам, указывая на посиневший труп, который лежал у ног его коня, и двинулся из толпы. Вдруг снова раздались вопли. Два человека извивались на земле в предсмертной муке.

Ужас объял князя. Он ударил коня и понесся в Кремль прямо к князю Куракину.

— Князь, неладно! — заговорил он, крестясь на иконы. — В городе мор!

— Да что ты?

Князь Куракин, толстый, низенький, от страха присел на лавку.

— Сам видел! Люди падают и мрут, корчась от болезни.

— С нами крестная сила! Милый князь, — заговорил он спешно, — иди до патриарха, скажи ему, а я к Пронскому! Что делать? То-то государь гневен будет!

— Божья воля! — ответил князь.

Он пошел к патриарху. Уже не на коне, а пеший и притом без шапки, перешел он патриарший двор и вошел в палаты. Отрок тотчас повел его к патриарху.



Князь стал на колени, принял благословение и облобызал руку Никону, после чего стал передавать, чему был свидетель.

Никон, высокий сухой старец с властным лицом и жестким взглядом, слушал его, изредка кивая головою.

— В грехах погрязли, — сказал он, — Божья кара! Иди, князь, до Пронского. Скажи, патриарх наказывает царицу с детками увозить спешно! Не мешкай, зараза сия гибельна!

Князь опять склонился под благословение. Патриарх благословил его, и когда князь уходил, он говорил уже своему дяку:

— Записывай, я говорить буду!

Чума!... Словно внезапная гроза с ливнем, разразилось это бедствие над Москвою сразу, без всякого предупреждения.

Правда, потом припомнили, что скот падал, но до страшного 9 августа 1655 года никто не думал о такой беде.

Люди падали в домах, на улицах, на площадях, в лавках. Воевода, сидевший в приказе Малой Чети, вдруг упал и умер в корчах. Палач, стоя подле дыбы, не успел поднять пытаемого и свалился. На лобном месте повалились стрельцы, и испуганный народ разбежался вместе с палачами, дав преступнику нежданную свободу.

Смерть! Народ растерялся и не знал, где искать спасения: власти растерялись тоже, и только Киприан бесстрашно ходил всюду и ликуя кричал:

— Божье попущенье! Гибель никонианцам!

Патриарх написал воззвание к обезумевшему от ужаса народу. «Божья кара! — писал он. — Ей же покориться со смирением».

Он советовал держать посты, молиться и терпеть, но сам спешно уехал из Москвы вместе с царицею и царским семейством в Калягин монастырь.

Князь Теряев тоже услал под Коломну свою мать и жену и собирался услать Эхе с семьею.

Бедная Эльза не могла прийти в себя от неожиданной печали: ее жених, Иван Безглинг, пал первою жертвой заразы.

— Эльза, не плачь, — уговаривал ее Эдуард, — такова судьба.

— Ах, что мне судьба! — говорила она, заливаясь слезами.

Эхе ходил мрачный, хмурый, а дедушка Штрассе рылся в книгах, думая найти средство против страшной заразы, но она уже пробралась в дом Теряевых и выкосила всю семью добрых немцев.

Князь Теряев прямо из дворца, не заехав даже домой, проехал в дом Морозовой и велел провести себя к ней.

Вздрогнула она, побледнела, услышав его имя, но тотчас поборол страх свой и, шепча молитвы, опять свиделась с ним в молельной.

— Почто зандобилась, Терентий Михайлович? — спросила она, стараясь казаться спокойной.

— Боярыня, — ответил Терентий, не глядя на нее, — в городе зараза, мор. Закажи людям собраться и тебя увезти. Все едут прочь!

— Киприанушка! — воскликнула боярыня, вспомнив его бессвязные речи. — Мор, говоришь? — И лицо ее просветлело.

— Божья кара на никонианцев! — сказала она убежденным голосом. — Чудо, чудо!

— Боярыня, люди мрут и в домах, и на улицах. Уезжай, Бога для.

— Я? — Боярыня даже удивилась — А почто, Терентий Михайлович? Я замолюсь перед Господом, и Он удержит меня. Вероотступникам гибель, а нас помилует, ибо нам иное уготовано!

Теряев изумленно взглянул на нее.

— Зараза не разбирает, — сказал он, — и холоп, и боярин — всяк умирает!

— Так, так! — ответила боярыня. — Но не стать бежать мне от гибели. На все воля Господа! И опять, в беде этой люди нужны: кого утешить, кому помочь, — а я уйду? Для того ли от Господа жизнь дана, чтоб беречь ее ради праздности? Ты едешь прочь?

— Я не смею! Я поставлен царем на дело.

— А я Господом Самим! Его ли ослушаюсь, — сказала вдохновенно Морозова.

Князь Теряев взглянул на нее в изумлении и трепете и низко поклонился.

— Прости, боярыня, меня, неразумного! Святая ты! — сказал он дрогнувшим голосом, а когда вернулся домой, какой ненавистной показалась ему жена, размалеванная, с черными зубами!

Он рад был, провожая ее под Коломну, и с горечью подумал:

— Умереть бы!...

## **XIX МОР**

Это была ужасная болезнь. По замечаниям тогдашнего врача Сиденгама, она состояла из карбункулов и воспаления в горле, развиваясь в несколько часов и не зная пощады к пораженному. В одной Москве погибло от нее в ту пору более двадцати тысяч человек!

Князь Пронский, высокий стройный красавец с русою бородою, сидел в своей палате и быстро писал донесение государю, зная, что о том же пишет и князь Теряев, и стараясь поэтому быть точнее в своих донесениях.

Время от времени он вставал, потирал лоб рукою, ходил по палате и снова садился писать. Послание подходило к концу.

«Все приказы, — писал он, оканчивая, — заперты. Дьяки и подьячие умерли, и все бегут из Москвы, опасаясь сей заразы. Только мы без твоего государева приказа покинуть города не смеем».

Он окончил и откинулся к высокой спинке стула.

— Так ладно будет! — сказал он, снова пробежав последние строки и прикрыв рукою глаза. С самого утра он чувствовал себя как-то нудно: устал словно. А правду сказать, и есть с чего утомиться!...

Народ мутится, смирять его нужно, уговаривать. Церкви заперты, попы все померли, отпевать некому, да и хоронить тоже. А убирать трупы надобно, потому смердят по улицам и от сего наипаче зараза. Хоронить надобно не иначе как колодниками: тем все едино — что на плахе умереть, что от заразы. И везде самому быть надо! Спасибо еще князю Теряеву. Молодой, да больно деловитый!...

— Князь Терентий Теряев повидать тебя, княже, хочет, — сказал, входя в покои, отрок.

Князь быстро встал.

— Зови, веди! — сказал он.

Терентий вошел, и они поцеловались.

— С чем, князь?

— Да вот государю отписку сделал. Может, прочесть захочешь?

— А зачем? Я тоже отписал. Вот и пошлем заодно: твое и мое. Сейчас и запечатаем. Давай свое!

Теряев подал и вдруг испуганно вскрикнул:

— Князь, тебе недужно!

— Не... не...

И в тот же миг Пронский упал на пол, облитый темною кровью. Терентий успел отскочить в сторону и громко позвал слуг. Холопы

вбежали и в ужасе попятились назад.

Князь посинел. Белки глаз выворотились, и вид его приводил всех в невольное содрогание.

Князь Теряев спешно взял свое и его донесения.

— Берите князя и хороните в саду! — крикнул он холопам, но те не двигались с места, скованные ужасом.

— Пошли, княже, за колодниками, — кланяясь, робко сказал стремянной покойного князя, — а нам умирать неохота!

Князь грозно насупился, но палата вмиг опустела, а два часа спустя во всем доме князя не было ни одного слуги.

— Такова и моя смерть будет! — подумал Терентий и тихо вышел из дома.

Ужасен был вид улиц, по которым медленно проезжал князь на своем аргамаке.

Дома и лавки, растворенные настежь, были пусты; то здесь, то там валялись трупы людей, застигнутых страшной заразой, и обнаженные по пояс колодники, вымазанные дегтем, волокли по улицам трупы, зацепив их баграми, чтобы свалить в общую яму.

Невыносимый смрад стоял в туманном воздухе, сеял мелкий дождь, и среди безмолвия, при виде смерти и общего запустения страх проникал в душу каждого и заставлял думать о Божьем гневe.

— Согрешили, окаянные! — вопил юродивый, бродя из улицы в улицу. — За никонианцев и ревнителей гибнут!

Князь Теряев проехал Кремль и Белый город и стал заворачивать к Москве-реке, когда увидел каких-то людей, которые спешно входили в дом и выходили из него с сундуками и узлами, складывая все на телегу.

— Воры! — решил князь и хотел их остановить, но потом раздумал.

— От своей кражи погибнут, — подумал он с усмешкою.

А люди, накладывая воз, весело переговаривались.

— Все к Сычу волок, там поделимся. Панфилушка, волок сундучок-то!

Панфил, бывший холоп воеводы Матюшкина, ухватил огромный сундук и, напрягшись, бросил его в телегу.

— Эка силища у лешего! — проворчал Шаленый.

— Трогай, что ли! — закричал Косарь, и телега, скрипя колесами, двинулась по улице.

Для них чума явилась пособницей их подлого дела. Они бесстрашно входили в зачумленные дома, где еще валялись трупы умерших, и ограбляли все, избегая только носильного платья.

— К золоту да серебру не пристанет, — правильно рассуждал Мирон, их атаман, и они тащили складни, ризы с икон, кубки, посуду и кубышки с деньгами, не боясь ни приказов, ни приказных.

Князь Теряев ехал дальше и вдруг в ужасе остановился, словно окаменев в седле.

Боярыня Морозова, нежная красавица, с головой, повязанной убрусом, сама, своими белыми руками держала голову охладевшего, скорченного трупа, в то время как верный ее слуга Иван и сенные девки несли труп на длинных полотнищах.

Князь пришел в себя и, спешно соскочив с коня, бросился к Морозовой.

— Федосья Прокофьевна, — закричал он, — что делаешь? Али не жаль тебе живота своего!

— Все в руках Господа моего, — с трогательной простотою ответила боярыня, — без Его воли не упадет и волос с головы!

— Но ведь это смерть!

— Попущу ли, чтобы праведный остался без погребенья в добычу псам? — ответила она так же просто, и князь не знал, что ей ответить, и растерянно смотрел на нее.

Мрачно ходил он по своим опустевшим покоем и неотступно думал о молодой красавице.

Что она? Что движет ее поступками? Отчего она не как все? И, думая о ней, князь умилялся.

Теперь, когда объятый ужасом город почти опустел и никто уже не дослеживал друг за другом, князь Терентий почасту навещал Морозову и слушал ее пламенные речи.

Она теперь перестала бояться его, не искушаемая его красотой, и горела к нему чистой любовью, как к своему ученику, а он, как малый ребенок, слушал ее, понемногу заражаясь ее страстными речами.

— К гибели идем, — говорила она, — несмышленные, дети малые, как стадо влекомые антихристом на погибель. В гордости сатанинской Никон мнит победить веру Христову и алчет власти. А царь уже весь у

него, и бояре совращены и народ ведут к гибели, терзая всякого, кто в вере тверд! Гляди, семьсот лет деда и отцы крестились двуперстно, ныне же дьявола измышление — троеперстное знаменье. Сие знак сатаны!

Терентий содрогался.

— Вот поют вместо «благословен грядый» — «обретохом веру истинную», а где тако?... Пишут Спасов образ письма неподобного... лицо одутловато, уста червонные, волосы кудрявые, персты надутые, и весь — яко немчин, брюхат и толст учинен, лишь сабли при бедре не писано. А все Никон умыслил: будто живые писать...

И опять содрогался Терентий от ее речей и чувствовал, что что-то кощунственное, страшное вершит Никон.

А Морозова все говорила:

— Светочей наших, истых ревнителей, и гонят, и бьют, и огнем палят. Стонут они, голубчики, в сибирской стуже, в железо скованные, а Господь им силу дает: сим победиши!...

Терентий узнал и Киприана юродивого, и Федора, недавно прибежавшего в Москву от рязанского архиепископа Иллариона, которому был отдан за упорное староверство под начало.

Слышал от них Терентий про страшные муки, ими переиспытанные, и проникся к ним восхищением.

«Их истина, если они не боятся за нее терпеть такие мучительства!» — думал он и умилялся. Видимо, Бог помогал им переносить муки.

## **XX ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА**

Князь Петр едва раскрыл глаза, проснувшись на другое утро, как первая мысль его была о полячке. Он улыбнулся и быстро вскочил со своего ложа. Отец его собирался к царю на поклон и ласково сказал сыну:

— Ну, Петруша, снаряжайся скорее к царю идти!

— К царю? — огорченно воскликнул Петр, но тотчас улыбнулся и кивнул головою.

— Мигом, батюшка!

Он выбежал из ставки, быстро ополоснул лицо холодной водою и вернулся, чтобы надеть кафтан и опоясаться саблей.

— Совсем воин! — сказал отец, с любовью осматривая сына. — Что, вчера много рубился?

— Было, батюшка, — ответил Петр и покраснел при мысли, что отец станет дальше расспрашивать и он выдаст свою тайну, но отец торопился к царской ставке.

У царя хотя и не было иордани, как в Коломенском, а все ж он не любил, когда ближние опаздывали к его выходу.

— Идем, идем! — сказал он сыну.

Хотя до царской ставки было каких-нибудь двести сажень, но ни один боярин не шел туда пешком, дабы не унижить своего достоинства. У шатра, держа в поводу коней, стояли стремянные князей Антон и Кряж. Петр вздел ногу в стремя и, подымаясь на седло, сказал Кряжу:

— Придет жид, спрячь его до моего прихода. Вернись в одночасье!

Кряж только кивнул головою.

Несмотря на походное время, царь, любя церемонии и пышность, сохранил свои обычаи. Так же совершал торжественно он свой выход, отстаивал обедню и трапезовал с боярами, так же пышно снаряжал охоту и с великим торжеством делал редкие объезды войска.

Теперь у своей палатки с золотыми орлами на устоях, на высоком кресле сидел царь в золотном кафтане, с царской шапкой на голове и принимал от бояр поклоны с утренним здравием.

— А, милый воин! — ласково сказал он Петру, когда тот десять раз отбил ему челом и приблизился к руке. — Давно я тебя не видел. Смотри, за битвами и про меня забыл, от Смоленска в спальниках не был!

— Твоя воля, государь, — ответил Петр.

Царь взглянул на него улыбаясь.

— Бейся, бейся! Мечом служить государю и того почетнее. Много ляхов побил?

Петр покраснел.

— Лют в битве, государь-батюшка, — ответил за него Матвеев, — когда Смоленск брали, я видал его. И теперь тоже. Лихой воин!

— Жалую, коли так, тебя в полковники, — сказал царь, — вон Битюгина убили. Возьми начало над его полком!

Петр упал царю в ноги. Такой великой чести он не смел и ожидать даже. Царь протянул ему руку в знак милости и весело стал беседовать

с боярами о славных и быстрых победах.

— Теперь Вильну взять, и конец походу.

Петр замешался в толпу бояр и свиты и со всех сторон слышал горячие поздравления.

Его все любили за молодость, смелость и открытый нрав.

— Ну, князь, дозвожь и мне тебе поклониться. У тебя под началом буду.

Петр оглянулся и узнал Тугаева.

— Ты, князь! Да я же твой по гроб должник! Ты меня вчерась от смерти спас! Поцелуемся! — И они крепко обнялись.

— Недосуг мне нынче, — сказал Петр, — а уж не откажи: побратаемся!

— За честь почту! — ответил Тугаев, радостно улыбаясь.

Петр едва дождался конца церемонии и снова обмер, когда царь позвал его к своему столу. Только в час пополудни, когда все легли спать, нарушая исконный обычай, Петр пошел следом за Кряжем, ведя коня под уздцы.

— Где он?

— Я тут в роще укрыл его. Дрожит, — со смехом ответил Кряж.

— Зови его!

— Ясновельможный пан! — залепетал еврей, изгибаясь и кланяясь. — И как пан сказал, так я и пришел, чтобы вести пана. Пан пойдет?

— Сейчас! — пылко ответил Петр.

— А мои карбованцы? — трусливо спросил еврей.

— Деньги? — князь растерянно оглянулся. Вернуться в ставку — еще, пожалуй, отца разбудишь.

— Хочешь взять это? — сказал он, отстегивая изумруд, служивший ему на воротае запоном.

Еврей даже вздрогнул.

— Мне, пан? И пан не жартует<sup>[62]</sup>? — забормотал он. Петр не понял.

— Не хочешь?

— Ой, и как же не хотеть! — воскликнул еврей. — Пан як царь, а Мордке бедный еврей. Как же не хотеть.

Петр кинул ему камень, и еврей мгновенно запрятал его за пазуху.



— Веди, — приказал Петр, — а ты иди спать! — сказал он Кряжу. — Батюшка спросит, скажи — в поле уехал!

Он ударил коня стремями и двинулся. Еврей побежал с ним рядом, держась рукой за стремя и всю дорогу говоря без умолку.

— Ой, и какой же славный пан! И какой же богатый пан! И какой у пана конь пенкний<sup>[63]</sup>! Пан большой магнат!

— Плачет она? — спросил Петр. Еврей закрутил головою.

Ой, вей мир, как плачет! Тятеле убили, а какой важный пан был! Мамеле убили! Майонтки<sup>[64]</sup> пожгли! Ой, как плачет! Не будь пана, и что ей было бы... Ой, ой, эти казаки (тьфу, чтоб они кому другому снились) такие лайдаки. Разбойники, самые злые разбойники. Им девушку только покажи... Туты, пан!

Еврей остановился, тяжело переводя дух. Пот лил с него ручьями, и он усиленно шмыгал носом.

— Туты! — повторил он. У Петра замерло сердце. Он сошел с коня и некоторое время стоял в нерешимости. Уж не вернуться ли в лагерь?

Но потом вдруг порывисто рванулся вперед и без указания еврея неведомым влечением сразу нашел камору, где была укрыта девушка, и распахнул дверь.

Девушка вскрикнула и забилась в угол.

Петр растерянно остановился у порога. Голова его кружилась, сердце замерло.

— Боярыня, — робко произнес он.

Незнакомый звук поразил ухо девушки.

Она взглянула на Петра из-за руки и невольно улыбнулась — так смешон был красивый русский витязь!

Петр оправился и сделал к ней два шага, и она вдруг приняла от лица обе руки и взглянула на него своими ясными глазами. Словно снопы ослепительного света брызнули на Петра из этих лучистых глаз, и он вспыхнул, как небо от первых утренних лучей. Сердце его теперь билось с невероятною силою.

Он уже смело подошел к ней и стал подле нее, улыбаясь и смотря ей в очи.

— О, мой рыцарь, — нежно произнесла Анеля, — ты меня спас от смерти!

— А ты дала мне жизнь! — ответил Петр.

Они сидели уже рядом. Много видела панна Анеля на дому у отца польских витязей: и рейтаров, и гусар, и улан, но ни один не поразил ее так, как этот русский враг ее отчизны. Нет у него усов в три яруса, нет золоченой сабли и длинных шпор, не крутит он уса и не подбоченивается, но чувствует панна, что ни один из родственников ей витязей не устоит перед ним.

Не видал Петр красавиц, кроме сестры своей, Эльзы да сенных девок в своем доме, и в первый раз так близко один на один сидел он с девушкой, которая показалась ему краше майского дня.

— Сиротинка я бедная, — говорила Анеля на своем языке, — убиты отец и матушка, выжжено гнездо мое, и чуть покажу глаза — полонят меня враги. Куда я денусь? Ты один мой спаситель! — И она прижималась к нему.

Петр не понимал и половины из ее слов, но чувствовал, о чем говорит она, и жалость охватывала его сердце, а правая рука теснее и теснее прижимала к груди девушку.

— А ты говорила, что у тебя в Вильне есть свои!

— Есть тетка, но как доехать туда, а потом... как с тобою увижусь?

Сердце Петра радостно всколыхнулось.

— Увидимся! — весело ответил он. — Я сам тебя снаряжу с этим еврейном, а там мы город возьмем, и я опять с тобою буду!

Анеля вдруг обняла его и прижалась губами к его щеке.

— Коханный мой.

Голова закружилась у Петра. Он сжал ее в объятьях.

— Милая!

— Так ты не покинешь меня?

— Ни в жизнь!

— Тогда зачем мне ехать, — сказала она, — ты с войском поедешь, а я с жидом в повозке.

Петр засмеялся.

— Я рад не расставаться с тобою!...

Чувство живой радости охватывало его всего и заставляло трепетать сердце.

Когда он вернулся в лагерь, отец увидел его сияющее лицо, он ласково ему улыбнулся и сказал:

— Да, не в пример иным тебя царь возвеличил!

Петр засмеялся. Ему забавно показалось, что радость его и отец, и все будут приписывать царской милости, а никто не знает того, что дороже всех милостей его сердцу первая молодая любовь.

И он наяву грезил Анелею.

## XXI ЦАРСКИЙ ОТЪЕЗД

Тихо было в опочивальне царской ставки. Царь крепко спал после дневных трудов.

Днем всего было: суд и расправа, осмотр покоренного и полууничтоженного Витебска, военный совет и решение идти дальше на Вильну.

Теперь он спал, и вокруг него было тихо-тихо.

Молодой спальник храпел, раскинувшись на широком рундуке. В соседней горнице спали четверо дворянских детей, а у входа стояла крепкая стража под надзором молодого Петра Теряева.

Завернувшись в широкую епанчу, положив голову на седельную подушку, он лежал под деревом невдалеке от царской палатки и мечтательно смотрел на синее небо, усеянное звездами.

Он не мог спать по службе, да и так сон бежал от его глаз. Лицо его, обращенное к небу, выражало безмятежное счастье, губы улыбались, и он время от времени вздыхал полною грудью от избытка своего счастья.

В первый раз он полюбил. Полюбил со всем пылом молодой, неиспорченной души, со всем увлечением своей юной цельной натуры.

Он лежал под деревом и день за днем, час за часом воспроизводил в памяти свои недолгие свидания с милой.

Она уже не боялась его и весело, как козочка, выбегала ему навстречу. В дрянной еврейской каморке на жесткой деревянной скамье он сидел подле своей Анели и забывал с нею весь мир. Она учила его говорить по-польски, он ее по-русски, она ему пела свои польские песни, рассказывала про свою детскую жизнь, и он слушал ее, пожирая горящим взором, и время от времени обнимал ее так крепко, что она трепетала в его объятьях.

Впрочем, случалось, она плакала и говорила ему:

— О, я сиротинка! Что я могу быть для тебя? Полюбовницей. Но я убью себя лучше.

Петр возмущался.

— Никогда этого не будет. Ты примешь православие и станешь княгиней, моею женою!

— Разве позволит тебе отец?

Петр задумывался, но потом энергично встряхивал головою.

— Царю поклонюсь. Царь прикажет! А не согласятся. — возьму я тебя и уедем с тобою на рубеж биться с крымцами. Нам везде хорошо будет! — и обнимая ее, он осыпал лицо ее поцелуями.

Она вытирала слезы и беспечно смеялась.

— От-то весело будет! Я оденусь жолнером<sup>[65]</sup> и с тобой вместе буду!

— Ну, вот видишь, — радостно воскликнул Петр, — и плакать нечего!

Один раз она встретила его бледной, встревоженной,

— О, возьми меня к себе скорее! — воскликнула она, едва его увидела. — Спрячь меня!

— Что такое?

— Пан Квинто был тут. Я видела его!

Петр отшатнулся и в недоумении взглянул на нее.

— Кто такой? Откуда?

— О, я не знаю! Пан Янек и его друг Довойно оба из гусар Вишневецкого. Они были в Варшаве. Я не знала, что они тут!

— Кто они? Что им до тебя за дело?

— Пан Квинто сватал меня, и родители дали ему слово.

Петр пошатнулся и побледнел.

— Так ты чужая невеста?

— О, нет, нет! — испуганно воскликнула Анеля. — Я не люблю его! Он противный!

— Что же он говорил с тобою?

— Он? Ничего! Он шептался с Мордке, а я вся дрожала и заперлась.

— С Мордке? — сказал Петр и вышел из избы искать его, но еврей словно провалился сквозь землю.

Испуг и гнев охватили Петра. Он тотчас велел Кряжу взять двух конных воинов из своих людей и разыскать еврея.

В тот же вечер Кряж притащил его в лагерь скрученного и бросил перед князем.

Еврей был бледен, как мертвец, и не двигался в паническом страхе, но когда его развязали и Кряж вытянул его ремненным поводом, он завертелся волчком и завыл.

— О, и что я сделал? За что эти лайдаки меня мучат! Что я им? Я бедный еврей! Пан, прикажи им отпустить меня!

— Молчи, собака! Говори, с каким поляком ты вчера шептался?

— Я? — еврей поднял руки кверху. — Чи у меня две головы? Чи я с ума сошел? Чи я не вем, что каждого ляха — фук, и за шею! Никакого ляха я не видел.

— Врешь, гадина! — закричал Петр. — Бейте его, пока он не признается.

Кряж ухватил еврея, но и под ударами тот продолжал клясться, что никого не видел. Он говорил с ляхом. Но тот лях, что за лях? Он старый органист из костела!

Петр отпустил еврея и успокоился.

— Тебе показалось, горlinka, — сказал он Анеле, но та побледнела и покачала головой.

— Он здесь. Он замыслил на меня! — повторяла она с упорством.

Петр вспомнил и эту сцену и на мгновение замер от страха.

Несомненно, что-то есть! Ах он беспечный!

Завтра же поедет и обыщет все норки в городе. Небось никакой лях не спрячется...

— Княже! — послышался в темноте вдруг встревоженный голос. — А, княже!

— Кто? Что надо? Это ты, Еремей? — спросил Петр, узнав десятского от караула.

— Я, княже! Прискакал гонец из Москвы. Хочет царя видеть.

— Гонец! Сведи его в караульную избу и вели утра ждать, а грамоту возьми.

— Не дает! До самого царя хочет. Беда на Москве.

— Что?! — у Петра замерло сердце, и он быстро вскочил на ноги. — Какая беда?

— Мор! Чума, слышь. Весь город вымер.

— С нами крестная сила! Гонец! Где гонец?

— Здесь!

Князь быстро пошел за Еремеем.

Царскую палатку окружали три цепи часовых. Петр дошел до крайней цепи и там увидел гонца. Это был дворянский сын Никитин. Молодое лицо его при свете факелов было измучено и бледно. Одежда запылена и изорвана, конь его, покрытый пеною, весь дрожал мелкой дрожью и гнул ноги.

Петр быстро подошел к нему.

— От кого грамота? — спросил он.

— От князя Теряева-Распояхина и патриарха! — ответил Никитин. — Наказано немедля царю в руки дать.

— Семья государева сохранна?

— Слава Богу! В Угреши перевезли!

Петр широко перекрестился и повел гонца за собою. Царь проснулся от тихого шепота в соседней горнице.

— Кто там шумит? Заглянь! — крикнул он строго.

Спальник выглянул и тотчас вернулся.

— Князь Петр Теряев гонца из Москвы привел.

— Гонца? из Москвы? — испуганно вскрикнул царь. — Сюда его! скорей! огня неси! ну!...

И минуту спустя, свесив босые ноги с постели, в одной рубахе, царь читал донесение Теряева и послание патриарха, а спальник держал подле него высокий подсвечник с шестью восковыми свечами.

Царь дочитал послание и скорбно опустил голову.

— Наколдовала старая! — прошептал он суеверно и поспешно перекрестился.

— Князь Петр, — сказал он, оправляясь, — зови конюшего ко мне и буди Трубецкого князя. С утром я на Москву еду немедля. Здесь Бог благословил меня, там покарал. Да будет воля Его! — проговорил он набожно.

Еще воины спали крепким сном, когда их начальники с тревожными лицами торопливо собирались к царской ставке. Князь Теряев, Морозовы, Щетинин, Трубецкой, фон Дамм, Лесли и Артамон Матвеев — все собрались у царского входа и тревожно, шептались.

Весть о московском бедствии уже достигла их, и всякий трепетал за участь оставленных дома. Морозовы дрожали за своих жен, князь Теряев за жену и сына с невесткой, и у всякого был на Москве кто-нибудь близкий, за участь которого трепетало его сердце.

Царь вышел, и все упали на колени.

— Горе посетило нас во время утех и счастья! — сказал дрогнувшим голосом царь. — Господь, благословляя наше войско, гневом обрушился на народ. Мор в Москве, в Новгороде, во Пскове. Люди гибнут без покаянья, лежат на улицах и стогнах непогребенными и смердят. Церкви пусты, ибо попы все померли. Мор и гибель! Наколдовала мне лукавая ведьма!

Среди бояр послышался ропот.

— Вот что, — сказал государь, — еду я в Москву. Ибо место мое там, где народу худо. Со мной ты поедешь, — он указал на Артамона Матвеева, — да ты, да ты еще! — он указал на Морозовых и князя Теряева. — Тебе, князь, за сына твоего низкий поклон. Ревнивый до дела и мужествен! В такое время — на Москве он один стоит.

— Мы все твои холопы, — ответил князь, кланяясь.

— Так, — продолжал царь, — а походы вы вершите, как бы при мне было. На чем вчера решили, то и будет. Я на Москве буду недолго и опять ворочусь!

День занимался ясный, светлый, солнечный.

Царский обоз уже вытянулся длинной линией. Кони ржали, повозки скрипели, народ шумел. Князь Трубецкой торопливо строил полки для прощания с царем, а царь благочестиво слушал раннюю обедню, а за нею панихиду по всем погибшим от мора и на войне убиенным.

Прекрасное лицо его было грустно, в глазах стояли слезы. Он крепко бил челом в пол и молился.

Все кругом стояли молча и с умилением смотрели на царя, который, сознавая свой долг и ни минуты не колеблясь, собрался ехать в город, пораженный чумою...

## **XXII УДАР**

Проводив отца, который уехал с царем, Петр вернулся в свою ставку, и первая мысль его была об Анеле, но усталость взяла свое, и он, повалившись на постель, не раздеваясь, как был, заснул крепким сном.

Наступила уже послеобеденная пора, и все в лагере спали, когда Петр проснулся. Он вышел из палатки. У ее входа, растянувшись во весь богатырский рост, храпел Кряж.

Петру стало жалко его будить, и он пошел к своему полку, чтобы взять оттуда коня и ехать в Витебск, к своей Анеле. Сердце его радостно билось. Отъезд отца развязывал его, освобождая от постоянной лжи, потому что до конца похода он не хотел ничего говорить ему про свою любовь.

И он шел, весело напевая, к коновязям своего полка.

Кругом все спало. Воины не укрывались в палатках и лежали где попало и как попало: между колесами телег, на самом припеке, почти под лошадиными копытами, ничком, навзничь, боком. Оставшиеся на часах тоже дремали, опершись на свои копья или алебарды.

Крепок среди русских был обычай послеобеденного сна, и Петр невольно усмехнулся: вот приди теперь ляхи — и вяжи живьем, потому что у русского этот сон крепче ночного.

Он подошел к коновязям. Часовой поспешно подбежал к нему.

— Снаряди мне коня, — приказал ему Петр, и тот, бросив копье, торопливо начал обряжать коня для князя.

В это время из палатки вышел Тугаев.

Петр дружески ему улыбнулся.

— Чего не спишь?

— Жара разморила, — ответил Тугаев и закричал во весь голос: — Илья, браги!

Илья, молодой парень, длинный и тонкий, вскочил как ужаленный и бросился к обозу. Тугаев подошел к Петру.

— Жара, — повторил он, — а потом думы. На Москве-то у меня молодая жена оставлена.

Голос его дрогнул, и он отвернулся. Петр дружески положил ему на плечо руку.

— Э, Павел Ильич, нешто подле нее нет людей? Увезут, как и всех прочих. Нешто оставят в Москве. Смотри, Никитин баял, никого, почитай, не осталось. Так, людишки только, а то купцы даже поехали!

Тугаев вздохнул и кивнул головою.

— На то только и надеюсь! — и потом спросил: — А ты к ней?

Петр улыбнулся.

— К ней! Пока спят, а там и назад. До тебя просьба: коли князь всполошится, ты распорядись с полком, а я в одночасье и назад!...

— Ладно!

Часовой подвел коня, и Петр лихо вскочил на него.



— Прощай пока что!

— Прощай! — И Тугаев долго смотрел вслед Петру, пока по дороге еще крутилась пыль от конского бега.

— Добрый парень! — подумал он про князя с нежностью.

Они не только сдружились между собою, но успели и побрататься. Молодому Петру необходим был друг, которому он мог бы поведать про свое счастье, да и Тугаеву, который был всего на два года старше Петра, дорога была его дружба.

Петр летел вихрем по пыльной дороге, думая об Анеле, о свидании с нею и о приготовлениях к переезду. Надо с Мордке этим договориться насчет возка и доставки девушки в Вильну. Оставить ее в Витебске он боялся, потому что мало ли что может случиться, а пусть он ее провезет в Вильну, которую все равно займут русские, и там Мордке найдет Петра, проведет его к Анеле и заработает хорошие деньги.

Сердце его трепетало и билось. Вот уже разрушенные ворота, узкие улицы, загроможденные обломками, костел, маленький переулок, поворот и...

Петр осадил коня и растерянно оглянулся.

Что это? Где же дом еврея?

Кровь похолодела в его жилах. Он спрыгнул с коня и бросился вперед.

Вот он! Но вместо него одни обгорелые развалины.

— Мордке! Мордке! — закричал исступленно Петр, но кругом было безмолвно, и только черные балки молчаливо свидетельствовали о недавнем разгроме.

Петр два раза обежал развалины, бессмысленно повторяя:

— Анеля! Мордке!

Потом он взял в повод коня и поспешно пошел по улице, высматривая жилой дом. В конце улицы он увидел двух еврейских мальчишек и бросился к ним, как коршун.

— Где отец? Где мать? — спросил он их, ухватив одного за волосы.

Дети заорали благим матом, и на их крик словно из земли выросла маленькая, худенькая еврейка и ястребом кинулась на Петра. Он схватил ее.

— Где муж твой!

— Муж? Лейзер?

— Лейзер, Мордке, все равно! Давай мне его! живо!

В голосе и жесте Петра было столько повелительного, что еврейка беспрекословно повернулась и повела Петра, крикнув плачущим детям:

— Ша, киндер!

Следом за еврейкой Петр с трудом пролез в узкий пролом каменной стены, прошел двор, заросший бурьяном, и вошел в помещение, служившее, вероятно, банею при панском доме.

При входе его толстый маленький еврей, рыжий как медная монета, быстро вскочил с лавки и испуганно воззрился на Петра. Петр с трудом перевел дыхание. Как ни был он сильно взволнован, но его поразили тяжелый запах в комнате.

Еврей тем временем испуганно отвечивал поклоны, а жена его что-то быстро говорила ему на своем жаргоне.

Наконец Петр перевел дыхание.

— Мордке знал? — прямо спросил он.

— Мордке? — протянул еврей, но Петр нетерпеливо махнул рукою, вооруженной плетью, и еврей тотчас кивнул головой.

— А то як же, — ответил он, — знал!

— Где он?

— А я ж откуда знаю, — пожал еврей плечами.

— Не мучь ты меня, жид! — закричал Петр. — Ты не мог не видеть, как горело его мурье. Или скажи все и я заплачу тебе, или... — и он грозно поднял руку.

Жид испуганно отшатнулся.

— Ой, вей! Я все буду говорить пану! Я бедный еврей! Я бедный еврей! Что я могу! Одни говорят: скажешь — убьем, пан говорит: не скажешь — убью! О, я бедный! Они давали десять карбованцев, пан даст двадцать.

— Дам! говори!

Петр кинул ему две золотые монеты, и Лейзер торопливо, размахивая руками, начал рассказывать.

К Хаиму приехал польский гусар и у него жил. Потом Хаим говорил с Мордке, потом они достали коней, возок и вот вчера в ночь уехали, а хату зажгли. Панна Анеля кричала и плакала. Он жалел

панну, потому что пана подкомория все знали, но у польского гусара были пистолеты и сабля...

Петр даже пошатнулся от неожиданного удара.

Увезли! Она просила уберечь ее, и он ей не поверил! Теперь где она?...

— Куда они поехали?

— Дали Бух, не вем! Як Бога кохам не вем! — заклился жид, мотая головою.

— В Вильну?

— Може, и в Вильну...

— По какой дороге?

— Я ж так испугался, что и не глядел, уехали, и Бог с ними!...

Петр тихо пошел по двору, вышел на улицу и сел на коня. Лицо его было бледно как бумага, глаза потускнели, и он не видел и не сознавал дороги.

— Петр Михайлович, что с тобою? — испуганно воскликнул Тугаев, встретив его.

Петр махнул рукою и, сойдя с коня, бессильно опустился на обрубок дерева.

— Да скажи, — приставал Тугаев, — може, я помогу в чем, а?

Князь молчал. Потом вдруг встал и сжал кулаки. Мертвенная бледность сменилась гневным румянцем. Глаза сверкали.

— Слушай, — сказал он Тугаеву, — у меня какой-то поляк украл Анелю. Украл и увез! Украл душу мою! Слушай, я клянусь теперь, — и он поднял руку, — не зная женщины, кроме моей Анели. Клянусь искать ее всюду, а дотоль ни одного поляка не щадить! И будь он пеший, без меча или пистоя, будь он наг, бос и болен — я все же убью его! Клянусь в этом! — И он широко перекрестился.

Тугаев смотрел на него пораженный, безмолвный.

— Если тебе нужен пособник, я твой, — сказал он наконец.

Петр обнял его и вдруг разрыдался. Для молодого сердца горе было слишком тяжело и неожиданно.

— Павел, как мне горько! Господи, как мне горько! — со стоном произнес он.

## **XXIII НЕМНОГО ИСТОРИИ**

Чума окончилась, то есть ее страшное опустошительное действие окончилось настолько, что жители могли воротиться в Москву во главе с царской семьей и Никоном, патриархом, но по Руси она еще губила людей, медленно смираясь, как разъярившийся зверь. Повсюду были выставлены заставы, устроены карантинные, и пришедшие из чумных местностей наказывались смертью.

Успокоенный царь снова вернулся на театр военных действий в Смоленск (где была его главная квартира) и двинул войска свои далее, но и без него князь Трубецкой и Шереметев одерживали победы над ляхами.

Триумфальным шествием был весь поход русских на Польшу; неприятель разбегался в страхе, города падали и сжигались. Шереметев взял город Велиж, а царь взял Борисов, перешел Березину и стал под Вильной. Гетманы Радзивилл и Гаевский были разбиты наголову и бежали. Вскоре были взяты Ковно и Гродно, наконец пала Вильна, и 30 июля 1655 года, через два года после начала похода, царь торжественно въехал в столицу всей Литвы. Торжественность въезда превосходила все дотоле виденное, и царь поразил своим великолепием простодушных литовцев.

В город друг за другом въезжало шестьдесят карет, причем по одной карете в двух десятках были разительно роскошны. Обитые алым, синим и зеленым сукном, запряженные каждая двенадцатью красивыми лошадьми, с кучерами в высоких черных шапках и голубых кафтанах, они заставляли думать, что в них сидит сам царь. Но царь ехал позади этих шестидесяти карет, в драгоценной карете французской работы, обитой коричневым бархатом, с пятью главами наверху, с позолоченными орлами на главах. Кучера были также в высоких шапках, но в коричневых кафтанах.

Царь сидел в боевом облачении, но вместо шлема на нем была шапка Мономахова, вся унизанная жемчугом. Вокруг кареты шло двенадцать брабантов с ярко блестящими секирами, впереди бежали вершники и скороходы, сзади густой толпой шли и ехали полковники, генералы и ближние бояре, и все время непрерывно грохотали пушки.

Царь занял Радзивиллов замок, до которого по всей дороге было разостлано алое сукно.

Литва стала нашей. А в то время как мы одерживали победы, завоеывая Литву, шведский король Карл X завоевал Польшу. Он занял

Варшаву, Краков и шел по всей земле с огнем и мечом. Польше пришел конец.

Историк Дарвилл (*FastedelaPologneetdelaRussie*, t. 1, p. 163) говорит: «Казалось, что в сие время обратились все бедствия на Польшу. Шведы завладели большею ее частью, россияне разоряли Литву. Казаки тем временем отторгнули Чермную Русь. Несчастный польский король Иоанн Казимир поручил свое отечество Пресвятой Богородице и сам бежал в Силезию, по примеру Людовика XIII, убежавшего из Польши так же в 1638 году».

Это время, между прочим, описано Сенкевичем в его романе «Потоп», в котором, к сожалению, более поэтического вымысла, чем исторической правды.

Польша погибала. Царь вскоре, оставив города на воеводство близким людям, вернулся в Москву, и слава русского оружия заставляла задумываться Европу.

Но испокон веков дело нашего оружия уничтожали интриги и дипломаты. Так было и тут.

Существование Польши было необходимо для равновесия сил европейских держав. Ей надо было помочь тайно или явно, ее надо, было поддержать и восстановить, и за это дело взялся австрийский двор со своим дипломатом Алегрети.

Лучшим средством помочь Польше было поссорить двух ее неприятелей: русских со шведами, — и хитрый дипломат с энергией взялся за это дело.

Он начал с того, что изумился дерзости шведского короля, воевавшего с Польшей самостоятельно, в то время как войну начал русский царь. В этом он видел прямое неуважение к русскому царю и сумел действительно попасть на больное место. Дальше он сумел внушить мысль о возможности войны со всеми католическими державами из-за Польши и советовал защитить ее при заключении мира от посягательств Швеции. И, наконец, на почве вражды к протестантству (не признающему ни святых, ни таинств), он сумел склонить на свою сторону патриарха Никона, который стал говорить царю о войне со Швецией. Со всех сторон оказывали давление на царя, а тут еще русский самозванец, Тимошка Анкундинов, нашел в Швеции приют, и царь объявил ей войну, в которой была наша гибель и возрождение Польши.

Войска из Литвы были двинуты на Швецию. В короткое время мы взяли Орешек, Ниеншанц и подошли к Нарве под руководством боярина Ордын-Нащокина. В то же время Долгорукий двинулся к Дерпту, взял его и соединился с Черкасским, пошел на Ригу, но на этом и кончились успехи нашего оружия. В несчастной осаде мы потеряли до десяти тысяч убитыми, четырнадцать тысяч пропавшими без вести и принуждены были отступить.

В то же время на виленском съезде поляки, обольстив царя польскою короною, получили назад все земли, завоеванные русскими, причем, понятно, русский царь был обманут, и этот договор послужил только причиною к разладу между нами и Малороссией, которая не решалась нам более верить.

А пока шли все переговоры, пока мы несчастливо воевали со Швецией, Ян Казимир вернулся и с успехом отвоевывал назад взятые нами города. Лилась кровь потоками, истощалось государство Московское непосильными налогами для войны, гибли люди, и в конце концов мы остались ни при чем, обойденные хитрыми дипломатами.

Самуил Коллинз писал в то время в Лондон к друзьям своим: «Русские, взяв Вильну и другие города, взяли в плен и Lues Venerea (позорная болезнь) и, вероятно, провладеют ею долее, чем иными городами. Прежде этой войны, в течение тысячи лет болезнь сия не была известна в России».

Принимая во внимание, что этот Коллинз был врачом при царе Алексее Михайловиче, можно с доверием отнести к его свидетельству. К тому же он оказался и пророком. Недолго в ту пору мы владели завоеванными городами, память же о том походе в ее залоге живет и по сие время, губя русское население страшной болезнью.

Петр Теряев участвовал во всех походах против поляков и вдруг из юноши обратился в зрелого мужчину. Все удивились, глядя на его военные успехи, и князь Трубецкой не раз говорил:

— Царь наш батюшка прямой прозорливец! Недаром он тебя полковником сделал!

Петр рубился с поляками, не ведая ни сострадания к ним, ни пощады, и сами поляки узнали его с его полком, прозвав кречетом, — с такою силою и стремительностью он налетал на них.

И всегда рядом с ним рубились Тугаев и Кряж со своим тяжелым шестопером.

Петр везде искал Анелю, но нигде не находил ее. Она сгинула без следа.

Когда взяли Вильну, Петр переспросил чуть не всех евреев, но они только трясли пейсами, разводили руками и говорили:

— Не вем, пан мой! Який Мордке з Витебска, яки панна Анеля! Ми туточки ниц не знаем!

Петр приходил в отчаянье.

— Ах, — восклицал он, — если бы не полк этот!

— Что бы было? — спрашивал Тугаев.

— Я бы поехал по всей Литве и Польше, ища Анелю, а теперь что я могу?

— Пожди, — уговаривал его Тугаев, — война окончится, замирился и пойдем с тобою искать ее. Не могла она сгинуть.

— Искать, — говорил со стоном Петр, — найти ее и узнать, что она уже жена другого, что проклятый ее насильник уже надругался над нею! Найду ее и убью!

— Нешто она виновата?

— Ах, я мучаюсь, Павел! Сил моих нет!

И Петр плакал, как малый ребенок, вспоминая невинную чистую первую любовь, мелькнувшую, как луч в непроглядной тьме.

Атаман Золотаренко, глядя с удивлением на Петра, восклицал:

— От же гарный хлопец! Он не жалует ляхов, як добрый казак! Так их, подлых! Гуляй, казак!

И все дивились удали Петра, не замечая, что в ней и отчаянье, и злоба, и беспощадная месть.

Нет Анели! Нет даже следа ее. Случалось, весь день истратив в поисках, Петр ночью предавался мрачному отчаянью и утром являлся перед своим полком угрюмый, бледный, с ярко горящими глазами.

Солдаты смотрели на него с почтением и говорили:

— Не поздоровится сегодня ляхам, коли дело будет!...

Война окончилась, и еще более убитый, мрачный возвращался Петр в Москву. Последняя надежда была утрачена — надежда хоть случаем найти Анелю. Теперь она уже пропала для него навсегда. Это сознавал и друг его, Тугаев, стараясь хоть чем-нибудь рассеять грустные думы Петра.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

### I ВОРЫ

Верстах в восьми от Москвы по Можайской дороге, если свернуть немного влево, можно было видеть просторную избу с широким двором и зеленою елкою у высокого крыльца. Это был заезжий двор, хозяином которого был здоровенный мужик с черною окладистою бородой и быстрыми глазами, по имени Никита Владимиров, прозвищем Свищ.

Поздно вечером в январе 1659 года он запер крепко-накрепко двери в избу, заслонил окна ставнями изнутри и со своим прислужником спустился в просторный погреб, где они быстро принялись за странную работу.

Егорка, рыжий парень лет двадцати шести, разжег-стоявший в углу погреба горн, а когда разгорелись в нем уголья, Никита вытащил медную полосу и стал накаливать ее.

Красный свет горна бросал на этих двоих людей свой отблеск, и они, сильные, высокие, казались заплечными мастерами, испачканными кровью.

— Раздувай, раздувай, Егорка, — говорил Никита, поворачивая на угольях полосу меди. — Будя теперь! Тащи молот да клеймо. Скоро, бесов сын, чертово отродье!

Егорка бросился в угол подвала и тотчас появился вновь с тяжелым кузнечным молотом и двумя железными стойками.

— Укладывай! — приказал Никита.

Егорка поставил одну стойку на наковальню, Никита тотчас наложил на нее полосу, а Егорка прикрыл ее другою стойкою аккурат одна против другой.

— Бей! — сказал Никита.

Егорка взмахнул молотом и ударил что было силы. В медной полосе образовалось круглое отверстие величиною с нынешний пятак.

— Важно! — со смехом сказал Никита. — Валяй дальше!

И они снова накаливали полосу, укладывали ее и били молотом. Работа подвигалась медленно, но с каждым ударом из полосы меди



выбивалась медная полтина, которую в ту пору, по приказу государеву, велено было считать за серебряную.

Никита взялся уже за вторую полосу, когда со двора раздался оглушительный лай цепных собак, и почти тотчас в люк заглянула жена Никиты Лукерья и сказала:

— Никита, кто-то ломится! Ругается страсть как и дюже в дверь лупит!

Никита отбросил полосу, Егорка опустил молот, и в тишине до них отчетливо донеслись могучие удары в дверь.

— Ишь дьявол! — выругался Никита. — Ну, я ему! Заливай уголья, Егорка, да пойдем!

Егор быстро плеснул в горн водою, и уголья, зашипев, погасли. В погребе стало темно.

— Захвати молот, — сказал Никита и полез из погреба, а следом за ним и Егорка.

Когда они вошли в избу, стук в двери принял такой угрожающий характер, что казалось — вот-вот дверь разлетится щепками. Собаки надрывались от лая, но не могли вырваться за забор и помешать буянам.

Никита стал о бок двери и осторожно открыл волоковое окно. В темноте зимней ночи он увидел три фигуры, из которых одна усердно молотила в дверь.

— Стой, Панфил, — раздался голос, — поищем обрубочка какого, да им и саданем!

«Ишь, дьяволы!» — испуганно подумал Никита и закричал:

— Кто там? Чего ночью надобно?

Бой в дверь прекратился тотчас.

— Откликнулся, леший! — послышался один голос.

— Отворяй, что ли! — раздался другой. — Али православных заморозить хочешь!

— Да кто вы?

— Поговори еще! Государево слово знаешь? — со смехом ответил третий голос.

Никита в ужасе отшатнулся, но тот же голос произнес успокоительным тоном:

— Да брось кочевряжиться, Никитка! Отвори, а то петуха сейчас тебе пустим!

— Мирон! Кистень! — вскрикнул Никита.

— Он и есть. Отворяй, что ли!

Никита тотчас захлопнул окно и стал отдавать приказанья.

— Егорка, разжигай печь, живо, слышь! Лукерья, засвети огонька да волоки на стол что есть у тебя. Сейчас, соколы! — и с этими словами Никита быстро выбил клин и снял тяжелый засов с двери.

— Входите, гостями будете! — сказал он, впуская ночных посетителей. В двери белыми клубами пара пахнул морозный воздух, и, внося с собою холод декабрьской ночи, в избу вошли трое мужчин один другого здоровее и стали околачивать нога об ногу и дуть себе в кулаки. Один из них припадал на правую ногу и забавно привскакивал, стараясь согреться.

Никита поспешно запирает засовом дверь.

— Ну, волк тебя заешь, — заговорил мужчина с короткой ногой, — счастье, что у Панфилушки ничего, окромя кулаков, не было. Полетела бы твоя дверь!

— И то едва не вышибли! — сказал Никита, с уважением оглядывая Панфила, детину громадного роста, в коротком тулупе и треухе.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Мирон. — Ты еще не знаком с ним-то. Ничего! парень добрый!

— Ну, угощай, хозяин! — закричал Федька Неустрой, увидев входившую Лукерью. — Сухая-то ложка рот дерет! На пустое брюхо не разговоришься! Мы, почитай, со вчера ничего не жевали!

— Милости просим! — поклонилась гостям Лукерья в пояс. — Что Бог послал!

— Так-то лучше будет! Распоясывайся, что ли, братцы! — сказал весело Неустрой и первым, наскоро покрестившись, уселся за стол. — Ну, хозяйшка, — закричал он, — для дорогих гостей что есть в печи — все на стол мечи!

— Ишь ты! — широко усмехнулась Лукерья.

Тем временем за стол уселись и остальные, и скоро в горнице наступило молчание, нарушаемое жадным чавканьем трех ртов. Сильно были голодны Никитины гости, потому слопали они и щи с бараниной, и здоровый горшок каши, и курник, что изготовила Лукерья на случай заезда купца или боярина.

Наконец, насытившись, они откинулись, вытирая вспотевшие лица, и Никита тотчас налил им по чарке пенного.

— Вот это любо! — сказал Мирон, а Неустрой умильно посмотрел на свою стопку и заговорил с нею.

— Винушко! — Ась, мое милушко? — Лейся мне в горлышко! — Изволь, красно солнышко! — с этими словами он опрокинул чарку в рот и тотчас подвинул ее к Никите.

— Подсыпь, сокол!

Никита налил и приступил к беседе.

— Чего ради сюда попали? Али с Сычом повздорили?

— Сыч-то ау! — сказал Неустрой, — с того и к тебе пришли. Осиротели без него!

— Побывчился<sup>[66]</sup>?

Мирон замотал головою.

— Стрельцы забрали! Слышь, этот черт Матюшкин давно на нас зубы точил, да увертливы мы, а тут подьячие, вишь, доглядели, что Сыч рубли готовит, и зацапали! Мы в те поры ходили царя в Коломенское провожать, пояса снимать. Его и забрали, и животишки все, и Акульку мою! — голос Мирона дрогнул.

— Сычу-то оловом глотку залил, — продолжал за своего атамана Неустрой, — Акульку насмерть засек. Слышь, не сдалась ему, черту старому, а мы в бега. Схорони нас неделю-другую. Отслужим!

Никита недовольно поморщился, но, зная, что за люди его гости, не решился перечить.

— Что ж, поживите! — сказал он. — Тут в погребе места хватит! — И прибавил: — От нечего делать рублевиков поработайте!

— Ну нет! — тряхнув головою, ответил Мирон. — У нас делов во сколько! — И он поднял руку выше головы.

— Буду Москву мутить! — пояснил он с усмешкою. — Ладно! Узнает меня боярин Егор Саввич за Акульку мою. Раз вывернулся. Ништо. Теперь не уйдет от меня!

— И я ему ногу помянуть охоч, — прибавил Неустрой, показывая свою скорченную ногу.

— А я ему за все свое житье холопское! — сказал до сих пор молчавший Панфил.

Никита покачал головой.

— Что и говорить, разбойник! Вор как есть! Для чего только Москву поднимать? Да и как сделаешь это?

— Москву-то? — усмехнулся Мирон. — Да только кликни! Нешто впервой? Вон годов семь назад как можно было. Любо два! А теперь?! — И он махнул рукою, а потом заговорил:

— Теперь всякий за рожон возьмется. Гляди! Купцы за пятую деньгу волком воют, посадские вопят, мужик за все платит: и за прорубь, и за мост, и за воз, и за скотину! Это что же? И опять медная деньга. Теперь рупь-то восемь стоит, а?

Никита слушал и кивал головою.

— Хуже, чем при Морозове было! Тогда народ-то как озверел, а теперь этот Милославский да Матюшкин, что они делают? Я уж покажу им! Сам царь их с перепугу отдаст, как тогда Плещеева. Небось!

Глаза Мирона загорелись.

— Я покажу ему! Попомнит он Акулину мою! — повторял он снова, и если бы увидал его в ту пору боярин Матюшкин, не знал бы он с того времени покоя ни днем ни ночью.

— Что и говорить. Вор известный, — сказал Никита, — только такое нам не на руку!

— Это что ты медные полтины делаешь? — сказал Мирон. Никита вздрогнул.

— Так ты их и делай! Нешто кто тебе помеха, а он пусть свое делает честью. Теперь с Сычом. Я те, говорит, отпущу, отдай свои животы. Тот отдал и кубышку свою, и все, что от чумы мы набрали, а он ему олово в глотку! Ась? Это по чести? Опять с Акулькой! Нет! — И Мирон даже заскрипел зубами.

— Эй, хозяин, суха ложка рот дерет! Без хмельного зелья нет и веселья! — сказал Неустрой.

— Пей, пей! — ответил ему Никита, подвигая красулю.

Лукерья давно уже храпела на печи. Егорка, опьянев, растянулся под столом; Панфил, положив голову на стол, спал богатырским сном, а Никита, Мирон и Неустрой еще долго беседовали промеж себя, так близко сдвинувшись головами, что их волосы представляли как бы одну копну. Они перебирали имена именитых людей, к которым во время бунта хорошо было бы зайти на дворы.

## II ДВА БРАТА

Молодой князь Терентий Теряев за свое служение царю во время чумы в Москве и походов был отличен царем и поставлен в думу, где вскорости сделался правой рукою Ордын-Нащокина, одного из величайших государственных умов всех времен.

Молодой князь Петр Теряев за свои воинские отличия, оставаясь начальником полка, сделался одним из любимейших приближенных царя.

Кажется, должен был радоваться князь Михаил Терентьевич возвеличению своего рода, а он только вздыхал да с тайною тревогою поглядывал на своих сыновей.

С обоими приключилось что-то неладное. Оба угрюмы и молчаливы дома, оба всегда норовят одним остаться и неохотно вступают в беседу даже с родным отцом.

У Терентия и в дому не лад. Молодая жена его сохнет и чахнет. В ее терему девушки не поют песни, а сидят молчаливые, бледные, боясь окрика старой ключницы, и словно смерть бродит в его половине. Не раз княгиня Ольга говорила своему мужу:

— Ох, и не пойму я, что у нас в доме деется? Где прежняя радость да веселье, да мир и любовь! Каждый бирюком смотрит! Гляди, как Дарьюшка сохнет! И не диво! Слышь, Тереша-то ее не приголубит, не приласкает, плетью не учит. Ровно чужая она. Плачет, заливается, мне печалится. А я что?

Князь тяжело вздыхал и, поглаживая бороду, угрюмо смотрел в тесовый пол, а княгиня, присев на лавку, тяжело переводя дыхание от одышки, толстая, рыхлая, жалобным голосом говорила:

— А на Петра взглянуть, что с ним? Словно присуха какая приключилась, как с войны вернулся. Куда смех его делся да голос звонкий? Поди, даже дома не сидит. Чуть что, сейчас в полеванье<sup>[67]</sup>, а дома что привороженный ходит. Аннушка, на них глядячи, и та присмирела: ни песен не играет, ни с девушками не возится. Сидит да жемчугом ризу в монастырь к деду шьет. Сухота да маета!

— Знаю, вижу! — проговорил наконец нетерпеливо князь. — Не докучай ты мне, Христа ради! Известно, у бабы волос длинен, ум короток. Чем выть тебе да причитать, давно бы дознаться могла. Слуг поспрошать али что. Я при делах на верху, в походе, а ты что? Эй, до

старости доживем, а все тебя, глупую, учить надо будет. Дура, пра, дура! Сенных девок поспрошай, те с холопами потолкуют, а я что? — Он развел руками. — С ними говорить, так они нешто скажут?...

Но хотя и пыталась всех девок и холопов княгиня, не добились они от кого истины. Да и как добиться ее?

Разве Кряж один мог порассказать про короткую любовь своего господина к полячке, да не таков он был, чтобы языком колотить.

А что до Терентия, так никому и в голову не могло прийти, что боярыня Федосья Прокофьевна иссушила его сердце и поразила ум.

Впрочем, и сам Терентий не сказал бы теперь сразу, что случилось с ним такое. Из далекой ссылки вернулся Аввакум и был обласкан наверху. Сам царь не допустил его до себя, но наградил десятью рублями. Царица дала тоже десять рублей. Ртищев, Стрешневы, Морозовы, сам князь Теряев, Ордын-Нащокин — все стали награждать Аввакума, якобы в пику изгнанному и сосланному Никону, и в те поры князь Терентий успел послушаться его проповедей, заходя тайно, в ночи, в дом к Морозовым, где нашел себе приют многоречивый Аввакум. Слушал его речи Терентий и весь содрогался. Слушал рассказы его про чудеса многие, как Господь оказывал помощь и ему, Аввакуму, и его единомышленникам в трудные минуты; про его страдания в тяжелой ссылке в далекой и голодной Сибири, когда они пешком, изможденные, шли по обледелым дорогам, когда мать попадья упала, а поп на нее, и закричала: долго ли терпеть такое? А Аввакум сказал ей: до самой смерти! Ну, ин потерпим, — смирившись, ответила жена его и поплелась далее. Что это? Ради чего это? И все ему отвечали: ради спасения души своя, ради Господа! Почему же и он, и отец, и все вокруг приняли с такой легкостью троеперстное сложение, и аллилуйя, и. «Иисуса» с лишним «и»? И ему объяснили: по малодушию! Сатана лукав и обольстит всякого. Никон же был зело хитроумен и лукав, и уста имел медоточивые. Царя обольстил, и тот от веры отступил. И страшно делалось при этих словах Терентию. Сосредоточенный ум его, меланхолический и суеверный, рисовал геенну огненную, муки адские... Он бледнел и думал: претерпеть здесь лучше, чем жизнь вечную, и все горячее и горячее относился к учению Аввакума, становясь его прозелитом.

И ясно, что никто в доме не мог понять его состояния, потому что вообще на эти богословские темы никогда даже не поднималось у них

разговоров.

А что до Петра, то он только с Тугаевым делил свою тоску и думы.

Образ Анели неотступно преследовал его.

Изменился Петр.

Никто в доме не узнавал теперь в этом молчаливом, угрюмом воине прежнего веселого, беспечного юношу.

Петр несколько раз порывался бросить службу и ехать искать Анелю, но царь не отпускал его от себя, особенно дорожа им на охоте. В свите его, кажется, не было наездника, равного Петру.

Время шло, и острая боль обиды притуплялась, но Петр не мог уже вернуть прежней веселости. Все вокруг него как-то потускнело и утратило свежесть новизны и прелесть интереса.

Только иногда он забывался совершенно в охоте, особенно если царь устраивал схватки кречетов с коршунами.

Дивился князь на своих сыновей и не знал, что с ними случилось и как даже узнать про то. Пробовал он заговаривать с ними, но они выросли уже из тех лет, когда на них можно было крикнуть и силой выпытать тайну, а сами они не открывали сердец своих.

— Нет, в наше время иначе было, — говорил иногда с горечью князь, — дети к отцу ближе стояли!

Боярин Матвеев, Артамон Сергеевич, однажды ответил ему с усмешкой:

— Ой ли, князь! Смотри, и раньше так же бывало, только мы тогда сыновьями были. В том и разгадка всему! Вспомни-ка свою молодость? Али с отцом по одному думал?

Теряев взглянул на умное лицо Матвеева и вспыхнул.

Правда, великая рознь была между ним с отцом, и кончилась она чуть не кровной враждой. Он вздохнул и ответил:

— Может, и прав ты, Артамон Сергеевич! Только тяжко отцам это.

— Что говорить! Да разве у тебя сыновья бездельники какие, что ты все вздыхаешь да охаешь?

Князь выпрямился.

— У Теряевых бездельников не было никогда!

— Ну так что же?

В голосе Матвеева слышалось участие. Князь знал его за умного и доброго человека, еще более — за царского любимца, и поведал ему

свое горе.

Матвеев покачал головою.

— С Петром-то правда неладное что-то. Я и сам видел. А с Терентием что? Человек он вдумчивый, хмурый. Его оставь. Дело делает, царю служит...

— Не то! В доме врозь все ползет, разлад. Надвигается что-то, Артамон Сергеевич, на нас на всех!

— Еще чего выдумал! — усмехнулся Матвеев.

### III СОКОЛИНАЯ ОХОТА

Шестой год уже исходил, как Петр вернулся из походов и тосковал по Анеле, и однажды в теплый осенний день он выехал с Кряжем в усадьбу под Коломну посмотреть на свою охоту.

Кряж ехал молча подле своего господина, потом вдруг с решимостью встряхнул головою и сказал:

— Князь! Дозволь слово молвить!

— Чего?

Кряж поправился на седле.

— Сказывают, что можно нам эту полячку найти!

— Как? где? — Петр весь встрепенулся, как кречет.

— У нас тут под Коломною колдун есть. Слышь, бают, он дознать может...

— Ложь! — сразу разочаровавшись, ответил Петр. — Бабы сказки это, Кряж!...

Немец Штрассе, а потом за последнее время Матвеев, этот европейски образованный человек, успели разрушить глупые предрассудки в уме Петра.

— Как твоя милость! — ответил Кряж. — Люди ложь, и я тож, а только сказывают!

— Что же сказывают?

— Всякие дела он делает... — и Кряж начал передавать удивительные вещи о том, как колдун открывал воров, как уничтожал присуху, как заговаривал руду, как одной бабе Куприхе показал мужа, который в ту пору под Вильной бился.

Петр слушал, и в его сердце начинало вкрадываться сомнение.



А что если все это правда? Недаром же отцы и деды этому верили, недаром же умные люди, составляя уложения, о колдунах помянули. Вон Тугаев носил же в поход заговоренную кольчугу, и что ж? Ни пуля, ни меч его не тронули...

— Хорошо, Кряж, найди его и уговорись с ним! — сказал Петр и прибавил: — Может, и выйдет что.

— Выйдет! Он нам ее во как укажет! — оживляясь, сказал Кряж.

Они приехали в усадьбу, и Петр отдался своей забаве. На псарне он оглядел любимых псов, потом зашел в соколиное отделение и осмотрел своих соколов.

Молодой парень Фаддей, его сокольничий, с сознанием своего достоинства ходил следом за своим господином и спешно отвечал на его вопросы.

Понятно, у Петра не было такой охоты, как у царя (кроме шаха персидского — единственной в мире). Но и у него она была поставлена на широкую ногу.

Длинная, низкая комната была справа и слева уставлена клетками, большими ящиками, обитыми внутри войлоками, и в каждой клетке на перячине сидел сокол с серебряной цепкою на ноге.

Тут же висели соколиные колпачки, рукавицы для сокольников. В конце этой комнаты мальчишка укрощал недавно купленного сокола. Несчастливая птица проходила первое испытание. Она сидела на перекладине с подвязанным крылом и с колпаком на голове, и мальчишка ежеминутно то дергал ее за привязанную к ноге веревку, то шумел над ее ухом гремушкою. Эта мука должна была продолжаться трое суток. Птица без пищи, без сна, при постоянной тревоге совершенно теряла голову и уже тогда поступала в обучение к сокольнику.

— Добрая будет птица! — сказал Петр, любуясь статями сокола.

Он был почти белый. Крепкий клюв его был круто загнут и широкая грудь обличала силу.

— Хоть царю впору! — усмехнулся сокольничий.

— Ну, проедемся, попускаем!

— Кого возьмем, господин?

— Бери Гамаюна да Обноска. Прихвати еще Пестрого. Осрамил он меня тогда, а я все в него верю. Коршунов приманил?

— Вечор падаль у оврага выбросили. Надо полагать, слетелись!

— Ну, так едем!

Охота на коршунов с соколами была любимейшей того времени и имела характер чистого спорта. Мало было занимательного, когда могучий сокол с налета бил мирную птицу: утку, гуся или цаплю, а то и того хуже — малую птаху, но когда он охотился на такого же хищника, охота принимала увлекательный характер. Коршун, да еще из матерых, не давался без боя, и нередко плохой сокол оставался побежденным в этой воздушной битве. Опытный коршун вдруг перевертывался на спину и бил сокола прямо в грудь; в свою очередь и опытный сокол знал эту повадку и летел не камнем на коршуна, а сбоку — стрелою, а то и снизу, как камень из пращи.

И пока происходила эта битва в воздухе, охотники следили за нею с замирающим сердцем. Особенно если выпускались соколы разных хозяев и происходило соревнование.

Петр вдоволь натешился охотой и радостный вернулся домой. Пестрый вправду постоял за себя и бил коршунов с одной схватки.

— Ужо царю покажу! — говорил радостно Петр.

В горнице его поджидал Кряж. При входе князе он подвинулся к нему с таинственным видом и сказал:

— Коли милость твоя не побоится нечисти, так он наказал к часу до полуночи быть на дороге подле разбитого дуба. Там он ждать будет.

— Это колдун-то? — усмехнулся Петр.

— Он!

В голосе Кряжа слышалось невольное почтение. Петр взглянул на него.

— Что это ты? Словно тебя лихоманка трясет?

— Страшно! Я до поры того и не думал. Сова у него, ворон, кости сушеные, и сам он с бородой. У-ух!

Петр засмеялся.

— Эх ты, Аника-воин! Значит, не пойдешь со мною?

— Как можно! — ответил Кряж. — А что боязно — это точно. Он не то что лях. Он со всякой нечистью свой человек.

— Ну вот и послушаем, что он врать станет.

Кряж покачал головою

— Меня сразу признал. От князя, говорит, сердце болит, по милой сохнет, а где голубица, того не знает ни он, ни я, а лишь сатана! Да как захочет. Приходите, говорит, молодчики!...

Петр вздрогнул. Неужто он уже и дело знает, зачем зовут его.

— Сам сболтнул?

— Да рази меня на этом месте!... — побожился Кряж.

— Ну, ин! Попытаем его. Возьми с собой кистень малый да рублей десять, что ли. Пойдем!

— С нами крестная сила! — пробормотал Кряж.

Признаться, он уже трусил этого похода, но отказаться от него не мог из сознания долга.

Наступила глухая осенняя ночь. Небо покрылось тучами и завыл ветер. Петр завернулся в широкую епанчу, надвинул на глаза колпак и смело двинулся из дому.

— Дорогу знаешь? — спросил он у Кряжа.

— Ззззнаю, — пробормотал Кряж, лязгая от страха зубами.

— Ну, и иди вперед!

— С нами крестная сила! — сказал торопливо Кряж. — Свят, свят, свят! Да воскреснет Бог!...

— Оставь! — остановил его Петр. — Ты только гляди, не сбейся.

— Чего сбиться-то! Верста.

Они действительно шли недолго. Кряж вдруг остановился и сказал:

— Бона! Тут! Господи помилуй! Свят, свят, свят!

Луна на мгновенье выплыла из-за облаков и осветила глухую местность. От дороги направо на небольшой полянке стоял огромный коренастый дуб, сломанный грозой, за ним мрачною стеною чернел густой лес. Кругом было пустынно, глухо, и только ветер гудел на разные тоны, шумя в лесу между ветвями.

— Значит, у этого дуба, — сказал Петр и решительно двинулся вперед.

Едва он прошел несколько шагов, как от зеленой массы дуба отделилась человеческая фигура и двинулась ему навстречу. Петр остановился и невольно положил руку на рукоять поясного ножа.

— Это я, Еременко, не бойсь, княже! — раздался в темноте глухой голос. — Коли пришел, вражьей силы не страшась, чего лихих людей бояться? Хи-хи-хи!

«Заприметил», — с удивлением подумал Петр и ответил:

— Я и не боюсь ни людей, ни бесов, ни наваждения!

— А зачем пришел? — спросил назвавший себя Еремейкой.

— Говорят, ты всякую пропажу находишь, а у меня есть такая!  
— Нахожу, соколик, нахожу! Хи-хи-хи! А ты что старику дашь за это? Ась?  
— Не обижу! Колдуй!  
— Сейчас, сейчас, милостивец! Крест-то на тебе? Ась?  
— На мне!  
— Скинь его, скинь! Отдай Кряжу, что ли, он подержит! Ну, ну, соколик!  
Князь колебался одно мгновение. Э, была не была!  
— Кряж!  
— Чего? — отозвался Кряж издали.  
Петр усмехнулся и сам пошел на голос Кряжа. Он шагах во ста сидел под кустом и звонко лязгал зубами.  
— На крест тебе мой, и жди меня!  
Петр вернулся к дубу снова.  
— Ну, старик, колдуй! — сказал он.

#### IV КОЛДОВСТВО

— Сейчас, сейчас, княже! — сказал, хихикая, старик. — Не торопись только!

Он присел на корточки, и князь услышал стук огнива о камень. В темноте посыпались красные искры и на миг осветили желтое лицо старика, раздувающего тряпицу. Еще мгновение, и князь увидел вспыхнувшее пламя костра, очевидно, сложенного раньше, и над ним на треножнике котелок. Пламя разгорелось. Старик встал на ноги.

— Слушай, — сказал он князю, — я очерчу круг, и ты смотри из него не выступай. Что бы ни было, стой, а то всем нам худо будет!

Князь кивнул головою, а старик, взяв палку, ехал очерчивать по земле круг, бормоча себе под нос заклинанья.

— Шиха, эхан, рова! чух, чух! крыда, эхан, щоха! чух, чух! Маяла да на кагала! Сагала, сагала! — слышал князь его бормотания.

Костер разгорелся. В котелке что-то шипело, клекотало. Старик окончил чертить круг, стоял над котелком и ломался — и в сердце князя начинал пробираться суеверный страх.

Вдруг старик выпрямился, поднял кверху руки и громко завопил:

— О вилла, вилла, дам, юхала!  
Гираба, нахора, юхала!  
Карабша, гултай, юхала!

В лесу раздался жалобный плач филина, где-то, словно ребенок, закричал заяц, пронесся ветер, шумя ветвями. Князю показалось, что вокруг него стонут, гогочут и кричат на сотни голосов. Он схватил рукоять ножа и судорожно сжал ее.

Старик стукнул о котелок палкой и, быстро сняв его, поставил на землю перед князем. Костер медленно угасал.

— Смотри, смотри! — прохрипел колдун князю и, воздев кверху руки, стал приседать, прыгать и выть диким голосом свои заклинанья:

Кумара!  
Них, них, запалам, бада.  
Эшохоло, лаваса, шиббода!  
Кумара!  
Ааа — ооо — иии — эээ — ууу — еее!

В тишине ночи плачем, воем и стоном разносился его крик. Перед князем стоял котелок, бурля и шипя. Князь глядел на него и видел, как из него, словно туман, поднимается белый пар.

Вдруг князь задрожал и побледнел.

Пар поднимался выше, выше и мало-помалу принимал очертания воздушной легкой фигуры.

— Анеля! — воскликнул князь.

— Ха-ха-ха! — закричал где-то филин.

— Гаятун, гаятун! — выл старик, а очертания приняли явственную форму Анели, и она, казалось, тянула белые, прозрачные руки к князю. Вдруг рядом появилась усатая рожа поляка. Грубая темная фигура обхватила призрак Анели и помчала ее вдаль. Все смешалось. Князь тяжело перевел дух и опять вскрикнул. Пар клубился, охватил его всего как туманом, и из струй начали рисоваться новые картины.

Сшибка. Дерутся. Льется кровь. Русские? Нет, это казаки с ляхами. И снова Анеля! Какой-то усатый казак в красном жупане с черным чубом мчит ее на коне...

Полуосвященный покой. Горит лампада. Кругом диваны, подушки, ковры... кто-то сидит в белой чалме, и опять Анеля... в голубых шальварах, с белым покрывалом на голове. Она падает перед человеком в чалме на колени. Он кричит. Что это? Двое черных эфиопов бегут, бросаются на Анелю, рвут на ней одежды, и вот она нагая, с волосами до самых пят...

— Анеля! — снова закричал князь, и опять все исчезло.

...Крики, пожар, суматоха, злые разбойничьи лица, молодая девушка с черной распущенной косою и витязь, секущий мечом в обе стороны...

...Брачный пир... витязь и девушка...

— Шью, шью, бан! ба, ба, бан, ю! — выл хриплый голос старика.

Князь очнулся. Кругом было темно и глухо. Старик хрипел подле него и говорил:

— Все, княже!

Князь тяжело перевел дыхание. Что это было? Сон? Наваждение? Шутки дьявола?

— Проводи меня до слуги, — сказал он колдуну.

— Идем, идем! Пробил урочный час, скрылась бесовская сила! Рвалась она, хотела нас ухватить, да сильны были заклятья, — бормотал старик, взяв князя за руку и ведя его.

— Кряж! — крикнул Петр.

— Княже! — отозвался неуверенный голос слуги. — Жив! Слава Те, Господи! На крест тебе! Одевай!

Голос слуги вернул Петра к действительности. Он надел на шею крест и совершенно оправился от неясного страха.

— Жив! — сказал он. — Дай старику пять рублей и идем!

— Пять? — недовольно пробормотал Кряж. — Ишь ты! Сколько страху нагнал, да еще пять! Шелепами его!

— Ты поговори! — закричал старик. — Призороки знаешь? Ушибиху знаешь? Потрясиху знаешь?

— С нами крестная сила! — завопил Кряж. — Чур меня! Сгинь, окаянный! Жри! Подавись!

Он кинул деньги и бросился к князю.

— Я все могу! — говорил старик. — Я иссушу, как сено, как ковыль!

— А ну его к ляду! — бормотал Кряж, шагая рядом с господином. — Вот навязались!

— Сам же уговорил!

— Тебя ради. Вижу, сохнешь. А сам бы я ни в жизнь! Ишь! — прибавил он, оглядываясь.

Старик зажег ветвь и, светя ею, шарил по земле брошенные Кряжем рубли.

Петр вернулся домой и лег в горнице на лавке, но сон бежал от его глаз.

Что он видел? Видел Анелю. Видел позор ее. Где она, что она? Теперь не вернуть того, что случилось с нею. Правда или наваждение? И не поймешь! Видел, как явь!...

А потом последняя. Что-то знакомое.

Видел и раньше он это девичье лицо, мелькнуло оно ему где-то... но где? Он не мог припомнить.

Он поднялся рано утром и прямо поехал на Москву.

Не доезжая верст шести до Москвы, князь вдруг осадил коня и сказал Кряжу:

— Слышь, кричат будто? А?

Они прислушались.

— Ратуйте! — явственно донеслось до них.

Князь ударил коня и понесся в сторону криков. Кряж поехал с ним рядом.

Едва они сделали несколько сажений, как за купой деревьев увидели возок. Кони были отпряжены. Какие-то люди спешно хлопотали около возка, а подле них раздавались вопли.

— Воры, — сказал князь и, обнажив меч, поскакал вперед.

— Я вас ужо! — закричал он издали. — Будете вы по дорогам грабить!

Четверо людей оглянулись, бросились в кусты и быстро, словно по волшебству, скрылись.

— Ратуйте! — визжал женский голос.

Князь поскакал к возку и соскочил с коня. Возок был пуст, вокруг валялись меха, служившие одеялами, увесистый сундучок, разная рухлядь. Князь с недоумением огляделся.

— Сюда, сюда! — вопил голос. — Здесь, под кустиком!

— Сюда, княже! — сказал Кряж, указывая на кусты.

Князь пошел за ним следом. Под кустом на земле лежали три женщины. Одна толстая, видимо боярыня, и одна тонкая, стройная, с крошечными ногами, лежали без движения, с головами, завернутыми в платки; третья, толстая, короткая, в шугае и котях<sup>[68]</sup>, очевидно, успела освободить свою голову от платка и вопила на весь лес.

— Ратуйте, добрые люди! Воры напали! Убили боярышню да боярыню! Что я боярину скажу!

— Не ори, баба! — остановил ее Кряж. — Воров уже нет больше. Встань лучше да прикрой голову.

— Ой, дурень, дурень! — завопила старуха. — Да как же я, дурень, встану, коли у меня руки-ноги скручены!

Князь усмехнулся.

— Распутай ее! — сказал он, а сам подошел к двум недвижно лежащим и стал раскутывать им головы.

— Княгиня Куракина, — пробормотал он, снимая с толстой женщины платок и обнажая тусклое лицо чуть не с тройным подбородком, — а это, надо думать, княж...

Он бросил платок и не закончил фразы.

Перед ним лежала девушка с распущенной черной косою, с бледным лицом и полуоткрытыми устами. Та самая, что они видели в эту ночь у сломанного дуба во время волхвования.

Петр смотрел на нее не спуская глаз.

Тем временем мамка поднялась на ноги.

## V СПАСЕННЫЕ

Княгиня и ее дочь лежали недвижимы. Вероятно, страх и затем тяжелые платки на лицах лишили их на время сознания.

— Умерли! — завопила мамка и начала причитать над ними во весь голос. — Милые вы мои, родители вы мои! Что я теперь боярину отвечу!

— Кряж, достань воды, — приказал князь.

— Брось выть, старуха, — сказал он мамке, — скажи лучше, неужто вы одни ехали?



— Одни? — ответила старуха. — Да нешто мы беднота какая? Голь? Чай, мы Куракины будем! Одни! Эвон! — и она даже подбоченилась рукою, маленькая, толстая, в синем шугае. — С нами холопов-то сколько, с полсорока было!

— Где же они?

— А разбежались, проклятушие! Как увидели, что воры на нас — и в россыпь! Душонки холопские! Ужо будет им от боярина! А этому Антошке... Ну-ну!

— А ты покликала бы их!

— Покликала бы! — передразнила старуха. — Да нешто я могу боярышню покинуть! — И, сделав плаксивое лицо, она снова начала выть.

Кряж принес воды, и князь тотчас обрызгал боярыню и боярышню.

— Чай, есть наливка? — спросил он у мамки.

— Есть, милостивец, есть, как не быть!

— Давай сюда, да чарку тоже!...

В походах князь выучился подавать помощь в иных случаях и не терялся при виде даже умирающих.

Старания его скоро увенчались успехом.

И та, и другая вздохнули, открыли глаза и сделали движения.

Князь тотчас дал им по глотку крепкой наливки, и они оправились.

— Милые вы мои! — радостно воскликнула мамка, бросаясь на колени. — Вставайте, родные, ушли воры! Прогнали мы их!

Княгиня села, князь поддержал ее, и в ту же минуту княжна легче серны вскочила на ноги и звонко засмеялась.

— Мамушка, а где кичка твоя?... — но вдруг взгляд ее упал на князя, и она сразу смолкла, зарделась вся и стыдливо закрылась рукавом.

Тем временем попрятавшиеся холопы осторожно вышли из-за кустов и деревьев и окружили своих господ. Мамка с яростью набросилась на них.

— А, подлые! Вернулись! Погодите! Ужо будет вам от боярина! И тебе, Антошка!

— Я что же... — ответил долговязый детина в зеленом кафтане, — я за помощью бежал.

— Кабы не мы... — загалдели остальные.

— Вот с князем поговорите! — угрожающе кричала мамка.

Княгиня с благодарностью смотрела на князя и кивала ему головою.

— Ах, милостивец! Спас ты нас от смерти лютой, от поношения. Ужо боярин тебе в землю поклонится. Пра! Знаю, знаю тебя, соколик! Князя Теряева сынок, нам шабер<sup>[69]</sup>! С твоим братом-то мой боярин в думе сидит, вместилах город берегли! Уж истинно Бог тебя нам послал!

Она говорила без умолку, князь не слушал ее и вспоминал теперь отчетливо, ясно. Не раз и не два видел он эту девушку. Случалось ненароком через забор заглянуть, сидя на коне или со всходов, в сад к своим соседям — и там иногда резвилась барышня с сенными девушками...

Возок поставили на дорогу, вещи уложили, и княгиня с дочерью и мамкой влезли в него. Холопы окружили возок, кони дернули и потянули его по пыльной дороге, а князь погнал коня и скоро скрылся из глаз трусливых холопов.

Он скакал молча. Образ девушки, виденной им раньше в зачарованном круге, смутил его и вытеснил мысли об Анеле.

Дивным дивом казалось ему все это приключение, словно наколдованное стариком.

Таким же дивным дивом казалось оно и молодой княжне Катерине Куракиной.

Живя дом о дом с, Теряевыми, она от сенных девушек немало слыхала рассказов о молодом князе: и как он в походах с ляхами дрался и со шведами, и как его царь отличает. С девичьим лукавством не раз довелось ей ухитриться через заборную щель увидеть молодого князя, как он садится на коня, как едет на нем, как сходит, высокий, статный, с вьющимися кудрями, с светлой бороною.

И не один вечер провела она с сенными девушками, слушая рассказы о нем, о своем соседе.

Запали они ей в сердце, запечатлелся светлой грезой и образ красивого витязя, и вдруг — теперь она встретилась с ним лицом к лицу...

Диво дивное!

То — то будет о чем поговорить с сенными девушками! Будет о чем и помечтать в бессонную ночь или за томительной работою у

пальцев... и боярышня улыбалась радостной улыбкой. Боярыня клокотала, как курица, продолжая ужасаться происшествию, а мамка ворчала и ругательски ругала и воров, и трусливых холопов...

Тем временем на постоялом дворе Никиты, за длинным сосновым столом сидели сам Никита, Мирон Кистень и Федька Неустрой, а Панфил да хозяйский Егорка стояли поодаль. Все были угрюмы и, видимо, недовольны, и Мирон говорил Никите:

— Дурень, дурень! Коли позарился на такое дело, до конца надо делать было! Двоих испугались...

— Коли они на конях и с мечами...— слабо возразил Никита.

Мирон усмехнулся.

— С мечами! Холопов полсорока было, да разбежались, а тут два. На что Панфил-то? Он один коня валит... Бабы! — презрительно окончил он и гневно взглянул на Неустроя.

Наступило томительное молчание.

— А теперь что? — заговорил снова Мирон. — Приедут они на Москву. Холопы ничего не докажут, откуда воры. Чай, могли удуматься, да и кабак один на всю путину. Ну и иди к боярину Матюшкину!

Никита побледнел и вздрогнул.

— А еще и медь найдут... Эх, горе-работники.

— Что же делать-то?...— продолжал смущенный Никита.

— Что? Одно осталось: на Москву идти. Не здесь же стрельцов поджидать, а пока что Лукерья с Егоркою похозяйничает. Да медь убрать, горн снести, а то, упаси Бог, подьячие придут...

В ту же ночь постоялый двор опустел.

Никита и Мирон с товарищами вновь переселились в Москву, где Семен Шаленый, все время бывший в Москве, устроил их в новой рапате.

Такие рапаты, тайные кабаки, вмещающие в себя и игорный дом, и притон разврата, — в сущности, разбойничьи гнезда — были рассеяны в то время по всей Москве.

Не только ночью, но и днем выходили оттуда страшные обитатели на грабеж и разбой и, по свидетельствам очевидцев, нередко среди бела дня, на улице нападали на прохожего, грабили и убивали его прямо на глазах народа.

Дороговизна продуктов, обращение меди вместо серебра, непосильные налоги — все это порождало смутное недовольство, выражавшееся между прочим и в таком открытом разбойничестве, едва ли не покровительствуемом самими воеводами.

Так, Милославский с другом своим Матюшкиным за выкуп выпускали из застенков и воров, и фальшивомонетчиков, как бы благословляя их снова на подвиги.

Разбойники открыто гуляли по городу, и купцы их знали в лицо и старались зачастую умиловить дарами, боясь и разбоя, и убийства, и поджога.

Шаленый, Неустрой и Кистень были также известны многим москвичам, но под началом у Мирона они не смели много своевольничать. Мирон же был уже не простой разбойник.

После того, как Матюшкин вторично отнял у него Акульку и задрал ее за сопротивление, Мирон поклялся ему отомстить. Это дело ему не хотелось делать спроста и, вспоминая первый бунт при Морозовых, еще в начале царствования, он замышлял второй.

— Тогда Плещеева рвали. Теперь Матюшкина тряхнем, — говорил он, и глаза его разгорались. — Увидит он, песий сын, за все лихую расплату!

И, ходя по городу, он с догадливым и бойким Неустроем сеял повсюду недовольство.

То в сермяге и гречишнике его можно было видеть на базаре, то в купеческом кафтане на Красной площади или в рядах, то одетым рейтаром — в царевом кабаке. И всегда подле него ловкий Неустрой со своими прибаутками.

Москва бродила, а еще никто не подозревал даже об опасности, и Матюшкин с Милославским распалялись корыстью только пуще и пуще.

Страшное «слово и дело» было для них отличным орудием. Подьячие сновали здесь и там, выискивая богатого, кричали государево слово. И тащили беднягу в приказ, где за него уже брались хитрые дьяки, под страхом пыток выпытывая из него деньги. Перепадала и подьячим малая толика для разбойного и тайных дел приказов.

## VI ПРИСУХА

— Чего ты? — спросил сурово Петр у своего стремянного, увидев на его лице широкую улыбку.

Это было с неделю спустя после описанного приключения.

Кряж замялся.

— Так, княже, ничего! Не серчай на холопишку! — И он подал ему стремя.

Петр вскочил на коня, оправился и медленно выехал за ворота в сопровождении своего стремянного, но говорить с ним на народе было негоже, и он молча ехал до своего полка, что стоял за Сивцевым оврагом, занимая собою как бы отдельную слободу.

Солдаты со своими женами и детьми жили по отдельным избам, а холостые жили в избах по трое и по четверо, ведя немудреное домовое хозяйство.

Князь проехал в полковничью избу и встретился там с Тугаевым. Они поцеловались.

— А на тебя ноне глядеть радостно, — сказал Тугаев.

— А что?

— Будто повеселел ты. Али радость какая? Может, нашлась...

Петр нахмурился и махнул рукою.

— Не вороши старого, Павел Ильич! — сказал он и снова улыбнулся. — Ты вот что тучею смотришь, ко мне не заглянешь. А намерен я к себе на охоту ездил, за тобой заглянул, а говорят, ты с утра на своем аргамаке ускакал и слуг не взял.

Тугаев побледнел, а потом весь вспыхнул. Спустя мгновение он ответил:

— Не вороши и ты, Петр Михайлович! Мое впереди будет. Может, счастье великое, может, горе лютое. Как-нибудь спокаюсь тебе, а теперь скажи, — спросил он вдруг пониженным голосом, — ты в присуху веришь?

— С нами сила Господня! — перекрестился князь. — Да ведь ты женатый. Что ж тебе?

Тугаев побледнел и опустился на лавку.

— В том и горе мое, — прошептал он побелевшими губами.

Петр покачал головою.

— Слушай, — сказал он, — я басням этим всяким не верю, а все ж есть что-то чудное. У нас в Коломне такой ведун живет, Еремейкой звать. Он тебе, может, и снимет присуху, коли она наложена.

Тугаев вздрогнул, и глаза его сверкнули. Он быстро вскочил с лавки.

— В Коломне?

— Мой Кряж его знает. Хочешь, сведет?

— Князь, друже! — взмолился Тугаев. — Дай его мне на сегодня. Я к вечеру поеду!

Он весь дрожал от волнения. Петр хотел улыбнуться, но вспомнил свое приключение и только кивнул головою.

— Ладно, пошлю сегодня!

Тем временем солдаты собрались перед избою, и Петр должен был к ним выйти. Он поздоровался с кучею сермяг, зипунов и кафтанов и громко опросил всех, всем ли они довольны.

На этом и кончился смотр. Возвратившись домой, Петр позвал к себе Кряжа, наказал ему ехать к Тугаеву и служить, как ему, а потом спросил:

— Чего ж ты хмылился?

Кряж опять усмехнулся и потупился.

— Не будешь гневаться, княже?

— Ну? А что?

— Да девки тут, от Куракиных, меня к забору заманули. Такие ли затейницы!

Петр невольно покраснел.

— Ну?

— Все о тебе пытали. Нет ли у тебя зазнобы какой. Куда с тобой ежжу, да как тебе княжна приглянулась да не захочешь ли свидеться с нею, так я только бы им мигнул. Бесстыжие! Пра!

Петр весело засмеялся и тряхнул русыми кудрями.

— И впрямь затейницы! — сказал он и прибавил: — Так поезжай к князю Павлу.

— В одночасье! — ответил Кряж, кланяясь и спиною идя к выходу.

Когда Кряж вышел, Петр лег на липовую скамью, положил на возглавие руки, на них закинул свою голову и задумался.

Присуха! Может, она и иное что, может, и никто не повинен в ней, а только есть она, окаянная. Ой, есть! Кажись, и в мыслях ничего такого не было, а вдруг прилучится, и засосет под сердцем, и из головы не идет, и томит, и дразнит... Что же это?... Вот хоть бы с ним.

Думал, кроме Анели, и в сердце никому места не хватит, глядь — княжна эта! И будто клин в голову; что дальше — то более!... Она вдруг стала перед ним как живая, с разгоревшимся личиком, прикрывшись рукавом. Он улыбнулся своей грёзе и томно прикрыл глаза. Княжеской крови, благородного корня и зазора никакого нету, — думал он и улыбался.

Князь — то Куракин как его почтил!

Действительно, через день после приключения Петра на двор Теряевых въезжали вершники, и едва князь Михаил Теряев вышел, оповещенный, на крыльцо, как во двор уже въезжал князь Куракин.

На середине двора слез он с коня, а князь встретил его на нижней ступеньке крыльца и под руку помог ему подняться. Войдя в горницу, помолился Куракин, трижды поцеловался с князем, а потом повел свою речь.

— Приехал я, князь Михайло, до тебя, отблагодарить тебя, милостивца! — и с этими словами он поясно поклонился князю. Теряев даже смутился.

— Что ты, что ты, Иван Васильевич! Что я тебе такого сделал?

— Не говори! — перебил его князь. — Не ты, так сын твой моему роду великую услугу сделал. А кого за сына благодарить, как не отца родного!

— Который сын? — недоумевал князь, и Куракин рассказал ему всю историю с нападением и освобождением. Князь и рад был, и хмурился. Рад, что сын его такому родовитому князю услугу сделал; хмурился, что сам ничего не знал про это.

А Куракин попросил Петра позвать и лично ему в пояс кланялся.

Князь Теряев потом выговорил сыну, а тот только усмехнулся.

— Э, батюшка, — сказал он, — да стоило ли о таких малостях милость твою тревожить?...

Вспоминал про все про это Петр и улыбался шире и радостней.

И то, решил он под конец, повидаться с нею надо. Пусть Кряж девушкам скажет!...

По нынешним временам молодые люди годами видаются друг с другом, и медленно пробуждается в них чувство любви, побеждаемое нередко рассудком. Тогда же взгляда одного довольно было, чтобы загорелось сердце неугасимым огнем. Может, тому немало

способствовала теремная жизнь и трудность увидеть девичье лицо, так же, как девушке увидеть мужчину.

Как бы то ни было, загорелось сердце и у Катерины, молодой княжны.

— Ах, Луша, — говорила она своей сеной девушке, — и раньше в иную пору о нем думала, а тут и из головы не идет Все он да он!...

— Дело девичье! — смеясь отвечала Луша. — Пожди, княжна, я тебе с ним встречу сделаю. Наш сад с их двором только тыном отделяется.

— Ах, что ты! Срамота-то какая!

— А какая срамота тут? Ему за честь будет! Опять и порухи нет тут никакой. Не смерд он, а князь и царю самому известен. Погодя и косу расплетем княжне нашей, боярышне!

Катерина зарделась вся, как маков цвет.

— Ах, Луша, — прошептала она, — и хорошо, и страшно! Не иначе все это, как присуха злая!...

Луша только махнула рукою.

— Присуха! И сказала, боярышня моя! Присуха — коли силком, старик какой или урод, что ли, а князь Петр — гляди не нагладишься: молодец молодцом, что сокол ясный!

## VII СМУТА

Мрачный, с угрюмою думою, отраженной и на лице, возвращался Терентий Михайлович домой из боярской думы. Все казалось ему неладно, все не по нем! А что он мог сделать со своим голосом, ежели надо всеми верх держит Ордын-Нащокин, а самая дума — одна прилика только.

Он один удумает, а бояре прочие только бородами покивают в согласие.

А выдумки все только на то сводятся, чтобы из людишек последние животы вытягивать. Все налоги да налоги. Небось свою казну не ворошат, монастырям одни только льготы, а все надобности из смерда да посадского выбивают. Где же справедливость? Истинно протопоп говорит: приходят последние дни. Умы смутились, и зло царит над людьми. Антихристу на руку, радуют злоправители сердце дьявола!



Истинно так!

— Дорогу князю Терентию Теряеву! Многие лета князю! Здрав, князь, буди! — раздались вокруг него голоса и вывели князя из задумчивости. Он оглянулся и увидел, что въехал в толпу. Вокруг него теснились и гулятьи, и посадские, и с десятков купцов.

— Мир вам! — сказал князь. — Чего собрались?

— А так... гуторили! — ответил стоящий у самого его стремени.

Князь взглянул в его лицо и нахмурился: слишком нагло глядели на него холопские очи.

— Кто будешь?

— Человек Божий с костями да кожей! — ответил он, отходя в толпу.

Князь тронул пятками коня, и он двинулся вперед. Народ, любивший князя, провожал его криками, но князя несколько не радовали эти выражения приветствий.

Чуялось в этих сборищах что-то недоброе.

Вот уже недели две, как собираются такие толпы народа на всякой площади, шумят, галдят, чинят буйства пьяные и выкрикивают угрозы. Недавно одного приказного затравили на улице насмерть.

А толпа, проводив князя Теряева, снова загудела.

— Читай, кто грамоте обучен! — кричал сиплый голос.

— Тсс! Тише, оглашенные! — останавливая шум, кричали другие. Возле дьяка в суконной скуфье столпились густою толпою, и он, держа в руках печатный лист, выкрикивал:

— И поборы те не в казну государеву, а в карманы приспешников!...

— Верно! Головы эти прямо себе в карманы кладут! Видели!

— И бояре ближние только до царя заслон. Всем людишкам злые вороги. Матюшкин этот...

— Тсс! Стрельцы!

Дьяк поспешно юркнул в толпу, бросив наземь лист, а в ту же минуту в толпу врезался отряд стрельцов с приставом в голове, который, нещадно колотя палкою направо

и налево, хрипло кричал:

— Расходитесь вы, голь кабацкая! Виселиц на вас мало, праслово! Дьяволы, куда прете, али пищали захотели?

— Пожди, будет тебе ужо, толстобрюхий! — ворчали те, которым попало от него палкою, и лениво шли в сторону.

Князь въехал во двор, спешился и прошел в свою половину. Скинув кафтан, он остался в однорядке поверх шелковой зеленой рубашки и стал крупными шагами ходить по горнице.

На душе его было тяжело и смутно.

Вдруг он остановился и, побледнев, нахмурился.

В дверях его горницы появилась Дарья Васильевна, его молодая жена. На лице ее, пока еще не раскрашенном, выражалась тихая печаль.

— Чего тебе? — спросил отрывисто Терентий.

Дарья сделала к нему шаг и заговорила прерывающимся голосом.

— Терентий Михайлович, свет батюшка, вымолви хоть слово, чем я провинилась пред тобою. Не бьешь, не голубишь, не бранишь, ни слова ласкового. Коли не мила тебе более, не мучь, скажи свое слово, отправь в монастырь, заточусь я там и дни скоротаю, а то ныне и на людях срам. Иду наверх, государыни спрашивают, иные прочие мужьями похваляются, а я и слова сказать не могу.

Голос ее поднимался все выше и выше и обратился в жалобный вой. Она подошла ближе к князю и протягивала к нему свои руки.

— Что мне делать, сиротинке, скажи сам, господин! Убей лучше, но не мучай так!

Князь устало махнул рукой.

— Не вой! — сказал он резко. — Надо будет в монастырь услать — ушлю, а теперь не докучай мне! иди!

Глаза его грозно сверкнули. Дарья Васильевна покорно склонила голову и пошла прочь, но недобрым огнем вспыхнули и ее глаза.

«Хорошо, — подумала она, — знаю я твои дела скаредные. Проведают про них и иные кто!»

Попытка примирения не удалась княгине, и из послушной, покорливой жены она сделалась врагом заклятым. Кровь Голицыных сказывалась.

А князь схватился руками за голову и даже застонал.

Ах, когда увидал он Морозову и полюбил ее, знал тогда он, что с ним делается. На душе его было темно и мрачно, но знал он, что любви ради он на все пойдет, хоть на душегубство.

А теперь? Нет любви к боярыне. Вместо нее какая-то радость, какой-то трепет. Как сиянием окружен лик боярыни, когда он ее видит: словно с образа глядит угодница, когда она на него смотрит, и нельзя не думать о ней, но и любить нельзя. Помнит он, как она чумных подымала, и что же? Не коснулась ее злая зараза!

Теперь у нее и протопоп-прозорливец, свят человек, и Меланья, сестра ее по Христу, и Киприан юродивый. Все славят Бога и клянут никонианцев, и он тут же с ними.

Во что верить? Чему кланяться? Царь ли и патриарх согрешили против Бога? И в то же время ему приходили на ум горячие речи Аввакума, его страдания...

Чего ради?

Говорят, антихрист идет; близок последний час, а Никон его окаянный предтеча. Ежели правда так?

Чем излечить душу, кому открыть наболевшее сердце с его язвами?...

И вдруг лицо его просветлело и успокоилось. Он захлопал в ладоши и явившемуся отроку отрывисто приказал:

— Коня!

И тотчас стал торопливо собираться в дорогу, забыв о еде.

Ради спасенья души своей! Чего же о еде думать-то?...

Ему вспомнилось строгое подвижническое лицо его деда, князя Терентия, в монашестве Ферапонта.

Вот кто решит его сомнения!

И он, выйдя на двор, вскочил на коня и погнал его к Николе Угрешскому.

Вдруг конь его шарахнулся в сторону.

Подняв руки и загородив дорогу, перед ним стоял юродивый Киприан. Рыжие лохматые волосы его торчали копною, сермяжная рубаха спускалась до пят, на косматой груди сквозь дыры рубахи виднелись вериги.

Князь осадил лошадь.

## VIII У МОРОЗОВОЙ

Юродивый опустил руки и хрипло засмеялся.

— Божьего человека, княже, — и испугался! Стыд тебе.

— Прости, Бога для, — ответил князь и хотел снова тронуть коня, но юродивый затряс головою.

— Не, не, княже! Нельзя! Такой сумный, такой гневный, куда тебе ехать, как не до нашей матушки? К ней поезжай! Мир у нее, благодать у нее; наш отец провидец, страстотерпец, у нее, а ты куда задумал? К никонианцам! Тьфу!...

Князь вздрогнул. Откуда этот юродивый мог знать его мысли? Легкая улыбка прошла по его губам. Он сказал:

— Ну, пусти, Киприан, я к ней поеду!

— Что дело, то дело, с Богом! Душу очистишь; Христа спасешь; берегись никонианцев! Тьмы они порождение, сатанинская блевотина. Ну, с Богом!

Князь тронул коня. Киприан медленно пошел дальше, крича во весь голос:

— Берегитесь, православные! Антихрист пришел! Сломлены заветные печати, и гром на всех никонианцев.

Князь ехал и думал: «Поговорю с ними. Тоже умные люди. Просветят и рассеют тьму мою, а так жить нельзя», — и снова лицо его омрачилось, и он понурил голову. Есть люди, которые вечно, хотя и смутно, ищут правды и, найдя хоть призрак ее, готовы положить за нее головы. Таковы сектанты. К таким натурам принадлежал и князь Терентий.

Он въехал на двор дома Морозова, спешил и, сдав холопу коня, знакомой дорогой пошел к терему боярыни.

В эту пору боярыня успела отвоевать себе некоторую самостоятельность. Постоянно занятый Морозов как-то примирился с неустанным благочестием жены своей и дозволил ей в терему держать и странниц, и юродивых, оказывать помощь нищим и убогим.

Царь Алексей Михайлович умилялся, слушая о жизни Морозовой, и не раз говорил ее мужу:

— Ништо, ништо, Глеб, она за всех нас молебница, и в Домострое писано: «церковников, и нищих, и маломощных, и бедных, и скорбных, и странных призывай в дом свой и по силе накорми, и напой, и согрей». Так-тошь! Пойдешь домой, кланяйся ей от нас.

И Глеб Иванович смирялся.

Федосья Прокофьевна устроила дом свой совсем на монастырский лад. Жили у нее в то время до пяти инокинь, два

юродивых, Киприан и Федор, да временно приютился и Аввакум.

Князь Терентий вошел в горницу, и сразу охватила его атмосфера иной жизни, чуждой всего суетного. Воздух был пропитан запахом росного ладана и лампадного масла. В полумраке простая дубовая мебель и голые стены придавали горницам суровый вид.

Неслышно ступая, к нему подошла женщина и, поклонясь поясно, спросила:

— До боярыни?

— До нее, мати, — ответил князь, проникаясь настроением.

— В моленной, — ответила она, — с протопопом беседует, а ты не бойсь, иди! Она до тебя благожелательна...

Она пошла вперед, а за нею двинулся и князь, тихо ступая по холщовой дорожке. Скрипнула маленькая дверь, и они вошли в моленную, в ту самую комнату, где князь расстался со своей любовью. В уголку сидел Аввакум, а у его ног на низкой скамейке Федосья Прокофьевна. Она устремила на него глаза, и прекрасное лицо ее дышало таким энтузиазмом, что князю оно снова показалось ликом иконы, а перед ней сидел Аввакум, тощий, сухой старик в темном подряснике.

Черты изможденного лица его были жестки, обличая непреклонную волю; глубоко впавшие под густыми бровями глаза горели неудержимою страстью, и весь он, сухой, высокий, согбенный, с жиденькой бороденкой, с листовицей в руках, казался пророком.

Приход князя прервал их беседу.

Аввакум метнул на него быстрый враждебный взгляд, а боярыня плавно поднялась со скамейки.

Князь помолился на иконы и, поясно поклонившись боярыне, сказал:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Прости, боярыня, что встревожил не вовремя!

— Аминь! — ответила боярыня. — Я тебе, князь, всегда рада, а ноне еще и праздник у меня: протопоп в гостях.

Аввакум пристально взглянул на князя, пронизывая острым взглядом, словно хотел проникнуть в его душу. Боярыня сказала ему:

— Вот, отче, князь Терентий, сын князя Михаила Теряева-Распояхина. В ладу я с ним и согласи.

Князь низко поклонился ему и подошел под благословение.

— Никонианец? — строго спросил его Аввакум, не поднимая руки своей.

— По неведению, — тихо ответил князь Терентий.

Аввакум все-таки не благословил его.

Глаза его вспыхнули.

— По неведению, — повторил он, — все, яко овцы бессловесные, яко умом помраченные, идут в геенну огненную, антихриста ради, и все говорят, «по неведению». Свет им, яко заря, сияет — глаза щурят и отворачиваются. Знамение небесное не видят. Истинно сказано в Писании: «Очи имат и не видят; уши имат и не слышат».

Князь слушал его, опустил голову и не зная, что отвечать ему.

Аввакум тяжело перевел дух.

Боярыня спросила с ласковой улыбкой:

— Почто, князь, пожаловал? Аль соскучал?

Князь вздрогнул при звуке ее голоса, поднял голову и, встретив ее приветливый взгляд, не мог скрыть правды и ответил:

— Случаем, боярыня! Смутно на душе было, и вздумал я поехать к деду моему, отцу Ферапонту, на Угреш, а по дороге Киприан встретился и к тебе послал, а я и рад.

Боярыня тихо улыбнулась и сказала:

— Что я могу, убогая? О чем дума твоя была?

Терентий не скрыл и прерывающимся голосом рассказал о своих сомнениях.

Где правда? Страшно ему душу загубить, и не видит он пути и исхода в своих сомнениях...

Лицо боярыни осветилось. Она встала и, протянув руку к Аввакуму, взволнованно сказала Терентию:

— Сам Бог устами Киприана направил тебя сюда. Не мне учить и наставлять тебя. Вот пастырь. За ним иди!

Волнение охватило Терентия. Он упал в ноги Аввакуму и воскликнул:

— Отче, вразуми!

И послышался ласковый голос протопопа:

— Научу тебя, миленький, на то и сюда пришел. Было мне видение: «Иди и вразуми неразумных, спаси от геенны огненной заблудшихся», и пришел я, и Господь Бог со мною. Царь преклоняет ухо свое ко мне. Бог поможет, и вразумлю!...— И он начал

говорить, — сперва тихо, плавно, потом более и более распаляясь, и наконец речь его полилась бурным потоком. Что было прежде и что теперь? Где прежнее благословение? Где прежняя вера? Один соблазн! Он говорил:

— Вот поют вместо: «благословен грядый», — «обретохом веру истинную» То их пение на великое поношение православной нашей веры. Горе нам, горе! Имя сыну Божию переменили и печатают «Иисус». Звон и пение церковное — православным соблазн и попушение. Все-то кругом антихристово измышление и изощрение, дабы уловить душу православную. Наложил Никон проклятый печати антихристовы и на самого царя, и на слуг его, да не будет так! Господь Бог видит правду и указывает избранным Его, а за гонения венец мученический; так древле гнали апостолов и учеников его!...

И много говорил Аввакум, умиляя душу Терентия, населяя ее страхом за никонианцев и укрепляя в старой вере.

Когда они расставались, Аввакум благословил и поцеловал его.

— Еще единую овцу спас от сетей дьявола! — сказал он с умилением. — Благодарю Тя, Господи!

Терентий возвращался домой успокоенный; смелый и бодрый. Он знал, что ему делать, что думать, что говорить, и ко всему его радовала мысль, что боярыня так же думает, что он ей теперь брат по духу и скреплен с ней крепкими узами.

По дороге он опять встретил Киприана, и на этот раз сам остановил своего коня.

— Спасибо, — сказал он ласково, — что надоемил меня!

Киприан широко улыбнулся и потряс кудлатой головой.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и совет нечестивых погибнет! — заорал он таким диким голосом, что конь шарахнулся в сторону и понес князя.

Князь скакал и был рад этой быстрой езде, которая возбуждала его и соответствовала настроению его духа.

Конь был весь в мыле когда князь въехал во двор. Он слез с коня и прошел в свои покои, едва раздевшись, как подошел к божнице и, сложив два перста, стал быстро наотмашь креститься, повторяя:

— Тако верую! Тако верую!

И никто в доме не знал, что происходит в душе Терентия и какие тучи он собирает на свою голову.

## IX НОЧЬ СВИДАНИЙ

Прошло три дня. Князь Петр вернулся домой и стал слезать с коня, когда к нему подошел Федька Кряж и низко поклонился.

— Вернулся? — сказал Петр. — Долго же вы были! Что ж он, доволен?

Кряж встряхнул волосами и ответил:

— Приказал благодарить твою милость, а мне целый ефимок подарил!

— Что же наколдовали? — спросил князь, идя в горницу

— Всего было! — ответил Кряж, идя за ним. — На мельницу водил, на воде гадали. Что он говорил, не знаю, а князь больно повеселел.

Петр отпустил своего стремянного и лег на лавку в ожидании обеда. Через несколько минут его позвали наверх. Как и прежде, обедали все вместе, только теперь уныло и хмуро проходила общая трапеза.

Князь Терентий сидел мрачный, сосредоточенный, а жена его, Дарья Васильевна, то и дело злобной усмешкою кривила губы.

Молодая княжна Анна было бледна и задумчива, да и Петр не больно радостен.

Старый князь и княгиня тревожно смотрели на детей своих и не знали, что делается в их сердцах. Даже когда окончился обед и женщины ушли, отец, оставшись с сыновьями, не знал, как вести беседу, чтобы хоть немного заглянуть в их души.

И он стал сперва говорить о царских делах, о боярине Нащокине.

— Великого ума муж! Всякую иноземщину видел и больно перенял...

Терентий усмехнулся и сумрачно сказал:

— Перенял только, как с людишек по две шкуры драть. Посчитать теперь налогов, податей всяких — беды! Стон кругом. Что в Москве делается?

Старый князь покачал головою.

— А что иначе сделать? Казна оскудела. Ратные люди деньгу требуют, а без ратных людей нельзя. Война с Польшею, война со Швецией.



— И дома нелады, — добавил Терентий и вдруг сказал: — Потому прежнюю веру утратили, никонианством заразились!

— Что? — закричал старый князь. — Али ты не в своем уме?

— И очень в своем, — хмуро ответил сын и вышел из горницы.

Старый князь испуганно и изумленно посмотрел ему вслед.

Так вот откуда вся его угрюмость. Господь упаси, до царя дойдет ежели.

Петр тревожно посмотрел на отца.

— Давно это у него? — спросил отец.

Петр покачал головою.

— Он старший брат. Мне ли его допрашивать, а сам — ты знаешь — он и слова не скажет.

— Эх, — вздохнул князь, — на горе этого протопопишку сюда допустили.

И с этими словами он, не допив кубка с медом, тяжело поднялся с лавки и пошел в опочивальню.

Скоро все в доме спали, начиная от князя с сыновьями и до цепного пса, кроме Федьки Кряжа, которому в эту пору была большая работа.

Сейчас же едва стихло все в доме, он шмыгнул в сад и громко прокуковал кукушкою пять раз. На этот его сигнал из терема вышла сенная девушка и, осторожно оглядываясь по сторонам, подошла к Кряжу. Они оба ушли в кусты, где шпалерами разрослись малина, крыжовник и смородина, и там зашептали.

— С чем, Федька? — спросила девушка.

— Помалкивай только! Пришел и на нашу улицу праздник! Вот тебе перво-наперво от князя рубль, а дальше и больше будет!

Лицо девушки вспыхнуло радостью, и она быстро спрятала мелкие гривенки в карман.

— А что ему надо? — спросила она.

— Занеси княжне весточку, а как стемнеет да все наши полягут, ты ее сюда приведи. Коли надо будет, уломай!

Девушка быстро закивала головой.

— Ну, ин, ин! — ответила она. — Веди князя, а уж я нашу сюда доставлю. Поди, она и сама рада. Соскучилась.

— Иди же! — сказал Кряж.

Девушка кивнула ему и быстро побежала к терему, сверкая босыми пятками.

Кряж постоял на месте, покуда она не скрылась, потом вышел из сада, перешел двор и позади служб ловко перелез через высокий частокол, отделявший двор от сада князя Куракина. Здесь ему ждать не пришлось. Напротив, стоявшая тут же под корявою грушею девушка, видимо, давно дожидалась его, потому что весело засмеялась, едва он показался из-за частокола. И лицо Кряжа расплылось тоже в приветливой улыбке.

— Эй, зазнобушка! — проговорил он, быстро обнимая девушку. — Чай, ждала не дождалась, очи просмотрела, сердце высушила, а я и тут!

— Пусти, — смеясь говорила девушка, стараясь вырваться из его объятий, — пусти, леший! Ну! Пра, леший, изломал всю, ишь! — И, с силою рванувшись, она освободилась от Кряжа, хлестнув его по плечу со всего размаха.

Кряж только засмеялся от этой ласки. Лицо девушки приняло серьезный вид.

— Ну, будя! — сказала она. — Мы тут с тобою балакаемся, а княжна ждет не дождется. Князю сказывал?

Кряж мотнул отрицательно головою.

— Не, а только ты с княжною приходи нонче в сад ввечеру, как все спать лягут.

— Да чего ж приходить-то, коли ты не сказывал?

— Сказать недолго, ужо скажу. Раньше времени не было. Ты уж только меня слушай! Князь-от теперь во! Так и пышет. Ему мигни только!

— Ну-ну, скажу княжне! Порадую! Только и ты не обмани, — И, окончив деловой разговор, она начала другим тоном: — А где сам пропадал? Вчера не был, позавчера тож, а я-то его, дура, жду да жду. Где тебя носило?

Кряж усмехнулся.

— Где был, теперь нету. Отсюда вон как далеко, и не видать, а сказать и не можно!

— Что! Али князь посылал?

— Много будешь знать, скоро состаришься; а ты лучше-ка обними меня!

И он опять обхватил ее руками. На этот раз она не отбивалась и, прижавшись к нему, жарко отвечала на его поцелуи...

И на дворе дома Куракина, и у Теряевых стали просыпаться люди. Кряж в последний раз поцеловал девушку, ловко перемахнул тын и, как ни в чем не бывало, слегка посвистывая, пошел по двору, направляясь к дому.

Князь Петр проснулся и лежал, потягиваясь на лавке, когда Кряж вошел к нему и остановился в дверях.

— Проехать на Москву-реку, что ли? — промолвил князь, взглядывая на Кряжа. — Нонче там на кулачках биться будут.

— А ну их, князь, — ответил Кряж, — и чего в них занятного? Кабы царская потеха, а так — охочие люди кровянить друг друга будут. На охоту лучше бы поехать. Сон мне такой был: тебе на охоте удача.

— Какой такой сон? — усмехнулся Петр. — Сказывай!

Кряж откашлялся, переступил с ноги на ногу и, слегка усмехаясь, стал говорить:

— Виделось мне, князь, будто мы с тобой в поле рыщем. Глядь, лиса чернохвостая, такая ли пушистая. Ты за ней, она от тебя. Едва успеть можно. Она из поля да по городу, по городу да нам во двор, а со двора — шах через тын да в соседский сад! А ты будто за нею через тын-то! Глядь, а то не лисица, а девица-красавица. Смеется и говорит: давно тебя ждала, княже! — Он замолчал и, усмехнувшись, взглянул на князя.

Князь Петр покачал головою.

— Занятный сон, — сказал он, — что это он на притчу словно бы смахивает? А загадки я не мастер разгадывать. Говори уж лучше начистоту, Кряж.

Кряж усмехнулся и встряхнул волосами.

— А не буду таиться от тебя, княже, — ответил он решительно.

Князь вздрогнул и быстро сел на лавке.

— Ну?

— Заморила меня Лушка, — заговорил Кряж, — сенная девка соседской княжны. Сделай так, чтобы им свидеться, да и на! Княжна-то, вишь, говорят, совсем по тебе высохла, князь!

— Что ты врешь? — вспыхнув от радости, произнес князь.

Кряж усмехнулся.

— Наше дело холопское, — сказал он, — а только нонче княжна в ночь, как все заснут, по саду гулять будет. Про то мне Лушка сказала, а для чего — сам ведаешь.

Князь засмеялся и отвернулся от своего стремянного, чтобы скрыть вспыхнувшее от радости лицо.

Тихая ночь опустилась над Москвою. Кругом все заснуло. В кустах щелкали соловьи, и где-то вдалеке куковала кукушка. В это время князь Петр, подсаживаемый Кряжем, осторожно перелезал через тын. Сердце его замирало и билось. Едва он опустился, как проворная Лушка подошла к нему и сказала:

— Ты, князь?

— Я! — ответил Петр.

— Ну-тко, иди за мною! — И через минуту князь стоял подле княжны Куракиной. Она дрожала от страха и радости и, закрыв лицо руками, тихо вскрикнула:

— Ахти, стыд какой!

— Что за стыд, государыня, — бойко сказала Лушка, — все, поди, так дела делают. Не мы первые. Ну, я пойду! — решительно сказала она и лукаво прибавила: — Князь тебя, небось, в обиду не даст!

Она шмыгнула в кусты и, вероятно нечаянно, попала в объятия Кряжа.

— Мы тут, а они там, — засмеялся Кряж, крепко целуя Лушу.

Петр приблизился к княжне и робко окликнул ее:

— Катерина Ивановна, открой очи свои ясные! Глянь на меня!

Княжна слегка раздвинула пальцы.

— А что тебе в том?

— Радость мне! Как взгляну на тебя, словно солнце весною. Присушила ты мое сердце!

— Уж и присушила! — усмехнулась княжна, отнимая руки. Князь придвинулся ближе.

— Верь моему слову, — заговорил он снова, — с ляхами бился, не дрожало так сердце мое, как теперь.

— Али я страшна? — засмеялась княжна.

— Не страшна, а любя! — ответил Петр и взял ее за руку. — С той поры, как увидел тебя, нету у меня и мыслей других: все ты да ты!

Княжна тихо потянула его за собою.

— Пойдем! Тут скамейка есть. Сядем.

Они дошли до скамьи, опустились на ее широкую доску и, держа друг друга за руки, стали говорить ласковые речи, бессмысленные для других, но полные таинственного значения для них, — те речи, что ведутся влюбленными от сотворения мира до наших дней...

А в это же время в саду князя Теряева велись тоже влюбленные речи, но не походили они на робкое воркование, а были полны мучительной страсти.

Княжна Анна, бледная, как высоко поднявшийся месяц, стояла прислонясь к дереву и опустив бессильно руки. Лицо ее выражало страдание, а на длинных ресницах блестели слезы.

У ее ног на коленях стоял князь Тугаев и говорил прерывающимся от страсти голосом:

— Бог нас видит, моя голубка! Что ж, коли приключилось так, неужели нам с тобой по монастырям идти, не изведавши счастья? Не поверю я, чтобы Богу в обиду была любовь наша! Увезу я тебя, мою горлинку, схороню от людского взгляда и буду миловать и ласкать тебя! Не дам ветру пахнуть на тебя, не дам пылинке упасть. А там справлюсь со своими делами, и уедем с тобою в земли фряжские, где никто нам не будет грозен.

— А батюшка с матушкой? — прошептала чуть слышно Анна.

Князь на мгновение затуманился; потом быстро вскочил на ноги и гневно воскликнул:

— Меня, а не тебя осудят! Нешто вольны мы сказать своему сердцу: молчи! В Писании сказано: «Всякая тварь да хвалит Господа», так тебе ли губить свою молодость?

Анна подняла голову и сквозь слезы взглянула на него с улыбкой.

— Ах, делай со мной, что хочешь! Присушил ты меня!

Князь порывисто обнял ее и осыпал страстными поцелуями.

— Милая, — зашептал он, — увезу я тебя, увезу!...

## **X ПОБЕГ**

В те поры, когда князь Петр вернулся из похода, он привел в дом князя Тугаева как своего крестового брата и боевого товарища. Поначалу князь Тугаев виделся только с братом да с отцом Петра, а потом был допущен и до знакомства с теремом.

Княжна Анна сразу поразила его воображение, и он вернулся домой отуманенный страстью.

В детстве обручили его родители с дочерью симбирского воеводы Квашнина, и выросла Тугаеву сперва некрасивая невеста, а потом нелюбимая жена. Не было радости в его доме, и он чувствовал загубленной свою жизнь и чуждался людей. Только с Петром и вел свою дружбу, а тут увидел он Анну, и совсем кругом пошла его голова. По тогдашним понятиям не было преступления хуже измены супружескому долгу. Неверные жены живьем закапывались в землю, неверные мужья погибали на эшафоте, обольщенные девушки казнились смертью, их обольстители умирали от руки палача. Все эти меры не искореняли преступления, но, вселяя страх наказания, придавали таким преступлениям характер крайней греховности. Князь Тугаев сознавал это и долго мучительно боролся со своею страстью, но не в силах был победить ее. Через Федьку Кряжа он подкупил Дарью, сенную девушку княжны, и она стала змеиным языком нашептывать ей обольстительные речи, волнуя ее кровь и кружа ее голову.

Сытая, спокойная теремная жизнь, развивая женщин физически, давала избыток здоровья и силы, которые искали выхода; строгое затворничество развивало воображение, вольные разговоры сенных девушек будили страсти, и первый встретившийся пробуждал к жизни сердце девушки.

Князь Тугаев был красив и молод. Слава о его ратных подвигах дошла и до терема. Немудрено, что у Анны закружилась голова, когда она услышала Дарьины речи.

Дарья говорила про его силу и богатство, про его молодость и красоту, про его безумную любовь к Анне. Заревом вспыхивали щеки молодой княжны, туманились глаза, прерывисто дышала грудь, когда она слушала речи своей обольстительницы. Наступила душная летняя ночь, луна трепетно светила в окошко, запах сирени и акации стоял в воздухе, трелями заливались влюбленные соловьи, и княжна томилась в своей душевной горнице, разметавшись на постели. Видела она князя. Он протягивал к ней руки, он говорил о любви, И вставала она утром усталая, измученная ночными грезами. Розовые щеки ее бледнели, вокруг глаз темнели круги, звонкий смех раздавался все реже и реже, и княгиня, с тревогою смотря на дочку, ласково спрашивала ее:

— Аннушка, али тебе недужится? Скажи, ласковая! Лекаря недолго позвать.

— Нет, матушка, я здорова! — тихо отвечала княжна, и голос ее вздрагивал от волнения.

— Пожди, — говорила княгиня, — ужо к деду съездим. Он за тебя помолится. Ишь побледнела как; ровно снег весенний!

Княжна Дарья Васильевна, жена Терентия, усмехалась и говорила:

— Что вы, матушка, беспокоитесь? Просто с жиру бесится об эту пору. Все мы так же изводимся. Погодите, найдется жених, и все как рукой снимет.

Княжна вспыхивала и убегала к себе, а молодая княгиня звонко смеялась.

Как ржа точит железо, как вода капля за каплей долбит камень, так вкрадчивые речи сенной девушки делали свое дело. Анна беспомощно только шептала:

— Да ведь он женатый. Грех!...

— И что за грех человеку по-божески на его любовь ответить? Ведь тебя не убудет от этого, а уж он и любит! — И она передавала его страстные речи.

Не устояла Анна и вышла на свидание к Тугаеву.

Это была ночь безумств. Страсть неудержимою силою охватила Анну. Порывистый Тугаев покори́л ее, и она отдалась ему со всею доверчивостью своей невинной души.

Еще сильнее стал мучиться Тугаев, чем ранее от невысказанной любви. Тогда казалась она ему мечтою, недостижимою грезой, а теперь, когда он уже держал Анну в своих объятьях, когда целовал ее глаза, щеки, губы, — не обладать ею было для него мучительной пыткой.

Страшно ему было и за себя, и за жену, и за бедную Анну, а та, пламенея к нему, горько сетовала:

— На свою погибель встретила я тебя, Павел! Лучше было бы нам не знаться с тобою, чем идти на такое греховное дело.

— Не говори так! Не терзай меня, — ответил он, зажимая ее рот поцелуем, — сил моих нету переносить муку эту!

И нередко их любовные свиданья походили на свиданья людей, плачущих о дорогом покойнике.

Долго мучился Тугаев и наконец решился. Может быть, не созрел бы так быстро в его уме план, если бы Петр не упомянул про колдуна, а теперь колдун все решил. Смотря в воду под его припевы, Тугаев увидел свое счастье: он стоял под венцом с любимой Анною. А расставаясь, колдун дал ему такого зелья, от которого, когда захочет князь, тогда и станет вдовцом.

И князь мрачно думал: «Увезу и буду хоронить ее ото всех, а там сделаюсь вдовцом и будто найду ее и повенчаюсь», — и при этих мыслях лицо его озарилось мрачною улыбкою.

Но, склоняя Анну, он все же не решался поведать ей свои сокровенные думы.

Зачем ей знать? Для чего и ее невинную душу тянуть к сатане в лапы? Пусть уж лучше он один за свою любовь и несчастье отдаст дьяволу душу!

На другое утро воплями и стоном огласился терем князя Теряева. Даша завывала первая, а там сенные девушки, а там молодая княгиня и старуха мать.

Из терема исчезла Анна! Нет ее нигде, словно в воду канула.

Князь снизу в горнице у себя услышал крики и плач и только хотел послать наверх холопа, как сама княгиня Ольга Петровна, несмотря на свою тучность, вбежала в горницу и упала князю в ноги.

— Князь-батюшка, — завопила она, — казни меня, старую! Секи мою голову неразумную!

Испуганный князь поднялся с лавки и шагнул к жене.

— Что случилось? Говори толком, старая!

— Позор на наше голову, срамota на наш дом! — вопила княгиня, не вставая с колен. — Дочушка наша, Аннушка наша, свет очей моих...

— Что с ней? — нетерпеливо крикнул князь.

— Сбежала, — едва слышно окончила княгиня.

Ко всему подготовился старый князь, только не к этому, и удар поразил его, как кистенем в голову. Он упал на скамью, прислонился к стене и застыл в этой позе, бессмысленно вытаращив глаза. Лицо его налилось кровью, и, раскрыв широко рот, он едва переводил дыхание. Княгиня испуганно вскочила на ноги и бросилась к мужу, но он уже оправился, и лицо его стало бело как мел, а глаза вспыхнули как яркие молнии.



— Сбежала! — закричал он не своим голосом. — Ты врешь, старуха! Она утопла, она умерла! Эй, люди! — голос его раздался громом на весь дом. В один миг горница наполнилась холопами. Уже все знали о происшедшем и, бледные, дрожали от страха.

— Дочь искать! — сказал князь. — Весь сад по травке переберите, весь дом во всем щелям осмотрите, реку обшарьте! ну!

Слуги быстро скрылись и рассыпались по всему дому. В ту же минуту в горницу вошли Петр и Терентий.

— Слыхали? — спросил он.

Терентий молча кивнул головою, а Петр только махнул рукой.

— Проклянута ее, если так, — сказал князь, — а вы, вы должны крест целовать, что станете искать ее и обесчестившего нас! Клянетесь?

Терентий и Петр стали на колени и твердо ответили в голос:

— Клянемся и на том крест целовать готовы!

Князь взглянул на жену.

— А ты, старая, иди наверх и на глаза мне не кажись до времени. Стара ты, чтобы учить тебя, а поучить бы надо. Я теперь до царя поеду, ты, Терентий, за людьми пригляди, а ты, Петр, пока что накажи всем, чтобы языками не звонили. Да что, — сказал он с горечью, — все знают, чай!

Он тяжелою поступью вышел из горницы и, казалось, сразу обратился в старика.

Княгиня со стоном поплелась наверх.

Терентий ушел, а Петр бессильно опустился на лавку.

Вчера он был счастлив, а сегодня как пыль разлетелись его мечты.

Мыслимо ли, чтобы князь Куракин отдал дочь свою за него, из опозоренной семьи.

— Ах, Анна!

Глаза его злобно вспыхнули.

Кабы он знал их обидчика!...

А люди тем временем искали по всему дому, по саду, в воде и нигде не находили следов пропавшей княжны.

Как потерянная ходила Дарья и вздрагивала, как испуганный заяц, при всяком оклике. Она боялась взглянуть на Федьку Кряжа, чтобы не выдать себя нечаянным воплем, а Федька ходил везде как ни в чем не бывало и только покрикивал на людишек.

А тем временем верные холопы Тугаева мчали княжну по дороге на Рязань, где на сороковой версте от Москвы стояла одинокая усадьба князя.

Там он думал схоронить княжну до поры до времени — и она, послушная, пораженная случившимся, в полубесчувственном состоянии сидела в тряской колыхаге.

## ХІ ОПОЗОРЕННЫЕ

Царь Алексей Михайлович с глазу на глаз выслушал жалобы Михаила Терентьевича, князя Теряева, и скорбно покачал головою.

— Чего же бабы твои глядели, — с укором сказал он, — что допустили такое бесчестие?

— Ох, и не скажу, государь! Придет беда, все виноваты, а до того и в голову никому! Ведь монастырским уставом жили бабы-то у меня. Разве что сноха вот к царевнам наверх езживала, а то никуда! А молю тебя, царь, коли я или дети мои сыщут нашего обидчика, отдай его нам на суд.

— Твоя воля на то, Михайло! — сказал он. — Твоя обида, твой и суд. А теперь вот что, друже, — и голос его принял ласковый тон, — не говори ты никому про такое дело зазорное, а говори, что сгинула, что злые люди скрали. Клич кликни, чтобы искать кто вызвался. И опять, — окончил он, — не что тебе ведомо, что она вольной волею убегла?

— Не, государь! — ответил князь, и лицо его просветлело.

— А коли нет, так и на имени твоём поруки нет. Жаль девку, а коли найдется, все ладом кончится. Обидчика ищи, отдам его тебе со всеми животами! — И царь отпустил князя.

Он вернулся домой успокоенный и тотчас позвал к себе сыновей. Запершись в горнице, они с час времени толковали про срамное дело и потом, уговорившись, разошлись.

В тот же день ввечеру по городу ходили бирючи<sup>[70]</sup> от князя и громким голосом выкрикивали:

— Князя Теряева дочку скрали, и тому, кто вора укажет и ее сыщет, от князя награда положена в сорок рублев!...

— Князя Теряева дочку скрали, слышь! — пошли по Москве толки, и все сочувственно вздыхали и жалели старого князя.

Друг за другом ехали к нему князья и бояре и утешали его. Князь Голицын, первый щеголь того времени, зять молодого князя Терентия, сказал ему:

— Ты не хмурься, царь сказал, что нет порухи на вашем имени, и я не в обиде, искать же сестру не буду!

Терентий презрительно взглянул на него.

— Честь тебе и роду вашему, — сказал он гордо, — что породнились с нами, а ты не в обиде!

Голицын вспыхнул

— Наш род старше вашего!

— Да ты глуп больно! — ответил Терентий и отошел от него.

Князь злобно посмотрел ему вслед и промолвил:

— Добро! попомню я тебе это!

Петр рыскал по городу, мыкая свое горе; ему казалось, что теперь Катерина Куракина не посмеет и думать о нем. По виду только все сочувствуют, а сами завтра же загнушаются ими.

Рыская по городу, он заехал и в полк.

Там он встретил Тугаева. Петру показалось, что Тугаев побледнел при виде его и словно бы хотел скрыться.

«Началось», — подумал Петр и с горечью сказал:

— Али, Ильич, меня чураться хочешь?

— Что ты? Что ты? — испуганно произнес Тугаев. — Я к тебе еще больше с дружбой своею. Беда у вас?

— Ой, беда! — ответил Петр, опускаясь на лавку. — Коли бы встретил я обидчика нашего, кажись, руками бы горло перервал ему!

Тугаев вздрогнул.

— Серчает батюшка? — тихо спросил он.

Петр махнул рукою.

— Чего ж? Нешто сердцем горю помочь? Известно, сторожей передрали, девок тоже, да что в этом!

— А ее... — Тугаев запнулся, — сестру-то твою... прокляли?

— Нет, — ответил Петр, — может, она силком взята! Разве можно такое на душу брать! Ты чего? — изумленно спросил он Тугаева, который вдруг бросился ему на шею.

Тугаев не мог совладать со своею радостью при этой вести. Всем ведомо, что не будет счастья и покоя, если проклянут отец с матерью, и он замирал от страха за любимую Анну. И вдруг — нет этого страха!

— Брат ты мой названный, друг любезный, — заговорил он, обнимая Петра, — и горько мне за вас, и хотел бы я помочь вам в беде вашей!

Петр просветлел.

— Ищи сестру! — сказал он и, опять затуманившись, прибавил: — А мне горе какое! Тебе как брату родному поведаю! — И он рассказал про свою внезапно вспыхнувшую любовь к княжне Куракиной и про свои разрушенные надежды.

— Их род и так стариннее нашего: местами не потягаешься, а тут еще как-никак, а все ж поруха на имени!

Тугаев вспыхнул.

— Николи этого быть не может! — громко сказал он. — Слышь, царь обелил вас, а он куражиться будет. Нет, Петр, не бойся! Хочешь, я сватом пойду к князю?

Петр повеселел.

— Сегодня узнаю!

И вечером он виделся с княжною и, жарко целуясь, говорил с ней.

— Что же? Не отречешься от меня за такой срам в доме нашем?

Княжна нежно прильнула к нему.

— А в чем срам? И батюшка говорит, что грех да беда на кого не живут! Слышь, твоего отца, сказывают, в детстве скоморохи скрали? Правда?

— Правда, моя рыбка! — ответил радостно Петр и спросил: — Так говорить батюшке, засылать сватов?

— Шли! — прошептала она, жмурясь от его поцелуев.

И Петр повеселел.

Терентий по-иному взглянул на это дело, поразившее его ужасом. Он увидел в этом перст Божий, наказующий их за отступничество, за никонианство поганое. И в этом мнении его укрепили Морозова и Аввакум.

— Со всеми такое будет, — говорил Аввакум с пророческим жаром, — иному позор, иному болезнь тяжкая, смерть, иному пожар или увечье, а всем голод, мор, смятение! Идет антихрист и несет с собою печали и скорби, а Господь распаляется гневом! Так-то, миленький! — окончил он и ласково прибавил: — А ты в семье своей за всех молельщик, молись за их пакостность и проси у Господа

отпущения им, а сам исподволь, полегонечку наущай их, указуй, наставляй!

И Терентий, вернувшись домой, с жаром молился, чтобы Господь отпустил их роду вину отступничества.

— Не ведали, что творили! Отпусти им, Господи! — твердил он, усердно отдавая поклоны.

В то же время на службах и на дворе княжеского дома шли непрерывные разговоры. Говорили о наказанных холопах и девках, говорили об объявленной княжей награде и обсуждали возможность побега или кражи.

— Известно, убегла, — шептали холопы, — нешто такую девку скрадешь? Да она крика такого поднимет! ух!

— Ну, вы! — покрикивал на слуг дворецкий. — Не больно языками-то трепите. Того гляди, прижгут их вам!

Антон побежал в общую службу и сказал:

— Петька, Мишук, идите в клеть и Дашку волоките. Князь ей снова допрос чинить хочет!

— Опять драть, значит! — вздохнув, сказал Кряж.

Петька и Мишук вышли, взяв ключ от Антона, и через несколько минут вернулись бледные и дрожащие.

— Что ж одни? — нетерпеливо спросил их Антон.

— Нету ее, — пробормотал Петр, — убегла!

— Как?

— Убегла! Стенка подкопана, и ее нет! Все обшарили!

Антон хлопнул руками о полы своего кафтана и опрометью бросился к князю.

— С чего ж ей бежать было? — заговорили промеж себя холопы.

— Не иначе как батожья побоялась!

— Сказал! Потому бежала, что пособницей княжне была, вот и сказ весь.

— И будет же ей! — пробормотали более робкие.

В избу снова вбежал Антон.

— Погоня! — закричал он. — Петька, Мишка, Осип, Влас и ты, Григорий, все на коней и по разным сторонам. Чтобы до ночи была она тут. Князь приказал!

Холопы быстро выбежали и стали седлать коней.

Князь ходил по горнице большими шагами и то и дело схватывался за волосы.

Позор! Теперь уже нет сомнения, что княжна убежала, коли объявилась и ее помощница.

— Нашли? Привели? Вернулся кто? — спрашивал он у Антона через каждые пять-десять минут, на что Антон неизменно отвечал:

— Нет еще, государь!

Поздно ночью вернулись друг за другом посланные в погоню холопы. Вернулись усталые, на измученных конях, все с одной вестью, что нигде и следа Дашкиного не видно. И нещадно бил их за эту весть батогами разъяренный князь, бормоча:

— Все вы, собаки, заодно с ними были!...

## **XII В КОЛОМНЕ И ГОРОДЕ**

Было начало июля 1660 года. Царь Алексей Михайлович проснулся веселый и радостный. Ясный день еще более развеселил его.

— Ишь, благодать какая, Господи Боже мой! — сказал он своему постельничему. — Небо-то, что лазурь. Кажется, видишь самого Господа и ангелов, славословящих Его! Ишь, солнышко!

И он с улыбкою зажмурился от жгучего летнего солнца. Отстояв службу и выслушав по обычаю доклады, он усмехнулся и сказал окружавшим его боярам:

— Не можем здесь оставаться! Из терема на волю хочется. Чтобы завтра, Борис Иванович, — обратился он к Морозову, своему шурину, — нам в Коломенское ехать. Снаряди поезд!

Старик Морозов низко поклонился.

— Как милость твоя прикажет, — ответил он.

Царь кивнул.

— До сентября уедем! Пусть и царевны едут с нами, чего им тут киснуть. В городе останутся... — царь оглядел бояр и сказал: — Ну ты, Михайло, у тебя горе, так оно и на руку. Не печалиться тебе на наших глазах. Да еще Куракины!

Куракины и Теряев поклонились.

— А сынов твоих возьму бесприменно! Петр на охоте первый товарищ! Без него никак нельзя. Ну да и к Терентию приобык я тоже.

Умный он, рассудительный, и вести с ним беседу зело радостно.

Лицо старого князя осветилось улыбкою. Похвала его детям невольно радовала его.

— С царем в Коломенское поедете, — сказал он сыновьям, стоявшим в сенях, — царь, вишь, хвалил вас!

Терентий молча кивнул. Ему было безразлично. Князь же Петр затуманился. В эти летние ночи, ночь в ночь, он привык видеться с княжною, и теперь ему тяжело было лишиться себя этих свиданий.

В ту же ночь, расставаясь с княжною, он жаркими поцелуями осушал слезы с ее лазоревых глаз.

На другое утро все в Москве были в хлопотах. Готовился царский поезд, и старик Морозов выбивался из сил, зная, как строг государь ко всякому порядку в церемониях. Подбирались кони, подбирались колымаги, скороходы, стрельцы, вершники, поездная прислуга.

Все должно было быть чин-чином, на своем месте, в своем уборе, с должной торжественностью, как в церковном обряде.

Суетились и те, которые должны были сопровождать царя, и те, которые оставались. Одни снаряжали свои поезда, другие отдавали распоряжения по дому, третьи хлопотали о порядке и торжественности царских проводов.

Князь Теряев с неизменным Кряжем снарядил весь свой охотничий убор и потом поехал в свой полк передать временное начальство над ним другому.

Приехав в полковую избу, он вызвал тысяцкого и сказал ему:

— Еду я, так за порядком князь Тугаев присмотрит!

— А коли и он уехал? — ответил тысяцкий.

— Куда, когда? Надолго?

— А не сказывал. Знаю только, что на вотчину, а на какую, неведомо. Так спешно уехал, что даже и людей, сказывают, не взял с собою. Одного Антропку стремянного, и все!

«Диво! — подумал Петр, выходя из избы. — Куда ему так спешить надо было, что и мне не сказал. Ну, ужо вернется, скажет!»

На дворе он увидел немца Клинке и поручил ему надзор за полком.

— Карошо, — ответил тот, — я и так им муштру делайт!

— Ну, делай им, что хочешь, немец, — сказал Петр, — лишь бы они сыты были!

Длинной пестрой лентой потянулся царский обоз необыкновенной роскоши и пышности. Бежали скороходы рядами, за ними ехал отряд стрельцов и шестериком цугом запряженная золотая колымага, в которой ехал царь. Она окружена была вершниками и отрядом стрельцов с блестящими бердышами. Дальше на конях ехали ближние царя, а там опять скороходы и конные стрельцы и колымага царицы, позади которой верхом на лошадях ехал женский штат: постельницы, златошвейки, ткачихи, сказительницы, портомойки; дальше снова скороходы и, уже без конных, стрельцы, в одной колымаге — царские сестры, красавицы Ирина и Анна Михайловны. Царским сестрам невместно было выходить замуж за своих бояр, а за иностранцев, нехристей, выдавать было не в обычай, и они, пышные, цветущие, обречены были на девичество, на тяжкое теремное житье, про которое сложено так много грустных песен.

А за ними уже тянулись колымаги иных боярынь и, наконец, длинные повозки с шатрами, разным скарбом и целою кухнею на время переезда.

Поезд двигался медленно, вызывая изумление и восторг народа, который при приближении царской колымаги валился на колени и падал ниц на землю, не смея поднять головы.

Выехав из Москвы, царь вышел из колымаги, сел на коня и, окруженный свитою, выехал вперед, а поезд продолжал двигаться по дороге, подымая пыль, гремя, звеня своими металлическими частями и сверкая на солнце.

Вот по знаку царицы сенные девушки затянули песню. Она звонко полилась в ясном воздухе и вздымалась под самое небо.

Царь прислушался к ней и тихо засмеялся.

— Хорошо на свете жить! — с умилением произнес он.

Трое суток двигался поезд к Коломенскому, делая привал по дороге на целую ночь. Разбивались драгоценные шелковые палатки: для царя, для царицы, для царевен; вспыхивали костры, сустились в темноте люди, и царь наслаждался картиною тихой летней ночи.

Наконец приехали в село Коломенское, и потекла обычная дворцовая жизнь.

В четыре часа вставал царь и слушал заутреню, потом выходил на крылечко и здоровался со своими боярами. В эту пору должны были все уже быть налицо, и кто опаздывал, того Тишайший, шулки ради,



купал в своем озере, называя его Иорданью. Тут же изредка выслушивал он челобитные, тут же, случалось, устраивал потешный бой, а иногда, вместо боя, при нем тут же батогами наказывались ослушники.

Потом царь шел слушать обедню, а там садился обедать и ложился на час времени спать.

После обеда выезжал он в поле с соколами, а ввечеру играл в тавлеи<sup>[71]</sup>, слушал сказочников или шел в терем поговорить с женою или сестрами.

Так тихо и мирно протекала его жизнь, а в это же время вся Россия колыхалась едва сдерживаемым волнением. По иным городам и селам стон стоял от сотен людей, выводимых на правеж, и в самой Москве кипело недовольство.

Князь Куракин виделся с Теряевым и говорил ему

— Что-то неладно у нас, соседushка, на Москве!

— А что? — спрашивал Теряев, весь погруженный в свое семейное горе.

— Да что! Воров развелось гибель! Письма разные подметные что ни день пристава по десятку приносят, голытьба шумит.

— Отряди каждому приставу десять стрельцов. Пусть ходят да гультеяев батогами бьют, — спокойно ответил Теряев.

Куракин угрюмо покачал головою.

— Эх, чует мое сердце, что быть беде!

— Ну, чего там!

Действительно, в Москве уже что-то делалось. На Козьем болоте от палачей отбили двух преступников, не так давно разнесли царский кабак, всюду собирался народ, больше гультия, голытьба кабацкая да посадские, и о чем-то шумели. Приставы, врываясь в такую толпу, хоть и ругались и грозили палками, но уж в ход их пускать боялись, и приказные дьяки с опаской ходили по улицам.

Дьяк Травкин, тот прямо поселился в разбойном приказе и, напиваясь от страха пьяным, говорил боярину Матюшкину:

— Не, боярин! Я знаю этот воровской народ. Кого-кого к ответу потянут, а нас первыми. Помнишь Плещеева?

— Тьфу! Язык твой паскудный! — вскрикивал, бледнея и вздрагивая, боярин, а дьяк хихикал:

— Так-тось! А теперя только и говора на Москве: ты, да Милославский, да гость Шорин. Куракину вкатят тож! Ну так я уж тут лучше. Авось за меня наши молодцы заступятся, да опять и застенки претит им, прощелыгам! Ха-ха-ха!

— С нами Бог, — говорил, качая головою, толстый Матюшкин. — Тебе, дураку, эти страхи с пьяных глаз мерещатся. Где им супротив нас идти?

— А тогда шли?

— Тогда! За то и было им!

— Ну и Плещееву было тоже, и иным досталось!

— Тьфу, тьфу! Наше место свято! — плевался Матюшкин.

### **XIII ПЕРЕД ГРОЗОЮ**

Гроза надвигалась.

В ночь на 24 июля на Москве-реке за рыбным рынком в рапату Кузьмы Прокаженного собирались разные люди, один вид которых внушал опасение. Были это все статные, здоровые молодцы, кто в кафтане, кто в простой сермяге, кто в поддевке; сидели они вокруг длинного стола с чарками водки пред собою, но не было подле них женщин, и не играли они в зернь, а вели тихую беседу.

Во главе стола сидел знакомый нам Мирон, прозванный Кистенем. Волосы его поредели и поседели, но в лице сказывалась прежняя удаль разбойника, только время наложило на него печать угрюмости.

Рядом с ним по обе стороны стола сидели Никита Свищ, Ермил Косарь, Семен Шаленый, Федька Неустрой, Панфил и Егорка, а далее сидели посадские с разных концов Москвы, несколько рядных людей и просто кабацкая голытьба. Мирон говорил:

— Теперь до нас самая пора. Бояре разъехались, людишки их без дела ходят Ратные люди пьянствуют. Теперь и начинать надо!

— Покажем им кузькину мать! — вскрикнул Неустрой. — Вспомнит боярин Егор Саввич мою ногу!

Панфил мрачно стукнул огромным кулачищем по столу и сказал:

— Уж помянет и меня за все добро, за холопское житье, за плети и батоги!

— Пустое, — перебил их Мирон, — Матюшкин мой.

— Бросьте! — сказал высокий чернобородый посадский. — Полно перекоряться, кому кто достанется. Лучше разберем, как нам дело вести.

Старик в чуйке, сверкнув глазами из-под седых бровей, ответил:

— Чего ж и разговаривать? Дело ясное! Все уж налажено: подымать народ с разных концов да и шабаш!

— А где собираться? А куда идти?

— А собираться, — ответил тот же старик, — на Красной площади, у лобного места, да на Козьем болоте, да в Охотном ряду; а идти прямо на дворы к Матюшкину, да в гости к Шорину, да к Милославскому.

— Пусть так и будет! — сказал Мирон. — Ладно надумал, Михеич. Только сговориться надо, чтобы все враз было. Завтра этим делом и заняться. Ты, Михеич, — кивнул он на старика, — народ к Охотному ряду соберешь. Ты, Сидор Карпыч, — сказал он посадскому, — на Козье болото, а я на Красную площадь, ее себе возьму. Вы, — кивнул он на своих приятелей, — завтра весь день по кабакам, кружалам да рапатам звоны звонить будете! И все чтобы на двадцать пятое к утру на места собирались. Двадцать пятого и ударим!

— Ну ин! — сказал старик. — Вот и уладились.

— И жарко им будет, волчьей падали, — сказал один из сидящих, — я уж этому Шорину попомню!

— Всем есть что им попомнить, — сказал хмурый мужичонко, — меня вон на правеже семь раз били. Не знаю, как душу не выбили.

— Никому, брат, теперь не сладко. Всякому и без соли солоно.

И они продолжали говорить между собою о тяжелых временах этого царствования. Жить было правда тяжело.

Внутри государства господствовало расстройство и истощение. Военные дела требовали беспрестанного пополнения ратных людей. Служилых людей то и дело собирали и отправляли на войну. Они разбегались. Сельские жители постоянно поставляли даточных людей, и через то край лишался рабочих рук. Народ был отягчаем налогами и повинностями. Поселяне должны были возить для продовольствия ратных людей толокно, сухари, масло. Торговые и промышленные люди были обложены десятою деньгою, а в 1662 году на них наложена была и пятая деньга. Налоги эти производились таким образом: в посадах воеводы собирали сходку, которая избирала из своей среды

окладчиков; эти окладчики прежде складывали самих себя, а потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими посадскими, причем происходили бесконечные споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта пятая деньга, а финансовая реформа, до которой додумалось правительство, желая поправить свои дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, стремясь скопить как можно больше серебра для военных издержек, приказало всеми силами собирать в казну ходячую серебряную монету и выпустить вместо нее медные копейки, денежки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно десятую и пятую деньгу не иначе, как серебром, ратным же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало указ, чтобы никто не смел подымать цены на товары и чтобы медные деньги ходили по той же цене, как и серебряные. Но это оказалось невозможным: стали на медные деньги скупать серебряные и прятать. Этим поднялась цена на серебро, а затем на все товары. Служилые люди, получая жалованье медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства медной монеты тотчас искусила многих: головы и целовальники из торговых людей, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою собственную медь и делали из нее деньги; сверх того, денежные мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебрянники, медники делали тайно деньги у себя в погребах и выпускали в народ; таким образом медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельной монеты на 620 000 рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году и по первое марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денег нужно было прибавить десять алтын; к концу этого года прибавочная цена дошла до 26 алтын 4 деньги; в марте 1661 года за рубль серебряных денег давали два рубля медью, а летом 1662 года возвысилась ценность серебряного рубля до восьми рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты; им отсекали руки и прибавали к стене денежного двора, заливали растопленным оловом горло. Но тут распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с

преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма; их прибивали к воротам и стенам.

Москва волновалась.

24 июля по кружалам и кабакам шел невиданный разгул. То здесь, то там появлялись запрещенные скоморохи и разыгрывали грубые фарсы.

Выходил один скоморох, важно садился наземь и кричал:

— Я воевода! Кто ищет суда несправедного, идите ко мне!

И тотчас выходили два скомороха, будто жалобщики. Один плакался, что его другой избил, и животишки, и женку отнял, а другой только молча показывал воеводе в тряпицу завернутый камень, и воевода решал дело в его пользу.

Тогда обиженный вскрикивал: «Так я ж тебя, жмых, обидчик!», — прыгал ему на плечи и, нахлестывая жгутом, начинал гонять.

Мнимый воевода вопил, а неприхотливые зрители дружно гоготали.

— Так его! Жги!

— Истинно, судья несправедный!

— Брюхо толстое, совесть краденая!

— Всех их бить так-то бы!

— Ну, вы! Не очень! — время от времени покрикивал на них целовальник, когда они уж очень энергично высказывали свое мнение. — Неравно пристав придет!

— Небось будет им всем завтра! — выкрикивали из толпы.

Это «завтра» стоустой молвой шло по Москве, как вода в половодье, разливаясь по всем улочкам, закоулочкам, по всем кутам.

— Завтра!

В торговых рядах говорили:

— Ужо Шорин попомнит нашу пятую деньгу!

По посадам шли оживленные толпы. Народ собирался кучками, и шмыгавшие то тут, то там люди что-то оживленно шептали.

Куракин снова пошел к Теряеву и взволнованно говорил ему:

— Беда, Михаил Терентьевич, впору стрельцов собирать!

— Да что такое?

— А то! Ты вот в хоромах сидишь, а послушал бы, какие речи ведутся. Вон Матюшкин боярин ко мне цидулу прислал. Слышь, вчера

опять двух колодников отбили. Пристава что ни час кого-нибудь в приказ за буйные тащат речи. Беда идет!

Теряев выпрямился.

— А коли беда, Иван Васильевич, — просто сказал он, — так неужто мы ее с тобой и отстранить не сумеем! Не бойсь!

— Не за себя и боюсь, а за иных прочих. Слышь, Милославские народу не любы, Матюшкин, Шорин.

— И пусть! Мздоимцы!

Все же Теряев на время отрешился от своей печали и поехал по стрелецким полкам. Их стояло в Москве три, не считая рейтарского.

Стрельцы жили по своим домам, со своими семьями, занимаясь кто торговлею, кто хозяйством.

Князь объехал полковников и наказывал им беречься

Ему теперь и самому начало казаться, что в воздухе чем-то пахнет.

То и дело по дороге ему встречались недовольные лица, и толпа не оказывала ему того почтения, какое обыкновенно оказывало всякому боярину, а тем более временно правящему городом.

Несколько раз до него донеслись злобные возгласы.

«Да, что— то есть,—думал он, внимательно вглядываясь в толпу, — прав мой Терентий: больно уж прижимают этих людишек...»

## **XIV ГРОЗА**

Наступило ясное, светлое утро рокового 25 июля. Огромная толпа народа стояла на Красной площади, и Мирон, стоя на какой-то бочке, кричал во все горло:

— Довольно, православные! Натерпелись! Теперь наш черед.

Толпа отвечала ему нестройным гудением. В это время два пристава с малыми отрядами стрельцов врезались в толпу с криками:

— Эй вы, государевы ослушники! Расходитесь подобру-поздорову, а не то я вас батогам!

Толпа молча сдвинулась вокруг них и зарокотала:

— Довольно! Не фордыбачь! Не то разложим да самому всыплем!

— Чего, братцы, смотреть на него, толстопузого? Бей! — раздался чей-то визгливый голос в толпе.

И не успел пристав оглянуться, как сильные руки взметнули его наверх, и он, ошалевший от страха, как мяч стал перебрасываться с

рук на руки над головами под дикий рев тысячи глоток:

— Вот так! Важно! Вот как мы его, брюхана! Гуляй, Душа, не хочу! —И последние руки с силою швырнули его на землю. Пристав лежал некоторое время неподвижно, а потом вскочил и опрометью бросился бежать, позабыв все свое степенство.

А толпа тем временем с глухим ревом разделялась со стрельцами. Мирону нечего уже было делать. Он слез с бочки. В толпе раздавались голоса:

— По боярам! По боярам!

— На Куракина, на Матюшкина!

— К царю, в Коломенское! Будем ему челом бить! — И толпа волною хлынула по площадям и улицам.

То же самое происходило и на Козьем болоте, и в Охотном ряду. Толпа, двинувшаяся с Козьего болота, разбила ближнее кружало и перепилась даровою водкой, потом с нестройным гиком двинулась по берегу Москвы-реки, направляясь к Кремлю. В Охотном ряду все единодушно порешили идти на Коломенское и густою толпою пошли к заставе. Стон стоял в воздухе. Встречавшиеся по дороге бояре, дьяки, приказные и стрельцы подвергались глумлению.

— Ужо вам, наши обидчики!

— Будет! Похозяйничали!

— А ну, братцы, как это они батогамы лутили нас? — и толпа била их, заушала и бросала на улице полумертвыми.

— Эй, жги, жги, говори, говори! — визжал Неустрой, вертясь перед отдельной ватагой.

— Не все ненастье, выглянет и солнышко! И на нашей улице праздник! Братцы, не разбить ли нам еще кабака?

— Го-го-го! — заревела ватага. — Хорошо умыслил!

— Идем на Балчуг!

— На Балчуг! На Балчуг!

— Стой! — ревела толпа в ином месте. — Никак боярские хоромы?

— И то!

— Ломись в ворота, ребята!

— Эй, холопишки, отворяй ворота! — И толпа стала ломать крепкие дубовые ворота.

Князь Куракин, князь Теряев, дворянские и боярские дети, приказные и воеводы, все смутились и растерялись, хотя и были подготовлены к волнению.

Князь Теряев оправился одним из первых и стал распоряжаться:

— Ты, Никитин, — обратился он к дворянскому сыну, — садись на коня и, коня не жалея, гони в Коломенское. Пусть царь бережется, а Милославский хоронится. А вы, Чуксанов, Дмитриев, Сергеев, по стрелецким полкам спешите, чтобы все они сюда шли, а городские ворота везде запереть.

Дворянские и боярские дети поскакали по назначению, а Теряев тронул коня и поехал к толпе. Ему встречались то тут, то там кучи народа, и он уговаривал их:

— Православные, чего шумите? Царь узнает, осердится, прикажет искать ослушников и наказывать! Никого не пощадит. Расходитесь лучше с миром, каждый по своему делу!

В толпе узнавали Теряева и отвечали ему:

— Уходи, князь! Не твое тут дело. Теперича мы всему голова!

Уже несколько боярских домов было разбито, а от царевых кабаков не осталось памяти. Пух из выпущенных перин, словно снег, летал по воздуху; народ опьянел и с диким криком носился по улицам, а густая толпа волною шла на Коломенское, чтобы жаловаться царю на своих притеснителей. Ворота не успели закрыть вовремя. Стрельцы собирались неохотно, боясь за себя, и восстание разрасталось и охватывало всех, кто не стоял у правления.

Царь вернулся с охоты и весело разговаривал со своими приближенными, сидя на кресле в своем саду.

Князь Терентий Теряев стоял в задних рядах, не желая выдвигаться вперед, и думал свои мрачные думы. Царский тесть, Милославский, и старый Морозов стояли подле царя. Петр Теряев стоял неподалеку и отвечал царю:

— Вестимо, государь, противу твоих соколов нигде в мире других не найдется!

— Я тоже так мыслю, — ответил царь, — а теперь вот мне от Строгановых соколов везут. Так, сказывают, таких больших и сильных не видано. — И лицо его сияло тихой радостью.



Известно, что царь Алексей Михайлович очень любил соколиную охоту, тратил на нее все свои досуги и огромные деньги. Соколы доставлялись ему со всего света. Для них были отведены просторные помещения. К ним были приставлены особые люди, и нередко эти люди отвечали головой за пропавшего сокола. Государь заботился о них больше, чем о своих подданных, и каждое утро царский сокольничий подавал ему отчет о состоянии здоровья его любимых соколов.

В момент перерыва разговора боярин Ртищев ввернул свое слово.

— Государь батюшка, — сказал он, кланяясь, — дозволь твою душу потешить! Здесь у нас, в Коломенском, силач оказался. Дозволь его с Антропкою свести!

Царь засмеялся. Глаза его вспыхнули оживлением.

— Хорошо удумал, боярин! — сказал он ласково. — Веди их обоих сюда. Потешимся!

Боярин поклонился и торопливо пошел из сада. Он вернулся через несколько минут, ведя с собою запыленного, усталого на вид юношу. Царь с изумлением посмотрел на него.

— Это и есть твой боец? — спросил он насмешливо.

— Нет, — тихо ответил Ртищев, — из Москвы.

А юноша упал перед царем на колени и громко заговорил:

— Я, государь батюшка, твой холопишко, дворянский сын Никитин. А послали меня к тебе князя Теряев и Куракин из Москвы.

— Али что случилось? — тревожно спросил царь.

— Случилось, государь! — ответил Никитин. — Людишки замутились; голытьба поднялась. Шумят на Москве — половина двинулась к тебе в Коломенское. Я обогнал их в пути. Князь Теряев наказывал тебе беречься, а князю Милославскому припрятаться.

Словно грянул гром с ясного неба, так поразила всех весть, раздавшаяся внезапно среди общего веселья. Бояре побледнели и понурились. Князь Милославский стал бледнее полотна, а лицо государя приняло скорбное, страдающее выражение.

— Вот они, слуги мои верные, — тихо произнес он, — второй раз меня с моим народом ссорят!

Он опустил голову. Потом поднял ее и сказал:

— Князь Хованский! — Красивый мужчина лет сорока вышел из толпы и преклонил колени. — Поезжай не мешкая. Успокой, спроси,

чего надобно? Скажи — мы рассудим, чтобы всем хорошо было, и сейчас сами на Москву будем!

Князь поклонился и пошел из сада. Из толпы выдвинулся молодой Петр и упал царю в ноги.

— Государь батюшка, — произнес он, — дозволь мне вместе с Хованским ехать! Там мой полк стоит!

Царь ласково кивнул ему головой.

— Добро! — сказал он. — Поезжай!

Князь Петр стукнул лбом и побежал догонять Хованского.

Его сердце трепетно билось и замирало. Княжна Куракина оставалась в Москве, и он трепетал, думая об опасности, которой она подвергалась; а Никитин все время стоял на коленях, пока царь не обратил на него внимания.

— Встань, добрый молодец, — сказал он ему ласково, — спасибо тебе на службе. Хоть и не радостную весть мне принес. Жалую тебя к руке! Поди к нам в покои, отдохни и подкрепись!

Никитин приблизился к царю, поцеловал руку и пятась пошел к выходу. Царь встал. Веселье окончилось.

— Пойти, — сказал он Морозову, — подумать, что делать тут! — И он тяжелой, медленной поступью пошел ко дворцу. Часть бояр осталась в саду. Всем было не по себе. Всякий знал, по примеру прошлого, что теперь идет в Москве разгром их животов, и никто не смел в то же время отлучиться от двора.

Терентий тихо осенил себя крестным знаменiem и подумал: «Вот и идет наказание за отступничество. Верно говорил Аввакум: тяготеет над нами карающая десница Господа...»

## **XV ПРОДОЛЖЕНИЕ**

Ни слова не говоря друг другу, пригнувшись к шеям коней, мчались во весь дух Хованский и князь Петр Теряев в сопровождении Кряжа и нескольких слуг.

Москва шумела, как море в осеннюю непогоду. Целый день громили боярские хоромы, целую ночь шло пьянство; то тут, то там вспыхивали пожары. Стая диких зверей, выпущенных на волю, не так страшна, как разъярившаяся чернь, а она разжигала себя криками, убийствами и вином. Мирон, увлеченный местью, ни о чем не думал,

кроме как о Матюшкине; зато его товарищи вспомнили ремесло и грабили везде, что можно и где можно. Они уже оделись в дорогие кафтаны ярких цветов, опоясались саблями и выглядели молодцы молодцами. Пьяная голытьба из боярских погребов выкатывала бочки с вином и медом и пила хмельное из серебряных ковшов и драгоценных кубков.

Князя Теряев и Куракин сидели в осаде Их дома со всех сторон окружила бунтующая чернь и с гамом ломала ворота, а князя заперлись в домах, окружили себя немногими верными холопами и готовились умереть в неравном бою.

Княгиня Теряева, обнявшись со своею невесткою, плакала и дрожала в своем терему.

В терему Куракиных происходило то же.

Княжна, бледная, как весенний снег, княгиня, дрожащая как осиновый лист, плакали и кричали, им вторили мамка с сенными девушками, а со двора неся гул пьяной и буйной черни и резкие удары бревен в ворота.

Стрелецкие полки снарядить не успели, и отдельные их отряды тревожно метались по городу, затевая стычки, в которых иной раз были побеждаемы, иной раз побеждали сами — и тогда волокли своих пленных в приказы, которые отстаивались заплечными мастерами.

Хованский и Петр влетели в город, чуть забрезжил день.

Было еще три часа утра, а Москва уже шумела, как морской прибой.

— Я к своим рейтарам! — сказал Петр.

— А я на площадь! — ответил Хованский. — Прощай!

— Князь, — промолвил Кряж, — накинь мой зипун, а то нас, как пить дать, с коней сволокут.

— Давай!

Кряж быстро отвязал от седла свой серый зипун и накинул его на князя. И было самое время. Прямо навалила огромная толпа, запрудив всю улицу.

Они прижались к забору. Их кони насторожили уши и пугливо вздрагивали. Толпа приближалась.

Впереди шел огромный детина в парчовом кафтане и, махая бобровою шапкою, кричал:

— Всех бояр изведем, братцы! Поклонимся царю-батюшке и скажем: будь сермяжным, а не боярским царем!

— Го-го-го! Карачун боярам! — гремела толпа.

— Эй, жги, говори! Над боярами что хочешь, то твори! — визжал чей-то голос.

— Кого бить теперь?

— Куракина с Теряевыми добивать надо!

— К ним, к ним!

И с этими криками толпа поравнялась с нашими всадниками.

— Это что еще за птицы? — закричали из толпы. — На конях народ давить, а? Чьи холопы?!

Кряж толкнул Петра и тотчас ответил:

— Теряевские! От них убежали и коней увели. Все хоть есть чем их попомнить.

— Верно, — закричал кто-то.

— Что, братики, лущат их? — спросил вожак.

— Во как! — наудачу ответил Кряж.

— А соседа окаянного?

— Тоже!

— Ребята, гайда! На помощь! — И толпа ринулась бегом.

Вскоре улица опустела. На Кряже и его господине лица не было.

— Плохо, Кряж; может, их и в живых нету!

— Спешить, князь, надо!

— Скачем! До полка недалеко!

И они поскакали к своему полку.

Там шли сборы.

Немец Клинке не поступил как прочие начальники и не решился разбивать полк на отряды, а хотел собрать его в полном составе и весь вчерашний день разыскивал солдат.

Петр влетел на двор и бросился к нему.

— Много народу?

— О та! — торжествующе ответил немец. — Пошти все, окромя тех, что с бунтовщиками ушли!

— Сбирайте их!

— Они собраны! Здесь! Бей в тулумбас! — велел он дежурившему. Тот стал колотить палкою по огромному барабану, и на его гром стали сбегаться солдаты.

— Здравствуйте, други! — сказал им Петр. — Идем скорее своих спасать.

— Здрав будь, князь! Идем! — закричала толпа солдат.

Клинке поспешно выстроил их.

— Ну, с Богом! — сказал князь, становясь впереди них на коне. — Идти тесно, не разбиваться. Отдельных драк не затевать! Придем на место, так команду слушать. Да зарядите пищали!

Спустя несколько минут рейтарский полк числом 400 человек плотною массой двигался по кривым улицам, спешно направляясь к домам Теряева и Куракина.

Петр вел их и замирал от страха.

Что он увидит? Что застанет? Может, уже обгоревшие стены и обугленные трупы.

Он бледнел и вздрагивал при одной этой мысли.

— Скорее, скорее! — торопил он. Им навстречу попадались кучки пьяного народа, при виде силы поспешно разбегавшегося в разные стороны.

Наконец, широкою лентою сверкнула Москва-река. Петр увидел небольшой холмик, на котором стояли дорогие ему усадьбы, взглянул на них и замер.

Словно муравьями, они были облеплены кругом бунтовщиками.

— Ломи! ломи!-доносились среди гула отдельные возгласы.

— Огня бы!

— Смерть им, окаянным!

— Покажем им, как наши за царя правят!

— Налегай!

— Эй, ухнем! Рраз!

— Тащи, братцы, смолы да пакли!

Петр остановил полк, подозвал Клинке и еще двух офицеров и стал с ними советоваться. Потом они разделили полк на три части. Одна осталась на месте ожидать сигнала для помощи или бить беглецов, другая пошла низом по берегу реки в обход к дому князя Куракина, а третья, с Петром во главе, пошла напрямик на холм.

Князю Теряеву и Куракину приходилось плохо. Чернь разломала ворота и волною хлынула на дворы. Забор был разметан, и оба дома соединились в один. Часть толпы побежала в погреба, часть бросилась к домам, где встретила отпор, но недолговременный. Силы были

слишком неравны. Слуги Куракина в смятении бросились наверх в терем.

— Переряжайтесь, голубушки! — кричала растерявшаяся мамка. — Одевайтесь сенными девушками! Авось от них, нахальников, нашу пташку спасем!

Княжна лежала почти без чувств, пораженная ужасом. Княгиня была на весь терем. А внизу ревела буйная толпа. Вдруг по всему двору пронесся крик, почуялось смятение. Раздались выстрелы. Послышались боевые крики.

Мамка бросилась к окошку, заглянула в него и закричала.

— Спасены! спасены! И опять наш голубчик тут!

— Кто? — спросила княгиня.

— Да все он, Петруша, князь Теряев! — И, смотря в окошко, она продолжала рассказывать:

— Ишь, как мечется на коне, словно молния! Так и бегут от него разбойники. Вон теперь метнулся на отцовский двор!

Княжна очнулась от слов своей мамки и жадно вслушивалась в ее слова. Сердце ее трепетало и билось, лицо покраснелось, и она вполголоса говорила:

— Он, мой сокол! он, мой голубчик. Это ему Мать Царица Небесная на сердце послала!

Князь Петр поспел в самое время. Едва хлынула толпа во дворы, он ворвался следом за нею и клином врезался в нее со своими рейтарами. Раздался залп из пищалей, и полупьяная безоружная толпа с воплями ужаса заметалась по двору. Рейтары били направо и налево; княжеские слуги выскочили из засады дома и стали вязать веревками попадавшихся им. Пораженные отчаянием бунтовщики бросились прочь из дому, но там по дороге их перехватили оставшиеся в засаде отряды. Князь Теряев, мысленно обрекший себя на гибель, со слезами радости обнял сына:

— Петруша, — сказал он, — и жизнь ты мою, и честь спас!

Петр освободился из его объятий и торопливо промолвил:

— Постой, батюшка, я к соседям наведуясь!

С этими словами он бросился на двор Куракиных и на полдороге столкнулся с самим князем. Тот обнял его и горячо сказал:

— Как отблагодарить тебя, добрый молодец, и сам не знаю. Допреж жену мою и дочку спас от разбойников, а теперь нас всех от

смерти неминуемой избавил. Чем отблагодарить тебя, не ведаю!

Петр вспыхнул и, запинаясь, проговорил:

— Скажи князь, что с княжною? Перепугалась, поди!

Князь широко улыбнулся и, взяв Петра за руку, сказал:

— Пойдем вместе, посмотрим, что с ними случилось. Мне, признаться, не до них было, а теперь и самому посмотреть охота!

Петр, замирая от радости, пошел следом за князем. Они прошли сени, миновали ряд покоев, поднялись по узкой деревянной лестнице и вошли в терем.

— Ну, как вы тут? — произнес весело князь Куракин.

Княжна оглянулась, увидела Петра и, не в силах сдержать своей радости, бросилась к нему с криком:

— Петруша ты мой!...

Но тут же застыдилась, закрыла лицо руками и убежала в свою светелку. Петр поднял было руки, но тотчас опустил их и смущенно потупился.

— Ахти, срам какой! — воскликнула, всплеснув руками, княгиня, а князь громко засмеялся и, потрепав Петра по плечу, сказал:

— Вот ты молодец какой, выходит! И сватов засылать не надо. Сами про себя сговоры устроили. Ну-ну, что тут? Дело молодое! Пойдем к отцу пока что!

Петр порывисто поцеловал его в плечо, а он, обняв Петра, повел его из терема, говоря по дороге:

— Добро, что ты вернулся. Мы, признаться, с князем проморгали беду-то! Все: авось да небось, а беда тут как тут. Пойдем теперь, покалякаем, что делать нам.

Они вошли в дом князя Теряева, и Куракин издал крик:

— Ну, князь Михайло Терентьевич, не будь сына твоего, пропадать бы нам!

— Что ж, — с тихою улыбкой ответил князь, — он свое дело делал.

Они вошли в горницу и сели за стол, на котором стояла уже еда, и начали разговаривать о текущих событиях.

## **XVI КРУТАЯ РАСПРАВА**

Мирон с Панфилом, едва только начались беспорядки, прямо двинулись ко двору боярина Матюшкина. Их сопровождала огромная толпа гультяев.

Не доходя до двора Матюшкина, Мирон остановился и сказал:

— Братцы, тут нас для этого пса много. Пущай половина идет на разбойный приказ да колодников выпустит, а я тем временем боярина пощупаю, а добро делить потом приходите!

Толпа с гулом разделилась на две части, и одна двинулась на разбойный приказ, это ненавистное всем, проклятое место, а другие, во главе с Мироном, на двор Матюшкина.

Боярин, ничего не подозревая, медленно прохлаждался за обедом и тянул вторую ендову меда, когда в горницу вбежал испуганный отрок.

— Боярин, — закричал он, — ты тут сидишь, а в Москве бунт. Народ, вишь, к тебе валит. Беда!

Боярин даже поперхнулся медом и вскочил с лавки. Босой, распоясанный, бросился он в терем, прямо к жене, и закричал:

— Матушка, Лукерьюшка, спасай меня от воров! — и с этими словами лег на кровать, прикрывшись перинами, но перина вздулась горою, и за версту можно было догадаться, что здесь спрятался человек. Он соскочил с постели и полез под кровать.

— Закидай меня какой рухлядью, — прохрипел он оттуда.

Лукерья Даниловна заметалась по тесной горнице.

А двор уже заняли гультяи. Мирон и Панфил с несколькими молодцами ворвались в хоромы и яростно шарили по всем углам, ищи боярина.

— И куда ему деться, собачьему сыну? — рычал Мирон, перебегая из горницы в горницу.

— Пройдем наверх, — предложил Панфил, и они бросились по лестнице в терем.

— Куда вам? Чего вам? — закричала, загораживая им дорогу, толстая баба в повойнике.

— Пусти, Лукерья Даниловна, — сказал ей Панфил и шепнул Мирону:

— Беспременно тут.

Мирон рванулся вперед. Боярыня вцепилась в его бороду. Мирон с яростью толкнул ее в грудь, и она отлетела от него, сделала



несколько скачков, грузно упала, ударилась виском об угол железного сундука и обмерла, заливая пол кровью. Мирон бросился к постели, сорвал полог, сбросил перины и, не найдя боярина, стал смотреть по углам. В это время Панфил заглянул под кровать и радостно закричал:

— Здесь он! здесь!

Мирон нагнулся тоже и увидел ничком лежавшего боярина.

— Эй, ты, волчья сыть, — закричал он, — вылезай честью! — Боярин не шевелился. Мирон повторил оклик и потом сказал Панфилу: — Тащи его!

Панфил тотчас нагнулся и ухватил боярина за ноги.

— Егор Саввич, — заговорил он насмешливо, — вылезай, пожалуйста. Девки тебя давно уж ждут! — И он потянул боярина за ноги, но боярин ухватился за ножки тяжелой кровати, и она потащилась вместе с ним.

— Ишь, песий сын! — проговорил Панфил. — И тут кочевряжится. А ну, я ж тебя! — И он освободил одну руку, уперся ею в дубовую кровать, а другою с такой силой рванул боярина за ногу, что тот до половины выкатился из-под кровати. Лицо его ударилось о ножку и окровавилось.

— Не хотел честью, пес! — сказал Панфил с укоризною.

Боярин лежал недвижим.

— Вали его на себя, — сказал Мирон, — и тащи к девкам.

Взвалить семипудовую тушу боярина себе на плечи для Панфила не представляло никакого затруднения. Он ухватил его за руку и за ногу, крикнул, вскинул себе на плечо, как мешок, и поволок вниз по лестнице. Мирон пошел за ним следом, а Лукерья Даниловна, не приходя в сознание, лежала на полу с проломленной головой.

Тем временем гуляти, ворвавшись в погреб, с жадностью пили мед и пиво и пьяные выбегали на двор снова. Мирон с Панфилом перешли двор, сад и подошли к одинокой бане, где когда-то томила Акулька. Сильным ударом чекана<sup>[72]</sup> Мирон сбил замок и, распахнув дверь, вошел в просторную горницу. Четыре девушки при их входе испуганно забились в угол.

— Уф! — сказал Панфил, опуская на землю боярина.

Мирон обратился к девушкам и сказал:

— Не бойтесь, милые! Не обидчики мы вам! Принесли мы вам в подарочек боярина, чтобы с ним за ваши слезы рассчитаться!

— А вы сами кто? — спросила одна из девушек.

— А мы вольные люди; тоже счет с боярином имеем. Так вот и привели его сюда, чтобы со всяким посчитаться можно было.

Девушки оправились и вышли из угла, пугливо смотря на огромную тушу недвижно лежащего боярина.

— Сбегай-ка, Панфил, за водою, — сказал Мирон, — да заодно достань прутьев с батогами, угольев, ежели найдешь, а то просто веников пару!

Панфил ушел, а Мирон остановился над боярином и со злобной радостью смотрел на него.

— Сократился, — прошептала одна из девушек, — довольно насильничал над нами, срамник!

— Давно вы у него? — спросил Мирон.

— Шестой месяц! — ответила одна.

— Четвертый месяц! — ответила другая.

— А я уж год, как мучаюсь! — Сказала третья, а четвертая только пронзительно завывала от обиды и горя.

И полились их жалобные рассказы. У всех у них была одна история с Акулиной. Так же их взяли в застенки, а из застенка перевели сюда.

— Не сдастся которая, ту секут. Вона одну, рассказывают, насмерть засек, разбойник!

Мирон вздрогнул и сказал:

— Это была моя любовница!

— Горемычный ты! — воскликнула одна из несчастных.

Мирон усмехнулся:

— Теперь он горемычный! — и ткнул боярина ногою в бок.

Тот давно очнулся, но нарочно не двигался и сдерживал дыхание, слушая эти разговоры и думая о своей горькой участи. От толчка в бок он простонал. Мирон обрадовался и нагнулся.

— А, боярин, прочухался?

В это время вошел Панфил с пучком розог, несколькими плетями и пачкой веников. За ним следом вошло несколько холопов.

— На боярскую расправу поглядеть! — сказали они просительно.

— Что же, можно! — усмехнулся Мирон и снова толкнул боярина. — Ну-ка, поворачивайся, что ли! Братцы, — сказал он холопам, — скиньте-ка с него рубашку!

Холопы бросились и в один миг сдернули с него рубаху. Мирон роздал девушкам кому плеть, кому розгу и сказал: —Считайтесь с ним, а я опосля!

Девушки пришли в неистовство. Они вспоминали лихому боярину все свои обиды и хлестали его нещадно под прибаутки холопов, а Мирон тем временем разжигал веники.

— А это тебе за Акульку! — сказал он, когда девушки устали хлестать, и начал водить пылающим веником по истерзанной спине боярина. Тот лишился чувств, но от этой адской боли очнулся, закричал не своим голосом и снова лишился чувств.

— Не нравится! — усмехнулся Мирон.

— Пусти-ка и меня! — сказал Панфил и, ухватив ус боярина, вырвал его с мясом.

Девушки побледнели от ужаса и с криком выбежали из бани. Холопы оторопели, и только Панфил с Мироном продолжали свою дикую расправу, радуясь каждому стону, вырывающемуся из полурастерзанного тела боярина.

Когда они оставили его, тело Матюшкина представляло кровавую обугленную гору, в которой не было даже признака человеческого.

Панфил и Мирон вышли мрачные, торжественные и, миновав двор с бушующими гультиями, вышли на улицу.

Им навстречу бежала толпа; среди всякого сброда виднелись то тут, то там страшные лица колодников.

Несколько человек, составлявших ядро толпы, высоко поднимали на палке отрубленную голову и кричали:

— Со всеми так будет! Ладно, поиграли нами, пошутим и мы!

— Берегись, спесь боярская!

Мирон взглянул на отрубленную голову и узнал в ней голову дьяка.

— Всем один конец, это верно! — произнес он злобно.

— Эй, вы! Куда ж теперь идти хотите? — закричал он толпе.

Толпа остановилась. Многие узнали в нем своего вожака и закричали:

— Куда поведешь нас! Мы за тобою!

— Тогда к Шорину!

— К Шорину! к Шорину!

— Гайда, ребята!

В это время со стороны города подбежала ватага.

— Братцы!-закричали они. — Бежим на площадь! Там от царя гонец!

— На площадь!

— От царя гонец!

Голова Травкина, сброшенная с палки, полетела на землю и глухо ударилась.

Толпа ринулась по улицам, давя и толкая друг друга, прямо на Красную площадь.

Мирон с Панфилом медленно шли позади.

— Не улестил бы народ он только, — озабоченно говорил Мирон.

По дороге встречались отдельные ватаги; они присоединялись к толпе и текли на площадь, как лавина.

## **XVII БЕЗУМИЕ**

Хованский на взмыленном коне стоял посреди Красной площади и надрывался от крика. Кругом его, куда ни глянь, виднелись головы, лица и шапки, и только огромная любовь москвичей к Хованскому разрешала ему такую безумную отвагу.

Он не думал об опасности и кричал, надрываясь:

— Православные! Народ московский! Что вы затеяли? Очнитесь! Царь-батюшка милостив и ваши вины пока что отпустит. Не одумаетесь, поздно будет! Ни за что пропадете. У царя немало войска и верных слуг!

— Мы не на царя, а на слуг его! — закричали из толпы.

— Мы тебе зла не желаем! Оставь нас!

— Православные, люди добрые! — надрывался Хованский. — Успокойтесь! Царь за мною в Москву будет. Все рассудит!

— Пусть бояр-изменников выдаст! Пусть собаку Милославского нам отдаст!

— Оставь, Хованский, ты человек добрый, в наше дело не вмешивайся.

— Братцы! — раздался зычный голос Мирона. — Да чего ждать? Идем на Шорина!

— К Шорину! к Шорину!

— Хованский, уходи!

— Прочь с дороги!

И, как вспененное непогодой море, толпа вдруг заволновалась, метнулась направо, налево и потекла.

— К Шорину? — раздались крики.

Хованский направил коня к дому Теряева и стал медленно пробираться в толпе.

Князь Теряев с сыном Петром и князем Куракиным держали совет, когда приехал Хованский.

Он слез с коня и неслышно вошел в горницу. Строгие до внешнего этикета московские бояре теперь и не подумали о нем.

— Что, упарился? — спросил его Куракин, зная от Петра об его приезде. — Уговорил?

Хованский только качнул головою.

— Дай испить, — попросил он Теряева, — всю глотку надорвал!

Теряев хлопнул в ладоши и велел подать меду и кубок.

— Тяжелые времена переживаем! — сказал он. — Беда отовсюду! И война, и голод, и дома нелады.

— И не скажи! — Хованский махнул рукою. — Слышь, выдай им Милославского. Теперь на Шорина пошли. Хорошо, коли убежит!

— Не грех и Милославского трепануть, — сказал Куракин.

Хованский усмехнулся и погрозил пальцем. Потом сказал:

— Ну, я сейчас и назад к царю! А вы что делать будете?

— Мы-то? Да вот наш воин, — князь Куракин указал на Петра, — берется стрельцов собрать да свой полк, и по малости укрощать будем. Где можно. Дворец побережем, казну...

— Ну, ин! — сказал Хованский. — Я еду. Князь, нет ли коня у тебя? Мой угнался!

— Бери любого, — ответил Теряев и приказал приготовить коня.

Мятежники бросились к дому гостя Шорина, разбили его, разграбили, искали самого Шорина и не нашли его. Вместо него они схватили его пятнадцатилетнего сына.

— Где отец? — кричали они, встряхивая его.

— Он еще на неделе уехал!

— Куда?

— А не знаю.

— А, щенок! падаль! врать еще! Говори, что в Польшу уехал, с письмами от бояр, чтобы царю изменить!

— Не знаю!

— Говори, как наказываем; не то живьем сожжем!

Мальчик заплакал.

— Ну, куда твой отец уехал?

— К полякам с боярскими письмами, чтобы царя известить! —

ответил он, дрожа от страха.

— Го-го-го! — загудела толпа.

— Братцы, к царю его! В Коломенское! Пусть на бояр докажет!

— К царю! к царю!

— Всех бояр-изменщиков на виселицу!

— В Коломенское! — И, подхватив мальчика Шорина, толпа хлынула из Москвы.

Хованский выехал от Теряева, увидел движение толпы и вернулся.

— Все бегут из города, — сказал он, — вероятно, в Коломенское.

Вы, как они уйдут, ворота запирайте, а потом следом войско пустите!

— Хорошо! — согласились градоправители и сделали так, как сказал Хованский.

Ворота заперли, едва вышла толпа.

Петр поручил немцу Клинке ловить со стрельцами оставшихся воров, а сам, собрав свой полк и прихватив еще стрелецкий, три часа спустя двинулся в тыл бунтующим и шел за ними следом, готовя им поражение.

— Не иначе как на Москву ехать! — решил государь со своими боярами, поднимаясь с кресла.

Милославский робко заметил ему: — Боязно, государь!

Царь взглянул на него и вспыхнул как порох. Глаза его сверкнули.

— Мне боязно? — воскликнул он. — Царю боязно идти к своему народу? Отцу к детям? Да в уме ли ты, боярин? Тебе надо хорониться нонче, — добавил он спокойно. — А цари от народа никогда не прятались!

В это время, забыв придворный обиход, дворянские дети вбежали в палату и закричали:

— Идут, идут! Берегитесь!

Бояре заметались. Милославский бросился в покои царицы и там забился в дальний угол. Вспомнил он, как в 1648 году разъяренный

народ шарил Морозова, как расправился с искупительной жертвою, Плещеевым. Вспомнил и затрепетал от ужаса и позора.

Вспомнили это и бояре и бросились кто куда. Царь оглянулся и увидел подле себя только князя Терентия Теряева да дворянских детей.

Он горько усмехнулся и сказал:

— Знает кошка, чье мясо съела. Пойдем, князь! — и твердым шагом пошел к выходу.

Тысячная толпа бежала с гамом и криком, неистово махая руками.

Увидев государя, она бросилась к нему и вмиг окружила его со всех сторон.

Дворцовая стража только ахнула и не решилась, за своей малочисленностью, идти к царю для охраны.

Царь, тихий, улыбающийся, совершенно спокойный, в сознании правоты своей, стоял среди возбужденного народа.

Из толпы раздались отдельные крики, которые вскоре слились в протяжный гул.

Царь поднял руку.

— Ничего не слышу! — сказал он. — Говорите выборные!

— Отдай нам Милославского! Он вор и всем ворах потатчик! — раздался отдельный возглас.

Наиболее смелые выдвинулись к царю.

— Царь-батюшка, — заговорили они, — житья не стало. Окружили тебя псы бояре, и не слышишь ты стога нашего, не видишь слез! Сперва десятой, а теперь уж и пятой деньгой обложили, за все берут! За воз берут, прорубное берут, посошное, на правеже забивают! Жить нельзя!

— Ямчужные, городовые, подможные, приказные — все плати! — закричали другие голоса.

— На завод селитряный дрова вози!

— Серебром давай, а откуда оно, коли его все к рукам прибрали!

— Воеводы ходят да кричат: кого хочу, того в тюрьме сгною!

— Смилуйся, государь!

— Теперь тесть твой да собака Матюшкин людей в приказ берут да с дыбы казны добиваются от них!

— Выдай нам Милославского!

Толпа волновалась и, тесня царя, хватала его за руки, за подол платья, за пуговицы.

Царь стоял недвижим. Лицо его то принимало выражение страдания, то вспыхивало стыдом за своих бояр.

— Ну-ну! — заговорил он наконец, совладав с собою. — Успокойтесь, детушки! Теперь вы до меня дошли. Я все узнал! Вот сейчас на Москву поеду и сам сыск учиню.

— Выдай нам бояр твоих!

— Выдай Милославского!

— Не могу! Сами судите, кто над всеми старшой? Я, милостью Божьей! Мой и суд, моя и расправа! Коли сыщу вины на них, никого не помилую!

— Чему нам верить?

— Мне верить, царскому слову моему! — гордо ответил царь и выпрямился с величественным жестом. — А теперь идите с миром назад, в Москву! Я туда сегодня же выеду. Там и суд будет! Выберите от себя челобитчиков!

— А в чем зарок?

— Богом клянусь вам и своим царским словом!

Из толпы выдвинулся здоровенный детина и протянул царю свою огромную руку.

— Бей, государь, по правде рукою! — сказал он.

Царь вспыхнул, потом засмеялся.

— Ну, ин быть по-твоему! По рукам! Вы в Москву, я за вами! — И он опустил свою руку в широкую лапу мятежника.

Тот в неистовом восторге обернулся к толпе и, показывая всем свою правую руку, закричал:

— Бил государь по рукам! Теперь верно! Домой, братцы!

— Назад! в Москву!

— Многие лета государю-батюшке!

— Здравствовать тебе на радость нам!

— Слава царю!

Толпа с криками ликования двинулась назад, и до царя доносились возгласы:

— Теперь добились правды! Слава царю!

Царь долго смотрел вслед удаляющейся толпе. Потом обернулся к Терентию и с тихою улыбкою сказал:

— Что дети!



— Да, что дети! — ответил Терентий и сурово прибавил: — А обидеть их — что детей обидеть. Одна защита у них — это ты!...

Царь кивнул головою и тихо пошел во дворец.

## **XVIII СИЛА И ПРАВДА**

— Завтра в утро на Москву собираться, — сурово отдал приказ царь, входя в палаты.

Бояре видели всю сцену царя с народом и теперь, успокоенные, повывезли из щелей и окружили царя. Он чувствовал себя героем и развеселился.

— Эй, вы! — шутил и смеялся он над их страхом. — Царские слуги!

— Ну а где ж твой силач? — обратился он к Ртищеву.

Ртищев низко поклонился царю и быстро выбежал из палаты, все оживились и повеселели. Царь снова пошел в сад и там смотрел на кулачный бой, а после всенощной остаток вечера провел у царицы. Идя на покой, он сказал Теряеву:

— Ну, князь, хоть и не спальник ты нонче, а думный боярин, все ж с тобою мне побывать хочется. Идем ко мне в опочивальню!

Терентий молча поклонился царю, а все с завистью поглядели на князя. Царь отпустил бояр и пошел в опочивальню. Отпустив спальника, он разделся с помощью Терентия и лег в постель, отпахнув полог кровати.

— Не буду спать нонче, — проговорил он, — взволновали меня дела эти! Тяжко, князь, царем быть! Немила эта корона самая! Подчас иному сокольничему завидуешь: нет у него ни тревог, ни забот; нет ответа перед Богом такого страшного!

— Господом помазан на царство; Господь и силу даст, — тихо промолвил Терентий.

— Эй! силу, силу, — вздохнул государь. — Да коли она вся на бояр идет? Вот хоть бы теперь? Тестюшко мой, знаю, народ грабит, а что поделаю? Другой, может, хуже, будет. Были Морозовы, согнал их, поставил Милославского — и того хуже. Его прогонишь и Бог весть на кого наткнешься. Нету ни царских, ни Божьих слуг; всяк только о себе думает, а я за всех! — Он вздохнул и замолчал. На душе его было горько.

Он ли не отец для народа своего? Он ли не молещик? На церкви жертвует, нищую братию оделяет щедро, принимает и сирого, и убогого. Не гнушается ни больным, ни колодником, а Господь словно отворачивается от него. Голод, мор, войны, пожары, бунты! Всего вдоволь — и нет только мира да спокойствия.

— Господи! — тихо прошептал он. — Вразуми, но не оставь милостию!

Его кроткая душа скорбела. Ему было больно видеть оскудение своего народа, и в то же время он не знал, чем помочь своему горю.

Князья Теряевы, Ордын-Нащокин, Шереметев да Матвеев, Артамон Сергеевич, — вот и все! — перебрал в уме царь своих слуг, в честность которых он мог поверить.

— А остальные? — И царь горько усмехнулся.

Терентий лежал на широкой лавке и думал свою думу.

Вот оно! Начинает сказываться! Не проходит даром отступничество! Господь видит и карает. Все стали слугами антихриста — на всех печать его, а устами говорят: «Господи, Господи». Никонианцы презренные! И ему вспомнилась моленная Морозовой, Аввакум с его горячею речью, юродивые с их жаждою пострадать за веру, и сама Морозова, презирающая всю суету.

Любовь смешивалась с благоговением, и Терентий с умилением думал: «Скоро увижусь с нею».

Ночь прошла спокойно. Рано, чуть свет, стали собираться в дорогу: выкатывали колымаги, запрягали лошадей, выстраивались вершники и скороходы.

Тем временем толпа, идущая из Коломенского, встретила с бегущими из Москвы.

— Назад! — закричали первые. — Государь-батюшка сам на Москву приедет сыск делать!

— Нет! — закричали из встречной толпы, — мы государю языка ведем: на бояр доказывать!

— Что на бояр?

— А то, что они с Польшею дружат! Батюшке-царю измену готовят!...

— Вешать их! Топить!...

— За тем и к государю идем! Поворачивайтесь за нами! Государь нам их сейчас головой отдаст!

— Назад! Назад! — закричали в толпе, и все, соединившись вместе, двинулись снова в Коломенское, таща с собою и малолетнего Шорина.

Мальчик был ни жив ни мертв. От страха он плакал и просил отпустить его, а мятежники говорили:

— Ужо, ужо! Сперва царю правду докажи!

В чем была правда, они не понимали и сами. Слишком была велика ненависть, накопившаяся за много лет, против бояр, и теперь она вылилась в такой безобразной форме. Царь вышел на крыльцо, собираясь ехать в Москву, когда ему с испугом доложили о приближавшейся грозе.

Царь нахмурился.

— Опять! — грозно воскликнул он. — Чего ж им от меня надо? Неужто не поверили?! — И прежде, чем могли опомниться бояре, он вскочил на своего коня и поскакал прямо на несметную толпу.

Толпа увеличилась почти в два раза. Она занимала всю ширину дороги и черною тучею тянулась на добрых полверсты. Царь осадил коня и тотчас был окружен шумящей толпою. Он был один. Позади него из бояр находился только Терентий. Все оружие царя составлял поясной нож, но он и не подумал о том. Подняв шелковую плеть, он грозно закричал на толпу:

— Что ж вы, крамольники, опять вернулись? Мало вам моего царского слева? Чего вам надобно?

— Милости, царь! Правды! — закричали в толпе. — Не мы, а бояре твои — крамольники! Выдай их нам на расправу!

— Слышь, государь, они полякам прямят!...

— На тебя зелье готовят!...

— Мы за тебя заступники!...

Царь смутился.

— Что еще? С чего вы брешете?

— А вот, изволь сам допросить пащенка этого!

Толпа всколыхнулась, раздался крик, и к царю приволокли и перед ним поставили мальчика, сына Шорина. Кафтан его был изорван, синяя шелковая рубашка разорвана тоже, волосы растрепаны, из рассеченной, распухшей губы сочилась кровь, и по лицу лежали грязные полосы от слез, смешанных с пылью. Царь с состраданием взглянул на него и спросил у толпы:

— Что вам от него надобно? Али он в чем провинился?

Из толпы выделился чернобородый посадский и ответил:

— Он тебе все на бояр докажет!

— Что он знает? — спросил царь.

Посадский толкнул мальчика, а другой стоявший тут же встряхнул его за плечи.

— Говори, сучий сын!

Мальчик всхлипнул и начал несвязно рассказывать. В страхе он плел на отца и на всех знакомых ему бояр разные небылицы. Отец-де уехал в Польшу, а потом в Швецию, повез письма от бояр, что они-де Москву без бою отдадут.

— Куда ж поехал отец твой, — спросил царь, — в Польшу или в Швецию?

— В Рязань! — ответил мальчик, всхлипывая.

— Врешь, в Польшу! — закричал на него посадский.

— В Польшу! — поправился несчастный мальчик.

Царь невольно улыбнулся, но тотчас нахмурился и поднял голову:

— Ну ну! — сказал он. — Этого мальчика под стражу возьмем. Идите теперь домой, а за вами и я в Москву, сыск сделаю, его спрошу!

— Подавай нам бояр! — заревели в толпе.

— Там видно будет! — ответил царь.

Толпа забушевала.

— Подавай добром, не то силой возьмем, по обычаю!

И толпа надвинулась на царя и стиснула его с конем.

Царь растерянно оглянулся и вдруг позади толпы, на пригорке, увидел стройные ряды войска. То был князь Петр Теряев со своими рейтарами и стрельцами. Глаза царя вспыхнули гневом. Он выпрямился на коне и взмахнул плетью.

— Добро, — сказал он, — не хотели честью, так ничего вам не будет! — и закричал громовым голосом: — Бить их, мятежников!

В тот же миг раздался военный клич; в воздухе загремели выстрелы, и на безоружную толпу с остервенением бросились солдаты. Мятежники дрогнули, завывали от страха и бросились врассыпную.

— Бей, лови! — кричал царь в исступлении и, сидя на коне, мял и топтал бегущих.

Из двора выскочили бояре и дворцовая стража, и началось кровавое побоище. Безоружных, перепуганных бунтовщиков давили и топтали конями, били мечами и секирами, топили в реке и частью забирали в полон и вязали веревками. Только немногие успели спастись бегством.

Царь подъехал к Петру и горячо обнял его, не сходя с лошади.

— Спасибо! — сказал он ему. — Жалую тебя вотчиной, выбирай любую! Проси чего хочешь, для тебя ничего не жалко!

Петр спешил и поклонился царю в землю.

— Рад за царя живот положить, и твое ласковое слово выше всякой награды! — сказал он.

— Добро! — ответил царь, улыбаясь. — Я твоей услуги не забуду, а теперь на Москву.

Лицо его грозно нахмурилось.

— Князь Милославский, — сказал он, — с бунтовщиками расправься! Не знай к ним жалости! Всех их перевешай, да здесь, вокруг Коломенского, им виселиц нагороди, чтобы всем памятно было!

И с этими словами он повернул коня и медленно въехал на Москву чинить суд скорый и немилостивый. Недавно мягкое сердце теперь трепетало от гнева. Князь Милославский остался в Коломенском и стал спешно готовить для бунтовщиков лютую казнь.

## **XIX СУД И РАСПРАВА**

Царь вернулся в Москву. Немногие оставшиеся из народа встретили его далеко за городом на коленях, моля о пощаде.

Царь молча проехал мимо преклоненных рядов и, подъехав к воротам, спешил. Патриарх Иосиф с духовенством, иконами и хоругвями встретил его у Иверских ворот.

Царь распростерся перед иконами ниц, потом принял благословение и вошел в Москву. Здесь его встретили князья Теряев и Куракин.

Царь милостиво поздоровался с ними и сказал Теряеву:

— Жалую тебя своим столом, князь! Жалую за то, что взрастил сыновей таких! Соколы они у тебя!

Князь поклонился царю в ноги.

— И я, и дети мои со своими животами слуги твои верные!

— Ну, а что без меня сделали?

Они вошли в палаты. Царь прошел в моленную и помолился с умилением, потом, переодевшись, вернулся.

— Ну говорите, — сказал он, садясь в своей деловой палате в кресло.

Князь Куракин повел свой рассказ, не забыв упомянуть о подвиге Петра. Царь улыбнулся.

— Сокол, сокол! — повторил он, и лицо Куракина просияло.

— Ну, а что ж мятежники?

— С два ста изловили и до твоего повеления по приказам рассадили. Что скажешь делать с ними?

Царь грозно ударил ладонью по налокотнику кресла.

— Никому пощады! — сказал он. — Вы и вершите! Ни суда, ни сыска не надо. Всем виселица!

Князья молча поклонились и вышли из покоев, чтобы отдать по приказам распоряжения.

В тот же день ввечеру по всей Москве застучали топоры, сооружая страшные виселицы. Делались они и «глаголем», и «покоем»<sup>[73]</sup>; и для одного, и на двоих, и на троих. Ставились они длинными рядами на Красной площади, на Козьем болоте, на базарных площадях и у каждого ворот по несколько. Чтобы в другой раз помнили холопы, как бунтовать против бояр. Хитрые бояре говорили «против царя», но у русского народа никогда и в помышлениях не было подымать руку на Божьего помазанника.

На другое утро начались казни.

Со скрипом растворились ворота приказа тайных дел, и, окруженные стрельцами, вышли недавние бунтовщики толпою человек в сорок.

Жалок и убог был их внешний вид. Босые, в рваных кафтанах и рубахах, с выкрученными назад руками, бледные и окровавленные, они шли понуриив буйные головы, тупо смотря в землю потухшими глазами, эти недавние победители, дикие герой трех дней, теперь беспомощные и слабые.

Спасшиеся от поимки их товарищи смотрели на них со страхом и состраданием.

Они шли унылою толпою, а сзади них, весело гуторя и пересмеиваясь, шло человек десять палачей с пучками веревок через

плечо.

Их провели всех на Красную площадь и остановили на Лобном месте. Дьяк вышел к ним и громко прочел им их вины, что, дескать, «царю докучали, разбой и грабеж чинили, крестное целованье нарушали. А за то Ивашку Степанова, Клима Беспалого, Семена Гвоздыря, — он перечел все имена, — отрубив правую руку, повесить»...

Толпа вздрогнула и загудела. Слишком жесток показался ей этот приговор, но палачи уже приступили к делу.

Они быстро хватали преступников и тащили их к плахе. Двое держали несчастного, третий вытягивал над плахою его руку, а четвертый одним взмахом отделяя ее в локтевом суставе.

Раздавался нечеловеческий вопль, в ответ тяжело охала толпа, а полубесчувственного казнимого двое других молодцов уже волокли к виселице, накидывали ему на шею петлю, вздергивали и, натянув веревку, ловко обматывали конец ее вокруг столба.

Преступник корчился, вздрагивал, а из обрубленной руки его струею лилась алая кровь, напитывая собою сухую землю.

И час времени спустя сорок трупов на страх народу качались на виселицах, и вороны уже с зловещим карканьем кружились над ними, ожидая темной ночи.

Была широкая масленица, и наступил великий пост.

В день казнили по сорок, по пятьдесят человек, и таких ужасных дней, казалось, бесконечное количество. Более недели вешали и казнили бунтовщиков. Стон стоял над Москвою, земля площадей пропиталась кровью, и воздух был заражен запахом гниющих на виселицах трупов. Куда ни глянь-езде торчали они, эти виселицы!

Так было в Москве, а Милославский такое же устроил вкруг Коломенского. Более ста пятидесяти виселиц понастроил он красивым узором, и на каждой качались два, три, а то и четыре трупа.

— Будете помнить, как буянить, волчья сыть, — говорил он со злорадством и бил мятежников плетью, прежде чем их повесить.

Смута кончилась. Бояре успокоились и стали устраивать свои хоромы, даже не подумав чем-нибудь облегчить народную тяжесть.

Мирон и Панфил быстро шагали по дороге к Новгороду, и Мирон говорил Панфилу:

— Нет! С сильным не борись, не осилишь, брат! Бери его из-под тиха, бери в одиночку! Вот мы с тобой выйдем на Волгу, доберемся до Астрахани, а там — гуляй, душа! Кто подвернется, над тем потешимся. Там у меня приятелей сколько хошь. Еще от того времени, как царь Михаил помер!

Панфил кивал головою и говорил:

— Ни одному боярину не спущу! Во!

Все их товарищи качались на виселицах, и только они вдвоем успели спастись от общей участи.

Петр ликовал. Царь обласкал его, сделал своим ближним и наградил его и вотчиной, и шубой, и перстнем, и даже давал воеводство, но Петр отказался, сказав:

— Государь, дозвожь мне только при твоей милости бессменно быть!

— Ну, добро! — сказал ему царь. — Женись, и я тебя ближним боярином сделаю!

Петр упал царю в ноги. Царь засмеялся.

— Али уж приглядел кого?

— Есть, государь!

— Кто же?

— Княжна Катерина Куракина, дочь князя Василия!

— Что ж, совет да любовь. Правь свадьбу, мы у тебя пировать будем!

Петр еще раз поклонился в ноги и поднялся сияющий счастьем и радостью.

Нечего и говорить, что Теряев не противился такому браку, а Куракин уже ранее благословил Петра и дочь свою.

Свадьбу решено было праздновать после Петрова дня, а до того времени, что ни день, у Куракиных в терему справлялись девичники. Сбирались знакомые девушки-подруги и пели подблюдные и иные песни. Заезжал на эти девичники и Петр, щедро одаривая девушек и деньгами, и сластями, и лентами.

За версту по его сияющему лицу можно было узнать в нем счастливого жениха, и когда с ним встретился князь Тугаев, он невольно спросил его:

— Что с тобою?



И князь Петр рассказал и про свои успехи в укрощении мятежа, и про награды, и про близкую свадьбу.

Лицо Тугаева омрачилось, но он крепко обнял Петра и расцеловал его.

— Стой, — сказал ему Петр, — а отчего у тебя лицо такое хмурое? Да еще: где пропадал ты?

Тугаев усмехнулся.

— На вотчине был, — ответил он, — делишки завязались там малые. Теперь часто ездить буду туда!

— А хмур отчего?

Тугаев вздрогнул, потом пристально посмотрел на Петра и сказал:

— Сам знаешь! Мог бы и я быть таким же счастливым, как и ты, да не судил мне Бог этого! На постылой женат... Ну и завидки берут!...

Петр сочувственно вздохнул.

— Э, не все и не всем счастье. Гляди, и у нас в доме. Вон сестра пропала: следов ее нету...

Тугаев опять вздрогнул.

— Брат Терентий ходит туча тучей. С женой у него нелады. Нигде, друг Павлуша, счастья нет!...

Тугаев только кивнул головою. Он вернулся домой и был мрачнее ночи. Некрасивая жена его осторожно сошла к нему и ласково сказала:

— Друг Павел, супруг мой, скажи, где ты был? Все я очи свои проплакала, на дорогу глядячи, тебя поджидаючи!

Князь взглянул на нее с ненавистью и ответил:

— Уйди, супруга моя любезная, Бога для, пока я плети со стены не снял.

Княгиня заломила руки, жалобно завывала и ушла к себе.

— Эх, горькая жизнь! Постылая жизнь! Было бы и счастье, и радость, и покой, и довольство, а теперь?...— И он с ужасом думал о своем положении.

Устроил он Аннушку, как птичку в гнезде, у себя на вотчине, а все ж она тоскует, голубка, что птичка в клетке.

Еще спасибо, что девка Дашка к ней перебежала. Все ей теперь легче будет. А как любит, как любит его, окаянного!...

Князь закрыл голову руками и заплакал.

А сверху до него доносился вой ненавистной ему жены.

Вой этот наконец достиг его слуха. Он вскочил, и глаза его вспыхнули сухим блеском.

— О, будь же ты проклята!

Он поднял кверху сжатый кулак, и в это мгновение в голове его мелькнула мысль о порошке, что дал ему Еремейка.

Лицо его стало белее полотна.

— Нет мне спасенья, — пробормотал он, — погибать у сатаны все едино!... Ну так уж я...

Он не договорил своей мысли и судорожно засмеялся.

В голове его созрело адское решение.

Пусть сделается так, как он порешил. Не будет ему счастья, но ей, Анночке, оно будет. Поженится он на ней, вымолят они прощение, а то и обманет он всех, коли она тоже на обман пойдет, а с этой?... И он презрительно махнул рукою.

## **XX СКОРБНЫЕ ДУХОМ**

Благоговейное молчание в моленной Морозовой. Сидит Аввакум, лицо скорбное, грозное. Невдалеке сидит сама Морозова с ликом преблагой девы; смотрит на нее не насмотрится князь Терентий, а юродивый Федор, в одной рубахе, с веригами под нею, стоит неистов и рассказывает по приказу Аввакума о своих претерпенных страданиях.

Был он за свое упорное староверство отдан под начало рязанскому архиепископу Иллариону и бежал оттуда, не перенесши мучений...

— ...И зело он, Илларион сей, мучил меня, — хрипло рассказывал Федор, — редкий день, коль плетью не бьет, и скована в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству. И я уже изнемог...

У Морозовой лицо выражало благоговейный трепет: она уже знала, что будет дальше, а Терентий весь замер.

«Господи! — думал он. — Истинно твои подвижники! За что бы иначе их мучили так и гнали! В Писании сказано: за Меня претерпите, будут гнать вас и мучить за имя Мое, — и вот сбывается!»

А Федор продолжал монотонным, хриплым голосом:

— ...В ночи моляся, плачу, говорю: «Господи! Аще не избавишь меня, осквернят меня и погибну. Что тогда мне сотворишь?...» И вдруг, милостивцы и госпожа моя, железа все грянули с меня, и дверь

отперлась и отворилась сама. Я, Богу поклонясь, встал и пошел. К воротам пришел, и отворены, и стражник спит. Я по большой дороге и в Москву!...

«Чудо! Чудо Господнее вьявь!»— думал в умилении Терентий и изумленными глазами смотрел на юродивого, а Морозова тихо плакала и крестилась.

Аввакум говорил:

— Видит Господь наш, у кого правда, и указывает нам пути ко спасению!

«Видит Господь», — думал Терентий. А Аввакум продолжал:

— Вот теперь бунт этот! Поднялись на бояр, на царя с дубьем и дрекольем. Како не знаменье? И что ж! Не вняли! Я в те поры ходил и зывал, а ноне меня взашей из дворца прогнали, а патриарх этот (тьфу! антихристово отродье) наказал беречься. Инако и в железа закуют и опять сошлют. А мне что? Я за Бога моего! Мне и мучиться лестно!

«А я малодушен, — думал с огорчением Терентий, — познаю их мерзость, а сам у них в церкви стою, их пение слушаю, на пяти просфорах обедню служу вместе с ними и иногда троеперстно крещусь!»

Эти мысли терзали его, мучили.

Мысль об общей греховности охватила его с неудержимою силою.

В последнем бунте он видел карающую руку Господню и ужасался, что дальше будет.

В семье Господень гнев разразился пропажею сестры.

Кругом голод, мор, оскудение, а царь и бояре не видят и видеть не хотят. В душе над его речами смеются...

Он делался все мрачнее. Отец с тревогою смотрел на него и думал: «Гибнет, и гибели его не пойму». Молодая жена с ненавистью смотрела на мужа и жаловалась брату:

— Нешто муж? Не прибьет, не приласкает. Глядит зверь-зверем и не видит, в горнице есть я или нет. Хоть с холопом слюбись, ему не горюшко!

Князь Василий Голицын пробовал было намекнуть Терентию, но тот только грозно посмотрел на него и ответил:

— В дому у себя муж голова. А что сестра твоя на меня жалобилась, так ее за это учить надо, да ин не охоч я до бабьего крика!

— Черт какой, прости, Господи, — пробормотал Голицын, отходя от него.

И жизнерадостный, любвеобильный царь стал сторониться мрачного Терентия и не звал его уже к себе так часто. Молодой Петр был ему милее.

Радостный и счастливый Петр не мог выносить мрачного вида своего брата и однажды сказал ему:

— Брат мой, Терентий Михайлович, поделись ты со мною своей думушкой! Что с тобою? От самого похода, как мы вернулись, ты совсем иной стал. Помнишь, бывало, мы вместе на охоту езживали. Ты меня добру поучал, а ныне словно чужие мы. Ты даже моей радости не рад.

Слова брата тронули Терентия. Он горячо обнял его и ответил:

— Не то, Петр! Брат ты мне любезный, как и был ранее. А только дороги наши разные! Я познал свет истины, а ты во тьме и все наши, и скорблю я о том и не знаю выхода!

Он вздохнул и провел рукою по побледневшему лицу.

— Почему мы во тьме? — тихо спросил Петр.

Терентий ответил:

— Никонианцы вы! Душу антихристу продали!

Петр вздрогнул.

— Как?

— Говорю, душу антихристу продали!

И Терентий с жаром начал передавать поучения Аввакума, рассказывать про виденное у Морозовой, говорить о знаменьях, что свидетельствуют о гневе Божьем.

Петр слушал, ничего не понимая из его слов, а потом беспечно ответил:

— Про то знают царь, патриарх да наши духовники! А мне в это дело не мешаться. Слышь, для того собор был. Греческий и антиохийский патриархи были. Им ли не знать?

Терентий гневно топнул ногою.

— Им что? Их прельстил тогда Никон, они и согласились. У себя, небось, «Исус» с одним «и» пишут, и аллилуйя поют как надобно, и все прочее, а мы — погибаем! Им на радость, что антихриста нам оставили...

Петр покачал головою.

— Мудрено все это! Мое дело саблю знать, да своих соколов, да Катюшу!

— То-то и есть, — с укором ответил Терентий, — что дороги у нас разные. Ты по одной, а у меня другая. Не о хлебе едином жив будет человек, а вы все только о хлебе!...

Петр вздрогнул и отошел от Терентия. Действительно, дороги их были разные. Князя Голицыны — вот это приятели ему. Тугаев только стал что-то больно уж мрачен да пасмурен.

Неделю здесь, неделю на усадьбе где-то, а дома у него жена какою-то немочью больна. Сказывают, и доктора, и ворожей, и знахарки были — нет от них помощи! Лежит да охает!

Понятно, после того не до радостей Тугаеву.

Тугаеву и впрямь было не до радостей.

Ехал он в вотчину к себе, видел Анну, миловался с нею и не мог забыть даже подле любимой девушки. Мысль о своем окаянстве уже начала мучить его с того момента, как, целуя жену, он напоил ее медом, после чего с ней приключилась немочь.

Вернется он домой, слышит ее тяжкие вздохи, иногда стон, и нет сил ему побороть свои мученья. Схватится он за волосы, выбежит в сад, упадет ничком на траву и рвет ее руками и колотится головою о землю.

А иногда велит подать вина заморского и пьет его чару за чарой, пока в бесчувствии не упадет под лавку.

Анна, в тишине и одиночестве, не раз говорила с Дашей:

— Ах, девонька, не в радость нам окаянство наше! Гляди, прежде веселый был Павел, а каким нонче стал? Узнать нельзя. Гляди, то меня как безумный целует, то бормочет что-то об аде такое страшное, то вдруг плакать начнет!

— В закон с тобой вступить хочет, а нельзя, моя ясная княжна. С того и печалится! — объясняла Даша.

— Ох, и чем это кончится, — вздыхала княжна, — и люб он мне, и за себя страшно! Коли отец проклянет, не видать мне ни покоя, ни счастья!...

— Не проклянет, драгоценная! Коли по началу не проклял, теперь и подавно. Они все думают, что тебя силою увезли. По сю пору ищут!

— А вдруг найдут?

— Тут-то? — Даша качала головою. — Кому и в ум взбредет у князя Тугаева на вотчине искать? Нет! Тут покойно!

Но не была покойна духом Анна. Над нею постоянно висел страх проклятия и мысль о своем безумном поступке.

Случилось раз, поздно ввечеру приехал на вотчину князь Тугаев.

Анна вышла ему навстречу, взглянула на него и вскрикнула: — Что случилось?

— Анна, рыбочка моя, — прохрипел князь, — жена побывчилась! Волен я, как сокол!

— Упокой, Господи, ее душу! — прошептала Анна, набожно крестясь, а князь Тугаев обнял ее, стал целовать и заговорил, как безумный:

— Ну ее! Теперь ты моя! Я скажу на Москве, что нашел тебя и за себя возьму! Ох, ласточка! И мучилась она! Ой, ой! Корчило ее всю. Померла черная-черная... Ох, нет нам с тобой радости!...

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КОНЦЫ И НАЧАЛА

### I ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ

Прошло семь лет, наступил 1669 год. Немало перемен произошло за это время в жизни наших героев. Князь Тугаев женился. Он поехал будто на охоту, будто отнял Анну из рук разбойников и привел ее домой плачущую, испуганную. Все наперерыв спрашивали ее, что с нею было. Она путалась, рассказывала небылицы и под конец плакала. Все слушали, качали головами и единогласно решали:

— Что она может, бедная, знать? Известно, перепугалась до смерти; всю память отшибло. И разбойники взяли не иначе как для выкупа.

Сам Тугаев рассказывал одно и то же.

— Залетел у меня сокол, и поехал я его искать. Лес густой, огромный, я и запутался; только смотрю — поляна, а на поляне двор стоит, тын такой ли высокий; я к нему, а ворота на запоре. Прочел я молитву, привязал коня, влез на дерево, а с дерева по суку на тын, а с тына на двор. Гляжу, изба стоит, такая крепкая; я к ней. Ковры, оружие всякое, кубки, такое ли богатство; а в избе ни души. Я в горницу, и там никого. Я по лестнице во светелку. Глядь, а там княжна Анна Михайловна. Увидала меня, так и встрепыхнулась вся. Уходи, говорит, отсюда, здесь разбойники! Ну, а я и ее с собою прихватил! — скромно оканчивал он свой невероятный рассказ.

— Не иначе, как для выкупа, — говорили все слушатели.

Петр обнимал Тугаева и клялся ему в вечной дружбе; старый князь кланялся ему поясно, обнимал его, плакал от радости и говорил:

— Проси чего хочешь!

Князь Тугаев отвечал Теряеву:

— Коли я вам мил, отдайте за меня Анну Михайловну!

И их обвенчали.

Только не было у них счастья. Анна мучилась всеми обманами, которые взяла на свою душу, а Тугаев своим преступлением. Оба попали в пучину лжи и не могли из нее выбиться...

Терентий делался все угрюмее. Он уже бесповоротно сделался ярким врагом всякого новшества и проклинал никонианцев. На его глазах ссылали Аввакума, заковав его в железо.

В те поры Аввакум, не вынося лжи и все более ярясь на отступление от старинных обрядов, дважды писал к царю письмо и под конец надоел всем своею исступленной проповедью. Возвращение в Москву совершенно сбilo его с толку, и он решил, что в нем нуждаются; решил и добился второго изгнания.

Закованного, с кляпом во рту, везли его из Москвы, а за ним, увязая в снегу, бежали его ученики, и в том числе Терентий. Все они плакали и проклинали гонителей, а Аввакум, подняв кверху руки с двумя сложенными перстами потрясал ею в воздухе, как знаменьем.

Вернулись все ученики его к Морозовой и там, вспоминая о нем, давали обет постоять за старую веру.

Терентий стал верным другом Морозовой, но оставался тайным старовером, не решаясь объявиться и тем постоянно терзаясь.

— Куда рвешься, чего мучаешься? — говорила ему Морозова, когда он изливал перед ней свою исстрадавшуюся душу.

— Пострадать хочу! — пламенно отвечал Терентий.

— Еще будет время! — отвечала Морозова, и лицо ее озарилось таинственной улыбкой.

В жизни ее произошла значительная перемена. Глеб Иванович скончался, и она стала вдовою. Первые годы вдовства она жила как большая и богатая боярыня, обыкновенным обычаем. В доме у нее служило до пятисот слуг, выезжала она и во дворец, и к знакомым, и к родным, и только втайне, как и прежде, приравнивала свою жизнь к монастырской, но мало-помалу стремление к иноческому подвигу победило суетность. К прежним юродивым и нищим она приютила у себя пятерицу изгнанных инокинь, поставив во главе их мать Меланью. Так образовала она подле себя тайный монастырь, отказавшись от мирской суеты. Вся проникнутая жаждой подвига, она весь досуг свой употребляла в пользу убогих и нищих, шила для них рубахи; а ввечеру, со старицей домочадицей Анной Амосовой, одевалась в рубище, ходила по улицам и площадям города, по темницам и богадельням и раздавала подаяния. Уже на ее поведение стали обращать внимание во дворце. До царя дошло известие о ее приверженности к старой вере, и к ней послали чудовского



архимандрита Иакима и соборного ключаря Петра, чтобы испытать ее в вере. Она открыто высказала им свои мысли, и за то государь отписал от нее на свое имя половину всех вотчин.

В ужас пришли все ее родные, а она только улыбалась.

Михаил Алексеевич Ртищев, царский постельничий, приходившийся дядей Морозовой, с дочерью своей Анною, не раз старался поколебать упорство Морозовой. Старик Ртищев говорил ей:

— Чадо мое, Федосья! Что ты это делаешь? Зачем отлучилась от нас? Посмотри: вот наши дети; об них нам надо заботиться и, смотря на них, радоваться и ликовать. Оставь распрю, не прекословь ты великому государю и властям духовным! Знаю я, что прельстил и погубил тебя злейший враг, протопоп Аввакум. Не могу без ненависти и вспоминать о нем. Сама ты его знаешь.

Лицо Морозовой озарялось неземной улыбкою, и она отвечала:

— Нет, дядюшка, не так! Неправду вы говорите; горьким сладкое называете. Отец Аввакум истинный ученик Христов, ибо страдает он за закон своего владыки, а потому всякий, кто хочет угодить Богу, должен послушать его учение.

Анна Ртищева плакалась над нею и грозила ей царевым гневом, заклинала и именем ее любимого сына, а Морозова ей отвечала:

— Если хотите, выведите моего сына на лобное место и отдайте его на растерзание псам, устрашая меня, чтобы отступила от веры, но не помыслю отступить от благочестия, хотя бы и видела красоту, псами растерзанную!...

В 1669 году она постриглась. Чин этот совершил над нею старовер, бывший тихвинский игумен Досифей, нарек ее в пострижении Феодорою и отдал в послушание той же Меланье. Всему этому был близкий свидетель Терентий, который все более укреплялся в своих убеждениях. Только время задерживало роковую развязку.

И в доме князей Теряевых только и радостен был князь Петр со своею женою Катериною.

С той поры, как мятежники разломали тын, его совсем уничтожили, и дворы князей Теряева и Куракина соединились в один.

У Петра с Катериною было двое детей, и старики, ставши дедами, уже гордились своими внуками.

— Кабы не они, — говаривал князь Теряев, — не знаю, чем и красна была бы моя жизнь...

И во дворце были перемены. Второго марта 1669 года скончалась царица Мария Ильинична, родивши дочь, которая померла через два дня после рождения. Со смертью царицы семья Милославских пала, а в силу стал входить Артамон Сергеевич Матвеев. Государь приблизил его к себе, ища сочувствия в своих потерях.

Беды сыпались на него. Через три месяца после царицы умер царевич Симеон, а за ним и царевич Алексей.

Артамон Сергеевич Матвеев был человеком нового покроя, сознававшим пользу просвещения, любившим чтение, ценившим искусство. Посольский приказ, в котором он был начальником, он обратил в ученое учреждение. Там под его руководством составлялись книги: «Василиологион» — история древних царей; «Мусы, или Семь свободных учений»; и, наконец, первая русская история под заглавием «Государственной большой книги». Вообще это был человек нового течения, и дружба его с царем была не по сердцу ревнителям старины.

## II ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Однажды царь захотел навестить Матвеева и сказал Петру:

— Князь, завтра ввечеру собирайся. К Артамону Сергеевичу в гости поедем!

Петр поклонился и в тот же вечер оповестил Матвеева. Жена его всполошилась, а он только улыбнулся и погладил бороду.

— Рады гостю дорогому, — ответил он Петру и сказал жене:

— Ништо, Григорьевна! Царю ведома наша скудость и наше убожество; отличить нас захотел от прочих. Ты, чем охать, подумай лучше о том, чтобы царя честно встретить!

И на другой день с раннего утра в доме Матвеева шла хлопотливая суетня. Встретить царя и принять его было в то время немалое дело. Царь — это был полубог, и приезд его к кому-нибудь на дом считался небывалым отличием. Царь знал это и весело смеялся с Петром, направляясь к дому боярина Матвеева. Они ехали в легких санках. Рослые кони быстро мчали их по первому снегу, скороходы бежали впереди, разгоняя народ палками; вершники, громко вскрикивая, едва поспевали бежать рядом с санями, позади которых стояли два боярина и угрюмо смотрели впереди себя. Никому не нравилось такое отличие Артамона Сергеевича от прочих; все

чувствовали силу в этом будущем временщике и досадовали еще сильнее потому, что был он не боярского рода. Бояре, стоя на запятках, слушали речи царя и зеленели от злости. Царь говорил Петру:

— Много ли есть людей, что сердце мое радуют, что в печалях моих мне сочувствуют и душу понимать могут? А коли и есть такие, так каждый по-своему. Одно есть, так другого нету. Вот боярин Ордын-Нащокин: у того ума палата, в делах государских первый муж; тоже и брат твой, Терентий. До других ему далеко, а правду любит. Ты, к примеру сказать, веселишь мое сердце, ибо млад и радостен, в охоте человек дотошный и в ратном деле сведущ. Ну а Артамон Сергеевич — тот все: сердцем он радостен, умом обширен, уста истинно медоточивые... За то и люблю его.

Петр широко улыбнулся и кивнул головой.

— Действительно добрый человек! Я с ним под Смоленском познакомился, когда он в стрельцах головою был. И все его любят. Теперь, когда ты велел ему палаты строить, к нему народ московский валом валит; пришли выборные и ему камнем на целый дом поклонились, а Артамон Сергеевич брать не хотел, а купить хотел, а они ему говорят: «Продать не можем, потому камни эти с гробов отцов и дедов наших», — и Артамон Сергеевич плакал тогда...

Царь улыбнулся в свою очередь. Он знал эту историю, но ему приятно было выслушать ее лишний раз.

— Да, да, — сказал он, — праведный муж! Уж при нем Москва не замутится, как при Милославских или Морозовых... Ну, вот и приехали! Артамон Сергеевич, встречай гостей!...

Палаты Матвеева, каменные, двухэтажные, с просторным двором и высоким подъездом, находились у Никиты на столпах. Рабочие из Немецкой слободы строили эти палаты, и они имели совершенно европейский характер.

Сам Артамон Сергеевич встретил царя без шапки, далеко от дома.

— Милость неизреченная! — говорил он царю, низко кланяясь. — Осчастливил ты своего холопишку до конца дней!...

Царь вышел из саней, опираясь на плечо Матвеева, и вошел во двор, где для встречи выстроились все холопы хозяина. У самого крыльца стояла Авдотья Григорьевна, жена Матвеева, держа на руках ручник и поднос с кубком заморского вина. Царь отхлебнул из кубка и, радостно посмеиваясь, вошел в покои. Вошел и вдруг остановился

словно ослепленный. Да и Петр диву дался. Видал и раньше он племянницу Артамона Сергеевича, но никогда она не казалась ему такой красавицей.

С подносом в руках, на котором была чара вина, стояла впереди сенных девушек племянница Артамона Сергеевича, Наталья Кирилловна Нарышкина, в ту пору семнадцатилетняя красавица. В парчовом сарафане, с белой как у лебедя шеей, с черной косой ниже пояса, стояла она, смело и радостно глядя в очи восхищенного царя.

Лицо ее, не набеленное, не нарумяненное, как требовала тогдашняя мода, дышало здоровьем и поражало нежностью красок. Царь оправился и подошел к ней.

— Кто ж ты будешь такая, красавица? Как величать тебя?

Она поясno поклонилась и ответила:

— Племянница Артамона Сергеевича, Наталья, твоя раба...

Царь засмеялся.

— Ай-ай-ай! Стыдно тебе, Артамон Сергеевич, такую ли красавицу и взаперти держишь. Стой, стой, Наталья. Мы с тобой, по древнему обычаю...— И, отпив вина, он трижды поцеловался с красавицей. Она вспыхнула вся заревом и от этого стала еще милее. Развеселившийся царь обратился к Матвееву:

— Ну, Артамон Сергеевич, показывай мне теперь свои хоромины да жену с красавицей не гони в терем!

Артамон Сергеевич улыбнулся.

— У меня нет этого в обычае, государь!

— Чего этого? — спросил царь.

— Терема этого самого. Спим по своим покоям, а когда днем — всегда вместе.

Царь покачал головою:

— Ну, кажи свои диковины!...

Матвеев повел его по своим покоям. Бояре, приехавшие с царем, с изумлением оглядывались вокруг и только гладили бороды. Царь же смотрел и радовался. Действительно, все было на иной лад. Окна были стеклянные, а не слюдяные; вместо лавок стояли стулья, кресла и табуретки; столы на тонких ногах; везде ковры, а по стенам развешаны картины. На тех картинах — горы, леса и реки; на иной — олень стоит, как живой; на иной — город какой-то иноземный. В других покоях

зеркала висят. Бояре взглянули, увидали свои лица и даже плюнули. Царь смело обратился к девушке:

— Здесь ты, что ли, на красу свою любишься?

Она улыбнулась и ответила:

— Нет, для этого у меня в светелке свое есть!

Они пошли дальше; вошли в особую палату, и царь с удивлением спросил Матвеева:

— Что у тебя тут такое?

— Комедийная хоромина, — ответил Матвеев, — здесь мои людишки комедии ломают.

— Это что же? — спросил государь.

— Разреши показать, — ответил Матвеев. Царь кивнул головою.

— Что ж, покажи!

Матвеев указал ему на высокое кресло. Царь сел, позади него стали бояре, а рядом Петр. Жена и племянница Матвеева и сам Матвеев стояли по другую сторону. Перед ними возвышался полукружием помост. Матвеев ударил в ладоши, и вдруг заиграла тихая музыка. Царь с изумлением оглянулся, но не увидел музыкантов.

— Откуда это? — спросил царь.

— Орган у меня тут есть; завести — он сам играет.

Вдруг на сцену выступили люди; они расположились на полу в полукружие и говорили: «Вот идет брат наш, Иосиф, которого отец любит больше всех нас; возьмем и убьем его!» И тут же появился прекрасный юноша, и все бросились на него; только один сказал: «Не будем убивать его, а посадим в яму». Потом приехали купцы, и братья продали Иосифа в рабство; со смехом поделили между собой деньги, а сорванные с него одежды замарали кровью убитого козленка.

И перед изумленным и восхищенным царем сцена за сценою прошла вся история Иосифа.

Когда он открылся братьям своим и бросился с ними целоваться, царь не выдержал и заплакал от пережитых волнений.

Он с умилением взглянул на Матвеева и сказал:

— Ничего такого я еще не видал. Уважил ты меня, Артамон Сергеевич! — и вдруг спохватился: — Только не грех ли это, комедии эти?

— Никакого греха тут нет, государь! — ответил Матвеев. — Цари византийские смотрят на такие же комедии, и патриархи не видят в

том соблазна!

Царь успокоился и сказал:

— Устрой и мне такую хоромину, Артамон Сергеевич!

Матвеев низко поклонился и ответил:

— Когда прикажешь, государь!

Радостный и довольный возвращался государь домой и все время говорил о Матвееве и его племяннице. Она поразила воображение царя.

### III ЦАРСКИЕ СМОТРИНЫ

Года не прошло еще со смерти царицы Марии Ильиничны, а государь уже удумал жениться. 2 марта 1669 года умерла царица, а в ноябре уже бирючи ездили по городу и объявляли царские смотрины, а по всем воеводствам были разосланы грамоты, чтобы девиц-красавиц везли в Москву для царева выбора.

Милославские, Голицыны и их сторонники собрались и говорили между собою:

— Позор и поношение! Года еще не минуло!... Что делать? Концы нашему роду, — сказал Голицын, — ублюдок идет на смену. Сам Артамошка с немецкою нечистью!...

Старый Милославский покачал головою.

— Пожди еще каркать, князь. Умен Артамон Сергеевич, а и не с такими справлялся!

— Чего! — ответил боярин Стрешнев. — Коли тут дело в евойной племяннице. Она обошла царя. Ты думаешь, — вдруг разгорячился он, — смотрины будут? Как же! Так, одна видимость только! Царь эту Наташку берет, и все тут! Ну а тогда уж нам...

— Ну, тоже, — усмехнувшись, ответил Соковнин, — а коли вдруг да покраше ее найдется, а с ей какая немочь приключится? Так ли, Илья Данилович?

Старик Милославский кивнул и проговорил:

— Что ж? Такое было с Всеволожской! Ну да там видно будет! Пока что, а теперь и мы с силою, — решительно сказал он, и все поняли, что надо бороться, надо отстаивать свое влияние при дворе против этого слетка, Матвеева.

Везде говор был о царских смотринах.

В терему дочери царя да его сестры шумели, словно пчелы в улье.

— Слышь, — шептались они, — государь облюбывал Матвееву племянницу, нам сверстницу. Вот умора! Сказывают, что ни день у них...

— Тсс... вы, глупые! — останавливали их тетки. — Не в том соблазн, что молода она, а не наших обычаев. Вот что! Слышь, и терема не будет!

— Ахти! Как же нам тогда?

— А так вот! Будет каждый мужчина глаза таращить. Кто хочешь, тот и сглазит, и болезнь напустит... Вот оно, милые, что страшно!...

И в тереме тоже готовились противиться царскому выбору.

А в Москву тем временем со всех концов ехали отцы и матери со своими дочерьми-невестами. Ехали и из ближних, и из дальних мест.

Петр, Соковнин и Голицыны уморились, по приказу царскому размещая всех на житье и следя за продовольствием их.

Много их понаехало в ту пору. До нас дошел список всех девиц, бывших на этом последнем в истории царском смотре.

28 ноября вышел царский указ, и уже в то же число приехали: дочь Голохвастова, Оксинья; дочь Демлева, Марфа; дочь Викентьева, Вептилина; Анна Кобылина, Марфа Апрелева, Авдотья Ляпунова. А там каждый день приезжали новые и новые — вплоть до 17 апреля, и наехало, не считая московских невест, ни много ни мало как шестьдесят шесть девиц!... Одною из последних привезли дочь Ивана Беляева, Авдотью. Привез ее дядя, Иван Жихарев, и сказывают, что красоты эта Авдотья была неопишущей: рослая, крепкая и лицом что ясный месяц. Нравом весела и приветлива...

Что ни день государь ходил и осматривал невест. Все они были красавицы на подбор, но ни одна не казалась ему краше Натальи Кирилловны. Видел он ее теперь и в богатом уборе, и в домашнем, заходил нечаянно и в светлицу, когда все привезены были на верх.

— Эх, трудное дело царское, — говорил он Петру полусмеясь, — ты вон невесту, что сокол голубку, с лету убил, а мне все голову морочат!

— Нет краше Натальи Кирилловны! — отвечал ему Петр.

— Вот-вот! — радостно соглашался государь: — Я и сам так же мыслю. Завтра погляжу еще, да и будет!...

И на 18 апреля он устроил последние смотрины. В этот раз увидел он и Беляеву, что привезли только накануне, и не мог не признать за ней достоинств будущей царицы.

— Их и взять на верх. Авдотью Беляеву да Наталью Нарышкину, — решил царь, — а остальные и по домам ехать могут.

Смотрины кончились.

Выбранными остались только две, и никто не знал окончательного решения царя.

— Теперь во дворце страх что идет, — смеясь, говорил на другой день Петр, когда после трапезы мужчины сидели еще за вином.

— Жихарев-то этот уже у Милославских в руках, — сказал князь Куракин, — в силу войдет!

— Коли Авдотья в царицы выйдет!

— Красива! — сказал Петр.

Теряев мотнул головою.

— Зато за Натальей стоит Артамон Сергеевич. Не захочет царь его обидеть!

— Всем тогда гибель будет! — мрачно сказал Терентий.

— Это почему?

Терентий метнул вспыхнувшим взором на всех и угрюмо сказал:

— Потому что и теперь поганства у нас много, а тогда вовсе опоганимся. Слышь, у него комедии на дому строят, скоморохами дом полон, а церковь немцами (тьфу!) списана! Сам-то на выкресте женат, на Гамильтонше... Знаем, куда гнет слуга антихриста!

Князь Теряев замахал руками.

— Цыц! Замолчи, глупый ты человек! Ах, голова неразумная! Ты знаешь, как нонче царь таких речей не жалуется.

Петр укоризненно взглянул на брата.

— Неразумное говоришь, Терентий! В землях заморских лучше нашего живут, и нет греха взять у них хорошего!

— Ради отречения от Христа! Вот-вот, — почти закричал Терентий, — все вы скоро души дьяволу продадите!

— Очнись, Терентий! — закричал отец.

— Давно очнуться надо, да силы нет! — горько ответил Терентий и вышел из горницы.

— Порченный! — скорбно произнес князь Теряев.

Князь Куракин сочувственно взглянул на него.



— Все Морозова строит! — сказал он. — У себя монастырь завела, Аввакумова послушница! Всюду мутит только!

В эту минуту в горницу вошел Кряж и обратился к Петру:

— Государь, за тобой от царя засыл. На верх зовет!

Петр быстро вышел из-за стола, переоделся и в тот же час скакал во дворец. Царь ждал его в своем покое для дел. Он был мрачен.

— Вот, — заговорил он гневно, ударяя рукою по столу, на котором лежали какие-то исписанные листы, — началось уже! На тебе! Вот два подметных письма, Хитрово мне их подал. Нашли в сенях, а другое на сенных дверях в шатерной палате. И такие ли письма скарედные да похабные! И на мою честь, и на память жены упокойницы! Господи, зла сколько в людях этих!

Царь помолчал, а потом поднял голову и сказал:

— Вот для чего звал тебя. Возьми сейчас боярина Хитрово да Шереметева, и идите к этому Жихареву, дядьке Авдотьи, сыск у него сделайте, а потом в приказ возьмите. Не иначе, думаю, как он эти письма писал! Потом мне скажешь!

Петр поклонился и тотчас пошел искать бояр, чтобы ехать с ними по душу Жихарева.

«Истинно, что началось, — думал он, — однако и корысть немалая: с царем породниться. Ну да ин! Сами себе яму вырыли! Теперь Милославским уж не подняться. Я постою за Артамона Сергеевича!» — и он даже засмеялся от предвкушения победы над Милославскими.

Началось страшное сыскное дело. У бедняги Жихарева при обыске ко всему нашли травы и стали его пытаться и мучить на все лады, доискиваясь правды о письмах и о зельях.

Жихарев оговорил рейтара Вологжанина. Тот указал на Смолянина с племянником.

Все от писем отказались, а передавали речи Жихарева, будто его племянница на верх взята «и тем похвалялся много».

Захватили заодно двух писцов приказных, доктора Данило, жида, и без счета холопов. Царь следил за ходом дела и был мрачнее ночи.

Петр не выходил из застенка, чуть не через час донося царю о новых и новых показаниях.

Возвращаясь домой, он говорил отцу и брату:

— Конец теперь Милославским! Государь чует, откуда ветер дует. Слышь, Авдотью уже с верху отправили, одна Наталья Кирилловна осталась. За нею сила. Быть ей женою государя, нашею царицей...

#### IV ПОВОРОТ НА НОВОЕ

Ладаном и нагаром от свеч пропитан весь воздух в покоях боярыни Морозовой. В моленной ее тихо, душно. Горят лампы и свечи перед иконами, курится ладан. Дневной свет едва пробивается сквозь тусклые стекла и борется с желтым светом свеч и лампад, отчего в молельной странное освещение. И в этой полутьме-полусвете, как изваянные, стоят коленопреклоненные фигуры женщин: то сама боярыня Морозова и инокини ее на послушании. Чуть слышно шепчут их губы молитвы, чуть слышно шумят листовицы в их руках, и время от времени раздается возглас:

— Оох, горе мне, грешнице!...

Наконец, после трех часов непрерывной молитвы мать-домочадица, Анна Амосова, поднялась с колен первая и, покрестившись, крадучись вышла из моленной.

Следом за нею, друг за другом, стали вставать с колен усердные инокини и выходить в смежную горницу, обращенную теперь в трапезную.

Последнею поднялась Морозова. Прекрасное лицо ее было изнурено, на лбу выступил каплями пот; она подняла для крестного знаменья руку и застонала от боли, но тотчас нахмурилась и насильно вытянула руки дважды.

В эту минуту к ней неслышно подошла старица Меланья.

— Феодора, почто страдаешь? — спросила она.

Морозова вздрогнула, оглянулась и тотчас ответила:

— Потрудиться хочу во славу Христа!

— Мало ли трудишься? — с упреком сказала Меланья.

— Пострадать хочу!

— Гордые мысли, суета! — строго остановила ее Меланья. — Захочет Господь и пошлет, а без Его воли самой не след тщиться. Гордыня это! Вот и власяница твоя. На что?

Она указала рукою на рубаху. Морозова потупилась.

— Я никому ее неказала. О ней неговорила. Коли видел кто, не моя вина. Не горжусь я этим!

Меланья покачала головою.

— А тело изодрано и гниет, и в крови!

— Мать Феодора, — сказала, входя, инокиня Марфа, — сестрица твоя Евдокия Прокофьевна прибыла.

— Сейчас!

Лицо Морозовой осветилось приветливой улыбкой. Она любила сестру, по мужу княгиню Урусову, и видела в ней свою верную ученицу и страстную заступницу.

Евдокия порывисто бросилась ей навстречу, преклонила колени и поцеловала ей руку; Морозова благословила ее, подняла и ласково поцеловала.

— Ну что, сестрица, что, желанная моя, с чем пришла?

— Плохие вести, сестрица! — ответила Евдокия. — Слышь, государь решил на этой люторке, дочери антихристовой, жениться. Нет теперь у тебя ни заступы, ни силы!

Морозова тихо улыбнулась.

— Благословил бы Господь венец мученический принять только!

— Я тебя теперь, сестрица, не оставляю! Так и сказала мужу своему. Пусть будет что будет!

— Ты?!

Лицо Морозовой озарилось неземным счастьем.

— Ты, моя пеночка, ты, моя голубица! Тебе ли искус такой?

— Я решила, решила! Ты только подкрепи меня, если малодушество выкажу!

Морозова страстно обняла сестру свою.

— Ну, пойдем теперь в трапезную! — сказала она. — Чай, истомились мои старицы.

Они вошли. В трапезной за столом в унылом молчании сидели инокини. Поодаль за особым столом, с Киприаном и Федором во главе, сидело несколько нищих.

— Кушайте, сестрицы, кушайте, милые! — сказала всем Морозова, а сама, взяв мису, пошла к столу нищих и стала оделять их пищею.

— Милостивица наша! Благодетельница! Мати убогих и сирых! — гнусили они на разные тоны, а Евдокия глядела на свою

сестру и умилялась душою.

Морозова оделила нищую братию и сказала келейнице:

— Приведи, милая, мне Ивашу!

Она удалилась с поклоном и скоро вернулась с хорошеньким мальчиком лет десяти.

Морозова обняла его и жарко поцеловала.

— Ну что, мой птенчик, — нежно заговорила она, — хорошо почивал, миленький?

— Хорошо, матушка! — ответил Иваша. — Видел я во сне высокие хоромы да светлые: Вошел я туда, а меня некий светлый муж взял за руку и говорит: пойдем, Иваша, я покажу тебе такое ли чудесное! Тут я проснулся, и муж исчез.

Морозова упала перед ним на колени.

— Сын мой, Ивашечка, отчего мне такие сны не снятся?

— Потому душа у него ангельская! — наставительно сказала Меланья.

Морозова обнимала сына и не знала, как ласкать его, а Евдокия смотрела на него и говорила:

— Боже мой, Боже мой! Да как же мне не идти по следу твоему, сестрица! У тебя рай тут, боголепие, покой и тишина! О, не надо мне этих царских да боярских утех. Срам на миру!

Морозова кивнула ей головою и, не поднимаясь с пола, сказала:

— Близится час судный, сестрица! И там разберут, кто праведный, кто виновный. Недолго владычество антихриста. Пожди, протрубит труба ангельская, и все содрогнутся! Знаменья Господни о том свидетельствуют, а им все гусельки да сопели!...

В трапезную вошел Терентий. Он истово помолился на иконы и потом поклонился всем.

Теперь у Морозовой он был свой человек. Дня не проходило, чтобы он не побывал у нее, принося с собою, как и Урусова, дворцовые новости. День он считал бы не в день, если бы не повидал боярыни, не послушал бы ее пылких речей, обличений, не отдохнул бы у нее душою.

— Всякому свой крест положен, — говорила ему боярыня, — тебе при царе быть надо, и ты не беги. В миру-то, поди, еще больше искуса. Бес-то тебя и так, и этак пытается, а ты борись!... Ну, что жена твоя?

Терентий угрюмо махнул рукою.

Да, коли была бы промеж них любовь, может, он и уговорил бы ее, а теперь она его и не слушает, да и ему-то мерзко. Белится, румянится, что гроб повапленный<sup>[74]</sup>.

Действительно, с женой он разошелся.

Она словно примирилась со своей горькой участью и что ни день ездила на верх, в царские терема. Там, сойдясь с царевнами, она без устали жаловалась на свою горькую долю, на свое соломенное вдовство.

Вскорости после размолвки с мужем приглянулся ей царский постельничий, Троекуров, сын боярина; перемигнулась она с ним раза два в царских сенях, а там, глядь, не побоялся он ни тына высокого, ни собак дворовых — и очутился в княжеском саду.

С той поры княгиня Дарья Васильевна и совсем мужа в покое оставила, не переставая всюду на него жаловаться.

А Терентий ничего не видел. Он весь отдался своему настроению, страстной натурой своей готовый сделаться фанатиком. Душа его чуяла, что скоро наступит роковой момент, и он трепетал в ожидании резкого перелома.

Любимая им когда-то Морозова, боготворимая теперь сподвижница — с одной стороны, а с другой — царь, обойденный Матвеевым и его племянницей, царь, разрешивший и потехи, и скоморохов, и машкеры, царь-никонианец, антихрист...

И Терентий трепетал.

Каждый день его наблюдательному уму являлись новые факты, свидетельствующие о близости катастрофы. Царь окружил себя потешниками да скоморохами, царь невесте своей позволил без покрывала ходить, царь все веселится, а речей наставительных уже не терпит, богоспасительных бесед не ведет.

Иосиф патриарх, что скоморох, во всем ему угождает.

Клир весь с этим хитрым патриархом наговаривают царю на Морозову, на ее имение зубы точат, а царь того не видит и преклоняет к ним свое ухо.

Недавно сумрачный такой при всех боярах сказал:

— Не бабьего ума дело о решениях соборных судить! Слышь, наша боярыня Федосья Прокофьевна вслух хулит и нас, и патриархов! Укоротиться бы ей надобно!

Сжалось сердце Терентия при этих словах и почувствовал он в них как бы раскаты приближающейся грозы.

«С тобою вместе на муку пойду!»— думал он, умиляясь при мысли о боярыне.

Князь Теряев сумрачно качал головою, глядя на сына, и однажды сказал ему:

— Не сносить тебе, Тереха, здесь своей головы! Есть у нас вотчина под Саратовом. Я царю скажу. Он тебя туда на воеводство посадит. Уезжай!...

— Не могу, батюшка, — твердо ответил ему Терентий, — мое место тут, и дело мое от Бога!

Князь вздохнул и только покачал головою. «Что-то будет? — думал он. — Распалит царя глупостью своею. Эх, хоть бы опала мимо нас прошла!...»

## V СВАДЬБА

Царь выбрал окончательно Наталью Кирилловну Нарышкину, но страх новизны был настолько велик, силы Милославских столь значительны, что только через два года царь мог назначить венчание. Все это время Наталья Кирилловна сидела на верху, каждодневно опасаясь за свою жизнь. Царь был угрюм и мрачен. В царских теремах без перерыву шли толки и пересуды, а в застенках пытки и казни.

Старая партия видела в лице Матвеева и Нарышкиной новую силу, которая перевернет их обычный строй. Многие с неохотою приняли новшества Никона, а тут уже шла прямая иноземщина...

— Слышь, и орган, и музыка, и комедийные представления! Сама невеста без покрывала ходит, и словно бы в ней никакого стыда нет!...

Но царь крепко любил Артамона Сергеевича, успел навидаться этой иноземщины, и новая жизнь манила его своими прелестями.

Эти Милославские, Урусовы, оставшийся в живых Морозов казались ему каким-то черными воронами и столь изрядно надоели, что он готов был кончить с ними одним ударом.

По дворцу закипела работа. И в обыкновенной жизни обряд венчания обставлялся по возможности пышно; при дворце же, да еще в царствование Алексея Михайловича, готовились торжества неописуемые. Государь сам следил за устройением торжества. Кравчие,

постельничие, боярские и дворянские дети метались как угорелые из конца в конец Москвы. Готовилось народное угощение, готовились забавы и игрища.

Было видно, что царь хочет отпраздновать свою свадьбу с полным весельем.

Петр хлопотал едва ли не больше других, почти все время проводя с государем, в то время, как жена его, Катерина, близко сошлась с Натальей Кирилловной. За три дня до свадьбы государь, распределяя порядок шествия, сказал Петру:

— Глянь-ко, Петр, наистарше боярыни Морозовой при нашем терему никого нету. Съезди к ней, князь, и скажи, что определил я ей стоять во главе боярынь и царице титул говорить! Съезди не мешкая и с ответом назад ворочайся!

Петр поклонился и вышел. В сопровождении Кряжа он поехал на двор Морозовой. Он был заинтересован и чего-то боялся. Ворота во двор были наглухо заперты.

Кряж сошел с коня и начал греметь кольцом. Во дворе глухо залаяли собаки. Потом в калитке поднялось волоковое оконце, и выглянувший привратник спросил:

— Кто там?

— Царский гонец! — сердито ответил Кряж. — Отворяй, что ли.

— Сейчас! — ответил привратник, захлопнув окно, и скрылся.

Наступило томительное ожидание.

Кони нетерпеливо фыркали и топтались на месте. Кряж ворчал:

— Ишь, воронье гнездо! Не боярыня, слышь, а черница какая-то! Коли ты юродивый — настезь ворота, а царский посол — так от ворот поворот!...

Наконец заскрипели ворота; князь Петр въехал на широкий двор и по обычаю тотчас спешился. Когда он подошел к крыльцу, ему навстречу вышел Терентий.

Это было так неожиданно для Петра, что он даже отшатнулся.

— Терентий, ты? — воскликнул он изумленно.

— Сам видишь! — ответил Терентий и спросил: — С чем к боярыне приехал? Али опала какая?

Петр оправился и ответил:

— Самой боярыне сказать приказано. Коли ты встретил меня, так и проводи до нее. Скажи, царский посол!

Терентий усмехнулся.

— Ей это не в удивление. У нее один царь: Христос. Ну да ин пойдем!

Петр вспыхнул от презрительного тона Терентия, но сдержался и пошел следом за ним по горницам, пропитанным запахом ладана. Терентий оставил его в одной из горниц, сказав:

— Подожди здесь. Сейчас выйдет! — и скрылся за маленькой дверью.

Петр остался один и с негодованием встряхнул головою.

«Позор всему роду Теряевых! Старший брат словно келарь послушник при опальной боярыне!» Никогда не ожидал, он такого зазора. За дверью раздавался сдержанный шепот, потом отворилась дверца, и в комнату вошла Морозова. Петр взглянул на нее и невольно смутился. В ее фигуре столько было величавой простоты, в ее лице столько суровой гордости, что Петр сразу почувствовал себя ничтожным мальчиком перед нею. Однако он оправился, поклонился ей наотмашь и сказал:

— Великий государь прислал меня до тебя, боярыня, чтобы быть тебе по чину на свадьбе во главе прочих боярынь и царице титул сказать!

Морозова склонила голову, потом выпрямилась и ответила Петру:

— Благодарю государя за честь, а только не могу я идти и дьявола радовать. Не могу потому, что служба у вас не Божья, а антихристова, что свадьба у царя скоморошья и что неместно мне, смиренной рабе Божьей, на скоморошьи игры взирать. Вам радость, а мне скорбь, потому — вижу, как вы, неразумные, все антихристу продались.

Краска залила лицо Петра. Он считал себя верным царским слугою. По его понятиям, царь был земной владыка, и оскорбление царя было для него оскорблением святыни. Он с изумлением воззрился на Морозову и сказал:

— Так ли слышу?

Она усмехнулась и ответила:

— Так, миленький, все так! Так и царю перескажи...

Петр, не поклонясь, повернулся и вышел от Морозовой, смущенный, взволнованный. Он уже собирался сесть на коня, как вдруг к нему спешно подбежал Терентий и, ухвативши его за руку, взволнованно сказал:



— Брат! Как старший после отца, заклинаю тебя: не передавай царю ее речи! Не ускоряй конца ее!... Скажи царю как-нибудь иначе; скажи просто, что недужится ей; пусть, коли будет что с нею, так не от нашего рода! — Голос его дрожал, и гордый Терентий умоляюще смотрел на брата.

Брат вспыхнул.

— Как она смела так на царя говорить? — Но доброе сердце его отошло тотчас при виде волнения Терентия.

— Хорошо, брат! — сказал он Терентию. — Скажу по-иному!

И, приехав во дворец, он сказал:

— Государь, боярыня отказалась. Просит слезно простить ее, потому, дескать, что ногами зело прискорбна: не может ни ходить, ни стоять...

Царь нахмурился и гневно ударил по налокотнику кресла.

— Знаю, знаю! — закричал он. — Она загордилась. Ну да попомнит она меня!...

А в это время у Морозовой происходила трогательная сцена. Инокини окружили Морозову и жалобно говорили:

— Отпусти нас, мати, чтобы не пострадать нам здесь!

А Морозова утешала их:

— Нет, голубицы мои; не бойтесь, мои миленькие, еще теперь за мной не будет присылки.

Она ушла в моленную и долго молилась там, с исступлением повторяя:

— Господи, сподоби меня пострадать за истину!

Терентий мрачно возвращался домой и думал, что близко время, когда он сбросит с себя маску притворства.

## VI СВЫШЕ СИЛ

Темная зимняя ночь. В опочивальне князя Тугаева душно и мрачно. Большую комнату с низким потолком и с широкою печью слабо освещает трепетный свет лампадок. Высокая кровать под пышным балдахином кажется катафалком. На пуховой постели раскинувшись спит княгиня Анна Михайловна. Косы ее разметались. Она чему-то улыбается во сне и прерывисто дышит, а рядом с нею, облокотись на подушку, без сна лежит князь Тугаев, и лицо его с

расширенными глазами изображает страх и страдание. Сбросил он с себя одеяло, расстегнул ворот рубахи, а все ему душно, жарко и неможется. С той роковой ночи, как приехал он к Анне с вестью о своем вдовстве, не было у него покоя ни на день, ни на час. Все видится она, постылая жена-покойница, искушение дьявола в образе Еремейки, вспоминаются страшные дни и часы страдания и смерти жены...

Как она мучилась! Как стонала! Как металась перед смертью, а потом вся скорчилась, почернела, словно спалил ее огонь...

Не простится такой грех вовеки! Обречен он на окаянство, на геенну огненную, на муки адские...

Глаза его расширились еще больше, и он в испуге вскочил с постели.

— Что это?...

В углу за печкой что-то зашевелилось; от стены отделилась какая-то тень, всколыхнулась и двинулась... Тугаев вытянул вперед руки и закричал не своим голосом. Анна проснулась и в испуге поднялась в постели.

— Павел, очнись, что с тобой? — закричала она.

Он тяжело вздохнул, провел рукою по лицу и огляделся растерянным взглядом.

— А? Что? — спросил он.

— Ты кричал; тебе что-то привиделось. Что с тобой? Отчего тебе снятся такие тревожные сны? Ты совсем изменился, мой сокол!

Он опустилсЯ в постель и лег навзничь. Капли холодного пота орошали его лоб.

— Ничего, Анна, ничего, голубка моя! Спи спокойно.

— Но ты тревожишься? Твое лицо в поту? — Она нежно притронулась к его лбу рукою. — Не спрыснуть ли тебя водою? Не почитать ли псалтырь?

Он слабо покачал головою.

— Нет, ничего не надо! Только укрой меня. Мне страшно.

Она обняла его, прижала его лицо к своей груди, и он, мало-помалу забылся тяжелым сном. Не спала теперь Анна Михайловна. «Что с ним такое, — думала она. — Неужели Господь так карает нас за ложь перед батюшкой с матушкой?» И она решила перед ними покаяться. Хотя и знала она, что наступит день, ночные страхи ее

развеются и у нее не хватит духу привести в исполнение свое решение, но все же теперь она успокоилась и забылась сном рядом с мужем.

Невесела была их жизнь. Они почти никуда не выезжали, и у них почти никого не бывало. Она все время проводила в неустанной работе у себя в терему или ездила по монастырям, развозя дорогие вклады и молясь всем святым и угодникам. Он ездил только в свой полк, виделся только с Петром, постоянно был угрюм и мрачен, а иногда вдруг седлал коня, брал своего стремянного и уезжал из города на два, на три дня.

— И у Аннушки нашей нелады какие-то! — с горечью говорила княгиня Ольга Петровна своему мужу.

— Не говори! Только один Петр меня и радует.

— Терентий в староверцы отошел, а те словно отрезались. Другие времена настали! Так тяжело, что и сказать нельзя! Веселиться бы, радоваться, а они ровно в схиму готовятся...

Князь Тугаев не находил себе покоя. «Хоть бы перед кем покаяться, перед кем-нибудь душу излить! Впору иной раз идти на пожар, поклониться народу да и покаяться!»

Однажды в таком настроении он медленно ехал берегом Москвы-реки, когда встретился с князем Терентием, который возвращался от Морозовой. Уже давно влекло Тугаева к этому странному человеку, который казался ему загадочным. Он подъехал к нему и окликнул. Терентий поднял голову.

— А? Ты, князь? — сказал он Тугаеву, радушно с ним здороваясь. — Куда?

— А так! Промяться выехал, — ответил Тугаев и вдруг сказал: — Дозволь, Терентий Михайлович, с тобой перемолвиться словом!

Терентий взглянул на него и молча кивнул головою. Они поехали рядом. Тугаев тихо заговорил:

— Жить мне тяжело, Терентий Михайлович. На душе у меня туча черная. Извелся я совсем, измучился!...

Князь Терентий маяча посмотрел на него, и во взгляде его сверкнул луч участия.

Тугаев оживился и продолжал:

— Тайна у меня на душе. Давит она меня и мучает. Хочу тебе душу свою открыть...

Терентий произнес:

— Только потом не кайся. Иногда так-то бывает. Выложит человек перед человеком свою душу, а потом и сам не рад, и прежний друг в одночасье злым врагом делается. Подумай, а потом говори.

Тугаев встряхнул головою и с решимостью ответил:

— Все тебе как на духу поведаю! — и дрогнувшим голосом начал свою страшную исповедь...

Сперва рассказал он, как повенчали его, не смысля, по обету родительскому с нелюбимой женою. Как страдал он с нею и мучился, взяв на плечи свои непосильный крест. Как сломал он походы и сдружился с Петром. Как вернулся и увидел сестру их Анну, как полюбил ее. Как виделись они. Как колдовал он у Еремейки и что сделалось потом.

Голос его дрожал и доходил до шепота.

Князь Теряев давно уже остановил коня, и они стояли посреди дороги, оба взволнованные, бледные от ужаса внезапно раскрытой тайны.

— И нет мне теперь покоя, — тихо проговорил Тугаев, — и вижу я загубленные жизни, и свою, и Анны! И не знаю выхода. Вот я встретил тебя, поведал как на духу, тайну свою и теперь в твоей власти! Хочешь, иди в приказ и скажи о моем окаянстве!...

Терентий скорбно покачал головою и ответил:

— Господи! Господи! Греха-то сколько! Не знамение ли это антихриста? Что могут сделать люди с тобою? Бог наказует тебя! Загубил ты две жизни, двух жен своих; над душой сестры моей насмеялся. У людей нет на тебя наказания. Иди в монастырь и там свой грех замаливай!

— Тяжко мне! Тяжко, — застонал Тугаев и склонил голову на шею лошади.

Терентия охватила жалость к этому человеку. Он положил руку на его плечо и сказал ему задушевым голосом:

— Бог простит! Он все видит, и ни одна покаянная слеза твоя не упадет даром. Время теперь страшное, пришел антихрист со слугами своими, и благо тому, кто вовремя успел принести покаяние! Иди в монастырь, не мешкай...

Тугаев встрепнулся и, взглянув на Терентия, сказал:

— Спасибо тебе, князь! Указал ты мне путь истинный!...

Князь сложил двуперстно руку и осенил Тугаева крестным знаменем.

— Мир с тобою, мой бедный брат! — сказал он. — Иди и поборай дьявола!...

Князь порывисто поцеловал Терентию плечо и погнал коня во всю его конскую мочь...

## VII ГРОЗА

На другой день после этой беседы князь и княгиня Тугаевы, простившись со стариками Теряевыми, тронулись в дальний путь.

— С чего надумались? — спрашивал у князя Петр. — Теперь у нас самое веселье. Вскорости весна начнется, охоты!

— Не до того нам, — ответил Тугаев, — поедем по святым монастырям, за грехи свои помолимся. До сей поры одна Аннушка ездила, а теперь и я с нею.

И они поехали в двух возках, взяв с собою только десяток слуг.

— Дела! — говорил жизнерадостный Петр своей жене. — Людям бы веселиться, а на них грусть-тоска так и лезет! С чего?

— Грехи, надо быть, одолели, — задумчиво отвечала Катерина.

— У них-то грехи?...

Катерина тихо кивнула головою.

— На верху-то слухи ходят, что жена его первая неспроста померла!

Петр вздрогнул, и глаза его сверкнули гневом.

— Катерина! — грозно сказал он. — При мне таких слов не говори! Не учил я тебя еще; как бы не начал!...

Дела!

Это слово теперь переносилось с уст на уста. С новым встретилось старое в лице боярыни Морозовой и все с напряжением и тревогой следили за ее неравной борьбою.

— Боярыня, — говорил Терентий Морозовой, — во дворце царь что ни день ждет тебя с поклоном. Чего не идешь ты? Грозу на себя кликаешь!...

— Сестрица, голубушка, — говорила ей княгиня Урусова, — муж сказывал, царь больно на тебя серчает. Иди скорее, поклонись!...

Морозова улыбалась им обоим в ответ.

— Ах вы, мои заступники! Миленькие вы мои! Как же, подумайте, золотые, я к царю поеду? Приеду, войду, тут меня архиереи благословлять троеперстно станут, приму ли на душу такое поругание? Войду, говорить стану. Поначалу царя благоверным наречи. Благоверным! Подумайте, милостивцы. А какой же он благоверный, коли он слуга антихриста? А там ему и руку целовать надо. Тьфу! Не возьму на душу греха такого!

Терентий молчал, чувствуя правоту ее, а княгиня, сестра ее, умиляясь, говорила:

— Не оставлю я тебя, страстотерпица! С тобою муку приму!

— Мати Феодора, отпусти нас! — просили трусливые инокини.

— Подождите, милые! Придет беда, сама укажу вам, а теперь скучно мне без вас будет!

— Царский посол! — доложила однажды испуганная Меланья.

— Что ж, пусть войдет, — ответила Морозова, и в горницу к ней вошел боярин Троекуров, лицом красный как свекла, толстый как боров, с рыжею бородою и рыжими бровями кустиками.

— Уф! — заговорил он, отираясь платком. — Что ж это ты, боярыня, супротивничаешь? Ась?

— Ты хоть лоб-то перекрести, слуга антихристов, — спокойно заметила ему Морозова.

— Лоб? Ах ты! Вот вошел, и сейчас лукавый попутал!

Боярин истово помолился на образа и снова обратился к Морозовой.

— Что ж это ты строишь, мать? — грозно заговорил он. — Царь поженился, в радостях, а ты хоть бы челом ему побила, на радости поздравила. Вишь, на свадьбу не поехала и теперь кочевряжишься!...

Боярыня слушала его с кроткой улыбкой.

Он был ровесник ее покойного мужа, пировал на ее свадьбе, помнил ее красу и величие, и теперь приходил прямо в раж.

— Эх, живи боярин Глеб Иванович! Взял бы он плеть шелковую... Ты что думаешь себе? Перед царем ты козявка малая. Царь повелит, и тебя на цепях притащат! Чего молчишь, гордячка? Али не дело говорю? Вот что! Царь прислал меня, чтобы я тебя честью уговорил. Так сказывай теперь: приедешь к царю или нет?

— Нет!

— Как? — боярин даже попятился и сел с размаху на коник.

— Так, Степан Трофимович, нечего мне у царя твоего делать. Он так думает, а я так! Зла царю я не делаю и дивлюсь только, за что такой гнев на мое убожество!

— Тьфу! — обозлился Троекуров. — Ради Ивашки одумайся!

— А что могут младенцу сделать?

— Ну-ну! Однако и заноза ты, Прокофьевна! Теперь уж на себя пеняй, распрекрасная!

— Челом тебе, боярин! Чего в случае, помяни меня, убогую, в молитвах!

— Помяну, помяну! — пробормотал боярин, уходя от Морозовой, и тяжело вздыхая влез на своего коня.

После него был с таким же увещанием князь Урусов, муж ее сестры.

— Эх, сестрица, — говорил он ей, — что тебе? Съездила, поклонилась, а там опять у тебя и келейницы, и юродивые, и весь обиход. Веруй себе по-своему!

— Ах, князь, князь, — с укором сказала ему Морозова, — чему учишь? А? Господа моего обмануть учишь! Разве от Него скроюсь?!

Князь сконфузился и ни с чем вернулся к царю. Царь сидел в думе. С ним, кроме бояр, сидели патриарх, его духовник, архиереи и настоятель Чудовского монастыря. Царь выслушал доклад Урусова и гневно нахмурился.

— Тяжело ей бороться со мною, — глухо сказал он, — один кто из нас бесприменно одолеет!

Терентий побледнел в страхе.

— Ну-ну! Будем ее из дому изгонять и на суд ваш, пастыри, отдадим. Пусть уж напрямую скажет, како верует?...

— Давно говорили тебе, государь, про это, — вкрадчиво сказал чудовский архимандрит Иоаким, — гордыню ее с корнем вырвать надобно, как сорную траву из злака!

— Так и будет! — решительно сказал царь, вставая. — Не то она только всю Москву мне мутит! Ин быть по сему. Ты, старец, — обратился он к Иоакиму, — и сыск над ней учинишь! К тебе дьяка дам!

Терентий, себя не помня, выскочил из дворца и помчался к Морозовой.

— Берегись, боярыня! Царь на тебя распалился лютым гневом и на тебя людей посылает! Спасайся!

Морозова просияла и словно выросла. Она протянула руки Терентию и братски его поцеловала.

— Весть принес ты мне радостную, голубь мой! Пострадать за Господа — великая честь!

Терентий затрепетал от восторга и умиления, и лицо его сразу оросилось слезами.

Морозова спешно пошла по кельям своих инокинь.

— Матушки вы мои, — говорила она им, — время мое пришло. Идите! Может, Господь где вас и сохранит, а меня благословите на дело Божье и помолитесь обо мне, чтобы укрепил меня Господь!

— Сестрица! — вбежала к ней княгиня Урусова. — Час, не более, к тебе с сыском придут!

— Господь с ними! Я готова! — ответила Морозова.

— И я с тобою!

— Благослови тебя Бог, миленькая!

Старицы спешно оставили дом Морозовой, юродивые и нищие разбежались, оставив двери и ворота раскрытыми настежь.

Князь съехал со двора Морозовой, но не мог покинуть ее и остался на улице следить за домом в темноте ночи.

Он знал, что теперь об эту позднюю пору царь с думою сидит в Грановитой палате и заметит его отсутствие, но страх за Морозову, за свою первую любовь, осилил страх вины перед царем, и он оставался за углом дома.

## **VIII ВО СЛАВУ ГОСПОДА!**

Долго ждал Терентий. Подошла уже глухая полночь, когда к раскрытым настежь воротам неслышно подъехали пошевни, и из них вылезли друг за другом три человека.

Терентий стал всматриваться в их лица и при ясном лунном свете сразу узнал архимандрита Иоакима.

— А этот — дьяк Ларион Иванович, думный дьяк. А этот, — Терентий перегнулся в седле, — этот — дьякон Иосиф. Ишь, сколько их наехало!

Они с шумом пошли во двор, громко сказав слугам:



— Подержите коней!

Их голоса и шага услышали Морозова с сестрою и задрожали от страха, но через мгновение оправились.

— Сестрица, — сказала княгиня, — помоги нам Господь и ангелы. Совершим метание!

Они совершили семь поклонов, потом бросились в объятья друг друга и крепко поцеловались.

— С нами Христос! — сказала Морозова. — Теперь ляжем, княгиня!

И, задув огонь, они легли: Морозова в свою постель, а княгиня торопливо скрылась в ближний чуланчик, где до того спала Меланья, и легла на лавку.

Почти тотчас вошли к ним посланные.

— Эй, огня! Кто там есть! — закричал в темных горницах дьяк. Испуганный слуга принес светец, и они вошли в опочивальню боярыни.

Архимандрит прямо подошел к ней.

— Ты боярыня Морозова?

— Я! — не вставая, ответила боярыня.

— Государь до тебя прислал спросить: как крестишься? Встань и ответствуй!

Морозова протянула руку с двуперстным сложением и твердо ответила:

— Так!

— Гм! — ответил несколько смущенный архимандрит. — А были у тебя тут старица Меланья и прочие инокини. Они где? Сказывай без утайки!

— По милости Божьей и молитвами родителей наших, по силе нашей, в убогом доме нашем были завсегда отворены настежь ворота для странных, убогих и нищих. Были тогда и Меланьи, и Степаниды, и Карпы, и Александры. Ныне ж никого нет!

— Ну-ну, поищем! Ларион Иванович, делай сыск!

Дьяк Иванов, худой как щепка, с острой козлиною бородкою, щурясь и шмыгая носом, стал шарить по всем углам, вошел в чулан и вдруг нащупал женское тело.

— Здесь! — закричал он и поспешно спросил: — Кто ты есть?

— Я князя Петра жена, Евдокия Урусова!

Словно ошпаренный выскочил дьяк из чулана. Был он думным дьяком и хорошо знал, что за сила князь Петр.

— Чего ты? — спросил архимандрит.

Дьяк только тряс головою.

— Тамо... тамо... княгиня Урусова!

— Княгиня Урусова! — воскликнул изумленный архимандрит, но тотчас принял важный вид и грозно сказал:

— Спроси, как крестится?

— Не смею! — ответил дьяк. — Нас до Морозовой посылали!

— Спрашивай, волчья сыть! — заревел Иоаким.

Дьяк трусливо заглянул в чулан.

— Кккак... крестишься, княгинюшка? — замирающим голосом спросил он.

— Так! — твердо ответила Урусова и вытянула руку со сложенными двумя перстами.

— Ай-ай-ай! — загнузил дьяк. — Что же теперь делать?

— Побудь да поблуди их, а я живо! — сказал архимандрит и, выйдя из дому, спешно поехал во дворец. Царь ждал его со всею думою.

— Государь, — сказал Иоаким, кланяясь, — как повелишь: там сестра ее Евдокия, княгиня Урусова. Обе сопротивляются крепко.

— Возьми и ту! — угрюмо ответил царь и глянул на князя Урусова. Тот не повел и бровью<sup>[75]</sup>.

Иоаким вернулся.

— Ну, боярыня, — сказал он ей строго, — понеже не умела жить ты в покорении, но в прекословии своем утвердилася, а потому царское повеление постигнет тебя, и из дому ты изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сними долу, встань и иди отсюда!

— Скорбна ногами зело, старче, — насмешливо ответила Морозова, — ни стоять, ни ходить не могу!

— А ты, княгиня?

— И я тож!

Иоаким покраснел от досады.

— Эй! Посадите их на стулы и вон несите!

Люди тотчас ухватили сестер, посадили их на кресла и понесли вон из горниц.

— Матушка! — раздался крик ее сына, и он подбежал к ней.

— Иди прочь! — закричал на него дьяк.

— Дайте проститься! — в первый раз взмолилась Морозова и обняла своего сына.

— Прощай, Иваша! Прощай, сокол мой!

Мальчик плакал. Их разлучили насильно.

Потом заковали обеих сестер и вместе с креслами посадили их в подклети.

Терентий тотчас въехал во двор, едва скрылись царские слуги. Он подбежал к клетям и страстно прижался лицом к двери.

— Мати, благослови и меня на страдания! — вскричал он.

— Благословляю тебя на жизнь в миру! — нежно и ласково ответила Морозова. — Иди, Терентий, прочь теперь. Неравно увидят, и тебе худо будет!

Через два дня взяли Морозову в Чудов монастырь и привели в палату.

Там заседал целый синклит. Митрополит Крутицкий Павел был во главе, сидел тот же Иоаким, думные дьяки и много попов.

— Феодосия, чадо мое! — ласково заговорил Павел. — Опомнись! Наговорили это тебе старцы и старицы, а ты довела себя до такого поношения!

— Не старцы и старицы, а слуги Христовы! — ответила Морозова, не вставая со стула, на котором сидела.

— О, овца заблудшая...

— Вы заблудшие, а не я!

— Не перебивай речи...

— И слушать вас зазорно!

— Истинно ты бесом обуяна, — с горечью сказал Павел, — ответствуй спроста. По тем служебникам, по которым царь причащается, и благоверная царица, и царевич, и царевны, причащаешься ли ты?

Морозова только усмехнулась.

— Известно, нет! Потому я знаю, что царь по развращенным Никоном изданиям служебников причащается.

— Как же ты об нас всех думаешь? — с гневом спросил Павел. — Что? Мы все еретики?

— Ясно, что все вы подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьюми как блевотиною наблевал, а вы теперь его сквернение

подлизываете!

— Так ты не Прокофьева дочь, а бесова!

— Я дочь Христова!

— Врешь, бесова! В железа ее!...

Ее ухватили и, спешно заковав в кандалы, надев цепи на шею, повлекли через весь Кремль в подворье Печерского монастыря, где и посадили в яму.

Она же пела и славila Господа.

Княгиню Урусову заточили в Алексеевском монастыре, где ее мучили и терзали старицы, заушая ее, лишая пищи и всячески глумясь над нею за ее упорство.

Терентий страдал и уже не мог скрыть от людей своих страданий. Лицо его осунулось, глаза загорелись лихорадочным блеском.

Царь пытливо поглядывал на него и качал головою или хмурился. Прежде Терентий прикрывался бы улыбкой или отвел взгляд. Теперь же он дерзко, вызывающе взглядывал в ответ, словно ожидая опалы и радуясь.

Царь говорил Петру:

— Что брат твой? Никак, и он старой веры и за Морозову мне супротивник!

Петр вспыхивал, но не решался сказать правды.

— Не знаю о нем ничего. Сторонится он нас. Одно знаю, что все мы, Теряевы, за тебя готовы животы положить.

— Все ли? — недоверчиво говорил царь и задумывался.

Борьба со староверами все более и более омрачала его, нарушая его тихий покой, расстраивая его веселье, забавы и игры с молодою женой.

## **IX НЕБЕСНАЯ КАРА**

Грех смертоубийства, грех волхвования. И в наше безверное время убийство ближнего считается преступлением и против общества, и против духа. В ту же пору не было ужаснее греха, чем отравление жены мужем или мужа женою; равно и волхование казалось тяжким преступлением.

Воспитанный в таких традициях, князь Тугаев не мог вынести на своей совести этих страшных грехов.

Они давили и терзали его.

Лицо его потемнело и осунулось, глаза глубоко ушли в орбиты и взгляд сделался тревожен и пуглив.

— Анна, — говорил он иногда ночью жене своей, — не оставляй меня одного. Не уходи от меня. Мне мерещатся призраки умерших!

Анна трепетала.

— Сокол мой ясный, что с тобою? Какая кручина у тебя? Скажи мне!

Он слабо улыбнулся однажды и сказал:

— Коли я открою тебе душу свою, ты сгоришь, как от полымя!...

Анну объял ужас. Что сделал ее Павел?

Молиться, молиться!

Так же думал и Тугаев, и они ездили из монастыря в монастырь, и не было ни одного старца, ни одного схимника, у которого не исповедовался бы князь.

— Постой, золотая моя, — говорил он жене, — я к старцу схожу. А ты молись!...

И он шел и каялся в своем страшном грехе. Слушали его старцы и схимники и в ужасе качали головами, а потом говорили:

— Иди в монастырь, схиму прими — и замаливай грех свой. Велик он зело! Не помогут молитвы без дел!

Он возвращался к жене бледный как смерть и говорил ей:

— Молись, Анна, обо мне!

— Скажи, что на душе у тебя?

Он молчал. Сказать ей — это значит покаяться и идти в монастырь, отречься от нее, от всего того, ради чего он принял такие муки. Это было ему не по силам. Любовь к молодой жене побеждала ужас вечных загробных страданий.

— Что сказать тебе, Аннушка, кроме любви моей к тебе безмерной, — говорил он ей в редкие минуты спокойствия, — ради любви этой пошел бы я на всякие муки.

— Для чего же муки, милый? — со стоном говорила Анна. — Смотри, другие любят и веселы, и детки есть, а мы... Только изводимся с тобою.

— Ну, ну! Вот я слышал, в Ипатьевском монастыре пресветлый старец Иннокентий есть. Всякий, говорят, грех разрешает. К нему поедем!

Но и старец Иннокентий не отпустил греха Тугаеву.

Анна терзалась; в ее простом уме слагались ужасы без всяких определенных мыслей, но однажды она вдруг словно просветлела.

Это было в странноприимном доме при Черемнецком монастыре. В просторной горнице лежали они на кровати. Анна не спала, взволнованная печалью мужа, и думала тоскливые думы.

Князь спал тревожным, тяжелым сном. Он стонал, метался во сне и бормотал несвязные речи.

Вдруг он вскочил с иступленным криком. Глаза его расширились, он вытянул вперед руки и закричал:

— Ты? Ты? Опять!...

В ответ на его крик раздался другой. Князь очнулся и растерянно оглянулся. И вдруг замер в новом ужасе.

Анна соскочила с кровати и в одной сорочке стояла в углу горницы, дрожа от страха и с ужасом смотря на князя.

Он сделал к ней шаг вперед, взглянул на нее и встал как вкопанный. В ее взгляде он прочел, что она все знает...

— Ты?... — с бесконечным ужасом и страданием произнесла Анна.

Он вздрогнул.

— Да, да! Вот он, мой грех! Вот мое окаянство! Анна, милая!

Он упал на пол, и в несвязных словах полилась его ужасная исповедь.

Ах, не встречаться бы им здесь вовеки! Не волен он был в сердце своем! Все мутилось, не в себе он был. Дьяволы томили его, дразнили и мучили! Видит Бог, он боролся...

Анна слушала и трепетала.

Вон он, грех лжи и обмана! До чего дошла она! Ведь и она в той душе загубленной повинна.

— Иди в монастырь! Я тоже уйду!

— Но я люблю тебя, Анна!

— Прочь! Прими руки... окаянный!

— Что?

Князь вскочил как ужаленный и схватился руками за голову.

— Прочь, прочь, прочь! Не скверни меня руками своими! — твердила, дрожа, Анна.

Князь дико вскрикнул, захохотал и бросился из горницы.

— Куда? — остановил его привратник.

— Прочь! — оттолкнул он его с силою и выбежал за ограду.

Была весна в начале. Огромное озеро, что окружало монастырь, почернело и вздулось, готовое сломить лед при первом порыве ветра.

— Проклят, проклят! — бормотал князь, бегом спускаясь на зыбкую поверхность талого льда.

— Братии, душа гибнет! Спасайте! — закричал испуганный привратник.

— Боже, спаси и помилуй!

— Проклят, проклят! — твердил князь, увязая в снегу, попадая в лужи талой воды. Вдруг перед ним мелькнул словно призрак его умершей жены.

— Опять ты! — закричал он иступленно и рванулся вперед.

— Сгиб! — раздался вопль с берега.

При свете луны привратник увидел, как князь на всем бегу словно провалился. Он упал в прорубь. Крик привратника огласил уснувшую обитель.

Несколько иноков выбежали на берег. Отважные монахи бросились следом за князем, дошли до проруби, но не увидели его трупа.

— Затянуло под лед, — толковали они потом.

— Ох, грехи тяжкие!

— Кто княгине-то скажет, милостивцы! — печалился ключник.

А княгиня лежала в горнице без сознания. Ее ум не выдержал такого напряжения, и бедная голова ее закружилась. Когда она очнулась, подле нее у постели сидел старец.

— Опамятовалась! — с тихой улыбкою сказал он и взглянул на нее с нежным участием.

— Отче, — робко спросила она, — где супруг мой?

Старец помолчал мгновение, а потом тихо и торжественно сказал:

— Господь Бог уготовил тебе тяжкое испытание...

— Где муж? — повторяла Анна.

— Там, — старец поднял глаза кверху, — где нет ни печалей, ни вздыханий, но жизнь бесконечная!...

— Он принял схиму?...

— Навечно...

— Так скоро? Сколько же я лежала?

— Он утоп, дочь моя! — тихо ответил ей старец.

— Как?

Анна поднялась и села, бледная, как плат.

— Утоп по неразумию.

И старец рассказал про смерть ее мужа.

— И тела нет... вот весною лед вскрыет, тогда предадим его честному погребению... Что ты, дочушка!

— Божья кара! Божий суд! — вскрикнула Анна и, упав на колени, прижалась лицом к ногам старца.

— Что, доченька, что, милая?...

Она неясно бормотала:

— Грех! И его грех, и мой грех! Оба грешны. Отче, выслушай!

— Ну, говори, доченька! Вот так! Я слушаю. Шепчи мне потиху!

Он опустился рядом с нею на колени и прислонил ухо свое к ее помертвевшим губам.

Анна бессвязно начала свою исповедь, задыхаясь от глухих рыданий.

## **Х ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА**

По Москве опять заходили странные люди. То тут, то там вдруг объявлялось подметное письмо. Голь кабацкая и гультия толпами собирались и говорили меж собою.

— Ужо им, боярам! Идет молодец на них. С ними, слышь, везде расправу чинят!

— Верно! Слышь, братцы, Астрахань взял, Саратов, Царицын...

— На Казань идет!

— Цыц вы, крамольники! — орали пристава. — Расходитесь! Не то вас!

Толпа разбегалась, а в другом месте уже собиралась вновь и вела свои разговоры.

Слух о Стеньке Разине дошел до Москвы и взволновал ее сверху донизу.

Царь собирал думу и совещался. Вор вернулся после двухлетней пропажи снова в Астрахань и на этот раз взял ее, пролив море крови.

— Тогда выпустили! — с укором говорил Урусов. — Львов да Прозоровский большой беды тогда наделали!



— Тогда, тогда! — с раздражением сказал царь. — Надо думать, что теперь делать!

— Дозволь слово, государь, держать, — произнес боярин Нащокин.

Царь обернулся к нему.

— Допрежь всего всем воеводствам строгие наказы разослать, чтобы держали себя с великим бережением и друг другу помощь бы оказывали, а не супротивничали бы да не сварились бы.

— Так, боярин! — одобрил царь.

— А потом и сидеть себе в упокое, — продолжал боярин, — немислимо, чтобы вор этот до Москвы дошел.

— Вестимо, немислимо, — подтвердили все.

— Одно только, в людях смятение, государь, — вставил Троекуров.

— Государь, — сказал патриарх, — по моему разумению малому, надо проклясть этого самого Разина всенародно. Объявить на него анафему, и тогда, верь, народ отшатнется от него и будет он совсем один!

— Это так! — сказал повеселевший царь. — Проклясть его всенародно. Истинно он от дьявола.

— Проклясть! Отлучить! — подхватили бояре, и на думе решили отлучить Стеньку от церкви и наречь ему анафему.

Уже дума собиралась расходиться, когда встал Иоаким и заговорил:

— Милостивцы, прислушайте мое слово!

Царь воззрился на него.

— В народе нонче опять непокойно, опять мятежные думы в головах и на языках сквернословие, а тут же у нас ко всему соблазн велий. Народу якобы на потеху и радость.

Терентий побледнел, и сердце его сжалось предчувствием злого.

— Про что говоришь, отче? — спросил царь. — Не возьму в толк!

— Говорю, государь, про смутьянство, что вслух поносят нас, иереев, и тебя, царское величество, и царевен, и царевичей. Говорю про староверок упорствующих, Феодосью и сестру ее Евдокию. Всем соблазн!...

Царь нахмурился.

— Что же они делают? Али мало им, что в клетях по монастырям сидят?

— Всем, государь, — соблазн, — заговорил с жаром Иоаким, — теперь возьми эту Евдокию...

Князь Урусов опустил голову.

— Что она творит? Господи Владыко! Теперь ей наказали мы беспрерывно в церкви нашего чина службу стоять. Так что ж? Не идет! Ноги, слышь, не служат. Ну, ее на рогожу и волоком тащут, а она-то ругается. А народ видит это и соблазняется.

Царь кивнул.

— Ну а та? Морозова?

— И того хуже! Теперь, слышишь, со старицей Меланьей что ни день видится, письма от нее подметные. Где та старица, ищем и сыскать не можем. А она, боярыня, у себя в железах сидит и поет гласом великим на всю обитель. А то сквернословит! Ей говорят: тихо! А она еще громче. Народ прямо под окнами толпой стоит. В пору палками гнать...

Царь гневно нахмурился.

— Ох, эти мне две супротивницы! Ну что с ними сделаю? Услать их надо куда от Москвы далее, в крепкие железа заковать, за запоры посадить.

Терентий не вытерпел и вдруг сказал:

— За что, государь?

Словно грянул гром, так все бояре всполошились в думе. Царь поднял голову и удивленно смотрел на Терентия, иные бояре встали со своих мест.

— Как за что? — переспросил царь.

Терентий был белее вешнего снега.

— Веруют так они и за то страждут, — твердо ответил он, — а в чем провинились пуще того? Сделали дело татебное? Воровством, знахарством промышляли? Убийством жили? Гляди, сколько убогих и скорбных приютила у себя боярыня. Не гнушалась в чумное время ходить за больными. Нищих оделяла. Что свеча горела перед Господом! Смилуйся, царь, над нею!

И Терентий вдруг, к общему соблазну, упал в ноги царю.

Царь встал, пылая гневом.

— Что говоришь, безумный! — закричал он. — А супротив меня она не шла? Не поносила меня и святых отцов? Не сказывала, что я побесовски верую, а она истинно? Али это не в упрек ныне, своему царю перечить?

Патриарх подал едва заметный знак.

— Как веруешь? Как крестишься? — завопил вдруг Иоаким, бросаясь к Терентию.

Все замерли. Терентий медленно встал и вопросительно взглянул на царя.

Царь отвернулся и глухо повторил:

— Как?

— Так! — звонко и решительно ответил Терентий, подымая два пальца.

Тяжкий вздох пронесся по Грановитой палате.

— Опомнись, князь! — закричал испуганно Шереметев.

Царь махнул рукою.

— Не маленький он!

И, обратившись к Теряеву, грозно сказал:

— Род ваш немало оказал услуг мне и всегда прямил, не то бы огнем спалил я тебя за отступничество! Теперь же иди с глаз моих и жди дома моего решения. Иди!...

Терентий низко поклонился царю и пошел из палаты. Лицо его было светло и радостно.

— Сподобился! — шептал он, ликуя.

Старый князь сидел погруженный в размышления, собираясь идти ко сну, когда в горницу вошел любимец его Антон и остановился в дверях.

— Чего тебе? — спросил князь.

— Государь, Антропка приехал. До твоей милости!

— Какой такой Антропка?

— Запомню, государь! Антропка, это стремянный князя Павла!... Приехал он...

— А-а! Ну что ж? От Аннушки весть какая! Что ж, зови!

Антон вышел и через минуту вошел со стремянным князя Тугаева. Антропка стал на колена и стукнулся лбом об пол.

Князь милостиво кивнул ему.

— Ну, вставай! Сказывай, с чем прислан, откелева? Что князь Павел? Что дочушка?

Антропка встал и нерешительно почесал затылок.

— Ну, чего ж ты?

Князь взглянул на него пристально и вздрогнул.

— Али беда какая? Что? Говори...

— Князь-то наш... — начал Антропка.

— Что с ним?

— Приказал долго жить...

Теряев откинулся и широко перекрестился.

— Царство ему небесное! Что с ним приключилось?...

— Утоп! — тихо ответил Антропка.

Князь побледнел.

— А дочь? Едет?

— А княгиня до тебя послала меня. Скажи, гыт, что я постриг приняла и...

— Что? — не своим голосом закричал старый князь и бросился к теремной лесенке. — Ольга, подь сюда!...

— Ты врешь, холоп? — закричал он на перетрусившего стремянного.

— А вот и грамотка от нее, и волосы ее тут! — сказал он, протягивая вынутую из-за пазухи тряпицу.

Князь жадно схватил ее, развернул, отбросил толстую косу, что змеей упала на пол, и, сломав печать, стал разбирать грамоту.

— Пошел вон! — через минуту проговорил он Антропке.

Тот мигом скрылся.

Князь читал исповедь измученной души.

Грамота, видимо, была написана кем-то иным, монастырским четким почерком, и только подпись Анны свидетельствовала верность послания.

Она писала про свой грех, открывала страшную тайну мужа, его смерть и оканчивала послание: «И мне, грешной, ноне только молитвы и за свою, и за него душеньку. Господь милосерден и простит грешника, а я за его молеельщица навеки».

Грамотка была подписана: «Анна, в иночестве Измарагда».

Князь сжал голову руками и бессильно опустил ее на стол.

В это время в горницу вошел встревоженный Петр.

— Али знаешь, батюшка? — спросил он, входя.

Князь поднял на него мутный взор.

— Чего?

— Терентия государь с глаз согнал. Он в думе старове́ром объявился!

Князь встал, вытянул руки и зашатался.

— За что, Господи! — пробормотал он.

Петр успел подхватить его и осторожно опустил на лавку.

— Лекаря зови! — крикнул он, выбежав в сени, холопам.

В сенях он увидел дворянского сына Никитина.

— От царя? — быстро спросил он.

— К князю Терентию! — ответил Никитин.

— С чем?

У Петра замерло сердце.

— В степи, в город Бирюч на воеводство приказано ехать!

Петр широко перекрестился и вздохнул. Слава Богу! Вестимо, воеводство этакое — та же ссылка, но хоть без порухи на честь...

## ХІ ИССТУПЛЕННЫЕ

Железное здоровье князя Теряева не сломилось от тяжких ударов судьбы, и он оправился на другой же день и тотчас послал за Петром.

— Мы-то в опале? — спросил он, лежа на лавке.

Петр покачал головою.

— Не должно быть. Государь меня жаловал все время, тебя уважает; быть не может, чтобы гнев свой и на нас обратил. Да и то! Другого бы, слышь, заточил, в приказ взяли бы, а тут ишь, всего в Бирюч послали, да и то без порухи на честь, ако бы воеводою. И опять, посланцем вчерась Никитин был, такто ли мне низенько поклонился! — И Петр даже улыбнулся.

Старый князь кивнул ему и сказал:

— Иди, а Терентия пошли до меня! Ты посиди тут же, — обратился он к жене, которая всю ночь не сомкнула очей, берегла покой мужа и теперь сидела подле него, как верная подруга. Она в ответ только всхлипнула.

В горницу на смену Петру вошел Терентий. Он весь осунулся, но лицо его, раньше хмурое, теперь светилось тихою радостью.

Он покрестился на образа и земно поклонился отцу с матерью, потом поднялся и ясным взором взглянул на отца. Тот с укоризною покачал головою.

— Что сделал? А! Что натворил бед-то! А еще думный! Еще в бояре метил. Опозорил и меня, старика, и род наш! Ну, что молчишь?

Терентий ничего не отвечал и только смотрел на отца ясным взором.

Старый князь взгляделся в лицо его, и тысячи мыслей промелькнули в его голове.

Чем не молодец, чем не красавец? И умом взял, и дородством, и саном! И породнился с Голицыными. Кажись, все для счастья, и вот!... Когда в поход ехали, царь ему, еще юноше, семью свою поручил; сорока лет нет еще парню, а уже в думе сидел, и вдруг все прахом! На тебе, в староверцы пошел! За Морозову заступиться вздумал! Ох, обошли его, малого! Опоили зельем каким-либо.

Он приподнялся на локте и ласково заговорил с сыном:

— Тереха, очнись! Очнись, милый! И я, и мать тебя молим о том. Чего тебе? Скажи: лукавый попутал, ударь царю челом; я на верх съезжу, Петр просить станет, Катерину к царице пошлем... Милый, а? Брось гордыню эту.

Терентий покачал головою.

— Не проси, батюшка! Я проститься пришел, а не за тем вовсе. Не могу отступить я...

— Это бы отчего? — с усмешкой спросил князь.

Терентий вздрогнул. Бледное лицо его покрылось румянцем, глаза вспыхнули.

— Потому, батюшка, что в том воля Божья и зарок мой. Коли бы тебе говорили: не прями царю, отложись! Ты бы на муку, может, за царя пошел... а мне говорят: отложись от своего Христа. Нешто можно? Твой царь земной и тленный, мой — вечный. Его ли покину? И теперь ли малодушествовать буду? Гляди, батюшка, боярыня и сестра ее венец мученический приемлют, Аввакум ради Христа страдает, многие старцы и старицы, веры своей ради, в тюрьмах гниют и всякое заушение приемлют, а я смалодушествую? Не гоже! Рад бы пострадать с воплем и стоном, а не просто в ссылку идти!...

— Вот ты как! — воскликнул отец. — И против меня, и против царя! Так будь же ты...

— Милостивец мой, светик! — завопила, бросаясь к нему, жена. — Не договаривай! Не говори, сокол! Тереша, иди! Уходи! Господь с тобою! Подожди там. Я благословлю тебя!...

Терентий упал на колени. Князь опустился на лавку и тяжело переводил дух, видимо борясь с собою.

Наконец он осилил гнев свой и сказал:

— Поезжай с Богом! Жену-то берешь сейчас?

— Нет, — тихо ответил Терентий, — опосля. Как реки вскроются...

— Ну-ну! — И старик отвернулся к стене, а мать стала горячо и трепетно прощаться со своим сыном-первенцем. Он обнял ее и тихо плакал.

Терентий сказал правду. По всем городам и весям с жестокостью преследовались староверы, и число мнимых мучеников за веру возрастало с каждым днем.

В Москве взоры всего народа были обращены на Морозову и ее сестру. Странницы, знавшие их, инокини, покинувшие палаты Морозовой, теперь сновали по всей Москве и разглашали славу подвигов их во имя Христа.

— Не может быть так более, — говорил патриарх царю.

Царь соглашался с ним.

— Быть по-твоему, — отвечал он, — испытай и еще единожды, а там твори с нею по своему владычеству.

Суд! Новое испытание!

Морозова сидела в сырой, холодной каменной келье в подворье Печерского монастыря.

Скованная по рукам и ногам, прикованная к скамье цепью, надетой на шею, она сидела, устремив пламенный взор к узкому окошечку, из которого виден был край неба, усеянного звездами, и вполголоса на память перечитывала послание ей от Аввакума, которое недавно отняли у нее.

— «Не ведаю, как назвать тебя, ластовица сладкогласная! Ум мой не обымет подвига твоего и страдания»... Миленький, — с умилением шептала она, — сам-то великий страстотерпец, и такие мне лстивые слова глаголет!... «Подумаю, да лишь руками взмахну. Как так, государыня, изволила с такие высокие степени вступить и в бесчестие вринуться?... Поистину подобно сыну Божию». Ну, уж это он негоже,

не надо так. — И, пропустив мысленно несколько строк льстивых сравнений, она с одушевлением вспомнила: — «Мучься же за Христа хорошенько, не оглядывайся назад. Спаси тебя Бог! Не тужи о безделицах века сего. И того полно: побоярила, надобно попасть в небесное боярство...» Так, миленький, так! Довелось бы только истинное страдание принять!...

И словно в ответ на ее мысли, загремел засов, и в келью вошел дьяк с двумя прислужниками.

— А ну, Варвара, на расправу! Пошевеливайся! — сказал он, грубо смеясь.

— Недужна я!

— Знаем недуги твои! Эй, берите её да волоком!

Прислужники ухватили скамью с боярыней и потащили ее на двор. Была уже глухая ночь, все спали. Только несколько стрельцов стояло у широких пошевней.

— Вали ее со скамьей заедино! — приказал дьяк, и ее бросили на сено в сани.

— В Чудов!

И, скрипя полозьями, сани быстро понеслись к Чудову монастырю. Морозова молча улыбалась и смотрела на темное небо. Звезды, казалось, ласково светили и благословляли пострадать. Она шептала хвалы Богу и давала страстные обеты не поступиться страха ради ничем из своих верований.

А в Чудовом монастыре снова заседал синклит, уже во главе с самим патриархом.

Присутствовали те же митрополиты Павел и Иоаким и, кроме того, несколько думных бояр и приказных воевод.

— Ныне вразумим! — говорил патриарх и громко приказал дьяку: — Веди!

Ее ввели в рубище, окованную, с цепью на шее. Она вошла, строптиво оглядела всех и, усмехнувшись, села на пол. Патриарх вспыхнул гневом, но сдержался.

— Дивлюсь тебе, — сказал он кротко, — как ты возлюбила цепь эту и не хочешь с нею расстаться!

Она радостно улыбнулась.

— Воистину возлюбила! И не только просто люблю, но еще не довольно насладились вожденного зрения сих оков. Как могу не



возлюбить их! Такая я грешница — и для Божьей благодати сподобилась видеть на себе, а вместе и носить Павловы узы, да еще за любовь Единородного Сына Божьего!

— Безумные речи! — пробормотал Иоаким.

Патриарх заговорил кротко и нежно.

— Ты есть овца заблудшая! Покайся, пока не поздно! Не выводил из последнего терпения царя твоего и владыку и меня, духовника твоего!

— Христос мой владыка, а духовником ты моим не был и не будешь, ибо никонианец ты и еретик!

— Опомнись, глупая! — закричал Павел.

— На дыбу бы ее, — проворчал дьяк Иванов.

— Ах, миленькие! Дайте пострадать Христа ради! — И Морозова протянула с мольбой скованные руки.

— Оставь безумие! — увещевал ее патриарх. — В последний раз говорю тебе: исповедайся и приобщись у нас!

— Некому мне исповедоваться и не от кого причаститься!

— Попов много на Москве!

— Много попов, да нет истинного!

— Я сам потружусь для тебя, — сказал патриарх.

Морозова засмеялась.

— Сам! Эко сказал. А чем ты других лучше? Еще когда ты был крутицким митрополитом, носил клобучок старенький, еще был ты мил. А ныне небесного царя своего презрел, надел римский клобук да и молвишь: сам! А сам хуже дьявола! Тьфу!

Все повскакали со своих мест в негодовании.

— Оставьте! — сказал патриарх. — Не в разуме она! Вот я ее елею помажу!

И облачившись, он захотел сотворить помазание, но Морозова вдруг вскочила, стала в грозную оборонительную позу и, потрясая цепями, завопила:

— Не губи меня, грешницу, отступным своим маслом! Для чего я носила эти оковы, чего ради страдала? Год их ношу, а ты хочешь одним часом весь мой труд погубить! Отойди! Отступись!

— С нами крестная сила! — осеняясь, сказал патриарх. — Сколько в ей ярости и упорства. Отступаюсь от нее.

И он гневно подал знак, чтобы увели прочь Морозову. Ее упорство раздражало всех и пуще всех, а самого царя. На другой день она была свезена в ямской двор и там пытана.

## **XII ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ**

Страшное, тесное и темное помещение для колодников было переполнено мужчинами и женщинами, приведенными сюда за приверженность к старой вере.

Морозова, едва оправилась от усталости после переезда, тотчас заговорила радостным, бодрящим голосом:

— Братцы и сестрицы возлюбленные, довелась нам ныне радость великая за своего Господа Христа пострадать, как некогда страдали святые апостолы...

— Сестрица! Федосьюшка! — раздался в темноте крик.

Морозова вздрогнула.

— Княгиня-свет! и ты тут? — отозвалась она.

В тюрьме зашевелились, раздались голоса, соболезнующие возгласы, и скоро Морозова в полутьме, бряцая цепями, обнималась со своею сестрою.

— Сподобил Бог свидеться напоследях! — говорили они.

— Давно тебя взяли сюда?

— В ночь!

— И меня тоже...

— Ранее патриарх допытывал, да ишь не разжалобил.

— И меня соблазняли.

— Господь нам Свой венец уготовил. Ни в един же час пропасть с душою после года испытания.

— Морозова! — крикнул, входя, стрелецкий сотник.

— Я, миленький!...

— Иди!

— Не моготна.

— Ах, чтоб тебя... — выругался стрелец. — Эй, Ивашка, Петра, Ефрем, волоките ослушницу!

Стрельцы вошли, подхватили Морозову под руки и поволокли. Она волоклась и говорила, обращаясь к заключенным:

— Любезные мои сострадальники! Терпите, светые мои, мужески и обо мне молитесь!...

— Бог на помощь тебе, сестрица! — отвечали голоса.

В застенке, помимо попов и монахов, находились для увещевания, слежения и опроса присланные царем князя Одоевский с Воротынским и Василий Волынский.

— Что ухмыляешься? — закричал на нее Одоевский. — Ты в царской опале, скорбеть должна!

— Я пред царем не согрешила!

— Чего говорить с ней, ослушницей, — произнес Волынский, — вису ей!

Палачи бросились на нее, сорвали одежды по пояс и, закрутив назад руки, вздернули ее на дыбу.

— Это ли по-христиански? — сказала она.

Князь Воротынский смутился. «Почто терзаем?» — подумал он, вспоминая былую красоту Морозовой, и со слезами в голосе стал говорить боярыне:

— Милая, покайся! Повинись перед царем! Ведь все это у тебя наговоренное. Аввакум этот треклятуший! да Киприан юродивый, да Федор. Опомнись, мать! Опустите ее!

Морозову опустили. Она очнулась от полузабытья и заговорила голосом пророчицы:

— Не велико наше благородие телесное, и слава человеческая суетна на земле. Все тленно и мимопроходяще! Слушайте, что я скажу вам: помыслите о Христе. Кто Он, что Он? Вон, Его жиды на кресте распяли! Что же наше мучение? Ничто! И вы покайтесь! Бросьте ересь Никон...

— Вздергай ее, бей! Замолчи, треклятущая! — закричал испуганный дьяк Иосиф.

И ее тотчас снова вздернули и, встряхивая, держали на виске более получаса, «так что руки ремнем до жил протерли», потом жгли огнем и все время увещевали смириться и в заблуждениях покаяться. Она же не смирялась и только корила своих палачей.

— Ну что? — спрашивал царь время от времени у нарочно посланных.

— Упорствует, государь!...

В девять часов, после вечерни, царь послал Петра. Петр прискакал в приказ, видел страшную пытку и смутился духом.

Что это? Некогда вельможная, пышная боярыня, женщина красы неописанной, жития строгого, висит на дыбе, как колодница, с вывернутыми руками, обнаженными грудями, простоволосая; тело ее сожжено и дымится, из ран каплет кровь, а бояре еще пытаются ее... за что?...

У него помутилось в голове. Он вышел на двор, и следом за ним вышел старик Воротынский.

— Оох! — протяжно вздохнул он.

— Князь, — порывисто заговорил Петр, — прикажи ты снять ее Бога для! Для чего мучить так! Силушки глядеть нет...

Князь кивнул.

— Истинно! Наши монахи да попы злы больно и царя ожесточают. Не в своем уме она. Порченная! — тихо сказал он. — А какой я знал ее! Пышная, великолепная! Взглянешь — царь-баба, глаза разгораются, а ныне... истинно, последние времена пришли! В небе звезда хвостатая. К чему? в церквах звоны идут. Вон, бают, вор Стенька Разин города друг за дружкой берет. Близится час судный! Ох, близится! Ну, я пойду! Скажи царю, что упорствует! А только я кончу пытать ее...

— Вестимо! Доброй ночи, князь!

— И тебе!

Петр погнал коня и невольно задумался.

«В чем — нибудь есть неправда. Вон Терентий возрадовался, когда в опалу попал; эта упорствует; сотнями их истязают и жгут... кто прав?...»

— Ну что? — спросил его царь.

— Упорствует! — тихо ответил Петр. Царь топнул ногою.

— Конец! Сжечь их всех! И ее, и Авдотью эту, и всех! Петр, скажи в приказ, вели срубы на болоте ставить! Жечь их!

Петр вздрогнул, но не посмел послушаться и тотчас поскакал назад.

Плотники немедля пошли на болото и начали складывать сруб для двух сестер, а тем временем царь собрал снова думу, не решаясь сам подтвердить приговора...

Терентий не мог уехать из Москвы, не повидавшись в последний раз с Морозовой, но в то же время, как опальный, он и сам должен был скрываться днем.

Вечером он помчался в Печерский монастырь и тотчас подкупил стрелецкого голову, но тот, взяв деньги, развел руками и сказал:

— Только видеть ее нельзя, князь!

— Почему?

— Взята на увещевание в Чудовский монастырь. Слышь, там и сам патриарх будет.

— Давно?

— Да с полчасца времени!

Терентий вскочил на коня и погнал в Чудов монастырь. Монастырь был заперт, но князь назвал себя, и его впустили во двор.

— Чего тебе? — спросил привратник.

— Где боярыня Морозова?

Привратник перекрестился.

— С нами, Господи! Чего тебе до еретички этой?

— Не твое дело? Где она?

— Она-то? В трапезной! Там ее увещевают и отец патриарх, и митрополиты, и весь синклит.

Терентий поднял голову. Окна трапезной были освещены; в глубине мелькали длинные тени.

— Что за человек? Чего тебе? — услышал он грубый оклик и оглянулся. Подле него стоял стрелец.

— Я князь Теряев, — гордо ответил Терентий, — ты сам зачем здесь?

Стрелец смутился и сдернул свою шапку с головы.

— Я-то? Я сюда из Печор Морозову привез, — и, переведя дух, тихо прибавил: — Ругаются над ней, страстотерпицей...

Князь быстро взглянул на него и тихо спросил:

— Как крестишься?

Стрелец испуганно посмотрел на него.

— Не бойсь, милый! Я крещусь так и уже мзду приял!

— И я так! — радостно ответил стрелец.

— Слушай! Так сделай мне, чтобы с ней повидаться. Она мне что мать родная, что сестра духовная! Свет мой! — голос Терентия дрогнул.

Стрелец покачал головою.

— Сейчас никак невозможно. Подожди тут, полковник сказывал, коли она не смирится, везти ее в ямскую. Надо думать, что не смирится она, страсотерпица, до конца крест понесет!...

Терентий задрожал.

— Пытать?...

— Беспременно, — ответил стрелец и прибавил: — Так вот там легче увидеть ее. В тюрьме! там народу всякого много. Я проведу тебя, а теперь укройся!...

Терентий отошел в глубь двора и всю ночь провел в ожидании страдальцы. Почти в шесть часов утра с шумом, бряцаньем цепей вынесли Морозову, уложили в сани и помчали на ямской двор. Князь поехал за нею следом.

Но уже забрезжил день, и ему, опальному, впору было самому укрыться. Мрачный, измученный, он вернулся к себе и стал молиться. За молитвой его сломил сон, и он уснул, стоя на коленях перед аналоем...

Только на следующую ночь он увиделся с Морозовой и успел проститься с нею, после чего поехал в ссылку на свое воеводство...

Царя успели отговорить от страшного решения. Сруб остался без употребления. Морозову сослали сперва в Новодевичий монастырь, потом перевели в Москву, в слободу Домовники, потом увезли в Боровск и там заточили в острог, в земляную яму.

### **XIII В ПОХОД**

В думе опять было сидение.

Тревога охватывала всех.

Господи! за что такие напасти на государство валятся! Сначала мор, чума страшная, голод, бунты московские, ересь староверческая, пытки и казни, казни и пытки, а теперь еще беда нагрянула. Стенька Разин, вор и разбойник, по Руси кровь проливает!

Взял Астрахань, Царицын, Камышин, Саратов, идет по Волге вверх, у Симбирска стоит, возьмет Симбирск, Казань, а там уже чистый путь на Москву!

Слышь, города без боя сдаются. Пенза его, Тамбов евойный, Алатырь, Корсунь, Арзамас, Саранск, Цивильск, Чебоксары, Ядринск,

Козьмодемьянск — все ему отдалось!

Идет с ним сила несметная: и чуваш, и мордвин, и калмык. Из-под самой Москвы холопы да посадские бегут...

Что делать?

— Намедни двух воров с письмами поймали на Красной площади, — сказал Одоевский.

— Сделали что?

— А как след быть: на пожаре казнили, а руки отрубили и выставили.

— Теперь он на Симбирск идет, а кто в Симбирске?

— Милославский, Иван Богданович, — ответил дьяк.

— Муж добрый! — сказал Нащокин. — Не своим родичам чета.

— И пишет он, — заговорил Воротынский, вставая, — что от Казани помощи ему не шлют и слать не хотят, а силы у него малые!

— А на Казани кто воеводствует?

— Урусов князь, Петр Семенович, — ответил снова дьяк.

— А кто ж князь Барятинский?

— Воинский голова!

— А тот Барятинский тож мне пишет, — заговорил опять Воротынский, — князь-де Урусов в большом унынии. Войско есть, а он не дает и одного стрельца на помощь иным городам.

— Спосылать туда надо с наказом кого. Да слосылать такого, чтобы в случае чего и сам распорядок сделать мог, человека воинского!

— А где взять такого? — заговорили в Думе,

— А князь Петр? — сказал Куракин.

Царь закивал головою и, улыбаясь, сказал:

— Так, так, князь! Лучше и не придумать! Боярин, — сказал он Нащокину, — заготовь ему грамоты, а завтра он и поедет! Ну, на сегодня и довольно! Авось Господь грозу пронесет и царство успокоит наше! Помолимся!

Патриарх стал читать молитвы, и все набожно крестились, а потом, целуя царскую руку, начали расходиться. Царь пошел в свои покои и приказал позвать к себе Матвеева.

— Отличие тебе от государя, — сказал Куракин, увидев Петра, — позовут тебя ныне во дворец, и царь в Казань тебя пошлет, к князю Урусову, чтобы ты мятежников укрощал!

— Царский слуга! — ответил Петр, но невольно затуманился. Крепко любил он свою жену и деток, обжился в Москве, да и старики уже призора требуют, а тут на войну ехать. Ну, да на все царская воля.

Он пошел к себе на двор и увидел того же Никитина. Дворянский сын быстро спешился и низко поклонился Петру.

— Государь-батюшка тебя к себе зовет. Наказал ехать не мешкая!

— Подожди немного. Испей меда с дороги. Мне только коня обрядят! Эй, Кряж!

Кряж выскочил и тотчас побежал по приказу Петра в конюшню, а старый Антон хлопотал подле Никитина, угощая его медом.

Петр, не заходя в терем, оделся и вышел снова к Никитину.

— Ну, едем!

Никитин вытер губы и встал.

— Что ж это не по обычаю, — улыбнулся Петр, — чару-то себе возьми! Чай, царский посол!

— Благодарствуй! — радостно ответил Никитин и тотчас спрятал серебряную с финифтью чашу в карман кафтана.

— Едем!

В сопровождении Кряжа они поскакали во дворец. Царь встретил Петра ласково и сказал ему:

— Вот, чтобы ты не думал, будто я на тебя за Терентия гневен! Дело тебе государское поручаем! Артамон Сергеевич, растолкуй ему!

Матвеев тотчас стал объяснять Петру, что надобно.

Князя Урусов и Барятинский не ладят друг с другом. Так мирить их надо, а коли что, и согнать с места, кого он вздумает. На то ему грамота. За мятежниками следить и беспрерывно рубить их с казанским войском. Там его много.

— На тебя все надеемся, — окончил Матвеев, — что дальше Казани вора непустишь!...

— Смотри, нам его самого привези! — улыбаясь, сказал царь.

Петр повалился царю в ноги и раз двадцать ударил лбом об пол.

— Милуешь и ласкаешь холопишку своего! — говорил он в волнении.

— Ну, ну, чего там! Ты нам порадей только, а мы тебя не оставим!...

Царь был к нему особо милостив и взял его с собою в терем. Там он сел с Матвеевым играть в шахматы, а Петр слушал ласковые речи



царицы.

— Ты уедешь, князь Петр, — говорила она, — так накажи жене своей: пусть меня не забывает да чаще ездит, а то два дня как и глаз ко мне не казала. Попрекни ее!...

Князь Петр вернулся домой, и в доме Катерина тотчас подняла вой.

— Голубчик, голубь мой сизый, на кого ж ты меня покинешь и деток малых, — начала причитать она, — убьют тебя воры, злые крамольники!

— Петруша, сокол мой ясный, осиротеем мы без тебя! — подтягивала старая княгиня.

Дети проснулись и заплакали тоже.

— Нишкни! — закричал наконец старый князь. — Довольно повыли! Глупые бабы, преглупые! Что он, на смерть едет, что ли? Царь-батюшка отличил его, радоваться надо, а они — на!

Петр незаметно от всех смахнул слезы с глаз и ласково сказал:

— Не вой, Катеринушка! Бог даст, вернусь, и еще порадуемся мы с тобою!

— Спать надо, а не выть в полночь-то, — заметил старый князь.

Все стихло. В доме заснули, вернее, притворились спящими, потому что ни старый князь с княгинею, ни Петр с Катериною не сомкнули глаз: одни думали свои думы, другие — миловались перед разлукой и утешали один другого. Не спал также и Кряж. Он знал, что ему не миновать ехать с Петром и, пробравшись в девичью, в темных сенцах прощался с Лушкою.

Старый князь и радовался, и печалился об отъезде сына. С одной стороны, это царское отличие, а с другой — вовсе опустеет дом их. Старший, Терентий, теперь словно и не сын ему, совсем откачулся. Дочка любимая в монастырь ушла; Петр уедет — и, упаси Бог, вдруг убьют его, что тогда?...

При этой мысли он похолодел даже. Потом встал и начал молиться.

— А ну и я! — прошептала старая княгиня, осторожно спустилась с кровати и стала на колени рядом с мужем.

Она знала теперь все думы своего мужа и вместе с ним делила его грусть и опасения. Сироты они оба!...

## XIV НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Петр приехал в Казань как раз накануне того дня, когда князь Урусов согласился наконец дать Барятинскому войско, чтобы идти на Разина.

Узнав, какой важный человек является в лице Петра в Казань, князь Урусов смутился и стал оправдываться.

— Я что ж? — говорил он, угощая Петра. — Я царю прямолю, на том и крест целовал! Ежели Милославский чего и наплел, так я тому не причинен. Очернить всякого можно. Суди сам!... — И он начал жаловаться.

Самого Разина еще не видно, а воры уже вокруг всей Казани шмыгают. Что ни день с площади одного-двух в башню волокешь. Тот с подметным письмом, другой посадских мутит, третий татар подымает. Гляди в оба!... Теперь взять Казань. Она только и читит Москву да царя! Ежели возьмут Симбирск...

— К чему ж Симбирск-то отдавать? — перебил его Петр.

Урусов задвигал усами, как морж, и закашлялся, словно поперхнулся.

— Я к примеру говорю, — поправился он, и продолжал.

Если Симбирск возьмут, вся сила на Казань двинется, а у него и так войска мало, да и народ разбойники: так и глядят — к вору перекинуться. На казаков прямо надежды нет... И все-таки он теперь вот, видя великое утеснение Милославского, шлет ему в помощь Барятинского с войском.

— Немало даю ему. Считай: три стрелецких полка, да казаков триста, да две пушки с пушкарями, а у меня всего каких, может, десять тысяч!

И он жалобно начал просить Петра:

— Ты уж, князь, заступись за меня перед царем! Ведь я верой и правдой ему служу, батюшке; а оговорить завсегда можно! Уж порадей! Я тебя, видит Бог, не обижу!

Князь успокоил Урусова, а спустя какой-нибудь час говорил с князем Юрием Андреевичем Барятинским. Князь с усмешкой говорил ему:

— Чего уж тут! Дело прошлое! Теперь дал войско, хоть немного, да и то ладно. А ранее совсем извел меня. Гляди, пожалуйста, от

Милославского поначалу один гонец, потом другой, а там третий, прямо через воров пробрался. В Симбирске уже есть нечего, зелье все вывелось, палить нечем, а он все свое. Тут я и закрутил. Не хочешь, так сам пойду! Ну, он и сдался.

Князь Барятинский улыбнулся.

— Это-то верно, что он царю прямит, да труслив больно. Какой уж он воевода. Ему бы на печи лежать только...

— Когда же идти?

— Завтра с полдня и двинусь!

— Ну, и я с тобою, князь!

— Милости просим! За честь сочтем! Хочешь, тебе казаков дам или стрельцов? Со мною брат идет, ну и ты. Вот и поделимся!

Князь с радостью согласился.

В нем сказалась боевая кровь. Вспомнил он свои походы в Польшу, и показалось ему совестным отступить от боя, если он впереди.

— Готовься, Кряж, воевать будем! — сказал он, вернувшись в свою горницу, которую отвели ему в воеводском доме.

Кряж только тряхнул головою.

— Что ж! Дело доброе! Косточки расправим, по крайности!...

В эту минуту в комнату ввалился князь Урусов.

— Не спишь еще, князь? — сказал он. — Не хочешь ли меду али снеди какой? Повели! Я твой слуга!

— Чарку выпью, пожалуй, — согласился князь. Урусов обрадовался и сам выбежал распорядиться. Петр усмехнулся. Человек обхаживает его, угодить хочет, а все-таки царю по чести отписать надо. Что ж, что он царю прямит? Прямить прями, да и разум нужен. Воевода в таком месте должен быть тверд и умом, и духом.

— Ты моего меда испробуй, — говорил воевода, — вот мед так мед! Такого у царя не сыщешь. Мне его одна бабка-шельмовка варит... Откушай во здравие!...

Петр выпил, и нега разлилась по его членам.

— Добрый мед!

— Да! — вздохнул воевода. — Вот жить бы да радоваться только, а тут одни хлопоты. Сейчас, ты ушел, ко мне двух скоморохов привели. Песни играют самые супротивные, слова говорят такие вздорные и все

с посадскими. Взял их на дыбу, а они, волчья сыть, мы, гыт — слуги Степана Тимофеевича! Тьфу! Завтра вешать буду...

Он вздохнул и опять начал свои речи.

— Кругом что море кипит. Так и глядит каждый, как заяц, к ворам убежать. Придет вор, борони Господи, сейчас надо будет посады выжечь, потому от них вся крамола. Теперь уж и на правеж их, дьяволов, не ставлю. Думаю, пождите, придет еще времечко. Да ты спишь, князь? Ну Господь с тобою! Я пойду! Слышь, ты тоже в поход собираешься?...

— Беспременно! — ответил Петр через силу.

Глаза его уже слипались, и он, едва ушел воевода, успел только раздеться и лечь на лавку, как тотчас захрапел богатырским храпом...

На другой день он вместе с Барятинским выступил в поход.

Князь дал ему целый полк и полсотни казаков.

— Много дела будет, — сказал он, — до Симбирска нам по людям идти придется, и торопиться надо! Слышь, им последние часы идут!

И, правда, всю дорогу им приходилось прокладывать по людям. Со всех сторон к Симбирску двигались толпы возмущившихся крестьян и посадских. Шли чуваша, мордва, татары.

Эти скопища загораживали дорогу, иногда решались на нападение, и их то и дело приходилось рассеивать.

— А ну, князь, ударим! — смеясь, говорил Барятинский Петру, и они скакали на мятежников с какой—нибудь сотней казаков и разбивали их одним натиском.

— Кого поймаешь — вешай! — отдавал суровый приказ Барятинский казакам, и то там, то сям на деревьях вздергивались глупые ослушники.

Войско шло по трупам и меж трупов. Петр смутился,  
Война ли это?...

Наконец стали попадаться воровские казаки. С ними стычки были уже опаснее. Скоро добыли языка, и пленный сказал:

— Вся наша сила под Симбирском, там и батюшка Степан Тимофеевич!

— Значит, Симбирск еще не сдался?

— Завтра возьмем! — хвастливо ответил пленный. — Им там и жевать нечего.

— Завтра мы там будем!

Волнение охватило всех, начиная с начальников до последнего обозного.

«Поспеть бы!» — думал каждый, и войско почти бежала, поощряемое князем.

Они поспели под Симбирск и успели разбить Разина наголову. Сам он бежал, оставив на произвол судьбы своих приверженцев, и они головами своими расплатились за свое послушание.

Бунт был прекращен с разбитием главных сил. Оставалось водворить порядок и добить остальных воров, рассеянных по взятых городам.

Войско Барятинского разделилось.

Он предложил князю Петру с полком стрельцов и одной сотней казаков идти на Тамбов, а оттуда вернуться в Саратов, где его будет ждать Барятинский.

— Ехать так ехать! — сказал Кряж, когда узнал про решение своего господина. — Будем их ловить да стегать!...

Князь Петр двинулся.

Тяжелой кровавой работы оказалось много, и князь с радостью бы вернулся в Москву, если бы в этой грозной роли палача-укротителя он не видел бы службы царю.

В Тамбове он забрал Ивашну Хлопова, тамошнего атамана, и сотню-другую пьяных казаков. Главная сила разбежалась, и князь послал ловить ее по дорогам, казня в Тамбове послушников и вводя прежние порядки.

Усталый от тягостной работы, поздно вечером сидел он в воеводской избе, когда вошел Кряж и с таинственным видом приблизился к нему.

— Государь, — сказал он, — наши тут трех казаков полонили и с ними девку.

— Ну так что ж? — равнодушно ответил Петр. — Девку хоть отпустить, а тех в темницу до завтра, да в колодки забить!...

— Не то, — ответил Кряж, — а девка-то...

Князь невольно вздрогнул и поднял голову.

— Что девка?

— Девка-то, не во гнев твоей милости, та самая полька, что в Витебске-то.

— Анеля? — вскрикнул князь, вскакивая.

Кряж кивнул  
— Она самая! — и прибавил: — Узнала меня! На коленки стала, руки целует... Худущая!.  
— Веди ее! Сюда веди!  
— Мигом!  
Кряж бросился к двери, а Петр беспокойно заходил по горнице Анеля! — и вся его юность мелькнула перед ним. Его молодая, горячая, его первая любовь!... Анеля! С ней вспоминалось все, что есть самого дорогого в жизни...  
Дверь скрипнула, и Кряж втолкнул в горницу молодую женщину с бледным, исхудавшим лицом.

## **XV ОДНА ИЗ ИСТОРИЙ XVII ВЕКА**

— Анеля! Ты ли это? — воскликнул изумленный Петр, глядя на вошедшую.

Она порывисто рванулась к нему, упала на колени, протянула к нему руки и быстро заговорила:

— Князь, светлость моя! Не вели меня казнить. Ни в чем не виновна! Ради старого, помилуй меня?

Ее лицо выражало ужас. Губы побледнели, глаза расширились. Петр смутился и нагнулся поднять ее с пола.

— Что ты? Оставь! Никто не обидит тебя! Встань!

Она схватила его руку, прижалась к ней губами и облила слезами.

— Бог тебя мне послал! Пан Иезус! Благодарю тебя!

— Да встань! — повторил Петр, сильной рукой поднимая ее. — Лучше сядь тут да скажи мне, как это ты к ворам попала?... Может, голодна? Есть хочешь? Эй, кто там! Кряж!

Два холопа вбежали на его крик.

— Снеди какой подать сюда да вина! Скажите Кряжу, пусть фряжского достанет! — сказал князь и снова обратился к смущенной и взволнованной Анеле.

— Сядь! Вот так! Да успокойся. Ишь как тебя напугали. Не бойсь! Ничего не будет с тобою.

Она села и, тяжело вздыхая, вытерла рукавом сорочки заплаканные глаза. Петр смотрел на нее с немою грустью. Что осталось от прежней веселой красавицы? Побледнели и ввалились

щеки, поредели пышные волосы, потускнели горячие очи. А давно ли было все это? Кажется, вчера он спас ее и схоронил у жида в хибарке. Кажется, вчера он приходил к ней, и она ласкала его и пела ему свои родные песни!... Вот как сейчас он помнит, что с ним сделалось, когда исчезла она... Он даже вздрогнул... Кряж да Тугаев думали, что он с ума сойдет. И все прошло!... Да, минуло десять лет. Срок не маленький... А куда она делась тогда? Что с ней случилось потом...

Слуги внесли вареную курицу с рисом, пироги, лепешки, холодную рыбу и кувшин вина с двумя чарами.

Петр очнулся.

— Ну, ешь! — сказал он ласково Анеле. — Да и выпей малость, а я за твоё здоровье и много выпью! — прибавил он, шуткою желая рассеять грустное настроение.

Она слабо улыбнулась, придвинула к себе еду и начала жадно есть, изредка отпивая из чарки. Князь пытливо глядел на нее и старался найти в ее чертах что-нибудь прежнее. Вот соболиные брови, и те поредели... Эх, время! Эх, жизнь!...

Она поела, вытерла рукавом губы и отодвинула еду. Князь долил вином ее чару и тихо произнес:

— Теперь скажи мне, Анеля, что с тобою тогда случилось... Тогда! Помнишь?...

Анеля потупилась и вздохнула. Прошло несколько мгновений тяжкого молчания, и она вдруг со стоном воскликнула:

— С того часа вся моя жизнь погибла! С того часа только и было, что мука мученическая, сплошное горе! О, зачем ты не взял тогда меня к себе, а поместил у этого Лейзера! Он продал меня... Да! — И она, словно припоминая, начала рассказывать. — Ты ушел тогда, чтобы прийти наутро., а в ночь вошли пан Квинто со своим приятелем Довойно и взяли меня. Я билась, кричала; они связали меня, закрыли рукавом кунтуша рот и вывели. Положили на коня и ускакали, а ему, жиду, я видела, денег дали!...

— Он тоже скрылся! — сказал Петр.

— Известно! Он боялся... — Анеля продолжала:

— Ах, зачем я не убила тогда себя! Зачем не задушилась своими косами! Пан Квинто все время говорил, что любит меня. Я боронилась от него. Он служил под хоругвью у пана Вишневецкого в гусарах, и мы приехали в Самбор. Там он меня устроил в хате и все ходил ко мне... и

взял силою!...— Она замолчала, тяжело перевела дух и сказала: — Меня все брали силою!...

Петр замер и слушал не сводя глаз с ее изменяющегося лица. Оно то краснело, загораясь стыдом, то бледнело, и порою тусклые глаза вдруг вспыхивали...

— Они все пошли на казаков. На Хмельницкого. Мы очутились в Сбораже, потом пан Квинто сказал: тебя перевезти надо, здесь страшно! Он снарядил гайдуков и отправил меня в Варшаву. Нас ехало несколько девиц и три женщины. И вдруг на нас напали. Гайдуки убежали. Казаки и татары бросились на нас, вытащили, взвалили на коней и помчали. Я очнулась в землянке. Подле меня был казак. Его звали Ивашка Богучар. Он стал ласкать меня, целовать. Я отбивалась... потом и он взял меня силою...— окончила она шепотом и опять смолкла.

Петр в волнении осушил полную чару вина и стал ходить по горнице.

Анеля тихо продолжала свой рассказ:

— Казаки бежали. Они, кажется, поссорились с крымцами. Богучар пришел ко мне, плакал и говорил, что меня хочет взять к себе какой-то татарин и ему калым дает, а ему меня жалко, но взять он меня не может, потому что в ночь они спешно едут. Я не знала даже, где я... Ну а потом он отдал меня татарину. Тот ему саблю и коня дал. Татарина Ясамом звали. Маленький, седой, борода желтая, глаза узенькие и злой-злой... Он не умел говорить со мною. Бормочет что-то и смеется, потом — я не понимаю его, боюсь, — он схватит нагайку и бьет меня. Потом... и он взял меня силою...

Она говорила теперь, словно вспоминая вслух историю своей жизни, не замечая присутствия Петра, а он то ходил, то вставал, то брался руками за голову.

— Вдруг они снялись всем табором и пошли. Хозяина своего я и не видела больше. Меня вывели, и я увидела много наших. Нас окружили и погнали, как скотов. Вокруг ехали татары с плетями на маленьких лошадях и все время кричали на нас. Если кто отставал, они того били. Со мной шла женщина с ребеночком. Ее звали Ядвига Коноплянская, а мальчика Ясей. Он был больной и все плакал. Их взяли под Сборажем. Напали ночью, деревню зажгли и всех взяли, кого не убили. Вот она стала кормить дитя грудью и отстала. Татарин



хлопнул нагайкой, да дите по головке. Он и помер, а Ядвига завывала так-то и бросилась на татарина. Тут ее все бить начали, она упала, ее топтали конями и бросили на дороге...

Нас привели в ханскую ставку. Все вокруг нас долго шумели, кричали, потом взяли меня, Стефу (тоже девушка была шляхетка) и Зосю Бреславскую. Нас привели к хану, и отдали ему Он похлопал нас по щекам и отдал евнухам, а те увели в гарем. Тут нас в гареме все девушки били и щипали. Мы плакали, а они смеялись, мы стали кричать, прибежали евнухи и начали бить тех длинными бичами. Нас одели в шаровары и кофты, дали нам отдельные горницы Мне и Зосе вместе одну. Мы жили с ней. Иногда меня или ее звали к хану и он насильничал. Иногда нас заставляли раздеваться донага и вели к нему. Он лежал с кем-нибудь из своих наложниц, а мы подавали им еду, кальян, шербет или плясали... Там я по-ихнему выучилась и со всеми сдружилась. Только тоскливо было...

— Обо мне вспоминала? — вырвалось невольно у Петра.

Она взглянула на него, и лицо ее вспыхнуло заревом.

— Только и думы было, — ответила она и всхлипнула, как ребенок. Потом опять продолжала:

— Жила я так, день да ночь, словно птица в клетке. Только однажды вдруг кругом крик поднялся. Вскочили мы с Зосей (а дело ночью было). Светло у нас, что днем. Глянули: кругом горит, и это от пожара светло. Мы выбежали и заметались. И все выбежали, кто в чем. Бегаем, кричим, и евнухи тоже мечутся.

## **XVI НЕ СУДИЛ БОГ**

— Это казаки-разбойники со своим Разиным к ним ворвались, — пояснила Анея. — Мы кричим, бегаем. Вдруг они как вбегут к нам! В красных жупанах, в крови, с саблями, и ну нас хватать. Меня сам Разин к себе взял, тешился мною, довез до Астрахани, а там, как Астрахань взяли, — говорит: уходи! Я убежала, а тут меня опять казаки перехватили, потом в Тамбов завезли. Тут от меня без ума Федор Прыток был. Как вы насели тут, он ухватил меня и ускакал, а тут твои люди нас перехватили...

Она окончила свой рассказ и замолчала.

Бледный рассвет уже светил в окошко, отчего взволнованные лица Петра и Анели казались бледными, как у мертвецов.

— Ну бедная ж ты! — сказал наконец Петр. — Истинно, горемычная!... Что же делать теперь с тобою, и в ум не возьму.

Она положила голову на стол и горько заплакала.

— На родину, что ли? В Витебск?

Она подняла голову.

— Что мне там?... И тогда-то никого не было, а теперь...

— Не бросить же тебя так, — уныло сказал Петр, почесывая затылок.

— Успокоиться бы мне, чтобы не мыкаться, чтобы знать, что за охраною я... — тихо проговорила Анеля.

Петр встряхнул головою.

— Вот! — сказал он. — В монастырь хочешь? А? Я вклад сделаю!

— Куда ты прикажешь!...

Петр оживился.

— И разлюбезнее дело! — заговорил он. — Теперь мне в Саратов нужно. Я тебя с собой возьму, а там и в монастырь устроим! Вот как любо будет!...

Анеля улыбнулась сквозь слезы. Петр повеселел.

— А теперь спать! Ты тут на лавку ложись, а я уйду!...

Она встала и порывисто поцеловала его в плечо.

Он смутился.

— Ну что? Чего тут?... — и вышел в сени, а оттуда в приказную избу. На одной из лавок, задрав козлиную бороду кверху, спал дьяк, сухой и длинный, как щепка.

Петр с улыбкою взглянул на него и лег на другую лавку, но спать уже было некогда. На дворе зашумели, в избу вошел губной староста, как спугнутый заяц, соскочил дьяк с лавки. Петр поднялся тоже и заговорил:

— Вы ноне уж без меня и сыск, и расправы чините. Я в Саратов еду. Воеводой на время пусть Антропов, дворянский, сын, будет, и обо всем надо будет в Казань вам отписывать... Войска вам малую часть оставлю!

Он вышел на двор. Кряж подал ему умыться и позвал к нему начальников его войска.

Петр взял с собою полсотни казаков и часть стрельцов.

— А остальные, — сказал он полковнику, — под твоим началом здесь будут! А там, после, князь Юрий приказ уже пришлет. Ну, собирайся!...

Стрельцы выстроились. Казаки выехали на своих лохматых лошаденках. Петр снарядился в путь и послал Кряжа за Анелею.

— Прости, — сказал он, — тебе придется уж верхом с нами ехать! Анеля улыбнулась.

— С казаками жила, с татарами. Мне ли не сидеть на коне!

Она с женским кокетством собрала юбку, так что она обратилась как бы в шаровары, и ловко вскочила на подведенного коня.

Они тронулись в путь и без всяких приключений в три дня домчались до Саратова.

На пути во время привалов Петр звал Анелю к своей трапезе. Кряж устраивал ей из попон и седел постель, и Анеля оправлялась под их внимательным уходом.

Петр говорил ей о своей жизни. Она слушала его и потихоньку утирала слезы.

Князь Барятинский весело встретил Петра и сказал ему:

— Кончено! Царь на место Урусова князя Долгорукова прислал. Теперь мы живо весь край замирим!

— Вестимо, — согласился с ним Петр, — теперь я вот сдам тебе твоих ратных людей да назад на Москву поеду!

— Али к спеху?

— Что же, царь на срок послал, да и за домом соскучал больно. Теперь только одно дело сделать.

— Какое?

— Да вот! Сиротинку одну к монастырю пристроить...— И Петр рассказал историю Анели.

— Что ж, доброе дело! — сказал князь. — Ты это сегодня же и сделать можешь.

— А и то!

Женский монастырь был под самым городом. Он был в степи, и, может, поэтому казаки не тронули его, хотя все в городе приписали это чудо заступничеству Божьей Матери.

Петр подъехал к монастырю и постучал в калитку. Ему отперла красивая женщина. Он вошел в ворота и хотел назвать себя, но, взглянув на монахиню, вскрикнул:

— Анна?!

Монахиня наклонила голову.

Петр протянул к ней руки. Она дотронулась до них холодными пальцами и тотчас отняла их.

— Ты здесь? А матушка тебя везде искала.

— Я нарочно укрылась, — тихо ответила бывшая княгиня Тугаева, — чтобы матушку не терзать. Не сказывай и ты, что видел меня!

Петр был взволнован. Он остановился подле сестры и передал ей, зачем приехал.

— Это от нашей настоятельницы зависит Ее воля! Я скажу! Пойдем! — И она повела его длинными переходами к келье игуменьи.

Мать Серафима ласково приняла Петра и, выслушав историю Анели, согласилась взять ее к себе.

— Только пусть послушание спервоначала пройдет, сейчас мы ее в православие обратим, а там и пострижем. Что же, вези ее к нам!

Выйдя от игуменьи, Петр прошел к сестре в келью. Она ласково приняла его. Петр с жалостью смотрел на свою сестру-красавицу и с горечью сказал:

— Эх, загубил тебя этот Павел! Звездой бы ты у нас сияла!

Анна опустила голову.

— Не то, Петр, — ответила она, — на все Божья воля! Не судил мне Бог много счастья! Не судил Бог!...

Петр поник головою и под впечатлением этих слов возвращался в Саратов.

Истинно, Господь ведет неисповедимыми путями, и никто, кроме Его, не знает: в счастье ли его горе, в горе ли счастье?

Вот он не привел и его, Петра, порадоваться первой любовью и провел его через тяжкие душевные муки. Так-то все!

В тот же вечер он отвез Анелю и поручил ее сестре.

— Обеим вам не судил Бог земного счастья, — сказал он.

Анна обняла свою будущую сестру и тихо сказала ей:

— Здесь мир и тишина! Нет грубых, нет насильников, и только благодать. Господня!...

— Что же, сказать батюшке с матушкой, где ты? — спросил Петр.

Анна покачала головою.

— Не тревожь их! Зачем? Им и то горя много, а я тут за них в тишине молевица! Нет, не говори вовсе!...

Вытирая слезы, Петр выехал из монастыря. Тяжелые ворота закрылись за ним, и ему показалось, что то крышка гроба, захлопнувшаяся над двумя могилами.

Он вернулся, собрался в дальний путь, распростился с князем Юрием и выехал из Саратова.

Когда они проехали надолбы и выехали в чистое поле, князь спросил Кряжа:

— Ну, что же, узнал дорогу на Бирюч?

— Немного узнал. Теперь нам надо все на закат держать. Река Медведица в пути будет, потом Хопер, потом Дон, а за ними и самый Бирюч!...

— Ну ну! Казна есть, кони добрые, сабли при нас, — сказал Петр, — едем брата Терентия повидать, а там и к дому!

— Домой-то давай Бог к зиме быть, — проворчал Кряж.

Петр засмеялся.

— Возьми то, что уж больше никуда не поедет! Только нам и погулять с тобою. Там ты, я слышал, на Лушке жениться хочешь. Только, значит, теперь тебе и свобода.

## **XVII ДВА БРАТА**

Ну уж и путь, Господи Боже мой! Почитай, тысячу верст на конях; почти два месяца в пути и в жар, и в холод, и под дождем, и под градом. Ночевали и в лесу, и в поле, встречали и разбойных людей, и татар, и киргизов, а случилось, на четыре дня пути живой души не встретишь.

Кряж ворчал, а Петр только посмеивался над ним.

— Вот, вот, — говорил Кряж, — тебе смешки, а коли бы татарва заарканила, не то бы было!

— Да ведь ушли...

— Ушли, а тогда бы не натужились. Гляди, царский посол! Ему бы до царя ехать, а он во куда!

— Ниште, Кряж! Пожениться успеешь еще. Я тебе детей крестить сколько хошь буду!

Кряж широко улыбался, но продолжал ворчать.

Петр смеялся, а на душе его было сумрачно. Вот тебе воеводство! Такая даль, что, чай, никто и не знает, есть ли подлинно и место такое.

Они переправились через Дон вместе с обозом чумаков и только тут впервые увидели людей, знавших город Бирюч.

— Прямо! Все прямо! Иди себе на закат. Там, в степи, и будет тот город.

Город тоже!

Когда Петр стал подъезжать к нему, он ему весь показался таким маленьким, что впору весь зажать в кулак.

Был он сложен на манер острожка.

Высокие деревянные стены с башенкой над воротами, под ними ров с частоколом, перед ровом небольшой посад, ничем не огороженный.

И кругом голая степь. Только ковыль колышет своим белым султаном.

— Ну, сторона! — продолжал Кряж, а Петр только вздохнул, и его сердце сжалось от жалости.

В посаде, оказалось, жили служивые казаки и стрельцы. Иного народа не было и в городе. Был он выстроен более для охраны государства от вторжения киргизов да казаков.

— Эй, добрые люди, — закричал Кряж двум казакам, которые, сидя на земле, потрошили убитую дрофу, — как к воеводе проехать?

— Как? — сказал один. — Известно, через ворота, а там улочкой и на воеводский двор!

Кряж только отмахнулся от такого совета. Они въехали в раскрытые настежь ворота, проехали мимо виселицы, на которой качался какой-то татарин, и увидели широкую, коренастую избу.

— Надо думать, это и есть воеводская! — сказал Кряж, сходя с коня. Петр тоже спешился.

Оставив коней Кряжу, он вошел в избу, перекрестился и огляделся. Из-за стола испуганно вскочил толстенький человек с чупрыной и толстыми синими губами.

— Чего тебе? — закричал он.

— Воеводу!

— На что тебе? — закричал он снова.

Петр вспыхнул и, ловко ухватив толстяка за чупрыну, встряхнул его и крикнул:

— Кажи, где воевода, дурацкая твоя башка! А то сейчас дух из тебя вытрясу! Ты кто?

— Ой-ой-ой! — захныкал толстяк, сразу падая на колени. — Не погуби, ясновельможный пан! Я воеводский писарь! Сижу, дела вершу, а воевода молится.

— А где его хоромы?

— Туточки, по лесенке!

Петр отбросил толстяка в угол и пошел по лесенке вверх. Мрачные, низкие горницы были ветхи и убоги.

Половицы скрипели под ногами; черные балки под потолком подгнили и обнажили взрыхленные, прогнившие бока.

Петр остановился и стал кашлять, потом закричал:

— Терентий, где ты?

— Кто тут? — послышался суровый голос.

— Я, Петр, брат твой!

— Брат!

Дверка из соседней горницы распахнулась, и к Петру бросился и обнял его Терентий. Они стали целоваться и плакать.

— Брат, брат! — повторял Терентий. — А я думал, что уже отрешен от мира! Как попал ты сюда?

Петр торопливо отвечал на его вопросы и не сводил с него взгляда. Как изменился он за какие-нибудь полгода! Лицо его почернело, глаза ввалились и горели сдержанным внутренним огнем. Как опальный, он отпустил волосы, и они покрывали его лицо, плечи, спутавшись в густую черную гриву, в которой серебряными нитями вилась седина.

Терентий искренно обрадовался брату и стал хлопотать около него.

— Угощение у меня невеликое, — говорил он, — что людишки поймают, да хлебушка, да квас на запивку! Ну, мне и будет! Дьяк-то мой, говорят, пиво варит и медом балуется, ну да на то он и дьяк!

Петр увидел на столе дрофу, вероятно, ту самую, что потрошили в посаде.

— Как живешь, брат? — с участием спросил его Петр.

— Живу ничего. Слава Господу! Молюсь, пощусь, о грехах ваших скорблю, с протопопом посланьями меняюсь! Да! — он замотал головою. — Скажи, чтобы жена сюда не ехала. Ее здесь смерть

ждет!... Я и один... а она как знает. Я, брат, — прибавил он тихо, — отрешился от мира! Мне тут что монастырь! Дела дьяк правит и на!...

И Петр увидел, что Терентий действительно отрекся от мира. Все дела правил тот толстяк, выходец из Польши, которого встретил Петр. Он и судил, и жалованье выдавал, и казнил, и рядные записи вел. Все он, а Терентий только молился.

И в городе говорили:

— У нас не воевода, а монах!

Царский поп при крошечной церкви с ужасом шептал Петру:

— Живу и каждый день за свою душу трепещу. Совращает меня: восходи в старую веру! Велит петь по-старому и не служить на пяти просфорах. А я разве могу? Он же мне смертью грозит!... Беды!... Бает, сюда протопоп Аввакум будет. Тогда и вовсе беда! Посохом заколотит!

Петр вздыхал и качал головою. Что сделали с братом? Был он могуч, был он светел умом, а теперь и хил стал, весь сгорбился, и умом затемнился словно.

— Брат, — сказал он ему однажды, — неужели тебе в радость заточение сие? Я у царя силу имею. Скажи слово, что каешься, и тебя мы на Москву вернем!

— Меня? К царю? — Глаза Терентия загорелись злым огнем. — К самому антихристу! Избави Господи! И не говори мне этого! Здесь, в тишине обретаясь, я скорблю и о нем, и о вас всех. Там распалился бы тигром и разметал бы капища ваши. И не говори мне этого!...

Петр поник головою.

Однажды Терентий со светлой улыбкой говорил ему:

— Было мне в ночи видение. Приходила ко мне Божья страстотерпица, лампада неугасимая, Федосья Прокофьевна. Приходила вся в белом и манила меня за собою вверх, туда! — Терентий показал на небо. — А там ангелов хоры и сам Христос, и так сладкогласно поют, и аромат от них сладкий...

— Ты помнишь ее? — спросил Петр.

Терентий даже вскочил на ноги.

— Ее ли забыть мне? — вскричал он. — Помню ее светлым видением, когда она знатной боярыней была, помню, когда она, как некий ангел, чумных подбирала с дороги. Помню поучения ее и последнее прощание. Ох, великомученица! — Он закрыл лицо руками,



потом отнял их и продолжал: — Я не хотел ехать, не принявши благословения ее, и сподобился!... Я ждал две ночи. Ждал в Чудовом монастыре, когда ее еретики улещали, да не улестилась она. Ждал на ямском дворе, когда мучили ее палачи и жгли ее белое тело, власяницею изодранное! Ах, страстотерпица! Я вошел к ней в темницу, а она лежит на рогожах, вся в крови, железами скована, а лик ее светится, яко звезда вечерняя. Ты ли, Терентий? Я, мати моя! И она дала мне: лобызать свою руку и говорила мне: не бойся за меня, миленький; Он, Христос, голубчик наш, и того более страждал... А я плакал, у ее рогожи валяясь... Ее ли забуду!...

По лицу его текли слезы. Он весь преобразился, и Петр невольно проникся умилением и удивлением к этим людям.

«Крепка в них правда, — думал он, — а я только за царя держусь!...»

Через две недели он простился с братом.

— Прощай уже навеки! — сказал Терентий. — Здесь я свой покой приму!

— Ну вот! — стараясь казаться веселым, ответил Петр. — Еще свидимся...

— Там! — Терентий указал на небо, а потом прибавил: — Если покаешься...

— Жене-то накажи, чтобы сюда не ехала, — сказал он еще раз.

Петр поехал. Отъехав немного, он оглянулся. За посадом на голом месте стоял Терентий, подняв благословляющую руку. Солнце закатывалось и озаряло его багровым светом.

«Словно кровью облитый», — подумал Петр и вздрогнул от тяжкого предчувствия.

Три месяца спустя напали на острожек киргизы и всех в нем перерезали.

## **XVIII НОВОЕ ЛОМИТ СТАРОЕ**

Был ранний утренний час. Боярыня Катерина Ивановна сидела в своем терему за пядьцами и то и дело взглядывала в окно, где кружил крупными хлопьями белый снег, и тяжело вздыхала.

Княгиня Дарья Васильевна с усмешкою говорила:

— Все своего ждешь? Пожди, скоро будет! Теперь и вора казнить успели, недолго и ему приехать. Надо быть, к моему соколу заехал.

— Долго уж очень! — вздыхала Катерина.

И вдруг в терем ворвалась Лушка и диким голосом закричала:

— Приехали!

Катерина вскочила, бросилась к двери, и в ту же минуту ее обняли и подняли сильные руки Петра.

— Голубка моя!...

— Сокол ясный!...

— Тосковала?

— Дай нагляжусь на тебя...

— А деточки?...

— Тут они.

— Тьфу! — не выдержала жена Терентия. — На людях не зазорно! — И она вышла из горницы.

Петр и Катерина не знали, как и обласкать друг друга, и к их радости присоединились и дети, а внизу в сенях так же миловались Кряж с Лушкой и Кряж говорил:

— Поженимся! Князь обещал и всех детей крестить!...

В горницу вошли старики.

— Ишь, заспесивился! К старикам и не заглянул. Плеткой бы тебя! — ласково сказал старый князь. Петр повалился им в ноги, а потом встал и начал обниматься с ними.

И все дружной семьей сошли в трапезную. Петр жадно ел и пил и озабоченно приговаривал:

— К царю бы поспеть!

— Успеешь, соколик! Кушай! — говорили женщины и передавали ему все новости. А их было немало.

Милославские совсем в силе упали. Матвеева, Артамона Сергеевича, в думные бояре произвели. При дворе веселие да игры. Приехал немец Иоганн Готфрид Грегори и во дворце комедии ломает. Царь ему палату выстроил. Таково-то занятно!

— Вот и нонче будет! Царь тебя непременно позовет, — сказала Катерина. — Я с царицею буду!

Петр слушал и стыдился рассказывать свои новости. Не хотел омрачать общей радости. Что рассказать ему? Видел он кровь, реками льющуюся, и разбой, и убийство, и мучительные казни. Видел Анну в

заточении, Терентия, чуть не безумного. Анелю... Там скорбь безысходная, а тут светлая радость. И он молчал...

Царь принял его ласково, а Матвеев расцеловался с ним.

— Ведомо, ведомо твое старание, — сказал ему царь, — после я о награде твоей удумаюсь. Теперь иди домой, чай, жена заскучала, а ввечеру ко мне приезжай. У нас тут немец комедь с пляскою показывает. Как зовется-то?

— Балет, — сказал Матвеев.

— Балет! Вот на балет и приезжай! Прощай покудова что...

И вечером Петр увидел балет. В большой палате были устроены помост для актеров и места. Сбоку, в отдельной горенке, сидели царица и боярыня, смотря на помост через решетку. Царь сидел на стуле, а вокруг его стали бояре, и ближе всех Петр с Матвеевым.

Вот заиграла музыка и раздвинулся на обе стороны занавес, Петр смутился.

— И музыка? — тихо сказал он. Царь услышал и засмеялся.

— Они хоть и немцы, а без музыки, слышь, что без ног. Совсем плясать не могут. Ты смотри! — И царь весь отдался зрелищу.

Выскочил мужчина (его Орфеем назвали) с цимбалами и стал так-то ловко ногами выкручивать, что твой скоморох!... Потом упал на колени и стал царя славить.

После этого действие началось. Играли Эсфирь. Все как по Писанию.

Цезарь, Ассуир с длинною черною бородою, и Эдисса, и Мордохей, и Аман — и все они играют и пляшут, и не знаешь, что чего лучше...

Петр смотрел, затаив дыхание, а царь приговаривал:

— Чудно! Дивно! Назидательная история и зело потешна!...

А в это же время в далеком Боровске кончалась Морозова<sup>[76]</sup>.

Ее держали в великом утеснении, в земляной яме, над которой бессменно ходил стрелец, разлучая ее со всем миром.

Тело ее покрылось язвами, во рту образовалась цинга; с нее сняли оковы, но не облегчили ничем ее участи.

В эту ночь она почувствовала близость смерти.

— Милый! — сказала она стрельцу. — Господь зовет меня к себе, а у меня зело грязна сорочка моя. Не подобает мне, чтобы тело мое в

нечистых одеждах легло в мать сыру землю. Вымой для Господа Бога!

И стрелец умилился ее просьбою и вымыл ее сорочку.

Она облачилась в нее и тихо скончалась в ночь с первого на второе число ноября.

Тело ее завернули в рогожу и схоронили рядом с ранее умершей сестрою ее.

П. М. Строев, посетивший Боровск в 1820 году, видел на городище у острога камень, к которому боровские жители имеют особое почтение и даже кланяются ему до земли. Они рассказывают, что под камнем погребены две княжны, сожженные татарами.

Строев же разобрал на камне следующую полустертую надпись:

«Лета... погребены на сем месте сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена Евдокия Прокофьевна, да ноября 2 дня боярина... жена... Морозова боярыня Феодосья Прокофьевна, а в иноках инока-схимница Феодора; а дочери окольного Прокопия Сидоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокопьевич да окольный Алексей Прокопьевич Соковнины».

Такова была кончина одной из ярких представительниц старого строя.

Выступила она на борьбу с новым течением и была сломлена.

Наступало новое время. Родился Петр, будущий реформатор, а его предтечею был царь Алексей со своею женою Нарышкиной и боярином Матвеевым.

## КОММЕНТАРИИ

**СОЛОВЬЕВ ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВИЧ (1849-1903)**, беллетрист. Старший сын историка С.М. Соловьева, Вс.Соловьев учился на юридическом факультете Московского университета. Литературную деятельность начал с 1865 года, печатал анонимно или с одними инициалами свои стихотворения в разных периодических изданиях. С **1876** по **1886** годы поместил в «Ниве» целый ряд

исторических романов, имевших успех и вышедших затем отдельными изданиями. Таковы были романы «Княжна Осгрожская», «Юный император», «Царь-девица», «Касимовская невеста» и наконец пять исторических романов о семье Горбатовых («Сергей Горбатов», «Вольнодумец», «Старый дом», «Изгнанник» и «Последние Горбатовы»). В 1878 году в «Исторической Библиотеке» Вс. Соловьев напечатал романы «Вшивы», «Великий Розенкрейцер», «Жених царевны», «Царское посольство» и др. Кроме исторических романов, им были написаны два романа из современного автору быта «Наваждение», «Злые ветры» и два тома повестей и рассказов «Рассказы и очерки» и «Новые рассказы». Полное собрание его сочинений вышло в 42-х книгах в виде бесплатного приложения к журналу «Природа и люди» за 1917 год в издательстве П.П. Сойкина.

Роман «Касимовская невеста» печатается по изданию Н. Ф. Мертца, С.-Петербург, 1903 г.

### **ШИЛЬДКРЕТ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ (1896-1965)**

русский советский писатель. До перехода к литературной деятельности работал учителем в Москве. Печатался с 1922 года. В 20-х — первой половине 30-х годов написал много повестей и романов, в основном на историческую тему: «Крылья холопа» (повесть неоднократно переиздавалась), «Скованные годы», «В землю Ханаанскую», «Розмысел Иоанна Грозного», «Гораздо тихий государь», «Плотина», трилогия «Подъяремная Русь» (рабочее название «Отец отечества»): «Бунтарь» («Царевна Софья»), «Мамура» («Конец Московии»), «Кубок Орла». Подвергался критике за «односторонность вульгарно-социологических представлений о прошлом». В 1941 г. печатал рассказы и очерки в журналах.

Текст романа «Гораздо тихий государь» печатается по изданию Шильдкрет К.Г. «Гораздо тихий государь», М., Федерация, 1930 г.

**ЗАРИН АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ (1862-1929),** прозаик, журналист. Вырос в литературной семье, печатался с 1881 г. В 1883 г. исключен из 6-го класса Виленского реального училища в связи с арестом по обвинению в контактах с народовольцами. Содержался один месяц под стражей в Виленской тюрьме, затем в течение десяти лет находился под негласным надзором полиции. В 1886-1888 годах

служил в Государственном банке в Петербурге, в Управлении государственных имуществ Петербургской и Псковской губерний. С 1888 г. полностью посвятил себя литературной деятельности. В 1890-е гг. публиковал «бытовые» повести и романы («Тотализатор», «Дочь пожарного», «Серые герои» и др.), посвященные жизни городских низов и получившие благожелательные отзывы критики. В 1900-е годы. Зариным были изданы многочисленные мелодрамы («Увлечение», «За чужое удовольствие» и др.), исторические («Кровавый пир», «На изломе», «Власть земли», «Двоевластие» и др.) и уголовные романы. Позднее, в 1908-1909 годах отбывал одиночное заключение в петербургских «Крестах» за статьи, «возбуждающие к учинению бунтовщических деяний». До ареста редактировал журналы «Живописное Обозрение» (1902-1903), «Воскресенье» (1903-1905) и газеты «Обновленная Россия», «Современная Жизнь» (1905-1906), неофициально редактировал журналы «Звезда». «Природа и Люди». К 300-летию дома Романовых им было опубликовано тринадцать книг, посвященных жизни русских царей. После 1917 года Зарин сотрудничал в журналах «Смена», «Красный пролетарий», «Вокруг света», газетах, опубликовал несколько повестей, писал киносценарии.

Роман «На изломе» печатается по изданию титолитографии В. В. Комарова, С.-Петербург, 1901 г.

# ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

## 1645 год

*14 июля* — Алексей Михайлович вступает на царский престол.

## 1646 год

*16 января* — установлена новая пошлина на соль. Соляная пошлина стала причиной волнений и беспорядков во многих русских городах.

## 1647 год

несостоявшаяся женитьба АлексеЯ Михайловича на дочери Рафа Всеволодского.

## 1648 год

*16 января* — венчание царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской.

*5 апреля* — Богдан Хмельницкий в сражении при Желтых Водах одерживает победу над армией Стефана Батория.

*10 мая* — кончина польского короля Владислава IV.

*25 мая* — бунт в Москве. Во время беспорядков убиты окольничие Плещеев и Траханиотов и думный дьяк Чистой.

*16 июля* —особой комиссии поручается составление проекта нового Уложения.

*1 сентября* — начало работы Собора, созванного для принятия нового Уложения.

*октябрь* — родился царевич Димитрий.

*10 ноября* — королем Польши избран Ян II Казимир (брат Владислава III).

В 1648 г. отменена соляная пошлина, установленная в 1646 г. и вызвавшая массовые беспорядки в стране.

## **1649 год**

*5— 6 августа* — Богдан Хмельницкий с союзными войсками крымского хана Ислам-Гирея наносит тяжелое поражение шляхетскому ополчению у местечка Зборов в восточной Галиции.

*9 августа* — заключение Зборовского договора между Богданом Хмельницким и Яном II Казимиром. По условиям соглашения число реестровых казаков увеличивается до 40 000; Уния уничтожается, и киевский митрополит должен быть допущен в Сенат; евреи и иезуиты теряют право на жительство на Украине.

*ноябрь* — Зборовский договор утверждается польским Сеймом, однако условия соглашения не выполняются, и договор фактически не вступает в силу.

## **1650 год**

*февраль* — в царской семье родилась дочь Евдокия. (Умерла в марте 1712 г.)

*март* — усмирение Новгородского бунта.

*24 декабря* — польский Сейм принимает решение об объявлении новой войны казакам.

## **1651 год**

*17 сентября* — под Берестечком король Ян II Казимир одерживает победу над Богданом Хмельницким.

*28 сентября* — заключение Белоцерковского договора между казаками и Польшей. По условиям этого соглашения казаки оказываются почти в том же положении, в каком они находились до 1648 года. Новая война становится неизбежной.

*октябрь* — кончина царевича Димитрия.

## **1652 год**

*25 июля* — возведение новгородского митрополита Никона на патриарший престол.



*август* — в царской семье родилась дочь Марфа. (Умерла в 1707 г.)

### **1653 год**

*1 октября* — на Соборе, созванном в Москве, принимается решение «принять казаков в подданство». Польше объявляется война.

*сентябрь* — первый арест и ссылка в Тобольск протопопа Аввакума.

### **1654 год**

*8 января* — на Переяславской раде принимается решение о переходе Малороссии под покровительство московского царя.

*февраль* — в царской семье родился сын Алексей. (Умер в январе 1670 г.)

*27 февраля* — из Москвы в Вязьму выходят первые войска — ополчение под командованием князя Щетинина и воеводы Долматова.

*26 апреля* — семидесятитысячное войско под командованием князя Трубецкого, составляющее вторую русскую армию, выступает на Брянск, (сорокатысячная первая армия под командованием Шереметева вышла из Великих Лук на Двину, третья — тридцатитысячная — под командованием Бутурлина отправлена в Путивль.)

*10 мая* — на Девичьем поле проводится смотр войск, которыми будет командовать царь Алексей Михайлович.

*18 мая* — царь Алексей Михайлович выступает в Смоленский поход.

*28 мая* — королем Швеции становится Карл X Густав.

*4 июня* — у дер. Федоровское получено известие о том, что Дорогобуж сдался без боя. В этот же день Алексей Михайлович вступает в Вязьму, где остается до 10 июня.

*13 июня* — Алексей Михайлович вступает в Дорогобуж.

*14 июня* — получено известие о добровольной сдаче г. Белого войскам Темкина-Рестовского.

*20 июня* — Алексей Михайлович выходит из Дорогобужа к Смоленску.

*26 июня* — передовой полк Никиты Одоевского участвует в первой стычке с поляками на р. Колодня.

*28 июня* — царь Алексей Михайлович останавливается у Смоленска.

*29 июня* — получено известие о сдаче Полоцка В. Шереметеву.

*2 июля* — получено известие о взятии Трубецким Рославля.

*9 июля* — под Оршу против гетмана Януша Радзивилла выходят Я.Черкасский, Никита Одоевский и Темкин-Росговский с сорокатысячной армией. Царь Алексей Михайлович с тридцатитысячной армией продолжает осаду Смоленска.

*20 июля* — в русской ставке празднуется взятие Ник. Трубецким Мстиславля.

*2 августа* — получено известие о взятии Орши.

*20августа* — получено известие о разгроме у г. Борисов гетмана Радзивилла. В этот же день получено известие о взятии Гомеля.

*26августа* — общий штурм Смоленска.

*28 августа* — получено известие о взятии Могилева.

*29 августа* — получено известие о взятии Черска, Быхова и Пропойска.

*4 сентября* — получено известие о взятии Шклова.

*10сентября* — начало переговоров о сдаче Смоленска.

*23 сентября* — защитники Смоленска сдаются московским войскам. Царь Алексей Михайлович входит в город.

*10 октября* — Алексей Михайлович отправляется из Смоленска в Вязьму.

*21октября* — Алексей Михайлович прибывает в Вязьму, где остается, спасаясь от вспыхнувшей в Москве чумы, до февраля 1655 года. В Вязьме в это же время находится и царская семья.

## **1655 год**

*январь* — в царской семье родилась дочь Анна.

*10 февраля* — Алексей Михайлович с семьей возвращается в Москву.

*11 марта* — начало нового похода царя Алексея Михайловича против Польши.

*30 июля* — торжественный въезд царя Алексея Михайловича в Вильну.

*ноябрь* — возвращение царя Алексея Михайловича в Москву.

В 1655 г. началась шведско-датско-польско-бранденбургская война. Шведская армия через Померанию вошла в Великопольшу и, соединясь с войсками, шедшими из Ливонии, захватила Варшаву. В Малопольше шведский король Карл X Густав занял Краков. Польский король Ян II Казимир был вынужден бежать в Силезию.

### **1656 год**

*15 июля* — царь Алексей Михайлович выступает в Ливонский поход.

*20 августа* — начало осады Риги.

*24 октября* — подписание перемирия с Польшей. За признание царя Алексея Михайловича наследником польского престола с Польшей заключается союз против Швеции.

В 1656 году в Московском государстве начался выпуск медных монет вместо серебряных.

### **1657 год**

*27 июля* — кончина Богдана Хмельницкого.

*27 августа* — на раде в Чигирине малороссийским гетманом объявляется Иван Выговский.

*5 сентября* — в царской семье родилась дочь Софья. (Умерла 3 июля 1704 г.)

### **1658 год**

*10 июля* — патриарх Никон публично объявляет о сложении с себя патриаршей власти.

*6 сентября* — заключение гетманом Выговским Гадячского договора с Польшей. По условиям соглашения. Малороссия объявляется вольной страной, соединяющейся с Польским и Литовским государством под именем Великого Княжества Русского. Польша, Литва и Русь должны образовать равноправный союз трех

государств под властью одного короля, избираемого всеми народами. Заключение Гадячского договора становится причиной начала новой войны Московского государства против Польши.

*ноябрь* — в царской семье родилась дочь Екатерина. (Умерла в мае 1718 г.)

### **1659 год**

*май* — кончина царевны Анны.

*июнь* — войска князя Трубецкого разбиты гетманом Выговским у Конотопа,

*17 октября* — на Переяславской раде подтверждены статьи прежнего договора Хмельницкого с Москвой.

### **1660 год**

*январь* — в царской семье родилась дочь Мария. (Умерла в марте 1723 г.)

*февраль* — созванный в Москве Собор решает лишить Никона чести, архиерейства и священства, а также избрать нового патриарха. Царь Алексей Михайлович не утверждает решение собора.

*3 февраля* — неожиданная смерть шведского короля Карла X Густава.

*3 мая* — заключение Оливского мира. Ян II Казимир отказывается от притязаний на шведский престол и уступает Швеции Северную Лифляндию, Эстляндию и о. Эзель. Швеция отказывается от Курляндии. Обе стороны подтверждают независимость Пруссии. Заключением Оливского мира заканчивается шведско-польско-датско-бранденбургская война.

### **1661 год**

*30 мая* — родился царевич Федор. (Умер 27 апреля 1682 г.)

*21 июня* — заключение Кардисского мира между Россией и Швецией. Россия возвращает Швеции все завоеванные в Ливонии города: Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск.

## **1662 год**

*май*— в царской семье родилась дочь Феодосия. (Умерла в 1713 г.)

*25 июля* — московский бунт, вызванный падением стоимости медного рубля и ростом цен.

## **1663 год**

*17 июня* — на «черной раде» под Нежином гетманом левобережной Украины провозглашен Иван Брюховецкий.

В 1663 году отменены медные деньги. Восстанавливается серебряное обращение. Протопоп Аввакум возвращен из ссылки.

## **1665 год**

*апрель* — в царской семье родился сын Симеон.

## **1666 год**

*февраль* — созванный в Москве Собор признает восточных патриархов и восточную церковь православными, книги, употребляемые ими при богослужении — правильными. Правильными признаются и решения Собора 1654 г. об исправлении богослужебных книг.

*13 мая* — протопопа Аввакума проклинают и расстригают в Успенском соборе. В ответ Аввакум возглашает анафему архиереям.

*27 августа* — родился царевич Иоанн. (Умер 29 января 1696 г.)

*13 декабря* — Никон, лишенный Собором патриаршего сана, сослан в Белозерский Ферапонтов монастырь.

## **1667 год**

*13 января* — заключение Андрусовского договора между Россией и Польшей (на тринадцать с половиной лет). Россия получает левобережную Украину, Смоленск и Северские земли, а также Киев во временное владение (на два года). Таким образом, Украина

оказывается разделенной между Россией и Польшей, что вызывает возмущение и казацкие бунты.

*1— 12 декабря* — в Москве проходит Собор с участием константинопольского и иерусалимского патриархов. Собор подтверждает установления прежних соборов относительно исправления церковных обрядов и книг. Возглашена анафема тем, кто противится этим установлениям. С этого времени раскол можно считать окончательно оформившимся. Протопоп Аввакум в этом году сослан в Пустозерск.

В 1667 г. на юге страны начался бунт донских казаков под предводительством Степана Разина.

### **1668 год**

*январь* — гетман Брюховецкий порывает с Москвой: на Чигиринской раде принято решение об отделении Малороссии от Москвы и объединении левобережной и правобережной Украины в единое государство.

*8 февраля* — начало бунтов в Малороссии. Изгнание московских воевод.

*7 июня* — на Сербинском поле близ Диканьки казаками убит левобережный гетман Брюховецкий. Дорошенко объявляет себя гетманом правобережной и левобережной Украины.

### **1669 год**

*февраль* — в царской семье родилась дочь Евдокия. (Умерла в младенчестве.)

*3 марта* — кончина Марии Ильиничны Милославской, жены царя Алексея Михайловича.

*март* — на раде в Глухове гетманом левобережной Украины провозглашен Демьян Игнатьевич Многогрешный. Закончилось недолгое политическое единство левобережной и правобережной Украины под гетманством Дорошенко.

*июнь* — кончина царевича Симеона.

### **1670 год**

*17 января* — кончина царевича Алексея.

*24 июня* — Разин захватывает Астрахань.

*4 октября* — Разин терпит поражение у Симбирска.

### **1671 год**

*22 января* — царь Алексей Михайлович женится на Наталье Кирилловне Нарышкиной.

*14 апреля* — Степан Разин схвачен и пленен казаками.

*6 июня* — публичная казнь Степана Разина в Москве.

### **1672 год**

*30 мая* — родился царевич Петр. (Умер 28 января 1725 г.)

*17 июня* — на раде в Конотопе гетманом левобережной Украины избран Иван Самойлович.

В 1672 г. заключен Бучацкий договор между Польшей и Османской империей. По условиям соглашения Польша признает Украину собственностью казаков. Бучацкий договор освобождает Россию от обязательств, налагавшихся на нее Андрусовским трактатом.

### **1673 год**

*август* — в царской семье родилась дочь Наталья. (Умерла в 1716 г.)

### **1674 год**

*март* — гетман Самойлович и воевода Ромодановский выступают против правобережного гетмана Дорошенко. Поставленный Польшей гетман Ханенко слагает с себя гетманское достоинство, а правобережные старшины, отпавшие от Дорошенко, провозглашают гетманом Самойловича. Таким образом, восстанавливается политическое единство левобережной и правобережной Украины под гетманством Самойловича.

*21мая* — королем Польши избран Ян III Собесский.

*1 сентября* — царь Алексей Михайлович объявляет царевича Федора наследником престола.

**1676 год**

*22января* — взятие Соловецкого монастыря.

*30 января* — кончина царя Алексей Михайловича.

---

<b>notes</b>
--------------



## Примечания

Новые жилые царские хоромы были построены в 1635-1636 гг. После пожаров 14 февраля 1619 г. и 3 мая 1626 г., уничтоживших деревянные постройки, новые хоромы впервые были сделаны из камня.

**2**

Тельное — любое рыбное блюдо.

Челобитная князя Мышецкого приведена И.Е. Забелиным в книге «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Кн.1. Государев двор, или дворец».

Шугай — короткая ситцевая или шелковая кофта.

Имеется в виду царевна Ксения Борисовна Годунова, сосланная при воцарении Лжедмитрия I в Белозерский монастырь и постриженная там под именем Ольги. С воцарением Шуйского она поселяется в московском Троицком монастыре. Умерла Ольга в 1622 году.

Ширинка — полотнище, которым иногда подпоясывались вместо кушака; вышитыми ширинками часто украшались комнаты.

Пошевні — широкі сани, розвальні.



Подволока — потолок. (Здесь и далее — примечания автора.)

Сырец — кирпич.

Вонифатьев Стефан — протопоп московского Благовещенского собора, духовник царя Алексея Михайловича. Плещеев Леонтий Степанович — судья Земского приказа. Убит во время мятежа 25 мая 1648 г. Ртищев Федор Михайлович — постельничий царя Алексея Михайловича.

Сидение — заседание.

154 г. ( 7154 г.)-1646 г.

Ефимок — рубль.

Тараруй — болтун.

Зелье — порошок.



Пригода — причина.

Языки — доносчики, получавшие денежное вознаграждение в случае подтверждения их сведений. Они могли быть подвергнуты пытке наравне с обвиняемым, если донос оказывался ложным.

Кат — палач.

Грива — кайма.

Повалуша — летний покой.

Мшел — взятка.

Накры — литавры.

Большая Палата — Грановитая.



Подножье — коврик

Солношник — зонтик.

Балясы — перила.

Вежа — шатер.

Спекулатарь — надсмотрщик.

Пещное действие — древний церковный обряд в память ввержения в печь трех отроков, не пожелавших поклониться золотому истукану (книга пророка Даниила, гл. 3). Совершается на утрени в неделю святых Отцов (воскресенье между 18 и 24 декабря).

Неделя святых Праотцов — 28 неделя по Пятидесятнице (воскресенье между 11 и 17 декабря). В это воскресенье церковь вспоминает всех ветхозаветных патриархов и праведников.

Гупа — юбка.



Бродяги изображают мужей из халдейского племени, которые донесли царю Навуходоносору о неповиновении трех иудейских отроков и нежелании последних исполнить волю царя (Дан.3.8-12).

Убрусец — белый платок.

29 мая 1653 года поляки были окружены казаками в урочище Батога и потерпели сокрушительное поражение.

Допрашивали.

Туга — кручина.

Топтан — возок.

Розмысл — инженер.

Рейтары — конница.



Крижанич Юрий был отправлен в Тобольск 8 января 1661 года. Вернуться из ссылки он смог только после смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году.

20 процентов.

40 процентов.

Гилевщики — денежные бунтовщики.

На основании апокалиптических вычислений, конца света ожидали в 1669 году (1666+3). Когда назначенный срок прошел, отсрочили гибель мира на тридцать три года, полагая, что сатана был связан клятвою на тысячу лет не от Рождества, а от Воскресения Христова. Следовательно, антихрист должен явиться в 1666 г. (1666+33), а мир погибнет через три года после этого, т.е. в 1702 г.

В 1672 г. А.Л. Ордын-Нащокин удалился в монастырь и постригся под именем Антония.

Гречишником — в виде усеченного конуса.

Алексей Михайлович — руссакий царь, прозванный Тишайшим. Было бы неверно считать это его личным именем (что, к сожалению, случается довольно часто). «Тишайший» — это один из возможных вариантов перевода на русский язык традиционного титула западноевропейских государей «*dementissimus*» (милостивейший). Этот титул принадлежал не только царю Алексею Михайловичу, но и царям Федору и Ивану Алексеевичам, царевне Софье Алексеевне, Петру I.



После неудачной осады Смоленска армия воеводы Шеина вынуждена была капитулировать 12 марта 1634 года. Шеин был обвинен в измене и казнен, а с поляками заключен мирный договор, по которому смоленские и черниговские города навечно отходили к Польше.

Саадаки — чехлы для луков.

Повалуши — летние спальни, устраивавшиеся обычно во дворе.

Шестопер — боевое оружие, род булавы с головкой из шести металлических ребер.

Тулумбас — большой турецкий барабан, использовавшийся как сигнальный инструмент.

Аманат — правитель покоренного народа, взятый заложником в обеспечение верности его народа царю.

В сентябре 1653 года протопоп Аввакум был брошен в тюрьму, после чего последовала шестилетняя тобольская ссылка.

Шелеп — плеть, кнут. Неронов бит шелепами...— Протопоп Иван Неронов — активный противник реформ патриарха Никона, один из вождей раскола. В 1666 году (и вторично в 1667) отрекся от прежних убеждений и покаялся.



Красуля (красоуля) — большая монастырская чаша.

Схизматики — здесь: неправославные

Подкоморий — судья, назначавшийся королем и ведавший вопросами размежевания владений. Чисто подкомориев соответствовало числу земских судов.

Одно из нововведений патриарха Никона заключалось в изменении привычного написания «Исус» на «Иисус». В старообрядческих изданиях написание имени Исус с одним «и» сохраняется до сих пор.

Листовица — кожаные четки с кистью кожаных лепестков.

Заушать — бить по щекам.

И пан не шутит? (польск.)

Хороший (польск.).



Имение, имущество (польск.).

Солдатом (польск.)

Побывчился — умер.

Полеванье — охота с ружьем и собаками.

Коты — женские полусапожки.

Шабар — сосед.

Бирюч — глашатай.

Тавлеи — шашки.



Чекан — боевой топор с узким лезвием и молотовидным обухом.

Т. е. в виде букв «Г» и «П».

Повапленный (церковнославянск.) — окрашенный снаружи. «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». (Евангелие от Матфея, 23.27)

Достойно внимания, что князь Урусов при всей своей силе не оказал никакой заступы жене своей, а напротив, как бы даже поощрял ее в упорстве. Не хотел ли он попросту избавиться от нее?... (Примеч. автора). Князь П.С.Урусов вскоре после ареста своей жены Евдокии и еще при ее жизни женился вторично на С. Д. Строгановой.

В действительности она умерла двумя годами позднее. (Примеч. автора.)